

Юрий ЩЕКОЧИХИН

неоконченное расследование

Юрий ЩЕКОЧИХИН



С любовью
Василия

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА
ВОСПОМИНАНИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



ИТОГЕ АВТОБИОГРАФИИ — УНИВЕРСИТЕТУ

МИР ВОКРУГ НАС



Последняя весна Ричарда Никсона

АЛЫН ПАРУС



Юри ШЕКОЧИХИН

ВЫИГРАЕТ ЛИ БЕН ЛАДЕН ТЕНДЕР НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЗРОВАННЫХ НЕБОСКРЕБОВ?

ИЗЪЯТИЕ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ — УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

СНЫ И ЯВЬ Лубянки

СЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ

ОБЛЕНЫ К ИВ?

ЛЕВ ПРЫГНУЛ!

Лето-74. Готовимся?

СТОИТ ЛИ «ПРОЖИГАТЬ ЖИЗНЬ»?

РЫНКА КОРРУПЦИОННЫХ УСЛУГ В РОССИИ ЗА 2007 ГОД

ТАН-ПЕРУСТА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Юри ШЕКОЧИХИН

Власть и интеллигенция



СТРАНА ТРЕХ КИТОВ: КРИМИНАЛ, КАЗНОКРАДСТВА

ДЕЛО О \$400 МЛРД

ТАН-ПЕРУСТА

ТАН-ПЕРУСТА

ПРЕСТУПНО ГРУППИРОВКА ВОЗГЛАВЛЯЛ ПОЛКОВНИК ФСБ

НОВАЯ ГАЗЕТА

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НОВАЯ ГАЗЕТА

ПРОКУРАТУРА ДЛЯ МЕБЕЛИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ПАРУС

МОРАЛЬ

Юри ШЕКОЧИХИН

Алло, мы вас слышим!

МОБИЛЬ И ПИРОГА

ПИРОГА

ПОСЛЕ ПИРОГА

АЛЫН ПАРУС

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ПАРУС

МОРАЛЬ

ПЕРЕДЕЛ РОССИЙСКОГО ТРОТЯ ЖЕНЫ ОЛИГАРХОВ

НОВАЯ ГАЗЕТА

ЧТОБ ДЕН БАНДИ В РОССИИ ОТДА

Писать в опасном жанре журналистских расследований на одной шестой части суши начал именно он. Он же первым сказал, вернее — прокричал, что в СССР есть организованная преступность. А еще раньше впервые предложил «трудным подросткам», о которых печатали нравоучительные статьи все молодежные издания, просто их выслушать: так и называлась эта его акция — «Алло! Мы вас слышим».

Потом были и чеченские репортажи, и постоянная — не на словах, хотя зачастую и на газетной бумаге — борьба с коррупцией во властных и правоохранительных структурах России.

Но Юрий Щекочихин успевал заниматься не только журналистикой. Он написал несколько пьес, которые были поставлены и вызвали резонанс. По его сценарию сняли фильм «Меня зовут Арлекино». Он написал повесть-антиутопию «Жизнь после» и исследование «Рабы ГБ», изданные отдельными книгами. Наконец, был трижды депутатом — сначала народным депутатом СССР, а потом — Госдумы РФ двух созывов (от «Яблока»). И скольким сумел помочь в этом неожиданном для знавших его качестве!

Оставил он и свои мемуары, временами похожие на детектив, — «Однажды я был...», которые далеко не в полном объеме издавались отдельной книжкой, а в этой книге печатаются полностью.

Не успел Юрий Щекочихин тоже немало. Например — дописать свою новую повесть «Тютчев нашелся» про мальчика, добровольно ставшего стукачом (ее главы вошли в эту книгу). И, несомненно, — сделать многое, от чего стало бы лучше хорошим людям и «по заслугам плохо всем плохим».

Его смерть оказалась очень выгодна тем высокопоставленным бандитам, чьими преступлениями он занимался в последнее время. И обстоятельства смерти Щекочихина до сих пор остаются невыясненными. Многое указывает на ее насильственный характер...

Уход Юры стал ударом и непроходящим горем для его близких и друзей. А друзей у него осталось неправдоподобное количество. Был неразборчив? Кто-то ответил на этот вопрос точно: был неразборчив в выборе врагов. Не друзей. А друзья Юры — конечно, далеко не все — написали для этой книги свои мемуары: «Однажды мы были». Несмотря на тяжесть утраты, они часто веселые, каким был их главный герой.

Юра любил людей, и большинство отвечало ему взаимностью. А книги и существуют для того, чтобы продлить любовь, продлить жизнь...



Юрий ЩЕКОЧИХИН

*С любовью
Юрий*

НОВАЯ
ГАЗЕТА

МОСКВА
НОВАЯ ГАЗЕТА
2006



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНАПРЕСС
2006

УДК 882

ББК 84(2Рос-Рус)6

С 11

Художник Петр Саруханов

Редакторы: Павел Гутионтов, Олег Хлебников

Составители: Олег Хлебников, Константин Щекочихин

Корректор Людмила Евстифеева

ISBN 5-87135-180-8

© «Новая газета», наследники, 2006

ОДНАЖДЫ Я БЫЛ...

Мои личные “однажды”

Ну что? Поехали на почтовых?.. Медленно, неторопливо вглядываясь в лениво пробегающее пространство, равнодушно отворачиваясь от проносащихся мимо заливчатских курьерских...

Господи, почему вдруг взялось у меня это словечко — “почтовые”? Откуда, естественно, понятно — из книжек, откуда еще. (Сейчас что осталось от почтовых — так это вагоны с письмами, идущие по стране с лошадиной скоростью.)

Но почему “на почтовых”-то хочется? Ведь раз слово это откуда-то взялось — выходит, это кому-то было нужно?

К самим лошадям, допустим, у меня отношение любовное. Но издалека.

Первая — и единственная — попытка проскакать на лихом скакуне кончилась для меня позорищем. Хотя это даже был и не скакун, а скакунья. И даже не скакунья, а тихая интеллигентная лошадка. Даже помню ее спокойное и человеческое имя: Философия.

Мне было лет двадцать. Может быть, чуть побольше. То есть был еще совсем молодым. Работал в “Комсомолке”, выпускал “Алый парус”. Еще шалел оттого, что фамилия стоит в конце заметки. Ночевал в семи московских квартирах: в одной — джинсы, в другой — машинка пишущая, в третьей — девушка, в четвертой — начало повести, которая, как тогда казалось, должна была перевернуть историю отечественной словесности. Славная была жизнь, но повесть, как сейчас понимаю, просто чудовищная.

Я должен был лететь в Ригу, в командировку. А накануне попал в приключение, то есть лицо мое не очень-то соответствовало представителю центрального органа ВЛКСМ. В виде раненого бойца приехал на Юго-Запад, к своим друзьям Леше и Тане Ивкиным (тоже из “Комсомолки”), у которых не только подолгу жил и куда не только ввалился однажды с девушкой, но даже, с той же девушкой поругавшись, ушел из чужого дома, как из своего, оставив девушку на попечение друзьям на целых полгода. Просто кошмар, если вспомнить!

Таня долго колдовала над моим лицом, изведя на него половину запаса косметики, и я очень надеялся, что лицо стало как новое. Но, по пути в аэропорт захав

в редакцию, по взглядам коллег понял: есть предел даже самой совершенной косметики. Из-под пудры и разных Таниных кремов предательски пробивались следы вчерашней драки.

— Да... — критически осмотрел меня наш фотокор Тимофей Баженов. — С таким лицом — и куда? Почти на Запад? В Ригу? Да там же от тебя даже собаки будут шарахаться! — И царственным жестом протянул мне какие-то совершенно замечательные, абсолютно не советские, просто потрясающие черные очки.

— Только, если можно, верни их на место, когда приедешь, — деликатно попросил Тимофей.

— Через два дня они будут у тебя! Клянусь! — ответил я, не предполагая тогда, что даже самые искренние клятвы ничего не стоят перед обстоятельствами, которые могут на тебя опрокинуться. Правда, в моем личном случае обстоятельство (одно) опрокинуло меня в абсолютно прямом смысле.

В замечательных черных очках, в таком вот джеймс-бондовском виде я и прилетел в Ригу.

Быстро разделавшись с редакционным заданием, я помчался на встречу с Лаником Полоцким, корреспондентом “Советской молодежи” — личностью, надо сказать, в Риге легендарной.

Ланик производил обманчивое впечатление маленького, лысого, заикающегося еврея. И хотя он на самом деле был маленьким, лысым, заикающимся и евреем — горе было тому, кто всерьез принимал эту его обманчивую оболочку.

Не было авантюры, в которую он бы не пускался. Он автостопом, без копейки денег (это было условие спора его с приятелями) добрался от Риги до Владивостока, он первым поднялся на дельтаплане над рижским заливом, он плавал с аквалангом и, наконец, он был чемпионом не то Риги, не то всей Латвии по боксу.

Я познакомился с ним, когда еще совсем пацаном — в 17 лет — пришел работать в “Московский комсомолец”. По-моему, он был другом поэта Вадима Черняка. Да, точно — Вадима. Я увидел Ланика и — влюбился в него: в человека с такими достоинствами, да еще пишущего, да еще все время попадающего в какие-то истории с КГБ, нельзя было не влюбиться. А так как я в Риге и раньше был чуть ли не еженедельно (по сугубо личным причинам тогдашнего моего состояния), то стали мы с ним видеться довольно часто.

Вот и в этот приезд, сделав все свои дела, я поспешил к Ланику.

— Пр-привет. Со мной, быстро! П-потрясающие мужики. С-скаковые лошади, — торопливо говорил Ланик, заталкивая меня в “Жигули”. И, когда мы уже отъехали от его дома: — Ты-то хоть кого-нибудь задел?

— Все равно обидно, — понуро буркнул я.

Лошади, скачки с препятствиями, всякие конные выкрутасы были, как я понял, новым его увлечением.

— Ты д-должен неп-пременно попробовать. Неп-пременно! — решительно сказал Ланик, когда мы добрались до конноспортивной базы километрах в тридцати от Риги.

— Да я как-то никогда... — попытался отказаться я. Но Ланик уже выводил из стойла лошадь:

— Н-не бойся. Я выбрал с-самую спокойную. Ее зовут Философия.

Вид лошади, ее печальные и задумчивые глаза меня немного успокоили, и я без особой боязни взобрался в седло.

Классный, наверное, у меня был вид: в костюме, галстук, в замечательных, заграничного производства черных очках Тимофея... Черт знает что, одним словом, но в седле.

Помню, как меня вдруг обожгло чье-то горячее дыхание и, обернувшись, я с ужасом обнаружил за своей спиной морду коня, который косил на меня хулиганским и озорным глазом и, видимо, собирался совершить с моей Философией что-то понятное только ей и ему.

— Ланик! Убери своего сексуального маньяка! — закричал я.

Конь Ланика с видимой неохотой подался назад под дружный хохот окружающих, и мы потихоньку поехали.

Вернее, потихоньку — я, так как уже вскоре Ланик и его несколько товарищей оторвались от непутевого буденновца в галстук и в черных очках.

Помню какой-то луг, перелесок слева, густой лес впереди...

Мы с Философией мирно скакали (нет, “скакали” — громко сказано, мы — передвигались), как вдруг наткнулись на непредвиденное: мостик через ручей. Философия задумчиво остановилась. “Ну, ну... Чего же ты... Не бойся! Переходи!” — шептал я, прижавшись к ее горячему уху. Но она стояла, как памятник. Тогда я сделал, видимо, что-то не то. Или что-то не так. Я с силой дернул за поводья...

Ланик потом рассказывал, что падал я по-каскадерски: через лошадиную голову с переворотом. Может быть. Не помню. Помню только себя лежащим в луже, а рядышком, тоже в луже, очки с треснутыми стеклами и оторванной дужкой. Что же я скажу Тимофею? Где я сумею достать такие необыкновенные очки! (Аналогичная история случилась у меня ночью в Нью-Йорке — спустя, естественно, много-много лет. Мы врезались на полном ходу в тяжелый “мерс”, и я, пробив лобовое стекло, оказался головой на капоте машины. Первая мысль: только-только купил пиджак за сто долларов! Он же будет весь в крови!)

Последний раз я видел Ланика несколько лет назад в Чикаго. Неожиданно узнал, что он здесь, где-то в пригороде, работает в какой-то русскоязычной газете. С трудом отыскал телефон редакции, потом с трудом — его самого. Полночи мы сидели и пили водку. Ланику было неудобно в Америке. Я не понимал, зачем он уехал из уже свободной Латвии. Он, по-моему, тоже: мы нужны только там, где мы нужны. (Совсем недавно узнал: не выдержал, вернулся в Ригу.)

— Помнишь лошадь Философию? — спросил я его.

— Философию? Н-нет...

— Ну, как я тогда свалился?

— Н-нет. Не помню... — развел он руками, будто извиняясь, что в душе у каждо-

го человека остается только то, что память оставляет тебе в наследство для будущей жизни. — Так много лет прошло...

Стоп, стоп...

Да, поехали, поехали на почтовых, медленно, никуда не торопясь, останавливаясь там, где вдруг что-то заставляет тебя остановиться.

Нет, я не собираюсь писать собственную биографию: родился, рос, работал. Все родились, росли и работали. Просто я давно хотел написать то, о чем часто рассказываю, а еще чаще вспоминаю, оставаясь один на один с самим собой.

Не получится у меня и соблюсти хоть какую-нибудь хронологию событий.

Просто будем тихонечко ехать: дальше, далеко, туда, за горизонт, откуда ты уже не будешь виден и не различатся события, которыми была наполнена твоя жизнь или которым по нечаянности судьбы ты становился свидетелем.

Кто хочет поехать со мной — поехали.

Однажды я жил в Стране чудес

Мне 18 лет. Я — в Коктебеле. Случайно познакомился с Алексеем Германом. Мы — на пляже.

Леша думает только об одном и говорит об одном.

Тогда только что на самом-самом верху запретили его первый фильм “Операция “С Новым годом” (через двадцать с лишним лет он выйдет с другим названием — “Проверка на дорогах”).

Я тогда еще не понимал всю глубину трагедии Леша. Как кровавая планета Марс, был далек от меня Суслов, мрачный жрец социализма, да и фильма я не видел, а с Лешей только-только познакомился. Но я и тогда чувствовал боль, исходившую от Леша, и присутствие ее в нем, предчувствие того, что и мне самому когда-нибудь — возможно, я даже верил в это — тоже придется испытать то, что испытывал он. (Все-таки точны юношеские предчувствия: и первая премьера в театре вышла, когда мне было уже 37 лет, и книги начали выходить, и фильмы — и я тогда чувствовал себя опоздавшим на все поезда.)

Может, к Сулову? Может, к Демичеву?

Ох, сколько их было, этих имен, которым если и суждено остаться в чьей-то долгой памяти, то лишь по одной причине — связи их имен с другими: с теми, кого они унижали, уродовали, приводили к инфарктам, заставляли эмигрировать, приучали к спасительному забвению пьянства, кому приносили раннюю смерть.

Я помню холодное отчаяние Мидхата Шилова, автора первых (и лучших) передач про подростков, когда был запрещен “Спор-клуб” — может быть, единственное искреннее ток-шоу в то обманывающее время — и последний выпуск, с Булатом Окуджавой, был размагничен, чтобы даже следа от него не осталось в архивах.

Я помню веселую дерзость Эдуарда Успенского, все рукописи которого после

фантастического успеха “Чебурашки и Крокодила Гены” в течение двенадцати (!) лет отвергались всеми издательствами. Однажды Эдик пришел на высокое издательское совещание с букетом цветов и вручил их одному из своих душителей — зампреду Комитета по печати Тамаре Куценко. “Это искренне, Эдик?” — удивилась издательская чиновница. “Конечно же, нет”, — ответил Эдик.

Я помню спокойную уверенность Саши Аронова (“Зачем им меня издавать?”), когда все его попытки издать сборник стихов мгновенно отклонялись всеми издательствами.

Не говорю уже о друзьях-журналистах, о цензуре, о снятии статей из текущего номера, о тупом отчаянии, от которого только и можно было спастись в тесном братском кругу.

Сколько же всего этого в моей памяти! Кажется, что именно из запретов и соткана память! У кого-то в биографии главное — война. У многих из моего поколения — те дни ожидания (“Прочли? Что сказали? Как Главлит?”) и те секунды редкого счастья, когда что-то вдруг пробивалось сквозь вязкую паутину того времени...

А ведь еще совсем недавно на заседаниях Комитета партийного контроля при ЦК присутствовала медсестра: в ее задачу входило сделать укол человеку, который должен был выложить на стол партбилет. Подумать только! Из-за чего? Что, в конце концов, произошло? Ребенок заболел? Друг погиб? Дом снесен землетрясением? Но те, кто постановил присутствовать медсестре при отнятии партбилета, знали, что делали: мифами заполняли сердца настолько, что могли и разорвать их.

Вспоминаю совсем смешной эпизод. Однажды приезжаю по каким-то делам в отделение милиции, и начальник спрашивает меня: “Хотите, мы вам покажем пьяного лорда?”. “В каком смысле лорда?” — не понял я. “Да в прямом. Честно, натуральный лорд!”.

Мы поднялись на второй этаж, где молодой опер допрашивал какого-то бедолагу, а на диване, заботливо прикрытый милицейским тулупом с сержантскими погонами, спал человек. На стуле висел его же пиджак с биркой участника какого-то международного форума, на которой и вправду было написано слово “лорд”.

“Не выдержал нашего гостеприимства товарищ лорд... Ребята подобрали, привезли, — объяснял начальник отделения и, помолчав, добавил: — Ну, мы так решили: не будем сообщать в посольство. Проспится — в гостиницу отвезем”.

Бедный начальник, подумал я, оценив всю степень его благородства. Он-то считал, что посольство — это что-то вроде парткома и за появление на улице в пьяном виде лорда могут лишить путевки в какой-нибудь их, лордовский, санаторий, снять с очереди на квартиру или — что самое страшное — исключить из палаты лордов, точно так же, как из КПСС. Естественно, в присутствии медсестры.

...Сколько мусора в памяти, сколько ерунды! И даже если случится так, что почувствуешь себя абсолютно свободным от нелепиц социального устройства государства, в котором ты рожден, и попытаешься их забыть, то это будет такой же

обман, как сладостные фильмы тридцатых годов, вера в которые не кончалась и к восьмидесятым — настолько врезалась, ввинтилась в сознание целых поколений, что еще нам ходить и ходить по этой пустыне...

Какая ерунда вспоминается из тех лет!

Как пересказывались в журналистском братстве разные смешные газетные ошибки, которые тогда стоили и выговоров, и увольнения, и “волчьего билета”.

Вот шапка над первой полосой в какой-то дальневосточной газете, вышедшей перед началом путины: “Коммунистов — в море!”. Или заголовок в “Советской России” накануне посевной: “В Крыму уже сажают”.

Да, я не застал того времени, когда за пропущенные газетные ошибки отправляли в тюрьмы и лагеря целые дежурные бригады, как было, когда какая-то областная газета пропустила букву “р” в слове “Сталинград”. Но я отлично помню, что каждая так называемая политическая ошибка стоила многих нервов и тем, кто ее нечаянно пропустил, и тем, кто руководил газетой: цепные ребята из агитпропа ЦК и обкомов превращали любую ошибку в огромное событие в своей лишенной содержания жизни. И чем скучнее становилось время, тем громче играли патриотические марши, заглушавшие зевоту всеобщего похмелья, тем больше значения придавалось точному соблюдению ритуальных танцев.

Еще нелепее выглядели фотографии, присылаемые в редакцию фотохроникой ТАСС. Иерархия соблюдалась даже в стоянии рядом с вождем — по левую или по правую руку, рядом или через одного (и, глядя на снимки, всегда можно было определить, чья звезда взошла, а чья — ближе к падению). Но сами участники этих церемоний не всегда соблюдали нужный порядок, и часто ТАСС занимался тем, что склеивал вождей в нужной последовательности. Помню панику в редакции, когда уже поздно вечером, перед подписанием номера, на место, специально оставленное по указанию того же ТАСС во всех центральных газетах, пришел снимок, на котором оказалось два маршала Гречко, голова Андропова — без туловища и в шляпе (тогда была зима, и на всех были надеты шапки, такие же одинаковые, как и лица под шапками), и тени ото всех расходились в разные стороны...

Кто-то до сих пор тоскует по этому времени.

Мне его хватило на всю жизнь.

Однажды меня делали агентом КГБ

Кажется, было лето... Да, лето. Помню открытое окно и мягкий шум Цветного бульвара, заполнявший крошечную комнату, которую мы делили с Нелей, Лидой и Юрой. У меня был собственный журнальный столик, у Нели и Лиды — по столу, а у Юры — свой стул...

Раньше в этой комнате сидела одна Неля, и мы, поочередно перебравшись из “Комсомольской правды”, превратили, как после революции, отдельную кварти-

ру в коммунальную. На четвертом этаже старого здания “Литературной газеты”.

Шел 1980 год, когда уже все всё понимали и не стеснясь — в очереди, в метро, чуть ли не на профсоюзных собраниях — рассказывали всё новые и новые анекдоты про престарелого лидера. Вспомнил один: “Товарищи! — обращается Брежнев к членам Политбюро. — Предлагаю обсудить поведение товарища Пельше. Вчера он опять украл у меня двенадцать оловянных солдатиков...”.

Смех стоял над страной, и, наверное, этим смехом, новыми и новыми анекдотами про выживающего из ума лидера, казалось, обреченного на бессмертие, каждый из нас пытался отгородиться от ужасающей действительности, в которой не оловянными — живыми солдатиками играли вожди в Афганистане, а в Горьком (помните: “Знаете, как переименовали город Горький? В город Сладкий!”) томился изгнанием академик Сахаров, а другие академики, полковники, композиторы, официально “выдающиеся” писатели и неведомые швей-мотористки клеймили его позором с газетных страниц.

Да... Так вот об одном летнем дне 1980 года. Точнее, об одном телефонном звонке, из-за которого этот день остался в памяти.

— Юрий? — услышал я в телефонной трубке вкрадчивый (как мне тогда показалось) мужской голос. — С вами говорит Алексей Николаевич...

— Какой Алексей Николаевич?

— Алексей Николаевич. Из Комитета государственной безопасности! — почему-то радостно сообщил мне телефонный незнакомец. И поспешно добавил: — Нам, Юрий, надо будет с вами встретиться.

— Ну, приходите... Я на работе, — без особой радости сказал я.

— Да что вы, Юрий! У вас же там люди! Нет, на работе никак невозможно!

— Так что, мне, что ли, к вам на Лубянку идти?! Тогда давайте присылайте повестку. И вообще откуда я знаю, кто мне звонит на самом деле!

— Да я вправду из КГБ! Что вы, право... — в его голосе появилась обида. — Можете записать мой телефон и сами мне позвоните! — И мне был продиктован телефон, номер которого начинался с их известных “224”.

Я ответил, что куда звонить не буду и приходите тоже куда не собираюсь и что если я нужен КГБ, то пускай он сам ко мне и приходит.

— Да это очень важно, важно... Ну как вы не понимаете!.. Это действительно важно! — заверещал Алексей Иванович.

— Нет, — отрезал я, придав голосу необходимую твердость. — Я куда не пойду!

— Ох, Юрий, Юрий... — вздохнул расстроено Алексей Иванович (а может, Иван Алексеевич, а может, вообще какой-нибудь Фаддей Булгаринович? А может, и не из КГБ?). — Пойду докладывать руководству...

— Докладывайте! — Я резко положил трубку.

Что им нужно? Их интересую я? Или хотят что-то узнать о моих друзьях? Что за спешка? Может, подумал, это связано с последней командировкой в Узбекистан и опубликованной мною статьей о мафии? Или — просто так, поближе познакомиться?

Об этом, помню, я думал, прервав разговор с этим неожиданным и таинственным так называемым Алексеем Николаевичем.

И, конечно, тут же вспомнил свою первую встречу с представителем организации, мой собственный интерес к которой, наверное, равнялся интересу ее ко мне и моим друзьям.

Это было еще лет за десять до того звонка. Я работал в “Московском комсомольце” и переживал то прекрасное время журналистской юности, жгучего любопытства к миру и счастья встреч с новыми и новыми людьми, которых я тогда считал (да так, наверное, и было) лучшими из тех, которых только и может встретить человек.

Однажды вечером мы пошли бродить по улице. Помню, нас было четверо. Девушка, которую тогда любил — или казалось, что любил. Наш фотокорреспондент Игорь Агафонов — потом, через много лет умерший от рака горла. И тихий, нежный журналист Олег Калинин, всю жизнь создававший устный роман “В стране дураков”. (В этой его стране было два правителя: Иван Грузный и Иван Грязный, а в картинной галерее висела главная картина: “Иван Грузный зачинает своего сына”).

Мне было двадцать лет, девушке, наверное, столько же, а Игорю и Олегу — лет по сорок, как мне сейчас, но называл я их на ты — Игорь, Олег, так как, еще только-только придя в газету семнадцатилетним и отправившись на одно из своих первых заданий вместе с фотокорреспондентом, по возрасту годящимся мне в отцы, услышал в ответ на мой вопрос, как его называть по отчеству, наставительное: “Запомни, старик, у журналистов нет отчеств”.

Итак, мы вышли на Чистые пруды, дошли до Покровки, где в прежнее время был винный подвал, в который вели три ступеньки, истоптанные башмаками многих поколений журналистов расположенного рядом газетного комбината, свернули на улицу Богдана Хмельницкого и оказались в шашлычной на углу.

— Вот еще объявление в стране дураков: “Меняю одну военную тайну на две государственные”, — сказал Олег, и мы все громко рассмеялись.

Потом вспомнили, что на днях наш приятель-поэт пришел ночью в приемную КГБ (естественно, пьяный) и предложил вниманию дежурного гимн, который он сочинил.

Там были такие слова:

**Идут вперед колонны наши быстрые,
И конница бежит издалека,
На площади железного Дзержинского
Работает полночное чека...**

А припев в гимне был таким:

Мы чекисты, руки наши чисты...

Мы громко разговаривали, еще громче смеялись, и больше, чем вино, пьянило меня присутствие рядом девушки, которую, как мне тогда казалось, я любил, и сидящие рядом два старших товарища по счастливой тогда газетной жизни. И

я скорее почувствовал, чем заметил, двоих, сидящих за соседним столиком. Слишком недобро и напряженно смотрели они на нас. И, обернувшись на этот взгляд, я увидел, как старший — седой, с бульдожьей челюстью — что-то сказал своему молодому спутнику и с пьяной ухмылкой уставился на Олега.

— И что ответил дежурный по КГБ?

— Он ему ответил: "Товарищ поэт! ЧК работает не только ночью, но и днем. Советую вам для начала проспать".

Олег заканчивал свой рассказ, когда над нашим столиком вырос седоволосый с бульдожьей челюстью.

Повторяю, Олег Калинин был человеком кротким и нежным, ненавидевшим всякие скандалы и потому, наверное, часто нарывающимся на них.

— Па-азвольте ваши документы, — хулигански растягивая слова, сказал седоволосый, наклонившись над Олегом.

— Сядьте на место, — помнится, грубо оборвал я его.

— А тебя, щенок, не спрашивают! — огрызнулся волосатый и повторил: — Па-азвольте документы...

Тут поднялся Игорь. Что-то еще сказал я. Потом тот, второй, подскочил, стал тягивать своего приятеля за руку, приговаривая: "Мы на улице с ними, на улице...".

В общем, вечер был безнадежно испорчен. Мы встали и пошли к выходу, и я, помню, думал только об одном: если сейчас начнется драка, то где? Прямо в шашлычной? Возле гардероба на глазах у швейцара? На улице? Если в кафе или в вестибюле, то тут же прискачет милиция и, скорее всего, возьмут нас, так как милиция — а это уже всем было известно — журналистов не любит. А если на улице, то можно будет быстро помахать и быстро удрать, пока милиция еще не подошла. Но если будет драка, то куда девать девушку?

Они нас ждали в вестибюле около гардероба.

Тот, с бульдожьей физиономией, встал на пути у Олега и, помахивая красной книжечкой, властно сказал:

— Ну ты... Давай-ка документы!

— Ладно-ладно... Дай пройти... — Я попытался оттеснить плечом седоволосого и вдруг услышал за спиной обращенный ко мне тихий голос:

— Лучше уж мне предъявите документы.

Я обернулся. Какой-то парень, почти мой ровесник, вытаскивал красную книжечку. (Сколько же их за один вечер!)

— Комитет государственной безопасности. Документы, пожалуйста!..

— Ага, вот, вот... — завопил второй. — Так их, так... Поговорите мне еще! Ух ты, гнида! — и он помахал кулаком перед лицом Олега.

— Тихо, товарищи, тихо... Разберемся, — негромко сказал парень. И — мне: — Документы есть при себе?

Я посмотрел на парня и неожиданно понял, что сейчас все будет нормально. Что есть одно, соединяющее нас с ним: возраст. Тот юношеский возраст, который

делал нас сильнее и седовласого с бульдожьей челюстью, и моих старших коллег-журналистов.

— Парень, — заговорил я быстро. — Что эти к нам прицепились! Из газеты мы... Вот, смотри... — протянул я ему свое редакционное удостоверение. — Ты посмотри, они же еле на ногах стоят...

Парень взглянул мне в лицо, потом — в удостоверение, потом снова на меня, профессионально сличая лицо с фотографией. Потом, повернувшись к старому бульдогу, спросил:

— А ваши документы?

— Мы из МВД, парень, из МВД... Ты вовремя подошел... Они там такое болтали!..

Только тут я вспомнил, с чего же все началось. Да нет, не просто так они пристали к Олегу. Все было куда интереснее. Тот, седовласый, предложил своему приятелю выпить за Сталина. И, когда они чокались, Олег прыснул. Тихо прыснул, сказал бы, кротко. Но они это заметили. Да, вспомнил: началось все с этой усмешки Олега...

— Ладно-ладно... Давайте расходитесь, товарищи, — сказал парень и, как показалось, весело подмигнул мне.

Что было потом... Потом шли по улице. Шел снег. Улицы были в мерзком состоянии, хотя не в таком, как сейчас, конечно... Был снег, но тепло. Я не заметил, как исчез Игорь. Потом, помню, шепнул Олегу: "Давай в подворотню". Потом подтолкнул девушку в дверь подошедшего троллейбуса, шепнув: "Быстро! Ночью позвоню".

И мы шли уже вдвоем с тем парнем, который все больше и больше становился мне симпатичен, а сзади, не отставая от нас ни на шаг, — бульдожелиций со своим спутником, ругаясь уже не только на меня, но и на этого парня из КГБ:

— Я узнаю, кто у тебя начальник! Я завтра позвоню! Работать не умеете! Мышей не ловите... — что-то вроде этого бормотал старший.

А парень, не оборачиваясь и, как казалось мне, не обращая на них внимания, тихо говорил:

— Во менты! Ну дают! Нажрались и дают, скажи, а?..

Я помню счастье от самого движения, которое охватило тогда... Мы шли по Богдана Хмельницкого, потом — по Чернышевке, не видя дороги, и я думал, как ловко все устроилось: как чертовски незаметно исчез в подворотне Олег, как вовремя подошел троллейбус, как весело я буду рассказывать об этом происшествии завтра своим друзьям, какой замечательный парень этот чекист, что сразу все понял, оценил, сообразил, кто они, а кто мы...

Потом, помню, молодой обогнал нас, побежал куда-то в сторону. И вдруг перед нами возник сержант в шубе и с кобурой.

— Эти, эти... — показывал молодой пальцем на нас.

— Документы! — Сержант загородил нам дорогу.

И сзади — тихий и спокойный голос:

— Мне, пожалуйста, документы. Комитет государственной безопасности...

Немолодой, в пыжиковой шапке человек цепко ощупывал нас глазами.

— О... Здравствуйте! — обрадованно воскликнул мой новый знакомец. Отвел в сторону своего коллегу и что-то зашептал ему в ухо.

Я стоял, слушая переругивание двух эмвэдэшников; сержант, как памятник, невозмутимо возвышался надо мной, и от обилия красных книжечек, увиденных мною на протяжении короткого вечера, кружилась голова.

Да сколько же их на одной улице, на маленьком пятачке Москвы! Что же за махина такая в стране, что шагу не ступишь — непременно наткнешься на чей-нибудь подозрительный взгляд? Они что, нас охраняют или от нас охраняют? Сколько же денег ухлопывается на эту ерунду?

Может быть, и об этом я думал в те минуты, впервые в своей жизни столкнувшись с представителями этой таинственной конторы. Может быть, юношеское воображение толкало меня тогда к другому — к образу государства, которое, как в клетку, заключено в громадины домов на площади Дзержинского?

Возможно, я начал задумываться об этом позднее и при других обстоятельствах. Тогда же, помню, я просто радовался такому замечательному приключению.

Мой новый знакомый отлетел от своего коллеги в пыжиковой шапке и подтолкнул меня:

— Ноги! Быстро!..

И мы пошли. Какой-то подъезд: “Видишь, здесь черный ход”. Какая-то арка: “Проходной двор, запоминай”. Какой-то переулочек: “Прямо — Солянка, но нам туда не надо”...

Быстро мелькали узкие переулочки. Иногда мой знакомец останавливался, нагибался, будто завязывая шнурок: “Вот, запоминай... Делай так, чтобы убедиться, что нет слежки”. Иногда останавливался возле телефонной будки: “И телефон в таких случаях тоже помогает”. Иногда делал вид, что мы ловим такси: “Запомни, никогда не садись в первую машину”...

Я помню охватившее меня в тот момент веселье! О, черт, как здорово! Какой парень!.. Я уже представлял себя, как познакомлю его со своими друзьями и как в каких-нибудь переделках он прибежит на помощь.

А потом парень остановился:

— Ну, хватит, урок окончен...

И вдруг что-то новое появилось в его глазах. Я даже сначала не понял, что именно.

И он деловито спросил:

— Как, ты говоришь, фамилия Олега, что с тобой сидел?.. А того, второго? А девушка, она что — работает или учится?..

Он вытащил из кармана маленький блокнотик и ручку.

— Да зачем это тебе? — удивленно спросил я.

— Ну, давай, давай... Как его фамилия? Он же Олег? Да, Олег?

— Ты что? Зачем?

— Да служба у меня такая, понимаешь, старик, служба...

Я уже не помню, как мы расстались. Наверное, как пишут в романах, холодно. Но хорошо помню отчаяние, охватившее меня тогда. Будто в детстве: подарили паровоз, а потом отняли, сказав что эта игрушка — совсем для другого мальчика... Ведь самое ценное в юности — это радость узнавания новых людей, счастье от того, что ты не одинок и что рядом, только оглянись, сотни людей, которые такие же, как и ты сам, и что самой судьбой вам предназначено совершить — да, всем вместе! — прекрасные и удивительные поступки!

И вдруг... Это не он, а его служба ласково улыбается тебе. Это не он, а звездочки на его невидимых погонах внимательно всматриваются в твои глаза и вслушиваются в твои мысли.

Где сейчас тот парень? Кто он сегодня, если, конечно, прошел сквозь всю череду переименований своей организации? Майор? Полковник? А может быть, уже и генерал? Вспоминает ли он встречу с наивным юношей-журналистом?

Я-то его хорошо помню. И в принципе благодарен ему за урок, который он мне преподавал. Хотя в то мгновение мне было, помню, горько и стыдно и я с ужасом вспоминал, не сказал ли я ему что-нибудь такое, что могло повредить моим друзьям...

И вот спустя десять лет я тупо смотрел на телефон, размышляя, что же от меня понадобилось этому странному Алексею Ивановичу и его странной организации.

Телефон зазвонил вновь.

Казалось, что Алексей Иванович только-только взбежал вверх по лестнице — таким прерывающимся, с одышкой был его голос:

— Нет... Юрий... Никак невозможно... Я только что от руководства... Нет... Только сегодня... Вопрос очень срочный... Чрезвычайно срочный... Никак нельзя у вас в редакции... Поймите же, к вам люди заходят... А вопрос не терпит отлагательства...

— Да что за вопрос-то такой? Касается меня лично как просто человека — или как журналиста, представляющего “Литературную газету”?

— И так и так, Юрий, и так и так... Очень, очень нужно увидеться... И руководство!..

— Черт с вами! — решительно сказал я, сам порадовавшись тому, как это сказал. — Только моя страсть к приключениям заставляет меня идти на эту встречу!

— Вот и чудесненько, вот и чудесненько, — возликовал Алексей Иванович.

— Где? Когда?

— Любая гостиница на выбор: “Россия”, “Берлин”, “Будапешт”...

Я прикинул, что ближе от редакции:

— Ладно. “Будапешт”.

— Через полчаса я вас жду.

— Да как я вас узнаю-то? — спросил я.

— Не беспокойтесь. Мы вас узнаем, узнаем... — радостно проворковал таинственный незнакомец.

Я вышел в коридор и увидел Юру Роста, выходящего из фотолаборатории.

— Юра, — попросил я его. — Подстрахуй, пожалуйста. Может быть, меня хотят растворить в ванне? — И рассказал о надоедливом Алексее Ивановиче, так страстно жаждущем свидания со мной.

До “Будапешта” мы домчались в считанные минуты. Рост остановил машину недалеко от гостиницы и сказал, что посмотрит на этого человека (“Ты только попроси его сразу же предъявить документы”) и дальше будет действовать по обстоятельствам: или подождет меня у входа, или вернется в редакцию.

— Но учти: растворение в ванне — процесс болезненный, — кажется, пошутил на прощание Юрий. И я отправился на встречу, которую, учитывая необычность выбранного для нее места, вполне можно было назвать конспиративной.

Теперь такой вопрос... Испытывал ли я тогда страх?

Не очень-то просто на него ответить, особенно сейчас, задним числом.

Вообще-то у меня не так давно появилась теория, согласно которой жизнь — это преодоление детских страхов. Сейчас, допустим, у меня, кажется, не осталось никаких страхов (имею в виду, естественно, страхи, испытываемые человеком по отношению к самому себе, а не за детей или друзей). Кроме, может быть, одного — перед кабинетом зубного врача. Правда, по этой теории получается, что к смерти человек подойдет с таким счастьем бесстрашия, что вместо похоронного марша должен звучать марш из “Веселых ребят”. Но это я сейчас так думаю, когда самому за сорок, а на улице уже 94-й год.

А каким я был тогда, в восьмидесятом? Ведь не только я был иным, но и КГБ был еще той организацией. И относились к секретным службам не так, как сегодня.

Нет, точно помню, что страха я не испытывал, делая несколько шагов по направлению к гостинице. Но объясняю это только одним: я уже привык тогда себя чувствовать более-менее под защитой газеты. И второе. С годами мы выработали в себе ироническое отношение к КГБ, несмотря на то, что все больше и больше убеждались во всемогуществе этой тайной организации, спрутом опутавшей страну.

В юности мы с особым гусарским шиком распевали песню Вадима Черняка про Васю Чурина:

**Дни январские белые, не горячи,
Вот опять не тает снег на мостовой,
Очень мерзнут на бульварах стукачи,
Мой приятель Вася Чурин — чуть живой...**

Вадим всегда утверждал, что Чурин — реальный человек, что они познакомились в шашлычной на Богдана Хмельницкого (той самой, кстати), что по пьяному застолью Вася раскрыл свою страшную тайну и после этого ловил Вадима на улицах и настойчиво зазывал выпить. Поэтому Вадиму пришлось написать еще три песни про Васю Чурина и в последней почему-то отправить его в ссылку в город Гусь-Хрустальный, где, как пелось в песне, “нет ни гуся, ни хрусталя”.

Так вот... Страха я, скорее всего, тогда не испытал. Но был... Как бы точнее сказать... Ну, в состоянии нервного ожидания. Да сами посудите! Ни с того ни с сего... Звонок... Спешка... Свидание в гостинице... Черт знает что!

А вот и Алексей Иванович! — тут же определил я, увидев человека, который радостно заулыбался при виде меня. Лет сорок, лицо, неразличимое в толпе... Клерк клерком...

— Вот замечательно, Юрий, вот замечательно... И, чтобы вы не волновались... — Он открыл удостоверение, разделенное, как я помню, внутри на три разноцветные полосы.

Ага, правильно. Алексей Иванович. КГБ. Майор... О, майор!

Я, помню, долго рассматривал удостоверение — больше для Юрия Роста, который из "Жигулей" наблюдал за нашей встречей. И потом спросил:

— Ну и где же будем разговаривать?

— Вот, пожалуйста, — он гостеприимно распахнул двери гостиницы.

А дальше произошла замечательная сцена.

Дело в том, что из всех врагов, которые у меня есть, на первом месте стоят швейцары. Сколько я себя помню, они меня никогда никуда не пускают, а если и пускают, то долго подозрительно смотрят вслед. Я знаю, что не умею с ними разговаривать, и у меня, как ни стараюсь, никогда не получается пронести себя мимо них, как важный государственный груз, не подлежащий таможенному досмотру.

Вот и тогда — как только он, пропуская меня вперед, открыл дверь гостиницы, наперерез мне бросился швейцар:

— Вы куда?!

— Товарищ со мной, — тихо произнес Алексей Иванович.

— А вы сами кто такой? — вдруг сказал швейцар, перегораживая путь уже майору в штатском.

Я, честно, с некоторым злорадством наблюдал эту сцену, но в то же время с интересом смотрел, как же выйдет из создавшегося положения Алексей Иванович и не пригодится ли этот опыт впоследствии мне самому.

Майор злобно бросил швейцару:

— Дайте пройти! Уберите руки!

— Что значит — уберите руки! — взорвался швейцар. — Визитку!

Тогда майор, бросив на меня извиняющийся взгляд, подошел вплотную к швейцару и шепнул несколько заветных слов. Которые, правда, швейцара не испугали, потому что, пропуская майора, он недовольно буркнул:

— Так бы сразу и сказали! — И уже мне: — А вы куда?

— Да со мной товарищ, со мной... — бросил ему майор и, уже когда мы миновали вход, сказал: — Вот болван... Бывают же такие болваны! — А когда мы уже поднимались по лестнице, вдруг добавил: — Я этих швейцаров, если откровенно, просто ненавижу, — чем тут же, естественно, вызвал во мне чуть ли не братскую симпатию.

Мы, помню, шли какими-то переходами, поднимались по лестнице, потом снова опускались.

— Я, Алексей Иванович, вот так вот еще ни разу не встречался, — сказал я ему. — Чтобы так! Тайно! В гостинице!

— Неужели первый раз? Да не может быть! — как показалось мне, искренне удивился майор.

— И вообще, — добавил я, — с вашими никогда не встречался. Я больше с милицией.

— Да не может быть! Неужели впервые?! — снова удивился он, видимо, не поверив.

Наконец мы остановились у дверей какого-то номера, и майор без стука вошел. Навстречу поднялся полный пожилой человек, судя по возрасту, уже давно не майор.

— Вот и Юрий... а это... — и он скороговоркой назвал мне какое-то имя-отчество, которое я так и не смог разобрать.

— У нас здесь товарищ живет, — кивнул старший на девственно чистую комнату. — Но сейчас он по Москве гуляет, осматривает достопримечательности, вот мы и воспользовались его номером.

Солгав, он не покраснел.

Ну, а дальше, дальше — самое трудное для меня: пересказать разговор, состоявший из междометий и ничего не значащих вопросов.

Помню, с порога я сказал:

— Когда я шел к вам, все время думал: какая из иностранных разведок меня завербовала?

На что тут же последовал ответ: да что вы! да как вы могли подумать!

Дальше меня спросили:

— Ну как ваша жизнь? — и когда я ответил, что жизнь как жизнь, то последовал следующий вопрос: — Ну а вообще?.. — Я, естественно, ответил, что и “вообще” ничего.

Потом: как дома? как на работе? трудно ли писать? И прочая ерунда.

Примерно в эти годы замечательный детский писатель Эдуард Успенский написал в КГБ письмо, в котором обвинил генерала Абрамова, тогдашнего руководителя Пятого, идеологического, управления в покровительстве всяких темных делишек одного из писательских генералов. Когда Эдика вызвали в КГБ, то первым делом спросили, как у него со здоровьем. “А здесь у вас что, поликлиника?” — рассвирепел Успенский.

Так вот. Меня не спрашивали даже о здоровье. Меня вообще ни о чем не спрашивали. Не называли никаких фамилий и от меня никаких фамилий не требовали.

Мы сидели и лениво разговаривали, как случайно встретившиеся в вагоне люди. Дело, как я чувствовал, уже шло к тому, чтобы обменяться мнениями о погоде и о видах на урожай.

Я уже начал нетерпеливо посматривать на часы, когда старший сделал эффектную паузу, бросил на меня долгий взгляд и спросил:

— Скажите, Юрий, как вы оцениваете влияние буддизма на секции карате?

— Чего? — удивился я.

Он повторил вопрос. И, пока я объяснял, что никакого отношения не имею ни к буддизму, ни к карате, что ни разу в жизни не видел буддийского монаха, разве что по телевизору, лица моих собеседников удивленно вытягивались.

— Как же так... — растерялся Алексей Иванович. — А нам сказали, что по этому вопросу вы большой специалист!

— Так из-за этой ерунды весь ваш маскарад? Эта спешка? Телефонные звонки? Гостиница? Конспиративная встреча? — точно так же, помню, растерялся и я сам.

В ответ услышал что-то нечленораздельное о том, как тяжело сейчас с молодежью, что информация на нуле, а сотрудники — так мне откровенно и сказали — в силу возраста и специфических стрижек никак не могут проникнуть в различные молодежные тусовки.

— Ну, тогда я пошел... — сказал я.

И уже возле выхода, буквально прижав меня к дверям ванной комнаты, майор сказал мне, понизив голос:

— Но, Юрий, просьба. О нашей встрече — никому ни слова!

— А уж это — нет! — помню, с гордостью ответил я. — Это уж я никак не могу. Я не Вася с улицы, а спецкор “Литгазеты” и первым делом обязан, — специально подчеркнул я это слово, — обязан сообщить о нашем контакте руководителям редакции.

Слово “контакт” я тоже подчеркнул.

— Ну зачем же, Юрий?..

С этим мы и расстались.

Я, радостный, возвратился в редакцию и, увидев в коридоре Аркадия Удальцова, тогдашнего нашего зама главного, сказал, что только-только из гостиницы “Бу-дапешт”, где состоялась такая вот идиотская беседа.

— Здесь что-то не так... — протянул Удальцов. — Может, они хотят из тебя сделать секретного агента?..

Потом я рассказывал эту историю множество раз: в командировках, в застольях, на пляже, друзьям и даже малознакомым попутчикам в поездах.

И все долго смеялись.

Кстати, майор Алексей Иванович звонил мне еще дважды — в том самом, 80-м. Один раз он мне почему-то радостно сообщил, что только что вернулся из отпуска, второй — признался, что очень ему нравится, как я пишу, и попросил назвать номера газеты, в которых были мои статьи.

С тех пор он исчез.

До сих пор не могу понять: что же им было тогда от меня надо? Действительно

ли их интересовала эта ерунда про буддизм и карате или это был просто повод для беседы?

Как-то я рассказал эту историю ленинградскому писателю Константину Азадовскому (о его судьбе еще пойдет речь), который сам по милости КГБ отсидел два года на Колыме.

По мнению Кости, вот так же, как и меня, вызывали и вызывают многих, но другие предпочитают о подобных встречах молчать. Почему? Да потому что их заставляют молчать под угрозой компрометации. Не знаю, могли ли они чем-то мне пригрозить в том, восьмидесятом, и потом сделать своим осведомителем. Не знаю, не уверен...

Скорее всего, меня больше никогда не приглашали на конспиративные встречи по другой причине: слишком быстро и слишком многим я рассказал об этой странной встрече. И, может быть, они решили, что с таким трепачом лучше не связываться. Не знаю, не знаю...

Но вот что поразило меня сейчас в себе самом, когда вдруг ударился в воспоминания: как отчетливо сохранились в памяти эти две встречи! Какое было время года — помню! Какая погода стояла на улице, время суток, место встреч, с кем был, о чем разговаривали — всё, всё! Даже запахи — именно те запахи, тех лет — и то, кажется, если чуть-чуть постараюсь, мгновенно почувствую.

Но разве эти встречи были главными в моей жизни? Да абсолютно не главными, совсем не главными. Больше того — из тех, которые и не должны остаться в памяти. Мало ли с кем сводила судьба! Уж не говорю, со сколькими чиновниками из разных министерств и ведомств. Так сейчас хоть убей — не вспомню, ни что это были за чиновники, ни о чем мы с ними говорили, ни для чего встречались.

А эти встречи — помню.

Однажды я так и не увидел Ленина...

К своему стыду, я никогда в жизни, даже в детстве, не был в Мавзолее.

А однажды упустил шанс увидеть Ленина вблизи. О чем до сих пор жалею.

В середине восьмидесятых меня неожиданно позвали в Кремль — рассказать солдатам и офицерам, его охраняющим, о различных молодежных группах, которыми была тогда заполнена Москва: от фанатов до панков, от хиппи до нацистов.

За мной в “Литгазету” приехал синепогонный полковник в барашковой шапке, посадил меня в черную блестящую “Волгу”, и мы на всем скаку влетели в Боровицкие ворота Кремля.

Сквозь темные кремлевские коридоры меня провели в зал. Выступил. Рассказал, почему у одних двадцать колец в носу и петушиный гребень на голове и почему другие, в красно-белых шарфах, не любят третьих — в красно-синих. Ну и так далее.

Молодые кремлевские бойцы живо реагировали на знакомые им слова, а пол-

ковник, сидевший рядом со мной, старательно записывал в блокнот: “панки — гребень”, “хиппи — бусы”, “фанаты — шарф”...

Потом воины хором встали, строем вышли, а мы остались с полковниками и подполковниками с васильковыми просветами на погонах.

Был вечер, но время тогда измерялось не только движением стрелок на циферблате: тогда время измерялось целой очередной эпохой. А знаком этой эпохи являлось знаменитое постановление ЦК КПСС о борьбе с пьянством.

Потому-то был совершенно естественным для той эпохи печальный вздох полковника, который меня привез:

— Сейчас бы посидеть, поговорить, да можно под постановление попасть...

— Ничего. Все равно все не выпьешь, — успокоил я его.

Но он вдруг встрепенулся:

— А хотите, мы вам Ленина покажем?

— Ленина? — Я испуганно посмотрел на часы. — Сейчас уже десятый час!

— Так он все равно там лежит, — успокоил меня полковник.

— Нет! — решительно отказался я. — Я их ночью боюсь!

Потом меня выпустили через какой-то тайный выход, и я оказался возле Исторического музея.

Было зябко и снежно.

Москва засыпала в счастливой трезвости...

До сих пор жалею, что так и не увидел Ленина, потому-то этот факт своей биографии записываю в графу “Несвершенное”.

Как и многое, многое другое.

Однажды я был у Сталина

За окном была такая густая мгла, что казалось: вытяни руку из распахнутого окна — и кусочек этой мглы останется у тебя в ладони. Пели какие-то ласковые ночные птицы, пряные южные запахи воспаляли воображение. И так далее, что-то такое же нежное.

Георгий (да, кажется, его звали Георгием? или Гурамом?), сославшись на какие-то срочные дела, ушел, оставив меня одного с бутылкой киндзмараули, мягким овечьим сыром и зеленью.

И что? Он так же сидел за этим столом? И так же прислушивался к тишине? И такая же бутылка (а вдруг она из того еще погреба?) стояла перед ним? И точно такой овечий сыр таял во рту, оставляя крошки на усах?

И он подходил к окну? И те же дальние звезды смотрели на него, печально размышляя, кому же “одиначее” — ему или им?

Черт знает что может прийти в голову после двух безобидных стаканчиков безобидного киндзмараули! Например, как разомкнутся дубовые панели и какой-нибудь Власик со своими мордovorотами накинется на некоего охламона в шор-

тах и легкомысленной маечке, а тот даже усом не поведет, а потом еще смешнее: в тех же шортах и маечке — где-нибудь за Полярным кругом... Бр-р.

Нет уж. Не дождетесь, сказал я сам себе. И, плеснув в стакан сладостного вина, поднял его и повторил вслух (видимо, это была уже не первая бутылка киндзмарули, оставленная мне заботливым Георгием): “Нет уж!” — придав этой фразе очертаня замысловатого кавказского тоста.

Прошло уже лет пятнадцать или чуть меньше, но ненамного, а вот как помнится: и в том пространстве (хотя оно и очерчено в памяти смутно, что-то такое в чехах, громоздкое, казенно-торжественное), и в ощущениях — то странное посещение сталинской дачи. Вроде бы подумаешь, дом как дом, и не такие потом видел. Но что-то царапнуло...

В то лето я отдыхал в Гульрипшах, поселке между аэропортом и Сухуми, где прямо на берегу моря стоял дом творчества “Литературной газеты”. Ох, что это было за место! Даже павлины бродили во двореке. (Теперь там, наверное, руины — как памятник абхазо-грузинской войны: по крайней мере, от дачи Евтушенко, которая стояла по соседству, остался один фундамент. Несколько лет назад случайно столкнулся в центре Москвы с бывшим гульрипшским барменом: “Передай Жене, что лодка-то его цела. Мы ее сохранили”. Я честно Жене про лодку сказал.)

Однажды утром меня находит человек:

— Я от вашего друга Нугзара Попхадзе.

— Привет! — обрадовался я, уже предчувствуя, что моя однообразная лениво-отдыхательная жизнь между морем и чачей будет прервана самым замечательным образом. Нугзар в то время был председателем грузинского Гостелерадио, друг моих друзей и сам мой друг, и я-то знал, что не просто так — поздороваться и “привет-пока!” — прислал он ко мне человека.

Георгий (да, правильно, Георгий, а не Гурам) представился директором, как он сказал, “одного маленького санатория”, куда нам и предстояло сейчас направиться в его черной, несмотря на жару, “Волге” с разбитным усатым малым за баранкой.

— Далеко? — спросил я.

— Пицунду знаешь?

— Ну да...

— Недоезжая чуть-чуть. Увидишь.

И мы поехали.

За свою жизнь я перепробовал много дорог: пыльных, дождливых, гладких и разбитых, широченных банов и узких тропинок. Но та дорога вдоль моря от Гульрипши до сталинской дачи вдруг оказалась не выброшенной из памяти. Хотя что уж там? Асфальт — он и в Африке асфальт.

Я стал разбираться со своей памятью: чего это она взбрыкнула с этой дорогой? Но потом догадался. Я помнил ее так пронзительно, потому что такой, какой она была тогда: то прикасающейся к морю, то капризно отодвигающейся от него, то пронзающей толпы счастливых и загорелых, то отдыхающей среди пальм и кипари-

сов, — такой ее больше не будет. Спустя год (да, точно! не пятнадцать лет назад я там был — меньше!) разгорится здесь беспощадная и бессмысленная война, и среди подбитых бэтээров, политой кровью, суждено будет жить этой дороге...

Мы ехали-ехали: и Сухуми уже позади, и где-то справа остались новоафонские пещеры. И вдруг — не очень заметный поворот налево, под “кирпич”, в какую-то шумящую чашу, поворот, еще поворот, и еще один, шлагбаум, будка охранников...

Георгий показывал мне свои владения: “Здесь жил сам”, “Здесь — Власик”, “Здесь Молотов останавливался”, “А это финская баня, которую строил для себя профсоюзный вождь, да недоделал, погнали за пьянство”...

Я слушал, смотрел вокруг, бродил по самой даче, в которой сейчас жили уже совсем другие постояльцы, но как человеку, с детства устающему от музейных экскурсий, мне интереснее было рассматривать не то, что показывал мне Георгий, а представлять себя — увидевшим тогда того...

Сидел ли он в этом кресле перед экраном домашнего кинотеатра? Не на этом ли казенном столе ставилась его расстрельная подпись на судьбах людей, еще не ведавших своего завтрашнего дня? Не склонял ли он голову на этот подоконник, беспомощно печалься о несбывшихся мечтах детства?..

Какая-то чертовщина, помню, полезла в голову, когда я даже не осматривал окружающее сумрачное пространство, а, казалось, втягивал в себя воздух, которым дышал прежний владелец этого дома.

— Георгий, а сейчас кто здесь? — поинтересовался я.

— Сейчас? Сейчас — трое. Н. (честно, забыл фамилию этого завотделом ЦК) с супругой и Севрук.

— О, этого я как-то видел, — смутно вспомнил я физиономию замзавотделом пропаганды ЦК, который по торжественным дням появлялся в “Литгазете”.

— Давай так, — посмотрел Георгий на часы. — У меня сейчас партсобрание... Хочешь, пока покатайся на катере, а потом уже пообедаем.

— А что здесь? Большая парторганизация?

— Семьдесят два человека... — какую-то такую немислимую цифру назвал Георгий.

— Че-го-о? — я чуть не прыгнул в море. — А сколько же вас всего-то здесь?

— Так раньше здесь еще полк стоял!

— А полк-то для чего?

— Как для чего? — удивился Георгий. — А если бы с ним что-нибудь случилось?..

Да, несправедливо устроен наш мир. Несправедливо.

“Несправедливо”, — убеждал я сам себя, садясь в белоснежный катер, который несправедливо, то есть по блату, предоставил мне Георгий, нырнув в свое партсобрание.

Сопровождали меня на катере два молодых разбитных парня (явно не коммунисты, но, видимо, комсомольцы). Они тут же, как только взревел мотор, честно признались, что ошалевают от безделья: “Эти-то не очень любят. Говорят, качи-

вает...” — кивнул один из них на уже отдаляющийся берег.

И мы поехали. Во всю мощь ревел мотор, все дальше, дальше, дальше отходил от нас берег, пока не превратился в ленточку на горизонте, а потом и эта ленточка исчезла. Катер ревел, то опуская, то поднимая нос. Белоснежный след пенился за нами, какие-то чайки пытались догнать нас и расстроено разворачивались к уже невидимому берегу... Мелькнула изогнутая спина дельфина. Но, может быть, мне это показалось...

— А слабо в Пицунду! — прокричал я сквозь ветер и грохот мотора.

— А не слабо! — радостно прокричал в ответ штурвальный.

Катер круто развернулся — так, что даже волна хлестнула за борт, и, гордо подняв нос вверх, помчался по направлению к берегу. Сначала — узкая черточка показалась на горизонте, а уже вскоре — деревья, дома, корпуса гостиниц...

Я выпрыгнул на берег: “Ребята, со мной?” — “Нам нельзя, мы при катере”. Пошел по аллее сквозь кипарисовый коридор. Где-то выпил кофе... Где-то глотнул вина... Где-то просто покурил на бережку, усевшись на трухлявой коряге.

Помню, я ушел довольно далеко, так как вдруг обнаружил себя возле пансионата “Правда”, где когда-то, очень давно, еще работая в “Комсомолке”, отдыхал с любимой...

Там, наверное, был обед, так как пляж был абсолютно пуст, не считая какой-то толстой старухи с китайским зонтиком и двух ленивых местных собак.

Не встретив никого из знакомых, пошел назад — туда, к себе, к данному мне по какой-то социальной несправедливости, хотя и на время, катеру...

Штурвальный, услышав мои шаги на узкой палубе, проснулся, потянулся лениво, толкнул в бок напарника: “Игорек, подъем!”.

И снова — рев двигателей, бурлящий гребешок за кормой...

— Домой?! — прокричал штурвальный.

— Домой!.. — в ответ прокричал я.

Катер развернулся, как и тогда, резко наклонившись, и помчался вперед.

Вот уже и береговая линия стала видна. И очертания той великой дачи, и маленькая пристань...

И вдруг я различил одинокую фигуру, застывшую на пристани.

В чем он? В белоснежном френче? В шинели, накинутой на плечи? “Что за придурок в шортах и легкомысленной маечке катается на моем катере? Что за времена настали?!” — может быть, что-нибудь такое обожгло его. А может, ничего и не обожгло, а он просто стоял, не видя ни моря, ни тоненькой ниточки, которая соединяет небо и море, погруженный в печаль и тоску о собственной не прожитой по-настоящему жизни.

Какой-то бред вдруг пришел в голову.

Я спросил Георгия: когда Сталин был здесь последний раз?

— В 51-м... Или в 52-м... Точно не скажу. Но знаю, что потом все, кто здесь работал много лет, ждали, что кто-нибудь приедет.

— Ждали?

— Ждали. Каждый день готовили завтраки, обеды, ужины...

Господи! Представить такое! Если сейчас здесь под сотню человек obsługi, то тогда-то наверняка было куда больше...

Целые дни не затухал огонь на кухне, целые дни топились бани, целые дни спасатели были готовы спасти хоть кого-нибудь, а массажисты — кого-нибудь помассировать, а врачи — хоть кому-то дать ложку микстуры.

И никто не приезжал!

А куда девались эти завтраки, обеды и ужины, которые были предназначены для того, кого нет? Понимаю — и тогда воровали, но, наверное, не до такой же степени! А солдаты со своим “Стой, стрелять буду!”. А офицеры, которые, отслужив положенный срок, так и не узнали, кого они здесь охраняли...

Собирались партийные собрания, на октябрьские и майские выходили на демонстрации (куда? в лес, что ли?), рожали детей, умирали от старости, даже родственникам не говорили, где работают, гордясь доверенной им тайной.

И никто не приезжал...

Я и не представляю, какая радость охватила всех, когда в начале шестидесятых в причал неожиданно уткнулся катер и оттуда, аккуратно поддерживаемый за локотки охраной, вылез Никита Сергеевич Хрущев.

По словам старожиллов, которые еще остались с тех времен (это Георгий мне рассказал), Никита Сергеевич прибыл на дачу не очень трезвый или, скорее, совсем нетрезвый, приказал принести водки, выпил еще и, как говорят, не мало, потом взял топор и начал рубить кипарисы, окружавшие дачу, выражаясь при этом всякими непечатными словами, из которых единственными, что не резали бы слух всякому интеллигентному человеку, были: “Я... б... вырублю... б... сталинское... б... отродье...”.

Не знаю, легенда это или нет. Возможно, и не легенда: Георгий показал мне пни (я насчитал их целых шесть штук), которые при жизни были теми самыми порубленными Хрущевым кипарисами...

Уже показалась кромка берега, а потом и сам берег, и дача, и пристройки при ней, и какие-то оставшиеся в живых кипарисы, и маленький причал, и на причале — одинокий человек, из которого, как антенна, выростала удочка.

Но чем ближе наплывал берег, тем более узнаваемыми становились сначала громоздкая фигура, а потом и лицо этого одинокого человека.

Так это же Севрук! Тот самый Севрук из ЦК, чье имя всегда связывалось со снятыми из газеты готовыми статьями, а появление в редакции — со всякими торжественными датами.

— Так он же никогда и катер-то не просил... Да еще с удочкой! — обернувшись к своему помощнику Игорьку, прокричал штурвальный. — Ну, сейчас начнется...

Казалось, не только сам высокий чин из ЦК, но и все окружающее пространство, включая удочку, удивленно склонившуюся над его плечом, выражало выс-

шую степень укоризны: вот после стольких лет напряженной работы раз в жизни хотел вот так просто, с удочкой, подышать морским воздухом...

Катер, будто чувствуя свою вину, на всех парусах, хотя и без паруса, делался все ближе и ближе к страдающему от несправедливости высокому человеку. И тут что-то хулиганско-очаковское пронзило меня, и я крикнул, прорываясь сквозь грохот двигателя:

— Разворачиваемся!

— Что?! — обернулся штурвальный.

— Разворачиваемся! Я отвечаю! — прокричал я снова.

Что-то озорное мелькнуло в глазах штурвального, и он даже (нет-нет, правда, не показалось) подмигнул — и круто повернул штурвал, и катер на глазах изумленного Севрука оставил удочку и его самого в одиночестве жизни.

Я обернулся и увидел то, что и предполагал увидеть: мне приветливо махали рукой вслед, как обычно на аэродроме машут вслед какому-нибудь уезжающему начальнику, чья физиономия уже застыла, прилепленная к иллюминатору.

Да, конечно же! Меня признали... Да, признали. Внуком или сыном секретаря ЦК или — бери выше — членом Политбюро.

(Кстати, сыном члена Политбюро я уже раз был. Спустя год после смерти Владимира Высоцкого Юрий Любимов поставил спектакль его памяти. Шум стоял необыкновенный. Ко мне в "Литгазету" заехал мой товарищ, актер Веня Смехов, который должен был сам играть в этом спектакле. "Поехали со мной. Я обещал привести Игоря Андропова, а он не смог. Сойдешь вместо него". — "Веня, ты чего... Они же узнают...". — "Да кто его знает в лицо? Прорвемся! Ты только молчи — говорить буду я". И мы на самом деле прорвались. Через один кордон, второй, третий...)

Так что мне было не привыкать, и я важно махнул рукой оставшемуся на берегу одинокому, но уже счастливому человеку.

...Возвращали меня к себе, в Гульрипши, уже совсем поздно, когда огромные южные звезды заполнили все небо. Изрядно выпитое киндзмараули не притупило мои чувства и не сделало голову бесполезной для дальнейшего существования, а напротив! Мир вокруг и в самом себе сделался собранным в своей прозрачности! Я что-то, помню, беспрерывно рассказывал Георгию, и, если не ошибаюсь, мы с ним что-то даже запели...

Уже в самом Сухуми я попросил свернуть с главной трассы вверх, к горе, у подножья которой стоял дом моего друга — замечательного художника Нугзара Мгалоблишвили, который работал тогда в сухумском театре Гоги Кавтарадзе. (Нет теперь этого театра, нет и дома Нугзара, и того Сухуми нет, Нугзар живет в Москве, а Гоги — в Тбилиси.)

Георгий уехал, а потом мы еще долго сидели вдвоем с Нугзаром, естественно, пили замечательное вино, которое делал его отец, и даже без тостов. Что пить за здоровье друг друга, когда знаешь друг друга уже множество лет?

Нет, мы говорили о том, как мы живем, почему живем так, а не иначе, что там у нас, за спиной, кто нас держит за пояс и не дает шагнуть вперед, да и хотим ли мы сами оторваться от тех, кто нас держит. А если идти дальше, не оборачиваясь назад, то куда мы придем?

Интересно, а если бы не было Сталина? Вернее, он был бы как существо физическое, как человек по имени Сосо... Мальчик, юноша, мужчина...

И вдруг вспомнил. Нет, даже не вспомнил... Вдруг прорезается что-то из глубины памяти. Это — совсем другое. Это то, что ты никогда не забываешь. Это — детство.

В детстве у меня был друг. Он был старше меня на четыре года, ему, допустим, было тогда шестнадцать. Я жил в Москве, а он вместе с родителями — на маленькой станции, где по соседству жила и моя бабушка. Мы виделись с ним только на летних каникулах, и каждый раз я мечтал: когда же наконец настанут эти каникулы!

Саша играл на ударных в группе, где были еще труба, гитара и саксофон, и потому на танцы я проходил бесплатно. Иногда трубач, парень старше его, давал ему трубу, а сам усаживался за ударные. Как Саша тогда играл! И я очень гордился, что у меня где-то далеко от Москвы есть такой друг, и всем своим московским товарищам я рассказывал о нем такое, что он, наверное, представлялся им или Джоном Ленноном, или Луи Армстронгом, или... или я — безнадежным вралем.

Но дело не в этом.

Однажды Саша мне сказал о своей мечте:

— Я, — сказал он мне, — хочу быть первым секретарем райкома партии.

— Зачем? — помню, удивился я.

— Ну, — начал перечислять Саша, — свой “газик” с шофером, жратва, какая хочешь, милицию можешь построить...

— А как же труба? — спросил я, зная, что он хочет поступать в тамбовское музыкальное училище.

— Это для себя.

— А то?

— То... — задумался Саша. — Тоже для себя, да? Так, наверное?..

Саша не стал первым секретарем райкома партии, да и великим трубачом тоже не получилось. Музыкальное училище он, правда, закончил, а потом потекла жизнь, просто жизнь, на той же железнодорожной станции, разросшейся позже из-за строительства никому, как оказалось, не нужного завода суперфосфатов.

Но даже в самые тяжкие минуты своей жизни, когда уже совсем заканчивались деньги и уже нечего было продать, чтобы выпить, — он берег свою трубу.

И уже много позже, когда мы с ним виделись, он после первой же выпитой бутылки вытаскивал завернутую в потертую замшу трубу. И мы вспоминали, как все было когда-то, и какими мы были когда-то, и о чем мечтали когда-то.

Интересно, а что бы случилось с нами, со страной, с миром, если бы маленький грузинский мальчик по имени Сосо научился, что ли, играть на трубе, а потом, уже

старым, разливал бы друзьям киндзмараули из кувшина с тонким высоким горлышком и без страха смотрел бы в окно, за которым сгустились сумерки и первые звезды начали появляться на небе?

Однажды я стал депутатом

Жил человек. Потом стал депутатом.

Мог ли вообразить мальчик, подросток, юноша, вырастающий на московской окраине под гул электричек, что пройдет каких-нибудь двадцать лет — и он запросто будет ходить в Кремль, видаться черт знает с кем, сидеть один на один с президентами и премьерами, облетит весь мир, путаясь в городах и странах, станет прямым свидетелем войн и переворотов и, продвигаясь сквозь человеческую толпу, чтобы не быть узанным, станет надвигать кепку на нос?

Да вообрази он такое да еще скажи кому-нибудь вслух — неминуемо или быть ему в кабинете психиатра, или — еще проще — поколотили бы его на всякий случай окрестные пацаны на пустыре между единственным в поселке кинотеатром и железной дорогой за бессмысленное вранье.

Но к психиатрам в тех окраинных, вечно пьяных местах (в фильме “Меня зовут Арлекино”, который мы сделали с Валерием Рыбаревым, — именно оттуда, из собственной юности и это пригородное местечко “вагонка”, и электрички, уносящие куда-то в заманчивую даль) не обращались, скорее всего, и не подозревая об их существовании. А не колотили этого мальчика, подростка или юношу по одной-единственной причине: ему и в самом жутком сне не могло прийти в голову ничего подобного. И что из убогого мира однокомнатной квартирки на первом этаже кирпичного дома, где они жили: он — вырастая, а родители — старея, он спустя каких-то двадцать лет окажется в кремлевских дворцах не на новогодней елке, куда раз в жизни в детстве ему достался билет...

Э... Что это я? Играю в “детство, отрочество, юность”, а хотел-то про другое “однажды”... Про то “однажды”, о котором меня спрашивали сотни раз — от “как ты там оказался?” до “зачем тебе это нужно?”.

Попытаюсь объяснить, как это меня занесло туда, где по любому раскладу — что звездных карт судеб, что при игре в отечественного подкидного — мне никак не светило оказаться при или около власти.

Сейчас, взглядываясь в уже покрытое туманной дымкой прошлое, не могу вспомнить, чтобы когда-нибудь в детстве, отрочестве или юности хотел примкнуть к великому клану начальников: ни к тем, кто гордо восседал на персональном “козлике”, ни к тем, кто проносился в свое поднебесье в бронированных “ЗИЛах” (сначала) или в “Мерседесах” (потом).

Первое личное впечатление от встречи с таким, поднебесным, отчетливо отложилось в памяти. Шел по Кузнецкому мосту. Кажется, мне было лет восемнадцать. И вдруг образовалась какая-то пробка. Тяжелый “ЗИЛ” притормозил, и я уви-

дел в нем Николая Викторовича Подгорного, который в то время на всех фотографиях изображался по левую руку от Брежнева. Я остолбенело посмотрел на него, а он, видимо, поймав мой взгляд, вдруг смачно плюнул из открытого окна. До сего дня таится во мне загадка: он плюнул именно в меня? или в меня как в никчемную часть окружающего человечества? или — во все человечество вместе взятое?

Говоря о том, что становиться начальником не входило в мои юношеские планы, я вовсе не бросаю камни в тех, кто с детства мечтал если уж не полежать в Мавзолее, так постоять на нем. Нет, просто в 15 лет меня неожиданно потянуло в другие, дальние страны, в которых кабинет, шофер, услужливо открывающий дверцу автомобиля, и графин на трибуне были так же неуместны, как траурный марш Шопена на свадебной церемонии (хотя, не исключая, иногда он бы не помешал).

Я начал сочинять, складывая строчку за строчкой в какие-то неумелые тексты, и, когда еще в девятом классе увидел свою подпись под малюсенькой заметкой в “Московском комсомольце”, почувствовал перед собой какое-то необъятное пространство, заманчивое, как обратная сторона Луны, в котором я уже видел себя не забежавшим туда на время, не случайным гостем, кого послушают-послушают и выставят за дверь из-за полного отсутствия интереса к его никчемной персоне, а человеком, занимающим в нем место как равный.

В общем, черт знает что мерещилось, когда разглядывал свою фамилию, напечатанную типографским шрифтом под заметкой строчек в пятьдесят. И какие Тулоны маячили вдаль (несмотря на беспробудность очаковской жизни, серьезные книжки я начал читать рано и с удовольствием). Да, Тулоны... Хотя все это можно было списать на те пятнадцать лет, которые только и оправдывали неведение предстоящей жизни...

Ну ладно... Вернемся к этому “однажды”. Мне уже исполнилось 38, к тому времени я девятый год работал обозревателем “Литературной газеты”, фамилия (может быть, из-за своей редкости) уже стала известной, и, судя по сотням писем, которые ежемесячно приходили в редакцию, относились ко мне скорее дружелюбно, чем неприязненно. На многочисленных встречах с читателями меня непременно спрашивали, не страшно ли мне, на что я отвечал, явно кокетничая, что “бояться давно уже устал” и прочую такую же чушь, не подозревая, что главные-то страхи испытаю куда позже...

К этому времени и физиономия лица стала узнаваема на улице, так как все чаще и чаще меня стали приглашать на телевидение — и первыми, по-моему, это начали делать ребята из “Взгляда”. Совмещение фамилии и человека с той же фамилией, естественно, вносило в жизнь некое разнообразие существования в толпе (что-то актерское все-таки есть в журналистской профессии), но вместе с тем служило помехой в нормальных расследованиях, так как после телемельканий ты уже не можешь приехать куда-нибудь к какому-нибудь начальнику, объясняя, что твой интерес обусловлен только лишь всходами яровых или особенностями семейной жизни перепелов.

“Ага... Копать приехал”, — услышал я однажды за спиной, шествуя по коридору провинциального обкома партии, и тут же ощутил себя гробовщиком из бюро добрых услуг.

Но была и польза от телематериализации собственного журналистского имени: начали исчезать двойники, которых неожиданно наплодилось множество. Не говорю уже о каких-то девушках, с которыми “Юрий Щекочихин” отдыхал в Коктебеле или знакомился на какой-то московской тусовке, после чего он, то есть я, естественно, зазывал их к себе домой, о совместных поездках на моей, то есть его, машине от Ростова до Москвы, наконец, о детях, которые оказывались моими, от женщин, которых я и в глаза не видел. Однажды такая не моя женщина позвонила до меня, и когда я начал по телефону спрашивать, как же я выгляжу, то узнал, что я — высокий, лет за пятьдесят и лысый...

Не я один, конечно, становился жертвой собственной фамилии, которая еще была не идентифицирована с лицом ее владельца. Помню один замечательный случай. Соседний с нами кабинет занимали Аркадий Ваксберг, Александр Борин и Евгений Богат — три богатыря “Литгазеты”, каждый из которых был Ильей Муромцем. Однажды в кабинет, который мы делили с Нелей Логиновой, вбегают Ваксберг: “Быстро к нам. Сейчас начнется”. Мы торопливо проследовали за Аркадием и увидели, как тот с порога обращается к девчонке лет восемнадцати: “Вот Неля, вот Юра, они тоже поклонники стихов Жени... Итак, значит, Женя привел вас к себе на квартиру?” — “Да... на квартиру”, — чуть всхлипнув, прошептала девочка. А Ваксберг уже обращался к нам: “Вот наш Женя! Подсел к бедной девочке в Доме журналистов, начал читать ей стихи, потом пригласил к себе...”. За соседним столом, давясь от смеха, сидел Алик Борин. “Женя... обещал... напечатать... мои стихи”, — всхлипывала девушка. “Не волнуйтесь, девочка, — сладким голосом произнес Аркадий. — Женя вот-вот появится!”. И в самом деле, в коридоре громыхнуло: это медленным тяжелым шагом приближался Евгений Михайлович Богат. Потом дверь распахнулась, и возникла памятнико-глыбистая, с гривой седых волос фигура классика российской журналистики, которому к тому времени было уже глубоко за шестьдесят. “А вот и ваш Женя”, — чуть ли не взвизгнул Алик Борин. Что происходило дальше — можете представить.

Ладно с женщинами и девушками. С ними я как-то разбирался. Но случались истории куда более трагикомические. Об одной из них — про “спецкора Ю. Щекочихина” — я даже опубликовал целую полосу у себя в газете. Этот тип, выдав себя за меня, объявился в городке Ейске на Азовском море, и перепуганные местные начальники во главе с местным прокурором — персонаж, надо сказать (потом я его увидел) прямо гоголевский — начали строить ему дачу. И почти построили, когда на глазах изумленной публики возник я... А однажды мне позвонил областной прокурор то ли из Винницы, то ли из Житомира и спросил: могут ли они забрать уголовное дело, которое я взял на вечер в гостиницу? Мне пришлось долго объяснять удрученному прокурору, что в его городе я никогда в жизни не был. “Так

нам же надо дело в суд передавать... — пролепетал в ответ бедолага-прокурор, не посмотревший документы у заезжего столичного Ю. Щ. До сих пор думаю: кому же тогда так повезло в жизни? А может быть, наоборот? Тюрьма бы человеку зачлась, когда потом назначали в олигархи?..

И уже совсем смешная история.

Однажды мне позвонил следователь по особо важным делам прокуратуры РСФСР и сказал, что ему необходимо со мной срочно встретиться. В то время я был помоложе и понаглее и гордо посоветовал следователю прислать мне официальную повестку. “Да что вы, что вы... Я к вам сам зайду в редакцию...” — ответил он. Следователь оказался сравнительно молодым человеком. Когда он заполнил все эти неминуемые при любом допросе пункты на бланке протокола: фамилия, имя, год рождения и т.д. — то наконец задал вопрос, из-за которого я ему и понадобился:

— Скажите... — замялся он, — предлагали ли вам взятку в количестве 252 овец в Дагестане и взяли ли вы ее, то есть овец?

— Чего? — я чуть не свалился со стула. — Я и в Дагестане-то никогда не был, а овец только в кино видел!

— Да я вот тоже не поверил, честно вам скажу, — обрадовался следователь.

— А почему именно 252? — спросил я. — Ну для ровного бы счета — 250 или 300...

— Ну, такие были показания...

— Чьи показания? Чьи?... — естественно, поинтересовался я.

— Когда-нибудь расскажу...

На том мы и расстались.

Тот следователь позвонил мне примерно через месяц:

— Взяли эту мошенницу! Все в порядке, можете не беспокоиться!

И рассказал мне следующую историю.

Оказывается, некая мошенница сказала одному дагестанскому дядьке, чей сын был осужден за разбой, что она может познакомить его с Ю.Щ., который вытащит его сына из тюрьмы, но за это он, то есть Ю.Щ., хотел бы иметь в горах собственную отару. Отара, то есть 252 овечьих головы, была передана посреднице для передачи этому Ю.Щ., но тот свое обещание не выполнил, и бедолага-сын так и остался коротать свои дни в какой-то северной зоне, куда обычно и направляют детей юга. Тогда этот дядька, обиженный, что у него ни овец не осталось, ни сына не вернули, написал жалобу генеральному прокурору СССР, в которой всякими словами клеймил этого подлого обманщика Ю.Щ. из “Литгазеты”. Так и появился у меня следователь по особо важным делам со своими бланками протоколов.

Сейчас, по прошествии двадцати лет (а эта история приключилась в 1983 году), я думаю вот о чем. А если бы не этот Ю.Щ., а я сам взял тогда 252 овцы — какое бы у меня сейчас было стадо! Да что стадо — целое стадище! И лежал бы я на какой-нибудь горной лужайке, подложив под голову пастушеский посох, кругом, куда ни

кинешь взгляд, расстилалось бы ласковое овечье море. Днем бы присаживался над ближайшим ручьем, наблюдая, как резвится в нем не перепуганная форель, ел бы мягкий овечий сыр, запивая его легким, непьянящим вином, лежал, уставившись в прозрачное небо, а когда наступали сумерки, солнце падало в ближайшее ущелье и первые южные звезды проступали на небе, я бы — для быстроты погружения в сон — начал считать овец: одна, одиннадцатая, сто двадцать первая, две тысячи триста вторая... А потом проваливался бы в сладкий сон, зная, что, проснувшись, я снова увижу пронзительно-голубое небо и солнце будет лениво подниматься из-за скал....

Да, пролетел я с этими овцами.

Но, кстати, не только я один! Однажды теплым весенним днем к писательскому дому возле метро “Аэропорт” приближались два диковинных персонажа в папахах и бурках, один из которых на обыкновенном собачьем поводке вел козла с ветвистыми рогами. Знаменитые обитатели дома заинтересованно наблюдали это диковинное зрелище, высунувшись из окон, несмотря на еще прохладную весеннюю погоду. И вот одному из таких высунувшихся один из диковинных пришельцев гортанно прокричал: “Ваксберга хочу!”. И когда наконец сначала появился в окне, а потом и выскочил на улицу Аркадий Ваксберг — тот, в папахе, который был постарше, сказал, и его голос разносился не только на весь двор, но, рассказывают, даже на ближайшие окрестности: “Аркадий, племянника из тюрьмы вытащишь — каждую неделю будешь такого иметь!” — и так резко дернул козла за поводок, что тот даже подпрыгнул на задних копытах, передними упершись в Аркадия Иосифовича...

Нет, я не обманываю! Это правдивая история! Может, только с папахами и бурками я что-то переборщил.

...Да, никогда, пожалуй, я не чувствовал себя настолько востребованным, как в восьмидесятые годы прошлого столетия.

Когда я пришел в “Литгазету”, ее главным редактором был и оставался почти до конца восьмидесятых Чаковский, великий царедворец и писательский генерал, Герой и депутат, член ЦК и лауреат всех, какие тогда были, премий, — Чак, как звали его все в редакции.

Он был вздорным и орущим, путающим лица своих сотрудников, циничным и хитрым, но в нем было три достоинства, которые помогали ему вести газету сквозь разные политические рифы: он гордился своей газетой, мне кажется, больше, чем всем, что написал сам, и был совершенно одинок без газеты; он сумел подобрать лучшую журналистскую команду в стране, не обращая внимания на “пятые пункты” в анкете; и, наконец, он умел брать удары на себя, не принося в жертву своих сотрудников.

Однажды я сам почувствовал это на себе. Когда меня, в то время едва ли не самого молодого спецкора “ЛГ”, призвали на растерзание к всесильному члену политбюро Щербицкому за одну мою статью, я был срочно отправлен в совер-

шенно никчемную командировку в Ленинград, где — по разработанной легенде — у меня сломалась нога, и я помню, как я почти месяц бездельничал в Питере в окружении своих друзей и знакомых девушек. Вернули меня только тогда, когда политбюровские страсти поутихли.

Тогда почувствовал, как важно, чтобы тебя кто-нибудь прикрыл из старших, а потом и сам этому учился.

Да, конечно, конечно... Я не идеализирую то время и самого Чаковского, который успешно выполнял задания партии, громил диссидентов и проштрафившихся писателей и отдавал целые страницы под бредовые произведения официальных литгенералов (несмотря на то, что у каждого из них были многотомники и "Избранное", издаваемое неоднократно, имена их сейчас вряд ли кто помнит.)

Но, может быть, откровенный цинизм Чака помогал нам тогда выжить. Даже когда на редакционных собраниях он говорил о "гениальных сочинениях дорогого Леонида Ильича" — говорил это с такой интонацией, что только самый тупой не догадывался: да, ребята, вы же все понимаете? ну и отлично...

И мы тоже учились этому цинизму.

Тогда куратором "Литгазеты" от ЦК был некий инструктор Слободанюк, подчиненный Севрука, который был главным по газетам. Не все в газете знали, как он выглядел. Но что значило из уст Чака: "Впиши абзац для Слободанюка!" — узнавали буквально с первых дней работы в "ЛГ".

Слободанюк (кстати, когда мы с ним познакомились, оказался вполне приличным дядькой, да и сейчас я его часто встречаю в думских коридорах) был как бы и не человеком с лицом, походкой и собственным характером. Нет, он был просто символом того, что тогда называли "линией партии". И вписать в уже готовую статью или судебный очерк "абзац для Слободанюка" означало, что в очередной речи Брежнева (а их тогда было немереное количество) следует отыскать что-нибудь подобающее — например, "иногда у нас еще воруют", или "кое-кто берет взятки", или "происходят убийства" — и присобачить эту цитату над статьей.

Были и другие способы обозначить линию партии в лице Слободанюка.

Однажды это очень изощренно, и даже иезуитски изощренно, сделал Аркадий Ваксберг. Рассказывая о всяких безобразиях сочинского мэра — тогда это называлось "председатель горисполкома" (была такая его статья "Ширма"), — он по просьбе Чака специально вписал "для Слободанюка", что "конечно, это не типичный случай у нас в стране" и что "естественно, больше таких мэров у нас нет", на что получил тысячи писем от читателей, которые радостно сообщали: "Да нет, нет! Есть!", "У нас — точно такой же...", "У нас — еще хуже...", "На нашем просто пробы ставить негде!"...

А иногда статьи снимали целыми газетными полосами: официально — наш газетный цензор просто не ставил свою цензорскую печать. Иногда, случалось и такое, главный редактор, то есть Чак, печатал не понравившуюся кому-то статью под свою ответственность.

Но я довольно рано понял, что цензура — это вовсе не ее представители, обыкновенные дяди и тети, среди которых встречались и молодые. И само цензорское ведомство служило скорее обыкновенным прослушивающим и просматривающим устройством, как жучок в телефоне или видеокамера на потолке возле лампочки. Они не принимали окончательное решение, они сообщали, что резануло их бдительное око, дальше — в Инстанцию, как тогда говорили (даже употребляли это слово в письменном виде и непременно с большой буквы, подчеркивая тем самым, что выше ее ничего на свете не существует).

Был такой талмуд, в котором содержались неприкосновенные тайны родины: военные заводы с их адресами, поселки, где располагались гарнизоны, названия ракет и их численность и т.п. На моей памяти чем дальше СССР близился к развалу, тем талмуд этот становился все толще и толще. Вдруг там появилось: нельзя указывать число заключенных выше одной зоны; преступления, совершаемые в милиции; слово “наркомания” — лишь в переносном смысле; слово “проституция” — только у “них”, там... Нет, в принципе написать-то ты мог все что угодно, но чтобы опубликовать написанное с применением слов, символов, цифр, приведенных в цензорском перечне, ты должен был поставить сначала визу в соответствующем ведомстве, что было практически невозможно. И ведомства, кстати, этим пользовались, стараясь впихнуть в официальный перечень как можно больше своих маленьких служебных тайн.

Так, допустим, гибель линкора ты должен был визировать у начальников ВМФ, сообщение о наводнении, унесшем жизнь десятков людей, — в Гидрометеоцентре, неудачу с запуском спутника — в космическом ведомстве...

Звериность цензуры по мелочам зависела от политической конъюнктуры, от очередного постановления партии и правительства, от повышения по служебной лестнице той или иной фигуры. Например, когда Чурбанов, зять Брежнева, стал первым замом министра внутренних дел — перечень запретного вдруг пополнился в невероятном количестве. Наш цензор потребовал от меня визы МВД на фразу в какой-то моей заметке: “Служебно-разыскная собака, как обычно, заблудилась”. “Да вы что, с ума посходили! Это же собака. СОБАКА! “Ко мне, Мухтар!” видели?” — я даже для убедительности гавкнул. Но меня ткнули в дополнение к перечню, представленному МВД, и там было сказано, что эти бедные Мухтары относятся к “специальным средствам”, упоминание о которых должно быть скреплено печатью пресс-службы МВД. “Ладно, черт с ней, с этой собакой. Лучше вычеркну, чтобы не возиться с МВД...” — я взял ручку и вычеркнул эту строчку, и цензор с чувством честно выполненного долга шлепнул свою печать.

Никогда нельзя было употреблять слово “КГБ”, если, конечно, не шла речь о юбилее славных органов, без визы самого комитета. Но самое интересное — мне несколько раз удавалось опубликовать статьи с разоблачениями действий персон из КГБ: просто сама эта аббревиатура по просьбе цензуры вычеркивалась (“Или иди к ним, ставь у них визу. Ха-ха”, — говорил в таких случаях цензор), и в

статье выходило, к примеру: “Тогда оперативный сотрудник остановил его... сделал обыск... привез в милицию...” — и только ленивый мог не догадаться, из какого такого ведомства этот некий “оперативный сотрудник”...

Но это, правда, уже происходило, когда эпоха Брежнева канула в мелкую вечность, а Андропова и Черненко уже отпели около Мавзолея.

Ну, а в разгар небольшого по сроку правления Андропова и такого же краткого — Черненко чиновники всех мастей настолько ошалели от предчувствия грядущих перемен (бедненькие! Знали бы они тогда, что пройдет всего ничего — десять-пятнадцать лет — и они почувствуют себя не просто выжившими, но даже выжившими вдвойне) — так вот, они вносили в цензорский реестр все новые и новые пункты.

Помню, как в редакцию заявился какой-то высокий чин из Главлита и начал перечислять то, о чем нельзя писать вообще или писать можно только с гербовыми печатями на тексте. На это совещание собрали членов редколлегии и нас, обозревателей. И чин дошел до того, что нельзя указывать маршруты перелетных птиц, так как они, птицы (!), своим полетом (!) указывают (кому?!), направление к ядерным (!) объектам. “А как же быть с песней?” — спросил ангельским голосом Аркадий Ваксберг. “Какой?” — насторожился цензор. “Летят перелетные птицы”. Помните?”. Зал, естественно, грохнул.

В общем, чушь собачья — кстати, любимое выражение Александра Борисовича Чаковского, которое он не только любил повторять по поводу и без повода, но и ставил вместо своей визы на не понравившейся ему чьей-нибудь статье...

Время подтвердило, что особой разницы нет, есть в государстве особое цензорское ведомство или его нет. Ведь та цензура, о которой мы говорим, — не чиновники, которые должны были сверять по своим тайным спискам: не выдал ли случайно журналист военную или государственную тайну, не указал ли местоположение ракетной базы, не назвал ли маршрут атомной подводной лодки, не сообщил ли, какие запасы золота в стране и сколько из этих запасов давно украдено...

Нет!..

Однажды, уже на заре перестройки, но еще до официальной отмены Главлита, наш редакционный цензор, молодой выпускник филфака по имени, если не ошибаюсь, Женя (кстати, после ухода из своего ведомства он стал неплохим литературным критиком) как-то сказал мне: “Если ты напишешь: “Советскую власть — долой!”, то я не имею права вычеркнуть эту твою фразу. Но если ты напишешь: “Советскую власть — долой!” — решили рабочие почтового ящика номер такой-то, расположенного там-то”, то я возьму свой перечень, посмотрю внимательно и вычеркну, где это было сказано и в каком именно месте. Понял?”.

Но дело-то в том, что еще до всякой цензуры, даже не доходя до главного редактора, эта фраза была бы вычеркнута, а на тебя посмотрели бы или как на сошедшего с ума, или как на не проспавшегося после какой-нибудь очередной загульной ночи.

Чтобы задушить свободу слова, не надо придумывать никакого специального запретительного учреждения типа Главлита. Да, можно зажать, заглушить, задушить, посадив над каждой газетой, над каждым телеканалом безмозглого солдафона, который даже в слове “мать” будет видеть опасность существующему режиму.

Кстати, однажды так почти и случилось: осенью 93-го, после известных событий, было решено ввести цензуру (продержалось это дней пять, не больше), но так как специалистов в этой области уже не осталось — Главлит к тому времени был ликвидирован, — то в редакции газет прислали военных цензоров, которые никак не могли понять, что же от них требуется. Один такой цензор появился и у нас в “Литгазете”. Из чьей-то статьи он вычеркнул подозрительный, как ему показалось, абзац. Когда ему объяснили, что вычеркнутые слова — прямая цитата из Бориса Николаевича Ельцина, действующего президента России, полковник, надо отдать ему должное, повел себя как стойкий оловянный солдатик: “Мало ли что этот дурак скажет”, — буркнул он и наотрез отказался поставить свой цензорский штамп на эту статью. Газета так и вышла с белым пятном на месте подозрительного президентского абзаца, на радость всему читающему населению.

Цензура — это не цензоры, это то состояние общества, в котором оно вынуждено, а иногда и желает находиться.

Когда Михаил Горбачев подарил стране гласность, как корову — крестьянину (который к этому времени уже начал забывать, как же эта корова выглядит и есть ли у нее рога), то сначала все ошалели от счастья, потом перестали понимать: почему же, кроме счастья говорить все что хочешь, читать все что хочешь и, кто умеет, все что хочешь писать, — другого-то счастья как бы и не прибавилось?

Потом, естественно, разочаровались сначала в Горбачеве с его гласностью, а следом в Ельцине с его демократией, посчитав и то, и другое каким-то беспределом, только в разных его вариантах. И стали шараться от этого беспредела, а потом — “чур меня от ваших бесконечных убийств, войн и катастроф”; потом испугались: а вдруг все, что ты говоришь, пишешь и даже думаешь, — опасно: может, они уже придумали какие-нибудь специальные устройства, чтобы читать твои мысли?.. — и, испугавшись, захотели окунуться в блаженное забытие; и, наконец устав от всего происходящего, разуверившись в самих себе, начали искать человека, который будет заменять собственное безверие, на которого можно будет свалить и собственное отчаяние, и боль, и неясность будущего, и смутные надежды, так присущие нам всем на протяжении стольких уже десятилетий, на того, одного, единственного, который скажет: “Я знаю, как надо”, — и жизнь потечет, как в ностальгических “Кубанских казаках”...

В конце концов я понял, что цензура — это прежде всего потребность самого общества на том или ином этапе его развития, один из способов самозащиты от окружающей жизни, чем и пользуется власть, поощряя этот инстинкт и поддерживая его созданием специальных государственных институтов.

Повторяю, именно работа в “ЛГ” мне позволяла писать многое из того, что хо-

телось тогда написать. И не только писать, но и печатать, хотя, естественно, играя в эти “абзацы для Слободанюка”. Но, надо сказать, эти игры вполне принимали и наши многочисленные читатели, приучившись читать между строчек и вчитываться в публицистические пассажи, находя в них частицу описания истинных реалий страны, то есть правду, которую вдыхали, как измученный болезнью человек — глоток из кислородного баллона.

Именно такое пристальное чтение и добавляло некий элемент мыслящей жизни, расширяло пространство, на котором, как на поле, покрытом сорняками, вдруг прорывалось что-то яркое, живое, новое, отличающееся от ровного серого пространства, которое особенно видно, если смотришь на знакомую землю откуда-то сверху, допустим, с самолета. Или — откуда-то издалека. Допустим, из третьего тысячелетия — в уже покинутое нами.

Да, работа в “Литгазете” предоставляла некую свободу (или ощущение свободы), а потому я особенно и не почувствовал, как официальная цензура была упразднена вместе с ее гроссбухами, заполненными настоящими и придуманными гостайнами, и перелетные птицы могли лететь без остановки в какую угодно сторону (что поначалу вызвало оторопь у многих выпускающих газеты: “Куда ни позвонишь, чтобы проконсультироваться, можно или нельзя, — везде в ответ: “Сами решайте”. А что значит сам?” — обескураженно спрашивал тогда меня один из знакомых главных редакторов).

Больше того! Я не только не заметил официальной отмены цензуры — я сам стал жертвой этой отмены. У меня была статья, на которую Главлит требовал разрешающий штамп Минздрава: большая статья о юных наркоманах. Я направил ее в Минздрав и в ответ получил то, что в принципе и ожидал: запрет на публикацию — в связи с отсутствием этого жуткого явления среди советских людей. Больше никаких усилий я не предпринимал, чтобы ее напечатать (да и какие я бы смог предпринять еще?), и статья мирно покоилась у меня в одном из ящиков стола.

Однажды зашел мой товарищ Валера Кичин, недавно перешедший из “ЛГ” в “Неделю”: “А нет ли у тебя чего-нибудь про наркоманов?”. Я покопался в столе и отдал ему эту статью: “Дарю! Только все равно ты ее не напечатаешь — Главлит требует визу в Минздраве, а те уперлись...”. “Ну, может быть, попробуем...” — как-то загадочно и коварно произнес Валерий, и я, легкомысленно не придав значения ни этой загадочности, ни этому коварству, протянул ему статью, перепечатанную на редакционной машинке.

Наутро я чуть не взорвался от возмущения, когда, открыв газету, увидел свою статью — разверстанную на целую полосу, да еще с какой-то сенсационной подачей типа “впервые говорим о том, о чем раньше молчали все”.

А надо сказать, в то время я был жутким патриотом “Литературной газеты” и появление собственной статьи, да еще напечатанной, как я тогда решил, каким-то чудовищно обманным путем, в чужой газете, посчитал для себя личным оскорблением. И уже собирался вылить весь гнев на Валеру, когда как раз он позвонил.

“Поздравляю! — в его голосе мне послышалось наглое издевательство. — Между прочим, вчера Главлит был ликвидирован! Знать надо!”. “Как ликвидирован?!” — только и сумел я вымолвить в ответ.

...Перечитал. Не слишком ли легкомысленным облачком накрыл я события, происходившие со страной, с людьми, с моими друзьями, с теми, с кем и знаком-то толком не был, но чьи рукописи, напечатанные за бугром, читал? Да и то, что происходило с самим собой, в конце концов? Запрещенные статьи, повесть, снятая Борисом Полевым из “Юности”, не ставшие спектаклями пьесы? Интересно, как бы перевернулась моя жизнь, если бы тогда, когда только начали складываться слова, под моим именем появлялись не заметки, а рассказы, не интервью, а пьеса?

В совсем ранней юности я придумал такую игру, представляя, что же случится со мной ровно через семь лет. Почему я придумал для себя именно эту цифру “семь” — хоть убей, не помню, но хорошо помню, как в этом будущем “спустя семь” я не представлял себя вне писательства. Что бы там ни случилось, но ЭТО будет! И книги, и спектакли, и литературные вечера: как те, на которые я рвался тогда с великой жадностью. А как дороги мне были хоть мимолетные, но знакомства с писателями: гордился, что сидел за одним столиком в Доме журналиста с Семеном Кирсановым; маялся перед дверью, прежде чем войти к Виктору Борисовичу Шкловскому; ошалел, когда в цедээловском ресторане мне показали небритого, неряшливо одетого, лысого мужика, который не закусывая глотал рюмку за рюмкой: “Это — Юрий Казаков”, — сказали мне, и я замороженно смотрел на человека, рассказы которого перечитывал к тому времени множество раз...

Это был тот мир, в котором я хотел существовать и спустя семь лет, и четырнадцать, и двадцать один, и дальше как уж там сложится...

Сейчас, оглядываясь назад и смутно различая контуры себя самого, тогдашнего, думаю не только о том, почему именно такие мечты плавали в юношеском воображении. Дело было не во мне одном, полуподростке-полуюноше, оказавшемся вдруг в совершенно незнакомом мире (представьте, каково после саженок в мелководной речушке учиться плавать стилем в таинственном айвазовском пространстве). Мир, куда попал тогда, мог быть и совсем иным: расчетливым, циничным, холодным, тупым, жадным, трусливым и холопским — и еще неизвестно, какой бы предстала тогда передо мной настоящая, то есть взрослая, жизнь. Но тогда в “Московском комсомольце” и вокруг него собрался народ талантливый, хулиганистый на слово, свободолюбивый, насмешливый и, конечно же, нищий. А потому и мир, который вонзался в меня, оказался и не расчетливым, и не тупым, и не холопским.

В общем, мне повезло. Но, думаю, не только в том, что оказался в ТЕХ обстоятельствах и именно в среде ТЕХ людей: еще и в ТОМ времени.

Пройдет год — и советские танки пролязгают по пражским улицам: начнет холодать. Но я еще находился в той естественной радости жизни, охватывающей нормального человека в его нормальные семнадцать лет (“Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уве-

ренности в такой же любви к себе других людей” — Лев Николаевич Толстой, “Война и мир”), и потому только по разговорам старших, окружавших меня в “МК”, чувствовал, но не придавал этому особенного значения, что жизнь начала изменяться: “ушли” из газеты ее редактора, рискованного Алексея Флеровского, у Саши Аронова сняли стихи из какого-то коллективного сборника, кого-то таскали на Лубянку...

Но голоса окружающих меня людей звучали так же звонко, и еще никто не подзревал друг друга в стукачестве.

И когда Николай Глазков, зашедший как-то поздним вечером в редакцию, сидя на полу перед уже початой бутылкой дешевого сухого вина, читал:

***“Я на мир взираю из-под столика,
Век двадцатый, век необычайный.
Чем он интересней для историка,
Тем для современника печальней”***,

— я еще не чувствовал этой уже текущей и еще предстоящей печали.

Радостно ранним утром бежал я в редакцию, радостно поздним вечером проваливался в сон.

Да, я оказался именно в ТОМ времени, и в среде ТЕХ людей. Да, на излете хрущевской оттепели, но как много и в этом излете оказалось, как в ветерке, коснувшемся тебя в бездушной пустыне, — живительных капелек кислорода.

Может быть, оказался бы позже среди этих людей — не заметил, не глотнул. Может быть, и они были бы другими, с иным душевным устройством, с иным образом мышления — и полетел бы я в совсем ином пространстве, в котором никогда бы в жизни не смущал меня чей-то “долгий и пристальный” взгляд, брошенный на тебя со стороны (цитирую строчки Саши Аронова). В жизни совершил множество ошибок, но их могло быть куда больше, убежден в этом, если бы не этот — “долгий и пристальный”.

Возможно, этот сторонний взгляд человека на твои поступки, слова, сказанные и написанные, и заменяли веру, которая должна сдерживать всяческие низменные человеческие инстинкты. По крайней мере, я что-то такое однажды читал.

Вот это да еще чувство команды, плеча рядышком, радости за твои какие-то успехи или холодное молчание близких тебе людей, если ты что-то сделал не то и не так, — вот что помогало мне потом, на протяжении всей жизни, независимо от того, что там двигалось за окном, какие лица, какие тени лиц...

Середина восьмидесятых, особенно — вторая их половина оказалась, наверное, самым удачливым временем в моей жизни: начали выходить книги, в театрах пошли мои пьесы, один за другим стали снимать фильмы по моим сценариям, впервые в жизни появились деньги (первое, что купили, — видеоманитофон и “Жигули”), меня впервые выпустили на Запад, наконец, при всей несуразности личной жизни, — росли два сына.

Конечно, конечно, все бы это пораньше, пораньше, но я не ощущал себя глубоко тридцатилетним и потому лишь изредка вспоминал то, как запрещали, снима-

ли с телеэфира и не пускали по разным приглашениям за границу...

Все пролетело, как и не было.

Теперь — писать, только писать... Обо всем том, что услышал и увидел за это время. Только это — и другого будущего я не представлял для себя.

Не представлял...

И вдруг — телефонный звонок:

— Мы из Ворошиловграда! Инициативная группа с завода имени Ленина. Мы хотим, чтобы вы избрались от нашего города народным депутатом СССР.

— Где находится ваш город? — растерянно спросил я.

— Близко. На самолете — час двадцать...

И — понеслось.

Однажды я был в осажденном Вильнюсе

В Вильнюсе я был только раз в жизни.

Прилетел в Вильнюс поздней весной 1991-го, когда в нем не стреляли, не ломали прикладами замки на дверях и сейфах и омововцы, одетые в пятнистые комбинезоны, не пробегали рысью сквозь толпу испуганных горожан.

Но Вильнюс не был мирным городом.

Возможно, подумал я, сами жители города уже успели привыкнуть к бетонным баррикадам возле парламента, к колючей проволоке, опоясывающей телецентр и телебашню, к щитам, предупреждающим о “зоне огня”, к бэтээрам, автоматам, бронежилетам, каскам.

Но мне стало неуютно, когда, обходя телебашню и замерев на секунду возле букетов цветов, положенных там, где в январе гибли безоружные люди, я наткнулся на настороженный взгляд часового в каске и бронежилете, который, не отпуская затвор автомата, другой рукой уже подносил к губам телефонную трубку внутренней связи.

И обреченность заложников слышалась мне в голосах вильнюсцев, когда как об уже заранее спланированном говорили мне: “Нет-нет, перед лондонской встречей Горбачева они снова что-нибудь устроят...”.

Нигде, как в Вильнюсе, подумал я тогда, жизнь людей — просто жизнь! — не перемешана настолько с большой политикой.

Накануне моего приезда произошла еще одна провокация — на вильнюсском международном телефонном центре.

Помню рассказ директора центра Ионаса Ягминоса:

— Я проводил совещание, когда в кабинет вбежала побелевшая начальник технического отдела: “Омововцы захватывают междугородку!”. Я вышел из кабинета и увидел на лестницах, в коридорах вооруженных до зубов омововцев: автоматы, гранаты, пистолеты, кинжалы. Учитывая, что 87 процентов работающих на станции — женщины, можете себе представить их чувства в этот момент. За несколько

минут станция была обесточена — и республика онемела: связь с СССР, с миром была прервана...

А телефонистки рассказали мне, как ворвавшиеся омовцы с криком: “Выключите связь!” — согнали их в круг на середину комнаты и держали под дулами автоматов.

— Я выполняю указ президента! — сказал директору центра отказавшийся представиться замкомандира ОМОНа и показал написанное от руки требование выдать оружие...

О том, какие в это время происходили события в Москве, рассказывал мне Эгидиус Бичкаускас, в то время — мой коллега по межрегиональной группе в союзном парламенте и постпред Литвы в Москве:

— Сообщение о том, что с Вильнюсом прервана связь, было получено нами в 17.15, хотя то, что происходит что-то неладное, я почувствовал чуть раньше — когда прекратились радиопередачи из Вильнюса. Я попытался дозвониться в МВД СССР, но мне сказали, что все заняты на коллегии. В 17.30 я позвонил в секретариат президента Горбачева. Когда сказал, что происходит в Вильнюсе, дежурный секретарь сообщил: Михаил Сергеевич на дипломатическом приеме, и в довольно невежливой форме начал меня упрекать, почему я по таким мелочам беспокою президента.

Омовцы еще были на станции, когда у Бичкаускаса состоялся разговор с тогдашним замом министра внутренних дел СССР Борисом Грозовым:

— Он сообщил, что на станции найдено 17 стволов, не уточняя, правда, что имелось в виду: карабины, пистолеты, винтовки, базуки...

Больше нигде тогда, ни в каких сообщениях эти “стволы” не фигурировали, но за несколько дней до инцидента на телефонной станции майор-десантник М. Пустобаев из Пскова (а именно оттуда в январе 91-го были брошены на Вильнюс десантники), выступая по “Эху Москвы”, предупредил, что в псковской десантной дивизии идет срочная замена автоматов, которые, по его словам, могут вскоре всплыть в самом неожиданном месте.

О “семнадцати стволах”, упоминавшихся генералом Грозовым, забыли уже на следующий день. Они исчезли точно так же, как и появились. Да и нужны они были лишь для одного: для политического эффекта, для оправдания очередного силового решения литовской проблемы.

Не получилось. Слишком большой шум поднялся в мире.

Первый замминистра МВД Литвы, с которым мы тогда встретились, сказал:

— ОМОН выполняет специальные задания. Откуда они исходят и как, я не берусь сказать, хотя у меня есть свои догадки...

— Музыку заказывают в Москве или в Вильнюсе? — спросил я.

— В Вильнюсе, но если посмотреть, кто же эти вильнюсцы... (В то время в Литве было два ЦК КПЛ: один независимый, другой — на позиции ЦК КПСС, две прокуратуры, два МВД. — Ю.Щ.) Сегодня действуют три силы. Есть прогрессивные силы в Москве и есть консервативные силы в Москве. И есть Литовская Республи-

ка — третья сила. Интересы горбачевской команды и литовской — разные, но они могут между собой найти компромиссы. А консервативным силам очень невыгодно, чтобы Литва и Союз находили какие-то компромиссы. И потому-то все вильнюсские происшествия, которые ударяют и по Горбачеву, — результат действий этих сил. Я имею в виду прежде всего партократию и генералитет.

Тогда, в июле 91-го, я писал:

“Да, партократия и генералитет. Но после командировки в Вильнюс уже могу твердо добавить: главным исполнителем музыки, заказанной антигорбачевскими силами, а возможно, и сочинителем этой музыки является КГБ СССР. И сейчас наконец-то в моем распоряжении оказались факты, это подтверждающие”.

Да, после той вильнюсской командировки у меня появились необходимые доказательства того, о чем я только мог догадываться, когда, как и мои друзья, возмущенный трагедией в Вильнюсе, примчался на внеочередную сессию Верховного Совета СССР.

Да, тогда, в январе 91-го года, на той знаменитой сессии, я помню недоумение на лицах моих коллег-депутатов, когда министр обороны Д. Язов объяснял трагедию тем, что начальнику Вильнюсского гарнизона не понравилась телепередача и он двинул на телецентр танки и десантников, а глава МВД СССР Б. Пуго пытался доказать, что ему неизвестно, кто же входит в состав “комитета национального спасения”, захватившего телецентр. И тогда мы понимали, что два министра играют с депутатами в прятки. Вернее, прячут... Мы догадывались, кого именно.

Из Вильнюса я привез документ, который все эти догадки подтвердил.

Я привез 12 страниц текста, напечатанного без интервала, — радиоперехват переговоров военных в ночь с 12 на 13 января, ночь штурма Вильнюсского телецентра.

“Народу тысячи три, прием”. — “Вас понял, прием”. — “Работаю по плану, прием”. — “Прибыл к объекту, преодолеваю первое заграждение из личного состава и автомашин, прием”. — “Гурзуф, категорически запретить стрельбу из больших коробочек”.

Дальше, за “коробочками”, — “огурцы”, потом — “помидоры”. И так далее, где, пересыпаемые матом, идут сообщения, как с поля боя, и немудреные термины, понятные даже пятикласснику: “коробочки” — танки, “огурцы” — патроны, “помидоры” — взрывпакеты и т.д.

И вдруг — читаю:

“Ваши рябенские помощники просят помощи, что там у них? Прием”. И в ответ: “Какие помощники, прием?”. Снова: “Рябые, рябые, прием”. Собеседник снова не понимает: “Помощь кто просит?”. И слышит в ответ: “Там у тебя двухсотый появился... Двухсотый, выясни мне...”. — “Что выяснить? Прием”, — упорно не понимает собеседник. Ему пытаются расшифровать: “Я говорю, докладывают те, которые прибыли с тобой в шлемах, что есть 200-й, ты понял меня? 200-й!”. Но снова вопрос: “Что такое 200-й?”

И дальше: “Я повторяю, 200-й, это приданный, приданный...”

И дальше: “Гранит-82, я Паркет-38, старший спрашивает, кто такие пестрые? Кто такие, объясните нам? Прием”. — “Те, которые в шлемах, прием”.

“Пестрые”, “рябые”, “в шлемах” — загадочные люди, которые рядом — и, судя по переговорам, для многих неизвестно кто. Из переговоров ясно, что у них появился какой-то “200-й”.

“200-й”... Что это?

И, наконец, после очередного вопроса: “Что это такое?” — ответ: “200-й, груз двести... Тюльпан. Черный тюльпан, что, забыл?”. Ему: “Мы всех людей проверили. У нас груза двести нет”. В ответ: “Уточни у соседей”.

Что такое “черный тюльпан”, мы все хорошо помним со времен Афганистана. Ну а соседи... Уже подводятся итоги операции: “131 соседей — один”. Но помните сообщения января 91-го? Убит один военнослужащий — лейтенант В. Шатских. Откуда он — не сообщалось. “Соседи, 131, один...”. Дальше идет: “Личного состава 167 наших. Груза двести нет”.

Да, тогда, в январе, никто из официальных лиц не мог признаться, откуда же лейтенант В. Шатских.

В одном из февральских номеров псковской “Профсоюзной газеты” вернувшийся из Вильнюса редактор гарнизонной газеты “Солдатская правда” Павел Дмитрюк поделился свежими воспоминаниями. “Кто из псковичей погиб?” — спросили его. “Никто... По телевидению показывали солдата в тельняшке, и все решили, что это наш десантник. Вообще наша форма очень походит на форму внутренних войск...” — заявил он, то ли не зная истины, то ли не желая говорить.

Я поднял подшивку “Известий” тех январских дней. 11 января газета сообщила, что убит военнослужащий. 15-го военный прокурор Прибалтийского военного округа генерал-майор В. Купец заявил: “В Вильнюсе выдвигали уже три версии по поводу гибели лейтенанта В. Шатского...”. 17 января из штаба ВДВ сообщили в “Известия”, что в “рядах десантников потерь нет”. Здесь же информация, что в списках МВД и МО В. Шатских не значится. И лишь 18 января “Известия” сообщают из центра общественных связей КГБ СССР: “В. Шатских — сотрудник КГБ СССР и был направлен в составе небольшой группы в Вильнюс, чтобы в пределах своей компетенции оказать содействие в стабилизации обстановки в городе”.

Почему же лишь на пятый день была сказана правда?

Ответ на этот вопрос я нашел тогда в том же самом радиоперехвате:

“Которые работали полосатые, в касках, в форменных касках, Шина, ты о них не знаешь ничего и не видел. И никто не видел...”. И далее: “Старший Паркета, прием”. — “Паркет, я Гранит-82. Запоминай и доведешь до всех. С тобой полосатые в шлемах, в шлемах, которые впереди работали, полосатенькие, не работали. Ты о них ничего не знаешь, прием”. — “Понял”.

Почему же такой завесой тайны было прикрыто участие группы из КГБ в штурме вильнюсского телецентра? Настолько плотной, что даже от своего убитого то-

варища пытались отказаться? Да потому, что участие КГБ в этой операции мгновенно, как карточный домик, разрушило бы версию, пущенную в те январские дни: и об “эмоциональном взрыве” начальника вильнюсского гарнизона, и о неведомом “комитете национального спасения”, и о стихийности всего случившегося.

Именно они, “пестрые”, отличавшиеся от десантников на самом деле особыми касками с забралами (шлемами), “работали” — по словам Гранита-82 — впереди, то есть впереди десантников. И, судя по всему, именно группа КГБ, специально натренированная на подобные ситуации, проводила эту операцию. Армия же была для них лишь прикрытием: и в ту ночь, и потом, когда разразился колоссальный скандал.

Именно их увидел начальник Вильнюсского центра радио и телевидения, который тогда рассказал мне: “Как приутихли автоматы, пришли в бронезилетах со стальными забралами, спереди — черное стекло. Старший принес рацию и сказал: “Вышка взята. Задание выполнено”.

Да, их видели в ту же ночь многие, но мало кто догадывался, откуда эти пришельцы в необычном снаряжении.

В апреле 1991 года информация об участии спецгруппы КГБ и даже ее название — “Альфа” — впервые промелькнули в печати. Тогда начальник центра общественных связей признался, что небольшая группа КГБ действительно находилась в Вильнюсе, но... прибыла в Вильнюс в другие дни, то есть не во время штурма телебашни.

Естественно, он врал.

Бывший летчик, а в то время (да и сейчас) журналист газеты “Лиетувос Ритас” Э. Ганусаускас обнародовал хронику полетов спецрейсов именно в эти дни: “Вечером 11 января с аэродрома Внуково в Москве в небо взмыли два самолета ТУ-134А, принадлежавшие правительственному авиаотряду. Самолет под номером 65994, пилотируемый командиром экипажа Палецких, приземлился в Вильнюсе в 21 час 53 минуты, а лайнер под номером..., командир которого — Жидов, коснулся посадочной полосы девять минут спустя. Эти литерные рейсы были отмечены индексом “ПК” (повышенный контроль). Пассажиров встретили семь грузовиков и в сопровождении руководителя полетов Вильнюсского аэропорта А. Дубовских выехали через запасные ворота на Лидское поле. Так 11 января прибыла в Вильнюс группа “Альфа”.

Утром 14 января из Внукова прилетели два ТУ-134А. Вновь — литерные рейсы “ПК”. Группа “Альфа” прибыла к самолетам уже не “огородами”, а по улице Дарюса и Гиренаса... Правда, победители увозили с собой и жертву — груз 200”.

Так, сделав свое дело, “Альфа” исчезла из Вильнюса, надеясь тогда раствориться во времени и пространстве...

8 апреля 1991 года Эдмундас Ганусаускас направил письмо на имя В.А. Крюкова, в котором изложил свои вопросы. Среди них были следующие:

“...2. Что Вы имели в виду, оценивая как “достойные” действия подразделения

спецназначения КГБ СССР, действовавшего в Вильнюсе в период 11–14 января 1991 года? (Данный термин был употреблен председателем КГБ СССР В. Крючковым в средствах массовой информации. — Ю.Щ.)

...4. Почему подразделению спецназначения, действовавшему в Вильнюсе 13 января, не удалось захватить и представить в качестве реального доказательства хотя бы одного боевика “Саюдиса” с вооружением?

...6. В распоряжении средств массовой информации, правоохранительных органов Литовской Республики имеется видеозапись, на которой зафиксирован личный состав группы спецназначения КГБ СССР. Эти люди могут быть идентифицированы. Намерен ли КГБ принять участие в идентификации?

...8. Что будет предпринято руководством КГБ СССР в случае, если прокуратура Литовской Республики, а также граждане, являющиеся потерпевшими, родственниками погибших, и другие лица предъявят иски к КГБ СССР о возмещении им ущерба в соответствии с действующим законодательством?”

Ответов на свои вопросы журналист, естественно, не получил.

Республиканский же КГБ отделался обыкновенной отпиской, ссылаясь на собственную неинформированность, в том числе — и о членах “комитета национального спасения”. Хотя тогда уже было известно, что эта “случайная” трагедия тщательно планировалась заранее и уже 12 января было подготовлено с десяток обращений и объявлений о захвате власти.

Знали, готовились, готовили...

9 февраля вильнюсская газета “Согласие” опубликовала письмо без подписи (но оригинал с подписью мне тогда передали). Участник того события писал: “12 января около 16 часов нас всех, 100–120 человек, собрали в одном месте и объявили, что сегодня в Литве будет восстановлена советская власть и Конституция Литовской ССР. Потом нас разбили по десяткам и каждой назначили старшего. Незнакомые люди (сотрудники КГБ, как нам потом объяснил кто-то из работников горкома) раздали нам какой-то текст и сказали, что нам поручается очень важная государственная миссия — вручить петицию Верховному Совету и Совету министров Литвы. В петиции от имени рабочих требовалась отставка Верховного Совета и правительства. Эти же люди сказали, что мы обязательно должны вручить эти требования до 24 часов, потому что потом вступят в действие танки, и если мы услышим рев танковых двигателей, то должны бросить все и бежать...”.

“Паркет старший, просьба... Я вчера пропустил фамилию в одном листке. Прошу записать и передать Паркету старшему: Панченко, орден “За службу Родине” 2-й степени, прием”. — “Фамилию, фамилию повторите четко, прием”. — “Панченко, помощник, зам мой Панченко”. — “Понял, понял... Значит, ваш зам., который по технике который, прием”. — “Правильно”.

Эту запись я тоже нашел тогда в радиоперехвате, сделанном одним вильнюским радиолюбителем.

Еще не остыли трупы, а они уже получали награды...

Повторяю, тогда, в 1991-м, когда я проводил свое вильнюсское расследование, я не мог предположить, что смотрю в зеркало, в котором отражается будущее.

Разве не точно так же, как Язов и Пуго в 91-м, в 95-м врал Борис Николаевич, что никакой войны в Чечне нет, а речь идет лишь о “восстановлении конституционного порядка”? Разве не так же, как Крючков в 91-м, отказавшийся признать участие “Альфы” в штурме телецентра и даже отказавшийся от своего погибшего сотрудника, — в ноябре 94-го Грачев отказывался от своих солдат и офицеров, пытавшихся брать штурмом Грозный под видом антидудаевской оппозиции? А “неопознанные” самолеты? Сколько раз мы о них слышали в чеченской войне, когда, не краснея, нам все объясняли, что бомбовые удары наносятся неопознанными летающими объектами? Разве не такие же вопросы, как мой литовский коллега в 91-м, мы можем задать сегодня виновникам чеченской бойни? Не так же “стихийно” проводились антидудаевские митинги, как и антиправительственные в 91-м в Литве? А неведомый “комитет национального спасения”? Ничего не напоминает, а?..

Похоже, похоже... До мурашек по телу...

Тогда, в июне 91-го, я полагал, что ничего сильнее, чем тот радиоперехват про “полосатых” и “груз 200”, я не отыщу. Оказалось — ошибался.

После 21 августа лидеры зависимой от Москвы литовской компартии настолько поспешно покидали здание ЦК, что не успели забрать часть документов, в том числе — несколько диктофонных пленок.

Их расшифровка попала ко мне в конце лета 91-го.

Это оказалась запись секретного инструктажа литовским партийным начальникам, сделанного представителем московского ЦК. Разговор, как я понял из стенограммы, состоялся спустя двое суток после трагедии у телебашни, потрясшей тогда весь мир (еще тела погибших там не были преданы земле).

Ничего более циничного и откровенного в своей циничности я в жизни не читал. Даже тогда, когда радиоперехваты чужих разговоров полетели в газеты, как стаи грязных ворон.

И вновь я оказался перед тем же зеркалом.

Сама расшифровка “тайной вечера” занимает 21 страницу текста через один интервал. Как я понял из нее, в разговоре участвовали три человека. В расшифровке они обозначены буквой А — от А1 до А3. А1 — московский гость.

Я выбрал из расшифровки лишь маленькую часть, но и из нее видно, как сквозь косноязычие собеседников проглядывает механизм адской политической машины, не сумевшей в свое время взорвать Литву и — по той же схеме — облившей чеченскую землю кровью.

Цитирую:

“А1. Должен сказать, что анализировать вашу ситуацию нам помогает опыт: начиная с Баку в 89-м году, Карабах и так далее. Ситуация очень типичная... Про-

тивник значительно и, так сказать, интеллектуальнее вооружен... Он просчитывает все...

С сегодняшнего вечера — смелее, решительнее втягивайте людей. Ни в коем случае не должно создаться впечатление, что вы теперь оправдываетесь. Не оправдывайтесь! Вы просто видите, что процесс пошел на очередную конфронтацию... Остановите, я прошу, литовскую интеллигенцию... Когда был митинг в Тбилиси, Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе (к которому я вообще сложно отношусь, но талант которого не могу не признать) шел навстречу толпе грузинской, порвав рубашку, и кричал: “Братья!”. После этого его позицию мог расшатать только Гамсахурдия...

Пусть бы Родионов лупил сколько угодно, а Патиашвили (в то время — первый секретарь ЦК Грузии. — Ю.Щ.) его бы останавливал. Тогда он был бы незыблемым. А он сидел в своем кабинете, схватившись за голову. И все проиграл, все.

A2. Так вы считаете, что Бурокаявичюс (в то время первый секретарь “московского” ЦК Литвы. — Ю.Щ.) так же подставлен, как и Шеварднадзе?

A1. Как Патиашвили... Почему как Шеварднадзе?

...A1. Самое страшное для меня сейчас — отрыв от вас массы, лишение социальной базы. Причем, если вы существуете в революционных, экстремальных условиях, надо подымать материал снизу. Как Ельцин взял, поднял, потом сразу выкинул. А что он показал тем самым? Что он — Сталин.

A2. Этот материал слишком безаналитический характер таки носит. Который снизу идет. А общее такое пораженческое настроение есть... Вот эта формула соединения массы и лидера — она последние месяцы была смыта... Когда на Шведа (в то время 2-й секретарь “московского” ЦК Литвы. — Ю.Щ.) в Таурге совершено было покушение — сработало. Элементарный синдром животного страха... Если так назовем его грубо, грубо.

A1. В каждой профессии есть свой профессиональный риск. Военных убивают, монтажники-высотники сваливаются со зданий, в политиков стреляют... А убитый коммунистический лидер — это сила коммунистической партии. А что вы хотите сказать? Партии все равно придется пережить катакомбный период. Это уже ясно. Мне это ясно с 88-го года. Вот был бы у вас убитый Швед... И портрет на стенку, и лозунг красный... А что? А вы как хотите?.. Это трагически, но это так. Это объективная реальность. Реальность гражданской войны... Поэтому надо идти в массы, контактировать... Все что угодно... И ни в коем случае этих связей не разрывать. Никакая охрана здесь не поможет... Когда надо будет “снять” кого-то — снимут. Хоть всю “девятку” подключи...

A2. В нужный момент...

A1. Я могу вам гарантировать, что никто никого убивать здесь не будет, потому что они (видимо, имеется в виду “Саюдис”. — Ю.Щ.) тоже понимают: убить сейчас сильного лидера — это значит создать Че Гевару. Тогда будут многочисленные похороны и все, что за ними следовало... Похоронный бал.

...А2. Евгений, как вы сейчас спрогнозируете новую ситуацию в Литве?

А1. Есть несколько стратегических сценариев, которые мы сейчас будем готовить. Первый — прямое президентское правление на всей территории СССР. С контролем дорог, с мобилизацией части населения в армию...

А2. По форме это реальный сценарий...

А1. Но второй сценарий — это первый сценарий. Вторым сценарий — это раскол в республиках, наиболее активно выявляющих себя. С созданием республик-дублеров. В Эстонии, в Латвии... Откол Виленского края, Клайпедского района... И создание ассоциаций таких республик... И начало политического воздействия на них. Третий сценарий — локальные президентские формы — показал, что он неэффективен.

А3. Да, неэффективен...

А1. Четвертый сценарий — пассивное выжидание, которое приведет к захвату власти прежде всего в центре...

А3. Ну а если в Прибалтике прямое президентское правление?

А1. Давайте с вами проиграем это. Значит, в Прибалтике прямое президентское правление, а в Москве Ельцин будет призывать русских солдат дезертировать из армии?

А3. Да...

А1. А московские радиостанции будут кричать на всю страну, в том числе и на Прибалтику, о том, что, так сказать, прибалтийские братья, знайте, что это кровавый, так сказать, режим, преступный, фашистский... Нюрнберг...

А3. А ленинградское телевидение...

А2. А литовское...

А1. Которое показывало морг... Потому — второй сценарий... Смотрите, просто ведь... Виленский край отрывать, Клайпедский край отрывать... Объявлять здесь Литовскую советскую социалистическую республику. Вам или, не знаю, кому угодно становиться президентом этой республики. И вот тогда уже просить войска для защиты суверенных интересов.

А2. Как законному правительству.

А1. Как законному правительству... И пусть он (Ландсбергис. — Ю.Щ.) там в Каунасе строит правительство и играет в свою игру.

А2. А Каунус назвать Ковно...

А1. Вспомнить название... Чья это территория?... Что, в Латвии не найдется желающих? Ну? Что, потом нельзя создать ассоциацию этих республик? А тогда уже можно будет говорить с Борисом Николаевичем... Красный Союз. И тогда мы посмотрим, что будут делать остатки Виленского края... Тогда вы, ваш полет... Вы первые осознали критическую ситуацию... А то будете ждать президентского правления... Придет танк или не придет... Он придет и скажет: идите вы на... То есть к партии. Бегайте тут, разносите мне горячий чай, а я постреляю...

...В чем я вижу ошибку в плане наведения порядка в Литве? Первое. Комитет

национального спасения оказался анонимным, а это означает, что ему сейчас может быть приписан любой состав. На площади у Верховного Совета обсуждается, кто именно вошел в состав Комитета национального спасения.

А.3 А как надо было?

А.1. Надо было разыграть политическую комбинацию. То есть надо было не только объявить, кто именно входит в Комитет, но и отрезать их от партии. Разыграть это сознательно, что как бы Комитет и партия находятся в противоположных отношениях. Таких людей ничего не стоило найти, обеспечить такую операцию. Нужно было три аналитика и две недели работы... Этого сделано не было. И в общественном мнении — что Комитет и есть КПЛ. Председателем Конгресса демократических сил является первый секретарь КПЛ, его заместителем — первый секретарь горкома. А именно Конгресс демократических сил и породил Комитет национального спасения. И когда при этом ответственные люди заявляют, что они не знают его состава... Возникает вопрос: как председатель Конгресса демократических сил не знает состав Комитета национального спасения, если конгресс его и образовал? Он может не называть фамилии, но не знать он их не может... То есть заведомо этот орган находился в режиме, его дискредитирующем...

...Ситуация, как мы видим, тяжелая... Какой мы видим здесь выход? Интенсивная контрпропагандистская деятельность. Здесь надо сделать акцент на разрушение мифов, создаваемых нашими политическими противниками. Один из мифов — это миф о военной диктатуре. Нужно, чтобы было сказано иронически, мягко, деликатно... Мы верим в разум литовского народа, и он понимает, что Прагу брали пять минут и что, если бы это был военный переворот, то он бы так не закончился, и что первым его объектом был бы Верховный Совет, и что бессмысленно от военного переворота ограждать себя баррикадами, зная, что любой вертолет может сесть на крышу этого дворца.

А3. И проводить его в субботу и в воскресенье...

А1. Вторая цель, которая тут же решается, — создание образа силы армии. Не впрямую, а наоборот... Ну, ребята, если бы мы были армией, то тут бы вообще был ужас... Надо отслеживать их мифы, которые они пытаются создать у населения. Отчитывать средства массовой информации, если они не заткнули рот, выслушивать радиопередачи, если мы их не выключили, просматривать тезисы на митингах, если эти митинги разрешены... У вас есть возможность делать это через телевидение, но гораздо более тонко и комплексно, чем это сейчас делает военный человек, сидящий на экране и читающий материалы... Понятно?

А2. Да...

А1. Должна быть формула: КПЛ — это партия гражданского мира, которая в условиях нарастания процесса, вызванного провокационными силами, сделала все возможное для того, чтобы спасти ситуацию, так сказать, предотвратить... К сожалению, все тут сделать не удалось... Мы стремимся быть сильнее и зовем всех наших граждан... Мы не позволим дальше всякие нападки... И призываем к

разуму политиков, что каждая категория населения, доведенная до отчаяния, будет давать отпор... Вы собирали дружинников...

А3. Да.

А1. Они сидели у вас в телецентре. Если вы не продемонстрируете теперь, что вы их защитники... Если вы не можете ими быть, то хотя бы прикиньтесь ими... Защищали, защищаем и будем защищать тех людей, которые туда пошли... И не позволим их марать... Они не замарали себя кровью, они стояли, они препятствовали, они встали стеной... Не важно, что это не вполне объективно. Мы сейчас говорим о контрпропаганде...

А2. Где и как теперь дружинники, которые были втянуты в игру... Сейчас у меня лежит список на сорок пять человек те, кто остался без работы. Они спрашивают: дайте мне хоть какую-нибудь справку, оправдательный документ... Повестку из военкомата, медицинскую справку, пусть фиктивную... Встали перед дилеммой и не знаем, как выбраться из этой ситуации...

А1. Создайте здесь фонд, сделайте их работниками этого фонда... Ну, условно, за милосердие и заботу о заблудших кошках... Что кошек надо лечить... Тех, у которых отваливаются хвосты, а товарищи проявили себя на этом поприще... Вот тогда люди поймут, что вы их защищаете...

...В чьи-то уста я вложил формулу, что если авантюристическая политика Ландсбергиса не будет пресечена, то не будет ни советской республики, ни КПЛ, ни Ландсбергиса, а будет одна братская могила, в которую будут положены и те, и другие... Имея на территории республики атомную станцию, имея неуправляемые социальные процессы, имея сегодняшние призывы к расправам и все прочее, что мы получим завтра?.. Коммунистическая партия Литвы должна сейчас встать так и все время всячески подчеркивать свою независимость от центра. Вас спрашивают: как, вы поддерживаете Горбачева? Это вы у него в кабинете его поддерживаете, а не здесь, не на улице... Что практически было сделано? Идут, идут войска... Профессионалы, которые давно выведены из армейского подчинения, то есть войска Вадима Саныча (Крючкова. — Ю.Щ.). Они идут, им деньги платят за это, да? Зачем к ним сзади выстраиваются какие-то дружинники, кто-то еще своим старческим плевком хочет попасть в глаз Ландсбергису... Какой в этом смысл? Какой смысл в этих добавках? Войска должны сделать свою работу и уйти, они анонимны... Они сейчас в Литве, завтра где-то, а вам здесь после этого жить и работать. Значит, ваша задача в момент этой акции всячески содействовать милосердию, гуманности, а потом брать власть... А не в этот момент мараться склейкой с ними... Этот венгерский сценарий показал, к чему это приводит, и чешский тоже. Это когда они решительно проводились, а сейчас же вы видите, что здесь не то... Разве опыт Тбилиси не показал, как это на самом деле все происходит? Пусть все время процесс идет вниз... Этих людей, независимо от того, что они говорят о вас, — спонсировать, поддерживать, требовать от центра денег... Готовить свою социальную базу снизу...

А3. Никто даже видеосъемку не провел от вас...

А1. Даже во время тбилисских событий была альтернативная съемка... В Китае на площади Тянь Ань Мэнь они сами подставляли своих солдат под пули — только для того, чтобы это снять, как в них стреляют... Любая группа, которая готовит акцию, готовит одновременно с ней контрпропагандистский канал...”.

Зеркало, зеркало...

Предполагал ли я тогда, в 91-м, оставляя в архиве расшифровку той “тайной вечери” в Вильнюсе, что спустя шесть лет буду вчитываться в нее как в документ, раскрывающий суть бездарной чеченской кампании? И политической, и военной.

“Второй сценарий — это раскол в республиках, наиболее активно выявляющих себя. С созданием республик-дублеров...”. “Вам или, не знаю, кому угодно становиться президентом этой республики. И вот тогда уже просить войска для защиты суверенных интересов...”. “Акцент на разрушение мифов, создаваемых нашими политическими противниками. Один из мифов — это миф о военной диктатуре...”. “И не позволим их марать... Они не замарали себя кровью, они стояли, они препятствовали, они встали стеной... Не важно, что это не вполне объективно. Мы сейчас говорим о контрпропаганде...”. “Создайте здесь фонд, сделайте их работниками этого фонда... Ну, условно, за милосердие и заботу о заблудших кошках... Что кошек надо лечить”.

Читаешь про Литву — вспоминаешь Чечню.

Кажется, что те же самые люди, точно так же отгородившись от посторонних глаз, придумывали оппозицию, пытаясь, как было в ноябре 94-го года, под ее прикрытием войти в Грозный. Так же привозили из Москвы “президента” Завгаева, которого никто в Чечне иначе как “стюардесса” или “аэродромный бомж” не называл (он “президентствовал” в аэропорту “Северный”, окруженный тройными цепями охраны федеральных войск). Так же создавали мифы о сопротивлении, не брезгуя связываться с уголовниками типа Гантамирова. Да и о “заблудших кошках” точно так же заботились, кидая миллиарды и миллиарды для поддержки тех, кто по замыслу Москвы должен был олицетворять собой силу, противостоящую Дудаеву...

И, умом понимая, что это другие люди, совсем другие, — чувствую: да нет, те же, те же...

Но, думая сейчас о схожести ситуаций, я понимаю и — куда, в каком направлении мы двигались и движемся.

Помню, тогда, в 91-м, Эгидиус Бичкаускас не раз говорил, что все силовые методы в Литве направлены прежде всего на дискредитацию Горбачева. В конце 1994-го Лобов (в то время секретарь Совета безопасности), по словам Сергея Юшенкова, откровенно заявил, что “для повышения рейтинга президента нужна маленькая победоносная война”.

Может быть, и время надо измерять в децибелах политического цинизма?..

Однажды я писал президенту

Я себя не причисляю к политикам. Я журналист. Журналист, вовлеченный в политику — сначала как народный депутат СССР, потом дважды как депутат Государственной Думы. Точно так же, кстати, считаю себя не писателем, а журналистом, занимающимся литературой. Или — журналистом, пишущим пьесы.

Но именно вовлеченность в политику тогда, в 91-м году, помогла мне точнее рассмотреть детали, фрагменты, оттенки развертывающейся на глазах истории и помогает сегодня понять, почему же тот переломный для всех нас год, полный — особенно в его середине — таких надежд и ожиданий, привел к тому, что есть сегодня.

Ох этот 91-й год!

Как много в нем чего было!

Сейчас, вспоминая события 91-го, просматривая то, что писал тогда, и те документы, которые тогда попали мне в руки, вдруг начинаю чувствовать себя стоящим перед зеркалом, в котором в 1991-м уже отражалось будущее, а я его еще не в силах был представить.

Да, все вспоминаю, вспоминаю тот поворотный для нашей истории девяносто первый. Его начало, январь. Его середину — август. Его завершение — декабрь. Беловежскую пушу. Уход Горбачева. Крах Союза. Начало Чечни, которая — тогда еще никто не подозревал — сыграет такую роковую роль в последующей истории России...

В статье “Литовская карта” я тогда написал, может быть, излишне романтизируя Михаила Горбачева:

“...Так готовилась операция, которая потом так больно ударила не только по Литве — по престижу СССР и по репутации Президента. И только те, кто знает всю правду, молчат. Молчат, не смущаясь ложью одних, насмехаясь над стремлением найти правду — других.

Кому они служат?.. На кого рассчитывают?..”.

“Литовская карта” была опубликована 10 июля 1991 года.

Я хорошо помню тот вечер, когда статья подписывалась в печать. Типография тогда еще находилась на Цветном бульваре. Я слонялся по длинному коридору, ожидая чистую полосу, но даже не радовался тому, чему естественно радуется каждый журналист, сколько бы лет он ни проработал в газете, — вылетевшей наутро сенсации: все-таки “Альфа”, все-таки раскопал... Нет! Не радость я тогда испытывал — непонятную и неуловимую тревогу перед открывавшимся будущим, перед тем, что еще может произойти. В Вильнюсе? В Риге? В Тбилиси? Или в Москве?

Ну хорошо, думал я, газета выйдет, штормовое предупреждение будет получено... А если Горбачев его не услышит? Газета до него не дойдет? Или не доложат

помощники? Или — скроют? Нет, нет, думал я тогда, что-то еще надо делать...

Да, решил я, письмо... Надо писать письмо... Я понимал, что на имя президента приходят тысячи писем ежедневно, но, наверное, письмо от депутата — и такое письмо — до него должно дойти?

Тут же в коридоре я набросал письмо к Горбачеву, в котором потребовал отставки Крючкова.

— Федор Михайлович, — подошел я к Бурлацкому, тогдашнему главному редактору “Литгазеты”, который, как и я, в то время был народным депутатом СССР. — Может, тоже подпишете?

Бурлацкий вычитывал свое очередное полотно — такую же, как всегда, политическую жвачку, которой он терроризировал газету.

Он прочитал и посмотрел на меня как на тихопомешанного:

— Это зачем?

— Все понял. Извините за предложение...

(Недолгое правление Бурлацкого в “Литгазете” запомнилось мне прежде всего им самим: он принадлежал к тому типу людей, которые настолько влюблены сами в себя, что даже готовы гордиться собственной творческой ничтожностью. Когда 19 августа “ЛГ” в числе других демократических изданий была запрещена, он отсиживался в Крыму, бросив газету на произвол судьбы, за что потом и был с позором изгнан с поста главного редактора.)

Утром помощница перепечатала письмо на моем официальном бланке, и я сам отвез его на Старую площадь.

Газета вышла, письмо ушло...

Я думал, что меня тут же оыщут, захотят встретиться, узнать подробности... Но там, в Кремле, никто меня не искал и никаких подробностей узнавать не захотел, что несколько меня даже обидело.

Сейчас уже не помню, как текст письма оказался на телевидении (или я сам им передал по факсу, или это сделали мои друзья), но вдруг в вечернем выпуске “Вестей” я с удивлением услышал, что такой-то, такой-то потребовал от президента Горбачева отставки председателя КГБ Крючкова. И, честно, поразился мужеству своих коллег: все-таки телевидение — не газета, контроль над ними куда жестче, наказание за самодеятельность несравнимо строже.

(Собственная же газета, “ЛГ”, опубликовала письмо лишь после путча.)

Несколько дней после выхода статьи я жил как в лихорадке — каждый день ждал, что что-нибудь произойдет. Но июльская Москва была тиха и прозрачна, как воздух в школьных сочинениях.

Помню, в конце той недели я приехал в Красновидово, в новый писательский поселок к северу от Москвы. Мне надо было посоветоваться с Александром Михайловичем Борщаговским.

...Мне было восемнадцать лет, я уже год работал в “Московском комсомольце”. Поехал в Коктебель. Он был первым живым писателем, с которым я познако-

мился. Тогда только-только вышел фильм по его повести — “Три тополя” на Плющихе”, помните?.. И потом я вырастал на глазах Александра Михайловича и его жены Валентины Филипповны. В самые непонятные моменты жизни я приходил в их дом.

Я искал поддержку, я ждал поддержки, я мучительно думал, что же делать дальше.

— Надо, чтобы тебя поддержал Арбатов. Пошли к нему, — решительно сказал Александр Михайлович.

И мы пошли к академику Арбатову.

Он согласился сразу же:

— Надо, чтобы письмо к Горбачеву в твою поддержку подписали несколько человек, несколько ученых. Я подумаю, кто согласится. Пиши болванку...

Целую ночь я писал. Текст вышел злым и резким, куда злее и резче, чем мое собственное: о Крючкове, о Литве, о том, что может случиться завтра.

Утром пришел Георгий Аркадьевич и, прочитав мою болванку, сказал:

— Нет, так не пойдет... — и взял у Борщаговского чистый лист бумаги. — Вот так будет правильнее, — минут через десять он протянул мне новый текст.

Письмо к Горбачеву получилось глаже, мягче, “дипломатичнее”, как прокомментировал сам Г.А. Арбатов.

— Ну хоть так, — помню, немного разочарованно вздохнул я и открыл сумку, чтобы положить туда лист с текстом, написанным Георгием Аркадьевичем.

— Нет, так нельзя! — остановил он меня. — Надо перепечатать.

— Завтра в редакции и перепечатаю... — удивился я.

— Нет-нет... Надо, чтобы сейчас текст был на машинке...

У Борщаговских машинки не оказалось. Александр Михайлович пошел к соседу Огневу за машинкой.

Когда я текст перепечатал, Г.А. Арбатов разорвал лист, исписанный его рукой...

В понедельник утром, не успев я прийти в редакцию, мне сообщили, что Арбатов ждет меня у себя в Институте США и Канады.

Пока его секретарша перепечатывала текст на депутатском бланке (а Георгий Аркадьевич тоже был народным депутатом СССР), он сам засел за “кремлевку”:

— Кроме меня подпишут Шаталин, Рыжов, Федоров, Яблоков...

Я поставил фамилии по алфавиту.

— Нет, давай первым поставим Юру Рыжова. Ему все равно...

Вечером я уже отвозил письмо по тому же адресу, на Старую площадь...

Но и это письмо, как впоследствии оказалось, никакой существенной роли не сыграло да и вряд ли, наверное, могло сыграть: 19 августа уже нельзя было оставаться.

...Если уж восстанавливать новейшую историю — ту, которой сам стал свидетелем и фрагменты которой пытаюсь склеить сегодня, как в детстве складывал из кубиков фигуру коня или волка, — то даже незначительные ее детали, возможно, помогут понять, как же мы живем, и почему мы живем именно так, и, наконец, был

ли хоть один шанс на то, чтобы мы жили совсем другой жизнью. То есть можно ли было повернуть ход истории?

Да, я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, но если бы вдруг? А что бы случилось, к примеру, если бы тогда, в июле 91-го года, Михаил Горбачев поверил, что Крючков готовит переворот, если бы он разогнал всю эту шатию-братию? Разгорелась бы в середине девяностых чеченская война? А Союз бы остался? А сам Горбачев как президент?

Осенью 91-го я напомнил Михаилу Сергеевичу о том своем предупреждении.

Да, уже стояла поздняя осень, последняя осень президента государства, которое через два месяца перестанет существовать...

Мне вдруг захотелось сделать с ним большое интервью для "Литгазеты". Я направил в его канцелярию довольно наглый факс, в котором попросил о встрече, чтобы, написал я, "обсудить с Вами, как говорили раньше, текущий момент".

Весь следующий день я носился по Москве по каким-то делам и появился в редакции после обеда. Редакция стояла на ушах.

— Где тебя носит? Тебе уже трижды звонили из приемной Горбачева! Вот телефон! Быстро звони! — накинулись на меня.

Я позвонил.

— В 17.00. Михаил Сергеевич ждет вас...

Посмотрел на часы: было уже около четырех. На мне были джинсы и свитер — не самая подходящая одежда для визита к президенту.

Схватил машину, быстро переоделся, нацепил депутатский значок, который обычно никогда не надевал, кинул в сумку диктофон и — поехал.

Помню, как шел сквозь посты охраны по кремлевскому двору. Уже стемнело, накрапывал дождь...

Конечно, я не раз видел его на съездах народных депутатов, но виделся с ним один на один только раз в жизни. И это была очень смешная встреча.

Летом 1989 года Аспеновский институт пригласил меня в Германию на какую-то политологическую конференцию. Это, по-моему, была одна из первых поездок на Запад — до 88-го года меня никуда особенно не пускали.

Я увидел Бонн, сошедший с ума: в Бонн приехал Михаил Горбачев, и, казалось, не было стены в городе, с которой бы не улыбался немцам наш Михаил Сергеевич.

Тогда, в Бонне, и произошла моя первая встреча с Михаилом Горбачевым.

В день окончания визита меня отыскивали в отеле:

— Поехали на проводы твоего президента...

Сквозь бесконечные спецслужбы мы добрались до резиденции немецкого президента Вайцзекера. Над зеленой лужайкой барражировали вертолеты... Суетилась наша "девятка"... По периметру лужайки стояли гости, приглашенные на официальные проводы, куда воткнули и меня... Появился тяжелый горбачевский "ЗИЛ". Охрана бежала рысью рядом с машиной. Горбачев с Раисой Максимовной, президент Вайцзекер с супругой обходили гостей... Неожиданно Горбачев замер возле меня:

— Как вам наш визит?

— По-моему, хорошо, — растерянно ответил я, впервые в жизни столкнувшись с одним из тех, чьи аляповатые портреты вывешивались на Центральном телеграфе в майские и ноябрьские дни.

— Наконец-то мы снова вместе... — произнес Михаил Горбачев, пожал руку и пошел дальше вдоль строя.

— Что он тебе сказал? — подбежал ко мне парень из немецкого МИДа, с которым мы познакомились накануне на завтраке у Геншера.

— Он сказал: “Наконец-то мы снова вместе”... — торжественно заявил я.

— И что это означает, как ты думаешь? — спросил мидовец.

— У меня есть три версии... — важно начал я. — Первая: он принял меня за сотрудника своей личной охраны. Вторая: он мне сообщил, что он снова с Раисой Максимовной.

— Ну а третья?

— А третья... Президент Горбачев сказал, что Россия и Германия снова вместе. Понял?!

— О! — парень поднял вверх большой палец и, бросив на ходу “спасибо”, исчез в толпе своих коллег.

На следующий день я получил от этого парня карту, о существовании которой я знал, но которую никогда, естественно, не видел в глаза: раздел Европы с подписями Сталина и Риббентропа. Тогда “ЛГ” впервые опубликовала эту карту.

Помню, еще в первый же день меня отыскал в гостинице Джон Кохан, шеф московского бюро журнала “Тайм”, которого прислали в Бонн для освещения визита.

— Ты знаешь, я сейчас спрашивал у немцев на улице, как они относятся к визиту Горбачева. Немцы в него влюбились. Одна старушка мне даже сказала: “Я счастлива, я счастлива... Я была так счастлива только в 33-м году...”.

Люди в Бонне действительно были счастливы.

Да и мы тогда не особенно грустили.

Вот какое веселое было время.

Мог ли я тогда представить, что спустя два года стану свидетелем сцены, которая до сих стоит перед глазами...

Это было 1 мая 91-го, в последнюю первомайскую демонстрацию. За мной зашел Джон, мы пошли гулять и, сами не зная почему, влились у Маяковки в уже редкую колонну демонстрантов. Чем ближе мы подходили к Красной площади, тем меньше и меньше оставалось людей в колоннах. На Красной площади возле Мавзолея мы остановились. Внизу орали какие-то сумасшедшие. Они кричали: “В отставку, в отставку!..”. Вереница вождей уже уходила. Последним был Горбачев. Он вдруг остановился и замер, глядя на толпу, которая кричала и кричала: “В отставку, в отставку!..”. Он стоял и смотрел.

От него уходили, чтобы потом окончательно предать в августе 91-го.

Он сам, Горбачев, изменил страну настолько, что даже его ближайшее окруже-

ние не боялось бросить, оставить, предать своего лидера. (“Имея такую армию, такой КГБ, я мог бы править еще лет двадцать”, — помню, тогда, в Кремле, еще президентом Союза, сказал мне Михаил Сергеевич.)

От президента Ельцина не уходили — он сам выгонял людей, которые, как ему казалось, стали не его. Лично не его. И оказался большим бывшим секретарем обкома партии, чем Горбачев — бывшим секретарем крайкома.

Горбачев стеснялся тбилисских событий. Ельцин — с упоением рассказывал, как и где будут стоять снайперы.

Горбачев пытался окружить себя не только преданными (да, да, как всегда, когда преданность себе лично ценишь выше, чем преданность делу, из-за которого ты все это начал, и жестоко ошибся: самые преданные и предали), но и людьми умными, смотрящими не только в рот начальнику, но и умеющими и не боявшимися самостоятельно мыслить. Горбачев — может быть, сжав зубы — ценил в своем окружении Чацких. Ельцин их не мог терпеть в своем окружении, он культивировал Молчалиных, которые потом сами себя и воспроизводили.

Однажды меня допрашивали

Когда в июле 1991 года, после статьи “Литовская карта”, я написал письмо М. Горбачеву о том, что В. Крючков готовит военный переворот (см. предыдущую серию), у меня начались всякие приключения.

В конце июля я с сыном Костей, тогда еще двенадцатилетним, полетел в Крым. И почувствовал, что нас с ним не двое, нас — больше. Нас было больше на коктейбельском пляже, когда я то и дело натыкался на людей, которые говорили, что я с ними давно знаком. Нас было больше в Симферополе, возле дома моего товарища. И когда потом мы ехали в Севастополь, где в это время мой товарищ снимал свой фильм, мы тоже были не одни: “Жигули” и “Москвич”, не очень-то скрываясь, сопровождали нас.

Я достаточно спокойно отношусь к “наружке”, за годы работы не раз оказывался в подобных ситуациях, а однажды в Киеве, занимаясь какой-то бандитской группировкой, даже сам ездил на милицейской “семерке”, с любопытством выспрашивая офицеров, чем же их привлекает подобная работа.

Я научился чувствовать их присутствие за спиной так, как будто их и нет. Но никогда не пытался относиться к ним серьезно. Больше того, даже когда я был убежден: да, меня ведут! — всегда пытался убедить себя, что это мне только кажется и что их присутствие — лишь игра воспаленного воображения.

Так в принципе я успокаивал себя и в том крымском путешествии.

Но спустя недели полторы, уже в Москве, я неожиданно смог убедиться, что они все-таки существуют не только в иногда затуманенном сознании.

Произошло это совершенно случайно.

Уже шел август, был вечер и мелкий дождь.

Я одиноко бродил по переулкам в центре Москвы. Было печально и одиноко — сейчас уже, естественно, не помню, отчего.

Свернув с Герцена налево, через Патиашвили вышел на Воровского, а оттуда — на улицу Писемского: окна в литовском постпредстве светились. Я поднялся на второй этаж, спросил у Наташи, секретаря постпреда, на месте ли Эгидиус. Он еще не ушел. Мы сидели с ним вдвоем, пили коньяк с кофе, потом виски с кофе, потом просто кофе... Дождь за окном шел все сильнее и сильнее. Нам было о чем говорить, что вспомнить и о чем задуматься. Так прошел, наверное, час, когда дверь распахнулась и появилась встревоженная Наташа.

— Только что кто-то позвонил по телефону и спросил, когда вы собираетесь идти домой, — сказала она мне. — Вы никого не ждете?

Я никого не ждал. Больше того! Никто и не мог знать, что я собираюсь в литовское посольство: я сам не подозревал о том, что печальное путешествие по московским переулкам неожиданно приведет меня в кабинет Эгидиуса Бичкаускаса.

Помню, что я мгновенно протрезвел...

Друзья из литовского посольства отвезли меня домой, на Лесную, довели до подъезда, вместе со мной поднялись на второй этаж, мы вместе открыли дверь...

— Все в порядке, спасибо... — сказал я.

Жена ночевала на даче. Я оставался дома один.

Тупо уставился в телевизор. Я не мог понять, что же такое произошло сегодня вечером.

Помню, вздрогнул, когда зазвонил телефон. Поднял трубку. Трубка молчала. Положил. Снова звонок. Поднял: "Алло, алло!". Трубка молчала. И еще один звонок. И еще один.

И тогда я вдруг испугался. Испугался сильно, по-настоящему, так, как пугался, наверное, только в детстве, один в темной комнате. Я понимал, что все это какой-то бред, что ничего не может случиться, что я, в конце концов, взрослый мужик, да и как-никак депутат. Но страх был сильнее меня.

До сих пор не могу отделаться от чувства неловкости, когда позвонил Васе Голованову и попросил его подъехать ко мне на Лесную...

Утром выяснилось, что у "Жигулей" жены, которые из-за какой-то поломки она оставила во дворе, исчезли два колеса.

Ну а потом был рассвет 19 августа, когда все и началось.

Около шести утра зазвонил телефон.

— С вами говорит офицер Комитета госбезопасности. В Москве — военный переворот. Вам надо уйти из дома, — услышал я.

— Чего-чего? — переспросил я, со сна плохо соображая, кто и что мне хотел сообщить в этот рассветный час.

А когда сообразил, то не придавал этому звонку никакого значения, решив, что таким странным образом кто-то из моих товарищей, скорее всего после веселой разгульной ночи, решил мне пожелать доброго утра.

И снова приготовился уснуть, но тут позвонил Нугзар Попхадзе, человек, близкий к Эдуарду Шеварднадзе, потом — Марк Дейч со “Свободы”: “Ты уже знаешь?”.

Когда мне позвонили с радиостанции “Эхо Москвы” с просьбой приехать и сделать заявление по поводу выступления военных (в этот час еще не звучали чарующие звуки “Лебединого озера”, руки Янаева еще не дрожали, а аббревиатура “ГКЧП” пока никому ни о чем не говорила) — я уже был одет.

— Хорошо, еду... — сказал я.

Накинул любимую кожаную куртку, нацепил на нее депутатский значок, кинул в сумку диктофон, несколько казавшихся мне тогда важными бумаг, три кассеты с исповедью агента КГБ — шофера английского посла и захлопнул дверь, чтобы вернуться домой лишь спустя трое суток.

Троллейбус шел по утреннему городу. На Садовом кольце я впервые тогда увидел танки.

Когда я пришел на Никольскую, где находилась тогда радиостанция “Эхо Москвы”, и по узкой лестнице поднялся в студию, то увидел Сергея Корзуна в окружении людей в одинаковых костюмах и с одинаковыми лицами.

— В эфире “Эхо Москвы”, в эфире “Эхо Москвы”, в эфире “Эхо Москвы”... — повторял и повторял Сергей.

— Да кончай ты, — лениво бросил один из гэбэшников. — Мы же вас отключили...

— Вам надо отсюда уйти... — шепнула мне какая-то девушка.

И я оказался на улице. В самом центре Москвы, уже наполненном солдатами и танками. Так мгновенно изменился московский пейзаж.

Что было потом, всем известно...

Сейчас, натываясь иногда на воспоминания о тех августовских днях, особенно на те, которые были написаны и изданы тут же, по горячим следам, поражаешься их наивности и детскости: много восклицательных знаков, мало — вопросительных. Казалось, что тогда каждый, описывая только что прошедшие события и личное участие в них, хотел найти свое место для подвига.

Но и это, наверное, естественно: для всех, кто тогда оказался в этой заварухе, это был первый военный переворот и первые танки, которые вышли на московские улицы не для парада.

Чтобы закончить с тем знаменитым августом, хочу вспомнить две смешные истории, непосредственно с ним связанные (не знаю, найдется ли какая-либо другая возможность рассказать о них).

В Верховном Совете я входил в комиссию по борьбе с привилегиями (Господи, чем мы тогда занимались! — смеюсь я сегодня сам над собой. По сравнению с тем, что делают сегодняшние чиновники, — те, горбачевские, были просто монахами!) В комиссию входил Яша Безбах, маленький, лысый, крикливый и очень симпатичный дядька из Днепропетровска.

Рано утром 19 августа, ни о чем, естественно, не зная, Яша Безбах поехал в Жуковку — посмотреть, как используется одна госдача. Остановившись у глухого

зеленого забора, его помощник позвонил. Ворота долго никто не открывал, потом появился прапорщик, посмотрел Яшино депутатское удостоверение, ушел, потом минут через двадцать вернулся и сообщил, что на дачу он его не пустит. Яша закатил великий скандал и сказал, что будет жаловаться на прапорщика Крючкову. Представляю, какими глазами смотрел прапорщик на этого сумасшедшего депутата, который утром 19-го приехал ревизовать дачу Янаева! Хотя, с другой стороны, окажись в это время на даче сам Янаев, он бы с перепугу сдался маленькому, лысому и крикливому Яше!

О путче Яша узнал уже на обратном пути. Приехав на Калининский, 27, где тогда располагалась наша комиссия, и шуганув Жириновского с соколятами, которые шуровали по нашим кабинетам (как они могли проникнуть в здание сквозь гэбэшную охрану — можно лишь догадываться, хотя это и не сложно), Яша Безбах написал злой запрос на имя Крючкова.

Когда все уже кончилось, то есть 22 августа, я спросил у Яши: дал ли Крючков ему официальный ответ? “Это идея!” — сказал Яша и снял трубку “кремлевки”.

— Вы, может быть, не в курсе, но Крючков арестован! — сказали в приемной КГБ.

— Это не имеет значения! — парировал Яша. — Какую резолюцию наложил Крючков на мой запрос?!

Мне нравится эта история. И вообще подобные истории. Жизнь — не драма. Жизнь в принципе смешная штука...

Второе забавное воспоминание относится к чуть более позднему периоду. Уже стояла глубокая осень того же, 91-го, года. Поздно вечером мы с Нугзаром Попхадзе и с Эдиком Сагалаевым зашли в гости, если не ошибаюсь, на Вспольный переулок к Шеварднадзе. Мы тихо попивали хороший коньяк, вели всякие разговоры, а когда уже собрались уходить, стоя в прихожей, Эдуард Амвросиевич сказал мне:

— Ты знаешь, кто мой сосед по лестничной площадке?

— Кто?

— Янаев... Он сейчас в тюрьме — доверительно поведал Шеварднадзе. — У него квартира меньше, чем у меня. Знаешь, что бы он сделал, если бы путч удался?

— Что? — удивленно посмотрел я на него.

— Занял бы мою квартиру...

Нет, я не променяю свою страну ни на какую другую!..

Конец августа и почти весь сентябрь мы жили в радостно возбужденном состоянии от перемен, происходящих на глазах, и от перемен, которые, мы чувствовали, еще грядут. Но постепенно, день ото дня, от недели к неделе, от месяца к месяцу, начинало казаться, что всех чудовищно обманули. Как после шумного и веселого ночного застолья наступает хмурый рассвет и ты начинаешь мучительно вспоминать: да было ли это? да с нами ли? со мной? (После путча “АиФ” опубликовал список тех, кого должны были арестовать. Моя фамилия стояла между Шеварднадзе и Яковлевым. Я не придавал тогда этому особенного значения, тем более что тогда по Москве пошла шутка: чтобы попасть в этот список, надо еще доплачивать.)

Но вдруг, вдруг...

Уже прошло полгода после неудавшегося путча, и все уже все позабыли, и та, казалось тогда, августовская победа обернулась черт знает чем. Стоял февраль... Мне позвонили в редакцию и попросили прийти в Благовещенский переулок, где работала следственная бригада по делу ГКЧП.

Я пришел, нашел нужный кабинет. Меня ждали два молодых следователя, скорее всего, прикомандированные откуда-то из провинции. После заполнения всех формальных пунктов протокола между нами состоялся какой-то гоголевский диалог.

— Чувствовали ли вы до и во время путча, что ваши телефоны, домашний и рабочий, прослушивались? — спросили меня.

Я, естественно, недоуменно пожал плечами.

— Чувствовали ли вы за собой наблюдение офицеров Комитета государственной безопасности? — задали мне второй вопрос.

Тут я вспомнил ту историю с литовским посольством и подробно, в красках описал ее, опустив, правда, что сначала мы с Эгидиусом пили кофе с коньяком, а потом — кофе с виски. Когда дошел до исчезнувших с “Жигулей” колес, следователи многозначительно переглянулись, и один из них переспросил:

— Значит, у вас тоже колеса сняли?

— Сняли, сняли, — подтвердил я.

Потом мне торжественно сообщили, что, так как до и во время путча были нарушены мои права как народного депутата СССР, то я могу быть признан потерпевшим на процессе по делу ГКЧП.

— А колеса вернут? — поинтересовался я.

— Нет, колеса не вернут... Где их теперь искать? — ответили мне.

— Тогда, ребята, давайте мирно расстанемся. Ну их с их процессом...

И мы облегченно простились друг с другом.

“С моих слов записано верно”, — с чувством исполненного долга вывел я на последней странице.

Интересно, о чем будут думать какие-нибудь будущие историки, которым вдруг попадется на глаза этот фантастический протокол допроса? Вот смеху-то будет...

Однажды с Горбачевым при Горбачеве и с Горбачевым при Ельцине

“Как вы относитесь к Горбачеву?” — этот вопрос мне задают постоянно, чаще всего даже не слушая ответа.

Как? А что отвечать?

Ведь каждому необходим свой, только ему подходящий ответ. Тому, кто нена-

видел с самого начала его неожиданный взлет, и тому, кто поверил в него, а потом разочаровался, тому, кто вошел в политику с улицы, и тому, кто как на улице жил, так на улице и остался.

“Нет, ты никогда не жил при настоящем социализме. Горбачев — это не социализм”, — помню, как вступил со мной в спор президент Португалии и председатель Социнтерна Марио Соареш, когда в Лиссабоне я вел с ним долгую беседу.

“Как мне хочется увидеть перестройку, которую начал Горбачев! — с восторгом говорила мне американская бабушка, соседка по самолетному рейсу из Чикаго в Копенгаген; правда, тут же добавила: — Но до Москвы так далеко, и потому я решила посмотреть на перестройку в Копенгагене”.

Вспоминаю почему-то реакцию Запада. Может быть потому, что до Горбачева меня туда и не пускали. Запрещали пьесы. Не печатали книги. Правда, денег — что тогда, что теперь — не стало больше. Может быть, моя судьба не совсем исключение. Но когда меня спрашивают, как я отношусь к Горбачеву, я отвечаю: “Еще не вечер, посмотрим, что будет дальше...”.

Хотя сам себе, когда один и никого нет близко, могу ответить: наши дети, мои сыновья в том числе, живут сегодня в ином информационном пространстве и, надеюсь, уже не поверят в подвиг Павлика Морозова.

Ну ладно, разберемся... Речь не об этом. В октябре 1991 года я напечатал в “Литгазете” страницу интервью с Михаилом Сергеевичем. Тогда он был президентом не существующего ныне государства.

Уже в России Ельцина, то есть в 1997-м, я решил повторить Горбачеву несколько вопросов из тогдашнего интервью. Возможно, и вам сегодня будет интересно узнать, как он изменился и изменился ли.

Горбачев при Горбачеве:

— **Михаил Сергеевич, по нашим прогнозам, Украина проголосует за независимость...**

— Ну а что тут плохого?

— **Я лично ничего плохого не вижу...**

— У нас все уже провозгласили независимость. Но что такое независимость? Если кто-то хочет интерпретировать независимость как разрыв с другими народами — тогда это подтасовка. Независимость — это большая степень свободы”.

Горбачев при Ельцине:

— **Вы помните, что вы мне тогда сказали?**

— Как будто предчувствовал, что будет Беловежье... Я видел, в какую игру играет Борис Ельцин, опираясь на август, на ту роль, которую он тогда сыграл.

— **Но вы же помните август...**

— Я должен сказать объективно, что позиция Ельцина и его соратников (с которыми он потом разошелся, других — разогнал) была преградой на пути путчистов.

Но тем не менее появился меморандум Бурбулиса...

— **Это было когда?**

— В октябре... Его мне дал Руцкой... Там было сказано, что они теряют плоды победы, потому что 50 процентов победы перехватил Горбачев, и что надо идти не путем Горбачева и Явлинского...

— **При чем здесь Явлинский?**

— Тогда Явлинский вместе с Вольским по моему поручению работали над экономическим договором... 20 договоров были подготовлены... 8 республик все подписали....

— **А что было в меморандуме Бурбулиса?**

— Там было сказано, что нельзя поддержать Горбачева и Явлинского: можно идти на мягкий политический союз, но не на экономический. По следующим причинам: Россия — держатель финансов, ресурсов и т.д. Все равно все придут к России, так именно Россия будет решать вопросы армии, инвестиций... Они так заморочили мозги Ельцину... Он до путча боялся преступать итоги референдума, ибо россияне выступили за Союз... Путчисты своим шагом подтолкнули всех к дезинтеграции, и Ельцин решил, что этот референдум — подарок судьбы.

— **Михаил Сергеевич, а Большая степень свободы?**

— Это не свобода, а хаос... 25 миллионов осталось за пределами России... 5 миллионов украинцев — за пределами Украины. О какой свободе может идти речь? Они пошли на преступное и антинародное дело... Тогда, после Беловежья, каждый из них попрятался... Шушкевич, Кравчук... А Ельцин звонил и боялся приезжать в Кремль, так как ему сказали, что по Кремлю ездят машины и хотят его арестовать...

Горбачев при Горбачеве:

“— **Михаил Сергеевич, может быть (я не раз об этом слышал), наш путь от тоталитарного режима к демократии лежит через тоталитарный режим?**

— Возможно, авторитарный...”.

Горбачев при Ельцине:

— **И что получилось сегодня, Михаил Сергеевич?**

— Если авторитаризм осуществляет реформатор, нацеленный на демократические реформы, то, конечно, президент должен обладать огромными возможностями... Помню, как только на горизонте появилась российская компартия, которая начала подрывать роль КПСС, и когда уже на третий день после избрания Ельцина на пост председателя Россия заявила о своей независимости, я не мог понять, от кого Россия должна быть независимой. Помню, как мы тогда с ним сидели и я ему сказал: “Борис Николаевич, у нашей страны, у СССР, есть два обруча: Союзная Федерация и Российская Федерация. Если один из них рассыплется — то все”... А сейчас столько мин заложено... И они будут взрываться... Потому-то ав-

торитаризм нужен при подобном переходе, чтобы была поддержка людей и чтобы можно было держать процесс под контролем...

— **Вас и обвиняли тогда в том, что вы берете слишком большую власть...**

— Да, обвиняли в том, что я тащу на себя слишком большую власть... Когда мы освободились от монополии КПСС и лишили партию возможности держать все под контролем, нужна была альтернатива, и тогда-то появилась идея президентства. Я понимал, что должна быть в стране фигура такая притягательная, мощная, то есть президент, который мог бы быть гарантом поддержания и сохранения стабильности... И это уже отдавало определенным авторитаризмом...

— **А сейчас-то какой режим?**

— Явно уже авторитарный... Ельцин добился того, что закрепил свой авторитаризм Конституцией. Но все идет к тому, что у нас может наступить диктатура. Сегодня режим — это союз власти, которую захватила авантюрная группировка из олигархических кругов. Эти две силы будут искать выход, но я не верю, что они его найдут... Почему? Да потому, чтобы его найти, надо совсем другую роль отводить народу, который должен быть источником власти, а значит, иметь право на информацию... Мы с вами знаем, что по всей стране школы не работают, дети не обучаются... Это — ошибочный курс, который отмечает 10 процентов россиян...

Горбачев при Горбачеве:

— **Возвращаясь к тому, о чем вы говорили: как же нам идти к новой демократии? От тоталитарного, как вы сказали, через авторитарный режим?**

— В мой замысел входило, чтобы впервые за всю многовековую историю нашей страны поворотные этапы пройти без крови.

— **Но крови-то много и сейчас!**

— Знаете, я вам прямо скажу, до большой крови еще не дошло.

— **А может дойти?**

— Надо все делать, чтобы не дошло...”.

Горбачев при Ельцине:

— **Михаил Сергеевич, а все-таки дошло...**

— Это и есть тот авторитаризм, который разогнал парламент, чтобы развязать себе руки, протащил эту Конституцию... Причем сделал этот так, что даже Конституционный суд не нашел юридических зацепок, чтобы осудить решения по Чечне... Помню, 24 августа, в день предъявления ультиматума Чечне, я сказал, что если ультиматум — это не блеф и последует акция по введению вооруженных сил в Чечню, то это может нас привести к кровавой бойне, а то и к Кавказской войне... Тогда я предложил свои посреднические услуги, и мне позвонил Дудаев...

— **И что?**

— Для Ельцина если Горбачев предлагает свои услуги, то это предложение надо немедленно отвергнуть... Самонадеянность, самоуверенность, стремление пока-

зять свою решительность — это Ельцин... Лучше бы он колебался перед тем, как расстреливать парламент... Как он распорядится своим кредитом доверия? Ведь это последний его кредит. Президент — подневольный от олигархических групп... Вот он пытается сейчас отчитывать своих. “Вот вроде бы я всех отчитал, сейчас все будет в порядке... Вы тут набузили, а я отлучался...”. А он сам набузил, набрав такую команду... Не хватает мужества сказать, что 60 процентов людей живут страшно тяжело... И здесь понадобится команда тоталитарная... Нам не миновать этой тоталитарной фазы... Тем более, чтобы после смены этого режима пришли люди убежденные в демократии... Пришла команда, а не какой-нибудь там спаситель. Ведь даже Христос — и тот был с командой. Да, были и Иуды, но все-таки он был с командой...

Горбачев при Горбачеве:

— **Михаил Сергеевич... В результате работы комиссии по деятельности КГБ выяснилось, что он (Крючков) тщательно ко всему готовился. Так, стало известно, что постоянно прослушивались разговоры не только Яковлева и Шеварднадзе, но и людей из вашего ближайшего окружения... Даже разговоры Лукьянова.**

— И его подслушивали?

— **Да. Не знаю, слушали ли разговоры в кабинете, в котором мы сейчас сидим?**

— А черт его знает. Сейчас уже ни в чем нельзя быть уверенным...”

Горбачев при Ельцине:

— **А сейчас, Михаил Сергеевич?**

— На протяжении последних двух лет два генерала из службы безопасности просили передать, чтобы Михаил Сергеевич знал: где бы он ни находился — его прослушивают. Но ведь я же не занимаюсь подготовкой вооруженного восстания и не руковожу подпольным комитетом... Мне скрывать нечего... Если бы сейчас президент, хватило бы ему воли, и ума, и совести...

— **Кто же может прийти к власти завтра?**

— Ключевые фигуры — Лебедь, Лужков, Явлинский... Если им удастся понять друг друга и произойдет формирование команды. Если кто-то из них надеется, что ему одному можно будет что-то решить, без команды, и выиграть выборы, и дать ответы на вызовы, перед которыми оказалась Россия, — нет, одному это не по плечу. И я имею все основания для того, чтобы сказать это.

Ну вот и все. Не хочу ничего комментировать.

Повторяю, между этими двумя диалогами — две страны и две эпохи.

Однажды я начал думать о нищих

Тогда, в середине девяностых... Чем больше “Мерседесов”-600 на улицах Москвы, тем больше нищих в подземных переходах и “лиц без определенных занятий”, то есть “бомжей”, приткнувшихся возле калориферов в подъездах или шныряющих возле вокзалов.

Выведа эту закономерность нашей сегодняшней жизни, я с интересом подумал: а может быть, все-таки я — марксист? То есть мое детство и юность, напичканные всяческими политучебами, не прошли зря?

Вот и сегодня, как всегда, возвращаясь домой с работы, я увидел: старуху, приткнувшуюся на корточках возле метро с протянутой ладонью; калеку, стоящего в центре Москвы; двух девчонок с гармошкой, которые шли по вагону электрички (одна играла, а вторая тащила шапку); наконец, двоих — он и она, которые рылись в мусорном ящике.

Да, сегодня я увидел это. Но увидел и другое — то же, что вижу каждый день: джип “Чероки”, еще джип, “Мерседес”, “Айриш-Хауз”, “Палас” со швейцарцами в ливреях, обилие французских вин, изобилие джинсов в магазине на Сретенке, рекламы всевозможных путешествий и кормов для кошек и собак.

Эти впечатления сливаются в одно, и это одно является той московской жизнью 90-х, о существовании которой еще пять лет назад мы не могли ни мечтать, ни бояться ее.

О, господи! Как объяснить подобную разницу впечатлений? Не то что заезжему иностранцу — себе самому?

Почему если поражающее воображение богатство — то рядом нищета?

Думаю, что этот вопрос мучает сегодня не меня одного.

Давайте разберемся!

Все, что есть сегодня, было и вчера. Были бомжи и нищие, были бездомные и обездоленные, была, всегда была еще чья-то незамечаемая жизнь.

Но Москва — охранялась.

Охранялась со зверской жестокостью.

После второй мировой войны Москва — по сталинскому приказу — была очищена от безногих фронтовиков-инвалидов, которые своими самодельными тележками нарушали эстетику страны-победительницы: их просто забросили на остров в Белом море.

В пятидесятых годах появился термин “101-й километр”, то есть то расстояние от Москвы, куда высылали всех, кто не хотел или не мог работать.

На моей памяти очищали Москву от проституток и тунеядцев в преддверии Олимпийских игр (как бы не ужаснулись иностранцы от впечатлений первой страны социализма).

Все это было, было...

И сегодня, как я знаю, сама московская милиция в ужасе от новых поставленных перед ней задач: очистить, выселить, не мешать “принцам”, и отечественным, и заморским, наслаждаться красотой преобразующейся Москвы. А как их выселять? А куда? А по какому закону? Да и что скажут сами сегодняшние “сто первые километры”, осознавшие себя уже не придатками Москвы, а самостоятельными администрациями?..

Я понимаю логику тех, кто все это придумал.

Но я не уверен, осознают ли они, что этот путь ведет только к одному: возврату к тоталитаризму.

Ведь опасность тоталитаризма — не только для интеллигенции, которую заставляют читать лишь то, что разрешит цензура, и писать то, за что похвалит власть. Опасность, на мой взгляд, еще и в желании властвовать над судьбой любого не понравившегося тебе человека. Не понимать, не помогать, не сочувствовать, не исследовать, наконец, — а только силой, только дубинкой, только кулаком.

Меня довольно долго не пускали на Запад, и я, наверное, как и каждый человек, чье развитие пришлось на смешные брежневские годы с их системой двойной бухгалтерии, воспринимал все, что нам преподносила официальная пропаганда, с верой наоборот. Телевизор настолько сильно вдалбливал, что в Америке одни нищие и безработные, что я во время своей первой поездки в США попал однажды в удивительно смешное положение: я не поверил тому, что увидел.

Это было в Филадельфии. Возле отеля, в котором остановился, я увидел человека, спавшего на решетке. Не упавшего, не пьяного (это я бы еще понял по российской привычке). Просто спящего, как спят у себя дома на кровати. Какой-то мешок под головой, одеяло, разбросанные шмотки. “Это что, готовятся съемки для Валентина Зорина?” — тут же подумал я о популярном в те годы телекомментаторе, который в течение многих лет специализировался на том, что показывал “язвы” капиталистической жизни.

Потом я привык видеть такие картинки, не зная еще о том, что когда-нибудь я начну привыкать к ним и в собственном городе. Больше того! Уже много лет, приезжая к своим друзьям, живущим на Бродвее, я вижу одного и того же человека, жилье которого — бульварная скамейка. И если в первый раз, увидев его, я удивился тому, куда же смотрит их нью-йоркская полиция, то потом начал задумываться о другом: а что же это за люди, призвание которых — быть отверженными от общества?

Со многими из своих американских друзей я говорил об этих людях. Почему они так живут? Почему нельзя, чтобы они жили иначе?

И никогда не позабуду, как один мой друг, который всю свою юность провел, пытаясь этим людям помочь, объяснил мне: “Ты знаешь, как-то раз мне было сказано: эй, парень, отстань от меня. Тебе нравится, как живешь ты, а мне нравится, как живу я”.

Я понимал и не мог понять эту логику, так как привык, что о человеке должно

заботиться государство, а не он сам о себе, что государство — это армия, в которой каждому отведено свое место вне зависимости от собственного желания. Но, правда, мне и в голову не могло прийти, что бороться с этими отверженными можно было только одним способом: выслать их к чертовой матери из Нью-Йорка, допустим, в Миссури, чтобы они не портили хорошей картинкой для благопристойных граждан и тем более для “интуристов”.

Но это там, в Америке.

А в Москве, когда подобные картинки стали уже неожиданно массовыми, откуда-то оттуда, из ближней памяти, из вдалбливаемой с детства идеологии, нет-нет да появляется это грязное, согласитесь, чувство: а ну-ка уберите их с улиц моего города! Пускай живут где-нибудь там, вдалеке, подальше от моих глаз.

Думаю, что такие же чувства руководили и московскими начальниками, которые приняли решение об очистке столицы от тех, кто мешает ей быть сегодня “образцовым демократическим городом”, как раньше — “образцовым коммунистическим”.

Мы сильно изменились. Мы перешагнули в новое временное пространство. Мы можем писать что хотим. Мы можем летать по земному шару вдоль и поперек, не волнуясь о том, что станут спрашивать на собеседовании в райкоме партии. Мы хотим стать богатой страной. И у нас появились богатые, символизирующие это богатство.

Но у нас есть и то, и те, и такое, что не вписывается в схему, придуманную нами в сладких снах.

Пока это — зеркало нашей жизни, в которое надо смотреться, чтобы понять, что из всех загадок человечества самая большая загадка — сам человек.

...Бабушка, протягивающая руку за милостыней в приоткрытое окно автомобиля. Калека, сидящий около метро. Бомж, ночующий у калорифера. Ребенок, проходящий уличную школу.

Все это — тоже мы.

И не может быть нам покоя, если мы не поймем, не посочувствуем и не поможем.

Нормальное общество — это общество сочувствующих, а не общество бьющих дубинками тех, кто не радуется его взгляду.

Однажды мне стало стыдно за богатых у власти

Увидел документы. Начал читать. Стало стыдно.

А казалось, приличный человек. Толково говорит.

Дурак — и тот должен понять: делал все, что мог. Не получилось — извините: казна — не бездонная бочка, а печатать деньги и дурак сможет. Только чем это печатание, в народе называемое “эмиссией”, кончится? Куда придем? От чего ушли?

Все становилось понятным и объяснимым, когда симпатичный в принципе человек Сергей Константинович Дубинин объяснял позицию Центробанка.

Но это-то, это как объяснить?

“Справка о доходах физического лица за 1997 год.

Доход получен по **ОСНОВНОМУ** (подчеркнуто) месту работы.

ДУБИНИН СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ.

Сумма валового совокупного дохода — 1 258 113 518.45,

который складывается из дохода, полностью включаемого в состав валового совокупного дохода: 1 253 111 638.45

и из мат. помощи: 10 200 000.

Итого, повторяю, 1 258 113 518.45.

Что-что? Сколько-сколько?

Пытаюсь понять порядок цифр.

Последние “45” — это, как я понимаю, копейки. Предпоследние “518” — рубли. “113” — тысячи, “258” — миллионы. А первая единица — это что? Это — как?

Это — миллиард...

Председатель Центробанка С.К. Дубинин в 1997 году по своему основному месту работы официально получил **ОДИН МИЛЛИАРД ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЕМЬ** миллионов рублей. Ну и плюс мелочь с копейками.

По долларовому курсу 97-го года — примерно 20 тысяч долларов в месяц. Примерно — 240 тысяч долларов в год.

Больше, чем американский президент. О нашем и не говорю.

Повторяю, это официальный документ, который за подписью зама главного бухгалтера ЦБ Г.К. Илюхиной 8 февраля 1998 года пошел в Госналогинспекцию по городу Москве.

Точно такие же справки на каждого работающего и получающего за работу деньги направляют в налоговые инспекции бухгалтеры министерств и заводов, школ и шахт, больниц и ракетных частей. Годовой доход министра, инженера, врача, полковника Генштаба, шахтера, депутата, учителя, президента... Основной доход. По основному месту работы.

Работа госслужащего Дубинина до самого последнего времени — председатель Центробанка.

Его личный годовой доход равен бюджету двух управлений Госналогслужбы. Пяти крупных московских школ, которые сегодня финансируются лишь по статье “заработная плата”. И — двенадцати сельских (данные по Тверской области: там школам даже не на что купить мел). Зарплатам двухсот десяти министров и депутатов. Всего лишь на одну пятую меньше, чем бюджет московской поликлиники. А на межрайонную больницу в Дагестане отпускается почти столько же, сколько на одного председателя Центробанка. О зарплатах академиков, профессоров и научных сотрудников просто не говорю. Точно так же, как и многих, многих других: одни слезы.

Но доход С. Дубинина законен. Он — в законе.

В справке о доходах, направленной бухгалтерией Центробанка в Госналогинспекцию, обозначены и сумма подоходного налога, и те установленные законом вычеты, которые ослабляют налоговое бремя. У Дубинина это: 2 003 760 — на “содержание детей и иждивенцев” и 233 133 900 — “корректировка на строительство дачного дома”.

Читаю, считаю, пишу и — не могу отделаться от одного пронзительного чувства: я перестаю понимать, что у нас происходит, и от этого грустно и одиноко.

Подняв стенограмму заседания Госдумы от 31 августа 1998 года, на котором мой коллега депутат Андрей Макаров задал вопрос присутствовавшему в зале С.К. Дубинину:

“...Второй вопрос. Я прошу сообщить, имеют ли право руководящие сотрудники Центрального банка Российской Федерации занимать оплачиваемые должности в других банках? В частности, соответствует ли действительности информация по заместителю председателя Центрального банка? Какую должность и с какой зарплатой он занимает действительно?”

А вот приложение. Извините, я буду читать на русском языке, здесь есть официальный перевод этого документа. Это “Ист-Вест юнайтед банк” обращается в департамент занятости Люксембурга со следующим письмом: настоящим направляем вам две декларации занятости для получения разрешения на работу для нашего нового члена Совета директоров господина Дениса А. Киселева, который приступил к исполнению своих обязанностей 1 августа 1998 года...

Заработная плата — 250 тысяч люксембургских франков в месяц. Это примерно... трудно сказать по курсу, но где-то 6700 долларов в месяц.

И следующий вопрос. Количество рабочих часов в неделю, которые он затрачивает на работу в этом банке, — 40. Для справки: по нашему трудовому законодательству можно работать 41 час в неделю. Следовательно, на занятость по своей основной работе в Центральном банке остается один час. Я думаю, что это объясняет, почему в Центральном банке так идут дела”.

“Дубинин С.К., председатель Центрального банка Российской Федерации:

...Теперь о работе по совместительству. Есть такое, действительно, решение Совета директоров, что сотрудники Центрального банка, которые направлены на работу в дочерние банковские или другие учреждения Центрального банка, имеют право там получать полставки (вот это отличает нас от государственных служащих, действительно, такое решение существует), но не более половины от общего заработка за год в Центральном банке. Поэтому даже если Денис Александрович Киселев на ставке более высокой, то реально он должен получить в “Ист-Вест юнайтед банке” только половину от своей рабочей ставки в Центральном банке. Вот это и будет выполнено в соответствии с советом директоров. *(Шум в зале.)*

Председательствующий: Тише, тише, коллеги!

Дубинин С.К.: Соответственно, я должен признаться, что я тоже во Внешторг-

банке как председатель наблюдательного совета получаю за это определенные деньги дополнительно к зарплате в ЦБ и плачу с этого налоги, указывая это в декларации. И это никакой не секрет...”

Согласно справке о доходах зампреда ЦБ Киселева, направленной бухгалтерией в налоговую инспекцию, за 1997 год он по основному месту работы, то есть в ЦБ, получил чуть больше 122 миллионов. То есть (судя по словам Дубинина) по совместительству совершенно законно он может получить в “Ист-Вест юнайтед банке” еще половину этой суммы — 61 миллион неденоминированных рублей. Сам же Дубинин за работу во Внешторгбанке...

Ладно. Все. Довольно. Хватит.

Не для того, чтобы научиться считать, вывожу я эти строчки.

Вывожу мучительно, с трудом...

Ненавижу сладкую сказку о равенстве в нищете — прочли эту книжку, залистали до дыр. Я не завидую тем, кто ездит на шестисотых “Мерседесах”, и горжусь, когда встречаю своих соотечественников за рубежом, на которых уже смотрят не как на бедных родственников, свалившихся на шею, а с уважением, как на равных себе.

Доходы президентов коммерческих банков и других частных фирм меня абсолютно не волнуют — пусть это беспокоит их вкладчиков, пайщиков, сотрудников да налоговую инспекцию.

Но ведь госслужащие должны быть подотчетны тем, кто платит налоги на содержание этих госслужащих? Или все работают на нескольких работах? Или весь совокупный доход государства концентрируется на счетах десятков, пусть сотен, пусть нескольких тысяч людей, использующих данную им власть лишь для одного-единственного — вот этого...

Надоели и гайдаровские всхлипывания и вопли Жириновского!

Никуда мы не сворачиваем, потому что — и не сворачивали.

При Сталине, еще в начале тридцатых, СВОИМ стали доплачивать конвертами со спецденьгами да спецраспределителями.

А сегодня что, по-другому?

Я пытаюсь понять, что происходит сегодня.

И понимаю, что день ото дня сделать это труднее и труднее. И не знаешь, что лучше: видеть? узнавать? Или махнуть на все рукой? Махнуть?

Ну уж нет. Это — моя страна. Моя, наша...

Хочется достойной жизни для всех.

Пока не получается.

Но еще несколько имен тех, кто уже живет достойной жизнью, я могу назвать: все они, так уж получилось, из руководящего звена Центробанка.

Судя по имеющимся документам, направленным из ЦБ в Госналогинспекцию, кроме уже упомянутых Дубинина и Киселева, это:

Хандырев Александр Андреевич, доход за 1997-й — 702 585 937 р. 81 коп.;

Войдуков Арнольд Васильевич — 845 493 842 р. 08 коп.;
Алексащенко Сергей Владимирович — 685 429 952 р. 72 коп.;
Артемова Татьяна Кузьминична — 755 536 222 р. 90 коп.;
Турбанов Александр Владимирович — 617 809 506 р. 10 коп.;
Лубенченко Константин Дмитриевич — 592 536 217 р. 08 коп.;
Соловов Вячеслав Иванович — 762 234 250 р. 39 коп.;
Потемкин Александр Иванович — 687 784 907 р. 81 коп.;
Егоров Николай Викторович — 381 972 735 р. 61 коп.;
Козлов Андрей Андреевич — 642 567 447 р. 31 коп..

Да, это мои удачливые соотечественники.

Но — мы живем в разных странах.

Однажды я подумал, удержат ли демократы власть?

У Ленина была работа, которая называлась “Удержат ли большевики власть?”. Как и все студенты, особенно студенты-гуманитарии, я, скорее всего, изучал и ее, хотя, естественно, не помню, о чем там шла речь. Но сама формула осталась в голове, так же, как она осталась в головах миллионов и миллионов моих сограждан, жизнь которых проходила под бесконечное цитирование различных вождей — и прежде всего, естественно, Ленина. Это название всплыло в моей памяти не случайно, так как, мне кажется, вопрос сейчас стоит не о “паровозе”, который летит то ли назад — в коммуны, то ли вперед — к заманчивым далям очередного всеобщего благоденствия, и не о выборе между старым и новым, и не о демократии как таковой, и не об опасностях, подстерегающих на ее пути. Речь прежде всего, как и когда-то при большевиках, идет о власти, о ее природе, о путях и методах ее удержания.

С некоторых пор само слово “демократия” стало вызывать у меня точно такую же изжогу, как когда-то слово “социализм”. И не потому, что сегодня оно звучит из уст каждого, кто научился произносить это слово: от Жириновского до Зюганова, от чернорубашечников из “Памяти” до рэкетиров из солнцевской группировки. И не оттого, что многих из публичных политиков, которые произносят сегодня слово “демократия” со священным придыханием ее проводников и апостолов, я помню с таким же придыханием произносящими слова о “неизбежности социализма”. И, естественно, не потому, что сам разуверился в том, о чем мечтал и на что надеялся: все-таки избираем не одного из одного, все-таки пишем, не опасаясь — или почти не опасаясь — цензорских ножниц, все-таки пересекаем границы собственного отечества, не проходя унижений в бесчисленных райкомовских комиссиях, и так далее, и так далее.

Не буду перечислять всех новых реалий, без которых, кажется, и жизнь теперь вряд ли назовешь жизнью. И все-таки, все-таки...

Почему же я сегодня не могу персонифицировать демократию и к имени Ельцин непременно добавить слово “демократ”, точно так же, впрочем, как к имени Зюганов — “коммунист”? Почему же я даже своим близким друзьям вынужден объяснять, почему стал приверженцем блока “Яблоко”, который не связывает развитие демократии с той или иной личностью и потому сломя голову не бежит за этой личностью с вечным криком “Да здравствует!”? Почему даже сейчас, когда мы на своем съезде выразили президенту Ельцину хоть и не полную, но все-таки поддержку, все равно меня не покидает ощущение, что практически-то выбора нет, кроме выбора между чумой и сифилисом?

Пытаюсь, пытаюсь определить, чем же вызвано подобное ощущение, которое если и заставит меня пойти на выборы, то не за Ельцина и тем более не за Зюганова, а ради самого факта выборов, того демократического института, ликвидировав который сегодня, можно о самой демократии больше и не заикаться.

О, я помню, помню, как раньше, на заре перестройки, каждый шаг по направлению к нормальной жизни вызывал радостное чувство сбывающихся надежд. Можно читать что хочешь! И что хочешь говорить! Можно выходить на демонстрации не только по майским и ноябрьским праздникам, а хоть каждый день. Можно прийти в американское посольство, получить визу и уехать в гости к друзьям. Можно, наконец, делать, что ты хотел бы делать, и получать столько, сколько ты можешь получать, не опасаясь того, что тебя снова вернут в общество нищеты в равенства.

Какими счастливыми были те месяцы и даже годы! И как быстро они закончились.

Однажды я понял, как изгоняют из кремлевской “малины”

Книгу Александра Коржакова принято ругать.

Я буду ее хвалить.

Это потрясающий рассказ о жизни преступного сообщества, в котором сам автор выступает и в качестве рассказчика, и в качестве свидетеля, и в качестве соучастника.

Нравы, царящие в правящей верхушке, ничем не отличаются от тех, которые царят в застольях у “солнцевских” или “гольяновских”:

“После проведения запланированных мероприятий Лобов, представитель президента в Чечне, устроил в Ханкале потрясающий обед. Столько яств на приеме в Кремле не отведаешь.

Начали произносить тосты за здоровье президента. Участники пира честно все рюмки выпивали до дна. Немцов тихонечко пригублял спиртное и ставил рюмку на стол. Он сидел в президиуме, а я сбоку. Я всегда старался расположиться так, чтобы видеть и шефа, и его окружение.

Я Грачеву намекнул:

— Наш юный друг даже за здоровье президента ничего не пьет. Ну-ка заведи его. Паша кивнул:

— Понял.

Встал и очередной тост опять стал произносить за президента. Вдоволь нахвалив шефа, Грачев неожиданно изрек:

— Среди нас собрались некоторые товарищи, которые громче всех горлопанили, здорово шумели, изображали из себя миротворцев, а успехами своими обязаны только президенту. Борис Ефимович, почему же вы за президента не можете выпить до дна? Вы что, больной?

Немцов уже при упоминании “горлопанства” насторожился, а под конец речи Грачева перепугался, смутился. Он махом выпил рюмку до дна и тут же посмотрел на меня. Догадался, кто “настропалил” Павла Сергеевича. После этого он каждую выпитую рюмку мне показывал и вскоре сам начал нахально выступать, что, дескать, не все пьют, как положено...”.

Неистовая религиозность? Да я еще не видел бандита без креста!

“В 94-м Олег Николаевич (Сосковец) попросил меня стать крестным отцом его первого внука. На дачу привезли священника — отца Феофана. Сейчас, кстати, он занимает высокий пост в церкви — служит заместителем митрополита Кирилла.

Окрестив внука, батюшка поинтересовался:

— Олег Николаевич, а вы сами-то крещеный?

Оказалось, что нет.

— Тогда давайте и вас окрестим. А кто крестным отцом будет?

— Да вот Александр Васильевич и будет..

Отец Феофан совершил обряд, несмотря на то, что крестный на несколько месяцев оказался моложе крестника. Прослушав положенные в таких случаях молитвы, все потом расселись за столом. Состоялись настоящие русские крестины. До песен, правда, не дошло...”.

Следующая история — прямо из жизни Дона Корлеоне:

“Не медля ни минуты, он (Ельцин) вызвал Руцкого и предложил ему идти кандидатом в вице-президенты. На глазах у Руцкого появились слезы благодарности:

— Борис Николаевич, я вас никогда не подведу, вы не ошиблись в своем выборе. Я буду сторожевой собакой у вашего кабинета!”

А разве не похожа эта свадьба на ту, которую какой-нибудь мелкий мафиози устраивает специально для своего шефа?

“15 июня 94-го года у моей старшей дочери состоялась свадьба в ресторане “Прага”. Мы сняли зал на последнем этаже и пригласили человек восемьдесят гостей. Но президент, уезжая в Амурскую область, попросил свадьбу без него не праздновать — он знал мою Галину и пожелал быть посаженным отцом. Отменять торжество в “Праге” не захотели молодые, и я принял соломоново решение —

сначала справить настоящую свадьбу, а потом, после возвращения президента из Благовещенска, повторить ритуал специально для него.

Свадьба номер 2 состоялась в особняке под названием АБЦ на улице Варги. Круг приглашенных определил лично Борис Николаевич. Точнее, я предложил список, а президент его уточнил...

Невеста и во второй раз пришла в белой фате...".

А это разве не классическая "разборка"?

"Как-то за обедом, обращаясь ко мне и Барсукову, президент повысил голос: — Почему вы не можете справиться с каким-то Гусинским?! Что он вытворяет?! Почему везде разъезжает?! На него все жалуются, и семья тоже. Сколько раз случилось, что Таня или Наина едут, а им перекрывают дорогу из-за этого Гусинского. Его НТВ распоясалось, ведет себя нахально. Я вам приказываю: разберитесь с ними.

Эта тирада означала, что Березовский отыскал верную дорогу к ушам Ельцина.

— Как разобраться, если нет законных оснований? — спросил я.

— Неважно... Зацепитесь за что-нибудь, преследуйте его везде, не давайте ему прохода. Создайте ему такую атмосферу, чтобы у него земля под ногами гонела.

— Хорошо, подумаем, как создать такую атмосферу.

На следующий день, 2 декабря 94-го года, мы ее создали. Посоветовались с Михаилом Ивановичем и решили установить за Гусинским демонстративное дорожное наблюдение... Утром мои ребята из подразделения негласной охраны подъехали к Гусинскому на дачу и прицепились. Так, все вместе, добрались до здания мэрии на Новом Арбате — там расположен офис "Мост-банка". Охрана банкира нервничала, сам Гусинский тоже до смерти перепугался...

...В отчаянии он рискнул использовать секретное оружие — позвонил Евгению Вадимовичу Савостьянову, который в ту пору возглавлял управление ФСК по Москве и Московской области.

— Женя, выручай, за мной бандюки какие-то увязались. Приехали менты по моему вызову, ничего с ними не сделали, умотали. Надежда только на тебя, — кричал в трубку Гусинский.

Его слова я привожу дословно, убрав только мат. Они взяты из радиоперехвата разговора.

Женя, как верный пес, выслал хозяину на помощь группу захвата из московской ФСК..."

И разве, наконец, не так же "долгопрудненские" или "ореховские" планируют свои операции по ликвидации противников?

"22 марта Ельцин вызвал Барсукова:

— Надо быть готовым к худшему, Михаил Иванович! Продумайте план действий, если вдруг придется арестовывать съезд.

— Сколько у меня времени? — поинтересовался генерал.

— Два дня максимум.

Президент получил план спустя сутки.

Суть его сводилась к выдворению депутатов сначала из зала заседаний, а затем уже из Кремля. По плану Указ о роспуске съезда в случае импичмента должен был находиться в запечатанном конверте. После окончания работы счетной комиссии (если бы импичмент все-таки состоялся) по громкой связи из кабины переводчиков офицеру с поставленным и решительным голосом предстояло зачитать текст Указа. С кабиной постоянную связь должен был поддерживать Барсуков, которому раньше всех стало бы известно о подсчете голосов.

Если бы депутаты после оглашения текста отказались выполнить волю президента, им бы тут же отключили свет, воду, тепло, канализацию... Словом, все то, что только можно отключить. На случай сидячих забастовок в темноте и холоде было предусмотрено “выкуривание” народных избранников из помещения. На балконах решили расставить канистры с хлорпикрином — химическим веществом раздражающего действия. Это средство обычно применяют для проверки противогазов в камере окуривания. Окажись в противогазе хоть маленькая дырочка, испытатель выскакивает из помещения быстрее, чем пробка из бутылки с шампанским. Офицеры, занявшие места на балконах, готовы были по команде разлить раздражающее вещество, и, естественно, ни один избранник ни о какой забастовке уже бы не помышлял.

Президенту “процедура окуривания” после возможной процедуры импичмента показалась вдвойне привлекательной: способ гарантировал стопроцентную надежность, ведь противогазов у парламентариев не было.

Каждый офицер, принимавший участие в операции, знал заранее, с какого места и какого депутата он возьмет под руки и вынесет из зала. На улице их поджидали бы комфортабельные автобусы.

Борис Николаевич утвердил план без колебаний”.

Не думаю, что Александр Коржаков специально хотел заставить читателей провести подобные аналогии. Больше того! Убежден, что он их даже сам не замечал, как не замечает рецидивист, вернувшийся с очередной ходки, что в приличном обществе “ботает по фене”.

Мне было абсолютно не интересно, как там было в Шенноне или в Ростове, падал президент в реку или не падал, дирижировал ли он оркестром трезвый или пьяный, сомневался ли он идти на выборы или не сомневался. Меня абсолютно не трогали подробности личной жизни президента, подсмотренные его главным охранником: в конце концов, подсматривать в замочную скважину, как и подслушивать чужие разговоры, — неандертальское это дело. И кто кого подсиживал, кто кого кидал в реку, кто кому подыгрывал в теннис, чья собака кого укусила во дворе президентского гетто и на кого посмотрела президентская дочка — все это мне было абсолютно безразлично. Точно так же, как абсолютно меня не тронул разоб-

лачительный пафос самого Александра Коржакова: он так торопился раздеть всех, что не заметил, как и сам оказался героем “Плейгерл”.

Я думал, да и сейчас думаю, совсем о другом.

Вы уже догадались, о чем.

Неожиданно я понял, что для меня их лица слились в одно: Япончика и Коха, Михася и Чубайса, Аверы и Березовского.

Я уже не делю их коробки с долларами, не различаю, кто больше врет и в чем в принципе разница между теми, кто контролирует киоски на Киевском вокзале и кто — “Норильский никель”.

Даже подарки друг другу они дарят одинаковые.

“Как-то Филатов зашел перед Советом безопасности к президенту и сказал:

— Сегодня у Степашина день рождения, и было бы неплохо сделать ему подарок — назначить министром безопасности РФ.

Борис Николаевич не испытывал к Сергею Вадимовичу особого доверия, но указ подписал и огласил его на Совете безопасности”. (Александр Коржаков. “Борис Ельцин: от рассвета до заката”)

А братва дарит посты “смотрящих” над рынками и мебельными салонами.

Сначала, когда я прочитал эту книгу, мне стало печально и одиноко...

Да, они долго сближались друг с другом.

Помню, несколько лет назад я еще удивлялся, встречая на больших официальных тусовках знаменитых преступных авторитетов. Потом уже удивляться перестал, лишь с любопытством наблюдая, как случайные встречи приводили к знакомству, знакомство — к дружбе, дружба — к братству. Братство — к братве.

Нет, каждый из них в отдельности не вызывал у меня каких-нибудь пугающих самого себя чувств: злости, ненависти, обиды, растерянности...

Я не мог принять создаваемую ими идеологию, отличавшуюся от прежней, коммунистической, в принципе лишь одним: сменой группировки, олигархии, стаи, рвущейся к власти, дерущейся за власть, готовой ради собственной власти переступить через все и всех...

Да, повторяю, печально и одиноко мне стало после того, как я прочитал книгу Коржакова: ну вот, и у политической братвы появился свой манифест.

А потом успокоился: да пошли они все к черту! Нет и не может быть у них будущего! Они могут быть фаворитами, но навсегда останутся временщиками!

Когда в Кремле говорят: “Ну, ты, в натуре”, — то у тех, кто не в Кремле, остается два выхода: или ввести в официальную нормативную лексику слова “беспредел”, “разборка”, “крутой”, “стрелка”, или — оставить ИМ ИХ язык, предоставить ИМ собираться для ИХ “разборок” на СВОИХ “стрелках” и доказывать свою “крутизну” друг перед другом.

А мы будем жить по-другому. По крайней мере, постараемся жить по-другому. Постараемся... Куда нам деваться.

Однажды я нашел главного свидетеля

Однажды, совершенно неожиданно для себя, я понял, что меня перестали интересовать события, которые должны были бы интересовать. И из событий, проживаемых в течение недели, стали важны те, которые даже мало кто и заметил. Кроме их непосредственных участников, конечно.

И вот (это было в 98-м) одно такое событие: суд над С.И. Бачиным — редактором самой популярной в Кирове газеты “Вятский наблюдатель”.

О том, что там произошло, я узнал еще раньше: в кабинете редактора милиция нашла пакетик с марихуаной. Сотрудники газеты, обратившиеся к нам, в один голос утверждали: провокация, месть свободолобивой газете, наказание строптивому редактору, бросившему вызов губернатору и начальникам из УВД, за то, что оспаривал справедливость губернаторских выборов, за то, что сам баллотировался в руководители городской администрации, за то, что обратился в суд с жалобой на клевету со стороны представителей официальной власти...

В декабре я направил официальный запрос в Генеральную прокуратуру. Получил оттуда ответ: “Вина Бачинина подтверждается...”.

Но что-то резануло меня в этом ответе. Сначала не понял, что. Перечитал... Ага! Вот эта деталь:

“В Управление внутренних дел Кировской области 06.08.97 поступило сообщение о подготовленном взрыве в редакции газеты “Вятский наблюдатель”, в связи с этим оперативная группа выезжала для поиска взрывного устройства. При осмотре кабинета главного редактора Бачинина С.И. с помощью специально натренированной собаки под подушками дивана обнаружен пакетик с марихуаной...”.

Стоп, стоп! Так для чего же была предназначена “специально натренированная” собака? Искать наркотики или искать бомбу? Или собаке — это все равно?

Весь день я провел в собачьих разговорах. Спрашивал у знакомых, узнавал у специалистов. Наконец дозвонился до начальника отделения служебного собаководства Главного управления уголовного розыска МВД РФ Сергея Викторовича Колина.

Классный это был разговор. Теперь я знаю почти все.

То, что служебные собаки — узко специализированные: одни ищут взрывчатые вещества, другие — трупы, третьи наркотики растительные, четвертые — синтетические. Узнал, что самые способные — немецкие овчарки, но хороши лабрадоры и ротвейлеры (лабрадор — суперсобака для поиска наркотиков, а одна из них даже стала чемпионом по разоблачению наркодельцов); что хороши и спаниели, но не достают до верхних багажных полок и что в Чечне на боевом посту погибло девять собак-саперов.

Но самое главное, что я узнал от Сергея Викторовича: если опергруппа привезла в кабинет главного редактора собаку, “специально натренированную” на поиск взрывных устройств, то она не могла найти марихуану.

— Но, может быть, есть исключения? — спросил я.

— Это должна быть феноменальная собака. Я о таких не слышал...

— Но, может быть, собак перепутали и взяли совсем не ту?

— Взять на сигнал о взрывном устройстве собаку, которая ищет наркотики? Ну уж не знаю... Кем же надо быть, чтобы перепутать?

Эта собака не могла найти марихуану! Найти ее могли только лишь “специально натренированные” люди! Те, кто знал, где и что искать! Для чего и зачем!..

Мне известна масса аналогичных историй с неожиданно обнаруженными наркотиками у людей, которые не знали и не могли знать, что это такое.

На месте судьи я бы пригласил в зал еще одного свидетеля.

По крайней мере, этому свидетелю природой не дано давать ложных показаний.

Однажды я был на презентации с “крестным отцом”

Это — не о прошлом.

Это — о жизни.

О нашей странной жизни, в которой так все перепутано и переплетено, что иногда кажется, что ты и не живешь, а играешь в пьесе, написанной неизвестным драматургом, где тебе назначено встречаться с другими персонажами помимо твоего желания и твоей воли.

Вот так произошло и со мной. И хотя на почетном месте Ваганькова, рядом с могилой Высоцкого, покоится прах и Амираана, и Отари Квантришвили — их тени витают над страной, подобно тени В.И. Ленина, дело которого, как известно, живет и побеждает.

По крайней мере, совсем недавно вечером в центре Москвы ко мне подошел немолодой человек, как мне показалось, с остатками военной выправки и, отозвав меня в сторону, сказал, понизив голос:

— Я работал в “Интуристе”... Я знаю все про Отари... Я могу рассказать... Только без свидетелей...

— Вы ничего не перепутали? Может быть, вы имеете в виду Анзора? — спросил я, решив, естественно, что опасается-то уличный незнакомец не мертвого Отари, а его наследника по могущественной империи (по крайней мере, сам наследник в этом убежден) живого Анзора Кикелишвили, являющегося сегодня президентом АО “Интурист”...

— Да нет, нет... Об Отари... — повторил он.

Я дал ему свои телефоны. Он не позвонил.

Как, впрочем, случалось не раз и раньше — на протяжении многих лет, когда люди, готовые что-то рассказать, не приходили на назначенную ими же встречу в назначенный ими же день.

Ладно. Хорошо. Я расскажу о том, о чем знаю и чему был свидетелем. Расска-

жу не для того, чтобы стать судьей человеку, чье дыхание оборвала в апреле 1994-го пуля снайпера.

Я просто хочу разобраться, что же происходит в стране, героями которой становятся люди, чье публичное присутствие в общественной жизни или — еще круче! — появление на политической сцене вызывает оторопь у одних, мстительную радость — у других (“ну что, господа демократы, приехали?”) и, наконец, уверенность в собственной непобедимости — тех, кто полагает: первый период накопления капитала (из рэкетиров — в президенты компаний) миновал и пора им брать и политическую власть...

Начну с нашей первой встречи, весной 1990 года, хотя и раньше я об Отари был много слышан. По крайней мере, еще в конце семидесятых, оказавшись в одной шумной московской компании (в которой, как это у нас водится, все очень быстро знакомятся друг с другом, чтобы точно так же потом друг друга позабыть до новой случайной встречи), я познакомился с человеком, который, как я понял из его слов, занимался не то мелкой фарцовкой, не то крупным антиквариатом. Так вот, этот человек начал мне рассказывать о том, как Отари хочет подмять под себя всю Москву и что даже самые крутые, которые вообще-то ничего не боятся, включая, естественно, милицию, относятся к Отари с неприязнью и страхом. И хотя из его рассказа я понял, что особенно теплых чувств он сам к нему не испытывает, но в голосе его все же чувствовалось признание мощи и силы Отари.

Да, это было еще в конце семидесятых.

А лицом к лицу мы встретились в начале 90-го.

Помните? Уже закончилась весна демократии, радостная для нас возможностями прочесть книгу, которую мечтал прочесть, и увидеть фильм, лежавший годами на полке, но мы еще не дошли до эпохи всеобщего маскарада, в котором участвуем сегодня.

1990-й — время митингов и презентаций.

На одну из таких презентаций — очередного фонда не то в защиту печати, не то в поддержку журналистов — меня усиленно зазывал известный в ту пору тележурналист Владимир М. Говорю “усиленно” потому, что он мне звонил раз десять, чтобы я нечаянно не позабыл: что ресторан “Прага”, что на третьем этаже, что “да, обязательно”.

И когда я пришел в назначенное время и место, то поразился той радости, с какой меня встретил Владимир М. (с которым, признаюсь, был знаком довольно шапочно), но по наивности подумал, что и его усиленное зазывание на презентацию, и его радость при встрече относилась к тому, что в то время я был народным депутатом СССР и парню просто было необходимо чье-то депутатское присутствие на акции, которую он считал для себя очень значительной. Мелькали знакомые лица. Слышалась иностранная речь. Серьезные “пражские” официанты приносили с аперитивами...

Кстати, почти с точностью могу вспомнить, когда же все это было: спустя не-

сколько дней после того, как Верховный Совет РСФСР принял постановление, по которому российские законы получали преимущество перед союзными (а кто-то все твердит: “Горбачев, Горбачев...”, “Беловежская пуца, Беловежская пуца...”), и российские депутаты испытывали из-за этого почти что сексуальное возбуждение. Там же, в “Праге”, один из депутатов сказал с поразившей меня значительностью: “Завтра я улетаю в Париж... Впервые от России”. На что я, естественно, спросил депутата, известного, кстати, журналиста: “Саша, а раньше ты ездил от Эвенкии?”, на что он почему-то обиделся...

А потом двери зала распахнулись, и гости, разгоряченные аперитивом, потянулись к столам, которые, кстати, были роскошными, как и на всех презентациях тех времен.

Владимир М. посадил меня где-то в начале стола между коллегами из союзного депутатского корпуса — как я до сих пор помню, Валерием Кучером и Виктором Югиным. Два места напротив меня оставались свободными, на что я тогда не обратил внимания.

Уже Владимир М. сказал какие-то первые торжественные слова, уже кто-то из гостей произнес что-то такое же торжественное, когда двери зала распахнулись и неторопливой походкой прошествовали два представительных грузина.

— А это наши спонсоры! — радостно возвестил Владимир М. — Компания “XXI век”...

И я тут же понял, что это за фонд, что это за компания и что это за спонсоры, и потому вдруг стало печально и одиноко. И я даже не удивился, когда Владимир М. выскочил из-за стола, взял спонсоров под руки и подвел их к двум свободным местам. Тем самым, напротив меня.

А потом Отари произнес тост, из-за которого взгляды сидевших за столами обратились ко мне.

Тост был для подобной презентации несколько необычен, и потому я помню его почти дословно.

— Вот здесь сидит (назвал он меня по имени и фамилии. — Ю.Щ.). Вот он все пишет: “мафия, мафия...”. А если разобраться, что такое мафия? То, что ему самому кажется?..

И дальше, дальше, все в таком же роде. А потом и что-то вовсе несусветное. О каких-то спортсменах, над которыми он шефствует, о том, как трудно им живется — особенно после того, как они уходят из большого спорта, и о том, что хотя они люди и взрослые, но мозги у них, как у пятнадцатилетних подростков, и — снова дословно — “ударят и не заметят”.

— Чего это он? — удивленно спросил меня сосед справа Валерий Кучер, человек в то время не московский, а значит, и не знающий наших столичных реалий.

— Потом объясню, — шепнул я ему.

Отари закончил и под аплодисменты сел напротив меня.

— Вот так-то, Юрий... Все это кажется... — повторил он, протягивая навстречу

мне свой бокал с шампанским, и вновь о каких-то спортсменах, оставшихся с подростковым мышлением, что, на мой взгляд, не так уж и плохо.

— Для меня мафия, Отари, это когда бывший большой партийный работник приходит в редакцию в виде просителя за профессионального картежника и мошенника...

— О чем это вы? — спросил Отари.

— Так, ни о чем... Просто так... — ответил я.

— Да нет же... Была другая история! Помните, как вы удивились, когда на своем дне рождения увидели незнакомого человека? Так это был мой человек...

— А... — тут же вспомнил я странного незнакомца, завалившегося поздравить меня бутылкой настоящего “Наполеона”, что в то время было не только роскошью, но и редкостью...

Потом Отари поднялся и вместе со своим спутником неторопливо покинул зал.

— Что это он? Кто он? — снова спросил сосед-депутат.

— Да была одна странная история...

Году в 87-м ко мне в руки попало обвинительное заключение по уголовному делу 17085-а по обвинению Квантришвили Амирана Витальевича.

Начиналось оно с того, что (цитирую) “увлеченный азартными играми в карты, он группировал вокруг себя лиц, проживающих за счет извлечения нетрудовых доходов, вместе с которыми проводил время в карточных и других играх. Пользуясь авторитетом в “карточном мире”, Квантришвили А.В. всячески содействовал своим партнерам, которые с его помощью решали свои дела и проводили обоюдные расчеты”... Ну и так далее. Надеюсь, понятно.

Промелькнуло в обвинительном заключении и имя его брата, Отари:

“Ведение им антиобщественного образа жизни полностью подтвердил допрошенный в качестве свидетеля его брат Квантришвили О.В., который показал, что на протяжении многих лет брат проявлял настойчивую страсть к азартным играм, в частности к бегам и картам. Весь смысл существования брата сводился к тому, чтобы иметь деньги для карточной игры... Далее он пояснил: “...по-моему, брат приносил обществу только вред, а не пользу”. (т. I, л.д. 34-35).

Но обвинялся Амиран не в своих азартных пристрастиях. Нет, обвинялся он... в любви к драматургии.

Дело в том, что для того, чтобы легализовать свое существование, он писал пьесы. Вернее, становился — с помощью влиятельных приятелей из Минкульта и директора московского Театра миниатюр В. Прогонова — соавтором пьес настоящих их авторов. (Один из них увидел своего соавтора впервые только на очной ставке.)

Больше того! Амиран даже вступил в профком московских литераторов и смог уже показывать литераторскую карточку.

Не могу не привести показания, данные на следствии членом профкома лите-

раторов И.Я. Медведевой, настолько они были колоритны:

“Собрание, на которое Квантришвили А.В. все же явился, состоялось 11 февраля 1985 г. На нас произвело неприятное впечатление то обстоятельство, что Квантришвили А.В., несмотря на напоминание, не принес с собой ни рукописи, ни свои публикации... Квантришвили А.В. было предложено рассказать о созданных им произведениях... и тут он начал отвечать что-то несусветное... На вопрос о содержании его пьес ответ был такой: “Вы знаете, я не помню... кажется, о проблемах молодежи, — и добавил: — Одна из пьес идет где-то на Дальнем Востоке, а вторая — в Одессе”. Браткова Т.В. попросила Квантришвили А.В. рассказать о пьесе, идущей на Украине. “Ну я же сказал, что у меня что-то с головой, да, пьеса ведь написана на украинском языке”, — ответил Квантришвили А.В.”...

Потому-то обвинялся он в том, что представлял всякие фальшивые справки да незаконно получал деньги за не написанные им пьесы, то есть в мелочевке, которая для моих журналистских дел не представляла никакого интереса.

Правда, была еще одна причина, по которой я не мог тогда писать эту статью. Оттого, что знал куда больше, чем было написано в обвинительном заключении. Знал, но знал, как знают те же оперативники до того, как эти знания могут доказать и грамотно оформить.

А знания эти состояли в следующем.

Причиной ареста Амирана МУРОм была, естественно, не его околослужебная деятельность — подозрение в преступлении куда более серьезном. Но это, серьезное, они доказать просто не успели: дело картежника и в принципе мелкого мошенника неожиданно затребовал зам генерального прокурора СССР. Амиран был немедленно освобожден, чтобы впоследствии получить условный срок наказания.

Потому-то мне оставалось лишь рассказывать об этой истории скорее как об околослужебном казусе.

Но, видимо, рассказывал я слишком много и часто, так как вдруг стал чувствовать повышенный интерес к себе людей, которых не видел уже до этого сто лет или не видел вообще никогда.

Однажды в редакцию пришел человек. Представился: “Прогинов, директор Театра миниатюр”. И добавил, что до этого занимал какой-то высокий пост в московском горкоме, то ли зава, то ли зама. “У вас есть кое-какие материалы... Нужно поговорить...”. Я понял, какие и о чем. “Откуда, интересно, вы знаете?” — спросил я его. Он честно признался, что его ко мне прислал брат Амирана, Отари. Потом, помню, говорили мы довольно резко — настолько, что он сказал, что лучше говорить не со мной, а с одним из газетных начальников, бывшим его коллегой по московскому горкому.

Потом появился этот странный незнакомец у меня на дне рождения.

Потом произошел совсем уже киношный случай.

Была пасха, ночь... Церковь на улице Неждановой. Мы стояли в этой толпе, где

смешались актеры со знакомыми лицами и бандиты с короткими стрижками (и по тогдашней моде в красных пиджаках), с моими друзьями — Мишей Шиловым из “Останкина” и Джоном Коханом из “Тайма”. Вдруг ко мне подошел человек и вместо “Христос воскрес” произнес фразу, удивившую моих друзей: “Запомни, мы все равно сильнее”, — и добавил: “Я — Амиран”...

Ну, а потом встреча в “Праге”, на презентации фонда, о существовании которого я не слышал ни до, ни после этого вечера.

— Ты понимаешь, что за спонсоров ты отыскал? — помню, спросил я Владимира М. после ухода Отари.

— Но он меня очень просил, чтобы ты непременно был на этой презентации, — откровенно признался Володя.

Сейчас я думаю, что, конечно, не ради того, чтобы увидеть мою физиономию и высказать мне несколько экзотических пожеланий, была устроена эта пышная презентация (я не достоин такого количества черной икры и лососины). Нет, возможно, тогда я стал впервые свидетелем, как Отари входил в большую тусовку.

Да, ходят разные слухи, разговариваются всякие разговоры. Но вот он — открыт как на ладони. Рядом с депутатами и журналистами, в окружении телезвезд и западных корреспондентов. Может быть, у кого-то вечер, но он-то, Отари, чувствует себя при новом рассвете собственной карьеры. В новом виде, в новом качестве.

По крайней мере, мне кажется, он так тогда предчувствовал свое будущее. Да так в конце концов и получилось. Почти получилось.

Но в тот момент меня, честно, беспокоило другое.

Я не обвинял в намеренности “подставы” меня под Отари Владимира М. Но именно в это время он, В.М., был слишком близок тогда еще не к российскому президенту, а просто к Борису Ельцину, чье имя еще ассоциировалось с очередными надеждами на очередное будущее. А если и его — точно так же? Ладно уж там я! Но его, его, особенно не разбирающегося в московских реалиях да и в людях, которых к нему подводят?

Так, по крайней мере, я думал тогда.

Опасения мои подтвердились буквально спустя неделю.

В.И. Олейник, в то время российский депутат, а до недавнего времени — один из знаменитых московских следователей, сказал мне, что Б. Ельцина усиленно зовут познакомиться с компанией “XXI век”. Кто же зовет? И я услышал знакомое имя коллеги.

Потом, помню, целый вечер мы просидели с “отароведами”. Как он появился? За что был осужден? Кто с ним связан? Куда, наконец, подевались все оперативные архивы, рассказывающие о нем?

Разговор этот, естественно, ни к чему не привел. Разве что Владимир М. исчез из окружения Ельцина. Но это уже не имело никакого принципиального значения.

Звезда Отари всходила все выше и выше, и я уже видел его не сидящим за

столом напротив, а с экрана телевизора. Хотя видел и так, живьем.

Кстати, вторая наша встреча произошла на съемках популярной передачи. Это было, помню, в одном из комплексов “Измайлова”.

Он подошел ко мне, широко раскинув руки, готовый обнять, словно я его старый и задушевный друг.

— Ты еще дружишь с Гуровым? — спросил он. (А.И. Гуров был в то время начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД СССР.)

— Ну да...

— Передай Александру Ивановичу, что “Измайлово” находится под контролем мафии.

И мы нежно улыбнулись друг другу.

Кстати, сколько мы с ним ни виделись позже, без широкой и располагающей улыбки я его не видел.

Да, я знал, кто он такой, и в принципе мог допустить, что он был причастен к череде убийств преступных авторитетов, которые, как вы помните, пронеслись по Москве в 1993-м году: возможно, ему хотелось быть первым и единственным. Но чем дальше, тем с большим интересом я наблюдал, как он уверенно пытается занять и политическую нишу, которую никто из криминального мира до него не смел или не догадывался занять.

Не было ни одной политической тусовки, в которой я бы его не встречал. Потом уже не стало и дня, чтобы его лицо не появлялось на телеэкране, особенно по московскому каналу. И я не удивился, что его брат Амиран был убит в разборке с чеченцами на Большой Полянке и что место для его могилы было отведено возле могилы Высоцкого на Ваганьковском кладбище.

Кстати, как потом оказалось, чеченцы совсем не хотели большой войны с могущественными москвичами, и Амиран был убит случайно — не как брат Отари, а как просто человек, пытавшийся отбить уже занятую территорию. (Да, именно тогда — что является, конечно, простым совпадением — московский мэр впервые произнес слова об особом режиме пребывания чеченцев в Москве.)

Да, я удивлялся, осознавая, куда же мы идем...

Хотя, честно, не удивился, когда в “Новой газете” (сам тогда еще работал в “ЛГ”) прочитал указ Бориса Ельцина о создании Академии спорта, которая получила немислимые импортно-экспортные льготы. Во главе академии стали два человека: Отари Квантришвили и Шамиль Тарпищев.

Однажды (это уже было недели за две до его гибели) знакомый бизнесмен рассказал мне, что у него был Отари и предложил свою помощь в выколачивании или добыче кредитов. Всего лишь за двадцать процентов. “Отари сказал, что у него есть группа опытных юристов...”.

Я только и мог представить себе эту картинку: “Юристов вызывали?” — и входят “юристы” с паяльниками и утюгами...

Как ни странно это звучит, из подобных “двадцати процентов” деньги, как мне известно, шли и на помощь спортсменам и создание детских спортивных школ. То есть Отари пытался заполнить нишу, которую государство потеряло. И я понимал, почему. Потому-то так много спортсменов провожало его в последний путь на том же Ваганькове, в отличие, кстати, от его приятелей — политиков и милицейских чинов, которые на эти похороны приехать отказались.

Отари, как я понимал, стремился быть не просто человеком, чья жизнь окутана тайной. Он уверенно шел в политику. Возможно, останься он жив, появилась бы и “четвертая сила”, и потому-то я не исключаю, что мог бы увидеться с ним на инаугурации президента в Кремле.

Он создавал партию спортсменов.

Помню, в Нью-Йорке, в ресторане “Парадайз”, мы сидели с друзьями Олега Коротаева, знаменитого в прошлом боксера, убитого уже в нью-йоркской разборке. Они говорили, как здорово организовал Отари похороны Коротаева (да, да, на Ваганькове), как выстроились в ряд спортсмены. И уже как о решенном деле — о новой политической силе в России...

В конце 93-го года я получил письмо из мордовской “зоны” с просьбой о немедленной встрече. Письмо настолько меня заинтересовало, что я тут же, бросив все дела, выехал туда.

Помню, снег, зима, колючая проволока, вышки, кабинет начальника колонии, куда зашел странный заключенный — с бородой и тростью. Он мне начал рассказывать не только о грузинских группировках в Москве, об их связях с Западом и Востоком, о Михасе и Япончике (кстати, тогда я впервые услышал от него, что наши “крестные отцы” начали заниматься наркобизнесом и поставками крупных партий оружия), но больше всего — об Отари.

— Если ты вор — то воруй, а не учи меня демократии с телевизора.

Я понимал, что этот человек, знакомый с Отари десятки лет, имеет к нему какие-то свои претензии. И потому особенно не придавал значения его словам: “Вот увидите... Через два-три месяца его грохнут...” (правда, он выразился более экзотически).

Тот наш разговор состоялся в январе 1994 года.

Вот такие дела...

Повторяю: это не о прошлом.

Это — о жизни.

Никогда я не могу обвинять человека, требуя от него быть выше сложившихся обстоятельств.

Да, признаюсь, я опечалился, узнав, что пуля снайпера достала Отари при выходе из Краснопресненских бань.

Но я думаю и о другом! Когда раньше люди, подобные Отари, смогли бы так близко подойти к кремлевскому небосклону?! Когда бы раньше политическая элита до такой степени легко принимала людей с сомнительным прошлым и настоящим?!

Все чаще и чаще слышу я то горькие, то уже привычные слова: “У нас всем управляет мафия”. И не шутка, а правда — письмо, полученное ежедневной молодежной газетой, обращенное, как было сказано на конверте, к мафии: “Дорогая мафия, я мать троих детей, мне очень трудно воспитывать их, так как нет денег. Помоги, пожалуйста...”.

Очень трудно найти сегодня границу честного и криминального бизнеса, как и дорога “от социализма к капитализму” — самая непройденная из дорог.

И понимаю, что процесс — проникновение мафии в политические структуры — еще только начат. Но не думаю, что этот процесс может быть безболезненно пройден обществом. И в первую очередь потому, что сама атмосфера, которая создается таким вот смешением мафии и политики, прежде всего опасна для демократии. Когда власти закрывают глаза на взятки и отрытую коррупцию, когда репутация чиновника уже больше не зависит от того, сколько и за что он берет, когда сомнительные личности безбоязненно открывают двери высоких кабинетов — то все это дает шанс всяческим проходимцам, владеющим лишь красивыми словами, в свои руки взять знамя борьбы с преступностью и коррупцией.

Да и для нормального бизнеса подобная атмосфера — не та, в которой этот бизнес будет развиваться. Потому-то не проходит и дня, чтобы в России не звучали выстрелы и взрывы, от которых гибнут бизнесмены...

Вот ведь даже Отари не уберется...

Отари, который как-то сказал в минуту откровения: “Да, допустим, правда все, что говорят обо мне... Но мои дети будут расти честно”.

Однажды я был на войне первый раз

К сожалению, мне пришлось быть на войнах не один раз.

Возвращаясь ОТТУДА, всегда пытался понять: поразило ли меня что-нибудь на этот раз, перехватило ли дыхание от вновь увиденного и узнанного, почувствовал ли себя вновь стоящим над пропастью, края которой и не разглядишь, как ни старайся?

Ощущения от поездок на войну постепенно сливались в одно-единственное: страх есть страх, грязь есть грязь, обман есть обман. Но ощущение от самой первой командировки на войну, в Чечню, стало, наверное, самым главным.

Помню, я вернулся из той командировки поздно вечером. Статья появилась в “Литгазете” спустя день. Я назвал ее: “За Родину, за мафию”.

Вот как мне пришлось писать с войны первый раз в жизни.

“Дикие черкесы напуганы: древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часа безопаснее, многочисленные конвои — излишними... Ехал в виду неприязненных полей свободных горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащились заряженная пушка с зажженным фитилем... Ты понимаешь, как

эта тень опасности нравится мечтательному воображению...” (Александр Пушкин — брату Льву, 24 сент. 1820).

Власти, хватит врать!

Из Грозного — из этого крошечного ада, смерти, грязи, крови, страха, из этого города (вернее, из того, что раньше было городом), где так переплелись политическая подлость и человеческое мужество, — захолустный Моздок представляется сияющим Парижем: свет — просто свет, вода — просто вода, тишина — просто тишина...

Так вот, власти, слышали бы вы, как люди, очутившиеся после грозненского ада в моздокском раю, материли ваши очередные заявления в программе “Время” — и о “втором этапе операции”, который будто бы уже давно начался, и о “замене армейских частей частями МВД”, и о “переходе власти к оппозиции”.

Перед отъездом из Моздока столкнулся случайно с ребятами из ярославского ОМОНа: отвоював здесь свое, они вернулись, чтобы перевезти на родину тело своего убитого товарища. Спросили, давно ли я из Грозного. Ответил: только что. “Ну как там сейчас?” — спросили меня. Рассказал о том, чему сам был свидетелем. “Понятно, — мрачно вздохнул один из парней. — А мы еле получили автоматы... нас все убеждали, что в Грозном сейчас ужасно тихо: обойдетесь пистолетами”...

И не позабуду, как в самом Грозном услышал от заросшего, как и все здесь, капитана: “Какая-то газета попалась... Читаю, что дети в Грозном пошли в школу...”. И, помолчав, зло бросил: “Суки... Теперь вообще ваших газет никогда не буду читать”.

Война в Грозном... Самая настоящая война...

День и ночь тяжелая артиллерия обстреливает районы города, которые находятся под Дудаевым (по разным подсчетам, он контролирует от 40 до 50 процентов территории города). А ведь внутренние войска не располагают тяжелой артиллерией! В городе — постоянные передвижения танковых колонн. А танков тоже нет у внутренних войск! Наносят бомбовые удары самолеты — тоже ведь армейские.

Я говорю о том, что сам видел на прошлой неделе, то есть спустя десять дней после того, как Борис Ельцин публично заявил, что “первый этап операции завершен” и внутренние войска сменили армию...

Здесь, в Грозном, проходит настоящая линия фронта. Здесь — наши, а рядом, там, где соседняя девятиэтажка, — уже они: наши, ставшие волей бездарных политиков не нашими, чужими, противниками, врагами.

Уже забылось, как и не было, что когда-то ели кашу из одного солдатского котелка (все же испытали одну солдатскую школу!), что вместе проходили военную подготовку в вузах, да и с преступностью — было время! — тоже боролись вместе. Не говоря уже о том, что вместе жили в одной стране...

Теперь — все, теперь война, со своими собственными законами, с примерами великого мужества и беспредельной подлости, со своими подонками и героями, с вдруг просыпающимся милосердием и, куда чаще, с проявлением нече-

ловческой, звериной жестокости. И с одной, и с другой стороны.

Потому-то на тебя здесь смотрят, сомневаясь в твоей умственной полноценности, если одним ты начнешь рассказывать о гуманизме чеченской стороны по отношению к российским пленным, а другим — как российские солдаты делятся последней банкой тушенки с чеченскими детьми.

Хотя есть и то, и другое. Но для тех, кто сегодня воюет, это уже не имеет никакого значения.

Туман... Вертолет не полетит... Говорят, формируется колонна на Грозный. С такой же тщательностью и мерами предосторожности, как было в пушкинские времена. Только вместо казаков с пушками — бэтээры с нацеленным пулеметом... Первая примета войны: разбитые танковыми гусеницами дороги и грязь, грязь, грязь... Тащимся еле-еле. Потом окажется, что дорога от Моздока до Грозного, а это всего ничего, сто тридцать километров, займет семь часов. Будто на лошадях. “Мечтательному воображению” ничего не предстает. Хватает того, что видишь... Убитая корова на обочине. Метрах в пяти — убитый теленок. До Грозного еще километров пятнадцать. Потом увижу уже на улицах самого Грозного неубранные трупы: женщина, прикрытая мешком, два молодых парня в штатском... Услышу: “Ну что ты! Разве сравнишь с тем, что здесь было дней десять назад...”. Потом уже перестану удивляться.

Центр Грозного контролируется криминальной милицией, отрядами ОМОНа, собранными со всех концов страны, офицерами и солдатами внутренних войск и гвардией Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД — СОБРАми, специальными отрядами быстрого реагирования. Созданные три года назад, они предназначались прежде всего — да и только! — для борьбы с вооруженными преступными группировками, оккупировавшими наши города. “Не знали, для чего едем, а оказалось, прямо в бой, на позиции”, — говорит мне один из собровцев. Сегодня они пользуются у российской стороны законным авторитетом — в отличие, кстати, от “Альфы”, которая, по словам многочисленных очевидцев, если и появляется в городе, то только для сопровождения очередного высокого начальства и, как правило, поражая и зля тех же собровцев выглаженной униформой. Каждый командир армейского батальона мечтает заполучить к себе хотя бы одного собровца: они незаменимы потому, что полуобученные солдаты чувствуют себя рядом с ними увереннее. Да и молодые офицеры тоже.

Что означает сегодня в действительности контроль федеральных войск над городом? Что такое очищенные от боевиков кварталы?

Штаб группы МВД находится на территории молокозавода. Отсюда уходят в рейды бэтээры, сюда — практически ежедневно привозят раненых, здесь, у ворот, каждое утро собирается толпа мирных жителей, в основном русских... В штабе работает и оперативно-следственная группа, задача которой пока не очень ясна и для самих ее участников... Какие же преступления надо раскрывать, когда кругом — одно сплошное преступление?..

— К нам привозят тех, кто подозревается в принадлежности к боевикам, но доказать, боевик этот человек или нет, практически невозможно, — признался мне молодой человек из московского РУОПа.

С оружием сюда не доставляют; доказать, что человек только что выстрелил, а выйдя на улицу, превратился в мирного прохожего, — невозможно. Самых подозрительных доставляют в Моздок. Там — фильтрапункт, в котором (по крайней мере в прошлую пятницу) находились 24 человека. Недавно было около трехсот — остальных, по словам офицера МВД, освободили. Серьезных обвинений пока почти никому не предъявили, да и надежды на то, что попадутся закоренелые преступники, не очень-то оправдываются — таких сегодня было задержано всего трое. Но, думаю, часть задержанных находится сейчас в изоляторах Краснодара, Ставрополя, Ростова, Минвод.

Да и серьезно о расследованиях здесь никто не думает — не до этого. Стреляют, стреляют постоянно и в так называемых “защищенных” районах. Но если в контролируемых Дудаевым районах идут боевые действия, то здесь — партизанская война. Особенно достается блокпостам, которыми, как вешками, огородили свое влияние на Грозный федеральные войска и МВД.

В подконтрольном МВД центре города таких постов — шесть, каждый из которых практически ежедневно подвергается нападению. Мне рассказали, как действуют “партизаны”.

— Они шамальнули — и переместились. Если танк идет — танк подобьют. Если бэтээр... Пока ребята выскакивают в панике, те постреляли — и отошли. Вы представляете, как можно воевать, если противника не видишь? Из пятиэтажных, из девятиэтажных, из-за любого угла стреляют — ну как можно воевать?

— То есть, — уточняю я, — все это происходит в “очищенных” районах?

— Случается... И днем, и ночью... Мне историю рассказывали, я не был сам очевидцем... К нашему блокпосту подъехали “Жигули”... Где-то в районе моста через Сунжу. Оттуда — два автоматчика и гранатометчик. Первый раз промазали, второй раз — точно. Постреляли, сели в “Жигули” и уехали. Но блокпосты в “очищенных” районах становятся мишенями не только для боевиков, но и для своих — особенно из-за несогласованности действий армии и внутренних войск. И часто чужой снайпер начинает пальбу между двумя блокпостами, армейским и вэвэшным, разгорается бой между своими, и уже непонятно, чья пуля ранила тебя или убила.

Мы сами заехали в такое вот “очищенное” место — туда, в центр Грозного, где и места-то живого не осталось и если и можно восстановить здесь что-то, то только сдав эти развалины в аренду Голливуду... Да, заехали и — попали под огонь снайперов. “Разворачиваемся!” — крикнул Юрий, командир соединенного СОБРа, когда пули пробиты три колеса нашего бэтээра. И потом долго матерился, вспоминая танкистов, которые снялись, никого не поставив в известность. Снялись — и спустя нескольких минут появились боевики. На моих глазах подбили российс-

кий флаг, который развевался над дудаевским дворцом (только идиот мог додуматься приравнять к Рейхстагу здание бывшего обкома партии).

Нет в Грозном спокойных мест! Война идет, война... Война, которую и сравнить не с чем даже закаленным мужикам из ВВ, которых судьба закидывала от Сумгаита до Карабаха, от Осетии до Оша.

Вот еще один разговор — с двумя собровцами из Московской области: их ружей — к юго-западу от Грозного (привожу разговор так, как он остался на диктофонной пленке):

— Мы работаем на бывшей ракетной базе стратегического назначения... Там очень сильный укрепленный центр, оборудованный противовоздушной обороной... С большим количеством дотов, ходов сообщения... Оружие очень современное... Очень серьезные подземные коммуникации...

— Это, естественно, не Дудаев все построил?..

— Конечно, нет... Все осталось еще от Советской Армии... Что касается нас, то выполняем функции специальных подразделений внутренних войск. Те функции, которые были возложены на нас дома, мы здесь, конечно не выполняем. Ребята воюют... Натуральным образом воюют.

— Кто все-таки воюет с той стороны?

— Контингент очень большой... Есть просто чеченцы, но очень много и профессионалов...

— Видели ли вы наемников?

— Мы 16 человек задержали, из них 12 — грузины. То, что украинцы воюют, — это однозначно... Прибалтов много, и, как ни странно, очень много наших, россиян... Из Ленинграда девчонка... Воюет здесь как снайпер... На этом делают деньги, и деньги неслабые.

— Откуда вы знаете?

— Из показаний пленных... Они получают тысячу долларов в сутки... Помимо того, 400 долларов за убитого солдата, 800 — за офицера... По 3000 они платят за нас... У них хорошо развита система контроля: за каждым таким специалистом закреплены как минимум двое чеченцев, которые следят за профессионалами...

— А все эти истории про девушек-снайперов?..

— Это чистая правда... Одну лично видел: мастер спорта по биатлону, 17 лет... Восемнадцать человек убила... Так она показала на допросе...".

Повторяю, привожу разговор таким, каким он остался на диктофонной пленке. Ни подтвердить, ни опровергнуть этот рассказ я не могу. Но свидетельств о наемниках довольно много: в кармане одного из них, убитого в бою, был найден список с фамилиями и адресами, и среди них есть жители России, в том числе и москвичи. Офицер связи рассказал мне, что сам слышал, как команды дублировали на русском, украинском, литовском, польском языках, коллега привез паспорт убитой снайперши — украинской гражданки.

Да, свидетельств о наемниках много, только живьем их никто не видел: их про-

сто не довозят до тыла, и сейчас я даже не хочу повторять многочисленные истории, как именно заканчивается их жизнь на передовой.

А вот мнение заместителя командующего внутренними войсками МВД России, с которым я встретился в Моздоке, о том, кто же сегодня — противник федеральных войск:

— Во-первых, это окружение Дудаева, которому уже нечего терять: при другом правлении сами же чеченцы им головы оторвут. Вторая группа лиц — наемники, и, наконец, третьи — те, кто стал нашими противниками в результате боев: не за Дудаева идут в бой, а мстить за погибших родных.

Город, город... Я никогда в жизни не видел таких городов. И не думал, что когда-нибудь увижу. Выбитые окна пятиэтажек... Кажется, все, все... Не может быть мертвее дома. Но вдруг на одном подъезде написанная от руки табличка: "Люди на первом этаже", а рядом, на другом доме, — красный крест и другая надпись: "Здесь люди". Дверь медленно открывается, выходит женщина, безучастно провожает глазами БТР.. Старушка тащит санки с мешком... Толпа возле Красного Креста: люди надеются хоть как-то вырваться из этого ада. Спрашиваю: откуда берете воду? Старик отвечает: "Собираем в лужах". Другой старик. Спрашиваю: "Вы совсем не боитесь стрельбы? Вы даже не вздрагиваете при звуках выстрелов?" — "Я боюсь только одного... Когда постучат в дверь". — "Кто постучит в дверь?" — "Чеченцы...".

А тяжелые гаубицы все лупят, лупят по южным окраинам Грозного... Видны три далеких пожара... Как снаряды отличают, где друг, а где враг, если и человек сегодня не может отличить?..

Шестой блокпост считается самым опасным: вчера здесь ранило троих омоновцев (слава Богу, все остались живы)... Блокпост — это развалины когда-то добротного дома в два этажа... Минный обстрел. Все, кроме меня, к этому уже привыкли. Сидят за столиком во дворе и пьют чай из жестяного чайника... Парень с кинокамерой — думал, коллега. "Нет, я из краснодарского ОМОНа... Для истории". Приезжает новая смена, они пробудут здесь сутки. Подходит омоновец из новой смены, узнает меня. "Странно, что вы приехали сюда, к нам". — "Почему?" — "Но вы же, как я знаю, гуманист и демократ...". И я так и не могу понять, что, какой смысл вкладывает в эти слова парень, который уже через несколько минут сидит у оконного проема, положив автомат на кирпичную кладку... Сейчас, наверное, пора объяснить один парадокс.

Люди, с которыми я провел неделю на этой войне, не только не профессиональные военные (кроме, естественно, офицеров внутренних войск, да и то их главное тяжелое оружие — хрупкие бэтээры), но и в самой меньшей степени ответственные за ошибки политиков в чеченском конфликте: дали приказ, сказали: "Надо", не объяснив толком, что же ждет их — профессиональных борцов с профессиональной преступностью. Они умеют анализировать, искать доказательства,

проводить облавы и рейды, естественно, стрелять, некоторые из них — те же собровцы — хорошо владеют различными боевыми приемами. Их враг — мафия, которая при всей своей мощи еще не докатилась до фронтовых операций.

И вот они здесь. При мне у собровцев радость: первый раз за двадцать дней добыли кровати, до этого спали где придется. Остальные условия? Без условий. Деньги получают по возвращении — по два оклада. “Это сколько?” — спрашиваю. Один отвечает: восемьсот тысяч, другой, постарше званием, — миллион. Еще один сказал — как бы все не вычли: дали денег на гостиницу, а какая здесь гостиница. Как отчитаться, когда командировочные деньги оставили семьям, когда уезжали сюда, в Чечню...

Да, можно сказать и так. Им надоела Чечня как криминальная зона: фальшивые купюры (их столько здесь нашли, что ими можно оклеить дудаевский дворец), террористы, просто бандиты, которых ищет вся Россия. Не говоря уже о том, что им, профессионалам, был заказан въезд на территорию Чечни: из Франции и то легче выудить нашего гангстера, чем отсюда. Но, с другой стороны, им не пришла бы в голову идея сравнять с землей московское Солнцево только потому, что там была рождена знаменитая солнцевская мафия!

Хоть и люди они служивые и к риску привыкли, они в принципе — люди мирного времени. А здесь стали людьми войны.

Гордятся тем, что их раненые скрывают свои раны, чтобы не попасть в тыл. Довольны, что профессиональные военные признают их авторитет. И даже что внутренние войска (хоть и другая служба, но все же свое МВД) понесли потери неизмеримо меньше, чем регулярная армия, — ясно, что все это дает им право чувствовать себя куда более уверенно, чем их армейским соседям.

Нет, они не говорят о “матушке России”, о “сохранении территории”, о “национальных интересах” (вообще я заметил, что всякие подобные слова звучат тем громче, чем тише звуки боев). Этих мужиков волнуют более земные проблемы: мину прямо перед эшеленом обнаружили, бэтээр сломался, снайперы расшумелись...

Повторяю, я приехал к людям, со многими из которых меня связывают профессиональные интересы, а с некоторыми уже давно знаком.

Но недели, а у некоторых уже и месяцы войны (о количестве проведенных здесь дней можно судить по тому, какая у кого выросла борода) превратили их совсем в других, незнакомых мне людей.

Больше того! Они кричали на меня, как будто я единственный во всей России журналист: “Хватит нас оплевывать! Что, мы самые виноватые?.. Чеченцы — люди, а мы кто? Где же вы были раньше со своими правами человека, когда в Чечне был полный геноцид русского населения? Почему не возмущались, когда русских за бесценку заставляли продавать свои дома?!”

Я говорил им о разоренном городе, а они мне: “Почему же вы не напишете, как они повесили вниз головой 11 солдат на здании Совмина?”. Я — о том, как армей-

ский капитан положил из автомата четырех мирных жителей, абсолютно непричастных к тому, что из его батальона в живых осталось только шестеро солдат, а они мне — о том, сколько награбленного с поездов нашли они в чеченских домах.

И я понимал их личную правоту — каждого в отдельности, пережившего за эти дни здесь такое, что в страшном сне и мне бы не приснилось. Но я знал, что где-то в другом подвале другого дома кто-нибудь из моих коллег точно так же, сидя с чеченскими боевиками, слушает о пытках, которыми русские солдаты подвергают чеченцев, и о своих молодых ребятах, которые раненые остались в строю, и о мужестве и подлости, которые всегда соседствуют на любой войне, и о разрушенных домах, и об унижениях. И обо всем, обо всем, что и они пережили за эти дни войны.

И, возможно, точно так же и мой коллега услышит грозный ропот в ответ на свой вопрос: “Может быть, хватит? Может быть, пора кончать? Может быть, все-таки мир?”. А после этого — снова слова о родном чеченском доме, вообще о Родине, вообще о свободе?

Может, война — это зеркало, в которое смотрит человек и не может в нем узнать себя самого?

Что-то не так в этой российско-чеченской баталии. При всем идиотизме войн в них обычно присутствует хоть какая-то логика.

И, думаю, не в зеркало мы смотрим — друг на друга, позабыв уже, как выглядим на самом деле.

Из-за какого-то другого стекла другие люди насмешливо наблюдают, как ручеек крови превратился уже в полноводную реку.

Оружие. Нефть. Золото. Деньги. Эти-то не воюют... Возможно, эта цепочка слов и поможет наконец-то восстановить утраченную логику событий в Чечне.

“Это было как сон... — рассказывает мне парень из СОБРа. — Мы шли с Серегой, и он вдруг крикнул: “Смотри, бронезилет на снегу... Давай возьмем”. Мы подошли ближе. Да, это был бронезилет, но — на обезглавленном теле. И ты знаешь, вдруг уже ничего не сработало. Я ничего не почувствовал...”.

Да, к этому быстро привыкаешь, слишком быстро... Уже на второй день я отметил в себе, что почти не реагирую на выстрелы. Военные медики мне сказали, что оптимальный срок пребывания в боевых условиях — две недели. Правда, уже для подготовленного к войне человека... Потом наступает апатия, и человеку становится безразлична не только чужая жизнь, но и своя... Убежден, что большинству из тех, кто попал на эту войну, раньше не приходилось стрелять в человека. Теперь для них это уже стало нормальным: и стрелять, и рассказывать о том, как стреляли.

Вот типичный рассказ, услышанный мною: “Мы прочесывали квартал. Задержали человека, чеченца... “Что вы, я из оппозиции...”. Мы отпустили его, и он уже зашел за угол. И тут к нам подбегает женщина: “Он же боевик, зачем вы его отпу-

стили?”. “И что вы?” — спрашиваю. “Ну, догнали, завели за угол... И все”.

Но куда больше (хотя, казалось бы, куда больше?), чем сама смерть, бесит грязь, наверное, неизбежная в подобных странных войнах. Полковник внутренних войск рассказывает: “Прибегает армейский генерал. Срочно требует машины для вывоза беженцев. Я даю. Потом вижу толпу беженцев: “Вы почему не уехали?”. Они отвечают: “У нас не было долларов...”. Я кидаюсь к своему бэтээру, догоняю этого гада... Собрывцы руки заломили... Жалко”.

Заметил, что в городе совсем не осталось ни птиц, ни животных. Единственным, кого видел, был котенок, живущий на молокозаводе. Офицеры называли его Дух.

“Куропаткины х...вы” — мягче слов по отношению к нашим военачальникам мой собеседник не находит, вспомнив вдруг российского генерала, чье имя стало символом войны, которую Россия позорно проиграла в начале века. “6 января мы с мужиками собрались — изо всех подразделений, чтобы самим подсчитать, сколько же полегло в этом бездарном наступлении”. — “Ну и сколько?” — “По нашим подсчетам вышло около пяти тысяч... — И, помолчав, добавляет: — Сволочи”...

Все чаще и чаще слышу я здесь это слово. Это — и еще более резкие... Те, что не выдержит лист бумаги...

“Они были как зомби... — рассказывает еще один мой собеседник о пацанах, которые и стрелять-то толком не научились. — Минный обстрел, а они медленно, как в кино, кладут на землю автоматы и так же медленно расходятся в разные стороны, будто и не слыша свиста мин. Мы могли сделать лишь одно — повалить их на землю хоть под какое-то укрытие”.

Здесь все напоминает об этом провальном наступлении, но больше всего — глаза оставшихся в живых командиров, потерявших своих бойцов. Мне и сейчас трудно забыть ту застывшую тоску.

Мне удалось встретиться с несколькими участниками того позорного похода на Грозный.

“Наступление началось 30 декабря (а не 31-го, как писалось в газетах). Шли тремя колоннами по трем дорогам. Сначала, еще не доходя до Грозного, в ночь с 30 на 31 декабря, попали под бомбы своих же собственных самолетов. Я звоню генералу Р: “Вы сошли с ума! Что вы делаете!”. Он мне: “Найдите и расстреляйте этого наводчика”. Мы находим наводчика: “Но я наводчик армейской авиации, а вас бомбит фронтовая”, — слышим в ответ...” — это свидетельство подполковника Д.

Но то были не единственные жертвы прохождения колонн на Грозный: из-за несогласованности действий армии и внутренних войск то и дело начиналась стрельба друг по другу.

Танки входили в Грозный, как на парад, с поднятыми вверх дулами. Они шли уверенно и спокойно, по ним никто не стрелял вплоть до того, как они оказались в узких улочках центра Грозного. Потом взлетела зеленая ракета... Наперерез первому танку выскочил гранатометчик... Подбили первый, последний и танк в сере-

дине колонны... Потом... Потом все уже было кончено, тем более что пехота, которая должна была сопровождать танки, опоздала на три часа...

Но именно в эти часы милицейский генерал Воробьев совершил подвиг, о котором вспоминают сейчас его подчиненные: когда его первых три бэтэра были подбиты, он остановил свою колонну, понимая, что дальше он ведет ее на бессмысленную гибель. В радиации слышались крики: "Вперед! Это приказ первого!.. Это приказ наиглавнейшего!". Он не пошел, и неизвестно, как сложилась бы его собственная судьба, если бы спустя несколько дней он не погиб.

Не хочу оценивать стратегию и тактику наших военачальников, пославших на смерть тысячи солдат и офицеров. Хотя не понимаю, почему только лишь седьмого февраля (по словам офицера-связиста) федеральные войска получили аппаратуру, способную глушить переговоры боевиков. Тем более не понимаю, почему не до, а после взятия дворца Дудаева (вот уж не думал, наверное, архитектор, проектировавший здание обкома партии, что он строит такое аристократическое сооружение!) стало известно о существовании под центром города двадцатикилометрового туннеля, сообщавшегося с обкомом, по которому вполне могла пройти колонна танков: не Дудаев же его строил! И не знаю, почему только в январе стало известно, что еще в 1992 году в Грозном было проведено крупномасштабное учение, на котором потенциальным противником была Россия, — грош цена тогда всем нашим многочисленным спецслужбам.

Повторяю, проверять и анализировать эти факты, известные, кстати, слишком многим людям, — дело специалистов.

Но одно несомненно: в войну ввергли совершенно неподготовленных солдат, многие из которых и в учебных стрельбах участвовали раз или два. Те же офицеры СОБРа привели мне множество примеров полной растерянности солдат и командиров. И, встретив в Моздоке высокого чина из военной прокуратуры, я услышал от него, как уже сегодня запугивают солдат, чтобы они не рассказывали, сколько же раз они на самом деле "играли в войну" перед тем, как их бросили на войну не игрушечную, а настоящую...

Но это — только прелюдия, жестокая, кровавая, но объяснимая хотя бы патологической бездарностью наших генералов. А дальше начинается самое интересное: дальше начинаются деньги. Огромные деньги тех, кто в этой войне уже выиграл.

Еще в Москве, до отъезда в Грозный, знакомый ингушский писатель спросил меня: "А тебе не кажется, что в Грозном идет очень странная война? Ведь дорога на юг совершенно свободна, и, как я знаю, именно по ней Дудаев получает оружие и боеприпасы". Я не поверил и, только прилетев в Моздок, начал уточнять: может ли быть такое на самом деле? Оказалось — да, может, и не одна дорога, а даже две связывали ополченцев Дудаева с их базами: свободно вези что хочешь.

Но это еще не все! Уже в Грозном я узнал о радиоперехватах из дудаевского штаба: речь шла о том, куда будут внесены 100 тысяч долларов как плата за оружие, которое должно быть сброшено с парашютами. Но не люксембургский же

самолет пересек российское воздушное пространство?!

И это не все! По словам одного из высших офицеров, дудаевская армия использовала на вооружении автоматы АКСМ 94-го года выпуска с восемью магазинами, оптическим и ночным прицелами. Эти автоматы, как сказал мой собеседник, производятся в Туле и в Ижевске, но до сей поры так и не поступили ни в армию, ни во внутренние войска.

Одни проливают кровь, другие на этой крови обогащаются.

Да, на войне как на войне: подонство и благородство, мужество и грязь — близко, рядышком. Но что-то в этой войне — совсем нехорошее, нехорошее настолько, что все больше и больше прихожу к одной странной версии: а не была ли придумана вся эта история с независимой Чечней лишь для того, чтобы легче, удобнее, безопаснее было делать себе миллионные состояния? И не только тем, кто в Грозном, но и тем, кто в Москве? На нефти, на оружии, на золоте. Да взять те же фальшивые авизовки, которые принесли России ущерб на два триллиона рублей по ценам 92-го года! Их называют “чеченскими”, но уверен: невозможно провести эту операцию без российских, московских банковских структур. Да и люди, которые сейчас официально проходят по этому уголовному делу, живут — или жили — отнюдь не в Грозном и носят ну совсем не чеченские фамилии: Горшков, Костюков... (называю лишь те, что уже звучали в “Литгазете”).

Может, для того и нужна была такая Чечня и такой Дудаев? Иначе не понимаю, почему же он — раз уж такой враг России — не был лишен звания российского генерала. Почему он свободно мотался по всему земному шару — не на баллистической ракете, а, скорее всего, на самолете, пересекавшем российское воздушное пространство? Почему и сами российские власти с ним время от времени заигрывали?

Посчитал бы эту версию чистейшим бредом, если бы вдруг не нашел в Грозном один любопытный документ, который проливает свет на подпольную экономическую деятельность Чечни в России... или России в Чечне.

Судите сами:

8 февраля 1993 г.

КОНТРАКТ

Культурно-торговый центр “Эркээни” (Республика Саха), именуемый в дальнейшем “поставщик”, с одной стороны и Министерство финансов и экономики Чеченской Республики, именуемое в дальнейшем “покупатель”, с другой стороны договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

“Поставщик” обеспечивает поставку в адрес “покупателя” золото 999 пробы в слитках в количестве 5000 (пяти тысяч) кг по цене 556 000 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей за один килограмм на общую сумму 2 780 000 000 (два миллиарда семьсот восемьдесят миллионов) рублей 00 коп.

ДОГОВОР ПОДПИСАЛИ:

От имени поставщика: генеральный директор Кривошапкин. От имени Министерства финансов и экономики Чеченской Республики: Т. Абубакаров...

Как мне известно, сделка эта состоялась на одном из небольших аэродромов Азербайджана.

Грязная штука эта война. Совсем грязная. Возможно, правы те мои собеседники, которые рассказывали, что по-настоящему “точечными” ударами российской авиации в Грозном были лишь удары по банку и Министерству финансов и экономики. Я уже ничему не удивляюсь...

А кровь льется. И война идет. И воюют люди, которые, как и всегда бывает в этих случаях, ничего не получают ни при победе, ни при поражении, а будут жить или погибнут лишь в роли статистов этого грязного спектакля.

...Мы застряли в пробке. Слева танки, справа танки. В воздухе гарь и копоть. Хлопки далеких выстрелов. Вдоль колонны военных “КамАЗов” бредет маленький черноволосый пацан. “Каша есть?” — кричит он водителю машины, на которой мы едем. Азиатского типа водитель открывает дверцу и кричит вниз пацану: “Нет каши, нет”. Пацан подходит к следующей машине, и еще к одной, и еще, скрываясь за поворотом.

Что же, мальчик, мы с тобой сделали...

Теперь о том, о чем я тогда не написал.

Во-первых, почему меня тогда занесло в Чечню.

Употребляю слово “занесло” по следующим причинам.

Начиная с конца восьмидесятых СССР стал полигоном для локальных войн на собственных окраинах. Вспомните: Карабах, Сумгаит, Тбилиси, Баку, Фергана, Осетия, Абхазия... Уже все и не припомнишь — в такой трясине мы очутились. Эти войны требовали своего освещения. Освещения от тех, кто должен их освещать: журналистов.

Подобного опыта ни у кого из нас, естественно, не было.

Правда, была война афганская, но репортажи с нее были специфическими: видишь, а сказать не можешь, знаешь, а должен молчать, можешь написать правду, а вынужден нести чушь про “ограниченный контингент” да про “интернациональный долг”, выполнение которого, судя по подцензурным газетам и еще больше — по подцензурному телевидению, напоминало игру в “Зарницу” в музыкальном сопровождении Иосифа Кобзона.

Даже, помню, о трагедии Сумгаита я узнал из любительской пленки, посмотреть которую меня со всякими предосторожностями пригласили в какую-то квартиру на окраине Москвы.

Иногда бывали и потрясающие информационные прорывы, как, например, у Юрия Роста, который первым на весь мир сообщил о новом оружии властей —

саперных лопатках. (Но в собственной газете, то есть в “ЛГ”, где мы тогда с ним работали, начальство испугалось опубликовать его тбилисский репортаж, и он вынужден был отдать его Егору Яковлеву в “Московские новости”.)

А потом все прорвалось: был ликвидирован Главлит, то есть цензура, осмелели редакторы и — вдруг откуда-то появилась целая команда военных репортеров, по большей части совсем молодых людей.

Я с интересом читал их репортажи с кровавых советских полигонов, но еще больше любил слушать их рассказы. И хотя они были удивительно похожи один на другой: “запустили “иглу”, попал на минное поле, пришлось самому взять в руки “калашников”, — от них веяло юношеским военно-романтическим задором сродни молодому Симонову.

Но мне уже было тогда за сорок, и в журналистике к тому времени я проработал более четверти века.

Доказывать самому себе, что и ты не боишься грохота войны, считал для себя неуместным.

Я нормально отношусь к опасным приключениям, и у меня их в жизни было немало: от Вильнюса до Белого дома, не говоря уже о “родных” бандитах и КГБ. Да я и не считал себя профессионалом в написании военно-полевых романов, и казались они мне тогда (возможно, в этом была моя ошибка) слишком локальными, затрагивающими интересы различных национальных элит, сводящих между собой кровавые счеты. Ладно, думал я, как-нибудь разберутся и без меня.

Но с Чечней все было по-другому.

Я чувствовал, что это и всерьез, и надолго и что еще будет много крови и — много денег, что в московских, что в грозненских кабинетах.

Поэтому внимательно следил, что там происходит, читал, слушал, встречался с очевидцами, разговаривал и иногда спорил с различными российскими политиками.

И, наверное, писал у себя в “ЛГ” о том, что узнавал, в чем сомневался и с чем был категорически не согласен.

Заметок до 95-го года я не нашел, но, скорее всего, они были: просто я так и не научился сохранять свои статьи.

Но вот что нашел. Злой и нервный комментарий на первой полосе “Литгазеты” в начале 95-го, который я и назвал зло и нервно: “Услышим ли мы снова от Бориса Ельцина: “Простите меня, своего президента”?”

Он был вызван двумя событиями: Борис Николаевич, судя по этому тексту, вновь куда-то исчез и потом вновь возвратился. (Вот ведь была страсть у нашего президента к исчезновениям! Прямо старик Хоттабыч какой-то! Даже со счету собьешься считать, сколько раз это было.)

И второй повод — конечно, Чечня, откуда приходили сообщения одно страшнее другого, хотя в то время я не подозревал об истинном масштабе трагедии новогоднего наступления на Грозный.

Вот что я тогда писал:

“Эйфория, неожиданно охватившая некоторые средства массовой информации в середине прошлой недели, лично меня повергла в состояние шока.

Какой это еще новый праздник придумали на нашей улице? Ах, наш президент, появившийся на вручении очередными послами очередных верительных грамот, выглядел “бодрым, уверенным в себе и полностью контролирующим ситуацию”? Ах, он обещал в течение нескольких дней прекратить военные действия в Чечне (день выхода “ЛГ” — среда: ну, что там на дворе?). Ах, он снова с нами! Он наконец-то проснулся и увидел, что же происходило в период его затворничества, когда слова о “полном контроле президентом ситуации” вылетали из неуверенных уст его помощников...

Да, естественно, политика и нравственность несовместимы. Но не до такой же степени!

И нет у меня сил поверить в то, что с того мгновенья, когда мы увидели бодрого и “контролирующего ситуацию” президента, одна исписанная кровью страница кавказской войны закончилась и открывается новая, незапятнанная, чистая...

Увы, уже не поверишь, уже не утетишься и, боюсь, уже не простишь.

Меня умиляет — и как тут не вспомнить недавнее советское прошлое! — когда Олег Лобов в прямом телеэфире оправдывает гибель мирных жителей Грозного тем, что и США во время “войны в заливе” уничтожили триста тысяч не военных, а гражданских иракцев (знакомые американцы за голову схватились: в каком сне приснилась нашему секретарю Совета безопасности эта фантастическая цифра?), или когда Андрей Козырев с глубокомыслием объясняет нам, людям, еще по-коммунистически доверчивым, что и США тоже не хуже нас используют свои вооруженные силы для разрешения своих внутренних конфликтов. Ох, Америка! Что бы мы без нее делали? Откуда бы тогда еще черпали примеры наши политики?

Но почему же тогда они не вспоминают другие примеры из той же Америки?

Во время “войны в Заливе” (поддержанной тогда всем цивилизованным миром, и нами, кстати, в том числе) я оказался в Вашингтоне. И я помню не только разлитую по стране скорбь: больше десятка американских солдат погибли, случайно накрытые огнем собственной артиллерии, их фотографии — на первых страницах газет, их биографии, интервью с их родителями и друзьями, но и шквал возмущения по всей Америке, когда одна “точечная” бомба угодила в бомбоубежище, в котором находились мирные жители.

Что, наши ястребы забыли об этом?

Или — ближе, уже совсем рядом...

Судьба двух американских летчиков, сбитых в Боснии.

Не помнят? Не удивились, что лично президент Клинтон занимался их судьбами и вся Америка с напряженным вниманием следила, сумеет ли президент вернуть одного живого из плена и тело другого, погибшего там?

Всего двое... Капля в человеческом море, но все понимали, что не заметь пре-

зидент этой капли — грош ему цена. Президент, которому до лампочки один-единственный свой гражданин, попавший в беду, — может ли он рассчитывать на доверие остальных своих граждан?

Понимаю, слышу в ответ: но это тоже пропаганда, за которой стоит тонкий расчет и игра на популярность.

Но нашим-то больше бы такого расчета, больше такой игры...

Думаю, и мы поняли бы своего президента, если бы тогда, когда громили российские военные городки в Грозном, когда захватывали в заложники офицеров Российской армии, когда, наконец, Чечня не отдавала своих террористов, виновных в захватах самолетов, Россия бы вмешалась, провела военную экспедицию, заговорила языком силы.

Да, думаю, что поняли бы...

Но речь-то тогда шла именно о капле в человеческом море. А зачем ее замечать, если уже по-большевистски привыкли мерить все на десятки, сотни тысяч, на миллионы...

Помните, конечно же помните, когда на похоронах трех ребят, погибших возле Белого дома, Борис Ельцин сказал: “Простите меня, своего президента”. Какой комок подступил тогда к горлу. Но — и гордость в сердце: вот наконец появился президент, достойный своего народа.

Где он, тот Ельцин?

Он скажет: “Простите меня, своего верховного главнокомандующего, за то, что посылал я на смерть необученных пацанов, в то время как элитные части, в том числе и моя охрана, достигшая численности сорок тысяч человек, охраняла меня и мое окружение...”?

Он скажет: “Простите меня, руководителя страны, за то, что у меня такой бездарный министр обороны, и не могут его провалы оправдываться тем, что он хороший партнер по теннису и мой сосед по новому дому в Крылатском...”?

Он скажет: “Простите меня, председателя Совета безопасности, за то, что я наплевал на мнения своих советников и экспертов, а доверился сам уже не знаю кому...”?

Он скажет: “Простите меня, избранного вами президента, за то, что я доверил власть, данную мне вами, камердинерам и сторожам...”?

Боюсь, что теперь он уже промолчит”.

Если я не ошибаюсь, газета с этим, повторяю, нервным и злым комментарием вышла в начале той недели, когда я улетал в свою первую чеченскую командировку.

Теперь все-таки — почему я полетел...

Во-первых, уже в начале ноября 94-го события в Чечне начали развиваться так стремительно, что все яснее и яснее возникало ощущение какого-то ужаса, куда нас всех ввергли, и потому-то Чечня притягивала к себе, как в ранней юности на Кара-Даге меня тянуло и тянуло заглянуть за край пропасти.

Но была еще одна совершенно прозаическая причина, понять которую может

только человек, сам причастный к журналистике: текущий номер. Успеть, успеть, не опоздать...

Я работал тогда редактором отдела расследований “Литгазеты”. В нашей стареющей и, увы, тогда уже затухающей газете молодые журналисты работали лишь в нашем отделе. И хотя специфика нашего отдела была далеко не военно-репортерской, не просить же поехать под пули Анатолия Рубинова или Аркадия Ваксберга?

Вторым из отдела вызвался ехать Кирилл Б. — еще работая до “ЛГ” в “Комсомолке”, он облазил множество горячих точек. Тем более что ему представилась возможность поехать туда в качестве то ли переводчика, то ли сопровождающего какой-то американской компании. То есть за их деньги. (А деньги нищей “ЛГ” — это особая лебединая песня, и потому столько раз нас выручали совместные проекты с богатенькими западными коллегами, когда их деньги и наши информационные возможности позволяли — чаще всего день в день с ними — печатать сенсационные материалы.)

Как я волновался, когда он улетел!.. Как названивал в Назрань, как просил Бориса Агапова, вице-президента Ингушетии, подстраховать нашего парня. Хотя как уж там можно подстраховать на войне...

Мы держали под его репортаж целую газетную страницу. До того момента, когда держать пустую, ничем не заполненную полосу уже стало невозможно.

А он уже вернулся домой... Без репортажа.

— Ты подвел редакцию!.. Ты подвел меня!.. — помню, вопил я в телефонную трубку.

А он в ответ произнес слова, обидевшие меня:

— Но не ты же давал мне деньги на эту командировку!..

— Но у нас же команда... — вяло бросил я в ответ.

В общем, тогда мне надо было реабилитировать свой отдел.

Это, наверное, было еще одной из причин той командировки в Чечню, куда, честно сказать, мне ехать совсем не хотелось.

Мне было бы не интересно писать об отступлениях одних и наступлениях других или о том, как пули летят по степям. Вернее, по горам. Или — между гор.

Но одно мне было интересно: что могут делать в Чечне, где воюют, ребята из главного управления МВД по организованной преступности и из РУОПов?

Они же — не по этому делу... Во время войны приказ заниматься борьбой с мафией мог дать только сумасшедший. Или в Москве, там, в Кремле, не понимают этого? Если десятки военных академий и училищ не смогли создать команду генералов и офицеров для того, чтобы воевать, то, может быть, их лучше перекалificarовать в нормальных полицейских, а полицейских — в солдат?

Так я тогда думал, еще не понимая сути и сущности этой войны...

Я позвонил Михаилу Егорову, в то время — первому замминистра МВД и начальнику главка по оргпреступности.

— Михаил, мне надо в Грозный. Помоги мне выйти на своих, — попросил я его.

— Я тебя не пушу. Там тебя могут убить, — ответил он.

— Ты меня не можешь пускать или не пускать. Ты только помоги мне до них добраться...

Я почти дословно цитирую наш диалог.

— Ладно, черт с тобой... — ответил мне Егоров. — Скажи, когда ты летишь?

— Завтра утром... До Минвод...

— Тебя встретят и привезут... Туда, к нашим.

А потом было утро.

Да, вот еще что. В самом начале января 95-го я познакомился с Магомедом Угурчиевым. Тогда он работал в постпредстве Ингушетии в Москве. Недели за две до моей командировки он пришел в "Литгазету". Во время январского штурма Грозного у него пропали два брата. Там, в Грозном, где он и его большая семья жили, еще когда Грозный был столицей Чечено-Ингушской Республики, и где они оставались жить и тогда, когда Грозный стал столицей независимой Чечни...

Рассказ его был страшен, и потому мы тут же напечатали крошечную заметку "Исчезают люди":

"В Чечне забирают мужское население. Берут их в основном представители Министерства обороны и МВД России, вывозят в Моздок, Ставрополь, Краснодар, Минводы. Там они находятся в изоляторах. Требуют от них, чтобы они признались в том, что они боевики Дудаева или шпионы Дудаева.

Вот факты, которые у нас имеются.

11 января задержали при выходе из Грозного ответственного секретаря ингушской республиканской газеты "Сардале" Ибрагима Угурчиева. На сегодня известно, что он находится в следственном изоляторе.

Еще пример. Сотрудник "Ингушводстроя" Чингисхан Амирханов сумел сбежать из моздокского изолятора. Сегодня он находится в Ингушетии. Ему в изоляторе отбили все внутренние органы. Эту информацию нам дал управляющий делами Совмина Ингушетии Асхаб Янгиев.

Еще один случай. 5 января пропал младший брат Ибрагима Угурчиева — Адам Угурчиев".

Да, я все это слушал, писал, но, честно признаюсь, тогда сам еще не пропускал через сердце все эти несчастья, обрушившиеся на тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей.

Я летел вместе с Магомедом до Минвод (рейсы на все остальные города Северного Кавказа были уже отменены). Магомеду нужно было добраться до Грозного, чтобы найти следы своих братьев.

— Один брат даже не из Грозного, он живет в Сибири... Приехал в гости, а тут вдруг... Вышел из дома, его схватили... Где он теперь, как?..

Я слушал Магомеда и был уверен, что все будет в порядке... Найдутся братья...

Отыщем... Не подозревая еще тогда, что тысячи и тысячи людей канут в Чечне в безвестность. Так же, как и младший брат Магомеда, следы которого он не может найти по сей день.

Кстати, тогда, в полете, я услышал от Магомеда Угурчиева, как он представлял истоки всего российско-чеченского конфликта.

Дело в том, что он заканчивал московский Литинститут вместе с Яндарбиевым, который впоследствии сменил Джохара Дудаева на посту президента Чечни. Потом они долгое время занимали одну комнату в Союзе писателей Чечено-Ингушетии: один был консультантом по ингушской литературе, второй — по чеченской. (Вообще меня поражает, как много людей пишущих стали не описателями трагических событий, а сами сделались людьми, о которых пишут: тот же Звиад Гамсахурдия, мой товарищ по “Комсомолке” Отахон Латифи, ставший одним из ярых таджикских оппозиционеров, Мовлади Удугов — как он сам сообщил мне однажды — провалился на журфак МГУ, а Шамиль Басаев, оказывается, пишет песни. Вот уж на самом деле “нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”).

И вот что я услышал от Магомеда тогда, в самолете:

— Казалось, что все делалось специально. При всей эйфории свободы положение в республике было аховое: разгул преступности, экономический кризис, люди без зарплаты... Но как только популярность Дудаева падала, в Москве что-нибудь придумывали, чтобы ее поднять. То Верховный Совет призывал к экономической блокаде Чечни, то Руцкой требовал бомбежек Грозного. И каждый раз это происходило, когда рейтинг Дудаева приближался к нулевой отметке. И как следствие московских решений — тут же его популярность резко возрастала...

Потом я еще не раз мог убедиться в подобной взаимосвязи московских политических решений с событиями в Чечне. Но, честно признаюсь, до сегодняшнего дня не могу дать себе ответ, где была заданность, а где — череда нелепых случайностей.

Но, наверное, так всегда и бывает в человеческой истории. Вспомним хотя бы насморг Наполеона, стоивший ему поражения...

Ну а тогда я летел в Минводы, приближаясь, приближаясь, приближаясь к миру войны.

Что, помню, меня удивило: среди моих попутчиков было много людей, которые через Минводы хотели добраться до Грозного, чтобы вывезти оттуда своих родных и близких. Помню парня с Украины, по-моему, из Харькова. Он летел за сестрой. “А как же ты будешь добираться?” — спросил я его. В ответ он пожал плечами: “Я же не могу ее там оставить”.

Я понимал, что мне-то куда легче. Я знал, что после звонка Михаила Егорова меня встретят. Меня привезут. Обо мне будут заботиться и меня оберегать.

Вообще-то при всех опасностях, которые случаются в нашей работе, нельзя эти опасности преувеличивать, а тем более ими гордиться.

Все-таки журналисту легче, чем просто человеку без редакционного удостове-

рения, попадающему во всякие передряги. И потому, когда меня спрашивают, не боюсь ли я, не угрожают ли мне и если угрожают, то как я на это реагирую, то я отвечаю уже заготовленной фразой: “Этот вопрос — для студента журфака”.

Я на самом деле уверен, что наша профессия не опаснее жизни.

Да, а война все приближалась и приближалась. Вот выпущены шасси... Вот уже дома, как игрушечные, внизу... Вот уже посадочная полоса... Трое в камуфляже возле трапа... “Пока, Магомед, надеюсь, что братья найдутся...” — “Удачи тебе...”.

Мы ехали из Минвод в Моздок. О приближающейся войне напоминаний лишь “калашников” в руках сержанта, который сидел на переднем сиденье военного “уазика”.

— Ну как там? — спросил я у офицера из главка по оргпреступности МВД, которого послали меня встретить.

— Ничего хорошего... — ответил он и всю дорогу практически молчал, односложно отвечая на мои вопросы: “Да”, “Нет”, “Не знаю”...

Так начиналась моя первая чеченская командировка, впечатления от которой я довольно подробно описал в статье, озаглавленной “За Родину? За мафию?”.

О том, что не вошло в статью.

Первый вечер в Моздоке, где располагалась тогда главная военная база федеральных сил. Вагончик, в котором штаб МВД. Знакомство с руководителем всех милицейских подразделений — начальником западносибирского РУОПа Юрием Прощелыгиным.

— Егоров сказал, чтобы я тебя не пускал в Грозный. Кого надо, сюда привезем...

— Все равно поеду...

— Ну, смотри... Тебе виднее... — пожал он плечами.

Помню, что меня удивило в первый вечер.

Во-первых, то, что все, с кем я тогда встретился, ходили под псевдонимами.

Ночью мы пили водку с генералом Широковым. Но оказалось, что никакой этот генерал не Широков, а на самом-то деле — заместитель командующего внутренними войсками (впоследствии, после покушения на Романова, командующий) Анатолий Шкирко. Оказалось, что он сам родом из Грозного, куда его родители переехали после депортации чеченцев. Вот ведь какие изгибы судьбы случаются!

Во-вторых, какие-то бытовые вопросы, которыми все были озабочены. Например, приехал собровец из Грозного, чтобы выбить кровати. Потом, уже в самом Грозном, на молокозаводе, я убедился, какой праздник был у собровцев, когда эти кровати были наконец-то привезены.

Помню, какое раздражение вызвал у меня мужик из главка по оргпреступности (оказалось даже, что лет пятнадцать назад, когда он еще был лейтенантом, мы с ним встречались), который был комендантом пассажирского вагона, одиноко стоящего в поле: там я ночевал в первую ночь и потом, после возвращения из Грозного.

Он был из тех, кто сам в Грозном не был, но считал себя человеком войны: он очень много рассуждал о боевых действиях и командовал постояльцами вагона как заправский прапорщик. Потом, когда я уже вернулся из Грозного, он поразил меня

вопросом: почему я не взял справку, что побывал под обстрелом? “А на кой она мне?” — удивился я. “Как на кой? В личное дело”, — удивился он моему вопросу.

(Потом мне рассказали о проверяющем полковнике из Москвы, которому дали медаль только потому, что в Моздоке он по пьяни сломал палец, но за бутылку получил справку, что палец сломан в бою. “Чем дальше от фронта, тем больше героев...”, как поет мой друг Сан Саныч.)

Помню, как долго не мог уснуть в первую ночь. Стоял, курил, смотрел на звезды. Время от времени слышались выстрелы: это развлекались пьяные солдаты...

Да, еще помню командира тюменского СОБРа, который нервно плакал: в тот день он потерял половину своих ребят.

Еще помню, как время от времени к штабному вагончику подходили чеченцы, и тогда меня просили выйти на улицу покурить: как понимаю, это были милицейские агенты или те, кого за них тогда принимали.

Как я писал в статье, из-за нелетной погоды ехал в колонне “КамАЗов”. Сначала в кузове вместе с Юрой Прощельгиным. Потом — по предложению Юры: “Давай, чтобы лучше видеть!” — пересел в кабину последнего “КамАЗа”. Уже в горах на подъезде к Грозному наш “КамАЗ” застрял. Колонна ушла вперед. Помню, как занервничал собровец. “Тебе только оленей водить!” — зло бросил он водителю-якату, который, как оказалось, за баранкой сидел всего три месяца.

Я делал вид, что в принципе-то ничего не боюсь, когда собровец нервно осматривал пугающие окрестности сквозь оптический прицел.

Потом все-таки тронулись и догнали колонну уже на подъезде к Грозному, где все поле было усеяно танками, время от времени стреляющими куда-то вверх дороги.

Тогда первый раз услышал выстрелы. Все было довольно громко.

В самом Грозном произошел очень смешной эпизод: меня арестовали.

— Давай двигай на молокозавод, там штаб. А я — на “Северный”, — сказал мне Юра Прощельгин.

Я перебежал (да, именно так и было, потому что кругом слышались выстрелы) в другую машину — ремонтный фургон, на котором и въехал, не замеченный часовыми, на территорию молокозавода.

Было темно и грязно.

— Что вы здесь делаете? Как вы здесь оказались? — спросил меня небритый человек, у которого я попытался узнать, как мне пройти в штаб.

Я сказал, кто я и откуда.

— Я вас узнал, — зло бросил он. — Я вас спрашиваю, как вы здесь оказались?

Я начал объяснять, что приехал с Прощельгиным, что тот уехал на “Северный”, а меня послал сюда, что с ним можно связаться и что он все объяснит.

— Не знаю никакого Прощельгина. Как вы попали на территорию воинской части? Черт знает, что происходит! — буркнул небритый человек, как оказалось, замначальника штаба.

Меня отдали — до выяснения моей личности и не являюсь ли я дудаевским шпионом — под охрану парня из московского РУОПа.

Мы мирно беседовали под потрескивание поленьев в печурке (прямо как в каком-то знакомом с детства кино), вспоминая общих знакомых. Тогда-то он мне и сказал, что не понимает, зачем его сюда прислали: каких здесь можно ловить преступников, когда кругом идет пальба?

Часа через два наконец-то все выяснилось, и по нескольким пролетам вниз, освещая ступеньки фонариком, меня провели в глубокий подвал.

Кровати в два ряда, длинный стол, карта на стене...

Поразил аскетичный ужин — ни капли водки. Вот, подумал я, мужики дают! Вот что значит война!

(Как потом, спустя два месяца, смеялся сам над собой и над ситуацией, которая вокруг меня сложилась. В редакцию приехал полковник Леша Покровский — тот самый, который меня арестовывал, и рассказал, как они все мечтали, когда я наконец-то уеду. “Нам тогда генерал сказал: “Попробуйте только выпить! Он же напишет!”. Бедные мужики!)

Кровать мне отвели (все-таки гость) в комнате, где спали легендарный командир “Витязя” Герой России Лысюк и еще трое.

Среди ночи запищала рация: наблюдатель докладывал, что возле молокозавода крутятся подозрительные “Жигули”.

— Давай... Только поосторожней... — сказал Лысюк своему заму.

Тот одевался, как космонавт: шлем, бронезилет, какие-то разные непонятные для меня собровские причиндалы.

— Если что, скажи собровцам, чтобы по нему шарахнули, — напутствовал его Лысюк.

Он вернулся через полчаса. Никто не уснул, пока он не вернулся.

Наутро я познакомился с полковником Юрием Зайцевым, командиром западносибирского СОБРа, и с его ребятами.

Когда я уговорил его взять меня с собой в их бэтээр, мне предложили одеться в камуфляж и надеть “сферу”, то есть каску. Я отказался: нет, я человек гражданский. Правда, бронезилет нацепил.

Естественно, я отказался брать и автомат: если, не дай Бог, что-нибудь случится, человек, найденный убитым не с диктофоном, а с автоматом, уже не может считаться журналистом. Даже посмертно.

Ну, а потом была эта передряга, о которой я написал в статье.

Когда мы вернулись, ребята попросили вместе сфотографироваться.

Я удивился, когда спустя какое-то время получил из Новосибирска пакет с фотографиями. На одной я нашел трогательную надпись “Юрию Щекочихину на память в знак признательности за его вклад в построение правового государства. СОБР Зап.Сиб.РУОП”.

Вообще-то я рад, что жизнь свела меня с ребятами из СОБРа. Наверное, из-за

того, что жизнь постоянно ставила их в опасную ситуацию, оборачиваясь к ним своей темной и грязной стороной, в них чувствовалась та сила — не показная, громкая и наглая, а спокойная, истинная, которая склеивает хрупкое наше существование и придает ощущение надежности.

Нет, они, естественно, не радовались тому, что оказались в Чечне. Больше того, вместе мы материли московских политиков и жалели необученных пацанов, брошенных в это кровавое месиво. Но раз они оказались на этой войне (хотя могу повторить то, что написал тогда в газете: не дело СОБРов участвовать в боевых действиях, они — специальные отряды быстрого реагирования — были созданы для борьбы с бандитскими группировками), то старались делать свое дело честно и основательно. Потому-то, наверное, я ни разу не слышал плохих слов в их адрес: их никто не обвинял в трусости, не кидал им вслед презрительно: “Мародеры!” — как, к примеру, называли омоновцев, да и в издевательствах на фильтрапунктах они замечены не были.

Спустя примерно год, в разгар избирательной кампании по выборам в Госдуму, я вместе с Владимиром Лукиным прилетел в Новосибирск, чтобы поддержать “Яблоко”. Позвонил Юрию Зайцеву: “Собери ребят. Я расскажу о нашей программе”. Когда я пришел, в его тесной командирской комнате меня ждали ребята, с которыми мы познакомились в том военном грозненском январе. Водка на столе, колбаса нарезана... “Только давай, не надо нас агитировать. Мы же виделись там...”.

Была еще одна встреча со знакомым собровцем, уже московским. Совсем неожиданная и нечаянно сорвавшая одну, как мне тогда казалось, важную встречу.

Когда убили Влада Листьева, я начал самостоятельное газетное расследование, открыто объявив об этом по телевидению и сообщив номер своего редакционного телефона.

Это, конечно, отдельная история, в которой было немало захватывающих приключений.

Но однажды мне позвонили из МВД и сказали, что дело-то мы делаем хорошее, но для меня оно может плохо кончиться (“И у тебя неприятность, и у нас лишний труп”, — сказал замминистра), тем более что напротив окон моего кабинета, на чердаке дома, стоящего на противоположной стороне улицы, засекли не то наблюдателя, не то снайпера.

Так я начал ходить под охраной собровцев,

Но первая наша встреча с этими ребятами, возможно, лишила меня важной информации, хотя, с другой стороны, может быть, уберегла от какой-нибудь опасности.

Очередной телефонный звонок:

- Я хочу вам сообщить кое-что важное... Очень важное...
- Приходите в редакцию...
- Это исключено.
- Подходите к редакции. Я выйду на улицу.

— Это исключено.

— Где, когда? Я приду.

— У вас. В Переделкине. На перекрестке возле детского санатория, — услышал я, удивившись осведомленности моего собеседника о том, где я живу.

Мы договорились о том, что встречаемся на следующий день в одиннадцать утра.

— Один не пойдешь, — предупредил меня полковник из ГУОПА, входивший в следственную бригаду. — Тебя ребята подстрахуют...

Потом помню дорогу от дачи до перекрестка. Кто меня ждет? Зачем? Приблизюсь ли я к разгадке или еще больше запутаюсь? Кто эти ребята, которые будут подстраховывать? Как я их найду? А они — меня? И вообще зачем все это? Бред какой-то...

Что-то такое, наверное, мелькало тогда в голове, пока я сворачивал со своей маленькой улочки налево и вдоль леса шел в еще какую-то неизвестность. А может быть, ничего такого и не мелькало. Просто шел на одну из тайных встреч, которых, учитывая специфику газетной специализации, в жизни было множество. Кстати, и меня страховали, и я сам страховал (это нормальная техника безопасности), правда, обычно это были коллеги-журналисты или просто близкие друзья. Представители государства меня страховали впервые в жизни, и уже это само по себе было интересно...

Гаражи, сейчас направо, снова налево... Вот он, перекресток... "Волга"... Они? Он?

Дверца "Волги" распахнулась... И выскочил парень, знакомый мне по тому Грозному, тогда, в январе... Тот, кого я увидел в Моздоке, когда он приехал за кроватями для собровцев, базирующихся на молокозаводе.

— Вот так встреча! — обрадовался я.

Мы обнялись, и я стал спрашивать: как там ребята? Все ли живы?

Мы стояли рядом с "Волгой", которую даже юный дзержинец не перепутал бы с "конторской" (антенна на крыше, еще трое в машине), позабыв все правила конспирации.

А прямо на нас, на перекресток, на большой скорости мчался "Мерседес" с затемненными стеклами. Не доезжая до нас метра два, резко развернулся — и помчался в сторону Можайского шоссе.

— Лучшего места для разговора мы с тобой не придумали. На глазах у всех. Теперь, когда они увидели, что я пришел не один, они больше не назначат встречу. Они не идиоты, — огорчился я.

— Да черт с ними... Если на самом деле что-то знают и о чем-то хотят сообщить — еще позвонят. А если нет — даже к лучшему, что они видели: тебя страхуют... Сам знаешь, какая сейчас жизнь...

Потом машина с собровцами отъехала в сторону, в тень деревьев. Я еще час одиноко бродил по перекрестку. Тот "Мерседес" больше не приехал.

И мне больше никто не перезванивал...

Эти встречи — после первой чеченской командировки — не имеют отношения

к тому, о чем я пишу сегодня и о чем вспоминаю, уже не умея забыть.

Но чем дальше живу, тем больше убеждаюсь, как причудливо переплетаются события, происходящие в нашей сегодняшней жизни, как становятся для тебя одним единым событием, в причинах которого ты пытаешься разобраться: кто виноват? такое время? такой человек? такая страна? ты сам?..

Ну ладно... Теперь о том, о чем тогда не захотел написать... Или не смог?.. Нет, все-таки не захотел.

В Моздоке в штабе нашей группировки я познакомился с полковником транспортной милиции из Москвы.

— Вы не представляете, что здесь происходило при Дудаеве. Ни один поезд не мог пройти через территорию Чечни! Ни один! Как в гражданскую войну, перего- раживали железнодорожное полотно, выходили целым селением и просто граби- ли. Сейчас в чеченских квартирах можно найти целые склады!

Он мне даже показывал справки: сколько поездов подверглось нападениям, сколько сотен тысяч тонн груза исчезло из поездов, наконец, как часто нападали на пассажирские поезда.

Цифры я переписал в блокнот, думая, что они мне потом пригодятся.

Негодились, хотя у меня не было оснований сомневаться в их правдивости.

Больше того! Сегодня я думаю, что не написал об этом скорее интуитивно, чем сознательно.

Тогда, еще в январе, я чувствовал, что единственным доводом пропагандистов этой войны для объяснения солдатам и офицерам, для чего их сюда бросили, было: мы воюем против криминального государства (так как мало кого можно убедить в идее “восстановления конституционного порядка”). Не бьем народ, а укрепляем Россию. Потому-то мне не хотелось присоединяться к этому хору.

Второй опущенный мною эпизод был более серьезным, и я не привел его со- вершенно сознательно.

В двух шагах от молокозавода находился пункт Красного Креста. Каждое утро возле него собиралась толпа, уже не обращающая внимания на то, что происхо- дит вокруг. У этих людей вместо лиц были тени. Они не перебежали дорогу под свист пуль — они медленно проходили сквозь пули. С какой-то отрешенностью во взглядах они таски на тележках и муку, которая досталась им в качестве гумани- тарной помощи, и укрытые мешковиной трупы своих родственников. Это были в основном женщины, дети, старики, старухи. В подавляющем большинстве, есте- ственно, не чеченцы, которых родственники сумели увезти в горные селения — подальше от войны.

Я подошел к ним. Меня узнали. И первое, что я услышал: “Что же ваш Ковалев не боролся за права человека, когда нас за бесценок заставляли продавать квар- тиры? Когда издевались над русскими? Когда каждую ночь могли ворваться в наши дома?”.

Я понимал состояние этих людей, когда они готовы были броситься на меня с

кулаками. Я верил им, когда они спрашивали: “Почему Ковалев пришел к нам в сопровождении охраны Дудаева?”. Я даже старался их понять, когда слышал, что наших солдат встречали как освободителей, хотя уже тогда знал, что мародеры не различали дома, где жили чеченцы и где жили русские.

Но я знал, что не могу об этом писать.

Даже не потому, что с огромным уважением относился и отношусь к Сергею Адамовичу Ковалеву и убежден, что каждый его поступок — поступок честный, искренний и мужественный.

Тогда, в январе 95-го, именно на Сергея Ковалева, председателя комиссии при президенте по правам человека, виновники войны и виновники трагедии Грозного пытались свалить все свои ошибки, все свои преступления, всю свою военную бездарность.

— Зачем он сидел в дудаевских подвалах? За кого он? — спрашивал меня в Грозном до смерти усталый майор.

— У каждого своя профессия. И свое призвание. На этом построено любое общество — на борьбе противоположностей. Ковалев честно делает свое дело! — пытался объяснить я ему.

— А, пошли вы... — зло бросил он мне в ответ.

Напиши я тогда это — и вся статья получилась бы не против тех, кто затеял эту войну, а лично против Сергея Адамовича. А таких статей и без меня хватало.

Сейчас, повторяю, я не хочу ничего, ни единого слова менять в тех репортажах, которые были опубликованы.

Но, естественно, от командировки к командировке, от встречи к встрече менялось мое отношение — нет, не к самой войне: к тому, что происходило вокруг этой идиотской и кровавой войны.

Потому сейчас хочу дать пояснение к тому, что тогда напечатал.

Так, допустим, сумма, которую, по словам парня из подмосковного СОБРа, получали разные иностранные наемники за каждого убитого спецназовца, — до 1000 долларов, и то, что за каждым наемником следили два чеченца, — все это из области обычных фронтовых легенд. Точно так же, как истории, повторявшиеся из публикации в публикацию, о неуловимых “белых колготках” — эти “колготки” проходят через все подобные войны, о них все рассказывают, хотя никто не видел.

Но чеченской войне (точно так же, как войне в Абхазии, или в Таджикистане, или в той же Югославии) непременно сопутствовали истории, повторяющиеся из уст в уста, и каждый утверждал, что видел все своими глазами: так, к примеру, вся эта жуть, что чеченцы кастрировали наших захваченных в плен солдат.

Никакого медицинско-документального подтверждения, как ни искал, так и не нашел.

Любопытным оказалось продолжение с якутским золотом, поставленным в Чечню.

Спустя нескольких дней после публикации мне позвонил Валентин Логунов, мой бывший коллега по межрегиональной депутатской группе на Съезде народ-

ных депутатов СССР. Оказалось, что он стал помощником якутского президента Николаева и что в Якутии уже проведено расследование по поводу моей статьи.

— Ну и что?

— Контракт такой существовал, но сама эта фирма была организована одним мошенником, и, естественно, никакого золота не поступало.

Так мне сказал Валентин Логунов.

Не знаю, не знаю...

Тем не менее Генпрокуратура направила в Якутию своих следователей. Чем кончилось расследование — не знаю. Мне не сообщили, да я уже и сам не интересовался.

И еще одна цифра, которую я привел в том первом военном репортаже: около пяти тысяч убитых на 6 января.

Помню, тут же после публикации ко мне в Переделкино приехали “Вести”, и я озвучил эту цифру потерь в вечернем телеэфире. На следующий день я ждал официального опровержения — не дождался. Ни через день. Ни после.

Думаю, что эта цифра — точная.

Именно тогда почти полностью полегла майкопская бригада. Такая же судьба постигла злополучную 201-ю.

Мне рассказывали про маму солдата, которая бродила по военной базе в Моздоке, дергая за рукав каждого проходящего начальника и показывая справку, в которой было написано: “...в списках живых, убитых, раненых, пропавших без вести не значится”. Справка была написана под копируку и, как в подобных бюрократических документах, фамилия и имя были вписаны от руки.

— А где служил ваш сын? — спросил ее полковник Александр Чикунев, когда она подошла и к нему на пороге госпиталя, где он лежал.

— В майкопской бригаде...

“Я не мог смотреть ей в глаза”, — скажет мне потом Саша...

Тогда в Грозном очевидцы январского наступления рассказали мне, как это было. С тех пор я узнал много новых подробностей о том, как и почему погибали необученные пацаны под началом полуобученных генералов. Но вот совсем недавно, летом 97-го года, от Саида (о нем речь еще впереди) услышал слова, которые по сей день звучат во мне:

— Я помню: в Старопромысловском районе улицы, как горохом, были усеяны телами солдат.

Как горохом...

Поздней весной Комитет по обороне Госдумы провел полузакрытые слушания о причинах гибели российских военнослужащих в Чечне. Кроме стыда, на этих слушаниях я ничего не испытал: по логике высшего военного генералитета, если бы не плохие солдаты и плохие офицеры, то хорошие генералы непременно бы эту войну выиграли.

Я не смог все выдержать до конца. И не только я. Майор Вячеслав Измайлов и

полковник ВВ Александр Чикунов, участники этой войны, видевшие ее не из окон генеральских кабинетов, тоже ушли раньше из зала заседания.

За генералов стыдно...

Тогда, в январе, после той январской бойни, никто из наших генералов нешел в себе мужества сказать: "Хватит бойни! И так уже много ребят мы положили за несколько дней войны. Как горох..."

Потом, намного позже, в Грозном, когда был установлен маленький и хрупкий мир, я увидел Василия Ефимовича Сидорова, который спустя полтора года после гибели нашел останки своего сына Андрея. Я написал об этом в "Новой газете". Мне позвонили из Минобороны, с "горячей линии" — спецтелефона, по которому родители пытаются отыскать следы своих пропавших сыновей, — и сообщили, что рядовой Сидоров в списках Минобороны не числится.

— Как не числится?

— Значит, он был в строевых списках. Или его забыли вписать... — грустно вздохнул мой собеседник из Минобороны.

И таких примеров много. Посылали из других частей. Чтобы скрыть потери, тасовали пацанов, как колоду, по разным частям. Меняли записи в военных билетах. Обманом отправляли в Чечню (Сергей Смирнов, корреспондент "Новой газеты", однажды рассказал о "батальоне сирот", который специально готовили для Чечни, уверенные, что их никто не хватится — некому).

Тогда, в январе 95-го, я еще не знал всю меру этой подлости.

— ...Надо попробовать улететь с "Северного". Что-нибудь оттуда должно идти, — предложил Юрий Зайцев.

Меня провожали. Точно так же, как мы обычно провожаем гостей в Москве — из центра в "Шереметьево".

Только ехали на бэтээре.

Я сидел сначала на броне, чтобы еще раз окинуть взором окрестности.

"Дорога становится час от часа безопаснее и многочисленные конвои — излишними... Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем..."

Разбитая дорога, хлопки выстрелов, канонада за Сунжей, труп у дороги, еще один, еще... Навстречу на такой же огромной скорости как мы, промчался бэтээр, на котором развевался красный советский флаг и откуда разносился во всю мощь какой-то шлагер... Не то "На-На", не то Люба Успенская... Черт их разберет...

Потом я спустился вниз, под броню. Помню двух собровцев, прильнувших к пулеметам у амбразур. Какой-то перелесок с перерубленными снарядами деревцами...

Потом — "Северный". Один блок охраны, второй, третий... Спросили у генерала, одетого в новенький камуфляж: есть ли что-нибудь на Моздок? Он, как мне показалось, брезгливо покосившись на грязный камуфляж Юры, да и на мои черные от грязи джинсы, бросил: "Узнайте там... Там генерал", — и важно кивнул по направлению аэровокзала.

Помню какой-то плакат на выщербленной пулями стене аэровокзала: не то “Миру — мир”, не то что-то про нерушимую дружбу народов.

Оказалось, что должен лететь замкомандующего ВВ Анатолий Шкирко, с которым мы полночи просидели на базе в Моздоке.

Потом — полет. Тоже пулеметчик в хвосте “Ана”. Потом Моздок. Долгое ожидание — будет самолет на Чкаловск или не будет. Полет — вместе с “грузом 200” и ранеными. Знакомство с Сан Саньчем, о котором я расскажу отдельно. Чкаловск, редакция, ребята ждали с бутылкой водки. Ночью писал статью и отмачивал от грязи джинсы.

Спустя несколько дней в редакционной бухгалтерии меня спросили, есть ли у меня квитанция за гостиницу. Я посмотрел на ту тетку, как на сумасшедшую.

Так закончилась моя первая чеченская командировка.

Однажды я был заложником

Поздно вечером я возвращался из Думы. Обычный маршрут: Кутузовский, Можайка, Минское шоссе, поворот на Переделкино, на дачу, где за неимением квартиры живу уже седьмую зиму. Возвращался на думской “Волге” (единственная реальная привилегия депутата — машина, которую ты можешь вызвать) с российским флагом на ветровом стекле.

Мы уже повернули с Минки на нашу проселочную дорогу, сделали один поворот, другой, как вдруг ощутили несильный, но чувствительный удар сзади.

Водитель Андрей (а пока мы ехали, естественно, познакомились, и он даже рассказал мне, что когда-то занимался шоссейными гонками и был мастером спорта) резко нажал на тормоз. Мы выскочили одновременно...

Из “Оппеля”, который врезался в нас, тоже одновременно с двух сторон выскочили двое: один — маленький, лысый, другой — повыше, помоложе, но уже шагающий, как на ветру.

— Ты куда едешь?! Ты чего? Не видишь? Ты посмотри, что с машиной сделали! — чуть ли не с кулаками набросился он на водителя.

Я посмотрел: бампер у их “Оппеля” был на самом деле раскурочен. На нашей же “Волге” — лишь небольшая вмятина.

— Ты, баран! Ты куда смотришь! — наваливался на Андрея молодой.

— Эй, ребята! — примирительно сказал я. — Погодите! Кто в кого въехал?

— Да пошел ты... Не важно, кто в кого! Ты посмотри, что с машиной сделали... Да ты знаешь, кто мы? Знаешь? Да мы... — все больше заводил себя молодой.

— Ладно, ребята... Кончайте, — пытался я хоть как-то разрядить ситуацию. — Хотите разбираться? Давайте разбираться. Вызовем ГАИ, телефон у меня с собой...

— Какое ГАИ! — заорал молодой. — Мы здесь ГАИ! Да ты знаешь, кто мы? Солнцевские! Понял, солнцевские!

— У-у-у... Понял. Андрей! — сказал я, уже открывая дверцу с левой стороны. — Поехали!..

И тут произошло то, чего уж я никак не ожидал.

Молодой с силой дернул меня от машины, так, что я чуть не свалился в снег, а лысый в это время с другой стороны, оттолкнув Андрея, залезал в “Волгу”.

Повторяю, был уже поздний вечер. Вернее, ночь: первый час. Кругом — ни души. Слева и справа — лес. Что делать? Драться с ними? А они со стволами или нет? А если со стволами? Ладно, был бы я один или с близкими товарищами — куда ни шло. Но рядом — водитель, человек абсолютно посторонний, работа которого — привезти и увезти депутата. Ему на кой сдались такие приключения?

Потому-то я без сопротивления сел в “Оппель”...

Так мы и поехали дальше: спокойный лысый за рулем “Волги”. Буйный молодой — за рулем “Оппеля”.

И куда теперь? — думал я. К кому? Надолго ли? В том, что все кончится благополучно, я не сомневался. Другое и злило, и смешило одновременно: сколько занимался расследованиями — никто и пальцем не тронул. Пугать — пугали. Угрожать — угрожали. Но таковы правила игры, в которой сам уже много лет. Да и то не бандиты. Чаще всего — задетые чиновники с помощью задетых же бандитов с милицейскими погонями или каких других спецслужб. А чтобы эти? Да никогда! Тем более — машина с депутатским значком. Тем более депутата, состоящего в Комитете по безопасности. Бред какой-то...

Потому-то я почти не слышал пьяные угрозы буйного. Что с пьяного возьмешь? Утром проснется — самому плохо станет.

Вот так, может быть, несколько самонадеянно, размышлял я, когда “Оппель” выскочил на перекресток, откуда одна дорога шла к переезду, в Ново-Переделкино, вторая — ко мне. Повернули в мою сторону, обогнули гаражи, выехали на лесную дорогу... Дальше, дальше — все ближе к улице, на которой стоит моя избушка. Ага. Вот немыслимо распisanная дача Зураба Церетели. Поворот. Моя улица... Ко мне, что ли, едем? Только этого не хватало... Нет, мимо... В окнах свет. Ребята, Сергей и его жена Женя, еще не спят. Но как им дать знать, в какую переделку я нечаянно попал... Все. Встали. Рядом с домиком, где находится наша так называемая дачная комендатура. Ага, значит, один из них — местный...

Ну а дальше... Что дальше?

Перепуганный дедушка-сторож. Я и лысый — в сторожке. Наглый молодой с Андреем на улице. Как два следователя в каком-нибудь фильме, и они играли — в злого и доброго. Добрый, то есть лысый, терпеливо объяснял мне, что такое сегодня время и, хотя, естественно, я не виноват, но платить-то придется мне: такое вот время! не в должностях дело, а в реальном устройстве мира, где сейчас под ними, под солнцевскими, и милиция, и ГАИ, и КГБ... Потом врвался нервный молодой и начинал орать на лысого: “Что ты с ним говоришь! Пусть платит, и дело с концом”. “Ну вот, — терпеливо продолжал лысый. — Видите, какая у нас нервная молодежь! Так что давайте платите!”. И назвал сумму: три тысячи долларов. Я начинал объяснять, что нет у меня таких денег. Тот: “Тогда придется отобрать маши-

ну!” — “Так это же не моя машина, это машина Госдумы!”. Лысый лишь сочувственно пожимал плечами. “Хорошо! — соглашался я. — Мне надо позвонить, чтобы достать эти деньги”. И я уже начинал накручивать телефонный диск, но ворвался молодой, вырвал у меня телефонную трубку: “Никаких звонков! Гони деньги! Сейчас машину забираем, а твоего шофера...” — он употребил слово из ненормативной лексики.

Вот так час или чуть больше продолжалось это бессмысленное толковище.

Повторяю, кроме злости и некоторого веселого возбуждения от самой нелепости ситуации, никаких других чувств я не испытывал...

Чего? Солнцевские? Да отморозки какие-то, пусть даже из этой знаменитой криминальной бригады.

Дело в том, что с некоторого времени я не то что перестал бояться (страх — это замечательный атавизм детства), но уже привык, что они, то есть народ, представляющий криминальную среду, относятся ко мне с таким же любопытством, как и я к ним в силу своих журналистских интересов. Но в последнее время, честно признаюсь, и интерес-то пропал: слишком уж они стали открытыми для любого общения и не очень-то пугались того, что кто-то их потащит в милицию, в ФСБ. Да хоть куда...

Помню, как на круизном теплоходе ко мне подошли двое:

— Разрешите познакомиться, — сказал один, помоложе. — Это, — указал он на своего спутника, — Шарик, вор в законе.

— Очень приятно, Шарик... — протянул я ему руку.

И потом мы не раз обсуждали серьезные проблемы нашей странной истории.

Или в другой раз, уже в Москве, в ЦДЖ, ко мне подскочил довольно пьяный человек:

— Привет! Я Валера-репортер, вор-карманник...

— Привет, карманник. По работе здесь или на отдыхе? — помню, поинтересовался я.

Или случайная встреча в узких закоулках Каира, когда я был опознан по физиономии лица группой знаменитых питерских “тамбовцев”, приехавших отдохнуть на нильские берега...

Да сколько таких случаев было за последнее время! Казалось, что они уже имеют визитные карточки, на которых написано: “Солнцевский”, “Коптевский”, “Подольский”...

Правда, возможно, у них и есть эти карточки... Что в принципе честнее, чем сотни людей, мелькающих то в Госдуме, то по телевизору, то в разных правительственных тусовках, чьи биографии в силу специфичности собственной профессии я, к сожалению, знаю довольно хорошо, нисколько не обманываясь ни их должностями, ни их близостью к вершинам власти...

Ну ладно...

К продолжению этой ночи.

Ночь-то шла. Машина стояла. Водитель нервничал. Я, естественно, тоже.

— Ладно... Чего вам надо? Расписку? Давайте. Что писать? — сказал я, когда в очередной раз влетел в сторожку наглый и молодой. — Давайте отпускайте машину... Сколько платить? Сто тысяч долларов? Пятьдесят? Десять? Как скажете, так и напишу...

Текст, который я написал, был, по-моему, следующим:

“Я, такой-то такой-то, обязуюсь заплатить три тысячи долларов”. Дата, подпись. Как в банке.

— Он, между прочим, — кивнул молодой и наглый на старшего и менее пьяного, — зам Аверы. Надеюсь, вы знаете, кто такой Авера?

Сказал он это так, будто представлял мне высокого чиновника из кремлевской администрации.

— Знаю, знаю...Зам Михася... Но все-таки, если ты такой большой начальник, — в последний раз я попытался объяснить более старшему и более трезвому лысому идиотизм ситуации, — то должен понимать, кто в кого въехал. Вы в нашу машину, а не мы в вашу!

— Понимаете, — философски заметил тот, — такая сегодня жизнь...

Они уехали. Следом уехала и наша думская “Волга”.

— Ничего, Андрей... Не волнуйся, Андрей... Утром с ними разберемся... — что-то такое сказал я на прощанье водителю, сам, правда, не представляя, как и каким образом я что-то могу сделать.

Хотя нет, неправда... Я уже знал.

Дома не ложились спать и ждали меня друзья.

— Что случилось? Почему так поздно? На тебе лица нет!..

— Сейчас... Секунду... Классная история... — я набрал телефонный номер знакомого адвоката, который, как я знал, время от времени выступал на процессах по делам разного рода бандитов.

Рассказал ситуацию. “Сейчас тебе перезвонят. Жди!” — быстро сказал он.

Перезвонили минут через пять:

— Какие они? Какая машина? Хоть клички запомнили? — спросили меня.

Смог только рассказать, что это был “Оппель” с литовскими номерами и что один был лысый и спокойный, а второй — пьяный, молодой и наглый...

Потом лег спать.

Дальше — просто хроника.

Утром, часов в девять, мне позвонил Николай Дмитриевич Ковалев, директор ФСБ. Я ему объяснил, что случилось. Он сказал, что посылает в Переделкино группу из отдела по борьбе с оргпреступностью. Примерно через два часа — новый звонок: “Оппель”? Разбитый? Литовские номера?” — “Да”. — “Через полчаса ждите”.

Через полчаса возле дачи остановились две машины. Из одной вывели двоих — тех самых... Пьяный и молодой был в наручниках. “Только из-за уважения к вам, — сказали мне, — мы их вот так привезли. Обычно мы таких возим в багажнике...”.

...Потом Александр Петрович, полковник из ФСБ, рассказал мне, как все это было. Дело в том, что Андрей, водитель думской “Волги”, со злости — а было от чего злиться — подтолкнул “Оппель” в кювет. Там он и стоял до утра. Утром, еще не протрезвевшие, они доволокли его до кустарной автомастерской здесь же, в Переделкине. Там его и увидели ребята из ФСБ. Александр Петрович вошел в гараж, спросил, кто владелец “Оппеля”, ему показали.

Он тут же подошел к наглому и молодому, показал удостоверение. Тот, похмельный, не мог ничего понять: подумал, что приехала моя “крыша”, и предложил организовать “стрелку”. “Дурачок, — сказал ему Александр Петрович, — это ФСБ России”. Тот сморозил еще большую глупость, сказав, что удостоверение поддельное, и — получил стволом по голове.

Их увезли. Минут через пять, когда я уже проезжал перекресток, увидел, как туда на полной скорости въехали три джипа. Оглянувшись, увидел, как Александр Петрович объясняет что-то нескольким качкам: “солнцевские” опоздали на несколько минут... Потом я понял — тем двоим крупно повезло, что “солнцевские” опоздали: история могла бы закончиться для них совсем трагично.

Дальше...

Днем мне позвонили из ФСБ: “Что с ними делать? Один уже дважды судимый... Второй — “смотрящий” над Домом мебели. По новому Уголовному кодексу, куда вошла статья о нападении на общественного или государственного деятеля, они могут застать надолго. А у одного — двое детей”. — “Да ну их... А если бы я не был “деятелем”? С них уже и так хватит... Не хочу я писать официальное заявление... Хохот, да и только!”. — “Тогда пусть они у нас немного посидят, а потом мы их отпустим”.

История эта попала в газеты и на телевидение. Всех почему-то порадовала фраза, что обычно “таких возят в багажнике”. Хотя понимаю, почему: слишком многие попадали в аналогичные ситуации, когда нагло вымогали деньги с какого-нибудь бедолаги...

Что дальше?

Неделю спустя — как помню, это была суббота, раннее утро — стук в дверь. Я их сначала и не узнал: костюмы, галстуки, в руках — фотографии детей.

— Что вам надо, ребята? Вас же не посадили?

— При чем здесь “не посадили”... Авера завтра возвращается: нас в лучшем случае убьют, в худшем — покалечат. (Было сказано именно в такой последовательности.)

Снова — звонок адвокату. Снова — звонок мне:

— Зачем они вам сдались? Они нарушили закон...

— Да их же не стали сажать... — возразил я.

— При чем здесь это? — услышал я в ответ. — Другой закон они нарушили... —

Но пообещали их не трогать.

Дальше...

Младшего я сейчас время от времени вижу. Мне он даже стал нравиться. Стар-

шего “уволители” из Дома мебели, а младший сейчас мыкается в поисках хоть какой-нибудь работы... Раз он попросил устроить его проводником почтового вагона поезда Москва — Варшава, другой раз — помочь почему-то открыть аптеку. Помочь я ни в одном, ни в другом никак не мог...

Прошедшую зиму младший убирал снег на пригородных платформах, то есть воспитывался трудом. Но Антоном Макаренко я себя не чувствую...

Жалко мне этого парня. И не знаю, как ему можно помочь.

Однажды я выступал в конгрессе США

В четверг утром, уже перед отъездом из Вашингтона, я купил свежие газеты. Во всех без исключения бросались в глаза слова в заголовках: “Yeltsin’s Son-in-Law...”.

“Son-in-Law” — по-английски означает “зять”. Что означает “Yeltsin” — догадывается...

Накануне, в среду, во второй и последний день слушаний о коррупции в России, после долгого допроса конгрессменами председателя правления Bank of New York Томаса Рени он в конце концов сказал, что в его банке есть два счета на имя Леонида Дьяченко. На счетах сумма более двух миллионов долларов, положенная на Каймановых островах, где находится филиал банка...

Американские журналисты тут же объяснили, что Леонид Дьяченко и человек, известный нам как Алексей Дьяченко, — одно и то же лицо: Лешей его называют в семье.

Леонид Дьяченко — муж Татьяны Дьяченко, зять нашего президента.

И утром — газетный скандал.

“Пока еще не ясно, существует ли связь между счетами на Каймановых островах и девятью или более счетами Bank of New York, которые использовались для вывоза из России по крайней мере семи с половиной миллиардов долларов за последние три года. Счета на Каймановых островах могут быть первым признаком того, добралась ли имеющая место коррупция Кремля до банковских систем США” (“Вашингтон пост”).

И там же:

“Леонид Дьяченко, зять Ельцина, возглавляет компанию, торгующую нефтепродуктами, — East Coast Petroleum. Ее дочерней компанией является Belka Trading, имеющая отношение к договору на издание книги Ельцина”.

А это — “Нью-Йорк Таймс”:

“Господин Рени сообщил, что его банк имеет деловые связи примерно со 160 российскими банками, через счета которых ежедневно проходят 3,7 миллиарда”.

А это — “Уолл-стрит джорнал”:

“Деньги, поступавшие на счета с наибольшей активностью свыше пяти миллиардов долларов с 1996 года, относятся к компании BENEX, которая управляется Питером Берлином, женатым на высокопоставленной сотруднице банка Люси

Эдвардс. Г-н Рени сообщил, что эти счета были рекомендованы банку г-жой Эдвардс. Она недавно была уволена за то, что подписала от имени банка два контрольных счета Питера Берлина, не сообщив об этом руководству банка...

Г-н Рени сообщил, что эти счета поначалу отличались активностью, вполне соответствующей описанию, данному Питером Берлином, о небольшом бизнесе, которым он занимается. Но постепенно операции, проходившие через эти счета, достигли уровня, далеко превосходящего его бизнес: от 100 до 250 миллионов долларов. (Счета Дьяченко пришли именно через эту компанию. — Ю.Щ.)”.

О чем я думал, когда утром в четверг читал отчеты о слушаниях в одном из ведущих комитетов конгресса США, а до этого в течение двух дней, во вторник и среду, присутствовал на них? Да все о том же, о том же...

Что же у нас такое происходит, если чужой парламент чужой страны вынужден заниматься нашими делами?

Сколько можно приводить фактов коррупции, сколько печатать документов, сколько называть имен, ставших символами коррупции в стране? И что? В ответ — нечленораздельное мычание президентской администрации и — постоянная беззастенчивая ложь. Нет, не был, не состоял... Никаких денег, никаких счетов в западных банках... Все голы, как соколы... Тупые отписки на обращение Комиссии по борьбе с коррупцией (в которой и я состою) в администрацию президента и в правоохранительные органы, выжимание из Генпрокуратуры, ФСБ и МВД тех, кто хоть что-то мог реально сделать для борьбы с коррупцией, прекращение уголовных дел под самыми фантастическими предложениями (вспомнить хотя бы историю с коробками из-под ксерокса: прекратили потому, что не смогли найти владельцев 500 тысяч долларов!), игнорирование самых вопиющих фактов...

Да, там, в США, беспокоятся о том, что жители России находятся под гнетом коррупции точно так же, как совсем недавно находились под гнетом тоталитаризма. Но, в конце-то концов, нам решать — как жить дальше.

Потому-то в эти два дня слушаний я чувствовал себя как человек, чья личная жизнь подвергается публичному рассмотрению.

Знакомые фамилии, известные факты... Что они могли сказать нового из того, чего бы мы сами не знали или о чем бы не подозревали?

На слушания, организованные Комитетом по банкам и финансам конгресса, были приглашены множество официальных лиц США (включая министра юстиции Л. Саммерса и руководителя криминального управления Генпрокуратуры США Д. Робинсона). В течение нескольких часов они подвергались перекрестным допросам конгрессменов — и я мог только позавидовать такому отношению к своему парламенту, а значит, и к воле миллионов американцев, избравших свой парламент. Дело не в том, плохой парламент или хороший... Он, парламент, — избран. Они, чиновники, — назначены...

Свои подробные свидетельства прислала Карла дель Понте: она не смогла приехать. Не смог приехать по каким-то причинам и вызванный свидетелем Юрий Скуратов. Была приглашена делегация Госдумы: рвался и Жириновский, но американцы отказали ему в приглашении (вот бы был цирк, если бы он приехал, самый наш лучезарный...).

Я был приглашен в качестве свидетеля лично председателем Комитета по банкам и финансам Джеймсом Личем и выступал единственным от России...

Не стану цитировать сам себя — говорил там то же, что говорю и пишу дома.

Отмечу только одно — что, честно сказать, было приятно услышать от Джеймса Лича, когда он представлял меня своим коллегам. Он сказал, что это беспрецедентный случай для конгресса, когда предоставляется слово не только члену Госдумы, а прежде всего журналисту, представляющему “Новую газету”, которая занимает передовые позиции в борьбе с российской коррупцией. Тем, кто нас читает и любит, это, наверное, тоже приятно слышать.

И еще — о нескольких фактах, которые считаю своим долгом упомянуть, чтобы развеять разные легенды и мифы, связанные с этим американским скандалом, выросшим на российской почве.

Первое: о заказном характере скандала (уже услышал, что его чуть ли не Лужков заказал).

Да — и это естественно — республиканцы в преддверии президентских выборов используют его. Но начался-то он совершенно случайно — с обращения МВД России в ФБР в августе прошлого года. Было обращение с просьбой помочь найти следы 300 тысяч долларов, которые были уплачены похитителям Эдуарда Олевинского. Так следы привели к компании “Бенекс”, потом к Банку Нью-Йорка — и пошло, поехало... Пока наконец история эта не стала достоянием “Нью-Йорк Таймс”.

Второе. Несмотря на то, что конгрессмены очень обеспокоены коррупцией в России, больше всего они обеспокоены другим: Америка теряет Россию как партнера; что надо делать, чтобы доверие между странами восстановилось?

— Чем мы можем помочь России для развития демократии? — спросил меня один из конгрессменов.

— Ради Бога! Не помогайте больше нашей демократии! С вашей помощью демократия начинает строиться в виде отдельно взятого особняка на Рублевке! Лучше финансируйте совместные проекты, вкладывайте деньги в конкретные производства...

Рассказал им, что помощь демократии вообще оборачивается огромными деньгами американским же консультантам, и привел конкретные примеры, как это выглядит на самом деле.

И, наконец, третье.

Слушания вызвали огромный интерес в США, в отличие, кстати, от России, где о них сообщали или вскользь, или сквозь зубы, или совсем игнорировали их (как, к примеру, на ОПТ, контролируемом Березовским)...

Ну а что касается того, главного скандала — с Дьяченко как неотъемлемой частью семьи...

Не хочу даже думать, честные эти деньги или нечестные... Как к нему в руки попала огромная компания по нефтепродаже? И еще одна: как мне известно, он стал совладельцем и “Тэбукнефти”? Вообще-то речь о другом. Об элементарном: об элементарной честности и самого президента, и всей этой семьи.

Как о фантастическом сне думаю. Вот встает президент и говорит: “Да, есть деньги на зарубежных счетах семьи! Есть! Они заработаны вот так, так и так...”. И о чем бы тогда писали в Америке? О честности российских властей.

Надо же, такое пришло в голову...

Однажды я нашел пять миллионов долларов

Или я идиот, или не понимаю, что сегодня происходит в России. Давайте подумаем вместе.

Первое.

Мы знаем, сколько денег исчезло из страны за последнее десятилетие: по словам экспертов — до 300 миллиардов долларов (президент В. Путин называет цифру: 20 млн каждый месяц в период его правления).

Сколько вернулось в страну?

И кто виноват в том, что хотя бы малая часть денег не вернулась?

Второе.

Давайте разберемся. На одном маленьком примере.

Я вернулся из Испании с двумя документами, которые свидетельствуют о том, что в возвращении российских капиталов в первую очередь не заинтересованы наши высокопоставленные чиновники из правоохранительных структур.

В феврале 2001 года в Испании в Кастельдевелльсе (Барселона) были арестованы два лидера “ореховской” группировки, разыскиваемые Интерполом и обвиняемые в 29 убийствах.

Как писала газета “Интерпол в России” тогда же, в феврале 2001 года, главный инспектор по борьбе с организованной преступностью Антонио Хименес сообщил, что два лидера “ореховской” группировки — Сергей Буторин и Марат Полянский — “оказали ожесточенное сопротивление и даже попытались воспользоваться чешскими пистолетами CZ75. В обоих пистолетах патрон находился в патроннике, и преступники не успели выстрелить лишь благодаря быстрой реакции полицейских.

В ходе обыска в их доме <...> были обнаружены два короткоствольных автомата калибра 7,65 мм, много патронов, глушитель, деньги и фальшивые документы. С греческими паспортами преступники свободно разъезжали по Европе”.

Эти кретины арестованы испанской полицией, и я даже не стал бы вспоминать о них, если бы не одно обстоятельство.

Письмо, основанное на сообщениях спецслужб Испании, один из представителей наших, российских, спецслужб отправил в Москву.

Цитирую:

“Судом провинции г. Малага (Испания) 9.05.2001 возбуждено уголовное дело в отношении граждан России: Пылева Андрея Александровича, 20.04.1962 г.р., Пылевой Валентины Михайловны, 13.08.1963 г.р., Тыщенко Владислава Владимировича, 10.04.1964 г.р., Золотухиной Елизаветы Сергеевны, 19.11.1971 г.р. по подозрению в отмывании капиталов и участии в преступной организации. Испанской полицией указанные граждане были задержаны, а на принадлежащее им имущество на сумму более 5 млн долларов США наложен арест. Пресечение преступной деятельности фигурантов является результатом операции, проводимой полицией Испании и МВД России.

Установлено, что Пылев А.А. с Пылевым Олегом Александровичем, 24.04.1964 г.р. (располагает паспортом гражданина Греции на имя Alekos Lasaridis), Тыщенко В.В. (является одним из учредителей КБ “Капитал-экспресс” <...>) занимаются отмыванием денежных средств путем вложения в недвижимость на территории Испании. Указанные лица являются свидетелями по уголовному делу 232689, возбужденному Генеральной прокуратурой РФ 8 мая 1998 года по ст. 209 УК РФ в отношении Буторина Сергея Юрьевича, Полянского Марата Александровича (те самые, из “ореховских”. — Ю.Щ.).

В настоящее время судебными властями Испании в Генеральную прокуратуру РФ направлено международное следственное поручение... Испанские власти просят провести выемки финансовых документов в ряде московских банков с целью подтверждения перечисления денежных средств в Испанию с подконтрольных банкам офшорных компаний...”.

Вот такое письмо я привез из Испании.

Письмо, которое было послано уже более года назад.

И что?

Думаете, Генпрокуратура хоть как-то прореагировала?

Правильно: НИКАК.

Понимаю, что сумма 5 миллионов долларов — не самые большие деньги, из-за которых надо поднимать сыр-бор (бедные испанцы: им кажется, что для российских чиновников это много, очень много).

Но для меня куда более важным стал второй документ, привезенный из Испании.

Не только потому, что сумма российских денег, арестованных там (и испанские власти готовы их нам вернуть), превышает сумму “ореховских” в десять раз. Эти деньги, арестованные и ждущие хоть чьей-то воли для возвращения в Россию, — деньги наших отечественных чиновников.

Снова цитирую:

“В ходе предварительного расследования было установлено, что в августе 1996

года из ЗАО “Примавера”, имеющего юридический адрес... владельцем и руководителем которого является Грузлин А.И., в Испанию на счет фирмы “G and P Projects E Inversions” было направлено 2 млн 700 тысяч долларов США. Указанные денежные средства были похищены из Новбизнесбанка, расположенного в Новороссийске по адресу... и незаконно легализированы в Испании...

В настоящее время в производстве СО Краснодарского отдела УФСНП (для не знающих: эта аббревиатура означает налоговую полицию. — Ю.Щ.) находится уголовное дело 91845... в ходе которого было установлено, что в период руководства банком Сигаревым С.А. московским филиалом банка были выделены рублевые и валютные кредиты на общую сумму 50 млн долларов США...

...По этому делу единственным кредитором банка была признана Новороссийская таможня. Также было установлено, что все кредиты выдавались в период с 1995 до 1997 года.

Новороссийской таможней в интересующий следствие период руководил Сырма Виктор Алексеевич... Ответственным за поступление денежных средств в ГТК РФ был Калашников Сергей Дмитриевич... После его ухода на эту должность был назначен Захаров Владимир Федорович.

В нарушение всех должностных инструкций ГТК РФ указанные лица в надлежащие сроки (не реже одного раза в три дня, не допуская наличия на счетах таможенных органов денежных средств более одного процента от среднесуточного поступления...) не перечисляли денежные суммы на расчетные счета ГТК РФ, что способствовало хищению денежных средств. В ходе расследования уголовного дела усматривается прямой умысел должностных лиц ГТК РФ, Новороссийской таможни и руководителей Новбизнесбанка (по предварительному сговору) на хищение бюджетных средств на сумму более 50 млн долларов США.

Получаемая в ходе сопровождения уголовного дела оперативная информация свидетельствует о том, что председатель правления АКБ “Новбизнесбанк” Сигарев С.А. находится в дружеских отношениях с бывшими руководителями Новороссийской таможни Сырмой, Калашниковым, Захаровым, а также с неустановленными лицами из руководства ГТК РФ. Данный факт подтверждается показаниями одного из учредителей Новбизнесбанка Клюковского И.И., который сообщил, что в период назначения Сигарева С.А. на должность управляющего банком последний заявил, что дела банка очень скоро “пойдут в гору”, т.к. он (Сигарев С.А.) в случае назначения “приведет” с собой очень “крупного” клиента, которым является Новороссийская таможня...

Часть этой суммы он передавал сотрудникам ГТК РФ. Другую часть он в виде безвозвратных кредитов переправлял в офшорные фирмы, находящиеся в Швейцарии и на Гибралтаре, откуда эти деньги поступали в Испанию на личные счета Сигарева, Сигаревой. Денежные средства расходовались на приобретение дорогостоящей недвижимости, а также на финансирование “медведковской” ОПГ. В 1999 году Сигарев, Сигарева были задержаны полицией Испании, их имущество

и счета арестованы, им были предъявлено обвинение в совершении незаконной легализации денежных средств.

До настоящего времени в правоохранительные органы России от руководства ГТК РФ (совсем забыл расшифровать эту аббревиатуру, извините: ГТК — это Государственный таможенный комитет. — Ю.Щ.) заявления о хищении денежных средств в государственный бюджет не поступало.

Анализ полученных в ходе расследования уголовного дела документов и оперативных материалов свидетельствует о том, что должностные лица Новороссийской таможни, вступив в преступный сговор с Сигаревым С.А., имея корыстный умысел, совершили хищение бюджетных денежных средств на общую сумму более 50 млн долларов США”.

Эта великая афера происходила с 95-го по 97-й годы.

Сигарев был задержан испанской полицией в конце 99-го.

Все эти материалы попали ко мне в марте 2001 года.

Век спустя — уже в 2001 году...

Россия как государство должна Испании около одного миллиарда долларов. В Мадриде, где я был в составе делегации Госдумы, шли переговоры и о реструктуризации этого долга.

Но испанцы (и наши, представляющие интересы России в Испании) не могут понять, почему же Генпрокуратура хранит каменное молчание на их просьбы: “Заберите ваши деньги. Ваши деньги, ваших бандитов, “черных” и “белых”...”.

Мне ответят: 5 миллионов и 50 миллионов долларов (то есть всего 55), арестованные в Испании, не спасут наших врачей и учителей.

Но я привел лишь два документа, которые мне передали из одной не самой богатой страны в нашем мире.

А другие примеры?

Резидент российской разведки в одной из европейских столиц (не пугайтесь слова “резидент”: радистка Кэт давно уже вышла на пенсию, и представители СВР сами себя представляют этим экзотическим словом, как, кстати, и западные Бонды в Москве) рассказал мне, как на него вышли местные олигархи с просьбой воспрепятствовать потоку “черных” и “серых” денег из России, которые могут сломать местную валюту. Резидент как добропорядочный гражданин дал шифровку в Москву. И что? Без ответа! И думаю, что не виновато было тогдашнее руководство СВР: им приказали не лезть в эти грязные игры.

У ФБР был совсем анекдотичный случай. В течение нескольких лет это серьезное ведомство пыталось вернуть России полтора миллиона долларов, арестованных у представителей одной из преступных московских группировок. “Заберите”, — просили они. “Это не российские деньги”, — мужественно отвечали наши. Почему? Да потому что если бы кто-то из большого российского министерства признался, что на счет бандитов была перечислена эта сумма из средств госбюджета, то место ему было бы на скамье подсудимых.

“Родина моя, Россия. Няня, Дуня, Евдокия”. Нам было лет по девятнадцать. Вспоминаю и не могу вспомнить, почему же мы, тогда полудворовые пацаны, читали друг другу эти заключительные строчки одного стихотворения Александра Межирова.

Кстати, до сих пор у меня так никто и не забрал эти испанские документы. Может быть, мой сейф в Думе вскроют в XXII веке?

Однажды я встретился с человеком, который перевозил “золото партии”

Да, кстати, а чем закончилось дело с “золотом партии”?..
Помните?

1. Смутное вчера

В начале 90-х только ленивый не занимался поисками денег КПСС! Тогда даже начинало казаться, что существуй в 1992 году юные следопыты — и они бы с горячим пионерским задором бросились на поиски долларов, фунтов, франков и марок своих отцов-основателей.

Но, повторяю, шел уже 1992-й, то есть первый год независимой России, и уже больше не взвевались кострами синие ночи.

Честно признаюсь: я относился к этой шумной разоблачительной кампании абсолютно несерьезно. Даже в страшном сне не мог представить, что кого-то за деньги КПСС привезут в «пломбированном вагоне» в Москву, поставят на броневик в скверике возле Музея революции — и народ кинется на штурм телеграфов, почтамтов и вокзалов. Ну, может быть, обманутые вкладчики бросятся захватывать коммерческие банки и варварски рушить пирамиды: “Даешь Мавроди!”.

Но тем не менее, думал я тогда, что-то есть в этом “золоте партии”. Вернее, “золото”, то есть миллионные или даже миллиардные суммы, должно было где-то оставаться, осесть на каких-то счетах и неминуемо прилипнуть к чьим-то рукам (ох, несовершенен человек!). Но вовсе не для того, чтобы этими руками строить очередной химерный храм. Ежику понятно.

Тогда же, если помните, были раскрыты — и опубликованы — документы из архивов ЦК КПСС: оказывается (ох, оказывается!), сотни тысяч курьеров чемоданами, кейсами, мешками, рюкзаками, кошелками тайно везли из Москвы деньги для друзей из международного коммунистического движения.

Газеты начали публиковать умопомрачительные цифры: доллары, которые передавались из рук в руки разным коммунистическим вождям; сами секретные письма этих вождей в международный отдел ЦК то с просьбами: “Дайте еще”, то с жалобами: “Обещали два миллиона, дали — один”; наконец, романтически-шпи-

онские свидетельства курьеров, отставников из спецслужб, которые тащили “золото партии” сквозь границы и таможи.

Однажды Сергей Шахрай попросил меня подъехать на дачу в Архангельское, где он со товарищи готовился к Конституционному суду, на котором коммунистическая партия должна была быть раз и навсегда запрещена (чем дело закончилось — помните). Одним из доводов для запрещения им представлялось как раз “золото партии”, которое растекалось по всему коммунистическому миру.

Ну что? Документы из архива ЦК с грифом “совсекретно”, которые стопкой лежали на столе, конечно же, производили зловещее впечатление: сколько же денег было брошено на этот революционный ветер? Но, с другой стороны... А что американцы? Они держали своих вассалов на воде и хлебе?

И потому-то, попив кофе с “запретителями” и поболтав с ними о всякой ерунде, я покинул Архангельское, не представляя себя свидетелем (как, видимо, предполагалось) на этом историческом, но глуповатом процессе.

“Золото партии”, оприходованное секретными протоколами, меня не особенно занимало.

Я пытался понять, как перемещалось на Запад (или на Восток, кто их разберет?) другое, совсем другое... Какими каналами? Как? С чьей помощью? Для кого, в конце концов? Ну покажите мне этого человека!

С другими людьми, с другими деньгами, при других обстоятельствах и явно другими способами переброса денег отсюда туда — здесь вроде все ясно.

Знаю совершенно экзотические случаи.

Однажды в Вашингтоне мой американский друг познакомил меня с одним выходцем из Таджикистана:

— Расскажи Юрию, дело уже прошлое, как ты через “Шереметьево” вывез эшшем (то есть наличными. — **Ю.Щ.**) три миллиона долларов.

— Что? На самом деле? Как тебе это удалось? Через “Шереметьево”? Не может быть! — воскликнул я.

Глаза этого таджика стали печальными, как у таксы, брошенной хозяевами, и он, тяжело вздохнув, тихо, почти шепотом ответил:

— У меня пять было...

А не так давно, когда по приглашению Комитета по бюджету и финансам конгресса США я участвовал в скандальных слушаниях по отмыву денег в Bank of New York, узнал еще одну, не менее экзотическую, историю. Эксперт конгресса, один из бывших больших чинов ЦРУ, рассказал, как однажды поздно вечером в дом президента большого банка пришли трое русских с двумя чемоданами долларов и предложили банку за десять процентов “комиссионных” принять свой многомиллионный груз. Перепуганный банкир тут же позвонил в ФБР..

Это, повторяю, экзотика.

Девяностые годы, а особенно их середина, отличались полным беспределом, и потому деньги уходили самыми невероятными путями: через совместные пред-

приятия-однодневки — в офшоры, через спекуляцию на разнице нефтяных цен — на банковские счета, в качестве взятки чиновникам не пачкой долларов под столом, а кредитной карточкой.

По мнению американских и западноевропейских экспертов, в последнее десятилетие прошлого века из России ушло от 200 до 400 миллиардов долларов, но, думаю, лишь треть (а может быть, и меньше) этих денег имели криминальное происхождение: те, кто входил в юный российский бизнес, просто не верили, что родное государство не обманет, не украдет, не отберет последнее...

Но куда больше меня интересовало другое.

После развала СССР и краха КПСС деньги “партии” (обозначаю этими словами государственные деньги, так как партия практически монополизировала в СССР все финансовые потоки) мгновенно оказались не в какой-нибудь заграничной подпольной кассе, а осели на счетах нескольких тысяч (не больше!) наших счастливых соотечественников, обеспечивая лично им светлое будущее. То самое.

И я все пытался и пытался найти ответы на вопросы: как это происходило тогда? По какой схеме? Под чьим прикрытием? Сколько? Десятки миллионов долларов? Сотни? Миллиарды?

Одна встреча в Копенгагене неожиданно помогла мне определить время (не только год, но и месяц!), когда золотой партийный поток пошел по новому руслу, будто прорвавшая плотину река.

Бывший активный член датской компартии рассказал, что в конце августа 1991 года он, как обычно, встретился с одним советским представителем, который ежемесячно передавал для своих коммунистических друзей по 250 тысяч долларов. “А денег нет!” — услышал он. “Как — нет?” — “Так: нет”. “Я сообщу в международный отдел ЦК КПСС!” — вскричал удивленный датский коммунист. “А нет больше ни международного отдела, ни ЦК КПСС!” — радостно потирая ручонки, ответил советский благодетель.

Думаю, что это правда. Убежден, что правда! Именно тогда, после августовской неразберихи и штурмов зданий ЦК, “золото партии” сменило своих хозяев.

250 тысяч — это для маленькой компартии Дании! А для остальных? Для средних, больших, огромных?

“Ха-ха! Нет ни международного отдела, ни ЦК КПСС!”

В Чикаго мне рассказали, как в начале 1992-го в районе, где преимущественно живут выходцы из СССР, появилась молодая пара (“Он, — почему-то подчеркнул мой знакомый, — очень похож на офицера”), которая купила особняк. Но сами они там не поселились. Особняк заняла другая пара, люди возрастом постарше. Те, молодые, купили еще один особняк — через некоторое время приехали новые выходцы из России... Так постепенно в одном из районов большого Чикаго возник целый русский поселок.

Люди, как отмечают соседи, вежливые, спокойные (то есть без типично русских разгулов), старающиеся не выходить за границу своего узкого мирка.

Понимаю, что эти свидетельства не являются официальными документами. Но есть ли они, официальные?

Как ни странно, есть.

В самый разгар пиаровского поиска “золота партии” тогдашний и.о. премьера Егор Гайдар публично объявил, что российское правительство официально обратилось в знаменитое частное сыскное бюро Kroll (США) с просьбой помочь найти это “золото”. Вернее, не обратились с просьбой, а попросту наняли частных сыщиков за внушительную сумму (как говорили, в несколько миллионов долларов).

“Kroll начал искать”, “Kroll ищет”, “Kroll почти нашел”, “Kroll готов представить подробный отчет”, “Kroll передал российскому правительству многостраничный отчет о “золоте партии”!

Эти газетные сообщения будоражили воображение, и те, у кого еще оставался интерес к прошлому собственной страны и к истории партии, правившей одной шестой частью суши на протяжении семидесяти лет, с нетерпением ждали, какие же сюрпризы преподнесут знаменитые заокеанские пинкертонеры, то есть кролы.

Но вдруг — ничего.

Ни строчки, ни слова, ни даже намек на то, что Егор Гайдар обещал осчастливить любителей отечественной истории правдой и только правдой.

Отчет о “золоте партии” исчез, испарился, ушел в небытие, превратился в стертые страницы нашей истории.

Помню, тогда я пытался — ох как пытался! — хоть одним глазком взглянуть на этот отчет. Кому-то звонил, с кем-то встречался, искал каких-то знакомых, бродил то по серым коридорам Старой площади, то по мрачным кремлевским.

Все было бесполезно!

Публичный документ превратился в страшнейшую государственную тайну.

И я начал догадываться, почему.

Kroll наняли, чтобы они нашли “золото партии”, а они, видимо, нашли “золотосцев”, то есть конкретных людей с именами и фамилиями, с конкретными счетами, на которых лежали конкретные деньги в конкретных западных банках.

Так и закончилась первая пиаровская кампания (хотя в те годы слово “пиар” еще было непривычным для нашего слуха) под названием “золото партии”.

Ну, а потом — шло время.

Сменялись времена года и премьеры, танки стреляли с Бородинского моста и кроваво восстанавливали конституционный строй в Чечне, росли дети и умирали друзья, один президент дирижировал чужеземным оркестром, а другой — летал на отечественном истребителе, мы проходили огни, воды и дефолты, разочарования сменялись надеждами, а надежды — разочарованиями. То есть происходило так много событий, что то, давнее, начала прошедшего десятилетия, уже забылось: “Золото партии”? О чем это вы? А... Об этом... Что-то припоминается...”. И вдруг в конце прошлого месяца раздается телефонный звонок:

— Я хочу вам рассказать... Вы можете прилететь?

Через несколько дней я оказываюсь в крошечном городке у подножия Альп.

2. Сегодня: из смутного прошлого в туманное настоящее

Деревянный дом разделен на две половины.

Во второй, сегодня пустующей, когда-то жили коровы. Дому несколько веков, но все в нем так же, как было, когда люди еще спокойно делили с ними крышу над головой.

Как будто где-то у нас, в глубине Вологодской области.

Только здесь в какую сторону ни посмотри — Альпы.

Из его собственного прошлого, в котором были огромная вилла, автомобили, жизнь, как обложка глянцевого журнала, — осталось несколько компьютеров, которые он сумел вывезти, в спешке покидая ту свою жизнь, которая, казалось, должна быть вечной.

— Нет-нет... Я ни о чем не жалею, — говорит он мне.

— Но ты расплачиваешься за то, что было. Не так ли? — спрашиваю я.

— Так... — соглашается он. — Однажды дочка упала с лестницы. Сильно, больно... И пока я вез ее в больницу, моля Бога, чтобы все обошлось, то думал только об одном: это мне в наказание! Мне больше ничего не надо, я больше ничего не хочу, я уже за все заплатил... Что же еще?..

Вот так мы говорим и говорим. Часами, днями.

Соседи ничего не знают о его прошлом. Те, кто знает о прошлом, потеряли его след.

Он здесь чужой. И все они — чужие. Даже пес стеснительно не лает, понимает, что здесь он — иноземец, пришелец из чужого мира.

Я пытаюсь систематизировать то, о чем узнал. Но понимаю: чем больше слушаю, тем тяжелее и тяжелее это сделать.

Наконец нахожу единственное, как мне кажется, приемлемое решение:

— Давай садись за компьютер и пиши, как все было...

— Попробую, — соглашается он.

Он пишет. Я пью кофе, курю, иногда заглядывая ему через плечо...

Вот текст Алексея, который я привез с собой в Москву.

Алексей — не настоящее его имя.

Догадываетесь, почему?

И, думается, простите меня за то, что в самом тексте будут пропуски и недоговоренности: на это, поверьте, есть объективные причины.

Итак...

“Родился в семье сотрудника одной из спецслужб... Отец был и остается убежденным патриотом своей страны, много работал по партийной линии в своем ведомстве, воспитывая меня в духе аскетизма и приверженности коммунистическим идеалам СССР.

В 1988 году закончил институт... Должен был ехать в Афганистан переводчиком, но начали полномасштабный вывод войск...

С помощью отца я был принят на работу в одну из закрытых структур КГБ.

В 1990 г. прошел собеседование и сдал экзамены в... (название одного из закрытых учебных заведений. — Ю.Щ.). По непонятным для меня причинам ожидание официальных результатов затянулось на несколько недель, я сильно волновался...

Меня неожиданно нашел полковник М.Н. Мы с ним беседовали в неформальной обстановке всего 2 раза, первый раз около 3 часов, второй раз (спустя неделю) пару часов.

Во время первой беседы он мне рассказал следующее.

Ситуация в стране складывается крайне тяжелая и непредсказуемая для истинных патриотов нашей Родины. Группа лидеров КПСС (речь шла о Горбачеве и его единомышленниках) проводит соглашательскую политику с Западом, во многом идут у него на поводу, что чревато самыми тяжелыми последствиями для всего СССР. Во внутренней политике — полный разброд и шатания, к власти лезут антигосударственники всех мастей, нет единства в руководстве не только КПСС, но даже силовых ведомств. Попираются законы и правопорядок. Все это может привести в ближайшем будущем к госперевороту, в результате которого к власти придут враги своей страны.

Вполне может сложиться ситуация, что сотрудники КГБ будут репрессированы. Но самые дальновидные, убежденные и стойкие кадры, готовясь к худшему, не думают прекращать свою борьбу за лучшее будущее страны, и теперь в первую очередь собственно России.

КГБ вынужден учитывать все это, поэтому разрабатываются новые принципы и формы работы... В стране уже наступил хаос и беспредел, поэтому часто придется действовать по ходу стремительно развивающейся ситуации.

Таким образом, в уникальных условиях истинными патриотами будут применяться исключительные меры, вплоть до ухода в подполье. Полковником было сказано, что к этому готовы многие уже известные мне люди, в круг которых входит и мой отец, и многие знакомые офицеры из Центра, в котором я работал.

Организационные формы сопротивления внутренним врагам СССР еще окончательно не определены, идет отбор верных людей, преданных Родине. В связи с этим он сделал мне предложение не учиться в специнституте, а уходить на “гражданку”, устраиваться в перспективную организацию с бизнес-уклоном и сотрудничать с ними, “патриотами”. Они будут поддерживать со мной постоянную связь, оказывать содействие и помощь, при необходимости защищать. От меня требуются честность, преданность, бескорыстие, полная отдача совместной работе. Конкретно в ближайшее время мне ставилась задача собирать любую информацию о своих контактах, связях, которые могут оказаться полезными делу патрио-

тов, и рассказывать о них своему контактному лицу. Мне было предложено подумывать неделю, настойчиво рекомендовано ни с кем не советоваться.

Решение мне далось нелегко, так как постановка вопроса была слишком неожиданной и совсем не соответствовала моим представлениям о своем будущем. Я уже жил мечтой стать офицером спецслужбы. Романтические воспоминания о некоторых красивых сторонах деятельности отца были тесно переплетены с общим положительным впечатлением о людях, с которыми знакомился и дружил в Центре, в котором работал. Несмотря на значительную аскетичность условий работы, привлекала причастность к совершенно секретной деятельности, уникальные силовые навыки сотрудников и стажеров Центра, приличные условия зарплаты (по сравнению со средним уровнем в стране), стабильность и определенность карьеры, мощь и закрытость самой системы.

Немного смущало своеобразие предложенного сотрудничества, напоминающего более деятельность в качестве секретного агента. Но оценка полковником складывающейся ситуации в СССР в основном совпадала с моей собственной, и я согласился, о чем и сказал ему на следующей встрече.

Полковник ответил, что они подумают и порекомендуют мне место работы.

Так я оказался в... (следует название одной из внешнеторговых организаций. — Ю.Щ.).

За время работы в Центре я познакомился с очень многими людьми... В последнее время из СМИ узнаю, что со многими был знаком. Например, я был очень удивлен, узнав в лицо Джуму Намангани (ближайшего сподвижника Бен Ладена), членов политсовета ОПОД “Евразия” Владислава Раевского и Петра Суслова, уголовного авторитета Антона Малевского (Измайловского) и многих других. Уверен, что опознал по опубликованному фотороботу и одного из трех подозревавшихся в подготовке взрывов в Рязани как сотрудника “Вымпела” — его фамилию не помню.

Также мне пришлось участвовать в тайном перемещении и складировании многих грузовиков с коробками документов на новый объект. Позднее мои кураторы несколько раз упоминали, что в них находятся полные досье (изъятые из официального документооборота КГБ) на все кадры патриотов. В частности, утверждалось, что там находятся досье Путина, Евгения Киселева, мое, Потанина, Михаила Маргелова, Алексея Волина, Михаила Лесина, Глеба Павловского, Александра Лебедева, Александра Смоленского.

В... (название организации. — Ю.Щ.) я работал около года в качестве эксперта, занимался экспортом-импортом... Обзавелся личными связями в самых различных областях — в основном в профильных госучреждениях, среди российских и иностранных компаний...

Спустя 3-4 месяца работы на меня вышел неизвестный мне человек, представился как друг полковника М.И., майор... Я с ним начал изредка встречаться (3-4 встречи в первый год). Во время встреч я рассказывал о происходящем вокруг

меня, всех моих знакомствах, делах, контактах, давал характеристики знакомым. Мой куратор по отдельным лицам и эпизодам задавал уточняющие вопросы, иногда давал поручения уточнить детали нескольких крупных контактов, характер связей некоторых моих знакомых по бизнесу и сослуживцев...

На мои вопросы о моих дальнейших перспективах он отвечал, что желательно, если я самостоятельно буду расти и реализовывать собственные планы.

Я начал осуществлять собственные сделки через несколько дружеских мне компаний и сблизился с небезызвестной фирмой “Н” и ее руководителем Г.Л. (следует название компании и фамилия ее владельца. — Ю.Щ.). Куратора изначально заинтересовало все, что связано с “Н”...

В 1992 году я стал одним из шести коммерческих директоров компании “Н”. Под меня была создана собственная компания. Я стал много ездить в зарубежные командировки — во Францию, Голландию, Австрию, Швейцарию... Вскоре ко мне подключился новый куратор в ранге полковника и попросил взять к себе нескольких “наших” людей, в том числе капитана (в резерве) 9-го управления КГБ в качестве руководителя моей охраны, личного телохранителя и технического связного с патриотами.

В конце концов я убедился по многим прямым и косвенным свидетельствам, что вся компания “Н” и ее владелец Л. изначально полностью контролировалась “патриотами”, которые в значительной степени использовали свою инфраструктуру для оказания ему содействия — предоставления “крыши”, перевозки наличной валюты через границы, создания компаний, получения прибылей и отмывки денег...

Я продолжал прежние взаимоотношения с моими кураторами, которые стали гораздо более частыми (встречались минимум один раз в 7–10 дней). Тогда же они начали просить меня делиться прибылью на “общее дело” на постоянной основе. Я начал выдавать им 5–10 тысяч долларов ежемесячно.

В начале 1993 года на меня впервые “наехали” бандиты, избили, пытались вырвать из Москвы, требовали, чтобы я согласился на их “крышу” и постоянно платил им деньги. Кураторы сказали, что для эффективного решения проблемы лучше всего обратиться к одному из моих новых знакомых, с которым я “случайно” (как потом выяснилось, это было подстроено “патриотами”) познакомился в рекомендованном мне подмосковном доме отдыха. В свою очередь тот привел ко мне своего солидного бандита с его многочисленной командой, который начал меня охранять и разводить с налетчиками. Ему мне также приходилось платить (несколько тысяч долларов в месяц). Оба моих новых “случайных знакомых” чрезвычайно интересовали моих кураторов, они всячески поощряли меня войти с ними в плотный контакт, что я и сделал и плотно работал с ними в рамках моей деловой специализации вплоть до апреля 1999 г. С 1997 года я утвердился во мнении, что оба этих человека являлись членами т.н. “милицейской” группировки, с которыми то враждовали, то сближались (редко) мои партнеры-“патриоты”. Они занимались

многими собственными видами бизнеса — грузовыми самолетными перевозками, банками, проектным финансированием, торговлей оружием в России и за рубежом, прачечными, казино, сделками с “Газпромом” и т.п. По их словам, “крышами” были команда С. (фамилия известного сегодня политика. — Ю.Щ.) во главе с ним самим, а также Р. (фамилия одного бывшего министра. — Ю.Щ.) при кураторстве его помощника О. “Авторитет” оказался близким партнером Сильвестра, известного лидера одной московской группировки.

...Скоро мне понадобилось обзавестись собственными каналами для перевода СКВ за границу, обналачивания и краткосрочного инвестирования, для чего я построил много хитрых финансовых схем и начал создавать компании офшорного типа как в России, так и за рубежом.

Мои успехи привлекли пристальное внимание кураторов, они ужесточили свои пожелания финансирования их нужд, а также периодически просили о различных услугах по “переработке” денег. График наших встреч уплотнился, но по-прежнему беседы происходили в Москве, а потом в... (название одного из западноевропейских городов, где Алексей стал постоянно жить: “кураторы” помогли ему снять виллу, до этого принадлежавшую одному из преступных авторитетов. — Ю.Щ.).

Во время этих бесед я впервые услышал (наряду со многими другими) фамилии Путина и Черкесова в качестве примеров “патриотов”-сподвижников из Питера...

По требованию моих кураторов я сохранял свои деловые контакты с людьми С. и Р., пытался поддерживать на плаву свой бизнес, а также поддерживал финансовую схему и денежные проводки через мною контролируемые офшорные структуры. Используя мои возможности и международную инфраструктуру, “патриоты” меня неоднократно привлекали к оформлению и осуществлению других сделок, в частности по созданию структуры в алмазном бизнесе с участием “Алросы” и предприятий Молдовы, ЮАР, Израиля, Бельгии...

В результате моя деятельность приобрела хаотичный характер, мне приходилось заниматься слишком многими делами одновременно. Я “перегрел” свой личный бизнес, так как “патриоты” вынуждали меня выкачивать огромные деньги на финансирование собственных нужд. Одновременно у меня (а параллельно у “патриотов”) осложнились отношения с людьми С. и Р., которые стали меня подозревать в двойной игре и прессинговать.

К началу 1999 г. я уже давно мечтал уйти из этого сумасшедшего образа жизни. Я давно уже понял, что деятельность моих “кураторов” превратилась из “благородно-патриотической” в кланово-криминальную с целью доступа к большим финансовым ресурсам, личного обогащения и выполнения собственных политических целей и задач, что совсем не совпадало с моими личными устремлениями. Я постоянно заявлял, что хочу “уйти на покой”. Кураторы мне отвечали, что это уже невозможно и нужно как минимум дождаться ближайших президентских выборов...”.

“Алексей” набивал текст на компьютере быстро, нервно, перескакивая — иногда

не очень логично — с одного эпизода на другой. Даты, фамилии, имена, названия фирм, номера счетов... И я понимал: сегодня он пишет об ЭТОМ и говорит об ЭТОМ впервые в жизни, потому-то и разыскал меня в Москве.

Иногда останавливался, делал паузу, чтобы отдышаться от воспоминаний. И тогда я мог у него еще о чем-то спросить, что-то уточнить.

— Скажи, а как ты осуществлял перевод денег?

— Ну, например. Кураторы меня попросили перевести деньги из “проблемной” (как мне объяснили) финской компании на частный счет “своего” человека в Женеве. Я придумал схему, концы которой найти очень трудно. Деньги были депонированы в банке, основной счет в котором уже был, деньги “влили” в текущие закупки в Западной Европе, товар послал своим дочерним предприятиям в Москве, товар был растаможен и продан, а деньгами распоряжались “патриоты” по своему усмотрению... Знаю из нескольких источников, что господин из Финляндии, который перевел деньги из “проблемной” компании, — кадровый офицер спецслужбы.

— О какой сумме шла речь в этом случае?

— Что-то около миллиона долларов. Это одна из придуманных мною схем...

Документы с этими схемами уместились в сотне папок, которые вывез с собой “Алексей”, и на десятках файлов.

— Как я понял, сначала ты был убежден, что работаешь для страны, для России?

— Сначала — да. Потом наконец-то до меня дошло, что такое “Россия” для тех, кто меня использовал...

Ну что? Поехали дальше?

Поехали-то поехали... Но куда приведет эта дорога? Что за пейзажи мелькнут за окном? Чьи лица всплывут из тумана жизни? Тени прошлого? Воронье настоящего? Буревестники будущего?

Темная, без окон комнатка завалена папками с документами: то, что Алексей нашел, собрал, сохранил. Фамилии, имена, банковские реквизиты, номера счетов: деньги, деньги, деньги, перекочевавшие из СССР в Россию, из одной страны — в другую. Правда, ни в старой, ни в новой стране их так никто и не увидел. Эти деньги (по крайней мере немалая их часть) — то самое “золото партии”, которое безуспешно искали в начале 90-х. Или — успешно не нашли.

Мы сидим в соседней комнате. Алексей включил два из четырех мощных компьютеров. На одном он набирает свой собственный текст, который хочет передать (и потом передает) мне. На другом — открывает закрытые, засекреченные, известные только ему файлы с фамилиями, именами, адресами, фактами из жизни тех, кто пошел — или вынужден был — пойти на контакты с “патриотами”: так Алексей называет тех, кто сегодня, по его мнению, реально влияет на финансовую и политическую жизнь страны, меняет министров, подбирает людей в различные (включая главную) администрации и даже решает, какому человеку быть президентом России.

“Патриоты”... Вряд ли всего лишь несколько лет назад Алексею пришлось бы в

голову окружать кавычками это замечательное слово. Больше того! Он гордился, что именно его, выпускника одного из элитных московских вузов, с детства мечтавшего о карьере офицера спецслужбы, люди, называвшие себя патриотами, приняли как своего. Как патриотическое, государственное задание он воспринял и ИХ пожелание, чтобы он осваивал бизнес, уехал за границу и открыл там собственный офис и чтобы там, на Западе, он создал свою фирму и в тамошнем банке появился счет на его имя.

Он даже не противился тому, чтобы из денег, которые приносил его личный бизнес (а в лучшие времена годовой оборот составлял несколько десятков миллионов долларов), изымались — чаще всего на добровольной основе — немалые суммы, которые, как ему объясняли, шли на патриотические цели.

Алексей полностью подчинился всем правилам игры, придуманной специально для него, тем более что участие в ней и ему давало возможность жить сладкой, глянцевою жизнью.

Но постепенно он все больше и больше начинал понимать жестокую и неприятную для себя истину: в первую очередь он был нужен как создатель “прачечной” для отмыва денег! И те схемы обналичивания, которые он придумал, и то движение крупных сумм из банка в банк, из страны в страну, и те офшорные зоны, где оседали эти миллионы долларов, чтобы навсегда исчезнуть в темных закоулках жизни, — все это не имело никакого отношения ни к защите интересов страны, ни к ее процветанию, ни к ее безопасности.

Понял — и сказал своим кураторам-“патриотам”: “Все! Хватит! Больше я в этом не участвую!”.

Падение было мгновенным и быстрым, будто сказанное слово обернулось камешком, обрушившим снежную лавину.

В “Шереметьеве-2”, когда он в очередной раз возвращался в Москву (а полеты туда-сюда происходили постоянно, по нескольку раз в месяц, а иногда и дважды в неделю), таможенник попросил его открыть кейс. Он открыл. “А что в органайзере?” — “Ничего... Ручка, кредитные карточки. А что там еще может быть?” — удивился Алексей. “Покажите”.

В органайзере оказалась внушительная пачка недеklarированных долларов. (До сего дня Алексей подозревает, что эти доллары ему вложил начальник охраны, навязанный ему “патриотами”, который ночевал в его московской квартире. В скором времени он неожиданно погиб в автокатастрофе.)

Тут же в таможенной закрытой зоне оказались двое незнакомцев: “Ну что, понял? Это только начало!”.

Потом — идентичные статьи о нем в двух центральных газетах, вышедших с промежутком в два дня и мгновенно оказавшихся в городе, где было представительство его фирмы. Потом — ускоренное банкротство. Потом — бегство сюда, в предгорья Альп, где мы и сидим с ним сейчас: файлы на экране компьютера, чужие, соседские пеструшки за окном и пес, стеснительно старающийся не лаять на

окружающих, будто и он — бедолага-эмигрант на чужом празднике жизни.

Да, покрутило его...

Встречаешь человека, слушаешь его историю, вникаешь во все перипетии его жизни — и волей-неволей прислоняешься к его судьбе, сам на себя примериваешь его одежды.

Да нет! Я бы здесь и сам жил — в деревенской глуши, в альпийском спокойствии. Жил бы, дописывал то, что не успел написать, вспоминал то, что было, мечтал о несбывшемся.

Никогда не плававшему в море больших денег, мне вполне хватало бы того, что есть, и я не особенно представляю себе (разве только по книжкам из какой-то чужой жизни), что означает резкий переход от несметного богатства к удушающей бедности. Что такое “несметное”?

Алексей — другое дело, и я понимаю, как нелегко объяснить собственному ребенку, почему десять долларов оказались вдруг большими деньгами.

Но, надо сказать, Алексей, его жена, ребенок и даже пес к этой новой жизни уже почти привыкли: познакомились с соседями, живущими жизнью простой и незамысловатой, то есть вечной, как вечные Альпы; вошли в круг их жизни, в их неторопливые будни, пронзительную тишину и шумные семейные праздники, которые не кончаются до рассвета, как будто где-то на российской Тамбовщине или Вологодчине, когда важные события отмечаются всем селом, будь то дни рождения, свадьбы или крестины.

Да, привыкли и даже прониклись ею.

— Когда мы сюда переехали, у нас не было стиральной машины — не на что было купить... Пришла соседка, увидела, что не в чем стирать, и требовательно сказала: “Я буду все стирать у себя!”. Я что-то заикнулась о деньгах, а она на меня чуть ли не обиделась... И так продолжалось целый год, пока мы не купили стиральную машину...

Трогательна эта деталь их новой жизни в новом, незнакомом для них пространстве, о которой мне рассказала жена Алексея. Но что предстает за этим? Однородность человечества, его похожесть в высоких проявлениях. Да и в низких тоже...

— Таких историй море, и моя личная — только капелька в этом море, — говорит Алексей.

Да, море... Взлеты и падения в бизнесе — дело привычное. И не только в России. Но только в России, только в нашем, отечественном бизнесе настолько сильна бандитская составляющая.

Правда, в отличие от “наездов” “гольяновских”, “ореховских” или “солнцевских” Алексей на себе испытал борьбу за контроль над его бизнесом не бандитских группировок, а различных российских спецслужб.

Вот что он написал специально для меня:

“Однажды в качестве комиссионера объединился с несколькими крупными сахарными заводами с целью конвертации их денежных средств из рублей в СКВ и

закупки оборудования и сахара-сырца для переработки в России. Для осуществления конвертации по рекомендации “куратора” заключил договор с Российским обществом содействия милиции (РОСМ) при МВД и в течение месяца перевел туда рублей на сумму около трех миллионов американских долларов. Более двух миллионов долларов было похищено РОСМом и стоящей за ним группой деятелей милицейско-бандитского происхождения. Более года вместе со своими партнерами я пытался (безуспешно) вернуть эти деньги путем переговоров и уговоров. Мой “куратор” постоянно уверял меня, что он и его товарищи решат эту проблему, и “снял” с меня всю информацию и копии документов. Он также порекомендовал обратиться в МВД (в здание на Октябрьской площади) и устроил встречу с руководителем соответствующего управления генералом К. Я написал подробное заявление, в течение многих месяцев консультировал оперативников и следователей этого управления, всячески содействовал в раскрытии этого преступления: купил машину, давал деньги и т.п. Мне начали поступать угрозы, за мной следили, как я думал, противники из РОСМа. Но эта проблема так и не разрешилась. Гораздо позднее (1995–1996 гг.) в результате разговоров со своими кураторами-“патриотами” я сделал вывод: вполне возможно, что они хотели не столько помочь мне выйти из этой передрыги, сколько подмять под себя структуру РОСМа и получить от них деньги (или их часть). Судя по всему, они добились этой цели. (Почти все потерянные деньги мы с моими партнерами — директорами сахарных заводов — вернули в течение следующего года из прибыли по новым контрактам.)”

А еще Алексей рассказал мне, что уже позже, когда всю заработала придуманная им схема перевода денег из страны — в страну, из банка — в банк, его неожиданно нашел, специально приехав на Запад, представитель МВД (в ранге порученца министра), чтобы душевно побеседовать и убедить его, как он понял, перевести стрелку, чтобы этот денежный поток прибил к другой станции.

Но, как я понял, Алексея не очень смущало бандитское или чиновничье (что в принципе одно и то же) вмешательство в его бизнес. По крайней мере, он знал, как играть на этом поле.

Настораживало другое:

— В моей истории есть своеобразие. Знаешь, в чем? — спрашивает он меня.

— Догадываюсь...

— Меня окружали люди, которые пытались влиять и влияли на политику России. Те, кого я называю “патриотами ГБ”...

Ох уж этот термин, придуманный Алексеем!

Когда мы только встретились с ним и добрались до его домишки, вернее, до той его половины, которая была предназначена для людей, а не для коров (напоминаю, что половину старого крестьянского дома, который он сейчас арендует, когда-то занимала мычащая часть животного мира), — он первым делом попросил меня прочитать текст, озаглавленный, на мой взгляд, достаточно претенциозно: “Патриоты ГБ”.

Честно признаюсь: когда я прочитал этот текст первый раз (скорее не прочитал, а пробежал глазами), он не произвел на меня особенного впечатления, возможно, из-за врожденной нелюбви к клубым научным — или полунаучным — трактатам. Больше того! Я решил, что его появлению способствовали и сладкий альпийский воздух, и следы пережитого, и вынужденное бездействие автора после яркой и деятельной жизни.

Но чем дальше я слушал Алексея, чем больше вчитывался в документы, которые он вытаскивал и вытаскивал из многочисленных папок, какие-то смутные сомнения охватывали меня: а может быть, я не прав, посчитав, что “такого не может быть, потому что такого не может быть никогда”? Может, есть в этом во всем какая-то не осознанная мною правда, хотя бы ее частица, крупинка?..

Я начал перечитывать текст еще раз.

3. “ПАТРИОТЫ ГБ” (с точки зрения Алексея)

“Речь идет о негласных объединениях единомышленников из военизированных структур бывшего СССР, которые мы далее будем называть ПГБ, “патриотами ГБ” или просто “патриотами”.

Настоящий проект посвящен выявлению фактора ПГБ во всевозможных его проявлениях. Авторы проекта не претендуют на исключительность соображений и исключительность знаний в этой области, но по очевидным причинам считают важным сделать их публичным достоянием.

“Патриоты государственной безопасности” — люди, считающие себя истинными патриотами-государственниками, объединенные в тайные сообщества, которые организованы по принципу и подобию секретных военизированных формирований. В основном “патриоты ГБ” — выходцы или действующие сотрудники специальных и военизированных служб России и стран СНГ..

Название “патриоты” ГБ” состоит из ключевых слов, наиболее часто встречающихся в лексике членов таких сообществ, для которых понятия патриотизма, государства и его безопасности являются принципиальными.

В общении между собой, для распознавания своих сообществ “патриоты” оперируют именами своих лидеров или ведомств происхождения. Формальных признаков и атрибутов принадлежности к ПГБ не существует..

Главенствующий принцип функционирования — строгое военное единоначалие, безусловное исполнение подчиненными приказов вышестоящих..

Инициативные группы “патриотов ГБ” начали стихийно образовываться еще до прекращения существования СССР, в 1989–1990 гг., то есть тогда, когда уже многие патриотично настроенные служащие в КГБ, Советской армии, МВД, ВПК пришли к горькому для них выводу, что дело идет к развалу СССР и ситуация в стране выходит из-под контроля коммунистического руководства страны.

После путча 1991 г., в котором приняли прямое или косвенное участие многие “патриоты ГБ” (впоследствии, судя по всему, никто из известных участников ГКЧП

не получил лидирующих позиций в сообществах ПГБ), процесс организационного оформления и ухода в глубокое подполье основных структур ПГБ — как в рамках государства, так и вне их — в основном завершился в течение нескольких месяцев. Как целенаправленно, так и стихийно созданные негосударственные группы “доукомплектовывались” уволившимися службистами военизированных структур. Используя возникший хаос в системе безопасности, они начали стремительно преобразовываться во влиятельные организации со строгой дисциплиной и четкой структурой, приспособленные к активной многолетней подпольной деятельности.

В российскую Думу первого созыва и в правительство Черномырдина уже провалились единицы “патриотов ГБ” и их ставленников.

Октября 1993 г. отмечают первые попытки ПГБ напрямую влиять на ход главных политических событий в России, что выразилось в моральной и организационной помощи части антиельцинских сил (в том числе и после их поражения).

С 1995 года “патриоты” фактически закрепляются у власти в нескольких регионах России, добиваются бесславного ухода с политической арены наиболее “одиозных демократов” — например, Собчака в Питере при деятельном участии местных “патриотов” Путина, Черкесова и других. След ПГБ прослеживается и в спровоцированных военных действиях в Чечне.

События 1996 года характеризуются активным вмешательством “патриотов” в высшую политику: практическая поддержка амбиций прихода к власти клана Коржакова — Барсукова — Сосковца, вхождение в высшую политику Лебеда при одновременном частичном финансировании кандидата в президенты Зюганова. В Думу второго созыва попадают уже десятки “патриотов” и их креатур, многие государственные (особенно силовые) структуры серьезно инфильтруются “патриотами”, а некоторые подразделения переходят под их значительный контроль — например, СВР, некоторые отделы и управления ФСБ, МВД, ВПК и ГТК.

В период 1997–1999 г.г. “кадры” “патриотов” активно внедряются и продвигаются в высших властных эшелонах, что видно на примере многих выдвиженцев из спецструктур. Одновременно “патриоты” развязывают кампанию по всемерной дискредитации Ельцина, Семьи, их основных сторонников и олигархов. Создается ситуация, когда Ельцину и Семье после полного провала “непатриотического” правительства Кириенко приходится всерьез задуматься о выборе и назначении преемников, но выбирать они уже вынуждены только из тех, кто напрямую связан с ПГБ. Каждый новый номинируемый “наследник” Ельцина оказывается все более зависимым от ПГБ.

ПГБ отчасти способствуют приходу к руководству правительством независимого, но близкого к кругам “патриотов” Примакова, всячески поддерживают его и многих членов его команды. Приход на политический олимп подвластной “патриотам” фигуры в лице Степашина (ставленника “патриотов” МВД, а также части военных, ВПК и ФСБ) не устраивает наиболее могущественное к этому времени

“патриотическое сообщество” — разведку (и частично ФСБ), что становится причиной серьезной междоусобицы в рядах “патриотов” и заканчивается административным выдавливанием правительства Степашина. Ельцин и Семья назначают премьером Путина, полагая, что он зависим только от них и что они смогут сохранить над ним контроль. Они ошиблись, но это станет очевидным только через год. Пока же Путин успешно справляется с ролью ведомого командой регентов Ельцина.

Выборы в Думу в 1999 г. становятся триумфом “патриотов”: они в основном организуют и контролируют блок “Единство”, в значительной степени присутствуют в движении “Вся Россия”, участвуют в продвижении “Отечества”, а также поддерживают многих соратников Зюганова.

У Ельцина и Семьи создается плохо обоснованная иллюзия, что это только они впервые выиграли законодательные выборы. Они с облегчением окончательно договариваются с Путиным о соблюдении интересов и неподсудности Семьи, даруют ему верховную власть и помогают стать президентом России в 2000 г. Но Путин приводит в высшие эшелоны власти не столько личных сподвижников, сколько активных участников ПГБ. Роль последних возрастает, они отвоевывают все новые позиции у верховной власти.

Сегодня сообщества ПГБ стали значительной силой, присутствующей на всех властных уровнях и влияющей на большинство государственных, политических и общественных процессов в странах СНГ. И пока не видно, что может воспрепятствовать их повсеместному наступлению...”

Это один из отрывков обстоятельной работы, который сам Алексей назвал “Проектом “Патриоты ГБ””.

Повторяю, при первом прочтении — первая мысль: “Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда”. Да и сейчас, после более внимательного изучения этого проекта, я очень скептически отношусь к тому, что они, “патриоты”, сумели создать структурные подразделения, систему иерархического подчинения и уж тем более глубоко законспирированное подполье. И хотя в нашей стране может быть все что угодно (у нас, как в Греции, “все есть”), очень сомневаюсь, что кому-то — уже в зрелом возрасте — захотелось поиграть в “Молодую гвардию”.

И можно было бы отмахнуться от этого проекта (мало ли что попадает к тебе в руки! Иногда такое, что хоть бери шинель и отправляйся не домой, а в Кашценко!).

Если бы не одно обстоятельство.

Есть свидетель, который был непосредственным, **посвященным** участником предполагаемых политических перемен.

И этот участник — Алексей.

ИМЕННО АЛЕКСЕЮ ПРЕДСТОЯЛО СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ВИНТИКОВ “ПАТРИОТИЧЕСКОЙ” МАШИНЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ТО, ЧТОБЫ РАЗДАВИТЬ ЕЛЬЦИНА И ОПОСТЫЛЕВШУЮ ВСЕМ СЕМЬЮ.

Вот что он мне написал:

“Летом 95-го года мне было сказано, что позиции ПГБ стремительно укрепляются на всех “фронтах” и начинается время большой политики. В связи с этим мне было предложено познакомиться с двумя интересными для ПГБ политиками: П.Л. в Молдове, а в России... (следует имя большого российского политика левого толка. Для краткости обозначу его аббревиатурой БРП. — Ю.Щ.). Меня попросили врать в их окружение, по возможности финансировать их лично и их “теневые” программы, всячески отслеживать эти программы, а также их контакты, особенно конфиденциальные. Одновременно и чуть позднее меня представили новым коллегам-“патриотам”, среди которых оказались три генерал-лейтенанта спецслужбы (двое в резерве, один действующий). Круг моих встреч с “патриотами” расширился, постановка задач стала масштабной. Тогда же во время доверительных бесед я впервые услышал (наряду со многими другими) имена Путина и Черкесова в качестве примеров “патриотов-сподвижников” из Питера. Часто я стал получать просьбы об осуществлении конкретных мероприятий — преимущественно по созданию организаций, знакомству с указанными людьми и выяснению интересующих моих кураторов отношений.

На БРП я истратил многие сотни тысяч долларов прямых расходов (от 800 тысяч до миллиона долларов), на молдавского П.Л. — многие десятки тысяч. Все это без учета косвенных расходов типа командировочных, походов в рестораны, содействия их семьям в получении различных материальных благ и т.п. Я стал одним из спонсоров фонда “С.” БРП, в нескольких газетных публикациях цитировались мои компании как крупнейшие спонсоры различных социальных программ (даже по сравнению с “Газпромом”). В начале 1998 года мои кураторы сказали, что БРП на ближайших президентских выборах (подчеркивалось, что вполне возможно — досрочных) станет одним из активно поддерживаемых ПГБ кандидатов на высшую должность страны, поэтому меня просили приложить максимум усилий на его поддержку и раскрутку. Для этого я предложил (а они согласились) создать две новые “зеркальные” организации: одну в России, а вторую в Европе. Основными задачами для российской (в число ее физических учредителей вошли и два лидера ПГБ) ставились сбор финансовых средств спонсоров, привлечение общественного внимания к личности БРП, его общественной и благотворительной деятельности, его партийной самостоятельности, приверженности идеям “устойчивого развития”, европейской ориентации и т.п. Те же задачи стояли и перед европейской организацией, но для нероссийской аудитории. По нашему замыслу, это должна быть организация с программами всероссийского и международного масштаба и с участием всех министерств и ведомств РФ, особенно — силовых. Для выполнения этой цели “патриоты ГБ” (напрямую или используя мои и собственные контакты в Думе и правительстве) устраивали мне официальные встречи со многими высокопоставленными деятелями России (в частности, с Путиным и Черкесовым), зарубежных стран и международных организаций.

Я развернул активнейшую деятельность: организовывал разные общественные мероприятия в России и Европе (в Стокгольме, Копенгагене, Стамбуле, Женеве с участием российских посольств, при содействии местных резидентов — “патриотов ГБ”), привлекал известных личностей, внедрял специальные формы и схемы для получения финансирования деятельности этих организаций и т.п. “Патриотами” было организовано пиар-сопровождение моей деятельности, чем занимались лично А.В. и М.М. в здании РИА “Новости” на Зубовском бульваре при участии М.Л. (Меня вынуждали платить им многие десятки тысяч долларов за организацию заказных публикаций в российских СМИ и репортажей по телевидению)...”

Да, повторяю: я скептически отношусь к теории Алексея, по которой выходит, что в стране существует некая законспирированная организация из “патриотов ГБ”, определяющая политический курс страны, увольняющая и назначающая премьеров и как перчатки меняющая президентов. (Если кто-то из начальников и играет в конспирацию, то лишь для одной цели: как незаметнее “распилить” бюджетные деньги, перекинуть миллионные счета в офшорную зону да поделить между собой нефтяные компании. Конечно, их можно назвать “патриотами”, но не до такой же степени.)

Но тем не менее кто-то же существует!

Да, тогда, в конце 90-х, все уже устали от усталого и больного президента. Было за него и больно, и стыдно! Но если верить Алексею (а оснований не верить ему у меня нет), люди, которые намеревались его сменить, были “патриотами ГБ”.

Об этом Алексей написал, повторяю, специально для меня. А вот этот текст — наговорил на диктофон:

“Разговоры о финансовых злоупотреблениях Ельцина и Семьи начались с интервью Филиппа Туровера, в котором он сказал о банковских счетах Ельцина, о кредитных карточках и т.п. Могу доказать и показать, что его принудили начать делать то, что он сделал. Кто и как? Меня попросили в этом деле поучаствовать. Вот записка, написанная рукой некоего Владимира, адресованная мне, с просьбой связаться с Туровером:

“Позвони Филиппу (его координаты у тебя есть) и передай ему эту записку.
Филипп!

Ты просил реквизиты по... (название страны. — Ю.Щ.), чтобы закрыть тему. ... (истинное имя “Алексея”. — Ю.Щ.) даст тебе эти реквизиты, сумма ему известна. Прошу не затягивать решение вопроса. 9.06.98. Обнимаю, Владимир”.

— А кто такой Владимир?

— Некий господин О. Ничего не говорит эта фамилия?

— Нет...

— До последнего времени (по крайней мере, у меня данные декабря 2000-го) он сидел в аппарате БРП. До начала 90-х он работал в КГБ, занимался спецоперациями и ушел в резерв то ли в звании полковника, то ли подполковника (проверил

по нескольким источникам). Меня с ним познакомил мой товарищ-“патриот” и попросил выполнить его просьбу. Очень конфиденциально. Просьба заключалась в чем? Связаться с этим Филиппом, которого я раньше в глаза не видел, и потребовать у него — в ласковой по возможности форме (поскольку говорить мы должны были с ним по телефону, и не было гарантий того, что он этот разговор не запишет) — вернуть деньги — 250 тысяч долларов, которые он был должен. Почему попросили именно меня? Во-первых, я жил не в России, а во-вторых — именно я должен был дать Туроверу мои реквизиты. Мне было сказано: он, естественно, эти деньги не отдаст, потому что сам в это время находился в глубокой... Понимаешь?

— Понимаю...

— И он будет делать то (так мне было в открытую сказано), “что мы ему скажем”. Это происходило за несколько недель до того, как Туровер начал рассказывать о банковских счетах Ельцина и прочее, и прочее... Да, тогда я ему позвонил: “Я от Владимира... Когда ты начнешь перечислять деньги?”. Он испуганно что-то начал лепетать в ответ...

— То есть им, “патриотам”, как ты их называешь, нужны были его деньги или его заявление о Ельцине?

— Заявление! Они, естественно, выходили на него и напрямую. Я им был нужен как дополнительный рычаг: есть некий человек, который живет в том же городе, что и он! Мало того, он дает в открытую свои реквизиты... Что это за человек? Почему он все знает? Что он может с ним сделать? Понимаешь их логику, когда они попросили сделать этот телефонный звонок? Я ему звонил не один раз, я его прессинговал: “Ну когда ты наконец перечислишь деньги?!”.

— И что? Туровер перечислил?

— Конечно же, нет. Но, повторяю, через короткое время выскочил со своим заявлением как черт из табакерки.

— То есть так было организовано первое публичное нападение на Ельцина?

— Именно так... “Мочить” президента начали “патриоты...”.

Вот такие дела... Верить в существование некой могущественной организации, способной менять политический курс, назначать правительство, выбирать президентов, будто новый костюм при очередной распродаже?

Верить? Не верить?

Верить — страшно: ох, в какую пропасть вдруг заглянул! Не верить — глупо: это что же? мы все **манипулируемые**? Ими? Кем-то?

Наверное, я бы не относился к этому серьезно: ну и что? да уже устали все от Ельцина! Сил больше не было — один смех от бессилия.

Больше того!

Эти люди и были истинными патриотами России, безо всяких там кавычек. Не дали ей скатиться в пропасть! Не опозорили страну до конца! Нашли в конце концов достойного приемника, который хотя бы по-немецки говорит и не дирижирует оркестрами!

Но что-то удерживает от телячьих восторгов.

Читаю у Алексея:

“Чтобы приобрести влияние, организации “патриотов ГБ” изначально использовали всевозможные оперативные, наиболее эффективные методы деятельности. Выполнив тактическую задачу “врасти в новые общества на пространстве СССР”, “патриоты” давно, активно и успешно занимаются бизнесом. Сначала, преимущественно используя тайные фонды КГБ и отчасти “деньги КПСС”, они были сосредоточены на создании собственных компаний, перекупали и брали под контроль существующие предприятия. Позднее, с середины 90-х годов, получив доступ к самым разным — частным и государственным — фактически неограниченным источникам финансирования, ПГБ начали активную экспансию и расширение круга своих сторонников: выдвигать и поддерживать перспективных бизнесменов, политиков, чиновников, внедряться в отечественные СМИ, приобретать своих представителей в большинстве общественно-государственных и многих частных структурах”.

Как когда-то известный революционер Бурцев, разыскивавший агентов охраны по всему свету, так и Алексей — собирает досье на тех, кто выполняет задания “патриотов”.

В списке, который он составил (и передал его мне), — 141 фамилия. Они идут в графе “агенты”.

Почти все имена знакомые: есть бывшие и действующие губернаторы, бывшие и действующие министры, преступные авторитеты (включая чеченских), несколько журналистов, депутаты... Но больше всего тех, кто так или иначе связан с бизнесом.

— У меня есть специальная директория, где собраны все досье на этих персонажей. Они разбиты по географическому признаку, по тем делам, которые я знаю, и т.д. — говорит Алексей.

— Ну, например, этот? — называю одну из фамилий, хорошо известных читателям “Новой газеты”.

— Банкир М. В 1995-м на него был крупный бандитский наезд в России. Он долго отсиживался за границей. Спасали его люди из спецслужб. Они начали его двигать вперед, и потому он сегодня имеет такое колоссальное влияние на политическую жизнь России.

— А этот? — называю еще одну фамилию из списка, тоже нашего старого знакомого.

— Банкир Е. начинал работать в связке с Л., который был агентом (безо всяких кавычек) спецслужб. Л. был замешан во всей истории с “Властилиной”, т.е. с Соловьевой. Потом — активно участвовал в избирательной кампании Ельцина. С самим Е. лично не знаком, но знаю, что он из команды Л. и выполнял некоторые грязные поручения “патриотов”, об одном из которых много писала в свое время “Новая газета”.

— Ну а что есть на А.? О нем мы писали очень много...

— Президент нефтяной компании и политик А. стал сотрудничать с ФСБ, когда однажды был задержан и провел трое суток в камере на Петровке, 38. Мне рассказал об этом один из моих товарищей-“патриотов”. Но сотрудничают с ним очень аккуратно, практически не используя его по бизнесу. По крайней мере, мне об этом не известно (хотя, возможно, я ошибаюсь). Но всю информацию с него снимают: это я знаю на сто процентов. И у меня есть основания полагать, что именно из-за этого от него отошел один из олигархов”.

Во времена Бурцева те, кто был заподозрен в сотрудничестве с охранкой, пукали себе пулю в лоб.

Эти, даже назови их истинные фамилии, скорее всего, покраснеют от удовольствия...

В альпийской глухомани живет себе Алексей. Собирает осколки недавнего прошлого. Пытается представить будущее (цитирую):

“ПГБ еще скажут свое слово, так как для них смысл происходящего очевиден: Запад опять выигрывает за счет ослабленной России, и это недопустимо. В этом смысле будущее Путина странным образом начинает напоминать прошлое Горбачева, которому “патриоты ГБ” дали емкое, убийственное определение: “предательство национальных интересов”. Но сегодня уже затрагиваются интересы окрепших сообществ ПГБ, а не растерянного КГБ, и это совсем иной расклад...”

Думаю: что, если сейчас какого-нибудь другого парня, уже из нового поколения, кто-нибудь отведет в сторону, заморочит голову высокими идеями, пообещает красивую жизнь — или... или заденет тонкие романтические струны его души: “Ты же думаешь о России?”. Станет ли он таким же, как Алексей?

Поймет ли, как Алексей, что не стране он служил, а горстке странных типов, для которых страна — это прежде всего они сами? Они, не остальные, не мы.

Ну, а сам Алексей? Как к нему относиться?

— Ты помнишь в “Драконе” разговор Генриха и Ланцелота? Генрих: “Я лично ни в чем не виноват. Меня так учили”. Ланцелот: “Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником?”.

Что он ответил — на диктофонной пленке не сохранилось. То ли сама пленка закончилась, то ли батарейка села...

Да и зачем я ему задал этот вопрос? Именно ему... Да, передо мной был диктофон, который я с его разрешения включил. Еще, естественно, блокнот, куда я записывал, чтобы не забыть, уточняющие вопросы, которые хотел задать.

Но запись его голоса на пленке, документы, которые он мне показывал, информация на закрытых файлах — все это не шло ни в какое сравнение с тем документом, который я подписал в первые минуты нашей встречи:

“Я, нижеподписавшийся, Щекочихин Юрий Петрович, заместитель главного редактора “Новой газеты” (Москва), всей моей профессиональной и человеческой этикой гарантирую не раскрывать третьим лицам и/или предавать гласности имя... (настоящие имя и фамилия “Алексея”), а также документы, факты, имена других

лиц и/или любую информацию, которую я могу получить от него начиная с сегодняшнего дня — без его адресованного мне и ясно выраженного на то согласия в письменной форме (в письмах, факсах или электронных письмах, направленных... (адрес. — Ю.Щ.) по каждому соответствующему случаю и подписанного его инициалами...

Я отдаю себе полный отчет в том, что раскрытие мною строго конфиденциальной информации, полученной от... может поставить в прямую опасность жизнь его и его близких, поэтому сделаю все, чтобы избежать этого.

(Текст настоящей расписки написан на русском и английском языках. Русский язык является первичным).

Да... В жизни у меня еще не было подобной почти невыполнимой задачи: рассказать обо всем, что узнал, — и не упомянуть реальные имена, даты, конкретные обстоятельства, которые могут вывести на след человека, рассказавшего мне обо всем этом. Тогда, при первой нашей встрече, я тут же поставил свою подпись, а уже позже, в Москве, полностью выполнил все условия, поставленные мне "Алексеем".

Однажды я понял, что мафию можно победить, но не у нас

Почему у нас все не так?

Почему, проезжая мимо особняков, я задаю сам себе вопрос: "А на какие деньги они все это сделали? Кто они? Откуда взялось это богатство?"

Наверное, не только я один, мы все думаем: откуда у очень ограниченного числа людей появились деньги, которые и не снились некоторым субъектам Российской Федерации?

Ладно, я не о России, я о Сицилии. Официальной столице мафии.

Я был там недавно и до сих пор не могу отделаться от поэзии борьбы с мафией в самом уникальном для мафии месте.

Комиссар Каттани... Крестный отец... Мафия в ее классическом киношном воплощении.

— ...А ты знаешь, что это такое? — указывает мне на дырку в земле парень, который сегодня владеет землей одного из донов мафии, приговоренного недавно к пожизненному заключению.

— Наверное, водопровод, — отвечаю я, глядя вниз с балкона.

— Нет, — говорит он. — Это не водопровод. Это подземный ход. Именно с этого балкона он смотрел в бинокль на дорогу, ожидая карабинеров, и, когда они появлялись, он спускался в эту дыру и полз через подземный ход. А его подземный ход в городском особняке в Палермо начинался под стиральной машиной.

— Ты не боишься, что он вдруг вернется и убьет тебя? — спрашиваю я.

— Он никогда не вернется. И я не боюсь. Я устал бояться.

Неделя на Сицилии — это неделя встреч с людьми, которые устали бояться мафии. С прокурорами, с судьями, с ребятами из Liberty — организации, которая создана для того, чтобы передавать имущество мафии на социальные нужды.

На Сицилии проходит уникальный эксперимент. На производствах местного производства здесь пишут: “Сделано на земле Сицилии, конфискованной у мафии”. На вине, на банках с джемом, на оливковом масле.

У них тоже нет сил, как и у нас, но они унизили мафию.

Много лет назад, когда я еще работал в “Литературной газете”, Анатолий Рубинов написал статью о том, откуда у чиновников и их жен драгоценности. Я тогда был против этой позиции — нельзя идти от имущества к человеку, то есть обвинять человека в том, что у него есть это имущество.

Сегодня я тоже сомневаюсь, правы ли были итальянцы, когда начали расследовать дела не по людям из мафии, а по тем, кто соприкасается с мафией, тем, кого они сажают пожизненно, выясняя, откуда у них все это взялось — земли, особняки, заводы, магазины, дома.

Спрашиваю у заместителя прокурора республики Серджио Лари, представляющего Италию здесь, в Палермо:

— Что вы сделали с вашей мафией? Ведь, как я знаю, треть имущества, конфискованного в Италии, конфискована именно здесь, в Палермо. Почему вы это сделали?

— Когда мы отнимаем у них имущество, мы отнимаем у них власть, — отвечает он. Да, я видел, как они отняли власть у сицилийской мафии. Я видел поля, которыми мафия уже не владеет, я видел замки, в которых мафия уже не живет, я видел магазины, к которым они уже не имеют отношения.

— Скажите, Серджио, а как вы определяете, кто мафия, а кто нет? Я понимаю: когда люди входят в преступную группировку, они подлежат наказанию. А те, кто около них? Почему сегодня, по новому закону, в Италии даже их имущество имеют право отобрать?

— Мы основываемся на оперативных данных, на прослушивании телефонов, на интернет-сообщениях, на том, что сообщает наша агентура. Да, мы не можем привлечь человека к уголовной ответственности, но по новому закону мы имеем право привлечь его за его имущество.

— Но если имущество записано на тещу, на зятя, на соседа, на брата?..

— Мы просим представить нам документы, что эту землю или этот завод вам завещала ваша теща или подарил ваш друг, брат, зять. Дайте документы, что это правда. Но это происходит тогда, когда мы уже имущество арестовали. Если суд докажет, что мы правы, имущество будет конфисковано.

— Скажите, — спрашиваю я Серджио, — а если ваши спецслужбы сообщили вам, что человек, которого вы подозреваете в связях с мафией, зашел к своей знакомой девушке, вы тоже проверяете ее на связь с мафией?

— Нет, не до такой же степени. Это личная жизнь.

Нет, это тоже нечестно: я был в поместье любовницы одного из лидеров мафии, который заочно приговорен к пожизненному заключению. Отняли, отняли. Сейчас там находится центр по реабилитации бывших наркоманов.

Я понимаю, они проводят новый социальный эксперимент. Они хотят, чтобы люди знали: здесь, на Сицилии, мафия, несмотря на ее деньги, — всего лишь мелкий щенок, который бегаёт под ногами у государства. Здесь это делают публично. Для всех. Для бедных и богатых. Для детей и женщин. Для тех, кто связан с мафией и кто не имеет к ней никакого отношения. Здесь доказывают, что государство сильнее мафии.

Когда впервые начался эксперимент, мэры маленьких городов боялись брать это имущество. Каждый друг друга знал в лицо. Больше того, перед конфискацией земель на них специально вырубали оливковые деревья. Перед отнятием отелей их сжигали. Звонили по телефонам, слали письма с угрозами — но здесь не сдались.

Когда приезжаешь на чужие земли и слушаешь истории о чужом опыте, конечно, думаешь о том, что происходит у нас в России.

Попробуй обвинить нашего министра в том, что стоимость его поместья на Рублевке — больше его официальной зарплаты. Спроси у генерала МВД, ФСБ, налоговой полиции: какая теща вам это подарила? Рассмеются в ответ.

Попробуй проверить счета в офшорной зоне у вице-преьера. “Незаконно!” — скажет он.

У них в Италии было то же самое. Им и сейчас нелегко. Я спросил у одного из высших чиновников, который отвечает за конфискацию имущества у мафии и специально вместе с нами приехал из Рима:

— Вам было легче до Берлускони или при нем?

Он ответил:

— Конечно, до.

Я помню, как Лучано Виоланто, бывший спикер итальянского парламента, сказал мне:

— Против Берлускони было три уголовных дела, но его партия победит на этих выборах.

Да. Он победил. Но люди-то остались.

Каждый день мы думаем: кто же сильнее? Те, кто с мафией или те, кто против нее? Наше отчаяние не из-за законов, которых нет. Отчаяние оттого, что все к этому привыкли. Вы можете себе представить, чтобы дети и молодежь Палермо встали против традиций мафиозной жизни? А они вышли на улицы, они проводят конкурсы рисунков — дети против мафии. Ребята работают на полях, конфискованных у мафии, каждый день подвергаясь риску быть убитыми.

Политические решения основаны не на решении политиков. Политики принимают решения, когда этого требуют целые поколения. Давайте вместе съездим на Рублевское шоссе.

Вернувшись из Сицилии, я всем рассказываю эти истории: и про поместье с

больницами, в которое уже никогда не въедет “семья” (у нас это слово тоже хорошо прижилось), и про необъятные поля, виноград с которых превращается в “антимафиозное” вино. И про мэра маленького сицилийского городка; он решил построить новое здание мэрии на земле, отнятой у мафии: пусть люди знают — ОНИ больше сюда не вернуться. И еще о многом рассказываю, чтобы самому себе признаться: у нас такого не будет. Пока не будет.

Отправляясь в эту поездку, которая была организована Луис Шели, руководителем американского центра по борьбе с коррупцией, я запросил документы в Минюсте и Минкомимуществе: куда же девается имущество, конфискованное у наших бандитов и госчиновников? Получил не совсем внятные ответы. Да, конфискуют. Но никто не видел этого конфискованного.

А неконфискованное мы видим каждый день.

И вот еще что... Очень беспокоюсь о льве. Куда бы я ни приезжал, у всех спрашивал: “Вам лев не нужен? Настоящий, живой, грустный лев, конфискованный у одного из донов”.

Может, потому что ко львам у меня особое отношение.

Когда двенадцать лет назад еще в “ЛГ” мы опубликовали наш диалог с Александром Гуровым “Лев прыгнул”, впервые объявив о существовании мафии в СССР, мы надеялись, что вдруг что-то изменится. Я и сейчас надеюсь.

Но наши “львы” себя замечательно чувствуют.

Только грустный сицилийский лев никак не найдет свое место в жизни.

P.S. В Палермо меня нашли журналисты известной итальянской газеты “Република”. Они спросили: есть ли в России символы борьбы с коррупцией, как в Италии два убитых судьи — Фальконе и Барселино, из-за которых Сицилия поднялась против мафии?

Нет, у нас их не убивают — у нас их выживают, увольняют, топчут ногами. Я вспомнил самых лучших, о которых писала “Новая газета”: Катышев, Волков, Михеев и чуть не “съеденный” Зайцев...

Однажды я понял, почему у нас невозможно победить мафию

Однажды, но не так давно, власть в Рязани захватили две враждующие между собой, стреляющие и взрывающие друг друга бандитские группировки. Одних, если не ошибаюсь, называли “слонами”, других — тоже какими-то “звериными” кличками. Вся эта катавасия происходила на глазах изумленного города...

Эта рязанская история была подробно рассказана по одному из телеканалов, и потому не буду останавливаться на ней подробно. Тем более что бандиты мне физически не интересны.

Вспомнил я все это из-за одной детали.

Нашелся опер, который сказал начальнику УВД: “Город контролируют организованные преступные группировки. Почему мы ничего не делаем?”. Начальник УВД ткнул опера в Уголовный кодекс: “А где здесь есть слова “организованная преступность”?”

Начальник УВД в конце концов вылетел из своего кресла, я даже не стал уточнять его имя как совершенно бесполезное для осмысления нашей быстротекущей жизни.

Таких — больше, чем хотелось бы.

Боюсь, что именно они, такие, считают себя символами государственности: один вылетел — другие поднимут священное знамя у осевшего на даче “бойца”.

Да, да... Слова “коррупция” нет в нашем Уголовном кодексе. “Так о чем же вы?”
Да вот об этом.

Летом 99-го года весь властвующий Майкоп облетела диктофонная запись (300 экземпляров кассет для небольшого городка — не шутка) разговора двух договаривающихся сторон: заказчика заказных убийств четырех бизнесменов и исполнителя этих заказов.

Заказчик — заместитель начальника Майкопского ФСБ подполковник Михайлюк (по тексту: “Мих”), исполнитель — его агент Мугу (по тексту: “Мугу”).

Заранее прошу извинить за наличие в тексте ненормативной лексики: так уж они говорят между собой.

Итак...

Майкоп, лето, автомобиль. Они — вдвоем.

Мих. Ну, солнышко...

Мугу. Здравствуйте.

Мих. Ну как...

Мугу. Как здоровье?

Мих. ...жизнь?

Мугу. Да потихоньку.

...

Мих. Значит, Мурат, что бы в жизни ни случилось, бл..., пока я живой, бл..., эта гнида все равно должна быть убита, бл...!

Мугу. Мы его е..., один х...

Мих. Все равно, бл...! Что бы ни случилось, что бы кто ни говорил, бл...! Он, сука, с ними обнимался в камере, бл..., он падал, бл..., чуть ли не ноги им целовал, бл..., и в конечном итоге, п...рас, в спину стал стрелять, бл... Я же им не разрешал в него стрелять, я же им говорил — нельзя, нельзя, ребята, нельзя....

...Значит, Мурат, я думаю сделать такой план. Я не знаю, получится у меня это или не получится. Я хочу сейчас вместе с шефом вылететь в Москву.

Мугу. Угу.

Мих. Или в следующий понедельник, или на этой неделе.

Мугу. Этого ж сняли, говорят...

Мих. Примакова.

Мугу. ...этого поставили.

Мих. Степашина. Но еще пока исполняющим обязанности... Из-за этого мы полетим в Москву. Нам есть там с кем встречаться... Мурат, просто так мы не сдадимся! Даже если я останусь один вообще...

Мугу. Нет, мы их в рот вые...ем...

Мих. ...мы все равно будем драться...

Мугу. ...п...расы, бл...

Мих. ...мы не для того проходили через всю эту х...ню, бл..., чтобы, бл..., перед кем-то встать на колени. Если даже меня не будет, будет двадцать рыл, бл..., которые никогда им этого не простят! Если с Михайлюком что-то случится, они будут воевать.

Мугу. Мы рядом.

Мих. Они будут.

Мугу. Леонид, ничего с вами не случится...

Мих. Я одно хочу сказать, я хочу вылететь в Москву, бл... Мурат, я хочу вылететь в Москву. И мы хотим сделать так, чтобы на полгода меня отправили в командировку.

Мугу. Куда?

Мих. Куда-нибудь в командировку отправили. Все будут знать, что меня якобы отсюда... перевели.

Мугу. Ясно.

Мих. И вот как только я уеду в командировку...

Мугу. Можно начинать?

Мих. Х...ть их, бл... Всех вот этих вот, бл... Все это... Всех, на х...!

Мугу. Там четыре ж их...

Мих. Я тебя... Я сведу тебя с людьми...

Мугу. Мне единственно вот эти найти, бл..., я ищу, не могу найти. Уже спрашивал опять.

Мих. Будем искать. Найдем. Х...ня, найдем, бл...! Значит, я, единственное, человека оставлю, человека оставлю, который... У тебя будут мои телефоны.

Мугу. Хорошо.

Мих. Мои координаты.

Мугу. Понял.

Мих. Как, что, чего. Но ни с кем — ни с шефом, ни с кем из этих ты не... Потому что их там под криминальные разборки их всех чешем...

Мугу. Леонид, мы занимаемся, все!

Мих. Ав-то-мат.

Мугу. Машины две "штуки" стоят.

Мих. Я отдаю глушитель, сейчас я встречаюсь с человеком, я завтра сюда подойду...

Мугу. Ну, ясно, это мы созвонимся.

...

Мугу. “Голову” мы будем делать в Москве.

Мих. В Москве. Делать его, делать, бл..., гада, делать! Панешку здесь. “Голову” там.

Мугу. Панешку сейчас, если вот его тот, которого убили, если он там появляться будет в ауле, мы там... посмотрим все, если...

Мих. Если их не будет, мы здесь жить будем нормально...

Мугу. Послушай меня...

Мих. Никто не будет знать, что... Мы вернемся обратно...

Мугу. Правильно, уезжайте...

Мих. Так руки будут развязаны.

Мугу. Сядете там, а мы будем заниматься.

Мих. Вот я у тебя хотел и спросить: сможем это или не сможем?

Мугу. Сможем.

Мих. Но если, Мурат, если мы... где-то... подкачаемся... будет п...дец.

Мугу. Мы молчим. Рот на замке.

Мих. Мы вытащим все равно. Не... Главное, чтоб не было никаких доказательств.

Все остальное — вытащим.

Мугу. Рот на замке!

Мих. Пускай берут!

Мугу. Пускай хоть будут доказательства — рот на замке... пускай что хотят делают.

Мих. А мы вернемся, Мурат, по-любому, бл... Если их не будет, будем жить спокойно. Наши люди придут к власти. Все равно к власти придут те, на кого мы поставим на президентских выборах. Нам не по семьдесят лет, Мурат, и даже не по шестьдесят два...

Мугу. Да.

Мих. Нам еще здесь жить и работать”.

Ну что? Еще? Или хватит?

Повторяю: перед вами запись разговора заказчика серии убийств — заместителя начальника УФСБ по Майкопу, отвечающего за борьбу с терроризмом, подполковника Михайлюка со своим агентом Мугу, Муратом — бандитом местного масштаба.

ТО ЕСТЬ ИДЕТ РЕЧЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРИИ ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ.

За последние годы мы привыкли к прослушкам, утечкам, информационным подставам.

Здесь — другой случай.

Перед вами — лист уголовного дела. Когда на допросе подполковник Михайлюк показал, что запись эта — фальсификация, была проведена экспертиза: нет, текст подлинный (цитирую): “Из заключения судебно-фоноскопической экспертизы, проведенной в ГУ ЭКЦ МВД РФ, и протокола эксперта Богданова следует,

что в процессе исследования копий аудиозаписи разговора между Михайлюком и Мугу экспертами для ответа на вопрос о наличии признаков монтажа был применен такой комплекс различных методик, который позволил дать однозначный ответ об отсутствии монтажа (как механического, так и электронного)... Во время следствия были полностью опровергнуты показания Михайлюка о якобы ложном характере его оперативного контакта с Мугу.

Ладно уж, раскрою одну тайну (хотя после шквала детективов, написанных разными "бывшими", и тайн-то уже не осталось): в оперативных документах ложный контакт обозначается аббревиатурой "ЛОК", а доверительный — "ДОК". Следствие установило: во время встречи Михайлюка с Мугу этот контакт был записан как ДОК, то есть доверительный, но когда разразился скандал, то в оперативном журнале регистрации подобных контактов были (цитирую) "проведены подчистки и дописки", то есть аббревиатура ДОК была заменена на ЛОК: ложный, специальный... Следствие и это доказало. Можно привести и еще один довод: а может быть, этот чекист, разуверившись в нашем правосудии, решил, как герой вестерна, самостоятельно победить мафию? Как выяснилось, никто из тех, кто должен был стать его жертвами, не имел никакого отношения к преступному миру. "Голова" — директор одного из московских заводов, "Мазай" — депутат парламента Адыгеи, "Панеш" — предприниматель.

Так, стоп, скажете вы. Так все-таки было следствие? Следствие, суд, тюрьма? Не торопитесь.

Я уже сказал: магнитофонная запись с быстрой молнии облетела Майкоп. Ее сделал и обнародовал загнанный в угол и запуганный мелкий бандит Мугу — цитирую официальный документ — "...чтобы привлечь к сотрудничеству, Михайлюк в декабре 1998 г. организовал его задержание по надуманным основаниям. Будучи доставленным в здание УФСБ, Мугу подвергся трехчасовому избиению... а затем был водворен в СИЗО, где после дальнейшего психологического давления согласился (но лишь для виду) впредь сотрудничать с Михайлюком". Понимаете?

Одна такая запись оказалась в распоряжении газеты "Совершенно секретно". Ее корреспондент Андрей Жданкин напечатал две замечательные статьи, в которых подробно рассказал про майкопский беспредел и про чекистские крыши. Страшные картинки нарисовал он. Представляю, как тяжело ему было там работать! И верю его словам:

"Публикации "Совершенно секретно" взорвали ситуацию в республике... Начальник УФСБ по Республике Адыгея полковник Петренко и сочувствующие подтянули ручную прессу. На чистку заляпанных мундиров полковник бросился, как на амбразуру, буквально рванув на груди тельняшку. Наговорил столько и столько раз подставился, что замарал себя от сапог до фуражки.

Оказалось, что за мной, журналистом, следили, так как, по данным УФСБ, ездил я "в сопровождении представителей преступного мира". А это — депутат парламента республики, ответственные работники МВД и прокуратуры Адыгеи, род-

ные убитых. В факсе, присланном в редакцию “Совершенно секретно”, товарищ Петренко отрапортовал, что, мол, статьи “носят клеветнический и провокационный характер”, что позиция УФСБ “изложена в...” — перечислил газеты, а закончил надеждой на плодотворное сотрудничество со СМИ “в целях обеспечения территориальной целостности и безопасности Российской Федерации”.

В то же время именно по телефону УФСБ, по которому был послан факс, меня страдал милый женский голос: “Вы еще об этом сильно пожалеете и будете долго жалеть...”.

...В УФСБ “признались”, что бандит Кент “являлся сотрудником контрразведки глубокого прикрытия” и предотвратил десяток терактов “в отношении первых лиц республики”. Якобы посмертно представлен к награде. Вот масштаб! Но даже спустя полгода после гибели никакого представления на Кента в бумажном виде не отыскалось. И семья “героя” пенсию по случаю гибели кормильца не получает”.

Верю каждому слову Андрея.

Одного он, наверное, не знал: Кент, он же убийца и преступный авторитет Берзегов, не “якобы”, а на самом деле по представлению начальника Михайлюка — полковника Петренко был посмертно награжден орденом Мужества. Бедные наши ребята, воюющие в Чечне!

И еще про одно он не знал, заканчивая статью следующими словами: “Подполковник Михайлюк подался в бега, объявлен во всероссийский розыск”.

Все-таки “в бега”, все-таки — “в розыск”. Хоть какая-то надежда...

Да нет, все оказалось куда печальнее.

После публикаций в “Совершенно секретно” в Майкоп нагрянули различные московские комиссии, поднялся местный парламент, люди заговорили. Против Михайлюка было возбуждено уголовное дело. Он даже на какое-то время был заключен под стражу.

А потом... Потом дело начали продуктивно разваливать.

Михайлюка начали спасать.

Когда он находился в розыске — ему выписали удостоверение ФСБ на другое имя. Заодно присвоили — уже на его имя — звание полковника. Начали быстро подчищать документы. Против следователей начали проводить всякие оперативные мероприятия. Запугивать свидетелей. Естественно, подключили ведомство Здановича. И так далее. Что тут непонятного?

Но следователи продолжали делать свое дело.

А потом наступило лето 2001 года.

11 августа был убит главный свидетель — Мугу.

Спустя месяц высокий чин из Генпрокуратуры прекратил дело против Михайлюка, приказав в течение двух дней (!) провести все необходимые следственные действия и провести служебное расследование по фактам “необоснованного привлечения к уголовной ответственности”.

Да, высокий чин...

Нет, нет... Я не собираюсь скрывать его имя.

Читайте, слушайте...

21 сентября 2001 года. Постановление о прекращении уголовного дела. Заканчивается оно таким пассажем: "Имеющиеся в материалах дела доказательства дают основания считать, что в действиях Михайлюка Л.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (для несведущих: 205-я — это убийство, через ст. 30 — покушение на убийство. — Ю.Щ.). Однако, принимая во внимание письменные указания и.о. генерального прокурора Российской Федерации о прекращении уголовного дела...".

"И. о." вовсе не означает, что Устинова уволили. Просто на хозяйстве в это время был его первый зам, тот самый "высокий чин", приказавший прекратить это дело.

Фамилия его — Бирюков.

Но не сделаешь же свидетелем первого заместителя генерального прокурора?

...На разных наших и зарубежных конференциях меня постоянно спрашивают: "А как вы сами определили бы понятие "коррупция"?" Я запинаюсь, мнусь, теряюсь, бормочу что-то несусветное... Правда, иногда в ответ задаю другой вопрос: а как объяснить словами, что такое безвоздушное пространство?

P. S. Полковник Петренко пошел на повышение: сейчас он начальник УФСБ по Липецкой области. С Михайлюком тоже все в порядке: кажется, продолжает нести службу.

Однажды я прочитал то, о чем уже давно подозревал

"Слоник". На подозреваемого надевают противогаз, периодически ограничивают или отключают подачу воздуха, пока он не начнет задыхаться и не согласится на признание. В некоторых случаях в противогаз подается слезоточивый газ, пока подозреваемого не затошнит.

"Конверт". Руки задержанного заведены наручниками за спину, над уровнем головы, так что спина остается болезненно выгнутой, и его закрепляют в этом положении. Часто арестованного подвешивают с потолка за наручники и в таком положении избивают.

"Ласточка". Этот метод получил свое название по сходству положения жертвы с летающей ласточкой.

"Распятие Христа". Заключение привязывается к койке, широко раскинутые руки и ноги закрепляются наручниками к металлическим прутьям койки, таким образом, положение заключенного напоминает собой распятие. Затем через проволоку пропускается ток. Заключение получает электрошок...

Господи, о чем это я?

Да о нас, о нас...

О демократической России на рубеже XX и XXI веков.

О нас сегодняшних.

12 ноября прошлого года в Женеве Комитет против пыток ООН рассмотрел второй периодический доклад Российской Федерации о мерах, принятых Россией по исполнению своих обязательств по Конвенции против пыток.

Доклад, представленный российскими чиновниками, был безоблачен: в России пыток нет и не было.

Но одновременно “Международная амнистия” представила комитету черновой вариант своего собственного доклада.

Я получил из Лондона уже окончательный вариант этого доклада.

“Международная амнистия”, — цитирую, — получила многочисленные сообщения о пытках и жестоком обращении во всех уголках России, а также в связи с конфликтом в Чечне. Наиболее уязвимы представители национальных меньшинств. Выводы, сделанные Комитетом против пыток, подтверждают предмет озабоченности “Международной амнистии”: солдаты в армии подвергаются произволу и жестокому обращению со стороны “дедов” и офицеров в отсутствие принятия властями необходимых мер по их пресечению; власти не учредили эффективного механизма для проведения оперативного расследования жалоб заключенных; процесс гармонизации внутреннего законодательства с защитой прав человека и гражданина проходит медленно; персонал правоохранительных и правоприменительных органов не имеет соответствующей подготовки; не проводится оперативное и эффективное расследование многочисленных сообщений о нарушениях прав человека, в том числе о пытках, в ходе вооруженного конфликта в Чечне”.

Чтобы собрать необходимые материалы о пыточной России, делегаты “Международной амнистии” дважды побывали в России. Один из визитов чуть не кончился плачевно для них самих.

Они расследовали следующий факт — один, естественно, из многих:

“17 июня 1996 года около 8.30 вечера милиционеры в маскировочных халатах и с автоматами ворвались в квартиру студента Саидхамзата Абумуслимова, которую он снимал со своими родственниками. В это время у него был в гостях Адам Саитхаджиев... Милиционеры стали сразу же избивать их, сначала свалив их на пол, потом, поставив лицом к стенке, надели на них наручники. Они спрашивали, кто они, откуда и почему они не на войне в Чечне. Около 10 часов в квартиру пришел третий человек, Анди Вагапов; он также был избит, и ему также надели наручники. Вскоре после 10 часов, возвратившись с прогулки, в квартиру позвонил Аднан Абумуслимов, двоюродный брат Саидхамзата Абумуслимова. Его также втащили в комнату и, надев ему наручники, избили. По сообщениям, их всех держали все время лицом к стене, в наручниках. Им не разрешали повернуть головы, периодически их били и оскорбляли.

Уходя, омовцы, по сообщениям, взяли 230 аудиокассет, около 50 видеокас-

сет, компьютерные дискеты... Они не предъявили никаких квитанций при конфискации имущества. По сообщениям, они сняли всех чеченцев на киноплёнку. По словам очевидца (прохожего), на улице перед домом несколько вооружённых людей сели в темно-синий “РАФ” “Мицубиси” с номерным знаком 483 КХХ”.

По пути на встречу с пострадавшими делегаты “Международной амнистии” сами были задержаны на улице милицией и взяты в отделение “для установления личности”. Отпущены они были через два часа. Возможно, только статус членов международной организации не позволил милиции на практике показать иностранным гостям, что же такое “слоники” и “ласточки”...

“Свяжав ему руки за спиной, они били его кулаками, резиновыми дубинками и деревянным брусом. Чтобы заглушить его крик, они включали громкую музыку...”. “Они приковали его наручниками к детской площадке и жестоко избивали...”. “Надев на него наручники, милиционеры били его — через два часа он был мертв. По сообщениям, его били в грудь, заведя ему руки за спину...”. “Заведя ему руки за спину назад наручниками, надевали противогаз, затем, отключив подачу воздуха, наблюдали, как он бился в конвульсиях и терял сознание...”. “Били в область половых органов и подвергали “слонику”: его заставили надеть противогаз, затем отключили подачу воздуха”...

Фамилии, даты, адреса...

Почти стостраничный текст.

И — почти одинаковая реакция прокуратуры: “за недоказанностью...”, “за отсутствием состава преступления...”. Да и то, когда в редких случаях возбуждалось уголовное дело. Обычно от жертв милицейских пыток отмахиваются, как от надоедливых сутяг, измучивших всех ссорой с соседями по коммунальной квартире.

“Слоник”, “ласточка” — слова, как из детства.

Да нет, вот она какая, наша взрослая демократическая жизнь...

Я знаю о многом. Знал практически обо всем. О многом писал сам.

Читая этот документ, я чувствовал, что начинаю краснеть, так как снова не могу понять, в какой же стране живу.

“Нет у нас пыток, они запрещены законом, да и никогда их не было у нас в России. Нет пыток” — этими словами замначальника Управления информации МВД РФ полковника милиции Леонида Головнева открывается доклад “Международной амнистии”, представленный в ооновский комитет.

Однажды я понял, что, кроме “Трёх китов”, есть ещё четвертый

Я ни разу в депутатской жизни (ни в прошлой Госдуме, ни в этой) не позволяю себе писать, что происходит на самом деле на заседаниях Комитета по безопасности Госдумы, для своей газеты.

И о нашей двухчасовой дискуссии в прошедший четверг я хочу рассказать лишь по одной причине: стало жалко, что мы живем с такой Генпрокуратурой — с Устиновым, с Бирюковым, с Колмогоровым.

То есть с генпрокурором и его замами, которые определяют сегодня политику защиты не человека, живущего на огромной территории России, а кланов, “крыш” и денег, которые отнимают у кланов и “крыш”.

Мы говорили на нашем комитете о скандале вокруг “Трех китов”, то есть мебельного магазина. Мы не могли понять, почему вдруг Генпрокуратура именно из-за этого дела, вокруг которого поднялся такой сыр-бор — с возбуждением уголовных дел не против бандитов и их “крыш”, а против оказавшихся честными мужиков из таможенной службы и опера из Следственного комитета МВД — заняла впервые на моей памяти принципиальную позицию: встала на защиту прав потерпевших?

Я спросил у зама генпрокурора Колмогорова: “Почему из тысячи дел они (т.е. Генпрокуратура) именно это дело — о “Трех китах” — избрали как пример борьбы за права человека?”

Он ответил (и я, честно, много-много лет ждал такого разбора полетов по процессуальным нарушениям): о жалобах потерпевших, которых обыскивали среди ночи, о нарушениях в процессуальном оформлении протоколов, о произволе оперов.

Я, честно, был горд, что Генпрокуратура в лице заместителя ее главы впервые (повторяю) начала заниматься правами потерпевшего.

Николай Дмитриевич Ковалев спросил у заместителя генерального прокурора: “А почему именно это дело вы взяли? Я каждый день направляю вам, в Генпрокуратуру, сотни писем как председатель Комиссии по борьбе с коррупцией. И — одни отписки!”

Колмогоров опять начал повторять о нарушениях прав человека, о жалобах, поступивших в Генпрокуратуру, и необходимости соблюдать элементарный закон.

Да, если бы...

Я не имею права писать о том, о чем мы говорили на заседании Комитета по безопасности. Но этот документ не был разложен по нашим официальным папкам — письмо Павла Зайцева из Следственного Комитета МВД:

“Я являюсь следователем по особо важным делам по расследованию особо тяжких преступлений о коррупции и в сфере экономики Следственного комитета при МВД России. Мною расследовалось уголовное дело № 9285, возбужденное по факту контрабанды мебели, которая реализовалась в торговых центрах “Гранд” и “Три кита”. Ориентировочно государству причинен ущерб на 20 миллионов долларов США.

В ходе расследования мною установлено, что контрабанда совершена международным преступным сообществом, руководство которым осуществлялась из г. Москвы. Были выявлены все признаки преступного сообщества: устойчивость, наличие нескольких организованных преступных групп в различных регионах Рос-

сии и странах Европы, коррумпированные связи в высших эшелонах власти.

Лидеры преступного сообщества, используя сотрудников Генеральной прокуратуры, приняли все меры для прекращения расследования дела, опорочивания полученных доказательств и дискредитации следственной группы.

В частности, при расследовании мной уголовного дела в ноябре 2000 года мне и бывшему руководству следственной части Следственного комитета были предоставлены рассекреченные материалы прослушивания телефонных переговоров, из которых следовало, что участникам преступного сообщества было известно о том, что уголовное дело будет затребовано Генеральной прокуратурой и там прекращено, что “ментам нужно лоб зеленкой мазать” (дословно), что часть из них уволят, а часть “посадят”. По устным сообщениям представителей оперативного сопровождения (ГУВД Московской области), в Генеральную прокуратуру участниками сообщества было заплачено 2 миллиона долларов США.

По оперативным сводкам о прослушивании телефонных переговоров, выписки из которых имеются, Зуев (формальный владелец “Трех китов”. — Ю.Щ.) еще в 2000 году (еще при расследовании уголовного дела о контрабанде органами внутренних дел) сообщает: “прокурор принял нашу сторону... Да посадим мы этих ОБЭП-сов. В общем, самое реальное это... ну не посадим — из органов вылетят точно”.

15 ноября 2000 года Зуеву по телефону сообщается о подготовленной жалобе в прокуратуру адвокатами, которую там уже ждут для немедленной проверки: “...то есть они уже подготовили в прокуратуру жалобу. То есть там уже ждут все это дело, наверху, и сразу в ход пустят”.

Как я потом узнал, именно в это время на меня поступили жалобы в Генеральную прокуратуру, а про постановление говорит не юрист, и речь ведется о постановлении о возбуждении уголовного дела на основании жалобы. И это, оказывается, было уже решено до поступления всяких жалоб!

Почему же так просто было решить какие-либо вопросы в Генеральной прокуратуре? Об этом становится известно из следующего разговора, состоявшегося 7 декабря 2000 года, когда материалы уголовного дела были уже изъяты в Следственном комитете: “...ситуация наша стала предсказуемой и понятной в плане чего, то есть дело по большой фирме забрала Генеральная прокуратура к себе. Они там создают следственную группу, которая все это дело будет закрывать, прикрывать и разваливать... сегодня поступил звоночек по поводу того, что ручка на бумажке занесена, и они просили первую проплату сделать, включая работу, 125 тысяч — то, что им надо сегодня привезти. То ли боятся меченых денег, то ли еще что-то...”.

А ведь именно с начала декабря 2000 года в Генеральной прокуратуре стали решать вопрос о создании группы для расследования уголовного дела о контрабанде. И теперь имеются основания предполагать, что уголовное дело в Генеральную прокуратуру затребовали за взятку для его незаконного прекращения. Точно утверждать на настоящий момент можно только одно — Генеральная прокуратура незаконно прекратила уголовное дело по контрабанде мебели!

Тогда зачем же Генеральной прокуратуре понадобилось привлечь меня в качестве обвиняемого, какой в этом смысл, если исходить из того, что все мои действия были законными? Так как Генеральная прокуратура выполняла “заказ”, то необходимо признать те доказательства (показания лиц и документы, изобличающие конкретных лиц в совершении преступления и дающие схемы совершенных преступлений) ничтожными, то есть не имеющими юридической силы. А для этого необходимо было признать мои действия незаконными и заведомо незаконно привлечь меня к уголовной ответственности. Так, в Генеральной прокуратуре решался вопрос о том, по каким основаниям возбудить уголовное дело, якобы по фактам незаконных действий сотрудников МВД. И 20 декабря 2000 года возбуждено уголовное дело. А вот о чем Зуев разговаривал 20 декабря: “...Все нормально. Проверили в МВД, с их стороны никакой угрозы не существует. Первое. Второе — сделали, должны были сделать предупреждающий звонок в Комитет. Чтобы они не предприняли резких действий. В-третьих... не могу все это по телефону сказать, Сергей Васильевич... сейчас в Генеральной прокуратуре ищут материалы, за что бы зацепиться, чтобы к Комитету подобраться... Они с “Лигой-Марсом” ничего не могут сделать, потому что на сегодняшний день Генпрокуратура занимается очень плотно этим делом и тот товар, который находится по этому вопросу, — он весь под контролем... По крайней мере, что касается “Лиги-Марса”, могу сказать, что там все будет нормально”.

Получается, что 20 декабря Зуев еще не знал, что возбуждено уголовное дело, но уверенно говорил о том, что “в Генеральной прокуратуре ищут материалы, за что бы зацепиться, чтобы к Комитету подобраться”. Получается, что к Комитету — это к Следственному комитету, в частности, ко мне.

Когда я знакомился с материалами в отношении Генпрокуратуры, то считал, что такого быть не может, так как состав преступления, т. е. контрабанды, в уголовном деле был доказан, прекратить его было невозможно; каких-либо оснований для увольнения кого-то из сотрудников правоохранительных органов нет; возможность передачи денег в Генеральную прокуратуру я категорически отрицал.

Однако дальнейшие действия сотрудников Генеральной прокуратуры полностью изменили мое мнение, и я считаю, что незаконные действия Генпрокуратурой совершены не бескорыстно.

22 ноября 2000 года материалы уголовного дела без объяснения причин и основания были в срочном порядке изъяты Генеральной прокуратурой, в которой в настоящее время часть основных доказательств по делу о контрабанде мебели утрачена. (Из 120 томов осталось 20. — Ю.Щ.)

Более того, 20 декабря 2000 года по явно надуманным основаниям Генпрокуратурой против меня было возбуждено уголовное дело по фактам превышения служебных полномочий при производстве обысков без санкции прокурора и заведомо незаконного задержания...”.

Дальше я не буду цитировать письмо следователя по особо важным делам Зай-

цева: там факты, которые стали предметом нашего обсуждения на Комитете по безопасности.

Да и “Три кита” меня не очень-то интересуют.

Четвертый, прокурорский, “кит” меня интересует куда больше...

Повторяю: ни как депутат (и той Думы, и этой, да еще нашей бывшей страны — СССР), ни как журналист — я в жизни не слышал от высокого прокурорского чина подобной пламенной речи в защиту законности и прав человека от посягательств милиции: ночные обыски, жалобы потерпевших, письма, по которым уголовное дело тут же, в течение дня, изымается на самый верх — в Генеральную прокуратуру.

Только я да мои коллеги не могли понять: почему же именно это дело о контрабанде на сумму не менее 20 миллионов так заинтересовало высших чинов Генпрокуратуры?

— Василий Васильевич, — спросил я Колмогорова, — мы же здесь не наивные люди! Ну скажите честно: высокие покровители “Трех китов” заставили Устинова, Бюрюкова и вас сломать это уголовное дело? Как там у них говорят? “Крыша”?

Но зам генерального бубнил в ответ давно не слышанные мною слова: “жалобы граждан”, “ночные обыски”, “нарушения прав человека”...

Примерно год назад была жестоко избита милицией журналистка “Белгородской правды” Ольга Китова. Избита, брошена в камеру.

В своем запросе к генпрокурору В. Устинову я написал:

“Как мне кажется, непосредственным поводом для преследования О.П. Китовой стало журналистское расследование о противоправных действиях правоохранительных органов Белгородской области. Учитывая тот факт, что О.П. Китова — не только обозреватель “Белгородской правды”, но и депутат областной Думы, прошу провести прокурорскую проверку”.

Спустя два месяца я получил ответ. Приведу только два последних абзаца: “При попытке привода 21.03.2001 Китова не подчинилась законным требованиям сотрудников милиции, оскорбляла их и совершила иные противоправные действия. По данному факту в тот же день в отношении нее возбуждено уголовное дело по фактам применения насилия в отношении представителей власти и их оскорбления (ч.1, ст.318, ст.319 УК РФ).

Установлено, что дело было возбуждено законно и обоснованно, каких-либо нарушений в ходе расследования не выявлено. Совершенные Китовой преступления не связаны с ее депутатской деятельностью”.

Под ответом стояла подпись: “Заместитель Генерального прокурора В.В. Колмогоров”.

Тот самый...

Хрупкая, но мужественная девчонка оказалась после “сопротивления” в больнице, откуда мы ее и вытащили.

Это уголовное дело не было затребовано на самый верх.

Она не доросла до “Трех китов”.

Бедные люди.

Многие мои коллеги по Госдуме со мной спорят: “Зачем ты требуешь отставки генерального прокурора? Ну уж ладно — его первого зама Бирюкова... Но Устинов же сегодня — как Тихонов в Штирлице”.

Но каждый день я получаю чудовищные по идиотизму ответы от них, из Генпрокуратуры, и понимаю, чуть не плача: если такое они пишут в Госдуму, то что же делать тем, кто ни до кого не может достучаться?

Дальнейшая хроника событий (как она была отражена в моем дневнике).

На этой неделе, скорее всего, будет оглашен приговор по делу Павла Зайцева.

Павел Зайцев, следователь по особо важным делам Следственного комитета МВД РФ, виновен в том, что прикоснулся к мафии в виде “Трех китов” — мебельной фирмы, в которой переплелись все: от чеченских и солнцевских бандитов до высокопоставленных чиновников из ФСБ и Генпрокуратуры.

Но судят не их, судят Павла Зайцева, молодого парня, живущего в одной из московских общаг — у МВД нет денег на покупку ему квартиры, и жену и своего маленького сына он видит только тогда, когда работа позволяет ему выбраться из Москвы.

Судят парня, на котором только одна вина — он не умеет брать взятки, хотя по его должности сам Бог велел (зарплата до последнего времени была четыре с половиной тысячи рублей, а в делах, которые он расследует, фигурируют сотни миллионов долларов).

Обвинение ему звучит смешотворно — я, честно, такого еще в жизни не видел: “из-за ложно понятого чувства служебного долга и из-за карьеристских соображений” он без санкции прокурора произвел незаконные обыски.

Таких случаев — тьма.

Но судят Павла Зайцева.

В самом начале процесса его спросили: понятна ли ему суть обвинения?

Он честно ответил: “Нет”.

Обвинитель из Генпрокуратуры ему пояснил: если бы он довел дело по “Трем китам” до суда, то ему дали бы премию.

Я спросил у Павла: “А какую премию тебе давали за последнее дело, которое ты довел до суда?” (а какой еще может быть результат у следователя?). Он ответил: “Одну тысячу рублей”.

Уверяю вас: это заседание Московского городского суда — историческое событие.

Обвиняемый Павел Зайцев поднялся на недостижимую для его молодого возраста высоту. На процессе по делу Димы Холодова был один обвинитель из Генпрокуратуры, а у Павла — два (один из них известен по делу Салмана Радуева). А судит его судья Мосгорсуда, которая до этого заочно приговорила Олега Калугина к пятнадцати годам.

Павел стал знаменит, хотя не хотел ТАКОЙ знаменитости.

Вместо мафии на скамье подсудимых — парень, который пытался с ней бороться (хоть одно хорошо — руководство МВД и Следственного комитета от него не отступились, то есть не предали).

Повторяю: этот процесс — исторический. Даже не “кто кого”. А “кто под кем”.

Мафия — это не громилы из подворотни. Это система человеческих отношений, сложившаяся в обществе.

Не понимаю Владимира Путина!

Согласен с каждым его словом, но — ничего не происходит.

Понял: больше обращаться к президенту не имеет никакого смысла — письма до него не доходят: или клерки кремлевские перехватывают, или ему не важно, по какому поводу обращается к нему депутат, заместитель председателя Комитета по безопасности Госдумы.

Когда я написал президенту по поводу Павла Зайцева и ещё одного молодого опера, которого также ломает Генпрокуратура, и я даже крикнул в письме: “Я понимаю, что Вы хотите создать свою команду, но вокруг Вас собирается стая”, — то получил ответ какого-то кремлевского клерка.

Такого нет нигде в мире.

Такое есть только у нас.

Думаю, думаю и — никак не могу объяснить, почему в России все живое или должно быть унижено, или обязано встать в строй “бредущих в грядущее”.

Знаю только одно: мы не хотим, чтобы наши дети краснели за нас.

Мы будем драться за Павла и его команду.

И последнее. Я спросил у Александра Ивановича Гурова (он — известный генерал и председатель Комитета по безопасности Госдумы, который тоже, к сожалению, не берет взятки): не будет ли он против, если я обнародую стенограмму нашего специального заседания Комитета по бандитам из “Трех китов” и судьбе Павла Зайцева?

Что он ответил? Догадываетесь?

— Надо, чтобы все об этом знали.

И дальше — из хроники: за два дня до последнего слова Павла Зайцева.

На этой неделе, скорее всего, Мосгорсуд объявит приговор по делу Павла Зайцева. Беспрецедентный процесс — Генеральная прокуратура против следователя по особо важным делам МВД — будет завершен. Выиграет закон или победит мафия?

Вот так он начнет свое последнее слово послезавтра, 4 сентября, стоя перед высоким судом:

“Уважаемый суд!

Виновным я себя не признаю. Считаю, что все мои действия по производству обысков и задержаний были законными и обоснованными.

Я, следователь и офицер Министерства внутренних дел, выполнял свой долг перед Родиной, при исполнении своих служебных обязанностей при расследова-

нии уголовного дела о контрабанде мебели руководствовался Уголовно-процессуальным кодексом и своей совестью.

Сейчас я, ставший на защиту экономической безопасности России, нахожусь на скамье подсудимых, а причинившие нашей стране огромный ущерб на сотни миллионов контрабандисты находятся в стороне, хотя дело о контрабанде мебели еще расследуется.

Министерством внутренних дел мои действия признаны законными и обоснованными, а если бы я их не произвел, то совершил бы халатность, то есть в моих действиях был бы состав преступления...

Генеральной же прокуратурой я привлечен в качестве обвиняемого, так как, по их мнению, я якобы совершил преступления: незаконно проводил обыски и задержания граждан.

Я считаю, что действия Генеральной прокуратуры незаконны и, по моему мнению, преследуют одну цель: признать полученные мной при расследовании уголовного дела доказательства ничтожными, то есть не имеющими юридической силы...".

Да, я знаю, что именно так начнет свое последнее слово Павел Зайцев послезавтра, 4 сентября.

Знаю не только потому, что Павел показал мне этот текст еще в конце прошлой недели: любой из нас — от депутатов Госдумы, которые на Комитете по безопасности три часа с половиной расследовали этот беспрецедентный случай, до журналистов, которые освещали этот двухмесячный судебный процесс, — мог бы сказать то же самое.

Мафия — против следователя, российский, отечественный спрут — против всех нас.

Помню, на том заседании Комитета по безопасности (стенограмма была напечатана в "Новой газете") мои коллеги и я сам спрашивали у зама генпрокурора В.В. Колмогорова: "К нам приходят ежемесячно сотни писем о жутком милицейско-прокурорском произволе, мы посылаем их к вам — в ответ одни отписки. Почему же именно обыски, которые произвел Зайцев в офисах "Трех китов", удостоились такого внимания высших чинов Генпрокуратуры?". А в ответ слышали: "Трудящиеся пожаловались на то, что обыски были произведены незаконно...".

Но этих "трудящихся" — членов международного преступного синдиката — даже директор ФСБ Николай Патрушев назвал в своем письме на имя премьера Михаила Касьянова "преступной группой", "подозреваемыми в контрабанде лицами, связанными финансовыми, договорными или родственными отношениями".

Они — на свободе. Они — не на скамье подсудимых. И если уголовное дело по "Трем китам" сейчас снова расследуется (о чем написано в "последнем слове" Павла Зайцева), то по личному требованию президента Владимира Путина.

Господи! До чего дошли! Президент еще и стульями занимается. Но не знаю, кого больше жалеешь: его, президента, или нас всех, страну, в которой вместо гражданского общества создан криминальный режим.

Есть уголовные дела сложные, есть запутанные, есть безнадежные для раскрытия.

Дело о мафиозном мебельном синдикате “Три кита”, превращенное нашим отечественным спрутом в уголовное дело против следователя, пытавшегося победить мафию, — знаковое для современной России.

Понимаю, что подразумевает президент Путин под “укреплением вертикали власти”. Но практически ежедневно вижу, чем оборачивается эта “вертикаль” в реальной жизни и реальном времени: произволом чиновников, все возрастающей коррупцией, циничным прессингом на средства массовой информации, наконец, расползающимся по стране страхом, заставляющим людей снова разговаривать на кухнях, плотно закрыв дверь от посторонних... И главное — унижением человека. Просто человека.

Даже при Ельцине я не получал так много писем со всей России, в которых униженные и оскорбленные наши сограждане пытаются найти хоть какую-то правду.

До президента они, естественно, не доходят. Наши, из Думы, правда, тоже...

Молодой следователь Павел Зайцев, живущий до сих пор в комнатке в московской общаге, попытался бороться с этой мафией, уже надевшей государственный нимб. Его обвинили в том (серьезно, не шучу — так сказано официально Генпрокуратурой), что действовал он “из-за ложно понятого чувства служебного долга”...

Не могу предсказать, каким чувством будет руководствоваться суд, вынося приговор Зайцеву на этой неделе.

Может быть, как и Зайцев, — “ложным”?

А как понимает свой служебный долг руководство Генпрокуратуры — видно на истории с “Тремя китами”. Сегодня ИХ чувство долга, увы, больше приспособлено ко времени, чем Павла Зайцева.

И дальше:

Павел Зайцев оправдан. Решение Мосгорсуда — обвинение Генпрокуратуре.

Честно признаю: в четверг 5 сентября, когда пришел на заседание Мосгорсуда, который должен был поставить точку в затянувшемся деле старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета МВД РФ Павла Зайцева, то, честно признаюсь, не верил, что его оправдают.

Да, в суде были представлены неопровержимые доказательства того, что дело против него было сфальсифицировано. Чего стоят лишь эти пикантные подробности: понятыми при обыске у него выступали два сотрудника той же Генпрокуратуры, одна из которых к тому же оказалась несовершеннолетней.

Да, свидетели на процессе, в том числе и руководители Зайцева, доказали, что обыск без санкции прокурора у двух типов из “Трех китов” был вызван необходимостью (иначе важные доказательства были бы навечно уничтожены) и что не обвинять надо было Павла, а, напротив, объявить благодарность за то, что сумел спасти документы, без которых дальнейшее следствие было бы просто невозможно.

Да, я понимал, почему это мелкое дело (сколько ежедневно по стране милиция и в квартиры врывается незаконно, и ни за что кидает человека в клетку — подни-

мите сотни жалоб, которые приходят ко мне и к моим коллегам по Госдуме!) стало предметом столь острого общественного внимания: кто над кем? мафия уже в законе или еще только стремится таковой стать?

Да, именно история с “Тремя китами”, где переплелись интересы просто бандитов и просто высокопоставленных чиновников, включая высших чинов Генпрокуратуры, — та капля, в которой видно, в каком таком мы море сегодня плаваем! Потому-то и заседание Комитета по безопасности Госдумы было проведено, и письма президенту Путину (включая мое собственное) были направлены, и, наконец, сам президент должен был заниматься стульями-столами-диванами, контрабандным путем оказавшимися в России.

Да, повторяю, все эти доводы должен был учесть суд и оправдать молодого следователя.

И все равно — не верил, что Зайцева оправдают. Хоть полгода условно, но дадут!

Не потому, что не верю в наше правосудие или в то, что Россия все-таки — правовое государство: устал убеждаться в обратном. Слишком много примеров обратного! От смехотворных приговоров преступникам: шесть лет условно, девять лет условно (если бы не мораторий на смертную казнь, то и казнили бы условно) — до наказаний невиновным, от бесчисленных фактов милицейско-прокурорского произвола — до бесконечного отчаяния людей, которые почти каждый день приходят к нам, в Думу, которые бьются, бьются за правду и ничего не могут сделать... Да и мы сами, к сожалению, тоже.

Уже писал в “Новой газете”, что даже при Ельцине не было в письмах, которые получаем, такой концентрации боли и отчаяния! И когда приходишь домой, то долго не можешь уснуть оттого, что пытаешься и не можешь понять: что же у нас такое происходит? Почему точные и правильные слова Путина (под многими и сам могу подписаться) остаются только лишь словами? Да, точными, да, правильными! Но жизнь-то начала идти по иному сценарию, в котором зловещие тени прошлого реализуются в сегодняшних бандитах при власти. И — прекрасно себя чувствуют, круша судьбы и надежды людей.

И потому привычно ждал обвинительного приговора Павлу Зайцеву.

И вдруг: оправдан, полностью оправдан.

И потому вместе со всеми аплодировал судье Мосгорсуда Марине Комаровой, вынесшей это решение. (Могу только представить, какое давление пришлось ей испытать, и не надо мне-то рассказывать красивые сказки о “полной независимости” наших судов.)

Да, Павел Зайцев оправдан, и если не свет, то огонек вспыхнул в конце этого бесконечно черного туннеля.

Приведет ли он нас куда-нибудь?..

В начале судебного процесса гособвинитель из Генпрокуратуры сказал в одном из своих телеинтервью, что дело Зайцева не имеет никакого отношения к “Трем китам”.

Нет уж! Не обманете!

Неподдельный интерес к делу о “Трех китах” и неприкрытое вмешательство в дело Зайцева высших чинов Генпрокуратуры, и прежде всего первого зама прокурора Бирюкова, доказывают: общество в очередной раз пытаются заставить следовать не закону, а “понятиям”.

Может, хватит? Может, напомнимались?

Повторяю: оправдательный приговор Павлу Зайцеву — пока еще не свет, а легкий проблеск в конце этого туннеля.

Но и его мы все ждали долго, слишком долго.

Да, Павла оправдали. А что с делом о “Трех китах”?

Правильно. Ни-че-го.

Однажды я понял, что справедливость — она близко

Эта маленькая, мелкая, бытовая история долго не давала мне покоя.

Найдем мы его или найдем? Отыщем ли в многомиллионном городе среди таких же, как он? Возможно ли, чтобы зло — хотя бы в его малом, невселенском масштабе — было наказано? Способны ли мы сегодня, в размытости границ зла и добра, в отчаянии от невозможности быть услышанными, в атмосфере, когда умение врать, не краснея, становится политической доблестью, — сделать хоть малость, хоть что-нибудь, хоть чуть-чуть?...

Старший лейтенант милиции топтал сапогами подростка.

Большой человек — бил человека маленького.

Четырнадцатилетний Алеша, может быть, впервые почувствовал, как болезненно бывает прикосновение власти к человеку.

Все это происходило 18 октября на ступеньках, ведущих от стадиона “Динамо” к метро “Динамо”, за пятнадцать минут до начала футбольного матча.

Все это происходило на глазах у сотен людей, которые выходили из метро или ждали автобус на остановке.

Вечером позвонил взбешенный Никита Киселев, консультант отдела расследований “Новой газеты”:

— На южной трибуне перед матчем столкнулись две группы фанатов — “Динамо” и “Спартак”. До драки дело не дошло: ОМОН сработал очень профессионально — пацанов растащили... И когда все закончилось, со стадиона выскочил старший лейтенант, догнал мальчишку, свалил его подножкой на землю и начал топтать. У пацана шла кровь. Он его поднял и добивал стоя. Народ опешил. Какая-то женщина закричала: “Мы взрослые люди!.. Мы должны чего-то сделать!”.

Он его топтал с остервенением. У него была радость на лице. Радость от того, что он бьет ногами.

У меня планка упала. Я думал, что мои руки сомкнутся на его шее. Меня жен-

щины от него оттащили: “Ты что делаешь, корреспондент?! Ты же покалечишь!”.

Было бы это в результате драки, я мог бы еще понять. Я кричал старлею:

— Задержал — веди. Я подпишусь. Но зачем вот это все?

Я ему вцепился в руки, в ноги: ты чего делаешь?

— Ты же мужик, что ты делаешь... Это же не Чечня. Это же ребенок.

Он:

— Я и в Чечне был...

Я его предупредил:

— Мы с тобой встретимся. Мы с тобой обязательно встретимся.

Он от меня бочком, бочком... Потом за ворота стадиона. На бегу, оглянувшись, я увидел, как возле пацана суетятся люди в белых халатах.

Всю дорогу от центрального входа на стадион до входа на южную трибуну я пытался узнать его фамилию и подразделение. Он так и не сказал, кто он.

Я нашел майора, на глазах у которого все это происходило:

— Ты видел, что происходит?

— Видел... Это безобразие, конечно... Но это не мои... Мои стоят по периметру. Мои такого себе не позволяют...

Никита сказал, что найдет этого старшего лейтенанта...

Но как его найдешь?

Мы все понимали, что отыскать его — даже не дело принципа. Что-то более важное, чем принцип сам по себе. Что сегодня принципы! Что-то другое...

Я думал, долго думал, почему так завела эта история, почему так больно полоснула по сердцу. Что, мало разве такого происходит? Разве к этому, к такому, нельзя уже было привыкнуть?

Нас всех приучают к тому, что зло ненаказуемо.

Но что-то в этом будничном событии оказалось такое, что заставило по-другому посмотреть на себя — что делаешь, так или не так, на своих друзей, на нас всех, в конце концов.

Никита рассказал, что его удивило одно: реакция людей возле метро. Ну что, бьет и бьет! Неужели еще не привыкли?

Оказывается, нет. Оказывается, мы еще люди.

Десятки людей, узнав, что Никита — из “Новой газеты”, записывали ему свои адреса, чтобы выступить в качестве свидетелей.

Нет, еще не вечер...

Все эти дни Никита носился по Москве, чтобы узнать, как зовут этого пацана (так он выяснил имя и фамилию парня) и кто же такой — садист из милиции.

Но нашла этого старшего лейтенанта сама милиция, куда я обратился с письмом. Позвонили, попросили подъехать.

Мы с Никитой приехали в Северный муниципальный округ.

Перед Никитой разложили фотографии нескольких старших лейтенантов, которые в тот день были на стадионе.

— Этот, — указал Никита на одну из фотографий.

— Правильно, этот... — вздохнул майор. — Мы уже его сами вычислили.

С лейтенантом Геннадием Кихтенко мы разговаривали в присутствии его окружных и городских начальников. Вот запись этого разговора:

— Шла драка, — сказал Кихтенко. — Один человек повалил другого на землю и бил его...

Никита:

— Но ОМОН же предотвратил потасовку до этого. Вы же догнали этого мальчонку около метро. И он от вас никуда особенно не убежал.

— Догонял... Когда я его догнал, то ударил его по ногам. Он упал...

— И когда он упал, за что ты его бил?

— Я его не бил... Все дело в том, что я не довел дело до конца. Отпустил его... В этом я признаю себя виновным.

— Зачем ты его бил-то? — снова спрашивает Никита. — Я же сказал: веди его, если он виноват. Я сам подпишусь под протоколом... Это же дети... Там же тысячи людей стояли и смотрели, как вы топчете его ногами...

— Вы говорите, что я разбил ему лицо. А может быть, ему разбил лицо тот, с кем он дрался.

— Но вы же ему сделали подсечку...

— Он упал в снег...

— Какой снег был 18 октября! Ногами вы его добились! У него кровь шла из носа! Зачем вы его потом добивали руками? Вы его взяли за шкуру! В этот момент вы его добивали, когда вели... Но почему же вы его отпустили, если он был виноват?

— Он извинился.

— Кто?!

— Тот молодой человек. И я решил его отпустить. Я виноват в том, что его отпустил.

— А какой состав его преступления? Какое правонарушение? Какой состав — ты не можешь объяснить! — уже повысил голос майор.

На этот вопрос старший лейтенант Геннадий Кихтенко, проработавший в милиции пять лет, так и не смог ответить.

Вот практически документальный отчет о нашей встрече.

На следующий день был подписан приказ об увольнении Кихтенко из органов внутренних дел.

Испытываю ли я сегодня радость от того, что добродетель восторжествовала, а порок — наказан?

Да нет, конечно, нет.

Ненаказуема — афера с ваучерами. Ненаказуемы — коробки с полумиллионами. А за войну в Чечне кто-нибудь ответил?

Что уж там тот старший лейтенант...

Но сам принцип всеобщей ответственности у меня все больше и больше вызывает внутреннее сопротивление.

Ну давайте, давайте. Нас же много. Их же меньше...

Четырнадцатилетний Алеша, возможно, первый раз в жизни на себе почувствовал, что власть — жестока, ее удары — болезненны, что перед властью ты — беззащитен. Но, возможно — я очень надеюсь, очень, — что четырнадцатилетний Алеша понял тогда и еще одну истину, без которой и жизнь-то не жизнь: есть люди, которые могут спасти от жестокости власти.

В тот день власть представлял старший лейтенант милиции.

Человечество — один человек. Плюс люди вокруг.

Уже немало.

Однажды мы потеряли друг друга

15 января 2001 года умер Юрий Давыдов, самый скромный из замечательных писателей двадцатого века. Помните его роман “Глухая пора листопада”?

Когда я прохожу мимо его дачи в Переделкине, я думаю, что он еще там.

У каждого человека должен быть старший друг.

У нас его не стало.

Не могу понять, куда при Путине делась интеллигенция. Молодые ребята не могут вырастать на “Щите и мече”.

Юрий воевал, потом семь лет сидел в лагерях, но ни разу в жизни он не сказал мне о том, как было плохо на войне и в лагере.

После войны он пришел в газету “Красный флот”, уже ощущая в себе потребность писать о том, что видел. И вот моя любимая история.

Он пришел брать интервью у министра. Министра не было в кабинете. Он зашел в его кабинет и поднял трубку великого кремлевского телефона (в то время “кремлевка” была — как владение “Роснефтью”).

Набрал номер дежурного по газете “Красный флот”. Перепуганный голос: “Капитан-лейтенант Сергеев!”. “М...к вы, капитан-лейтенант”, — сказал Юра по “кремлевке”.

“Кто говорит?” — “Все говорят”.

Когда Юрий вернулся в редакцию, он увидел своего товарища. Тот ходил с понурым видом. “Что-то случилось?” — спросил Юрий. И тот ответил: “Да мне кто-то позвонил по “кремлевке” и сказал, что я полный м...к”. Его приятель ходил мрачный целую неделю. Только потом Юрий признался, что это сделал он.

Когда через семь лет Юра вышел из лагеря, тот самый приятель сказал ему: “Правильно тебя посадили”.

Это одна из историй Юрия Давыдова, которую он рассказывал мне, ощущая свою жизнь как цепь событий, независимых от него: война, тюрьма, слава.

Юра, мне тебя очень не хватает сегодня.

Что у нас было за этот год, пока тебя нет с нами?

Может быть, главное событие — “Норд-Ост”.

Ты бы гордился ребятами из “Новой газеты”, которые были там с рассвета и до ночи.

Ты был бы счастлив, что за время твоего отсутствия на земле никто нас не предал.

Ты бы снова понял, что живо Переделкино, несмотря на то, что санаторий для детишек отдали бандитам.

У нас появились новые ребята, и мы горды тем, что они есть.

Нам тебя не хватает. Уже год ты без нас.

А я без тебя кричу, плачу, говорю президенту Путину: “Верните России интеллигенцию”.

Однажды я был знаменитым

В детстве я хотел стать знаменитым. Хотя кто не мечтал об этом в детстве? Может, лишь трава да деревья?

В середине восьмидесятых меня — с поводом и без повода — стали часто показывать по телеящику, то есть стал иногда узнаваемым в толпе таких же, как я, людей.

Слава Богу, мне уже было за тридцать, по профессии я не актер, а журналист, и сам эффект узнаваемости физиономии уже не мог меня испортить так, как если бы мне было двадцать или двадцать пять.

Постепенно я привык к тому, что незнакомые люди здороваются со мной на улице. Но момент истинной славы я испытал лишь однажды.

Поздней осенью... Да, помню, была какая-то слякоть, дождь, натужно скрипели дворники на ветровом стекле такси.

Я ехал на Юго-Запад, к Тане и Леше Ивкиным.

Около метро “Парк культуры” я увидел маленький цветочный базар и решил, что Таньке непременно надо купить какой-нибудь букет.

Под морозящим дождем я выскочил из машины и у первого же продавца, восточного вида человека, попросил три гвоздики.

Его лицо вдруг расплылось широкой улыбкой, и он громко воскликнул:

— Виталий! Коротич!

Лишних две гвоздики он дал мне бесплатно.

Однажды... Однажды... Сколько таких “однажды” уже было в жизни и, наверное, еще будет!

Однажды родился.

Однажды умер отец.

Однажды был счастлив.

Однажды чуть не погиб.

Однажды захватывало дыхание от счастья жизни. И однажды — комок к горлу от ее горечи.

Как в принципе у каждого человека.

Хотя у каждого эти “однажды”, конечно, разные...

...А жизнь идет, идет. Что в ней еще случится однажды?

Про одно знаю. Про остальное — догадываюсь.

ТЮТЧЕВ НАШЕЛСЯ

*Главы
неоконченной повести*

1.

Осенью 1991 года, после известных событий, я по какой-то случайности был включен в состав одной из многочисленных комиссий, которые — по замыслу их основателей — призваны были очистить прошлое от всякой скверны, чтобы будущее предстало в своем человеколюбивом величии, в котором наш народ чувствовал бы себя совсем не так, как чувствовал на протяжении десятилетий, измучив себя и окружающий мир болезненными фантазиями, от которых если и было кому хорошо — так это людям с поврежденной с детства психикой.

В общем, замысел был, если помните, совсем неплохой. Славный был замысел... Ну ладно. Сейчас не об этом.

Оказавшись, повторяю, по нелепой игре случая участником процесса, который все тогда по наивности принимали за исторический, я каждое утро открывал тяжелую дубовую дверь неприметного особняка в глубине Неглинки, показывал специально мне выданный пропуск (как, я помню, тогда гордился, заполучив эту обыкновенную с виду бумажку!) прапорщику с удивленно-настороженным взглядом, который он переводил с моего лица на мое же лицо, запечатленное фотографом с Пушкинской; полутемным коридором привычно проходил в зал, похожий на библиотечный, где на выделенном мне столе уже ждала очередная стопка папок, в каждой из которых — то на серых, то на желтых, то на белых, еще не потревоженных временах, листах бумаги — содержались странные тайны минувшего или еще текущего времени: донесения секретных агентов.

Сначала, когда я только приступил к этой работе, меня, естественно, как при соприкосновении с любой тайной, охватывало судорожное волнение. Когда читал сообщения Стерегущих, Дюймовочек, Ричардов, Тань, Пушкиных, Достоевских, Чеховых (что у них за страсть была такая — брать литературные псевдонимы!)... Не говорю о том, что за каждым “Тогда он, потянувшись, сказал...” или “Достав ксерокопию книги, он под столом передал ее...” я мог представить тени в портупеях, входящие в ночную квартиру, долгое ожидание возле окошка для передач или нервный тик заспанного соседа по лестничной площадке, определенного быть понятым. Это понятно. Это — патетика.

Сам себе признавшись однажды, что моя роль в созданном кем-то мироздании заключается в обозначении присутствия людей, рожденных моим воображением, — я искал их присутствие не в придуманном, а в существующем мире.

Вот так-то и напал я на Тютчева.

Напал совершенно случайно, открыв очередную папку с собранными в ней донесениями очередного бедолаги, однажды ставшего жертвой некой политической комбинации, о которой, скорее всего, он сам и не подозревал,

Или подозревал. Или предчувствовал.

Может быть, я эту папку обрисовал бы равнодушным пером чиновника (а это, вы знаете, принцип самозащиты — пропускать мимо души очередную человеческую боль: да устал я, устал, у самого такое дома делается, а вы там себе думаете, что я все могу?). Но вдруг я запнулся в своем равнодушии, начав читать текст, поразивший меня некими признаками литературной одаренности.

Да сами представьте, что бы вы почувствовали, прочитав такое в донесении агента КГБ, работавшего под оперативным псевдонимом Тютчев:

“Ее улыбка напоминала вытянутый перед бурей канат, ее шея, изогнутая, как лебединое крыло, заставила меня вспомнить собственное детство, когда точно так же в изгипе маленькой речушки я видел причудливое очертание еще не известной мне женщины. Весь вечер ее глаза постоянно меняли цвет, и я разучился определять, где зеленый, где бирюзовый... Когда ее нога легла на кресло, меня вдруг охватила дрожь, и я почувствовал укол необъяснимой ревности (о это горькое чувство! неужели мне суждено жить с ним всю оставшуюся жизнь!), когда высокий, бородатый небрежно, будто так и надо, провел ладонью по ее колену. Как я его ненавидел в эту минуту! Потом она спросила меня, не хочу ли я еще кофе. Этот вопрос, обращенный ко мне, заставил меня вздрогнуть, и я ответил что-то невнятное, так что она была вынуждена повторить свой вопрос...”

Что это? Как это попало, как это могло попасть сюда, в это чудовищное хранилище человеческих подлостей и грязных страстей? Каким ветром смогло занести в страшный архив это хрупкое юношеское сочинение? Об этом я думал, дальше и дальше читая эти порывистые строчки незнакомого мне, но уже, казалось, давно близкого по складу мечущейся души человека...

Его-то сюда за что? По какому праву? Как они, в конце концов, посмели?

Помню, что-то такое вспыхнуло во мне. Вспыхнуло, чтобы тут же погаснуть (да погаснуть как-то больно, болезненно так, что даже в сердце нехорошо отдалось), едва я перевернул страницу:

“Квартира расположена на пятом этаже, справа от лифта. Окно комнаты выходит на бульвар, окно кухни — во дворик. Замок обыкновенный, французский. Фотокопию рукописи антисоветского писателя Солженицына “Архипелаг ГУЛАГ” она достала из нижнего ящика письменного стола, то есть третьего сверху. Стол обыкновенный, замка на ящике нет. (Меня удивила эта беспечность, хотя это и облегчает наше общее дело.) На стене — несколько акварелей художника, который находился тут же. Судя по разговорам, на днях ему удалось переправить на Запад несколько своих работ через некоего Джона, американского журналиста (если необходимо, я могу начать отдельную разработку объекта). Собаки в доме нет.

Теперь о содержании беседы и составе ее участников.

Судя по всему, кроме меня и Малярова, который меня привел, мы сталкиваемся с уже сложившейся группировкой, постоянно собирающейся на квартире Нины Селезневой. Изю всех присутствующих хотелось бы обратить внимание на Александра, как я понял — сына известного академика, занимающегося историей партии, который предложил начать кампанию (с помощью известных в стране людей) за то, чтобы на предстоящих выборах в Верховный Совет СССР в бюллетенях было проставлено два слова: “да” и “нет”. Ему возражал некий Владимир (лет 25–26, живущий где-то в районе Юго-Запада, работающий, как я понял, в “Комсомольской правде”), заявивший, что эта идея ничего не даст в силу ее утопичности и (цитирую почти дословно) “что эти козлы никогда такое письмо не подпишут”. Поэт Артем предложил: “Лучше как можно больше растиражировать Солженицына”, — и сказал, что есть люди, которые могут в этом помочь. “Ты о своей Людмиле? Она и так рискует”, — ответила на это Селезнева. “Нет, появился другой контакт”, — ответил Артем, но развивать они эту тему не стали, видимо из-за присутствия в компании нового человека, то есть меня. (Думаю, что в следующий раз мне необходимо иметь портативный магнитофон, так как многие моменты беседы мною были упущены по объективным причинам.) Один — постарше, чем все (рост под 180, большеголовый, кажется, тоже журналист, звать то ли Владислав, то ли Вячеслав), пел песни Галича, порочащие существующую систему, хотя сам по себе он, как мне кажется, не опасен, так как скорее наслаждается собственным пением, чем пытается донести смысл, который в эти песни вкладывал автор. Большого внимания заслуживает некий...”

Тут за моей спиной послышались торопливые шаги, тень, как при затмении Луны, нависла надо мной, и чья-то рука опустилась на недочитанную страницу. Я резко обернулся.

— Да не читайте вы эту белиберду, Владимир Николаевич! Что они вам подсунули?! Уж эти мне...

Незнакомый мне человек (а уж поверьте, за дни работы здесь я успел узнать всех), слишком, я бы даже сказал — чересчур подвижный для своего немалого веса при небольшом росте, у которого, казалось, каждая часть тела существовала независимо, лучисто улыбаясь, выдергивал папку из моих рук.

— Позвольте... — неуверенно пробормотал я. Хотя в данной ситуации я и был облечен некоторыми полномочиями, но еще не поборол врожденной робости перед учреждением, в котором волею случая мне пришлось работать последние две недели.

— Важное государственное дело... Все понимают. Надо наконец-то освободиться от всей этой грязи, а вам подсовывают детское сочинение. Извините, что отняли у вас время...

Все это он говорил, не переставая лучисто улыбаться, и хотя здесь, в архиве,

повторяю, я видел его впервые — все равно мог поклясться, что где-то когда-то мы с ним уже встречались, не могли не встречаться.

— Да нет... Мне кажется... Это интересно... Это достойно... — какие-то такие слова бормотал я, пытаюсь из глубины памяти вызвать тот час, те минуты, то мгновение, когда наши пути пересекались в этой жизни.

— Чего достойно? Кого достойно? Господь с вами! — продолжал он, все так же дружески, как старому знакомому, улыбаясь мне.

Но вдруг, как с другого лица, что-то настороженное и холодное мелькнуло в его взгляде — на мгновение, на секунду, и я даже вздрогнул, как от ожога, почувствовав в его глазах ненависть, обращенную не против кого-то, не против, естественно, человечества, а против меня лично. Да, на секунду, на мгновение.

Тут же вновь его лицо озарила широкая улыбка, как и прежде, обращенная ко мне.

И в этот момент я вспомнил, где, когда и при каких обстоятельствах мы уже встречались.

— Рад был... Рад был познакомиться! Очень рад! — он сунул мне свою ладонь, теплую и влажную, быстро, как на шарнирах, повернулся и даже не побежал, не пошел, а испарился в темном пространстве между канцелярскими столами.

В тот день я больше не мог ни к чему прикасаться...

Сдав так и не просмотренные доносные папки архивному служителю, я торопливо выскочил на улицу.

Помню, оказавшись на Неглинной, я вдруг почувствовал прилив необыкновенного счастья, будто мне, узнику, просидевшему десять лет в одиночке, наконец-то позволили вдохнуть настоящего, всамделишного воздуха.

Моросил мелкий дождик, мерзко хлюпало под ногами, “жигуленок” обдал меня почти до головы брызгами из грязной лужи.

Но ни дождь, ни эта вечная московская осенняя слякоть, ни даже тот молодой придурок на “жигуленке”, не признающий за пешеходами права на существование, — ничто не могло погасить свет в моей душе.

Я любил всех! Женщин, мужчин, детей, старух, ту облезлую кошку, что прошмыгнула в открытую дверь подъезда, сам этот грязный подъезд, прекрасное женское лицо, мелькнувшее в окне проезжающего троллейбуса, улыбку на лице малыша в коляске, уставившегося на мир широко раскрытыми глазами, сам этот мир. Наконец, город, неотделимый и не отделяемый от меня самого.

Сам тогда не понял, откуда все это взялось...

Может быть, из тех надежд 1991 года, которым — но кто это знал тогда! — так и не суждено было сбыться.

А может быть, радость эта была вызвана тем скрываемым от самого себя чувством, что все-таки жив, живой. Просто жив. Просто живой.

Нину Селезневу арестовали в конце сентября 82-го года, за два месяца до смерти Брежнева. Судили в середине октября, за полтора месяца до той исторической смерти.

Да, он умел наблюдать, этот Тютчев.

И улыбка, как вытянутый канат перед бурей. И глаза, постоянно меняющие цвет... Да-да... Так и было.

Мне нравилось заходить к ней, в маленькую квартирку на Чистых Прудах, и заставать там все новых, новых и новых людей. Нравились вольнолюбивые речи, вечера, переходящие в ночь... Поиски такси ко мне на окраину города...

Я вспомнил и тот вечер!

Да, именно тогда я спорил с Сашей, на самом деле сыном знаменитого партийного академика (где он сейчас? куда подевался? куда занесли наши переменчивые ветра жизни? Не знаю, давно потерял его след), об утопичности самой идеи с "да" или "нет" в выборных бюллетенях.

И песни помню, и того, кто их пел (чертовски наблюдателен все-таки этот Тютчев: пел он, не вдумываясь в смысл слов, а только любуясь своим голосом).

И помню, как в тот вечер не было моей любимицы, ласковой и нежной Тишки — пуделя, которую мама Нины Ольга Матвеевна отвезла на дачу.

И даже помню, как ни странно, самого Тютчева: юношу с волооким взором, улыбавшегося каждому, кто обратит на него внимание. (Вечно пьяный Сережа Маляров, который приволок его тогда, утверждал, что парень этот — с потрясающим чувством истории и из него будет толк в исторической науке. Да, с историей — это точно. Вот и вышла история... Сам Сережа, постоянно собиравший вокруг себя будущие таланты, к какой бы области человеческой деятельности они ни относились, умер три с половиной года назад. Уснул и не проснулся: оторвался тромб.)

Когда Нину арестовали, многих ребят таскали на допросы. Некоторых держали на Лубянке по шесть-восемь часов. Самого Малярова, как он рассказывал, — целую ночь, но о чем шла речь, он плохо помнил, так как забрали его из бара Дома журналистов и где провести ночь — ему, вечно бездомному, было в принципе все равно.

Меня не вызвали. Может быть, потому, что они там знали, что любому действию я предпочитаю роль человека постороннего, наблюдающего за событиями и людьми, в них участвующими. Не знаю, плохо это или хорошо, но такой, значит, характер, который ничто не изменит, даже чувство неминуемой опасности...

А может быть, потому, что осенью 82-го года все чувствовали, даже они, что та эпоха, к которой все уже утомленно привыкли, заканчивается и нет смысла начинать большой политический процесс, если можно отделаться малыми жертвами. Тогда на роль такой жертвы хватило Нины.

Правда, один разговор все-таки состоялся, но тогда, в 1982 году, я не придавал ему особенного значения. Вспомнил же о нем лишь после встречи в гзбистском архиве с показавшимся мне знакомым незнакомцем.

Однажды меня вызвал к себе главный редактор и сказал, что со мной хочет побеседовать инструктор ЦК ВЛКСМ. О чем была беседа — хоть убей, не вспом-

ню. Кажется, о различных подростковых группировках, которые тогда во множестве появились в Москве. Удивило, помню, то, что уж слишком старым он выглядел (по моим тогдашним понятиям) для инструктора ЦК ВЛКСМ. А еще он был удивительно подвижен для своего тучного тела, лучисто улыбался, хотя взгляд его при этом оставался тяжел и беспощаден...

Да, наконец-то вспомнил! — обрадовался я тогда, осенью 91-го, уже сворачивая с тихой Неглинки на шумную Трубную. И сам факт того, что вспомнил, перестал мучиться узнаванием: где? когда? при каких обстоятельствах? помню, тоже усилил во мне неизвестно откуда взявшееся счастье жизни.

Да...

А Нину осудили на полную катушку. На семь лет. По той самой статье. Отпустили, правда, в начале 85-го с условием уехать из страны по израильской визе (у нее, кажется, бабушка была еврейкой).

Когда уже перед отъездом я пришел с ней проститься, она, помню, встретила меня холодно и отчужденно, причину чего я не могу понять до сих пор.

Она уехала, но там, на Западе, ее приезд не произвел особенного эффекта в среде наших именованных диссидентов. Может быть, потому, что о ней мало кто знал, или потому, что как раз тогда, весной 85-го года, начиналась пора ожиданий и надежд. А скорее всего, потому, что она после всего, что с ней случилось, и сама уже ничего не хотела.

С тех пор след ее затерялся.

Правда, кто-то мне недавно сказал, что встретил Нину в маленьком туристическом агентстве на юге Франции, специализирующемся на туристах из бывших советских среднеазиатских республик. Но, возможно, этот кто-то с кем-то ее перепутал. Тогда, я помню, мы все думали, что настучал Артем, тем более что кто-то видел или кто-то рассказывал, что видел, как он выходил из здания Лубянки. (Какими же наивными мы были!) Артем тогда исчез из жизни всех его близко знавших. Года через полтора я случайно встретил его в знаменитой “Яме” в Столешниковом — грязной пивной, куда по старой студенческой привычке я заскочил с коллегой. Артем сначала бросил на меня равнодушный взгляд. Потом, спустя какое-то время, все-таки подошел и, жарко дыша мне в лицо, стал говорить громким шепотом, пьяно заговариваясь и держа, словно грозясь оторвать, пуговицу моего пиджака: “Вы все кретины и сволочи! Как вы могли поверить, чтобы я?.. Нинку?.. Да вы все мизинца ее не стоили!.. Меня? Меня?..”. Тогда, помню, я как мог начал успокаивать его, сам не веря тому, что говорил... Он, скорее всего, почувствовав фальшь в моем голосе, устало махнул рукой и поплелся к выходу...

Жизнь Артема закончилась трагически: его нашли на лестничной площадке стоящим на коленях возле калорифера. Говорят, чтобы повеситься в таком положении, необходимо огромное мужество. Но смерть Артема связали с его постоянными семейными неурядицами, затуханием некогда большого таланта и, естественно, пьянством.

Но, повторяю, в тот осенний день 1991 года я чувствовал неожиданный прилив счастья — тем более непонятный, что и повода-то никакого не было. И так жил, помню, до вечера.

Вечером, как это часто со мной бывает, меня охватила такая же необъяснимая тоска: я поругался с женой, нагрубил сыну, отказался подойти к телефону, по которому меня искал близкий в принципе человек.

Я лежал на диване, уткнувшись лицом в подушку, пытаюсь понять: да что же такое могло со мной случиться, чтобы от беспричинной радости — сразу туда, вниз, в пропасть? Чего мне недостает в моем безоблачном, в сущности, существовании? Кого не хватает? Что не устраивает в том, что я давно (естественно, лишь для себя одного) называю мирозданием?

И тут с ужасом понял: мне не хватает этого самого Тютчева. Естественно, не его самого — его загадки.

Я не понимал, зачем он мне сдался, кто он на самом деле такой, чтобы думать о его никчемной по сути жизни. Но чем дальше я сам себе приводил эти доводы, тем больше убеждался: пока не узнаю, пока не пойму, пока, наконец, не напишу все, что узнал (мог ли предполагать я тогда, никогда до этого не занимавшийся серьезным сочинительством, какая это адова мука?), — не будет мне никакого покоя и тайна мироздания, узнать которую я поставил целью собственной жизни, так и останется для меня неразгаданной.

И я начал работать. Как я это делал, с кем встречался, что узнал в точности, а что пришлось домысливать — не суть. В конце концов, не обо мне речь.

Но самое интересное, что работа, на которую я себе отвел год, затянулась на целых семь лет, и я, конечно, не мог предположить, что осенью 98-го я лицом к лицу столкнусь с тем, кто имел оперативный псевдоним “Тютчев”.

Ну ладно, обо всем — по порядку.

2.

— “Ее улыбка напоминала вытянутый перед бурей канат, ее шея, изогнутая, как лебединое крыло, заставила меня вспомнить собственное детство, когда точно так же в изгибе маленькой речушки...”. Чего-чего?

Человек неопределенно-среднего возраста, небольшого роста, но плотного телосложения, со здоровым румянцем и энергией, так и бьющей из него, недоуменно посмотрел на человека молодого, высокого и подтянутого, с целеустремленным выражением в открытом и прямом взгляде, какое бывает у людей, с пионерского детства мечтающих закрыть собой амбразуру.

— Что это за чушь собачья? — повертел он перед собой лист бумаги, исписанный мелким почерком.

— Дальше, дальше читайте, Иван Васильевич. Там дальше весь смысл. Дальше, дальше... — произнес молодой таким умоляющим тоном, что старший, то есть

Иван Васильевич, почти по-отцовски хлопнул его по плечу:

— Ну ладно, ладно... Посмотрим, что отыскал твой вундеркинд. Читаем дальше. “В изгибе маленькой речушки я видел причудливое очертание еще неизвестной мне женщины. Весь вечер ее глаза постоянно меняли цвет, и я разучился определять, где зеленый, где бирюзовый. Когда ее нога легла на кресло, меня вдруг охватила дрожь...”. Ну дает! Прямо Чехов какой-то.

— Он — Тютчев... — будто извиняясь, поправил молодой.

Старший хмыкнул в ответ и продолжал читать уже не в слух, а про себя. И чем дальше он читал, тем — молодой отмечал это с удовлетворением — заинтересованнее и заинтересованнее становился его взгляд.

— Так... Знакомые все лица... Угу... Французский замок... Замечательно... Ящик — третий сверху... Превосходно... Встреча на Маяковке... Как обычно... Ясненько... — и, дочитав до конца, произнес: — Ну что, Василий... Что я могу тебе сказать? Молодец. Смышленного паренька привлек. Хвалю.

Щеки молодого, то есть Василия, предательски порозовели.

— Но собака-то дома есть.

— Да нет, Тютчев бы заметил... Собака — не кошка, — растерялся Василий.

— Есть-есть... Породы, правда, никчемной — пудель. Зовут Тишкой. Его в то утро мама Селезневой, Ольга Матвеевна, добрейшей души, скажу я тебе, женщина, увезла на дачу к подруге, — сказал старший и, заметив вопросительный взгляд Василия, рассмеялся. — Думаешь, что? Мы зря, что ли, хлеб едим? Есть еще порох в пороховницах.

— Так что? Туда еще, что ли, кого внедрили? А кого, Иван Васильевич? Я-то уже их всех, как родных, знаю.

— А вот о таких вопросах, Василий, забудь, понял? — во взгляде старшего вдруг появился такой пронзительно-жесткий огонек, что молодому показалось, будто его обжег холодный ветер и будто не сентябрь был за окном, а жгучий декабрь, когда мама его еще называла Васенькой и у него в школе украли варежки. — Это как отче наш. Кто? Зачем? Откуда? Своих знаешь — о них никому. Никому и никогда! Понял? Они же головой своей рискуют! Они же в тылу врага все время, понял? И пули свистят по степи. Понял, Василий?

— Да я совсем не это имел в виду, Иван Васильевич! Что я, не понимаю, что ли! — от волнения Василий даже налил себе первому рюмку водки из запотевшего графинчика и лишь потом, спохватившись, своему старшему товарищу.

— Ну ладно, проехали, не расстраивайся... — вновь лучезарно улыбнулся Иван Васильевич. — Все равно молодец! Ценный кадр получится из твоего Тютчева. С ним все в порядке? Под подпиской?

— Сегодня все будет сделано... Все, как положено... И подпись... И обязательство о неразглашении.

— А восемнадцать-то ему есть? — вдруг забеспокоился Иван Васильевич.

— Конечно. Еще весной исполнилось.

— Это хорошо, что исполнилось. А то у нас был казус... Не в нашем, а в соседнем отделе... Один решил отличиться и с несовершеннолетки подписку взял. Строгача вклеили на парткоме... Ну давай, Василий. За твой успех. Если так все пойдет, лет через десять уже полковником станешь, а будущий век и генералом встретишь. Давай! — поднял он рюмку, и Василий радостно прикоснулся к ней своею.

— А кстати, почему он “Тютчева” выбрал? Ты подсказал или сам придумал? — спросил старший, закусывая водку соблазнительной с виду семгой.

— Сам, сам... Когда еще проводил первую установочную беседу, он мне прочитал: “Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная статья: в Россию можно только верить”. Я ему тут же: Тютчев!

— Это ты молодец. Я бы не догадался. Сказал бы — Пушкин или Лермонтов... — удовлетворенно заметил старший и вдруг хитро взглянул на молодого: — А сам-то случайно не пописываешь?

— Да так, ерунду всякую... — засмутился Василий.

— Пописываешь, пописываешь... То-то я смотрю, все твои источники под писательскими псевдонимами ходят: Пушкин, Куприн, Достоевский... Зачем только ты, не понимаю, одного Кражевниковым обозвал? Кражевников-то живой. Лауреат, в президиумах сидит, сам его, говорят, хвалит... А ты живого — и в псевдоним записал.

— Так это не псевдоним! Это он сам! — прыснул Василий. — Когда мы с ним бумаги оформляли, я ему говорю: “А кем бы вы, Егор Николаевич, хотели подписываться?”. А он мне: “Еще не хватало, чтобы кем-то подписываться! Я сам по себе Кражевников! Чего мне прятаться?”. Вот так и числится...

— Да, зоркий старик. Глаз, как алмаз, за два месяца уже два провоза предотвратил... Да вон он, кстати, сам идет.

И действительно, по писательскому ресторану важно шествовал, почтительно придерживаемый за локоть администраторшей Валечкой, надменный мужичок с лауреатским значком на пиджаке...

Да, такой вот разговор происходил в начале сентября 1982 года в Дубовом зале некогда знаменитого ресторана Центрального дома литераторов, который и сейчас еще существует в центре Москвы, поблизости от Садового кольца, на улице, которая вместо проштрафившегося чем-то Воровского называется теперь Поварской.

Тогда это была улица Воровского. И автор этого сочинения бывал в том доме, в который однажды, давным-давно, Лев Николаевич поселил семью Ростовых.

Да, бывал, бывал, и не раз. В ресторанном предбаннике, в котором всегда звучал сладостный поэтический мат, где пахло дешевыми закусками, и в самом отделанном дубом ресторане, где за покрытыми хрустящими скатертями столами восседали живые классики советской литературы... Хорошо там было тогда — и тем, кто лихо проматывал очередные гонорары, и тем, кто протягивал последний рубль за рюмкой водки. (Писатели остались и сегодня, а из писательского клуба сдела-

ли коммерческий кабак, и, зайдя как-то туда со знакомым американцем, автор этого сочинения услышал: “Иди к нам! Выпей с ворами в законе!”. Нет, не тот ресторан сожгли Коровьев с Бегемотом. Их бы сюда, к котообразному Гене, превратившему клуб в отстойник разной московской нечисти. Да где теперь найдешь Бегемота?..)

Но, как вы уже, естественно, догадались, представители могущественного тогда ордена — Комитета государственной безопасности — обсуждали совсем не стихотворца Тютчева. Старший, подполковник Иван Васильевич, являлся начальником отдела Пятого главного управления, отвечающего за чистоту российской словесности. Младший, Василий, еще зеленый старший лейтенант, недавно перешедший из районного управления, был в этом отделе простым, но подающим надежды опером.

Коллеги из других управлений КГБ, из контрразведки, а уж тем более — из разведки относились к тем, кто там работал, с легкой долей иронии, а то и презрения, но не было в самом Комитете людей более могущественных. Они охраняли не границу или ракетную точку — идеологию. Они ловили не шпионов и валютчиков, а людей куда более опасных для самого существования властей — врагов этой идеологии или тех, кто, сам того не подозревая, своими словами, стихами, картинками, репликами, брошенными со сцены, кадрами из фильма, анекдотом, наконец, мог нанести этой идеологии существенный вред.

Не было тогда ни одной редакции, театра, музея, библиотеки, киностудии, института, школы, всевозможных обществ “по связям” и “по дружбе”, которые не были бы пронизаны щупальцами Пятого управления. В его власти было на долгие годы запретить поэту печатать свои стихи, режиссеру — видеть собственные фильмы на экранах кинотеатров, а видному ученому — выезжать на международные симпозиумы дальше Малаховки.

В общем, то еще было управление. Туда и прибилося новое юное существо, которому судьбой суждено было называться теперь именем неплохого в принципе человека, жившего за век до него...

— Ну что, Василий? За успех нашего безнадежного дела, как говорили большевики! — поднял рюмку Иван Васильевич.

— Я пропущу, можно? Мне сейчас к Тютчеву, — замялся молодой его подчиненный по имени Василий.

— А вот так — не надо. Настоящий чекист и в Африке чекист. Понял?

И Василий мужественно поднял рюмку. А потом они вышли на улицу, в сентябрьскую Москву... Ох, как я люблю это время! Листья желтеют и так далее, а ты вспоминаешь лето и уже мечтаешь о будущем лете. Как в детстве. Такой уж месяц — сентябрь, особенно его начало. Что-то такое шевелится в душе. Потому-то так душевно они вышли из знаменитого писательского клуба.

— Ты куда позвал своего Тютчева? На Смоленку?

— Нет, Иван Васильевич, на Костянский.

— Согласовал? Там никого не будет?

— Нет-нет. Я проверил.

— Давай, Василий! Хорошо начинаешь! Да, вот еще что... Пусть Тютчев попросит у Селезневой на ночь эту белиберду почитать. Нужно, чтобы мы могли еще раз убедиться, что все на месте.

— Но... Иван Васильевич... Как я понял, у вас же там еще кто-то есть? — вопросительно посмотрел на своего начальника молодой, но уже перспективный подчиненный.

— Василий! — погрозил ему пальцем Иван Васильевич. — Ну ладно, не обижайся. Так надо. Понимаешь? Так надо! — и, уже открывая дверцу вороного крыла “Волги”, добавил: — Да, чуть не позабыл... Передай ему. Скажи, что руководство КГБ очень ценит его помощь. Будет хорошо работать — поощрять будем каждую неделю, — и вытащил из бумажника три купюры по десять рублей. — Ну, пока! Готовь место на погонах. Гори, гори, моя звезда! Понял? — И резко захлопнул дверцу машины.

Так вот завершился разговор возле входа в ЦДЛ в сентябре 1982 года.

Давно уже, как сами понимаете...

Светила лейтенантская звездочка на погоне подающего надежды Василия. Пять звезд сияли на миллионно растиражированных портретах тогдашнего Леонида Ильича. И еще много-много звезд висело тогда над нами.

Были там и яркая звезда войны, и звезды любви, и вспыхивавшие звездочки новых человеческих существ, и затухающие звезды тех, кто покидал этот мир.

И звезда надежды...

Вон она там, высоко-высоко.

Все еще висит, хотя сколько уже лет прошло с того мягкого сентябрьского вечера 82-го.

3.

Да, 82-й... Кажется — по крайней мере, автору этого повествования, то есть (и это будет точнее) исследователю жизни и деятельности агента КГБ со странным рабочим псевдонимом Тютчев, — было это совсем недавно, и что стоит с микроскопической точностью изобразить это время? С его людьми, запахами, портретами на первомайских и октябрьских демонстрациях, слухами о происходящем и будущем, унылыми магазинами и счастливыми вечерними кухнями, теплотой, исходящей от друзей, и холодком, который веял на всех нас от казенных учреждений. Казалось, куда же легче! Ведь ты и сам там был! Был, был, видел, чувствовал! Ведь не в девятнадцатом веке, в конце концов, все это происходило!

Но вот в чем парадокс памяти.

Оказывается, куда легче узнать неизвестное, чем вспомнить знакомое! Пред-

ставления о собственном существовании ты склеиваешь с таким трудом, перебирая дни, месяцы, десятилетия, времена, эпохи, то поднимаясь к вершинам детства, то грохаясь в настоящее, бывает, путая его с прошедшим или с надвигающимся грядущим! Это я о собственных фокусах с памятью.

Так представьте, с каким трудом приходится восстанавливать, как жил и что чувствовал в той, 82-го года, жизни семнадцатилетний герой нашего повествования Тютчев, а “в миру”, как говаривали раньше, Карачаянцев Павел. Павлуша, как называла его мама. Пиня, как обращалась к нему его вечно революционная бабушка, уверенная, что этим прозвищем, похожим на имя, она чтит память своего мужа, то есть дедушки Павла. (Хотя, как мне удалось выяснить впоследствии, его дед Павел Ильич эту кличку ненавидел, подозревая в этом самом “Пине” лицо не совсем русской национальности, и даже, случилось, после очередного: “Пиня, непременно прочти статью Ильина в сегодняшней “Правде”!” врезал между глаз своей супруге — факт, горячо обсуждавшийся в семье до самой его кончины после неминуемого в уже не юные годы инсульта.)

В себе самом-то невозможно разобраться, то есть выразить глупыми и ничемными словами всяческую ерунду, обманчиво принимаемую тобой за поиск смысла жизни или за какой-либо другой смысл. А представьте, какие же мучения испытываешь, когда вот так, слово за словом, приходится тебе объяснять, что же происходило в тонкой и чувствительной душе Павлуши-Тютчева в тот самый сентябрьский денек 1982 года, накануне исторического для его жизни свидания.

— Пиня, надеюсь, она из порядочной семьи? — даже и не спросила (что уж тут спрашивать, иначе-то как?), а жизнеутверждающе проворковала бабушка Полина Ильинична.

— Из порядочной, ба, из порядочной, — отвечал Павел, хотя и делал это чисто автоматически, занятый другими, более важными в его тогдашнем состоянии мыслями.

“Да, в этом полосатом чешском свитере я, кажется, ничего, но для такой ли встречи? Для такого ли события? Как отнесутся ко мне, такому полосатому? Нет, скажут, несерьезный он какой-то, и есть ли смысл с таким несерьезным иметь дело?” — размышлял он, рассматривая свое зеркальное отображение, и будто издали, словно с другого берега реки, слышал голос бабушки:

— Пиня, так как ты уже большой мальчик, я не буду обременять тебя всяческими старческими советами, как должен вести себя молодой человек в экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть при встрече с девушкой. Но, как говорил твой дедушка, главное — это осторожность и еще раз осторожность. Ты понимаешь, о чем я говорю?

— Понимаю, ба, понимаю, — машинально отвечал он, стягивая свой любимый полосатый свитер и столь же любимые, еще с десятого класса, джинсы.

“Нет, нет... Надо идти в костюме. Да, в костюме, в рубашке, в галстуке... Мне идет костюм... Все так говорят... В нем я становлюсь серьезным, мне можно дать

лет двадцать, а может быть, и больше, и если я появлюсь в нем, тут же скажут: “Нет, какие сомнения? С этим парнем можно иметь дело!”.

С этими мыслями он натягивал брюки, рубаху в красную полоску (по словам его дяди Ильи Павловича, который и подарил ее к прошлогоднему выпускному, куплена она была якобы в Париже, в чем сам Павел, правда, сильно сомневался, так как не мог представить, что существуют какие-то недоумки в выездной комиссии, которые могут разрешить его дяде, громкоголосому вралю, выехать не то что во Францию, а даже в Монголию). Повязал галстук, надел пиджак, еще раз внимательно осмотрел себя в зеркале.

— Она что, старше тебя? Намного? — откуда-то, будто снова с того берега, послышался бабушкин голос. — Не вздумай только приходить с цветами. Это ужасно пошло... Твой дедушка Пиня никогда не дарил мне цветы. В нашем круге это было не принято...

— Нет, ба... Не намного... — пробормотал он, не отрывая взгляда от собственного отражения.

“Нет... Не то... Заявиться в галстук... Галстук, костюм... Будто на работу пришел устраиваться... Вот подумают: зачем он такой нужен? Строит из себя... Нет, надо проще... Не совсем, конечно, просто... Но так просто, чтобы было видно: вот пришел серьезный человек, с которым можно иметь дело... Но не такой серьезный, который приходит в костюме и в галстук, как будто у него сегодня свадьба, а такой серьезный, чтобы...”.

Он надолго задумался. Потом, уже не разглядывая себя в зеркале, развязал галстук, снял и аккуратно повесил на плечики пиджак, рубашку, брюки... Снова влез в джинсы, вытащил из шкафа черную водолазку, натянул. Опять посмотрел в зеркало. Расправил плечи. Наконец надел коричневую, под замшу, куртку.

“Да, наверно, так... Так, как надо... В каком-то фильме я видел такого же парня... Он что-то сказал тогда очень важное... Или не сказал, а сделал... Нет, нет, с таким парнем можно иметь дело... Он не подведет... Разве можно хоть на секунду представить, что подведет?” — Он даже подмигнул от удовольствия своему отражению.

— Пиня, не забудь почистить туфли! Женщина сначала смотрит на ботинки, а уже потом на лицо! Твой дедушка, Пиня, всегда сам чистил ботинки. Брюки и рубашки гладила я, а туфли чистил он сам. Только сам. “Полина, — говорил он мне, — чистить туфли — это мужская работа. Женщина никогда не почистит так, как мужчина”. Вот как говорил твой дедушка, хотя и занимал очень ответственный пост...

— Почистил, ба, почистил, — отвечал Павел, надевая кроссовки.

...Да, вот так готовил себя к первому свиданию, столь сильно изменившему его последующую жизнь, восемнадцатилетний Павел Карачаенцев — Павлуша, Пиня, Тютчев — в том уже давно отлетевшем в прошлое, как и не было, 1982 году...

Ох, как автор этого повествования завидовал Натану Эйдельману, когда он через кухню своей хрущобы на Новолесной перешагивал в нежное начало девят-

надцатого века. Или Юрию Давыдову, пытавшемуся восстановить мрачное, но светлое окончание того же века. Им было легче: у них не было свидетелей. Кто, представьте, мог опровергнуть цвет мундира лейб-гвардии московского полка (или не лейб-гвардии?) или конфигурацию фуражки на голове Желябова (а был ли он в фуражке? — хотел и не успел спросить я Юру Давыдова, своего старшего друга, над могилой которого теперь летают долгие птицы, все еще провожая его в дальний путь).

Им было легче!

У них не осталось живых свидетелей.

А что делать автору этого повествования, пытающемуся отобразить жизнь “Тютчева” в 1982-м, когда каждый из соучастников этого недалекого времени может сказать: “Нет, брат! Ошибся! Докторская колбаса тогда стоила 2 руб. 90 коп., а моя любимая любительская — 2 руб. 20 коп.”. Ах, аромат нашей юности!

Так что же следовало делать мне, чтобы не совершить какой-нибудь исторической ошибки?

Естественно, я пошел в дом Тютчева — Павла, Павлуши, Пини — уже весной 2002 года.

Помню, был какой-то грязный ветер и вокруг какие-то прохожие с нехорошими лицами... Но я тут же забыл и про этот ветер, и про эти лица, показавшиеся мне нехорошими, когда, поднявшись на третий этаж дома, стоящего в двух шагах от Чистых прудов, позвонил в дверь, обитую черной, генеральской кожей, и дверь открылась мгновенно, будто меня ждали здесь не первый день, а может, даже и не первый год, и на пороге образовалась, обволакивая меня торжественной приветливостью, громадина Полины Ильиничны, бабушки Павла, Павлуши, Пини...

Она возвышалась надо мною (я вдруг впервые в жизни почувствовал, что мой рост 175 см и вес 75 кг — не идеальны), как гора Эверест в миниатюрном исполнении: плотная, высокая, в кружевном воротничке на строгом платье.

“Сколько же ей сейчас лет? Под восемьдесят? За?” — лихорадочно начал вычислять я, когда уже был проведен в гостиную этой квартиры — да, именно гостиную, как я ее определил, где был широкий стол, а на столе в ожидании меня уже стояли две фарфоровые чашки с разводами, оставленными временем, серебристый кофейник, давно не чищенный, и какая-то непонятная бутылка со столь же непонятной мне жидкостью.

— Дорогой, ваш телефонный звонок заставил меня переосмыслить прошлое в виде настоящего. Когда три дня назад вы мне позвонили и сказали, что вас интересует жизнь той нашей советской когорты, я не спала целую ночь. Ах, какие были беззаветные люди! И мой Павел Ильич в том числе. Нет, нет! — она протестующе подняла вверх ладонь (неожиданно маленькую и изящную, несмотря на внушительные габариты собственно Полины Ильиничны), заметив извиняющуюся улыбку, которую я постарался изобразить на лице. — Я не пью снотворного! В нашем кругу это никогда не было принято! Только Аделаида Сергеевна, жена Самсоно-

ВЫДЕРЖКА — ПОЛВЕКА



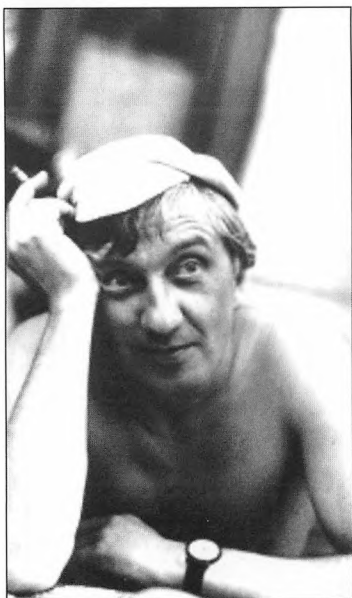
Юра родился строго в середине XX столетия, еще при Сталине, в Кировограде.

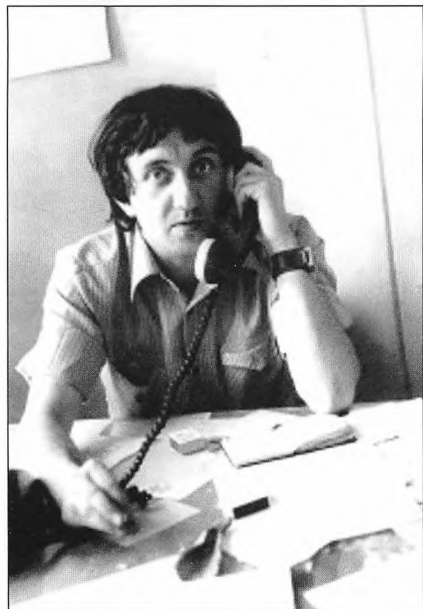
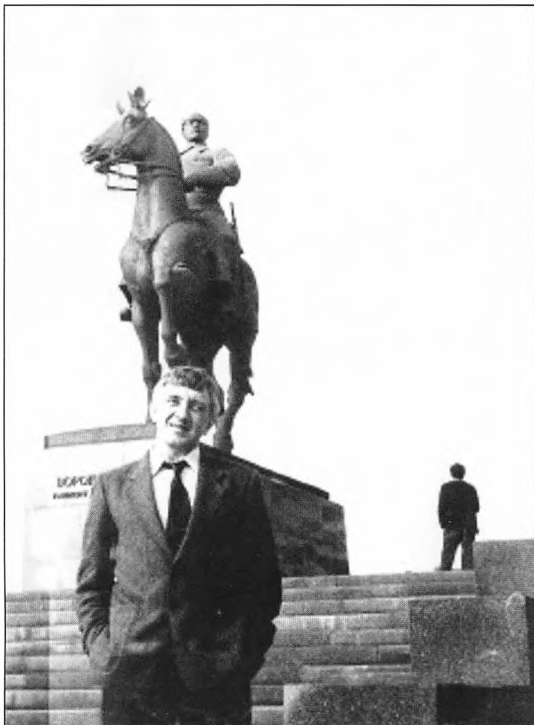
Мама — Раиса Степановна, учительница. Отец — Петр Григорьевич, инженер.

С шестнадцати лет Юра — в школьном отделе «Московского комсомольца» на Чистопрудном бульваре. В этом же здании на Чистых и последнее место его работы — «Новая газета».



С 1972-го — «Комсомольская правда», «Алый парус», всесоюзная слава самого главного «трудного подростка» страны. Наконец получил диплом — после восьми, что ли, лет заочного образования. Год в армии. И снова «Комсомолка» — обозреватель отдела морали и права.





Конец семидесятых. «Какие-то уроды» (см. воспоминания Роста в этой книге) сделали работу в «КП» невыносимой. Уходить было тогда принято в «Литературку», Юра ушел туда тоже. Помните? «На качелях», «После шторма», «Лев прыгнул», «Алло! Мы вас слышим»... В 86-м — знаменитая премьера пьесы «Ловушка № 46, рост второй» в ЦДТ. В 89-м — безусловная победа на выборах народных депутатов СССР (от Ворошиловграда). Его сопернику — первому секретарю обкома — никакой административный ресурс помочь был не в силах.

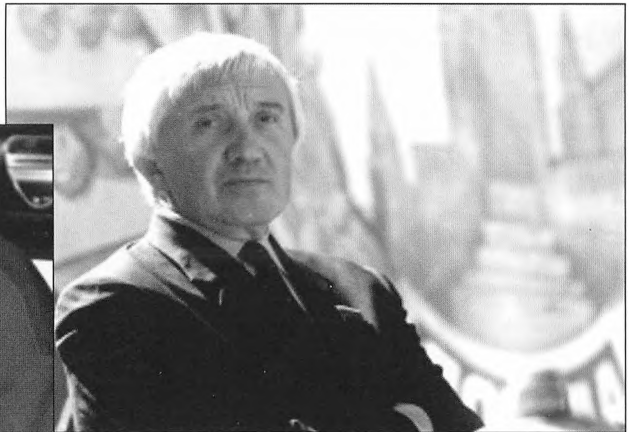
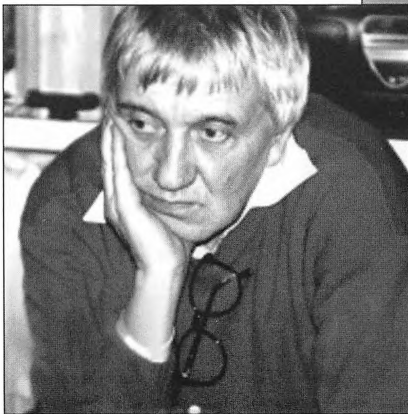


С 1996-го — в «Новой газете». Заместитель главного редактора.



И снова депутат — теперь уже Государственной Думы (от «Яблока»), зампред Комитета по безопасности. В газете его темы — коррупция в органах власти, Чечня, организованная преступность.

Один из помощников депутата Щекочихина — Сергей Бугаев (Африка) говорит: «Он не был политиком, точнее, он был другим политиком — обреченным. Обреченность эта произрастала из противоречия между политиком и общественным деятелем. Политик движется от выборов к выборам, решая оперативные задачи любым способом. Общественный деятель перемещается от одной болевой точки к другой, забыв о себе. Щекочихин был крупнейшей общественной фигурой своего времени».



На нижнем снимке — Юра в ночь на Третье тысячелетие за праздничным столом 31 декабря 2000 года.



Этот снимок сделан на Юрином дне рождения в Переделкине. Гостей, как обычно, не считали, но собралось их никак не меньше сотни...

А это Юра с президентом Ричардом Никсоном. Оба в галстуках.

Это — тоже день рождения, но другой. Юрий Рост и Борис Жутковский (в тельняшках) принесли подарки (см. воспоминания Жутковского в этой книге).



Юре — пятьдесят! Галерея наивного искусства «Дар» презентовала деревянную женщину.



С Нелли Логиновой, специальным корреспондентом «Литгазеты».

1985 год. Первый раз не на «крейсере» (см. воспоминания), новоселье в Крылатском. В кадр из членов команды попали Олег Хлебников, Леонид Загальский и Павел Гутионтов.



1985 год. С Ваней Шиловым, сыном друга Митхата.



Конец 80-х. С шефом московского бюро журнала «Тайм» Джоном Коханом.

Середина 80-х. С актерами Центрального детского театра. На заднем плане — Игорь Нефедов, который сыграл в «Ловушке...» главную роль.



Февраль 2000-го. Митинг на Пушкинской площади в защиту журналиста Андрея Бабицкого.



Актеры Евгений Дворжецкий и Сергей Серов в «Ловушке...» были по разные стороны баррикады.



На встрече Ю.П. Щекочина с Папой Римским присутствует председатель Госдумы РФ Г.Н. Селезнев.



С гитарой — полковник Александр Чикунов. Его песни Юра очень любил, а одну — «Родина, не предавай меня!» — даже напечатал в своей последней книге.



«Просто Саша», старший прапорщик армейского спецназа, кавалер двух орденов Мужества. Дважды представлялся к званию Героя России, но награды, как писал Юра, получали генералы...



Во время командировки в Чечню. Юра со спецназовцами.



Середина 80-х. 9 Мая на улице Горького. Рядом с Юрой — знаменитый следователь Владимир Калинин.



Выступление в провинциальном доме культуры. Всех троих знают в лицо.



Махачкала. Депутаты Госдумы Юрий Щекочихин и Алексей Арбатов в гостях у Расула Гамзатова.

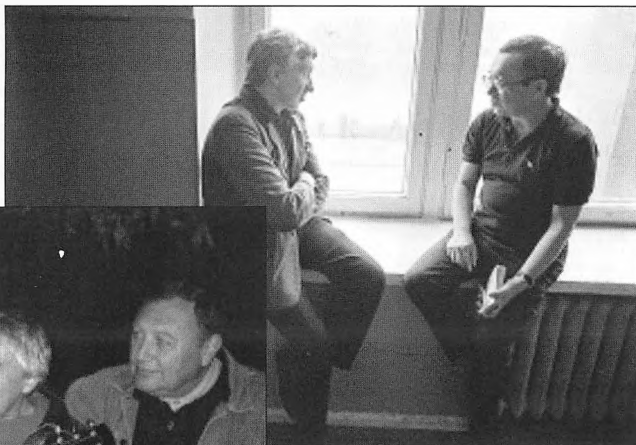


Футболист и бард Максим Бузникин называл Щекочихина «дядя Юра». Они тоже дружили.

Гитару он брал в руки при каждом удобном случае. Песен знал много. Слова и мелодии всегда пугал.



...но это абсолютно не мешало Эдуарду Успенскому постоянно приглашать Юру к себе в «Гавань».



Наконец нашли местечко поговорить с Юлием Кимом...



Большой сбор друзей на даче в Переделкине. В кадр попали Дмитрий Муратов, Александр Городницкий и Владимир Садовой.



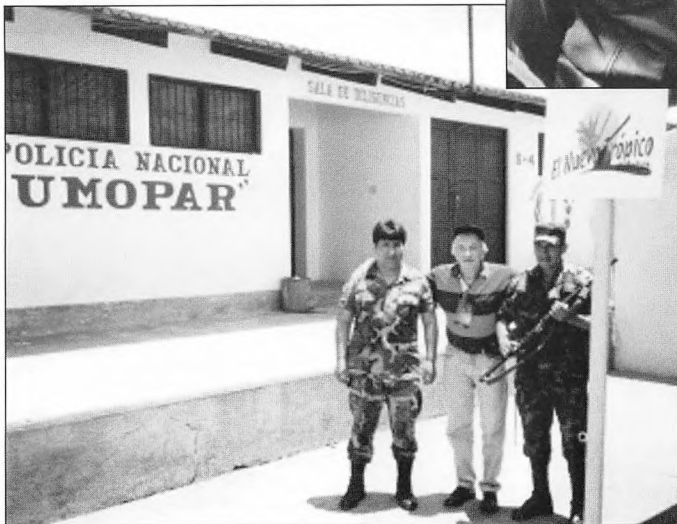
Контакты Щечочихина с правоохранительными органами были масштабны и многообразны.

Защищал честного следователя. На верхнем снимке — Павел Зайцев, который вел дело «Трех китов», в редакции «Новой газеты». С ним рядом обозреватель «Новой» Георгий Рожнов.

Боролся с наркомафией в Колумбии.



Давал автографы не только что вышедшей книге.





Со старшим сыном Костей. 1990 г.



С сыном Димой. На Чистых прудах, 9 Мая 2003 г., любимый праздник...



Самолет летит в Эвенкийский округ, где в географическом Центре России «Новая газета» приобрела земельный участок. С 2001 года из этих шести соток редакция дарит по квадратному метру наиболее достойным, на ее взгляд, согражданам.



Щекочихин встречается своего друга. Знаменитая поза — рука в кармане. Когда Горбачев узнал, что есть такой снимок, улыбнулся: «Щекоч всегда был независим...».



А эти слова первый президент СССР продиктовал специально для этой книги. «Я рад тому, что «Новая газета», с которой была связана очень важная часть жизни Юрия Щекочихина, продолжает оставаться верной своему дружескому долгу, преданности этому человеку, которого одни страшно ненавидели, другие глубоко уважали и любили. Это должно навсегда остаться у всех нас, кто знал Юру. И мы должны помнить и следовать своим словам — словам, которые мы дали, прощаясь, у его могилы».



Перedelкино. 5 июля 2003 года.

Книги Юрия Щекочихина

- «Трудный подросток». Москва, 1979
- «Продам старинную мебель». Москва, 1982
- «Алло! Мы вас слышим». Москва, 1985
- «Жизнь после». Москва, 1998
- «Однажды я был...». Москва, 2000
- «Рабы ГБ». Москва, 2000
- «Забытая Чечня». Москва, 2003



ЮРИЙ ШЕКОЧИХИН

ЖИЗНЬ



МОСКВА 1998

Рисунок Бориса Жутовского.

Воспроизведены фотографии из частных архивов А. Головкова, П. Гутионтова, Ю. Роста, Ю. Щекочихина.

ва... Вы, конечно, слышали о нем? — Я согласно кивнул головой, не подозревая, естественно, что это за тип. — Только она. Да еще, возможно, Евгения Станиславовна. Но ваш интерес к судьбе Павла Ильича вызвал во мне... Вы понимаете?

— Да, — промямлил я и неожиданно почувствовал, как кровь приливает к щекам.

Конечно, я слухавил, когда, позвонив Полине Ильиничне, сказал, что меня интересует биография ее мужа Павла Ильича, то есть старшего Пини, замминистра СССР по кадрам не то тракторного машиностроения, не то чего-то кормодобывающего. Естественно, меня интересовал Пиня-младший, то есть Тютчев.

Но, когда я увидел эти старинные чашки на столе, и потрескавшуюся фарфоровую сахарницу с ангелочками (о, да! Старший Пиня тоже штурмовал Берлин!), и еще волоокие глаза Полины Ильиничны, смотрящие и на эти чашки, и на эту сахарницу, — сразу понял, какой была юность моего героя, то есть Пини-младшего.

Он это видел. Маленьким мальчиком он тоже размешивал чай в старинной чашке старинной ложечкой с вензелями (все-таки старший Пиня — малый не промах, а в Берлине был просто молодцом-удальцом) и с жадным любопытством разглядывал подробности голой матроны на стене, в свою очередь разглядывающей себя в зеркале: что-то такое фламандско-немецкое было в этой картине в тяжелой позолоченной раме, скорее — немецкое, учитывая боевую биографию Пини-старшего (мне эти фламандско-немецкие женщины как-то не по душе — многовато мясного).

Я слышал бесконечный рассказ Полины Ильиничны, в котором смешались кони, люди, вечерние платья неведомой мне Маргариты Алексеевны (“Представляете, что сделала эта, извиняюсь за выражение, дура? Заявилась на прием по случаю октябрьских праздников в таком же, как у меня!”), поездка на черном “ЗиМе” из Сухуми в Пицунду, покупка люстры из настоящего венецианского стекла, какая-то портниха, какая-то массажистка, Лемешев, который однажды чуть не пришел в гости и потом несколько раз звонил, почему-то Фидель Кастро, бесстыжие домработницы, генерал Иван Кузьмич с голосом, как у Шалапина, десятикилограммовая дыня, присланная из Ташкента специально к юбилею, интриган Леонид Антонович, который на самом деле оказался Ароновичем... Тени забытых предков, одним словом.

Что же касается самого Пини-старшего, то, будь я настоящим историком (хотя только в горячечном бреде могу представить себе такого горячечного историка) и займись я на самом деле подробностями его биографии, узнал бы только, что жил-был такой замминистра Павел Ильич Карачаенцев, у которого между датой рождения и датой смерти — каракумская пустыня без горстки песка, то есть полная пустота.

И хотя Полина Ильинична пыталась убедить меня, что ее Пиня в жизни был таким вот былинным богатырем типа Молотова, Маленкова, Кагановича, в ее воспоминаниях он занимал куда меньше места, чем, например, безотказный министерский шофер Алексеич, который не только терпеливо ожидал ее возле парик-

махерской или у портнихи, но и каждую весну сам, не дожидаясь никаких просьб, привозил на дачу (пока ее не передали другому замминистра) помидорную рас-саду, а ранней осенью — пять мешков отборной картошки.

Я терпеливо пил чай с каким-то ужасным ликером, рассматривал фотографии с вечными сочинскими пальмами и группами товарищей Пини-старшего, переби-рал его ордена и медали стандартного начальническо-советского продуктового набора, упивался бархатной мощью адресов, сочиненных к разным юбилеям, и все больше и больше ощущал себя героем рекламного ролика “Домик в деревне”, слащаво улыбающимся от вкуса кислого продукта...

Я уже не знал, как встать, раскланяться, поцеловать ручку милейшей, но зануд-нейшей Полине Ильиничне, но тут вихрем, сметающим все на пути, в квартиру ворвалась Ангелина Павловна, то есть мама Пини, Павлуши, Павла.

— Что ты поишь человека этой бурдой? — с порога цыкнула она на мать. — Этот чертов ликер — ровесник Сталина. — И быстро вытащила из старинного шкафчика, в котором тоже было что-то неуловимо немецкое, початую бутылку “Камю”. — Она, — небрежно кивнула Ангелина Павловна в сторону матери, — ни-когда не понимала в коньяках.

— Ну зачем же так, Анюта... — вздохнула Полина Ильинична и, заметив мой удивленный взгляд, объяснила: — Да, мы с Пиней называли нашу дочь Ангелиной, но Павел Ильич потом посчитал, что в этом имени есть что-то такое... Вы понима-ете? И все стали называть ее Анютой. Понимаете? А что касается коньяков... Все-таки я убеждена, что наши, советские, куда легче. Помню, в Кремле был новогод-ний прием... Вы знаете, прямо как вас, я видела Лаврентия Павловича!

— Мать, кончай про своих ископаемых... Дай нам выпить! — Ангелина Павлов-на быстро наполнила две рюмки. — Черт, сегодня был кошмарный день! Возилась с рукописью этого Вольфовича! Бред сивой кобылы, и из этого г...а надо делать конфетку! Кому он опять понадобился? Хотя известно, кому... Нормальный конья-к, да? — продолжила она, опрокидывая рюмку и наливая еще по одной. — Нена-вижу такую погоду! Весной в Москве всегда противно...

— Ты не права, Анюта. Такая же погода была в Карловых Варах. Мы там были с Полиной Петровной, женой Ивана Петровича... Он тоже тогда должен был ехать... Но внеочередной пленум ЦК... А Пиня тогда был кандидатом в члены...

— Мать, да прекрати ты, — прервала ее Ангелина Павловна и пристально по-смотрела на меня. — Странно... Кому-то вдруг понадобилась история отца. Да какая у него история? Чуть собачья! Ведь так же? Признайтесь!

Я что-то пробормотал в ответ, тоже в принципе какую-то чушь — о том, что каж-дая деталь человеческой жизни, пусть даже самая мелкая, помогает восстанавли-вать истину. Ну и так далее...

Она усмехнулась:

— Ну, тогда — за познание истории, в которую мы все влипли и никак не отлипнем. И выпили еще по одной, по третьей, уже по последней...

Что-то особенное было в Ангелине Павловне — матери Пини, Павлуши, Павла, Тютчева! В ее затухающей, но еще прекрасной женской красоте, и в глазах ее, постоянно меняющих цвет, и даже в солонватых словечках, взятых словно из чужих, безумных редактируемых ею книг, которые она отпускала время от времени и которые, казалось, приносить ей было нелегко.

Знала ли она правду о своем сыне? Знала? Старалась не знать? Догадывалась? Ничего не подозревала?..

И когда она появилась, и потом, пока продолжался наш бестолковый разговор, я то и дело ловил на себе ее пристальный и вопрошающий взгляд: а знаю ли я? а не для того ли я так неожиданно заявился? и спрашивал ли я у болтливой старухи, ошалевшей от столь неожиданного интереса к никому не нужной истории, не о том, а об этом Пине?

Уже у порога, распахивая передо мной дверь, она усмехнулась:

— А я сначала подумала, что вы обыкновенный квартирный вор.

— Да какой из меня вор... — пробормотал я и, не дожидаясь лифта, почти бегом, как в юности, перескакивая со ступеньки на ступеньку, помчался вниз на улицу, в свежий весенний день.

Да, вор я, вор...

Я крал чужую жизнь, чужие воспоминания, как домушник, пробравшись обманым путем в эту квартиру, которая, казалось, так плывет себе и плывет в одном-единственном времени и не меняющемся мире.

Конечно, я постепенно перевел разговор от Пини-большого к Пине-маленькому. Полина Ильинична не только не удивилась вдруг подобному интересу к человеку совсем не историческому и не только не заметила этого перехода, но, напротив, стала еще с большими подробностями, чем о муже (для меня, как вы понимаете, интереса не представляющем), рассказывать о внуке. О том, чем болел в детстве, как учился, какие грамоты получал за поведение и успеваемость, каким был мечтательным и ласковым, как рос, как подцепила его одна “нехорошая девушка” (“естественно, не нашего круга”), как он расстроился, когда она его бросила (“ну, это между нами, вы же понимаете”)... Что еще могут рассказывать бабушки о своих внуках?..

И, конечно, рассказ Полины Ильиничны о своем Пине, о моем Тютчеве, мог бы длиться бесконечно. Но что я мог услышать такого, что невозможно было бы представить? И лишь ее замечание, что в последние месяцы прошлого, 2001-го, года Пиня снова стал ласковым и домашним, отметил я для себя, в глубине души отлично понимая, что же такого “ласкового и домашнего” появилось в нем.

— А еще он писал стихи! Да, стихи. Пиня очень мечтательный и поэтический мальчик... Я сейчас вам их покажу.

— А можно посмотреть его комнату? — произнес я, проклиная сам себя в душе за это подлое коварство.

— Да! С удовольствием! Ведь это бывший кабинет Павла Ильича. “Пиня, — однажды я сказала ему... Да, это было году в пятьдесят пятом. — Пиня, здесь все-таки очень тяжелая мебель. Она давит...”. Маргарита Сергеевна, я вам уже рассказывала о ней, так и сказала мне... А вы знаете, ее муж работал послом в Копенгагене!

— Да-да, — нетерпеливо пробормотал я.

— Так вот, она сказала, что сейчас уже не в моде немецкая мебель. Надо смелить на легкую, японскую. Но Павел Ильич — ни в какую. Он в этих вопросах был принципиальным.

— Конечно, конечно... Но я о другом Пине — о маленьком...

— Я же об этом и говорю! Пиня же вырос в этом кабинете. И даже когда стал взрослым, ничего не захотел в нем менять. Как его дед! Такой же характер! Только... — Она уже медленно поднималась со стула. — Не обращайтесь внимания. Он повесил всякой ерунды. Флаги всякие... Тогда все увлекались... Хотя я была против: “Зачем ты, Пиня, повесил польский флаг? Они же со своей “Солидарностью” социализм разрушили”. А он расхохотался: “Ха-ха-ха! — она вдруг изобразила это “ха-ха-ха” неожиданно звонким голосом. — Это же не польский! Это — “Спартак”!”. Так все и осталось...

И она открыла дверь кабинета.

Нет, это был не кабинет — кабинетище, заставленный дубовыми страшилищами: столом необъятных размеров, стульями, на которых вполне могло бы уместиться полтора человека, какими-то шкафами, шкафчиками, бюро, а в углу — рыцарь в доспехах в человеческий рост с копьем и мечом (как же он, бедный, все это приволок с оккупированной территории?! Нет, все-таки головастый был мужик Павел Ильич). А над рыцарем гордо веяло святое красно-белое знамя: “Спартак” — чемпион.

Я остановился на пороге, а надо мной величественно возвышалась фигура Полины Ильиничны.

Мне хотелось представить, как рос маленький Пиня под этим рыцарем, как приводил сюда своих одноклассников, как катался на этом пушистом ковре с ангелочками, как тосковал об этом своем мире, уезжая надолго, как проклинал этот мир в минуты душевных страданий... Я даже глубоко втянул в себя воздух его комнаты в надежде, что в этом воздухе сохранилось то, чем дышал, что чувствовал он тогда — двадцать лет назад.

Да... Уже медленно полз к ноябрю (тому самому!) год 1982-й.

Но еще стоял ласковый московский сентябрь.

— Ба... — Павлуша, уже подойдя к дверям, вдруг замер. — Давай присядем на дорогу.

Полина Ильинична и вправду села, скорее даже рухнула, схватившись за сердце, на подвернувшийся, к счастью, стул:

— Пиня! Ты уходишь из дома?! ОНА тебя увозит?!

— Ба! Ба! Ты чего? — бросился к ней Павлуша. — Никуда я не уйду... Никто меня никуда не увозит!.. Я совсем о другом! Это совсем другое! Ну, понимаешь, когда какая-нибудь дорога, люди же всегда садятся. Ну, как бы на счастье!

— Правильно! — мгновенно успокоилась Полина Ильинична. — Твой дедушка Пиня тоже все время садился! Помню, однажды его вызвали на секретариат ЦК, так он тоже сел. Вот прямо на этот стул...

Павлуша сел. Встал. Поцеловал бабушку и — скорее за дверь, бегом по лестнице, на улицу, в свой Кривоколенный, в тот замечательный московский сентябрь...

Кривоколенный. Потаповский — направо, прямо — Телеграфный, церковь болгарская — налево. А вот и Чистые пруды с ласковым позвякиванием "аннушки"...

Итак, один из точки А, другой — из точки Б двигались навстречу друг другу два человека, чтобы пересечься в Костянском переулке (а это в двух шагах от Чистых) на конспиративной квартире Комитета госбезопасности. Два человека, два космоса, две звездочки в космосе.

"Давай... За твой успех... Генералом... В будущем веке... Готовь место на погонах... Гори-гори, мой звезда... Человек... В Москве... А может быть, орден? Рукопись? А если вдруг — в разведку? А языки? У нас же есть курсы... Нет, пока рано просить об этом... Эта Селезнева... Ящик стола... Первый, серьезный... Нет, он понял... Но глаза какие-то были недоверчивые... А та вчерашняя была ничего... "Почему у тебя армейские трусы?". В ГУМе купил. Откуда она взяла? Нет, сейчас надо серьезно... Так, парень, на тебя возложена огромная ответственность... Нет, не так... Родина тебе доверила... А я, как родина, должен тебе сказать... Нет, а почему она вчера отказалась в рот?.. А если все получится... Меня вызывает председатель... "Василий, тебе оказана огромная честь, есть мнение после успешно проведенной тобой операции направить тебя в Вашингтон..." А где взять костюм, если он меня позовет?.." — такой переполох творился в мыслях старшего лейтенанта Василия, когда он из точки Б двигался по направлению к точке А, то есть к нашему Павлуше, к Пине, к Тютчеву, после того обеда, который устроил ему главный начальник его жизни Иван Васильевич.

Да, представьте себе (а я это установил точно): из ЦДЛ, попрощавшись с Иваном Васильевичем, он пошел пешком. И хотя Василий не был коренным москвичом (и некоренным тоже не был), он с той же радостью вдыхал в себя и грязноватую улицу Герцена, и широкий Тверской бульвар, и странную улыбку на бронзовом лице памятника, и пустоту Страстного, и троллейбус на Трубной...

Он даже не смотрел на часы — опаздывает или не опаздывает на встречу. Однажды, еще года два назад, когда судьба только занесла его в то самое здание и он еще боялся даже пройти по коридору в столовую на четвертом этаже, а потому всегда сидел голодным, Иван Васильевич вдруг вызвал его в свой кабинет поздно вечером. В кабинете, кроме него, сидел лысый и морщинистый дед.

— Митрофаных, это тот парень, о котором я тебе говорил... Я его на писателей

кинул, — сказал Иван Васильевич, обращаясь к лысому и морщинистому.

— Старший лейтенант... — начал было Василий, встав по стойке “смирно”.

— Да садись ты! Вот стул... — по-отечески кивнул Иван Васильевич. — Это Сергей Митрофанович. Наша легенда. Знакомься! Фамилию тебе знать не обязательно. Он еще по этому, как его, Мандельштейну работал...

— Ой, Ванька, так я тебя ничему и не научил... — вдруг неожиданно молодым голосом прервал его лысый и морщинистый. — По Мандельштаму Илюха работал. Царство ему небесное... Я — по Бабелю и еще по одному еврейчику, забыл, как его зовут... Но, — поднял он вверх палец, вдруг оказавшийся гладким и таким же молодым, как голос, — лейтенант, если ты с ними работаешь, учти: они не изменились! Сначала скажи им: “На место!”, а потом так ласково-ласково: “С нами? Против?”. Они и приползут. Дети, жены... И еще тебе один совет: назначаешь им встречу — опоздай, опоздай. Пусть они попарятся, попарятся. Ладно, Ванька, наливай!..

Да, Василий, идущий пехом от Герцена до Костянского, не смотрел на часы: ждет Тютчев? Ждет! Пусть попарится...

И старший лейтенант пятого, главного, идеологического управления КГБ СССР, то есть Василий (или Василий Петрович, как хотите его называйте), был прав.

Парился, парился наш Павлик, Павлуша, Пиня...

Естественно, он пришел на место этого свидания на двадцать минут раньше.

...Нацепил джинсы, нашел в шкафу черную водолазку, натянул на себя. Снова посмотрел в зеркало. Расправил плечи. Наконец надел коричневую, под замшу, куртку...

Вот в этих черной водолазке, и джинсах, и коричневой, под замшу, куртке, но уже с понурыми плечами бедный Пиня сорок минут околачивался возле старой, еще сталинской, девятиэтажки на Костянском.

И тот сладостный сентябрьский вечер, который провожал его от дома, вдруг превратился в какую-то темную декабрьскую жуть, и тоскливая темень окутала его юную трепетную душу.

Всего-то час назад, когда он даже не пересекал Чистые пруды, а парил над ними, жизнь была так светла, прекрасна и ласково улыбалась грядущему. А теперь все изменилось.

Да, вот так...

Кто из нас, кроме, может быть, людей с детства совершенно бесчувственных, как полынь, не испытывал подобного: большее, чем отчаяние, страшнее, чем бездонная пропасть, на краю которой ты очутился, отчаянно хватаясь, чтобы не упасть, за последнюю травинку? Тебе и жизнь не в жизнь, да и смерть не в смерть.

Но ведь как бывает (а разве такое и с нами не случилось?): вдруг какая-то ерунда, мелочь — звонок, которого ты так долго ждал, внезапная улыбка незнакомки в окне троллейбуса, доброе слово от человека, неожиданное для тебя, — и все, все! И не каменистая пропасть под тобой, а зеленый луг в ромашках и васильках.

Снова ласковый сентябрьский вечер окутал Павла, Павлушу, Пиню, когда на

Костянском со стороны Сретенского бульвара показался человек, которого он так мучительно ждал.

Он шел, как всегда, легкой, пружинистой походкой, и Павлу вдруг показалось, что человек даже не идет, а летит над тихим московским переулком, как он сам всего лишь сорок минут назад.

“Парится, парится... — Василий тоже издалека не только заметил Тютчева (что тут не заметить — переулок-то крошечный), но и удовлетворенно улыбнулся. — Парится...”

И когда уже возле подъезда Тютчев бросился ему навстречу:

— Адольф Соломонович... Ой, простите, Соломон Адольфович... — Алексей предостерегающе поднес палец к губам, будто не замечая своего юного спутника, распахнул дверь подъезда, решительно, не оглядываясь, перескакивая через ступеньки, поднялся на второй этаж и, повозившись с замком, распахнул обитую черной кожей дверь...

Квартира, где очутился Павел, Паша, Пиня, вдруг радостно напомнила ему его собственную: такой же паркет, такая же прихожая, такая же старинная вешалка, такой же уходящий вдаль коридор.

— Проходи, проходи... — по-прежнему не оглядываясь, бросил ему Василий Петрович.

Через приоткрытую дверь комнаты мелькнул диван со смятыми простынями, на которых явно проступали кровавые пятна (“Что здесь, пытаются, что ли?” — пронеслось в голове испуганно), потом стеклянные двери, потом комната, как зал, с тяжелым дубовым столом и такими же тяжелыми дубовыми стульями, с каким-то немислимым диваном и стеклянным шкафом, очертаниями напоминающим тот, что стоял в комнате бабушки.

— Ну, здорово... — выдохнул Василий Петрович, как бегун, прибежавший к финишу. — Давай лапу...

— Здравствуйте, Адольф Соломонович... Извините, Соломон Адольфович...

— Да ладно уж, Паша... Меня зовут Василий Петрович. Познакомимся ближе — можно будет просто Василием, — хмыкнул В.П.

— А Соломонович?.. Адольфович?.. — растерялся Павел.

— Дурачок. Мы же с тобой на интеллигенцию работаем, понял?

— А меня как будут называть? Вернее, как мне себя называть?

— Ты — другое дело. Ты Павел. Павел Карачаенцев. Или... Как тебя мама называет? Или бабушка?

— Да это так... Еще с детства... — покраснел Павел. — Да совсем по-глупому... Пиня.

— Нормально. Пиня тоже сойдет. Извини, что опоздал. Была сложная операция. Ты знаешь, что главное в работе чекиста?

— Ну-у... Рассказывать... Ну...

— Ждать, брат. Иногда ждешь час, два, пять, сутки... А иногда — год. А иногда

— пять... Ладно, такая жизнь. Понял?

— Ага... — быстро кивнул Павел.

— А теперь — главное. Это твой новый дом.

— Явка... Понял.

— Ну, можешь и так называть... Но главное — запомни: никому, никогда, ни матери, ни бабке, ни другу, ни девушке, ни днем, ни ночью, ни наяву, ни во сне — не говорить об этой квартире. Иначе погубишь множество людей. И меня в том числе...

— Да я никогда... Никому... — чуть не задохнулся Павел.

— Знаем, что никогда и никому. Иначе мы бы здесь с тобой не встретились. Ладно... Проехали. Теперь — один технический вопрос. Садись за стол. — Павел послушно сел. — Бери лист бумаги. Вот здесь, в верхнем ящике. Дать ручку?

— У меня есть. Своя, — Павел быстро вытащил ручку.

— Своей даже лучше... Я буду диктовать, а ты пиши. Пиши, пиши...

Потом Василий Петрович ходил по комнате, заложив руки за спину, а Павел выводил неуверенным ученическим почерком:

“Я, нижеподписавшийся, Карачаенцев Павел Ильич, даю настоящую подписку в том, что добровольно изъявляю согласие сотрудничать с органами по выявлению контрреволюционных...”

— Контрреволюционных?.. — Павел удивленно взглянул на Алексея.

— Пиши-пиши... Контрреволюционных элементов и выполнять все даваемые мне задания... Дальше. С новой строки. О своей связи с органами, даваемых мне заданиях и выполняемой работе, а также обо всем могущем мне стать известным в связи с работой обязуюсь никому не разглашать, никогда и ни при каких обстоятельствах, в том числе своим родным и близким знакомым... Давай с новой строки... “Разглашать” пишется через “а”, а не через “о”. — остановившись за спиной Павла, как учитель на диктante, сказал Василий. — Так, дальше... В целях конспирации буду сотрудничать под псевдонимом “Стрела”...

— Стрела? А может, все-таки Тютчев? — снова удивился Павел.

— Так надо... “Стрела”, за подпись которым несую ответственность, наравне как и за подпись своей настоящей фамилией... Так, и последний абзац. В случае несоблюдения настоящей подписки несую за все ответственность перед органами, наравне как и за разглашение государственной тайны, во внесудебном...

— Внесудебном? — Павел вздрогнул.

— Что? Испугался? Испугался... Так. Все. Давай расстанемся. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь, переулочек этот не знаешь, квартиру эту не знаешь. Давай поднимайся... — Василий Петрович потрянул его за плечо.

— Нет, нет!.. Что вы!.. Конечно! Внесудебном... Порядке? Да?

— Порядке. Молодец, знаешь. Так, подпись... Число... Ну вот и все.

Василий взял лист бумаги. Внимательно прочитал его. И вдруг на глазах изумленного Павла порвал лист на мелкие кусочки и кинул их в огромную лутую пепельницу.

— А... — У Павла вытянулось лицо.

— Да это же шутка! Шутка... Ты все еще маленький. Да не волнуйся, вырастешь. Шут-ка! — прыснул Алексей Иванович. — Знаешь, что это такое?

— Н-нет... — растерялся Павел.

— Это образец подписки, которые давали агенты в тридцать седьмом... Эх, всех тогда под одну гребенку... Каких ребят загубили... И в тридцать четвертом, и в тридцать седьмом... Один Берзин чего стоит... Когда-нибудь я отведу тебя в наш музей... Страшное было время... Слава богу, мы от него очистились. Такого больше никогда не будет. Мы — не энкавэдэшники, мы — чекисты. Понял?

— Понял... — Павел еле перевел дыхание.

— Ну вот. А теперь бери другой лист и пиши уже по-настоящему.

— А как?

— Да просто. Я, такой-то, такой-то, совершенно добровольно обязуюсь сотрудничать с Пятым главным управлением КГБ СССР под псевдонимом “Тютчев”. Подпись, дата...

— А про “внесудебный”?...

— Да выбрось из головы эту ерунду.

Василий Петрович вытащил из шкафа уже початую бутылку армянского и две рюмки, поразившие Павла своей схожестью с теми, что стояли в серванте у бабушки.

— Ну, за тебя...

Павел глотнул, поперхнулся с непривычки.

— Первый раз? — участливо спросил Василий Петрович.

— Да нет... Мы с ребятами...

— Понял. Можешь дальше не рассказывать. А собака у Селезневой все-таки есть.

— Да нет, я бы заметил...

— Есть, есть. Породы, правда, никчемной — пудель. Зовут Тишкой. Его в тот день мама Селезневой, Ольга Матвеевна, добрейшей души, скажу я тебе, женщина, увезла на дачу к подруге.

— А что, у вас кто-то еще есть?.. — растерялся Павел.

— А вот о таких вопросах, Тютчев, забудь. Понял? — И в глазах Василия Петровича, ставших вдруг прозрачно холодными, он прочитал такое, от чего показалось, что ледяной декабрьский ветер вдруг обжег его, Павла, Павлушу, Пиню, и он почувствовал себя совсем маленьким, как тогда, когда в школе у него украли варежки.

— Ну ладно. Проехали. — Василий Петрович хлопнул его по плечу. — Научисься.

...Уже провозжая его до дверей, Василий вдруг стукнул себя по лбу:

— Чуть не позабыл!.. Тебе просили передать, что руководство КГБ очень ценит твою помощь. Будешь хорошо работать — поощрять будем каждую неделю. — Он вытащил бумажник, покопался в нем и протянул Павлу розовую десятирублевую купюру.

— Да что вы... Я же не за этим, я же не из-за этого... — попытался оттолкнуть его руку Павел.

— Бери, бери. Так надо. — Василий сунул ему десятку в карман куртки.

...Вот так в замечательный сентябрьский день на явочной квартире КГБ СССР состоялось крещение Павла Карачаенцева в агента Тютчева.

4.

Как, оказывается, тяжело жить в XXI веке!

Когда-то давно-давно, в XX веке, век следующий казался мне таким же далеким и недостижимым, как кровавая планета Марс...

(Последние строчки написаны в мае 2003 года)

ОДНАЖДЫ МЫ БЫЛИ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Составляю книгу друга,
поторапливает вьюга,
заметающая вмиг
домик мой,
его могилу.

Представляю через силу
Спаса воспаленный лик.

Все, что я сейчас составлю,
то потомкам и оставлю –
остальное никогда
не прочтут и не увидят?..
Месяц из-за тучи выйдет,
света белая вода

вниз прольется –
чтоб до точки
все перебелить листочки.
Юрка! Щекоч! Слышишь? Слышь!
слишком спорая работа:
книжка, книжица всего-то, –
дольше жизни не продлишь.

Олег ХЛЕБНИКОВ

Павел ГУТИОНТОВ

БЕЗ НЕГО НАС НЕИСПРАВИМО МАЛО

Его было легко передразнивать. Скажем, заложить руки в карманы джинсов и, раскачиваясь, выкрикивать в воображаемый микрофон: “Ж-журналистика... это... не профес-сия... это... образ ж-жизни!..”. Передразнивать было легко. Жить, как он, не удавалось никому.

Он не только любил тех, с кем рядом работал и уже поэтому считал их талантливейшими в мире людьми. Каждый раз он самозабвенно влюблялся и в тех, о ком писал, его герои немедленно становились не только его друзьями, но и друзьями его друзей, внедрялись в безразмерную его компанию. И раздрыганный автобус тащил их через грязные пригороды на дальнюю столичную окраину, в Очаково, счастливо кем-то из нас названное “крейсером”, точно так же, как последние годы этих же и других, новых, электрички и (теперь уже) машины несли в Переделкино, где появившаяся литгазетовская Юрина дача волшебным образом немедленно приобрела все черты неприкаянности счастливой общаги. И Юра, уже порой появляющийся в дорогих галстуках, был так же отринут от быта и так же благоговел перед каждым способным самостоятельно поджарить яичницу. Если, конечно, умелец мог в холодильнике зампреда парламентского комитета отыскать яйца, а в буфете — сковородку..

Когда-то в “старом” “Московском комсомольце”, где мы оба работали, юный Щекочихин две, кажется, недели проучился под чужим именем в десятом классе, о “внутренней жизни” которого хотел написать. Материал не получился. Но десятиклассник с его парты, которого Юра самонадеянно взялся подтягивать по всем (самим забытым) предметам, — остался. Так же как, уже теперь, остались “подобранные” Юрой в чеченских командировках спецназовцы, тоже навсегда ставшие частью его жизни.

Боже, кто только не становился (и не оставался) частью этой жизни!.. Сыщики, спартаковские фанаты самого первого разлива, кинорежиссеры, космонавты, художники, вытащенные из тюремных камер невинно осужденные с расстрельными статьями, поэты... Кого только здесь, рядом с ним, не было.

В квартирках, где он жил, могло не хватать стульев или вилок, но бесконечная череда людей, которым не хватало вилок и стульев, — была всегда. И всегда были бесконечный треп “за жизнь”, и яростные споры, и гитара переходила из рук в руки, и Юра отчаянно перевирал слова и мелодии, но даже авторы мелодий и слов, оказываясь за этим столом, никогда не корили его за это вранье. Пожалуй, кстати сказать, это было единственное вранье, которое он себе мог позволить.

Свою первую заметку, еще школьником написанную, он назвал “Я леплю!”. Писал он тогда о себе — о том, как ходит в Исторический музей, срисовывает мундиры старинных полков и лепит по этим рисункам гренадеров, улан и кавалергар-

дов. Потом, лет через десять, мы случайно нашли за шкафом пыльную коробку с этими солдатиками. Юра смущенно огрызался, куда дел коробку — не знаю. Потом, лет уже в восемнадцать, он написал повесть о декабристе Лунине, но здесь его обогнал Эйдельман, и повесть тоже канула в Лету. А Юра — остался. Так и не исправленным жизнью романтиком, азартным и наивным, хоть и рано поседевшим, мальчишкой. Я не знаю, как он разговаривал с президентами и королями, но рваный, захлебывающийся ритм его устной речи не то что не добавлял солидности — убивал даже намеки на нее. Да и бог с ней...

Образу жизни не изменил ни разу. Друзьям — ни разу. Профессии — ни разу...

...Маленькой компанией мы встречали третье тысячелетие. Как-то не веселилось. Но, как всегда, сколько я его помню, он повторял, обнимая друзей, настойчиво и убежденно: “Нас много! Нас много!..”.

Сейчас — без него — нас стало неисправимо мало. И это уже навсегда.

Юрий РОСТ МЛАДШИЙ БРАТИШКА

В капустниках Щекоч не участвовал, потому что был очень смешлив. Буквально трясся от смеха. Если слушал, то остальным хоть было понятно, почему он смеется, а если рассказывал сам — то не всегда. Он-то финал истории знал. Так бывало: рассмеешься вместе с ним по подозрению, а потом спрашиваешь:

— А чем кончилось?

Тут он заходилась.

Конца многих его сюжетов я так и не узнал, хотя в “Литературке”, куда мы ушли из родной (когда-то) “Комсомольской правды”, поскольку туда явились какие-то уроды, так вот, в “Литературке” мы сидели в одной комнате. Юраша, я и наш общий главный редактор Нелли Логинова. Она нас читала и каждому в отдельности, тайно давала точные, а иногда и жесткие советы.

— Что бы ты ни написал — выбрось первый абзац.

Я стал писать без первого абзаца вовсе и давал ей текст в готовом, как мне казалось, виде.

Юрику было скучно сесть и в тишине или с минимумом гостей на кухне сложить заметку. Он включал всех доверенных лиц не только на этапе написания или подготовки, но и замысла.

Он не требовал участия или совета, даже восхищение его не так уж привлекало. (У него было такое специальное выражение лица, которое можно перевести на русский язык как “Да ладно...”.) Он жаждал компании. Команды, как он говорил.

— Мы одна команда!

В действительности командой мы не были. Мы просто с нежностью относи-

лись к Юрашке. Эта нежность и доверие к его чистоте и доброжелательность перебивали порой возникавшее раздражение к его таинственности в спорах:

— Один человек в одном месте сказал...

И хотя мы в комнате знали этого человека и это место, он продолжал игру.

Потом напускал туману вовсе плотного, а потом, потребовав сохранения тайны, рассказывал все. Тайна была раскрыта, и скоро он повествовал сюжет по телефону увлеченно и подробно всем.

Текст, впрочем, был всегда неожиданным. Он угадывал не тему, а явление.

Странно: как?

Чутье — это ерунда.

В нем был нравственный — небольшой по росту — метроном, который отщелкивал нормальный, как здоровое сердце, ритм жизни.

Любой сбой, которому мы, более циничные, находили устное удовлетворяющее нас объяснение, его побуждал к действию.

Он азартно врзался в рискованную тему, и, пока великие литературкинские знатоки общественной морали академически и всесторонне исследовали проблему, Щекоч без страха и сомнений прорывался к ядру, корню, зерну и вытаскивал его на свет божий, ошеломляя читающую и думающую публику.

А потом обзванивал друзей и, радуясь, пересказывал текст своими словами, но, поскольку он финал знал, а они — нет, все тут же хватались за газету, чтобы узнать, о чем он так увлеченно говорит.

Кроме негодяев, с которыми он схватывался, все остальные были прекрасные люди.

Презумпция хорошего человека. Это была внутренняя установка еще с “Комсомолки”, с “Алого паруса”, где он работал, заражая всех любовью к благополучным, а лучше — неблагополучным подросткам.

Он умел любить и влюблять в себя, не прилагая никаких усилий. Бросался в дружбу без оглядки, всех объединял, знакомил, обнимал двоих, троих, четверых — всех. Говорил “братишки” и верил, верил, верил.

Иногда вокруг него появлялись люди с трудной для него судьбой — сомнительного свойства. Близкие и проверенные жизнью рекомендовали ему быть поосторожней, а он не нарушал свой принцип — и порой обжигался. Но это Юрашку ничему не учило. Он должен был сам убедиться.

Разочаровывался он неохотно.

Комета из благородного, из ясного материала с хвостом, с разнообразным хвостом — вот кем был Щекоч.

Знаете, в каком количестве судеб он участвовал? И он не знал. Он помогал всем с азартом игрока. Он возвратил судьбу многим и многих обустроил.

А сам был неприкаян. Только не знал об этом.

Бесконечное количество домов, где он не был хозяином. Ворохи бумаг, которые им управляли, потому что он был зависим от чужих бед. И редкие случаи гар-

монии с окружающим миром, когда вокруг — свои и подтрунивают нежно над ним, а он вспоминает смешные случаи из жизни окружающих и трясется от смеха, и все трясется, поскольку они эти случаи пережили.

А как он хвастался!

Начиная с себя, он быстро перекатывался на друзей и дальше, забыв свои достижения, рассказывал были и небыли, которые давали редким непосвященным понять, что если художник — то великий, если писатель — то небывалый, если мент — то честный, — и верил, верил, верил...

Давно — в последней трети прошлого века — в “Комсомолке” кто-то придумал полосу “Белый зал” (там и правда был белый зал). И каждому ведущему рубрики — кличку. Юра был Ершистый Подросток. Он ходил по коридору шестого этажа и всем со смехом рассказывал об этом идиотизме. Это и был идиотизм. Он не был ни ершистым, ни подростком. Он был ребячлив, радовался жизни, любил игру, но намерения у него были взрослые и серьезные: он оберегал человеческое в людях.

Депутатский пиджак и галстук (раньше он ходил в куртках) несколько нас озадачили. Чего Юрашку понесло в это логово героев его криминальных очерков? Не ради же рассказов, остроумных и полных точных наблюдений. И не для того, чтобы надуть щеки, хотя порой его и малость заносило в спорах. Помните об информационной таинственности?

Он хотел знать и мочь. Знать то, что нельзя было узнать снаружи, и мочь воевать с пакостью общества, обладая знаниями о его устройстве.

Он узнал многое, и многое ему удалось. Но себя он не сохранил. И мы его не сохранили и тем потеряли часть себя. Дорогую часть. И любимую.

Братишка, младший братишка — кажется, это была правда.

Р. С. Роясь в негативах, я наталкиваюсь на фотографии Юры Щекочихина в тесном кругу самых близких людей и никогда — на рабочем месте. Все радости: засолья, встречи, путешествия. Так снимают родных.

Андрей Битов

ЛЕГКИЙ ПОДРОСТОК

Я могу описать три встречи с Юрием Щекочихиным. Все они без труда датируются. Это верный признак выдающегося человека. Память у меня исключительная (в том смысле, что все исключает).

Первая датируется, по-видимому, зимой 1980 года (мы уже год в Афганистане, и Олимпиада прошла). Время так называемых «брежневских кухонь»: у кого-то есть отдельная квартира, круг узкий, все — «свои», все пьют, сыпят анекдотами, то есть не боятся друг друга. Как это напоминает теперь большевистские сходки! Тайные

встречи *нереволюционеров*. Я никого не знаю, но меня (или про меня) знают, и меня *привели*: этого достаточно как пароля (меня привела дама, прекрасная во всех отношениях, которая знает *всех*)...

Приехали мы припоздав (за окном совсем темно), я не пью, потому что за рулем. Крчу стакан, по-видимому с независимым видом, поскольку никого здесь не знаю.

Подлетает нечто само, некрасивое и обаятельное, распахнутое, откровенное, — молодой человек со стаканом. Мы становимся разного роста... Чем-то он мне напомнил моего трудного друга — великого беспризорника ленинградской прозы шестидесятых Рида Грачева. Да, я слышал его имя, Юрий... Юрий... Фамилия смешная: помесь героя Достоевского с коверным. Что-то про беспризорные рокгруппы, я в этом не разбираюсь и газет не читаю. Начинается типическая схватка Давида с Голиафом: моего подавленного величия с его недопризнанным. Однако оба бойцы — не уступаем друг другу. Наконец, пора расходиться и я предлагаю его подвезти. И вот, что я запомнил навсегда — его удивление: «Как! у тебя машина??» Никаких моих оправданий, что меня не печатают, что у меня ни квартиры, ни дачи, он уже не слышит. «Значит, из богатеньких», — заключает он с презрением. Я обиделся на «богатеньких».

Минует пятилетка, и все начинает меняться: меня печатают и выпускают за границу, Щекочихин — прославленный публицист и депутат.

Мы встречаемся (опять со стаканами, но уже в другой тусовке, уже не на кухоньках, а в банкетных залах), обнимаемся, улыбаемся, обдаем друг друга дезодорантом и перегаром благожелательства и равенства, в преддверии его пятидесятилетия и моего шестидесятилетия.

И он мне напоминает другого беспризорника, Гавроша, с развевающимся знаменем на баррикадах революции.

Этих встреч я не запомнил, запомнил я *вторую*: пришла пора защитить *богатенького*.

1996 год... Родственники олигарха с Урала, обвиненного как заказчик убийства, обратились почему-то за помощью именно ко мне. Ему грозила высшая мера. Но мне показалось, что молодой обвиняемый скорее талант, чем преступник: раскрутился, разросся, монополизировался, его решили переделить и подставили.

Я ничего не понимал в таких вопросах и никого не знал близко из понимающих. Я вспоминал только те немногие громкие процессы, что попадали в брежневскую печать: всякий раз была наказуема инициатива. Потом вспомнил Остапа Бендера, и даже не его, а диплом своей черной аспирантки в Нью-Йорке, в котором она проявила крайне *несоветское* отношение к герою: восхитилась им и *пожалела*.

Что было с этим скромным набором делать? И тут я вспомнил, что у меня есть-таки человек: прославленный журналист, занимавшийся подобной тематикой, а теперь депутат Думы.

Дозвониться до него стало проблемой. Наконец его помощник запомнил мое имя, и Юра мне тут же отзвонил. У него стал говорок человека, у которого счет

идет на секунды, и я сказал: «Что если я напишу тебе личное письмо, изложу проблему, а ты затеешь по нему журналистское расследование?» — «Напиши.» — «Только я завтра улетаю.» — «А ты сегодня и напиши.» Так я совершил свой очередной плагиат: перепечатал целиком дипломную работу своей черной студентки с призывом начать спасать нового Остапа. Я успел. И Щекочихин. Уже в Америке я узнал, что материал мой был тотчас же напечатан под названием «Горячий афроамериканский привет Остапу Бендеру»... Через год-другой последовал оправдательный приговор, как мне пояснили, впервые за всю практику по подобной статье. Дело! Легко. Этот вечный юноша не испытывал земного тяготения.

В третий раз я его там и встретил, в небе, на рубеже веков и тысячелетий. Мы совпали в рейсе из Берлина. Он спросил, что меня на этот раз заботит. На этот раз меня заботил Андрей Платонов, его затерявшийся меж Пушкиным и Набоковым юбилей и то, что Литературный институт никак не хочет расстаться с двумя комнатами для музея мастера. Пришла пора защитить великого бомжа советской литературы. И что же?

Наутро я сидел у него в редакции и наговаривал беседу на эту тему. В текущем же номере она была напечатана, превосходно по-журналистски уложенная. Дело не сдвинулось, зато кое-кому это не понравилось.

Скорость! Решимость! Могучий дух.

Я мало встречал людей подобной адекватности. Да и не встречал.

На воробья он был похож, вот на кого. Вечно припрыгивающий и поглядывающий. Значит, еще он был похож на боксера в категории мухи. Удар, однако, разящий: не разглядишь.

Характер не нордический, а львиный.

Заслуги и достоинства его перечислят другие, кто его лучше знал. Моя скорбь: я не успел узнать его лучше.

У него было свое, беспартийное, слово и знамя — справедливости и чести. Он его не выпустил из рук...

Мне кажется, он и погиб, как Гаврош. Отравленный испарением перестройки. На реальной баррикаде.

Валентина БОРЩАГОВСКАЯ

С ЭТИМ МАЛЬЧИШКОЙ МЫ БЫЛИ СВЕРСТНИКАМИ

Предошущение Коктебеля всегда начиналось с Курского вокзала. Вещи уложены, московские дела позади, рядом коктебельский завсегдатай и любимец Джек. Дочерям Светлане и Алене даны твердые и совсем бесполезные указания.

Вагон тронулся, я и Александр Михайлович сидим. Хорошо! Уже столько раз мы проделывали этот путь.

В приоткрытую дверь раздается робкий стук. Дверь открывается, и перед нами предстает мальчишечка. И сегодня я думаю о нем, таком усталом и много познавшем человеке: мальчишечка!

Таким он будет для меня всегда.

Брючки-дудочки — как он в них влазит? Непокорные вихры, а главное — лицо! Смеющиеся глаза, улыбка, открытость навстречу людям.

Не знаю, почему он зашел знакомиться. Наверное, видел и слышал моего Сашу где-нибудь.

Но главное — что вошел в нашу жизнь на долгие десятилетия Юра, Юрочка Щекочихин.

Тут же мы узнали, что он недавно поступил на журфак, узнали про “Алый па-рус”, что в “Комсомолке” есть прекрасный поэт Саша Аронов и нам нужно с ним обязательно познакомиться.

В Феодосии мы сошли с поезда близкими людьми.

В Москве у нас Юра стал бывать часто, подружился с обеими дочерьми.

В один год, это был тяжкий 68-й, Светлана и Алена вышли замуж. Семья росла, и Юра был свой в этой семье.

Особенно подружился он с Алешей Германом. Все их разговоры, подвохи, розыгрыши были концертными номерами.

Потом родились внуки, выросли, и у них возникли свои отношения и дела с Юрой.

Вместе с Юрой пришли в наш дом его друзья Саша Аронов, Олег Хлебников, Анечка Саед-Шах, Андрей Чернов, Валера Болтышев...

Это было время кухонных сходок. Все стремились туда, всем хватало места. Несмотря на поганое время, было столько хорошего. У Юры стали выходить книги, началась волокита со спектаклем, вышел хороший фильм.

Мы с Александром Михайловичем в этой компании чувствовали себя сверстниками, равными.

Время менялось, мужал наш дружок, писал много острых статей. Мы понима-ли, что он занимается опасными делами.

Потом — депутатство в Верховном Совете СССР. Был и ГКЧП со страхами и курьезами. Я целый день сидела у телефона, а Юра звонил и докладывал о своем передвижении по городу: ведь он попал в список неугодных журналистов. И только когда добрался до гостиницы “Россия”, где собрались депутаты, а тогда там было так много достойных людей, мы успокоились.

А потом пришла Чечня.

Он никогда заранее не говорил о своих опасных поездках, об освобождении заложников. Только рано утром раздавался звонок: привет, я вернулся! А я и до звонка видела его по телевизору, знала, куда его забросил отчаянный характер.

Ругалась, но всегда слышала: “Да что может случиться!”.

Были прекрасные дни его рождения в Переделкине, в лесу. Сходились друзья разных поколений — он умел дружить и объединять всех, а мы, старшие, чувствовали себя молодыми.

Дружба, начавшаяся в поезде Москва — Феодосия, на годы, долгие годы определила и нашу жизнь.

Теперь о самом трудном.

Я точно не помню дату, но это было накануне референдума в Чечне. Он позвонил поздно вечером, и я услышала неведомого мне Юру.

Он сказал, что утром летит на референдум, что впервые ему страшно, он ничего не может поделать с этим чувством. Так и сказал: страшно.

Это было совсем не похоже на Юру.

Я стала умолять его не ехать: нельзя лететь с таким настроением. Но слышала в ответ только: “Нужно, нужно!”.

Мы долго говорили, он еще несколько раз возвращался к своему состоянию.

Я испугалась. Господи, а вдруг это какое-то предчувствие? Все просила не ехать. Но он оборвал разговор и попрощался.

Я долго сидела, думала, что за этим стоит, и мне тоже было страшно.

Часто звонила, надеясь услышать бодрый голос. Но телефоны молчали.

Так прошло полтора месяца. И опять вечером — звонок:

— Это я!

Не выслушав его, стала ругаться, спросила: помнит ли он наш последний разговор, такой трудный? Почему молчал? Так не поступают с друзьями!

Он терпеливо выслушал все. А потом сказал, что он в больнице, его самолетом из Чечни привезли, но теперь все в порядке — завтра его выпишут. А послезавтра он летит на юбилей Алиева.

— Зачем тебе Алиев? Плюнь на все, полейся, отдохни.

— Я ему обещал, я не могу не поехать.

Утром я включила “Эхо Москвы” и услышала, что Алиева, больного, срочно отправили в Турцию. Подумала, да простит меня господь: хорошо, что Юра не поедет.

Потом был утренний звонок: нужно съездить в Рязань, и чтоб мы не забыли о дне его рождения.

Я сказала, что у нас уже билеты — мы едем к Германам на все лето.

— Поменяйте билеты, задержитесь.

— Нет, Юрочка, у ребят съемки, нам нужно ехать. Теперь — до осени!

Но осени не было.

Рано утром я включила “Эхо”. Во все, что я услышала, поверить было невозможно.

Ему был знак, почему он не прислушался! Ведь вся жизнь последних лет была на грани, беда давно его подстерегала!..

Александр Михайлович, Светлана и Леша спали.

Я должна была сообщить им страшную весть...

Сергея ПИГАЧ, 9 лет **ДЯДЯ ЮРА**

С дядей Юрой я знаком пять лет. На него всегда можно было положиться.

Он был очень жизнерадостным. В его доме всегда собиралось много гостей. Люди были разные, но все они были веселые и добродушные. Гитара никогда не умолкала.

Дядя Юра для меня был вторым отцом. Он постоянно просил меня что-нибудь написать, и я писал для него, для "Новой газеты".

Я бывал в этом доме достаточно часто. Странно, но, когда я пришел на его последний день рождения, всегда веселый дядя Юра был в плохом настроении.

Когда вернулся домой, в моей голове неожиданно мелькнула такая мысль: "Только бы не умер в 53 года". Потом я как-то забыл об этом.

Примерно через месяц после дня рождения дядя Юра умер. Когда мне об этом сказали, я не мог поверить этому.

Обычно я стараюсь не плакать, а в этот раз слезы лились и лились из моих глаз. Я не хотел верить услышанному.

Когда умирает близкий тебе человек, тогда в тебе как будто тоже что-то умирает.

Эдуард УСПЕНСКИЙ **ГАВАНЬ ЩЕКОЧА**

Ничего ужаснее, чем похороны Юры Щекочихина, я в жизни не видел. Щекоч не должен был умирать, Щекоч должен был жить всегда.

Познакомились мы с ним лет тридцать назад в гостинице "Ялта" в Ялте, в номере у Ролана Быкова. Ребята — Юра и Леонид Загальский — брали у Быкова интервью. А я, как и Быков, участвовал как автор в каких-то съемках на Ялтинской студии.

В гостинице был расцвет советской злой глупости: швейцары — бывшие полковники КГБ — хватали входивших за руки, дежурные кричали начиная с десяти вечера: "У вас женщина в номере!".

— Это жена, — говорил Быков.

— А вот мы сейчас проверим. Жена это или проститутка. Паспорт у нее есть?

Но погода прекрасная. Быков вместе с Леной Санаевой угощают вкусной рыбой, пьем вино. За балконом на солнце балдеет море. День запомнился как подарочный. Юра был весь светящийся, юный. Но не робкий, а твердый и ехидный, с хорошим чувством юмора.

Это все по ощущениям, фраз я не помню.

Потом мы встречались в редакциях, на премьерах фильмов, и везде по мелочам, пока свора Михалкова, Алексина и Т. Куценко (не хочется называть ее полностью) не наехала на поэта Олега Григорьева. Кажется, по команде М.А. Суслова: “Куси!”.

В Комитете по печати устраивались разные совещания, выносились выговоры. Готовилось увольнение редактора, а то и самого директора издательства.

Мне и моим друзьям, детским писателям, казалось, что если мы устроим в разных газетах положительные публикации, то вырулим ситуацию. И я собрал многих тогда молодых журналистов у себя в студии на чердаке по улице Усиевича, и мы стали думать, в какой газете что мы можем напечатать.

Участвовали Неля Логинова — взращалица многих молодых дарований, Марина Невзорова, Павел Гутионтов, кажется, Юрий Соломонов и, конечно, Щекочихин.

Все кончилось ничем. Нам с большущим трудом удалось сделать две-три заметки в мелких газетах. Но по этим газетам ударила тяжелая артиллерия центральных газет, и они немедленно исправились и тоже вдарили по Григорьеву.

Дело кончилось плохо для Олега Григорьева. Его не приняли в Союз писателей и вообще прекратили печатать. Директора издательства “Детская литература” Галину Кузьминичну Пешеходову перевели куда-то на бумажную работу. Редактора книги Марину Титову уволили. Лучше бы мы за защиту и не брались.

С тех пор мы с Юрой стали видеться чаще, чаще стали перезваниваться.

В эти времена Т. Куценко, ведомая политлидером в детской литературе Алексиным, выдвинула теорию, что детские писатели — это так, фикция, какие-то недописатели, недомерки. Нет никаких детских писателей, а есть просто писатели с большой буквы. Это писатели, пишущие для взрослых. Именно их надо привлекать к писанию детских книг.

Тотчас же появились шедевры Кондырева, Котова, Грибачева и прочих отмеченных наградами строителей социализма.

Детские писатели — я, Юрий Коваль, Григорий Остер, Юрий Кушак и другие — как могли, отплеывались, публикуя хиленькие заметочки в разных газетах.

Это была долгая затяжная борьба.

Как-то мне позвонил Юра Щекочихин и сказал:

— Надо срочно встретиться.

— А что?

— Есть очень важное дело. Подъезжай на машине. Только не останавливайся около редакции (речь шла о “Комсомолке”. — Э.У.), проезжай дальше, чтобы нас не видели.

Я подъехал в указанное место. К моей машине подошли два Юры — Щекочихин и Соломонов.

— Вот, посмотри.

Они дали мне прочитать гранки статьи, которая впоследствии была напечатана неким Машавцом в “Литературной газете” под названием “Кто усыновит Чебурашку”. Я говорю:

— Ребята, эта статья настолько идиотская, что она мне не повредит, а только прибавит популярности.

Щекочихин сказал:

— Тебе не повредит, повредит Гущину. Она направлена против него.

Лев Гущин тогда командовал “Московским комсомольцем” и как мог помогал всем нам. А статья сильно задевала “Московский комсомолец”, и могли последовать оргвыводы. Может быть, ради этих выводов статья и была запущена в центральную газету.

— Эдик, сделай что-нибудь, чтобы задержать статью, — сказал Щекоч.

В то время я вел какие-то переговоры с помощником секретаря ЦК КПСС М.В. Зимянина — Всеволодом Петровичем Кузьминым. (Я с группой друзей пытался помочь опальному психологу, педагогу В.Д. Столбуну и выходил на ЦК, чтобы помочь ему.)

Так или иначе, я нашел телефон Кузьмина и немедленно позвонил ему:

— Всеволод Петрович, Чебурашку обижают. А ведь он известен во многих странах через книги и мультфильмы. Это наш родимый герой.

Для Всеволода Петровича снять любую статью было проще простого. Один звонок — и статьи как не было.

Представляю, как ломал голову Геннадий Селезнев (кажется, он был тогда редактором “Комсомолки”): откуда у ЦК КПСС такие сведения о газете? Во как работает их агентура!..

А мы с тех пор с Юрой стали видеться часто. Через него я узнавал журналистов — Павла Гутионтова, Юрия Роста, Ярослава Голованова, Ольгу Кучкину и других замечательных людей. Они у Юры были отборные, с чистой совестью.

Я познакомил Юру с писателями и мультипликаторами. С Григорием Остером, Александром Курляндским, Юрием Ковалем, с финским писателем Ханну Мяккеля и его друзьями. По-моему, это я познакомил его с Валентином Дмитриевичем Берестовым.

С каждым годом Щекоч набирал силу. В журнале “Журналист” по итогам года Леонид Жуховицкий назвал его самым знаменитым среди молодых и самым молодым среди знаменитых.

Юра первым стал “изучателем” молодежно-фанатских движений. Он сумел познакомиться с фанатами “Спартака”, ЦСКА и других команд. Подружился с их вожаками.

Он написал пьесу “Ловушка № 46, рост второй” о фашиствующим ребятам. Он привлек внимание общества к этой проблеме.

И если бы не Юрий Щекочихин, мы бы столкнулись с развеселыми скинхедами на двадцать лет раньше.

Потом Юра занялся проблемой преступности. Он задевал разные бандитские группировки и отдельных бандитов. Ему говорили:

— Юра, тебя убьют.

Но его не трогали. То ли у мафиоз есть совесть и они понимали, что он прав. То ли боялись поднимать руку на такого знаменитого человека. Как в свое время бандюганы и головорезы не трогали Гиляровского. А может быть, понимали, что когда-нибудь их прихватит государство, начнет над ними издеваться — и никто, кроме Щекоча, их не защитит.

Несмотря на мою непечатабельность, я мог более-менее прилично зарабатывать мультфильмами, выступлениями по разным городам и кукольными пьесами. А Юра, бывало, сидел на полной мели. Он часто занимал деньги в долг и всегда отдавал их в срок и точно.

Помню, как-то я позвонил Юре и спросил, что он делает. Он сказал, что они с Юрием Ростом сидят на “крейсере “Очаков” и никуда не могут выехать по причине отсутствия денег в кармане и бензина в баке “Волги” Юрия Роста.

“Очаковым” звали крохотную квартиру Щекоча в Очаковском районе. Между прочим, ее несколько раз внимательно прошаривали кагебешники на предмет чтения опасных материалов и выяснения источников информации. Сколько я Юру помню, у него всегда были самые надежные источники получения рискованной правды о государственных чиновниках и о бандитах. Люди хотели правды и верили Юре.

Я, как богатый барин, сел в свою машину и приехал на “крейсер”. Тут я героически выдал Юре какую-то сумму денег и вылил Росту в бак целую канистру бензина. И сказал:

— Ребята, когда вам станет совсем плохо, поройтесь в книгах. В одну из них, самую умную, я положил двадцать пять рублей.

Как я узнал потом, они не стали ждать, когда им будет плохо. Едва я скрылся за горизонтом, они перерыли всю библиотеку и нашли деньги. Уверен, что в тот же день они их и потратили.

Вообще Юра был безумно щедрым человеком. Все свои зарплаты он тратил на друзей. Я — обеспеченный человек, но не могу потратить деньги на большой прием. Мне всегда что-то надо — то компьютер, то принтер, то ремонт дома.

Юра — беднее некуда — на последние деньги приглашает кучу гостей (один другого знаменитее и богаче) и делает шикарный прием на участке в Переделкине, под деревьями.

На этих приемах можно было встретить М.С. Горбачева, Евгения Евтушенко, Александра Шохина, начальника разведки США, приличных кагебешников (есть и такие), заместителя генерального прокурора России Михаила Катыхова. Одно-

временно Юра мог подвести к тебе молодого солдата и сказать:

— Эдик, это Володя Смирнов. Он очень хорошо поет. Послушай его и пригласи на “Гавань”.

После паузы:

— Если ты еще не зазнался от знакомства с певцами Большого театра.

Когда у Юры была круглая дата — ему исполнилось 50 лет — мы решили посвятить ему целую передачу “Гавани”.

Он пригласил на “свою” “Гавань” Толю Головкова, полковника Сан Саныча Чекунова. Кажется, там был и Александр Городницкий.

Все пели и говорили о Юре замечательно.

Когда сам Щекочихин, сопровождая себя на гитаре, спел “От Баку до Махачкалы...”, я спросил у него:

— Юрий Петрович, сколько у вас автомобилей?

Он ответил:

— Ни одного...

Тогда я голосом Якубовича прокричал:

— Автомобиль в студию!

И в студию внесли огромных размеров пластмассовый детский очень красочный автомобиль.

Юра был счастлив. А мы с соведущей Элеонорой Филиной сказали:

— В следующий юбилей мы вам подарим такую же виллу.

После этого выступал восьмилетний Кирилл Козуб. Это был наш спецподарок Юре. Мальчик был с великолепным эмоциональным голосом, и он понимал, что поет. Он спел прекрасную песню Щербакова:

Ах, ну почему наши дела так унылы?

Как вольно дышать мы бы с тобою могли.

Но вот и опять некие грозные силы

Бьют по небесам из артиллерии земли...

Кирилл спел так красиво и чисто, что все были поражены. А я, сам не знаю почему, в прямом эфире сказал:

— Я сейчас нарушу все правила телевидения и попрошу Кирилла спеть эту песню еще раз.

И Кирилл снова запел:

И, что бы ни плел, куда бы ни вел воевода,

Жди, сколько беды, сколько воды утечет,

Знай, что победят только лишь Честь и Свобода!

Да, только они. Все остальное — не в счет!

Весь зал замер. Я и сейчас помню, как полковник Чекунов держит в высоко поднятой руке горящую зажигалку.

Мальчик кончил петь. И вдруг Юра встает, подходит к Кириллу и вручает подаренный ему большущий автомобиль.

Я думаю, для мальчика — а он жил в подмосковной деревне — это был очень хороший день.

Но вернемся к общественной деятельности Юрия Петровича. Он решил пойти в политику, и его легко избрали в Верховный (или как его там) Совет при Горбачеве. Он был депутатом от города Луганска. А я был его доверенным лицом.

В городе во время выборов на главной площади была выстроена деревянная трибуна. Все выступающие стояли позади нее. Я тоже был в числе выступающих.

Я не видел, что творится на площади, пока стоял за трибуной. А когда поднялся по лестнице вверх, меня поразило море голов людей на площади. Не было пьяных, не было скандалистов, было полное единение участвующих. Все люди знали, что делать, и понимали, чего хотят.

Я, обычно нахальный и уверенный, растерялся и понял, что никогда не буду и не хочу руководить таким количеством народа. А скромный и тихий Юра не растерялся и уверенно разговаривал с людьми. Он точно знал, что надо самим руководить народом, а не передоверять это всяким ненасытным прощелыгам из райкомов.

Я просто сказал:

— Дорогие друзья! Крокодил Гена и Чебурашка голосуют за Щечокчихина.

Во второй выборной кампании я снова, уже вместе с “Гаванью”, ездил по Московской области и агитировал за Юру. В этот раз все было гораздо сложнее. Здесь я уже почувствовал железные зубы и полное отсутствие совести конкурентов.

Юра упрямо депутатствовал несколько лет. Не передавал никому своих полномочий, тянул и тянул лямку. Никто из депутатов так часто не летал в Чечню и в другие опасные места, как Юра. Я ему говорил:

— Юра, почему ты так часто летаешь? Пусть Селезнев летит.

Он отвечал:

— Надо.

— Юра, тебя убьют...

Но он летал, летал, летал. Встречался с полевыми командирами, постоянно рискуя получить пулю от любой стороны.

Он встречался с американскими президентами и был простым Юрой. И дом его всегда был полон гостей и друзей.

И по-прежнему он доставал бандитов и комитетчиков. По отдельности их можно было доставать. Но когда он коснулся “Трех китов” — он столкнулся с теми, у которых уже не было и бандитской совести.

А он нажимал и нажимал. Он спас от тюрьмы следователя Зайцева, который раскручивал это дело. Он обратился к президенту с просьбой взять под свой контроль расследование. Он боролся против преступников, на стороне которых уже

выступала Генеральная прокуратура. Он требовал вызвать заместителя генерального прокурора России Колесникова на депутатскую комиссию.

Он сказал мне, что первый зам генерального прокурора России Бирюков получил взятку в два миллиона долларов за то, что он закроет дело “Трех китов”.

Концы дела “Трех китов” вели напрямую в комитет государственной безопасности. По словам Юры, комитет был “крышей”.

Когда у ведущего телепрограммы “Человек и закон” Пиманова спросили:

— Ты уже третью передачу ведешь об “Оборотнях в погонах”, почему ты не возьмешься за дело “Трех китов”? — Пиманов ответил:

— Страшно.

А Щекочу не было страшно, и его убили.

Ничего ужаснее, чем похороны Юры Щекочихина, я в жизни не видел. Щекоч не должен был умирать, Щекоч должен был жить всегда.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

И ПОДАВАТЬ Я НЕ ДОЛЖЕН ВИДУ, ЧТО УМИРАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ

В сентябре 1984 года в любимом нами Гульрипше, в Абхазии, на берегу Черного моря, в доме отдыха «Литературной газеты», куда я приехал с женой Анной Наль, мы впервые встретились с Юрой Щекочихиным, который тоже отдыхал там со своей женой Надей. Юра работал тогда в «Литгазете», и я заочно был уже знаком с ним по его статьям, посвященным главным образом молодежным группировкам и футбольным фанатам.

С первой же встречи меня поразил его мальчишеский облик — худенький, подвижный, с постоянно чему-то смеющимся озорными глазами. Мне показалось, что и мальчишескими фанатскими группировками он интересуется именно потому, что и сам от этих мальчишек недалеко ушел. Мы подружились и стали часто навещать друг друга в гости, тем более что оказались соседями по Переделкину, где мы в летнюю пору снимали дачу, а Юра постоянно жил в литгазетовском поселке.

Одними из главных его качеств, поражавших окружающих, были неукротимая энергия и полное презрение к бытовым удобствам. Сколько я его помню, он вечно жил во временках, не имея каких бы то ни было элементарных условий для оседлой жизни, как будто чувствовал наперед, что срок ему отпущен недолгий.

Главным богатством жизни он считал своих друзей. Где бы он ни был, его временный дом сразу же становился шумным центром дружеского общения.

День рождения Юры — 9 июня, который традиционно отмечался в Переделкине на открытом воздухе, — сразу же стал многолюдным праздником

для огромного круга его друзей, среди которых были, казалось, все — от известнейших писателей и журналистов до государственных деятелей и бойцов ОМОНа. Юра любил своих друзей и старался всегда всех их между собой перезнакомить, иногда даже по нескольку раз. Во дворе его дома дымил костер, из огромного тагана шел соблазнительный аромат, и высокопрофессиональные умельцы из Средней Азии или с Кавказа, как правило — бывшие министры, колдовали над пловом или над шашлыком. Вокруг деревянных столов толпились журналисты и поэты, писатели с окрестных дач, художники и военные, депутаты думы и телеведущие. Вся улица Довженко, на которой жил Юра, была до отказа заставлена автомашинами. Нельзя было буквально ни пройти, ни проехать, тем более что всех проезжих и прохожих радушный хозяин приглашал зайти.

Здесь же неизменно присутствовала старая, выдавшая виды Юрина гитара с чудовищно жесткими металлическими струнами, на которой играть было практически невозможно не только мне, но и людям, хорошо владеющим этим инструментом. Юру это, однако, нисколько не смущало. Он после нескольких рюмок брал ее в руки и начинал петь какую-нибудь особенно полюбившуюся ему песню — например, про полярных летчиков, заставляя меня и других немедленно присоединиться.

В связи с Юриными днями рождения вспоминается такой курьезный случай. Неподалеку от него на той же улице Довженко жил Булат Окуджава, который любил Юру, хотя и жаловался, что шум от шекочихинского дома часто мешает ему работать. Мы с ним встретились на очередном дне рождения, где был обещан «настоящий кавказский шашлык». Народу собралось много. Все, разбившись на кучки, пили обильно выставленные напитки в приятном ожидании яства. В разгар мероприятия в калитку неожиданно вошли запыхавшиеся друзья именинника, которые вели на веревке живого барана. Гости приуныли. Стало ясно, что до шашлыка далеко. Булат тут же вспомнил, что он — член общества по охране животных, и в самых категорических выражениях выразил протест против преобразования жалобно блеющего барана в шашлык. Получив такую могучую моральную поддержку, баран как-то незаметно освободился от веревки и убежал в открытую калитку, за которой, возможно, был изловлен другими любителями шашлыков.

За этой внешней праздничной стороной его жизни, однако, скрывалась другая, — наполненная каторжной каждодневной журналистской, а позднее — депутатской кропотливой работой и постоянной опасностью. За толпой друзей скрывались не менее многочисленные и могущественные враги. Юра со свойственным ему органическим бесстрашием постоянно кого-то разоблачал, никогда не считаясь с «табелью о рангах». Помню, мы с ним стояли у калитки его дома, и вдруг, уже под вечер, из-за поворота по дороге к нам на большой скорости понеслась черная иномарка. «Это ко мне, — улыбнулся Юра. — Или убивать, или награждать».

Последние годы его жизни были связаны с постоянными командировками и поездками. Остается только удивляться, как Юра ухитрялся находить время для своих книг.

Из последних наиболее значительными представляются «Рабы ГБ» и «Забывтая Чечня», поражающие своей прямоотой и смелотью. Активные журналистские расследования, проводившиеся Юрием Щекочихиным и его друзьями в связи с несчастной чеченской войной, позволили спасти не одну человеческую жизнь. В последние годы своего депутатства Юра был заместителем председателя думского комитета по безопасности. «Представляешь? — шутил он. — У меня в подчинении три бывших министра». Шутка, однако, оказалась горькой. Отдавая все силы заботам о чужой безопасности, Юра сознательно пренебрегал своей. Он обладал повышенной чувствительностью к чужому горю, чужой боли. Умел, как никто, радоваться успеху и удаче своих друзей, которые оставались его единственной семьей. И семья эта теперь осиротела...

Юра любил авторскую песню. Помню, в 1989 году я уговорил его вместе со мной вести гала-концерт авторской песни в Театре эстрады, посвященный становлению недолгой российской демократии. Юра сидел на сцене и радостно улыбался. Именно Юра познакомил меня с талантливым автором песен о чеченской войне боевым полковником Александром Чукуновым, песни и стихи которого он опубликовал в своей книге «Забывтая Чечня». Там напечатана и самая, пожалуй, пронзительная песня Александра Чукунова — «Родина, не предавай меня». Вряд ли кто-нибудь думал тогда, что эта строчка неожиданно обернется и против Юры.

В конце лета 1980 года, когда внезапно умер Владимир Высоцкий, мне в Москву позвонил из Южно-Сахалинска мой однокурсник по Ленинградскому горному институту, бывший фронтовик Вадим Головинский. Слышимость была плохая. «Саша, — кричал он мне сквозь треск и помехи в трубке, — я вот тут услышал, но не поверил. Это правда?». «Да, правда, — ответил я, — он действительно умер». — «Да я не про то. Правда ли, что его убили?» — «Да нет, что ты. Он сам умер. А почему ты решил, что его убили?» — «Ну как же: должны были убить».

После смерти Юры я неожиданно вспомнил этот разговор.

Мой любимый поэт Давид Самойлов однажды заявил, вложив эту строчку в уста Александра Пушкина: «В политике кто гений, тот злодей!». Своей недолгой героической и самоотверженной жизнью Юра опроверг это заявление.

Мы все теперь остались без защиты — все, кого он спасал, поддерживал и вдохновлял своим бесстрашием и презрением к опасности.

Юрий КАРЯКИН
ОН ЖИЛ, КАК ГЕНИАЛЬНЫЙ БОМЖ

Как описать неожиданный удар по темечку? От неожиданности смерти этого человека — теряешь слова. Хотя, признаюсь, я все время его предупреждал: “Лезешь на рожон. Даже ты не можешь представить себе, как они, которых ты не боишься, боятся тебя. Какие планы они вынашивают”. Отхохатывался и по-прежнему пер на этот самый рожон. Как там, как это все случилось — мы сейчас не знаем и, может быть, не узнаем никогда.

Самое лучезарное — это когда он приезжал нежданно-негаданно. Но всегда — ожидаемо. Обычно — к Юрию Давыдову. Мы сидели втроем... Какие тут “конфликты отцов и детей”! Мы, “старики”, любовались им, завидовали его “перпетуумности”, а он никогда не забывал на своих — памятных для всех — дачных праздниках помянуть добром шестидесятников. Неожиданно и радостно он и для нас сделался учителем и образцом.

Только сейчас понимаешь: буквально сжигал себя, сгорал с двух концов.

...Сидим втроем у Юрия Давыдова — три “Ю”. Он вдруг вскакивает: “Ой, братцы, совсем забыл! Опаздываю. У меня сейчас международный разговор...”. Выскакивает на дорогу. Ползет трактор. Оттуда: “Юр, Щекоч, куда тебе?”. Довез.

Его даже не с кем сравнивать. Разве только с Алесем Адамовичем — по незамедлительно-мгновенной, безоглядно-бесстрашной и рабоче-деловой реакции на любую ложь и подлость. Всегда бросался сразу, очертя голову, в самую гущу.

Сколько он искал, отыскивал, отыскал и вывел в свет еще более молодых, чем он сам! Сколько влюбленных в него учеников, преданных, зараженных его бескорыстной энергией! Хотя зачем лукавить? Были, как всегда, неблагодарность и предательство. И у не Христов бывают иудушки. Люди эти сами про себя все знают и, надеюсь, никогда не забудут того, что знают. Не позавидуешь такой памяти.

...Абсолютная неподкупность. Никогда никаких задних мыслей (урвать, прихватить). Только одно: докопаться до истины, отыскать кровопийц-клещей, выколотить, выцарапать их и показать всем на ладошке — как корчатся они на свету, как представляются божьими коровками и мечтают снова забраться нам всем под кожу и снова укусить, отравить своим ядом.

Как его на все хватало — на книги, на сотни статей, на депутатские запросы во все инстанции, на бесконечные поездки в “горячие точки”... От той информации, которой он был перенасыщен, можно было, наверное, сойти с ума. А он никогда не терял присутствия духа и снова и снова ввязывался в борьбу со всеми этими “клещами”.

...Радостно было смотреть и слушать, когда говорили эти два человека: говорили заикаясь, неуклюже, не по-демосфеновски, но которым все честные и совестьливые верили, а все клещеобразные корчились и вопили. Я имею в виду Юрия Щекочихина и А.Д. Сахарова.

Я в свое время навидался — по горло — депутатов, у которых вся энергия, кстати, очень даже немалая, уходила на то, чтобы что-нибудь да прихватить. Этот жил как гениальный бомж, но на самом вершине духа. Бытовая неустроенность, неухоженность — а думал, чувствовал только главное. Всегда в его доме жили неустроенные люди.

Он воплотил снятие проблемы отцов и детей — и те, и другие любили его одинаково.

...Самое печальное, несправедливое, негоднее: старым хоронить молодых.

Ольга МАРИНИЧЕВА **СЛЫШЬ, ЮРКА?**

«Привет, Юрка», — тихонько дернула я тебя за рукав — помнишь? — позапрошлой весной в переполненном банкетном зале Дома журналистов. Повернулся ко мне в профиль, продолжая с кем-то беседовать, потеплел взглядом, коснулся ладонью моих пальцев, чуть скривил губы в потешной гримасе и тихо добавил свое вечное, невразумительное, нежное: «Слышь?..» — будто о чем-то молящее, о невозможном грустящее.

И сгинул.

Только и мелькнуло это тихое «слышь?» да добрый, круглый, чуть смущенный карий глаз, весь уже в густых морщинках.

И что, интересно, означает это твое загадочное, чуть шершавое: «Слышь?..». Чего «слышь»-то? Да ничего. Просто: слышь, я здесь. Я так этот пароль и воспринимаю. И этого довольно. Вот уже почти четверть века — довольно. С тех пор, как расстались. Встречая год от года изредка тебя на пресс-конференциях и на банкетах, я лишь замечаю, как волосы твои все седеют и седеют, а вот уже и совсем сплошная седина... Но тот же добрый взгляд, те же втянутые, как у Щелкунчика, плечи. Я тебя в наше время про себя так и называла: Щелкунчик. Деревянный солдатик. Детская игрушка. Заколдованный принц. Новогодье волшебства...

**...Ель, моя ель, будто Спас-на-крови,
Твой силуэт отдаленный,
Будто бы свет удивленной любви,
Вспыхнувшей, неуголенной.**

И это твое неизменное «слышь?..» — будто мольба о том, чтобы слышали, помнили, просто — были, хоть один кто-то, кто способен услышать.

...Юрка сказочно любил людей. Тоже сказочных. Все его друзья и положительные герои его статей — удивительны, благородны, самоотверженны, бесстрашны, героичны и романтичны.

Помню, в юности нашим общим друзьям было неловко от такого их обожеств-

ления, и они с виноватым видом пытались как-то передо мной оправдаться, что ли. Но если у кого-либо из окружавших нас совершенств вдруг и впрямь обнаруживался какой-либо не сказочный изъян — Юрка его тут же устранял: просто восполнял, вылепливал, сочинял недостающее собственным воображением и воспринимал это новообразование как нечто настоящее, реальное, а не искусственное, им же самим созданное.

...Вот так же все детство, проведенное на первом этаже старого дома в окраинном Очакове, он часами, днями, сутками лепил и лепил свою гвардию из пластилина, воссоздавая по историческим альбомам тончайшие нюансы знаков отличия, аксельбанты и прочую амуницию всех до единого полков, вышедших на Сенатскую площадь 12 декабря. Та коллекция хранилась у него в погребе в Очакове. Он меня однажды допустил к этому сокровищу. Право же, нынешние поделки малышей из дорогих унифицированных деталей конструктора «Lego» кажутся мне такими убогими и холодными по сравнению с Юркиным сокровищем.

Спасибо девятнадцатому веку: он одарил российских мальчишек всех последующих десятилетий двумя великолепными, щедрыми, бесценными дарами; двумя идеалами мужской дружбы в ее особом, мальчишеско-отроческом ореоле: лицейское братство и братство декабристов. Я видела на нескольких поколениях капитанов, боцманов и юнг «Алого паруса», подростковой страницы бывшей «Комсомолки», как из года в год, от десятилетия к десятилетию, от старших к младшим и все далее, далее переходили в душах, в стилистике, жизненном кредо «парусят» Отвага, Доблесть, Честь их кумиров — декабристов и пушкинских лицеистов. Даст Бог — не оборвется эта пульсирующая ниточка особой, голубой крови (не по природным, а по духовным «генам») и в веке XXI.

Юрка был капитаном «Алого паруса», ну а я была — жена капитана. Конечно, это сильно сказано: жена. Просто однажды, провожая меня из редакции на улицу Герцена, где мы жили с моим законным, порядочнейшим, благороднейшим и глубоко интеллигентным мужем в кооперативном доме ВТО (отец мужа был известным драматургом), Юрка вдруг спросил: «А слабо тебе бросить все это?» — подразумевая кооператив, дачу и прочее. Мы, помню, как раз шагали по лужам на площади Восстания. Вопрос Юрки застал меня как раз посередине лужи; я подняла ногу, чтобы ее пересечь, услышала его вопрос — и совершенно неожиданно для себя в тот самый миг, когда ногу опустила на другом краю лужи, выпалила: «А не слабо!».

...Уходила я, помню, ночью, прихватив с собой всего лишь раскладушку и котенка. Уходила в абсолютную неизвестность. Почему-то одна. Юрка был настолько враг мещанства и вообще быта, что даже разговор о доме вызывал у него глубокую тоску. Снять квартиру нам помогли друзья — на Открытом шоссе, рядом с трамвайной линией, и весенний перезвон трамваев вместе со сладким запахом клейких тополиных листьев наполнял мою душу ликованием.

А как ждала я Юрку по вечерам после дежурства, как вслушивалась в малей-

ший шорох, чтобы не пропустить его шаги в коридоре и успеть притвориться спящей. Мы никогда ни единого слова не произнесли о любви. Его милые, тихие родители привезли нам из Очакова посуду и прочую утварь. Дом наш всегда был полон гостей, это было какое-то нескончаемое застолье, где самым вдохновенным участником, центром общения был Юрка.

Помню, еще тогда, в какой-то момент, цепко глянув на него во время Юркиной очередной романтической речи, обличающей власть и чиновников, его старший друг и наставник еще по «Московскому комсомольцу» Саша Аронов вдруг сказал: «А знаешь ли, из всех из нас ведь именно ты сделаешь самую большую карьеру». И это оказалось правдой: Юрка стал депутатом Госдумы. При всем при том, что даже там так и остался для всех *enfant terrible* (то есть ужасным ребенком): говорят, своих коллег-депутатов величал не иначе как Санькой, Петькой, Валькой... Вечный пацан.

Ну а в ту далекую цветущую майскую пору на Открытом шоссе все эти пламенные застолья стали мне потихоньку надоедать. Совершенно непонятно было, в какой роли я на них присутствую — сожительницы, что ли? При гостях он меня словно не замечал. Разговоры о загсе были между нами еще более запретны, чем о любви. И вот однажды, когда он по обыкновению созвал множество народу, да еще к тому же и заведующую нашим отделом Татьяну Сергеевну Яковлеву с мужем, я твердо решила в конце вечера «слинять» от Юрки без лишних слов. И тут он меня опять ошарашил: то ли почуял что-то во мне неладное, то ли, может, заранее все подготовил, но к тому времени, когда первые гости стали прощаться, он попросил всех остаться еще всего на один тост: «Я прошу вас выпить за то, что вы сегодня присутствовали на нашей с Олей свадьбе». Все кинулись нас поздравлять, а мне труднее всего было скрыть свое полнейшее изумление таким поворотом дела.

...А больше всего я любила провожать его рано утром в командировки. Я стояла с котенком на балконе, а он бодро, пружинисто подпрыгивая при ходьбе, как Щелкунчик, вышагивал в своей курточке по мокрому асфальту тротуаров, и перед ним с гулким шумом взлетали голуби, розовые от восходящего солнца.

Подростки, его главные герои и друзья, его просто обожали. Он был для них, как Маугли, одной крови. Делу своему газетному был предан так же самозабвенно, его слова были: «Умири за строчку!».

Страстно любил жизнь, море, ветер, скорость. В отпуск (уходили мы тогда в отпуск всего на неделю или на две, больше не могли прожить без редакции) однажды вытащил нас в Одессу. В которой жили, конечно же, сказочные его друзья: музыкант, студент филармонии по имени Кэп (Юрка по-своему крестил именами своих друзей) с красавицей женой и красавицей яхтой, еще какие-то потрясающие ребята. Забрались мы с палаткой на Каролину-Бугаз — тонкий песчаный перешеек под Одессой, разделяющий лиман, где стояла яхта, и само море. С утра до вечера ходили по белым хаткам, заросшим виноградом, и пробовали домаш-

нее виноградное вино, которое хозяева выносили нам в беседки. Никогда больше я такого вкусного вина не пробовала. А упившись этим сказочным напитком, кидались с разбега в море. Юрка бежал впереди всех в фонтанах брызг, распевая во все горло: «По рыбам, по звездам проносит шаланду, три грека в Одессу везут контрабанду...». Доброе море, хорошее море!

В одесском луна-парке затащил меня на американские горки и счастливо, во все горло хохотал, когда я орала от ужаса на крутейших поворотах. Больше ни с кем и никогда на горках этих я не каталась, только Юрка мог меня туда затащить. А то, бывало, срывался в одиночестве на два-три дня в Коктебель к какому-то камню — «заряжаться вечностью», как он говорил.

...А осенью в Москве наступило бездомье. Мы кочевали по друзьям со всей моей библиотекой, кошкой и раскладушкой. Когда я попыталась всерьез поговорить с ним о собственной крыше над головой, он лишь грустно посмотрел на меня и тихо произнес ароновские строчки:

— «Куда же потерялся он, хрусталик дня в начале марта?»

Ах, потерялся?! Для меня это было равносильно признанию в том, что он меня разлюбил. Я забрала кошку и уехала к подруге. Он звонил и требовал: «Сегодня ты вернешься». «Никогда!» — заявляла я, собирая для этого все силы. Друзья пытались нас помирить, притащили его ко мне домой на день рождения. Он приехал, но делал вид, что меня не замечает. Тогда я оставила гостей на подругу, сорвала с вешалки пальто и шапку и умчалась.

...В то время я часто ставила пластинку Эвы Демарчик — прекрасной польской певицы, звучавшей тогда почти во всех московских квартирах, особенно — песню о городе Томашув:

**...А может, нам с тобой в Томашув
Сбежать хоть на день, мой любимый?..
Тот дом покинутый, та зала,
Где все стоит теперь чужое...
Вносили люди чью-то мебель,
Потом в раздумьях уходили.
Из ясных глаз моих ложится
Слезой след к губам соленый,
А ты молчишь, не отвечаешь
И виноград ты ешь зеленый.**

А недавно по радио в передаче про Эву Демарчик я услышала, как кто-то сказал, что у каждой женщины, как бы счастлива она ни была, в душе есть свой Томашув. Сейчас я счастлива, люблю и любима. Но он есть у меня, мой Томашув.

Слышь, Юрка...

Алла БОССАРТ И СОЗДАВАЛ ОСТРОВА ИЛЛЮЗИЙ

Юрке исполнилось 53, но для меня он всегда оставался семнадцатилетним. Этот семнадцатилетний, такой, каким бегал, клопоча пузырящимися речами, по коридорам “Комсомольской правды”, проступал в нем всегда: в седом, очень серьезном и очень озабоченном человеке, который никогда ничего не боялся и не боялся сам за все отвечать.

Мне трудно представить, что у Юрки могли быть враги. Возможно, потому, что он вырослел на моих глазах — в “Комсомолке”, потом в “Литературке”, где занимался уже очень важными и опасными делами, — я по-прежнему видела в нем пацана. Ушастого, захлебывающегося словами, делами, работой, гулянками — той странной веселой, и темной, и избыточной, и во многом дрянной, хотя и прекрасной, жизнью, которая окружала наш небольшой архипелаг, когда каждый из островов был молод и полон иллюзий.

И хотя Юрка Щекочихин был бешеный романтик, иллюзий он питал меньше других. Возможно, потому, что исчерпал их в “Алом парусе”. Его корреспонденты были его ровесниками, он был им ровня, и они писали ему правду. Правда, в отличие от многих из нас, стала его профессией. Поэтому впору ему пришлось в те тухлые 70-е годы только “Литературная газета”, достигшая своего расцвета. Сейчас-то я понимаю, что с его неистовой жадой говорить всю правду ему было тесно и там — потому что тесно и глухо было время, когда набирал силу правды товарищ моей юности, рано поседевший мальчик Юра.

Его время началось 19 августа 1991 года. Двадцать лет вел он свою упрямую подрывную работу, и это время пришло. И Юра понял, что несет за него личную ответственность. Бремя личной ответственности — очень тяжкий груз.

...Юрка любил петь, пел плохо, задушевно, с большим чувством. Когда он пел, казалось, что все будет хорошо и весело и мы никогда не умрем. И даже не состаримся.

Александр МИНЕЕВ КАПИТАН КРЕЙСЕРА

Щекочихин, кажется, никогда не ходил под парусами и вообще был в жизни очень сухопутным человеком. Но у него был “Алый парус”, и он любил море.

Он никогда не был болельщиком, но знал названия команд, за которые болели герои его очерков о молодежных неформалах конца 70-х. Некоторые стали его друзьями.

Однажды в Брюсселе, освободившись от встреч с европарламентариями и ев-

рочиновниками, он попросил свозить его на день в Амстердам. Мол, был там, но в официальных делах успел увидеть этот город только краем глаза. По дороге куда-то заезжали, где-то останавливались. Приехали, когда короткий зимний день перетекал в сумерки, смешавшиеся с проливным холодным дождем. Добежали под зонтом до ближайшей таверны на Дамраке и сели переждать стихию за кружкой “Амстеля”. А дождь все шел. В тот день Щекоч опять не увидел Амстердама. Но успел забежать в сувенирную лавку, где купил макет парусника и красный шарф команды “Аякс”. И был очень доволен.

На «крейсере “Очаков”», как называлась его квартира в старом кирпичном доме на первом этаже по Большой Очаковской, всегда был народ. Приходили и приезжали без приглашений. Он взалхлеб расхваливал каждого гостя, представлял его остальным членам “кают-компании” с восторгом, немножко приукрашивая, может, чуть привирая. Каждый был в его словах в чем-то “самым-самым”, необычным, интересным. Действительно, серые люди, если и попадали туда случайно, были редки и не задерживались.

Он по-детски приходил в восторг от необычных предметов. В 70-е одним из таковых была бутылка настоящего виски, которую я неизменно привозил, приезжая в отпуск из Индокитая. Из той компании в то время мало кто бывал за границей. Благородный напиток тут же разливали в стаканы, освободившиеся из-под портвешка “777”, и закусывали холодными котлетами, кильками в томате, морской капустой.

Для меня это стало традицией, и спустя много лет, когда “Очаков” сменился дачей в Переделкине, а депутат Щекочихин изъездил полмира, я все равно вез такую же бутылку. С восторженным интересом он разглядывал и ощупывал “трофеи”, которые я привозил в 70-е с вьетнамской войны: свежие осколки, зенитные снаряды, шариковые бомбы, обломки американских самолетов. И особенно — настоящие полицейские наручники. Для нашего поколения война была еще далекой экзотикой, а наручники из нержавеющей стали стояли в одном ряду с арбалетом вождя племени джарай.

В кают-компании “Очакова” всегда пели. Бардовский репертуар под гитару. Когда иссякали “мэтры”, Юрка настойчиво просил меня спеть что-нибудь из “вьетнамского”. Превозмогая отсутствие голоса и слуха, я затягивал из фольклора военспецов:

*Над нами — самолеты,
Но Никсона пилоты
Решили отбомбиться стороной...*

Годы спустя Юрка разговаривал с Никсоном, и бывший президент США уважительно обнимал за плечо российского депутата Щекочихина.

Щекоч любил приезжать в Одессу. Там жили герои одного из его первых гром-

ких журналистских расследований. И ему просто нравился этот город.

Как-то мы там случайно оказались вместе и часами гуляли вдоль берега моря. Он то молчал, глядя в морскую даль, и ветер трепал растрепанную шапку его длинных волос, то начинал захватывающе рассказывать о каком-нибудь коррупционном скандале, о циничных и кондовых чиновниках. В рассказе всегда был смешной парадокс, гротеск. Давний член команды щекочихинского “Очакова”, Кэп, Сережа, только что вернулся с женой из похода по Нижней Волге и Дону, и за открытой дверью балкона, выходявшего на параллельную Дерibasовской улице Жуковского, воняли укрытые от мух марлей куски осетрины, которые хозяева пытались вялить.

Юрка позвонил в “Красную”, где остановился Ролан Быков, и после разговора потешался, представляя, как известный актер идет по Дерibasовской в окружении толпы зевак. Через четверть часа пришел Быков.

Прошли годы, и Юрку тоже стали узнавать на улицах. И не только в России.

В брюссельском пассаже “Руайяль” мы приземлились в кофейне, и проходившая мимо группа “лиц кавказской национальности” вежливо поклонилась и осведомилась о здоровье. А заблудившись в Иерусалиме, он стал спрашивать дорогу у первого встречного на своем ломаном английском. Встречный на чистом русском прервал его: “Хватит пи...еть, Юра”. И проводил к гостинице.

Щекочихин не боялся ввязываться в опасные схватки с сильными мира сего, но был совершенно беспомощным, рассеянным, непрактичным в быту. В один из приездов в Брюссель он признался, что как-то неловко депутату без приличного костюма, а сам он в них не разбирается. Покупали ему костюм всей семьей, замучив продавца. Никак не получалась сверхзадача — сделать из несуразного посевшего мальчишки элегантного лорда. Остановились на очень приличной черной паре из английской шерсти. Сразу одели и приехали обмывать покупку ко мне.

Винючник торжества плюхнулся на стул, выбрав из десятка именно тот, который принадлежал моей ужасно линючей кошке Шуньке. Часть вечера свелась к очистке расставившего руки и ноги Щекочихина от всепроникающей тонкой белой кошачьей шерсти.

Переделкино было любимым местом Щекоча задолго до того, как он там поселился. Когда я приезжал в Москву, он тянул меня туда. То одного, то в компании иностранных коллег. Он таскил туда гостей со всего света. Просто погулять. Поход неизменно завершался около могилы Бориса Пастернака на переделкинском кладбище. Потом он там остался навсегда...

Александр АРОНОВ

ПЕСЕНКА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА

Юрию ЩЕКОЧИХИНУ

Чтоб был ровен твой бег в степи,
Первобытнейшей из степей,
День пиши, вечер пей, ночь спи,
Утром встань, день пиши, вечер пей.

Иногда подними глаза,
Погляди, где земля, где снег.
Но надолго прервать нельзя
Этот бешеный бедный бег.

От того, что было, отстань.
То, что будет, не торопи.
День пиши, вечер пей, утром встань.
День пиши, вечер пей, ночь спи.

А какие вокруг года,
И какое при них житье,
И откуда ты сам и куда –
Не твое это, брат, не твое.

Надрывайся, тяни, терпи.
Скажут: «Туп ты!» – еще тупей.
День пиши, вечер пей, ночь спи,
Утром встань, день пиши, вечер пей.

1970-е

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ ОН ПОМОГАЛ ЖИТЬ

Стихи Андрея Вознесенского (см. стр. 285) меня поразили: *“...Под траурным солнцем июля, отравленный сволотой, блуждает улыбочкой Юра, последний российский святой”*.

С того дня, когда узнал, что Юра при смерти, в реанимации, и уж тем более все сорок дней после его ухода я почти все время думал о нем. Почему же такое точное и в общем-то бесспорное определение пришло в голову Андрею, а не мне? Озарение большого поэта — и моя близорукость? Может, утешиться есенинским “лицом к лицу лица не увидать” или великой, во все времена, горькой пословицей “Нет пророка в своем отечестве”?

Что ж, это, пожалуй, подойдет. Потому что три с половиной десятилетия Юра Щекочихин был неотъемлемой частью моего отечества — не того огромного, что на карте, а того личного, из двухсот, или трехсот, или тысячи человек, которые по сути и являются нашей “малой родиной”, среди которых проходит вся наша жизнь и без которых она теряет вкус, цвет, а порой и смысл. Когда в вынужденном или добровольном изгнании люди кончают с собой — подозреваю, их толкает к пуле, веревке или горсти снотворного ностальгия именно по этому личному отечеству.

Наша историческая память, к сожалению, бюрократична. Чтобы человекшел в ней свое место, он должен предъявить документ. Скажем, многотомное собрание сочинений. Или свидетельство о Нобелевской премии. Или весомую коллекцию иных наград. Или кричаще несправедливый, как в деле Дрейфуса, приговор суда. Без бумажки ты букашка, говорили при советской власти, да и сейчас могли бы сказать. Даже возраст столицы великой державы исчисляют с первого упоминания в летописи: не исключено, что Москва на век-другой старше, но без справки от летописца в юбиляры не принимают. Даже у Бродского на суде потребовали справку, что он талантлив.

Боюсь, Юра Щекочихин такую бумажку с печатью предъявить не сумеет. Книжки — да, есть. Но даже очень высокого класса журналистика, такая, как “Забытая Чечня”, обычно уходит вместе с породившей ее эпохой: кто помнит нынче “Испанский дневник” Михаила Кольцова или военную публицистику Ильи Эренбурга? Да, были спектакли, был фильм. Но и они забываются, если к фантазии автора не припилят какую-нибудь медяшку вроде “Оскара” или “Золотого льва”.

Что уж говорить о газетных статьях — они истлевают в подшивках в ненадежных хранилищах наших библиотек.

А не хочется, предельно не хочется, чтобы забылась одна из самых ярких личностей последней трети XX века. Щекочихин был одаренным драматургом — но имелись и познаменитей. Был замечательный журналист, один из первых, но в этом первом ряду — может, десять, может, двадцать имен.

Однако в чем-то он был лучшим, уникальным, единственным. Не знаю, удастся ли мне объяснить — в чем.

Раньше мне и в голову не приходило сосчитать, сколько мы с Юркой дружим. Во время похорон вдруг попытался вспомнить. Цифра вышла почти пугающая. Юра умер пятидесяти трех. А дружили мы, оказывается, тридцать пять лет — с его восемнадцати, это я помню точно. Две трети его жизни и половина моей.

Сперва у нас была общая компания, отличная компания, наверное, лучшая в моей жизни. Она сложилась вокруг тогдашнего “Московского комсомольца”, точнее, вокруг его школьного отдела. В ту пору “МК” был самой нищей московской газетой, с маленькими зарплатами и совсем уж жалкими гонорарами. Люди, ориентированные на деньги или карьеру, туда не шли — туда шли ради общения и, если получится, творчества. Я в “МК” не работал, но по любому поводу с удовольствием туда заглядывал: в школьном отделе трудились мои друзья и, что, прямо скажу, имело немалое значение, постоянно крутились классные молоденькие девочки, любившие стихи, сухое вино, творческих мужчин и запрещенные тексты, ходившие тогда по рукам в бледных машинописных копиях.

Помню, как я впервые услышал о Юрке. Моего близкого друга Сашу Аронова, одного из лучших поэтов эпохи, назначили заведовать тем самым школьным отделом. Я изумился: я знал, что Сашка органически не способен кем-либо командовать. Когда я сказал об этом, Аронов охотно согласился:

— А я и не команду. Фактически отделом руководит внештатник, шестнадцатилетний парень, Юрка Щекочихин.

Почему приходящий школьник справлялся с работой, непосильной для взрослого поэта (а Аронов, между прочим, был и блестящим журналистом), я понял позже, когда привык к тому, что он такой же, как мы, и такой же мой друг, как Сашка, как прекрасный поэт Вадим Черняк или классный журналист Юра Некрасов — они тоже работали в “МК”. Мы все были “шестидесятники”, и Юрка довольно быстро стал тоже “шестидесятником”: родившийся в пятидесятом, он тем не менее добровольно и органично принял на себя все наши жизненные принципы: не прислуживаться, не продаваться, не предавать, не лгать в публикациях и вообще не уродовать душу за чечевичную похлебку. Щекочихин, формально отставший от нас на целое поколение, оказался не только самым молодым “шестидесятником”, но, возможно, и самым честным, самым последовательным из нас.

У Юрки было удивительное умение располагать к себе людей, искренне восхищаться их большими или малыми дарованиями и помогать всем, кто в помощи хоть сколько-нибудь нуждался. Уже тогда у него была уйма друзей самого разного возраста. Много позже я понял, что способность дружить была не просто чертой Юркиного характера, а уникальным врожденным талантом: ни у одного человека — ни до, ни после — я такого дара не встречал.

При его восторженном отношении к одаренным людям была бы вполне про-

стительна некоторая неразборчивость — кто из нас не ошибается! Но Юрка, как ни странно, практически не ошибался. И при встречах, и по телефону он взахлеб рассказывал о новых приобретениях. Вот появилась удивительная шестнадцатилетняя художница Женя Двоскина. Вот из приволжской провинции приехала со своей загадочной графикой Люба Ямская. Вот прислал стихи очень талантливый Олег Хлебников. Вот в “Комсомолке” стали печататься статьи Ленки Загальского, яркого, оголтело честного пацана. Именно Юра помог мне по-настоящему понять Эдика Успенского, без конца рассказывая про его веселую борьбу с партийным и литературным начальством и радостно повторяя две строчки из детского стихотворения:

*“В черных машинах в высокие здания
Мчат бегемоты на заседания”.*

Он познакомил меня с множеством людей. И, что поразительно, среди них не оказалось ни одной бездарности и уж тем более ни одного подонка. Все — люди.

Сколько помню, Юрка всегда кому-то помогал. Причем делал это так азартно, что модное нынче и в общем-то благородное слово “благотворительность” даже в голову не приходило. Хотя что он и творил, если не благо?

Впрочем, порой его захлестывала и горечь.

Помню, как-то он позвонил и сказал с болью:

— Знаешь, а Санька опять без квартиры. На старости лет снова в коммуналке.

Речь шла об Аронове: очередной развод выкинул его в Тушино. “Московский комсомолец”, где он по-прежнему работал (и оставался там до самой смерти), был в ту пору уже достаточно богатым изданием. Я позвонил в редакцию нескольким знакомым и постарался их хоть как-то озадачить. Слово мое весило немного. Но, видно, не ко мне одному обращался Юрка, и на чаше весов скопилось достаточно маленьких гирек. Все вместе они сыграли какую-то роль, и Сашка получил квартиру в Марьино — свое последнее в жизни жилье, где и умер впоследствии в буквальном смысле слова на руках у любимой жены: когда упал в коридоре, Таня успела его подхватить.

Юрка помогал множеству людей, и старшим, и младшим, от начинающих журналистов до Ролана Быкова, Жени Евтушенко и многозвездных милицейских генералов — среди них ведь тоже попадаются порядочные люди. При этом сам почти до последних дней был бездомен: лишь за несколько месяцев до смерти ему, последнему из депутатов Государственной Думы, дали однокомнатную квартиру в Москве.

Собственно, уже в молодости Юрка был святым. Но это не замечалось, поскольку он, как опять же точно сформулировал Андрей Вознесенский, был *российский* святой — пьющий, безалаберный, веселый, с раздерганной судьбой и без малейшего намека на нимб. Понадобилась смерть, чтобы все необязательное в нем опало и увиделось, что под грудой житейских мелочей — та самая своеобразная российская святость.

Долгое время я не думал, что из Юрки получится выдающийся журналист. Он писал остро, честно, но открытый не было, мышление не поспевало за рукой. Прекрасно запомнил первую статью — “На качелях”, в которой состоялся качественный скачок: это была статья-открытие. К Юрке пришло понимание жизни, и почти все, что он писал с тех пор, было глубокой и серьезной, что называется, “большой” журналистикой. Он был признан в профессии. Но главной его сутью оказалась все-таки не она.

На похоронах принято отмечать заслуги усопшего. Отмечали и Юркины. Депутат Государственной Думы, заместитель редактора газеты... Но в Думе 450 депутатов, газет в России тысячи, и сколько в них замов, не знает никто. А Щекочихин был один.

Пальцем не шевельнув для продвижения по той или иной служебной лестнице, он сделал совершенно фантастическую карьеру в сфере, которую очень трудно определить. Не имея на то никаких формальных полномочий, он сделался одним из самых влиятельных людей страны. К нему обращались сотни людей, и он помогал, используя процентов на десять свое депутатство, а на остальные девяносто — дружеские связи. На депутата или замредактора вполне можно наплевать — но кто же наплеует на друга?

Лет тридцать назад какой-то средний поэт в духе бюрократического мышления той эпохи предлагал “устроить в Москве Управление судеб”. Естественно, Управление не состоялось.

Зато состоялся Юра Щекочихин.

Несколько раз Юрка мне очень сильно помог. Помог в почти безнадежных ситуациях, то есть так, как и помогают святые. С той разницей, что святым возносят молитвы, а Юрке я просто звонил по телефону.

Однажды зимней ночью на Минском шоссе моя машина на сыром снегу пошла юзом, перевернулась и полетела в кювет. Добрые люди ее вытащили, но ехать было нельзя: одно колесо висело криво, как сломанная рука. Кто-то из шоферов добросил меня до ближайшего телефона.

Кому звонить среди ночи? Я позвонил Юрке. Понятия не имею, кому позвонил он, кто из многочисленных Юркиных друзей смог дать команду, но через час с небольшим подъехала милицейская машина, и ребята сделали все, что было возможно, — бесплатно! Юрку потом поблагодарил, но он только отмахнулся.

А самый памятный случай был такой. Я вдруг сообразил, что один из моих друзей вот уже год не звонит. На всякий случай позвонил ему сам. Жена ответила, что его нет.

— А когда будет?

— Не знаю.

— Но он в Москве?

— Нет.

— А где?

— Не знаю.

Тон у нее был холодный, как у секретарши, отрубаящей возможность следующего вопроса.

Через некоторое время с трудом выяснил — Андрей в лагере. Он работал на международной таможене и сел вот за что. Он был обязан изымать из посылок и сжигать запрещенные книги (к их числу тогда относились Агата Кристи и Сименон в подлиннике и даже альбомы Ренуара, Сезанна, Мане, Сальвадора Дали, не говоря уж о Шагале или Кандинском). А Андрей их не сжигал, а продавал. Его, на мой взгляд, вполне извиняло то, что у него были четыре несовершеннолетних дочери от двух жен и одной любовницы, и всех он кормил. Он был хорошо образован, знал пять иностранных языков, подрабатывал переводами, но ни зарплаты, ни приработков, конечно же, не хватало. На свою беду однажды он не сжег и зарубежное издание Солженицына. С учетом всех обстоятельств ему дали семь лет.

Встретился с матерью Андрея, старой учительницей. Она была вся в судебных делах, надеялась на адвоката и просила ничего не предпринимать, чтобы не испортить. Вскоре выяснилось, что портить нечего: во всех инстанциях приговор оставили в силе.

Теперь руки у меня были развязаны, и я обратился в последнюю инстанцию: позвонил Юрке.

Юрка тогда уже перешел в “Литгазету”, уж не помню, кем числился. Впрочем, это не важно: после нескольких очень ярких статей у него появилось имя, и везде, где он с тех пор работал, он числился Щекочихиным. Юркиной постоянной темой был криминал, и я спросил, не может ли он устроить мне встречу с кем-нибудь, способным облегчить участь арестанта. Дня через три Юрка отзвонил и дал нужный телефон. Еще через неделю я сидел в большом кабинете в центре Москвы напротив генерал-полковника, тогдашнего руководителя то ли ГУЛАГа, то ли органа с иным названием, но той же сутью.

Генерал слушал внимательно. Я рассказал все, что мог. И про мягкий характер Андрея, и про четырех дочек, и про двух жен, которые отказались от осужденного, и про любовницу, которая поехала в лагерь, чтобы расписаться с заключенным. Честно сказал, что в юриспруденции ничего не понимаю, приговор не оспариваю, но считаю, что в интересах государства, чтобы человек, знающий пять языков, не шил варежки в Заполярье, а, скажем, преподавал французский и испанский в какой-нибудь высшей школе МВД, пусть даже в статусе арестанта.

Лицо генерала ничего не выражало, он ни разу не кивнул, не усмехнулся. Потом холодновато спросил:

— А почему вы, собственно, его защищаете?

Я ответил:

— А если бы ваш друг попал в беду, вы не стали бы его защищать?

Пауза длилась секунд тридцать. Потом генерал сказал:

— Вы правы — такому человеку в тюрьме не место. Я наведу справки.

Через месяц Андрей был дома. А Юрка — Юрка опять отмахнулся от благодарностей. Это была его манера: в сентиментальные моменты он ухмылялся.

Мог бы вспомнить еще несколько случаев, но это будут уже повторения.

Став депутатом, Щекочихин помог несметному количеству людей. А скольких наших солдатиков он вызволил из чеченского плена! Ему отдавали ребят без выкупа, порой без всяких условий. Почему? Думаю, причина была проста: его абсолютное бескорыстие укоряюще действовало на человеческую совесть...

В любой сфере жизни есть свои гении. Есть ли гении в дружбе? Если нет, значит, Юра был исключением из правила. Единственный гений дружбы, кого я знал.

За все в жизни приходится платить. За свой уникальный талант Юрка заплатил сполна. Были две семьи — обе распались. Многолетняя бездомность проводила его почти до могилы. Время, необходимое хотя бы для минимального устройства собственного быта, растаскивали друзья: все товарищеские обязанности он выполнял свято.

Хорошо это или плохо? Бессмысленный вопрос. Он был таким — и другим быть не мог. Не дружить для него было, как для Шаляпина — не петь.

Мне кажется, дело тут вот в чем. Судьба отвела Юре короткую жизнь, но очень долгую молодость, которая так и не кончилась до последнего его часа. В восемнадцать лет он вел себя, как восемнадцатилетний: все мысли о друзьях, о справедливости, о человечестве. И в пятьдесят три он вел себя, как восемнадцатилетний: все мысли о друзьях, о справедливости, о человечестве. Можно назвать это инфантильностью. Но на такой инфантильности держится мир.

На похоронах в Переделкине некуда было приткнуть машину. Огромная толпа заполнила и шоссе, и окраину кладбища, где хоронят в последние годы, и прилегающую к ней сырую низину. В толпе было много узнаваемых лиц и несчетно — незнакомых. Знал, конечно, что у Юрки много друзей, но что столько...

Было пасмурно. Под временным навесом, у гроба, тесно стояли лидеры “Яблока” — Явлинский, Иваненко, наш общий с Юркой давний друг Володя Лукин, еще кто-то. Четыре или пять телекамер снимали траурное действо.

А в гробу лежал девяностолетний старик с морщинистыми, впалыми, бесцветными щеками. От Юрки в нем не было ничего.

Умер он в Кремлевке, в реанимации, диагноз поставили — аллергия. Что за аллергия, какая? Так раньше в деревнях говорили: умер от хворобы. Аллергия бывает разная — на цветочную пыльцу, на кошачью шерсть, на красные ягоды. У миллионов людей была стойкая аллергия на советскую власть. А на что была аллергия у Юрки?

Ни у меня, ни у множества наших общих друзей сомнений нет: аллергия была на яд.

Надя, бывшая Юркина жена, ездившая с сыном в морг, рассказывала, что у Юрки почти полностью вылезли волосы. В детективах (а откуда еще наша криминальная эрудиция?) этот симптом говорит об отравлении таллием. Может, и не таллий, но уж точно не кошачья шерсть.

Кому была нужна Юркина смерть? Когда человек занимается журналистскими расследованиями, причем честно и бесстрашно, некрологи с его портретом вздох облегчения вызовут у многих. Кто знает, какие документы остались не проанализированными, а какие статьи — не написанными. О том, что Юрке угрожали, я узнал несколько месяцев назад: Надя сказала, что в их с Димой квартире установили охрану. Я позвонил Юрке и предложил на пару месяцев поселиться у меня на даче — кому придет в голову искать его там? Юрка, как всегда, отмахнулся: все в порядке, все под контролем, охрана есть, хотя она и не нужна. В нем всегда было что-то от дошкольника, который знает, что смерть в принципе существует, но не для него с мамой...

Спрашивать, почему Юрку убили, наивно. Разумней другой вопрос: почему его не убили раньше?

У меня есть предположение, которое может показаться несерьезным, и все-таки его выскажу.

Невидимый и очень условный ореол святости худо-бедно, но защищает. Даже в тюрьме убийцу детей могут придушить прямо в камере, поэтому бандиты стараются не трогать малолеток. А святые в чем-то сродни детям: так же беззащитны и так же охраняемы народной если и не любовью, то жалостью. К тому же даже у самых оголтелых безбожников порой шевелится под ложечкой едва ощутимый страх перед расплатой за совсем уж явную подлость.

Ну что стоило Борису Годунову казнить юродивого Николку? Что мешало кремлевскому вырожденку, уничтожившему пятьдесят миллионов соотечественников, убить еще и гениального Пастернака? Почему коммунистическая камарилья сослала Сахарова в Горький, а не в мордовские лагеря? Что-то ведь сдерживало всевластных диктаторов.

Юрка был до такой степени добр, широк и открыт, что я просто не могу себе представить его личного врага. А ведь не так просто поднять руку на человека, к которому не испытываешь никакой личной вражды. Видно, какую-то мразь Юрка слишком уж достал. Почему-то кажется, что мразь эта кончит плохо.

...Должности, ни депутатские, ни журналистские, от забвения не спасают. Долго ли будут помнить этого невероятно дружелюбного, слегка заикающегося парня с удивительным чувством юмора и беззлобной детской улыбкой?

Сороковины по Юрке справляли в Доме журналиста. В зале на триста мест тесно не было. Телевидение отсутствовало. Из депутатов не пришел никто. Явлинский прислал телеграмму...

Григорий ЯВЛИНСКИЙ

ОН ЧУВСТВОВАЛ ВРЕМЯ И ЕГО ЭПИЦЕНТР

У Юрия Щекочихина было особое чутье.

Он стал журналистом не только потому, что обладал даром слова. Он выбрал журналистику, когда действовало особое обаяние шестидесятничества, а вера в слово и его действенность была очень сильной.

В Щекочихине всегда была настоящая свобода русского интеллигента: лихость и одновременно сосредоточенность, умение слушать свой внутренний голос.

Он стал депутатом, когда показалось, что его читатели составляют серьезное большинство, и снова поверилось, что правда, зазвучав, сможет остановить разрастающуюся коррупцию и ложь и сделать жизнь лучше.

Его депутатство было продолжением журналистики. Да и не был он политиком в полном смысле слова. Просто, став депутатом, он получил новые возможности — быть еще больше человеком, еще лучшим журналистом. Однажды он опубликовал, что говорил на закрытом заседании фракции один крупный чиновник. Щекочихину пришлось выдержать непростой разговор с коллегами-депутатами. Он даже не защищался, а просто объяснял, что такое настоящий журналист. Статью прочтут сотни тысяч человек, и это было для него важнее политических шахмат.

Щекочихин был по-настоящему смелый человек, он ввязывался в очень опасные дела, понимая, чем ему это может грозить. Никакие угрозы не могли его остановить. И это знали все.

Он прожил жизнь с теми, кому было трудно. Он писал о подростках, которых бросила дряхлеющая советская власть, которые были ей не интересны. Потом эти же мальчики пошли в Афганистан, их младшие братья — в Чечню. А он ездил в Чечню вытаскивать наших пленных.

Он писал о том, что не дает людям жить свободно: о коррупции, о государственной машине, которая все хочет нас переехать, о чиновниках, которые не только мешают делу, но убивают самую веру в нормальную жизнь в России. Но при этом он хорошо знал людей и находил болевые точки, одинаковые для всех. Поэтому с ним разговаривали и единомышленники, и те, кто по разным причинам оказался по другую сторону.

Какой-то чеченец однажды сказал Щекочихину: “Мы последние, с кем еще можно говорить. Мы выросли и получили образование в СССР”. Эти слова Юрий Петрович очень ценил. К этим, рожденным в СССР, он и обращался на страницах “Комсомолки”, “Литгазеты”, “Новой”, с экрана телевизора, с театральной сцены.

Он считал, что самое главное — это то, что останется. А останется то, что ты напишешь.

Юрий ДАВИДОВ КУМОВЬЯ НА ХОЗЯЙСТВЕ

(Из предисловия к книге Ю.Щ. “Рабы ГБ”, 2000г.)

*При куме не жить, а без кума не бывать.
Пословица*

Сюжеты и темы Юрия Щекочихина предваряет, так сказать, история вопроса. Краткая.

Юрист и публицист прошлого века Б.Н. Чичерин сетовал: “Если есть начало, которое во всей русской истории было в загоне, так это право. Поэтому оно имеет мало корней в народном духе”.

Есть и “начало”, никогда не пребывавшее в загоне. Напротив, обгонявшее все прочие, как чудо-тройка. Оно молодецки сформулировано щедринским помпадуром: “Я поручаю вам докладывать мне обо всем! Вы должны проникать всюду! Вы должны быть везде — и нигде. И помните, что я не умею быть неблагодарным”.

Офицеров тайного сыска прежде называли “тольпанами”. Сей изысканный звук давно сменился менее изысканным и более простодушным — “кум”. Словарь “Русская феня” толкует: оперуполномоченный в местах лишения свободы. Уточняя. Поскольку лишённые свободы распространились от финских скал до пламенной Колхиды, то и кликуха оперов-чекистов расползлась повсеместно.

Еще в финальных бумагах годин Николая Первого встречаешь термин “органы”. Органы ли создали функции или функции создали органы — вопрос здесь, пожалуй, лишний. Вопрос о внештатных сотрудниках органов не только не лишний, а вплотную прилегает к текстам Юрия Щекочихина. Выражаясь неделикатно, речь идет о стукачах, без которых куму не обойтись, но и им без кума не бывать.

Упомянутый Щедрин рассмотрел особенности доносчиков разных стран. И выявил самобытность нашенских. Никогда толком не знают, какую, собственно, информацию выдавать шефу. Все валят в кучу. Пугаются пустяков. Лгут искренне. Начинают с выпивки, и, постепенно перенимая образ мыслей наблюдаемого, случается, что сами же, к собственному удивлению, попадают на каторгу. Очень любят, чтобы их разумели людьми благородными.

Партия нового типа влила в старые мехи новое вино. Новаторы осенялись не законностью, а целесообразностью. Нравственность и мораль была у них особенная — пролетарская (вот она, геометрия калужская или рязанская!). Практика взметнулась широко и высоко. Она и теперь восхищает тех, кому охота полизать крови, — скандируют: “Сталин! Берия! ГУЛАГ!”.

К этому абрису прибавлю два-три штриха. Они имеют отношение к сюжетам Юрия Щекочихина.

Страна знает своего героя. Павлик Морозов донес на отца родного.

Этот пионер — всем пример вызывает и жалостливое сожаление, и безжалостное осуждение. В нем видят жертву коммунистического воспитания, коммунист-

тического идейного воздействия. Не совсем так. Или совсем не так. И похоже на умозаключение раскулаченного мужика-переселенца. Встретился ему корабль пустыни — двугорбый верблюд, и мужик ахнул матерно: “Ну, Совдепия, до чего ж лошадь-то довели!”

Нет, павликов не довели — павликов вывели. Из Семнадцатого века после Семнадцатого года. Еще на допетровской Руси в сферу доносительства включался и ближайший родственный круг. Отец и мать, дядя и тетя. Недоносительство каралось смертью. Почва произвела Морозовых... Режим кремлевских вождей и вождей — клонировал.

Дух доносительства веет где хочет. Душа доносителя... Зубатова надо бы вспомнить добрым словом, Зубатова; в начале века Сергей Васильевич руководил политическим сыском. Не только знал толком дело, но и умел читать в сердцах. Внучал подчиненным: вы, господа, должны смотреть на сотрудника (то бишь стукача. — Ю.Д.) как на замужнюю даму, с которой вы находитесь в связи. Берегите его. Помните: как бы он честно ни работал, наступит момент психологического перелома. Ему тяжело. Отпустите его, устройте на легальное место — и хлопните пенсию... Каков начальник особого отдела?! Поищите-ка аналог. Ю.Щ. не нашел.

И вот еще что. Горький после Октября опубликовал рассказ “Кошмар”. В ответ получил письма-слезницы стукачей, бывших в употреблении. Читая, сокрушался: скверно грешат на святой Руси; каются в грехах и того хуже.

О кошмарах писал и Ю.Щ. И тоже получал письма стукачей, вышедших в тираж. Писем набралось немало. Ведь заагентуривание длилось десятилетиями. Можно сказать, продолжением ленинского призыва — Ильичевым указанием каждый коммунист был обязан самозачисляться во стукачество, в пособия и подсобники чекистов.

От каждого по способностям, каждому — по труду? Ну, стало быть, и каждому советскому человеку — достойное досье. Такая сыскная энергия требовалась, что одной Волховской ГЭС не обойтись.

Кому до чего, а куму до всего. И никакой возможности следовать совету Зубатова. Да и то сказать, прав Владимир Ильич, прав: ты по головке погладишь, а тебе руку откусят. Нет, не лаской правили кумовья на своих хозяйствах, а таской. Главной методой было на испуг взять, утратить, пригрозить: откажешься — пеняй на себя. Но и посулы, обещания в ход пускали. И к патриотизму зывали, к чувству долга. Один сознательный комсомолец действовал под псевдонимом Корчагин. Другой объяснял Ю.Щ.: меня ж воспитывали в пионерской дружине им. Павлика Морозова. Третий ссылался на необходимость доказать, что он честный помощник партии. Четвертый, насупившись, брови сдвигал: владели мною высокие помыслы о безопасности страны, государства. И прибавлял: я-де занимался политическим сыском по линии 5-го, идеологического, отдела КГБ.

“Идеология”! К понятиям “патриотизм” и “гуманизм” она присмолила знак качества — “советский”. Она требовала поглощения “я” огромным “мы”. Она ра-

створила “совесть”, “честь” в некоей кочующей туманности. Помню старого офицера-артиллериста из юнкеров, наказанного Особым совещанием при ГБ, — развел руками, покрутил головой: “Нет ни совести, ни чести, все с г..м смешалось вместе...”.

Проза, известно, требует мыслей. И очерки Ю.Щ., и его повесть “Жизнь после” написаны подлинной прозой. Наблюдения глубоководные. И в мыслях, и в наблюдениях присутствует сострадание. Автору жаль раздавленных, “опущенных” в кумовских хозяйствах.

Да, это было при нас, это с нами вошло в поговорку. Циники в камуфляже народных заботников зовут-зазывают, манят-приманивают “ехать на обратных”. Черт бы с ними, когда бы в ответ презрительно роняли: “Ша-алишь!”. Ан нет, не слышать. То ли по слабости ума не сообразят: а куда, собственно, “на обратных”-то доедешь? То ли, страдая нравственным слабоумием, согласны именно туда и приехать. Многих ли из них уврачует Юрий Щекочихин? Не знаю. И не очень-то надеюсь. Одно хочу повторить: он не злобу дня описывал, рассматривал пристально, а написал злободневное.

Алексей СИМОНОВ

ПРОФЕССИЯ – ОТВЕЧАТЬ ЗА СЛОВА

Помните загадку-обманку: что тяжелее — пуд пуха или шестнадцать килограммов свинца? Такая же обманчивость видимого и сущего присутствовала в Щекочихине: он был собой, и только собой, но мог казаться легковесно порхающим и тяжеловесно-основательным — как смотреть.

Щекочихин, Щекоч, — щегол, “в обличьи нечто птичье”, по Тарковскому. Он все время не сидел на месте. Готовность оказаться не тут, не там, а неизвестно где — постоянная.

“Старичок, я в...”. Дальше — Страсбург, Ирбит, Рязань, Нью-Йорк... — что угодно могло прозвучать по его мобильному, привязавшему его к течению дней, как леска — воздушного змея. Он постоянно был везде, и поймать его было делом почти невозможным. Но при этом — постоянство в принципах и привязанностях, редкое в наше время.

Такая же пухово-свинцовая загадка для меня — щекочихинское депутатство. Мне всегда казалось странным, когда прожженные профессионалы по своей воле претендуют стать дилетантами. Ибо, пока они командуют производством, ловят жуликов или выводят формулы, они отвечают за дело, переходя в депутаты — только за слова. И этот переход странен мне. Но ведь профессией Щекочихина и было: отвечать за слова. И до всякого депутатства. И, как он ни старался, к депутатской униформе — костюму-галстуку — так и не притерпелся, она ему как с чужого плеча.

Мне казалось, что Щекочихин был всегда, поскольку его и его имя я встречал везде, а когда познакомились, оказалось, что он — совсем молодой, на десяток лет меня моложе. Как он при своем известном легкомыслии так прочно укоренился в нашей жизни, в нашей любви, а теперь, увы, в нашей памяти — все та же загадка.

Когда 3-го июля рано утром мне сообщили о его смерти, “умер” даже не слышалось, слышалось: убит. Умер — это так не по-щекочихински...

Александр РИГИН

КОМУ – ЛУНИН, А МНЕ — ЩЕКОЧИХИН

Есть такое понятие: способность наживать врагов. Ее даже характеризуют как удивительную.

Хотел безапелляционно заявить: у Юры была обратная способность — наживать друзей. Да призадумался: а кого у него было больше?

В июле 2003-го я был в командировке в Ивановской области. И в славном городе Кинешме на берегу Волги мой собеседник, излагая проблемы, стоящие перед его отраслью, вдруг сказал:

— Вот мне бы встретиться с Щекочихиным...

До этого фамилия не упоминалась в разговоре ни разу. И когда я сказал, что такую встречу можно попытаться организовать, у человека появилась откровенная надежда:

— Seriously?!

Я вернулся в Москву поздно вечером и, чтобы не прослыть пустобрехом, собирался связаться с Щекочихиным на следующий же день. Но утром позвонила Раиса Степановна, мама Юры, и сообщила, что он лежит в ЦКБ без сознания и под капельницей. Она плакала. Я пробовал выяснить, что с ним, но Раиса Степановна только повторяла:

— Говорила же ему: брось это депутатство. Сколько можно? Разве это нормально, когда дети вынуждены ходить в школу под охраной?! Живи, как люди...

Я вспомнил нашу последнюю встречу на пятидесятилетии Павла Гутинтова.

Мы столкнулись с Юрой у стола, и он сказал как ни в чем ни бывало:

— Устал по-страшному... Не знаю даже, идти ли на новый срок. А? Поехали ко мне в Переделкино, поболтаем...

Но у меня на тот вечер были другие планы, и мы договорились встретиться в ближайшее время, не уточняя, когда именно.

И он уехал с могучим охранником, который ходил за ним неотступно.

...В редакцию меня привела мама. В журналистику — он. Было еще связующее

звено — знакомый знакомых, ветеран “Московского комсомольца” Роман Александрович Карпель, которому явно было не до меня (в соседней комнате — но это я понял много позже — уже разменяли чей-то гонорар). Поэтому он быстро открыл дверь с табличкой “Отдел учащейся молодежи” и втолкнул меня туда:

— Юра, направь на путь истинный этого талантливого школьника!

Фраза звучала достаточно двусмысленно. И насчет таланта тоже. К тому моменту я самостоятельно не написал ни строчки. Но это обстоятельство ничуть не смутило молодого человека в свитере с поперечными белыми и черными полосами — почти моего ровесника, проработавшего в “МК” сразу после школы всего полгода.

— Привет! — сказал он и протянул руку.

Надо заметить, что “Отдел учащейся молодежи” того разлива был одним из самых самонадеянных в газете. Заведующий отделом Юрий Максимович Некрасов брался за две недели научить писать табуретку. Его заместитель — поэт Александр Аронов — грозился, что сделает это за месяц. Щекочихин тоже оценивающе глядел на меня и, по-видимому, решал, сколько времени понадобится на это неблагодарное занятие ему...

Так что “путь истинный” начался с прогулки по Чистым прудам, где в 1967 году располагался “Московский комсомолец”, а нынче обосновалась “Новая газета”, в которой Юра работал до последнего времени заместителем главного редактора.

У метро “Кировская” (сейчас “Чистые пруды”) мы ели его любимые длинностовольные пирожки “с котятами”, и он взахлеб рассказывал о декабристе Михаиле Луние, о ком в учебнике истории не было и, кажется, нет по сей день ни строчки, а он уже тогда собирался писать повесть.

Это он познакомил меня с замечательными поэтами Николаем Глазковым и Игорем Губерманом, которые навещали Александра Аронова. Это он открыл для меня Слуцкого, Межирова, Матвееву, Мориц, Левитанского — и так далее до бесконечности. Аронова, кстати, он цитировал на каждом шагу. И при малейшей возможности пел его песни. Он вообще любил петь под гитару, хотя я, положа руку на сердце, никогда не был в восторге от его исполнительских способностей. А вообще-то он играл на аккордеоне и даже окончил музыкальную школу. Но почему-то скрывал это.

Короче, повадился я в редакцию. Привозил непутевые заметки о школьных мероприятиях, которые Щекочихин переписывал “от и до” в своем коронном стиле — короткими рублеными фразами — и публиковал их в “Сверстнике”, странице для старшеклассников. А потом мы шли “по пирожкам”, в кафе “Московское”, где я впервые попробовал коктейль с замечательным названием “Шампань-коблер”.

Я даже сидел с ним за компанию на лекциях в аудиториях факультета журналистики МГУ. Но это случалось редко, так как Щекочихину было не до занятий. Он утверждал: образование факультет дать может, писать — не научит никогда. Поэтому и учился, наверное, лет десять.

Меня тянуло к Щекочихину, как младших всегда тянет к старшим. Мне казалась

недостижимой эта его самостоятельность, уверенность в себе и в своих поступках, умение сходитьсь с людьми много старше по возрасту.

В общем, кому Лунин, а мне — Щекочихин. Думаю, ему это тоже было лестно. Он стал меньше править мои материалы — правда, я приносил ему уже готовые рубленные фразы о школьных мероприятиях. Еще и потому, что они не требовали особых знаний пунктуации. Точка — и все.

Я не знаю, сколько людей привел в журналистику Юра. Но то, что я был первым, — это точно. Стоило мне закончить школу, как он стал капать на мозги Аронову и Некрасову: возьмем Ригина “на гонорар”. Те упирались. Некрасов утверждал, что мебели и так хватает. Аронов доказывал, что кабинет не резиновый. Но это были попытки с негодными средствами. Если Щекочихин что-то для себя решил, будьте уверены...

Про себя он говорил:

— Я — тамбовский волк...

Уж не знаю как волк, но что тамбовский — к бабке не ходи. Корни его — в городке Уварово.

Как-то после зарплаты мы — Юра, Вик Руденко и я — оказались на Павелецком вокзале, потом всю ночь тусовались в общем вагоне, чтобы наутро приятно удивить Юрину тетушку Дусю и Юркиных друзей-тамбовцев.

Губерния, матушка, тетушка — именно так он говорил.

С родителями Щекочихина я познакомился на его восемнадцатилетие. Они жили в кирпичной пятиэтажке в Очакове. В однокомнатной квартире общей площадью 24 метра. Поэтому Юркино кресло-кровать раздвигалось на ночь в коридоре. Он и приезжал туда только на ночь. По крайней мере, на моей памяти. Все остальное время проводил на работе или у друзей.

Петр Григорьевич Щекочихин работал главным инженером в престижном институте. Раиса Степановна — в соседней школе учителем русского языка и литературы, потом — завучем. Я недолго искал их дом. Из распахнутого окна на высоком первом этаже раздавались тягучие звуки аккордеона. Того самого, которого Юра стеснялся, но по случаю праздника растягивал меха по заявкам родителей. Потом, когда родители улучшат свои жилищные условия и получат однокомнатную квартиру в Матвеевском, эта станет нашей штаб-квартирой под кодовым названием «крейсер “Очаков”».

Назовите мне хотя бы одного московского журналиста, кто не ночевал, а то и просто не жил на Крейсере! Лично я ночевал там со своими будущими женами до свадьбы и месяцами — уже без них — после развода. Я знал, где лежит общаковый ключ, а мое спальное место было на кухонном диване. Если по какой-то причине оно оказывалось занято — искали варианты.

Друзья для Щекочихина были всем. Я не скажу, что он не любил домашний уют, но в семейный интерьер постоянно вклинивались мы. Что создавало определенные трения в личной жизни.

...Я не заметил, когда Щекочихин стал старше “Сверстника”. Когда ему стал тесен китель капитана “Алого паруса” и он отправился на поиски взрослой правды. У него появились друзья из МУРа. А однажды он сказал мне:

— Ты знаешь, у меня такое впечатление, что мою квартиру кто-то обыскивал...

Я не помню, что ответил. Но четко помню, что подумал: у парня мания величия. Я даже представить себе не мог, что вот этот Щекочихин, с которым я запросто, который так доступен, может знать какие-то государственные секреты. И не просто знать, а пытаться поделиться ими с огромной читательской аудиторией. Что, естественно, никак не вписывалось в планы героев его будущих статей и очерков.

...На поминках в Доме журналистов, где народу было немерено, за наш стол подсел еще один из опоздавших, незнакомый мне человек. Все были навеселе (если это слово уместно на поминках), и я спросил в лоб:

— Вы кто?

— Следователь, — ответил он. — В последнее время мы с Юрой раскручивали...

И он назвал известную фирму, в отношении которой уже громогласно возбуждалось уголовное дело, да, как всегда, тихо заглохло на тормозах. Мы выпили еще по одной, потом еще...

— Несколько недель назад, — сказал мой собеседник, — погиб еще один из свидетелей. Теперь, без Юры, дело дрянь...

...За ночь до смерти Юры Раиса Степановна позвонила мне:

— Ну, слава богу, Юре стало лучше. Вот выздоровеет, соберемся все у меня...

А рано утром раздался звонок Паши Гутионтова:

— Юра умер...

И знаете, что сказала мне Раиса Степановна, когда я позвонил ей со своими идиотскими соболезнованиями?

— Ты, Саша, мужайся...

Пытаюсь.

Алексей ГЕРМАН, Светлана КАРМАЛИТА

КОГДА ЕГО ПУГАЛИ, ОН ТОЛЬКО ХМЫКАЛ

Мы познакомились больше тридцати лет назад с молодым мальчиком, основная цель жизни которого была принести как можно больше пользы своему народу и по возможности отхлестать по щекам его губителей.

Мы жили в разных городах и виделись нечасто. Как правило, он приезжал к нам перед поездом. И, конечно, мы говорили о разном. Но главной всегда была для него та же самая тема. Его жизнь почти все время подвергалась опасности. Гово-

рил он об этом легко. Мы были свидетелями, как ОМОН, который должен был сопровождать его, просто не приехал и Юра уехал на “Жигулях” — “копейке”.

Он был блестящим журналистом. Мы не знаем, сколько людей, так необходимых стране, как он, существует где-то на ее просторах, но знаем, что очень немного.

Когда мы говорили ему об опасности, он вообще не смеялся, а хмыкал. И как-то в этот момент один из нас подумал и сказал на кухне, что таким бы снимал “Очарованного странника” — пронзительные строчки оттуда: “Мне за народ очень помереть хочется”. Мы лишены в нашем семейном существовании пафосных выражений и восклицаний, но если можно про кого-то сказать: сложил свою жизнь на алтарь Отечества, то это про маленького Юру.

Рассказывал нам Юра мало, но все-таки что-то рассказывал. Когда рассказывал, начинал гораздо сильнее заикаться — даже еда изо рта летела. Один из нас — режиссер. И есть у него такое неприятное свойство — больше всего неприятное для него: как-то так получается, что он ощущал судьбу человека, по глазам больше. На этом сделаны, кстати, и фильмы. Так вот, ему было подлинно, как ему казалось, ясно, что Юру убьют.

Может есть и другие люди, храбрее. Он этого не знал, но когда смотрел на Юру, часто это чувство поднималось откуда-то, из желудка.

Сейчас об том говорят вслух.

Мария ДЕЕВА

ДРАМАТУРГ СВОЕЙ ЖИЗНИ

Загадочная штука память. Будь я психологом, может, и нашла бы объяснение тому, почему память вдруг выплескивает на свою поверхность нечто, казалось бы, давно и прочно забытое — и, наоборот, как ни копаешься в собственном прошлом, ни за что не подскажет то, что очень нужно, просто необходимо вспомнить. Память избирательна и часто несправедлива. Как же хочется, чтобы память о Юре была другой: честной, лишеной приукрашивания, чем грешило наше прошлое, и чуждой разоблачительной спекуляции, буйно цветущей сегодня.

Он ушел, и стало очень важно рассказать о нем. Но вот беда: все, что знаю и помню, не укладывается в логическую цепочку воспоминаний, не следует одно из другого. Нежность сменяется обидой, понимание — отчужденностью, радость общения — молчаливым одиночеством. Таков он был. Существование рядом с ним было одновременно и большим счастьем, и непосильной ношей.

Мы встретились во времена, которые принято называть далекой юностью. Ему было 25 (ровно столько, сколько сейчас нашему сыну), мне едва исполнилось 20.

Крохотная квартирка в Очакове, о жизни в которой сейчас вспоминают все, кто знал Юру много лет, являла собой пример абсолютно безразмерного жилища. Его друзья числом, стремящимся к бесконечности, не просто умещались в Очакове — они жили там. Чего только не происходило в стенах Юркиного дома: встречи, разлуки, открытия, влюбленности, разочарования. Там пили сухое вино и пели под гитару, а еще много говорили о том, что, казалось, составляло смысл наших юных жизней. В любое время суток сюда могли приехать люди и с противоположного конца Москвы, и из других городов. И во всем том человеческом калейдоскопе Юра чувствовал себя совершенно комфортно. А если вечер вдруг оказывался не заполненным голосами, он кидался к телефону и звал, звал, звал к себе “на крейсер”.

Много лет спустя я размышляла над природой его огромной потребности в общении, потребности, которая превосходила возможности любого другого человека. В то очаковское время он написал свои первые пьесы — “Адрес: подворотня”, “Продам старую мебель”, мечтал написать о декабристе Лунине, придумал “Ловушку”. Будучи журналистом от бога, на мой взгляд, он должен был стать и потрясающим драматургом. Есть несколько причин тому, почему драматургия как писательство ушла с годами из его жизни. Но не о том сейчас речь. Он был Драматургом, еще не начав писать пьесы и уже перестав их писать. Он строил свою жизнь, как многоактную пьесу со множеством героев, главных и второстепенных, и люди, окружавшие его, часто и не подозревали, как необходимы были ему — Драматургу. Господи, как прекрасна и как тяжела была эта жизнь “в свете ramпы”, которую он выбрал для себя и которой жил до самого последнего часа!

Он никогда не был банален в общении. Он не был банален, делая добро. Когда оставлял ночевать тех, кому некуда было идти, и устраивал на работу тех, кого выгоняли отовсюду, он делал это как само собой разумеющееся, никогда не ожидая ответных благодарностей. Такова была фабула его удивительной пьесы.

У него было любимое определение — “мой близкий товарищ”, под которое подпадали очень многие. Что вкладывал Юра в эти слова, известно было только ему самому. Бывало, люди, наделенные этим титулом, вовсе о том не подозревали, а потому и не соответствовали ему. Но Юрка верил своему определению, так же, как верил своим героям. Случалось, герои выбивались из драматургических рамок и вели себя совсем не так, как хотелось бы. Его предавали и обманывали. Он переживал, может быть, острее любого из нас. Ему самому многое нужно было прощать. Но как можно что-то простить или не простить Драматургу, талант которому дан свыше? По счастью, рядом с ним всегда оставались люди, которые хорошо это понимали.

Было в нем и то замечательное качество, которое французы называют словом *charme*. Человек, попавший единожды под его обаяние, пребывал в этом состоянии уже до конца. Наверное, это помогало в жизни, но он никогда не пользовался этим сознательно, ради какой-то цели.

Его поход в политику представлялся многим одним из катаклизмов перестро-

ечного времени, в которое он был погружен, естественно, с головой. Возможно, отчасти это так. Но, по-моему, есть тому и другая причина. Драматургия новой жизни требовала публичности, не показушной и пустой, а наполненной смыслом созидания. За плечами уже были сорок с лишним лет, журналистское имя, книги и фильмы. С его депутатства без всякого антракта начинался новый акт. Но политиком в чистом виде он так и не стал: он не мог им стать, слишком честен был для этого дела. Скольким его антигероям хотелось найти компромат на депутата Щечихина! Однажды сказал:

— Ну что эти гангстеры могут на меня нарыть? Денег не беру, в баню не хожу. Иногда водку пью. Ну и что из того?

Статус политика был важен для дела, для многих дел. Война в Чечне, эта идиллическая война (Юркино выражение!), на которую попал, а вернее сказать, попал много раз, будучи парламентарием и оставаясь журналистом. Он пропустил ее через себя и написал книгу. “Забятая Чечня” — последнее, что вышло (успело выйти!) при его жизни.

Он возвращался из командировок и сразу же, как всегда, собирал друзей, чаще всего на маленькой даче в Переделкине, которая, как и всякое его жилище, поражала вместимостью вопреки законам физики. Обожал всех со всеми знакомить.

Случалось и мне быть в числе знакомящихся. Обычно это выглядело так. Сначала Юра клал ладонь на сыновье плечо, поскольку до шеи дотянуться уже не мог:

— Это мой сын Костя.

Затем вперед выводил меня:

— А это мама моего сына Кости.

И завершающим аккордом звучало:

— А это муж мамы моего сына.

Далее по законам жанра следовала немая сцена. Драматург был в восторге...

В день Юриных похорон “Новая газета” вышла с его большим портретом на первой полосе и набранной крупно шапкой: “ВСЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ”. Первое слово все время читалось с буквой “Е” в конце. Потом оказалось — не только мной.

Он умер от загадочной скоротечной болезни, истинную причину которой по сей день не знают даже самые близкие.

Занавес упал. Закончена пьеса. Ее автору теперь несут цветы на переделкинский погост. А мы, его герои, остались в кулисах. Навсегда.

Владимир ГУРКИН

ЮРКА — ДЯДЯ ГИЛЯЙ

Жил и работал я тогда в Омске, а в Москве оказался по поводу постановки моей пьесы «Любовь и голуби» в «Современнике». Встретились с Юрой в кабинете

завлита Гали Боголюбовой. Она-то нас и познакомила. «Попали» друг в друга сразу. От Юркиной приветливости, безыскусственности в поведении и, как мне показалось, его странно-обаятельной застенчивости на сердце стало легко и просто. Закрепили знакомство застольем, вернее, «наскамейством» — пиروвали на скамейке на Чистых прудах — и до моего отъезда уже почти не расставались.

Господи, сколько ж мы тогда намотали километров, барражируя по Москве? Бродили и днями, и ночами, почти до изнеможения. Юрка показывал, рассказывал, открывал глаза провинциалу на не очень видное, на не очень вероятное. Словом, стал моим «дядей Гиляем». Ему нравилось, когда я его так называл. Начали мы с булгаковских мест. Как-то на Садовом нарвались на скандал с соседями «нехорошей квартиры». В результате этих путешествий возникло странное ощущение, будто бродишь не по громадному городу, а по своей родной квартире, только вместо потолка над головой звездное небо. Пожалуй, не было ночи, чтобы не забрели «на огонек» к кому-то из его друзей-товарищей.

...Да, а познакомился я с Юрой в «Современнике». Театр тогда, по-видимому, рассчитывал на него как на драматурга, но романа не случилось. Однако вскоре его пьесой «Ловушка № 46, рост второй» заинтересовался Центральный детский театр. Премьера прошла с большим успехом. Уверен, на поле острой социальной драматургии его ждало немало побед, но...

Журналист, а потом и политик победили драматурга — Юра предпочел не свидетельствовать, а решать проблемы, рискуя покоем, здоровьем, жизнью.

В начале восьмидесятых я убедился в этом воочию. Теплая октябрьская ночь. Летим с Юрой к нему в Очаково. Решили посидеть и хорошенько потолковать за жизнь. Юра разговорил таксиста — оказался интересный, с хорошим чувством юмора мужик. Таксист балагурит, мы смеемся, настроение прекрасное. Уже подъезжая к дому, Юра вдруг останавливает таксиста, расплывается и показывает мне на компанию парней:

— Видишь? Сейчас выходи спокойно, но быстро за мной вон в тот двор, дальше — бегом. Будем петлять. Только не отставай. Дома все расскажу.

Компания нас заметила: пока мы шли к темному двору, парни, приглядываясь и набирая скорость, двинули за нами. Бежали мы быстро и долго. Потом сидели на пенках в каком-то дворовом скверике под забором, курили.

— Знаешь, почему они нас не догнали? — спросил Юра.

— Почему?

— Быстрее бежали. Шучу... У них не было уверенности, что это я, а я был уверен, что это они. Вот почему.

Когда подошли к дому, увидели распахнутую створку кухонного окна. Сначала решили попасть в квартиру через окно, но передумали и осторожно прошли к подъезду. У подъезда нас встретила ватага знакомых Юре пацанов. Они взхлеб рассказали, что в квартире у него кто-то был, что сломан дверной замок, а они охраняют...

В квартире — полный раскардаш, все вверх дном. Юрка кинулся к столу, что-то лихорадочно стал искать. Потом схватился за голову. Потом начал бить себя кулаками по бедрам, по коленям, плюхнувшись на продавленный, со вздыбившимися пружинами диван.

— Документы, Вовка! Документов нет! Это п...ц!.. Надо выпить и сосредоточиться. Наливай.

Документы касались важного журналистского расследования.

Я налил.

Юра не был матерщинником, но сейчас это «п...ц» он повторил раз десять. И вот когда он взял в руку стакан с водкой и вдруг замер — как окаменел, я трухнул. Мне показалось, что он на грани и сейчас, вот-вот, случится самое страшное.

Но... Со стуком ставится стакан. Опять — кулаками по коленям, да еще и с подпрыгиванием на диване:

— Дурак! Дурак!

В глазах — радость, почти восторг.

— Дурак! — И, словно по секрету, от волнения чуть заикаясь: — Я их специально вчера не взял из редакции! Как чувствовал! На всякий случай! Вот дурак!..

Ах, как хорошо, как замечательно мы тогда проговорили до утра... Мне кажется, это была одна из самых радостных и вдохновенных Юркиных ночей, несмотря на погром.

Алексей БОРОДИН **НАШ ЩЕКОЧЕХОВ**

Невозможно себе представить, что из жизни уходит надежность. Потрясающая Юрина надежность — дружеская, человеческая.

Как мы ставили в ЦДТ в 1982 году его пьесу “Ловушка № 46, рост второй”! Это было время абсолютного смысла для театра: точно свежий ветер к нам ворвался с этой пьесой о подростках, о времени...

Мы были абсолютно уверены, уверены, как никогда, что делаем ДЕЛО, когда ставили эту пьесу. Четыре месяца дрались за спектакль: его не выпускали на сцену.

Потом ставили его пьесу “Между небом и землей жаворонок вьется”. И я помню, как ворвалась эта журналистская братия, поколение Щекочихина, команда Щекочихина, — в мою жизнь и в жизнь театра. С потрясающим понятием о чести! С потрясающей сплоченностью! С абсолютным пониманием: где — черное, где — белое. И в чем разница.

И это была вечная щекочихинская сверхмечта: чтоб была своя команда! Надеж-

ная. Готовая драться... Он и нас так называл: “Театральная команда... Ребята...”

Уже нет тех, кто так блестяще играл в его “Ловушке”. Ушли совсем молодыми. Нет Жени Дворжецкого. Нет Игоря Нефедова.

...А Женя Дворжецкий его тогда называл Щекочеховым. “Наш Щекочехов”.

Уход его — непонятный, страшный. И незаполнимый. Уходят — ум, ясность, честность. Я всегда его воспринимал как романтическую фигуру. Ту самую романтическую фигуру, без которой не существует театр!

И, как истинно романтический персонаж, жил он в сегодняшнем дне.

Елена ДОЛГИНА **ЮРА И ЕГО КОМАНДА**

Все начиналось, как всегда с Юрой. На этот раз идея возникла в ресторане ВТО. Юра сказал, что хотел бы написать пьесу, и рассказал содержание своей очень острой по тому времени статьи в «Литературной газете», которая называлась, кажется, «У озера»: о проблеме подростков — фанатов футбольных команд. И понеслось.

Поговорили с Алексеем Владимировичем, и Бородин увлекся этой идеей. А Юра очень быстро написал пьесу.

Пьеса оказалась по форме необычной, темы такой никогда раньше на подмостках детских театров не было.

Не сразу мы приступили к репетициям. Юра очень нервничал, потому что ему так хотелось начать!

Потом наконец начался процесс — репетиции пьесы «Ловушка № 46, рост второй». В это время к нам в Центральный детский театр пришли новые молодые артисты — Женя Дворжецкий, Леша Веселкин, Боря Шувалов, Игорь Нефедов... И это сразу составило компанию: застольную, удивительно дружную, интересную. Наверно, это был самый радостный процесс сотворчества. Потому что молодые артисты были увлечены пьесой, ее проблемами и, конечно, обожали Юру.

Дальше наступил второй, не менее замечательный, хотя и очень волнующий для нас момент — проблема сдачи спектакля. Как ни странно, мы вспоминаем об этом с особой радостью — как о времени полного единства. Юра часто говорил: команда. Ощущение команды при репетициях и выпусках было незабываемо.

И наконец-то спектакль вышел. Смотреть его приходили замечательные люди: Ролан Быков, Евгений Евтушенко, Александр Борщаговский, Юрий Рост... Наверно, равноценен Юриному литературному дару талант его человеческого общения. Люди вокруг Юры были значительны, талантливы, и вся атмосфера вокруг репетиций, сдачи, выпуска при всех трудностях была незабываема.

Спектакль пошел. Мы помним, как на него приходили футбольные фанаты. Каждый спектакль был акцией и для актеров, и для зрителей. После каждого было удивительное застолье, песни, гитара. Так Юра вошел в нашу жизнь, и расстаться с атмосферой радости общения и творчества нам уже было невозможно.

Возникла следующая пьеса — «Между небом и землей жаворонок вьется». Это тоже острая по тем временам и абсолютно актуальная сегодня пьеса. Проблема наркотиков, сложности подросткового возраста...

Потом у Юры стали выходить книги, он занялся политикой. Я один раз была в его депутатской комнате на Охотном ряду, и это был тот же Юра Щекочихин. В нем было удивительное совмещение гражданственности и влюбленности в людей и в жизнь.

В Институте культуры есть чеченский курс, который собрали благодаря Юре. Собрали молодых чеченских ребят и обучают их тут театру. Я знаю, что у них уже есть дипломный спектакль. Юра их опекал. Ему было очень важно, чтобы через культуру и общение возникало взаимопонимание. Он воспринимал всю ситуацию с Чеченской войной очень лично и делал все, чтобы повлиять на ситуацию и улучшить ее.

Те люди, с которыми нас свел Юра, остались с нами по сей день. То большое человеческое наследство, которое Юра нам оставил помимо радости сотворчества, забыть нельзя. Для нас потеря Юры Щекочихина — это не только потеря возможной новой пьесы. Это потеря любимого друга.

Владимир МОЗГОВОЙ **НАДО БЫЛО БИТЬ СТЕКЛА**

Надо было найти Щекочихина. Ничего другого не оставалось после беседы с непосредственным куратором, отвечающим за мою стажировку в “Комсомолке”. Которая предполагала последующее утверждение в должности собственного корреспондента по трем областям. Серьезное дело в серьезное время — начало лета 83-го.

Я отнесся несерьезно. Прилетел из Магнитогорска в свитере на голое тело, заросший, да еще и с бородой, некстати выросшей, пока валялся на больничном. Была пара часов, чтобы привести себя в порядок после неожиданного вызова, но что-то не сложилось. Куратор, сам недавно переехавший в столицу из еще более дальней глубинки, глядел строго и дал понять, что надо как-то соответствовать образу пишущего про комсомол будущего собкора, и вообще... “Старичок, сходи в Третьяковскую галерею. Может, с билетами во МХАТ поможем...”. Я со злости ответил, что, если есть проблема, могу помочь с “Мастером и Маргаритой” на Таганку. Глаза куратора стали белые. С моими перспективами все было ясно.

У первого попавшегося навстречу в коридоре юного существа наугад спросил, где найти Юрия Щекочихина. С полчаса назад мне не без удовольствия сообщили, что Щекочихин ушел из газеты. Но чем черт не шутит?

— Щекоч! — крикнуло существо в сторону открытой двери. — К тебе какой-то художник пришел!

Выскочил взъерошенный человек мультяшной внешности. Переспросил скороговоркой, хлопнул себя по лбу, затащил в кабинет и провозгласил:

— В Магнитке Леня Голицын поставил мою пьесу, а вот Володя про спектакль написал. И эту “антисоветчину” напечатали!

Я был слегка ошарашен.

Леня Голицын, бородатый неистовый культуртрегер из Магнитогорска, умрет за три месяца до смерти Юры Щекочихина — ровно через двадцать лет после их знакомства. Упадет с чашкой сваренных прямо в кабинете пельменей — и все.

А тогда он первым поставил “Продам старинную мебель” у себя в театре-студии “Диалог”. Играли в переделанном под театр бывшем хозблоке — напротив моего дома, через пустырь. Наив на сцене был страшный, искренность — полная. Это был парафраз знаменитой розовской пьесы “В поисках радости” (и не менее знаменитого фильма “Шумный день” с молодым Олегом Табаковым в главной роли — помните, где его герой, бунтующий против мещанства, рубит мебель?). На мой тогда уже, как мне казалось, просвещенный театральный взгляд пьеса “Продам старинную мебель” на высокую драматургию не претендовала, но автор был очевидно талантлив. Он очень походил на журналиста Щекочихина.

Случаются времена, когда искренность и интонация выше мастерства. “Мас-титым драматургом” Юра так и не стал — и слава богу (хотя более поздние вещи прописаны, наверно, лучше). А тогда он кинулся в драматургию, как... да как тот герой Виктора Розова — с шашкой наголо. Свежего воздуха не хватало. Не только драматургии. Надо было бить стекла.

Заметки мои были больше о пьесе, чем о спектакле, и назывались “Кое-что о пользе ремиссии” — по фразе героини (“всем нам нужна ремиссия...”). Может, для провинциальных цензоров подтекст оказался слишком глубоким, но сама пьеса дала редкую возможность вынуть фигу из кармана. Все читалось.

Текст через ребят из театра-студии попал к Юре. Его я в числе прочих прислал и в “Комсомолку”.

— Старик, у тебя шансов нет, — диагноз Щекочихин поставил сразу, узнав о предстоящих смотрах. — Постарайся получить хотя бы удовольствие.

Попав вместо парикмахерской в “плохую компанию”, я его получил.

Компания в самом деле была замечательная. Это я понял сразу. В ней не раздражало даже дурацкое “старичок” и тем более “старик”: у Юры, Толи, Паши, Андриюши, Олега столично-снобистское обращение не звучало пошло. Как-то органично звучало.

Через полчаса мы пили пиво и говорили взахлеб. Вокруг были ушедшие или

уходящие из “Комсомолки”, что-то говорилось и по поводу этого, но больше почему-то смеялись. Уровень догнивания системы определял уровень отношения к ней. Андроповские строгости вызывали естественную реакцию. Они не могли быть надолго. Но кто же тогда знал точную дату окончания агонии?

Когда я в пятый раз рассказал про магнитогорский вариант продажи щекочихинской “мебели” (состав слушателей по ходу общения менялся, а Юра хотел, чтобы о первой постановке и реакции на нее знали все), а количество пустых бутылок превысило возможности корзины, стало понятно, что этаж пора покидать.

— На крейсер! — последовала команда.

Я ничего не спрашивал. Уже понесла и подхватила такая волна, которой лучше не сопротивляться.

Гнилость системы Юра чувствовал кожей. Наверняка знал много больше, чем должен был знать. Но самое главное — существенную часть своего знания реализовывал не без блеска и изящества. Подлинность ощущения боли и азарт восприятия жизни сосуществовали в нем органично. Это по тем временам встречалось редко. Можно сказать, почти не встречалось.

Тем не менее реализация “по максимуму” в тогдашнем газетном варианте была невозможна и непредставима. Соответственно драматургия и вообще художественная проза становились естественной отдушиной. Он бы и так к этому пришел (дар-то изначально был шире и глубже журналистского), но тут еще и эпоха, будь она неладна, поспособствовала, сподвигла.

В этой своей ипостаси он был трагичнее, чем в журналистике. Он даже был... ну, не совсем Юра, которого я успел узнать и почувствовать. Тут он вперед забежал основательно (достаточно назвать сценарий фильма “Меня зовут Арлекино”).

Журналистская ипостась мне тогда была ближе и понятнее. Она абсолютно соответствовала способу и образу жизни — при всем том, что облик автора до очного знакомства представлялся более респектабельным (если слово “респектабельность” вообще соотносимо с Юрой Щекочихиным). Особенно применительно к тогдашнему его новому положению — спецкора “Литературки”. Темы даже для нее (где разрешалось много больше, чем другим изданиям) были немыслимо опасны, явление вскрывалось со скальпельной остротой, газету рвали из рук. Ужасное счастливое время.

Щекочихин не мог быть ни великим, ни ужасным. Он был просто Щекочем.

Заминка получилась с такси. “Старичок, многовато будет”, — мрачно вато сказал таксисту Юра, подсчитывая тройки. Пятнадцать рублей все же наскребли — до Очакова плюс бутылка “андроповки”.

Потрясение при виде обители известного публициста было неизгладимым. Много разного видел, но “крейсер” по части сюра превосходил все и вся.

— Ничему не удивляйся, — было сказано при входе. Я благоразумно последовал совету и осматривался, пока существовала такая возможность. Сидеть было решительно не на чем, но все на чем-то сидели.

— Это вон с той помойки, это на другой подобрал, это на лестницу кто-то вынес, — быстро сориентировал хозяин, “представляя” знаменитые (как я понял позже) шкаф, диван и раскладушку. Стол тоже присутствовал, о его происхождении можно было не спрашивать. Все прибывшие вписались в окружающее пространство так, словно здесь и жили.

Гитара появилась почти сразу — тут и я почувствовал себя как дома. В конце концов, полжизни проводилось в таких вот... не совсем, впрочем, таких... квартирах. И что с того, что за окнами была замороченная и непонятная Москва, в которую я прилетел — не может быть! — сегодня утром?

Юра мог усидеть на месте только тогда, когда брал в руки гитару. Как системе, постоянно находящейся в состоянии подзарядки и отдачи (он, несомненно, был из породы делящихся энергией, а не забирающих ее), спокойствие ему было противопоказано.

Водки, как ни странно, хватило. Нам много и не надо было. У меня еще оставалась возможность удивиться, перед тем как бесконечный, переходящий в ночь день приблизился к завершению: когда сизый дым в комнате и утренняя дымка сравнялись по цвету, прямо через окно стали входить люди. Поднимались они плавно, “из ниоткуда в никуда”, что опять же не произвело никакого впечатления на окружающих.

...Проснувшись, под головой ощутил что-то жесткое. Я достал предмет, оказавшийся раскрытой книгой. Рядом с названием под очень теплым посвящением хозяину стояла подпись Окуджавы.

Утренний хозяин был полон утренней энергии — “ну тебе все объяснят” — и уже закрывал дверь. Кажется, он улетал в Сочи: у последнего неистового и прочитанного всеми хита не могло не быть продолжения, кажется, мы об этом вчера говорили. Темная ковбойка, смеющийся взгляд, радостная тревога — он ехал бить стекла и впускать свежий воздух. Что, естественно, нравилось не всем. Кому-то совсем не нравилось.

На полу в изобилии валялись стандартные белые листы. Я их собрал, пытаюсь навести подобие порядка. Это было начало статьи. Кажется, восемнадцать вариантов.

Все просто. Несколько часов спустя в серьезном кабинете услышу сакраментальную фразу: “Старичок, надо знать, с кем выпивать”, — но столичная эпопея месяца полтора все же продлится и ничего в моей памяти не оставит — кроме Крейсера как единственно приличного места.

“Смотрины” на этаже и “крейсер” не монтировались. Надо было возвращаться в свой, привычный мир. Щекочихин в нем уже присутствовал.

Не только потому, что сыграл свою роль в конкретной судьбе, как он ее играл во многих судьбах. Эпизод (что такое, собственно, полтора месяца?) не был случайным, но не требовал и не предполагал внятного продолжения. Мне достаточно было знать, что такой человек — существует, в последующем хватало мимолет-

ных встреч и несчастных звонков.

Юра ни разу не дал понять, что перешел в другой разряд в связи со своим новым статусом. Для любого, самого святого, человека иллюзии корректируются цинизмом — это политика. При всем том, мне кажется (пусть со стороны), он сохранил наивную веру. Прежде всего веру в хороших людей — ими-то он не был обделен, будучи сам таковым.

Стекла уже не бил, да и жизнь вроде таких резких движений уже не требовала. Но просто открывать ставни в новейшие времена оказалось не легче. В чем-то даже тяжелее.

Газету с портретом во всю обложку мне привезли на Грушинский фестиваль. Я не поверил.

Анатолий ГОЛОВКОВ

ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ С ТОБОЙ?

Мы сидели в Переделкине: солнце, листья за окном, чайный парок и пепельница окурков. Я был рад, что мы вдвоем со Щекочем: последнее время редко так удавалось. И, на удивление, молчал его мобильник. Юрке врачи запретили выпивать, и он косился на закупоренную бутылку красного.

“Все, все, все, — говорил он, то вскакивая и размахивая рукой, то садясь и прихлебывая чай, — никаких выборов, никаких чертовых списков. Хватит мне газеты и пацанов из отдела расследований”.

Слово “газета” он всегда произносил с уважением.

“Вот еще повесть допишу...”.

Первые страницы он читал нам с Олегом Хлебниковым год назад. Сквозь топорливое Юркино бормотание, заикание, вздохи и сигаретные затяжки пробивала себе дорогу жесткая интонация. Он писал наотмашь. Получался ритм.

“Перед прошлыми выборами ты тоже обещал — никакой Думы”, — сказал я ему.

“Нет, на этот раз точка. Лучше пристройку к дому сделаю. Нас уже стало так много, что места мало”.

Я попытался представить Юру в фартуке у плиты, на огородных грядках с граблями, с удочкой у реки и с внучкой на шее, но не смог. Вот в камуфляже, топающего по чеченской хляби, — это пожалуй ста.

“Маме долго не звонил, — говорил он, — детей редко вижу. Даже кот от рук отбился”.

Он не просто любил свою маму Раису Степановну, школьную учительницу, но с каким-то ревнивым рвением оберегал ее от плохих новостей, которых было у него хоть отбавляй. Обычное Юркино — шепотом: “Только маме не говорите”. Даже когда загремел в ЦКБ с сердцем. “Мать знает?” — спросил я его. Он привстал на

больничной постели, поднял глаза: “Да ты что? Она же старенькая...” — “Юр, но, может быть, все-таки...”. Замахал руками: “Прекрати. Лучше сушеной земляники поешь, Муратов принес...”. Имена людей, которых он особенно любил, Щекоч произносил с какой-то особой нежной интонацией, растягивая слова: “Ми-итечка!”.

Он тогда своим сердцем впервые нас сильно перепугал, но выкарабкался на удивление быстро (“Я никогда больше трех дней не болею”), распрямылся, порозовел и снова врубился в работу.

Он собирался в Америку, зачем — не говорил, но поездка эта, судя по всему, была для него очень важной. Настолько важной, что, похоже, ему преградили путь. Я ничего толком не знал о его делах. Лишь догадывался, что он не собирался развлекаться в Лас-Вегасе или загорать на Майами.

“Что ты снова задумал? — допытывался я у него. — Не хочешь лечь на дно, так хотя бы посиди месяца-другой в засаде”. Щекоч молчал, морща лоб, но по зрачкам его, глядящим в одну точку, было ясно: он не остановится.

Он появился на горизонте моей бестолковой жизни душным июлем, никакой еще не седой, черный, носатый, похожий на взъерошенного вороненка. Мы гуляли почти в середине прошлого века.

“Меня зовут Юра, — сказал Юра, — в мой кейс вмещается шесть бутылок водки”.

Что там шесть, одну не достать. Особенно ночью, когда “самого распоследнего стаканчика” как раз и не хватает. Но у него легко получалось. Юрка почему-то вызывал доверие у таксистов, и они открывали перед ним багажник, как ворота в Элизиум. А уж потом-то, а потом!.. Щекоч восседал в проеме окна между шторами, за которыми занимался дымный, шизоидный рассвет, вырывал из рук гитару. Разговорам он всегда предпочитал песни. Он молотил по струнам и не пел — выкрикивал слова раннего Булата. И Гены Шпаликова. “Ах, утону я в Северной Двине или погибну как-нибудь иначе, страна не пожалеет обо мне, но обо мне товарищи заплачут”.

Кто бы мог тогда знать, что так и получится?

Юрка не ведал ни ночи, ни дня, они у него слились в единый поток времени. После вторжения урагана по имени Щекочихин отменялось все прежнее, привычное и в общем-то совсем неплохое: времена года, заходы-восходы, кашка от язвы по утрам, диван с книжкой и кино в девять тридцать по телевизору. Он просто взорвал мою жизнь.

Сна не досмотришь — звонок: “Слышь, ты чего делаешь? — И, не дав ничего ответить: — Я у твоего дома, сейчас буду”. И являлся весь в тополином пуху с какими-то молчаливыми людьми, торопливо с ними знакомил, но я всегда боялся чужих и потом едва помнил их имена.

“Слышь, я новую пьесу начал. У тебя вино осталось?”.

Юрка сидел на полу в джинсах, прислонившись спиной к дверце мойки, и читал лист за листком. Постепенно пространство моей хрущобы изменялось: стихал бу-

дильник, не гудели трубы в ванной, мы стояли на перроне и подбирали разбросанные по снегу красные яблоки в придуманную им корзинку... Еще две женщины молились у него в разных углах сцены. Одна говорила: “Спаси меня, мне плохо”, вторая: “Спаси его”. Кажется, ему не везло в любви. Щекоч говорил, глядя, как трамвай заворачивает на Чистые Пруды: “Моя любовь снова ушла на войну. Может быть, живой вернется”.

За границей Щекочихина называли “Высоцким в журналистике”. У меня сохранилась одна старая фотография. На ней Юрка и вправду на Высоцкого похож. И тот, и другой сильно не нравились властям. Даже после трагедии один крупный чиновник из правительства признался мне приватно: “Тогда мы в ЦК недолюбливали его. Точнее, он нас безумно раздражал. Но все-таки... хочется поклониться его могиле”.

А внутри меня, где-то в глубинах сознания, где давно и навеки поселился Щекоч, все звучит его голос — не то чтобы настойчивый, но и не терпящий возражений: “Встречаемся у гранитных ног Тимирязева через час. Пойдем в нашу Москву”.

Он так и говорил: “Это наш город, наш Арбат, наше Садовое Кольцо, и пошли бы они все...”.

Бог знает, куда он меня таскал (и только ли меня одного?) по переулкам и закоулкам, требуя отхлебнуть непременно то на Патриарших, то в Китай-городе, вытаскивал из кармана куртки плавленый сырок — закусывать портвейн. “Вот здесь снимали “Романс о влюбленных”, понял?”. “А здесь Лунин гулял с подружкой!” Я ему — со значением: “А вон в том домике Цветаева жила”. — “Брось! Я не могу об этом не знать!”

И как-то мы с ним обходили стороной ни в чем не виноватую Красную площадь, скалу Госплана, с виду похожую на гестапо, куда он много лет спустя войдет в костюме при галстукe (немыслимая униформа для Щекочихина 70-х!), с депутатским флажком на лацкане. Двигались на Тверскую, точнее — улицу Горького, в дом с гигантским градусником (Юрка называл его спиртомером) — еще одного друга будить. Щекоч снова кормил автомат двушками, одновременно хлопая меня по плечу, орал в трубку: “Слышь, Мишк, мы есть хотим!”.

Под утро у меня разрывалась голова. Щекоч приказывал сесть на стул и производил руками пассы: “Ну как, уже покалывает?”. Может быть, и покалывало. “Сейчас пройдет, — шептал Щекоч. — Я экстрасенс”. Голова трещала и дальше, но попробуй скажи ему об этом, попробуй скажи, глядя в его глаза, ждущие однозначного ответа!

На самом деле он врачевал в журналистике: расправляясь с врагами, всегда кого-то спасал. Он поднимался, как альпинист, отвоевывая площадку за площадкой, то есть открывая одну прежде запретную тему за другой. У журналистской Москвы захватывало дух; Юркин телефон в редакции плавился от звонков с поздравлениями, а во властных коридорах повисала тоска.

Однажды он заявил, заикаясь: “Ты не удивляйся сильно, но я решил вступить в

КПСС”. “Это за каким же хреном?” — спросил я. “Нет, нет, нет! — он замахал руками, как мельница крыльями. — Я понял, что с НИМИ можно бороться только одним способом: изнутри”. Он там “изнутри” раскручивал дело “Океана”, “хлопковое дело”, сражался с прокуратурой, а став депутатом Думы, писал свою правду о чеченской войне. Он многократно проделывал свои трюки, гуляя по канату над пропастью. До определенного момента ему везло.

Его имя давно было известно всей стране, а страна была больше, чем теперь, и называлась СССР — наша странная, горькая родина, где все так перемешалось, а нам выпало в ней родиться. Из праздников, помимо Нового года, мы особо чтили День Победы, потому что все наши отцы были офицерами и прошли фронт. Его отец, Петр Григорьевич Щекочихин, встречался с однополчанами в Парке культуры, и мы приходили туда. Нам оказывали честь, наливая по чарке, мы пели с ними военные песни. Потом мы похоронили Юриного отца, но все же еще приходили на набережную Москва-реки, на то же место, пока никого уже не осталось и нас перестали узнавать.

Тогда еще шла единственная война, в Афгане, но мы уже были стары для нее, а наши дети — слишком молоды. Не повезло в этом смысле Генеральному штабу. Но потом дети тоже подросли.

Через тридцать лет я застал однажды у него в Переделкине целое отделение разведчиков из Чечни во главе с командиром Сашей. Бойцы называли Щекоча дядей. Они сидели в узкой комнатенке, похожей на блокпост, за столом, который “дядя Юра” завалил всякими вкусностями и вином. Горы фруктов на блюде. Многие деликатесы эти провинциальные мальчики увидели впервые.

Юрка отозвал меня в коридор, из которого его комнатенка с накрытым столом выглядела, как освещенная сцена, кивнул головой на паренька с двумя орденами Мужества на кителе, который ел ананас прямо с кожурой, в глазах его мелькнули слезы: “Сначала ОНИ обокрали нас, потом — их”.

Разведчиков увезли показывать ночную жизнь Москвы, клубы и дискотеки, которые они до этих пор видели только по телевизору в перерывах между боями. И дети уехали в ночь 2001 года на вызванной Юркой из Думы машине.

Надо отдать должное, эти самые ОНИ долго сражались со Щекочем. У НИХ были спецсредства, прослушка, наружка, всякие там отравленные зонтики и стреляющие авторучки. У Юры — только шариковая ручка и блокнот.

Юра был великим репортером, его даже сравнивать не с кем. Только он умел писать свои заметки сердцем и потом дружить с героями. Только ему удалось превратить профессию в образ жизни. Только он мог помочь, когда отказывались другие. Молва о том, что в Москве есть некий Щекочихин, один звонок которого решает вопросы, быстро разлетелась по городам и весям. Он хотел, чтобы страна знала его в лицо, — она его знала. Ему звонили пацаны из райцентров, отставные офицеры, ученые, изгнанные с работы, студенты и вдовы. Один ээк написал: “Ува-

жаемый Юрий Павлович (на самом деле, конечно, Петрович — **А. Г.**)! Пишет вам с далекого Севера *ваш племянник...*». Помощники принесли письмо, Юра хохотал, откинувшись на спинку кресла. Но потом сказал: «Ответьте этому племяшу обязательно. Он ждет ведь...»

Щекоч, как будто ему было тесно в газете, вырвался на сцену детского театра со своими пьесами, похожими на продолжение газетных очерков. Он вваливался в мой дом на Беговую с целой театральной труппой после премьеры, пил вино и, зная, что приглядывают и за этой квартирой в точности так же, как за его «крейсерам» в Очакове, все равно пел: «До чего же плохо жить у нас пока. И куда же смотрит наш родной ЦК?». И Вадима Черняка: «Только мерзнут по бульварам стукачи, стерегут они, как проклятые, нас».

От тех вечеров, которые помнятся покадрово, остались черно-белые снимки. На них и те, кто любил перехватить у Щекоча гитару. Сергей Сенчило, знаток городских песен, — нет больше Сережи. Нет актера Игоря Нефедова, нет Жени Дворжецкого, нет Шкаликова, певшего «Переведи меня через майдан» на слова еще никакого не шефа «Огонька», а просто киевского литератора Коротича.

В любые годы он собирал вокруг себя чудовищное количество народа. И сначала это было довольно симпатично. «Нас много, мы одна команда!» В его голове существовала особая таблица Менделеева, где каждый занимал свою ячейку, а значит, имел свой атомный вес и валентность по отношению к нему.

Он бегал вокруг стола и выкрикивал, как на булгаковском балу: «Это великий следователь по особо важным делам... Лучший детский писатель в мире... Надежда русской поэзии... Наши старшие ребята наверху — генерал такой-то, великий режиссер...». Он не жалел эпитетов. И что же? Несколько человек, собранных Щекочем, стали близкими друзьями. Но спустя десяток лет после преданного, забытого и проклятого властью августа, после разбродов и шатаний, ошибок и разочарований мы однажды пришли на очередной день рождения Юры, увидели перед воротами целый караван джипов и «мерсов» — и почти никого не узнали. Мы просто растворились в толпе каких-то типов с золотыми цепями на шее, завистников и приспособленцев. Как они очутились вокруг Юрки — загадка. Мы, расцеловав его и едва вручив подарки, «по-английски» смылись и напились у кого-то на квартире.

Наконец был нами выбран послом к нему человек, которого Щекочихин обычно слушался беспрекословно. «Юрочка, — сказал ему старый друг, глядя в глаза, — тебя просто используют. Из тебя вымогают деньги якобы на добрые дела, думая, что ты богат, а ты из-за этого сидишь в долгах. Тебе непрестанно лгут. Они уже не могут обойтись без твоей репутации и превращают ее в крышу...». Щекочихин слушал, молчал, мрачнел. Потом сказал: «Это часть игры».

И вот закончена игра, опущен занавес. Но стоит лишь закрыть глаза — Щекоч снова стоит на улице Довженко, прислонившись к забору своей дачи, как тогда, за месяц до своей гибели: совсем седой, в куртке, накинутой на плечи, с сигаретой в

пальцах. Морщит лоб и кивает головой, глядя вслед. “Нет, нас не так уж мало, нас очень много, нас больше, чем им кажется, и мы победим”.

Стоит ладонью дотронуться лба,
сразу вдали заиграет труба,
словно пора в поднебесье.
Там, где еще не наставили мин,
там, где ты точно любовью храним,
и ни печали, ни вести.

Дрогнет стакан с недопитым вином,
хочешь, взмахни напоследок крылом
или веслом над водою.
Друга рука из руки ускользнет,
легкая тень на пороге мигнет.
Что же случилось с тобою?

Холст на подрамнике, рифма в струне,
но по привычке в родимой стране
стаю приветствуют стоя.
Чем дорожил и дрожал не дыша,
все, что за жизнь накопила душа, —
на голубом золотое.

Владимир ЛУКИН

ВЕСЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК, СОБАКА И БАРАН

Моя дружба с Юрием Щекочихиным началась в самом начале перестройки с одного общего и большого дела – с реабилитации Галича. Мы вместе отстаивали возможность проведения концерта, посвященного его памяти. Юра, как обычно с ним бывало, увлекся этим делом и влез в него с головой. Он был душой и мотором этой акции, и мы пробили этот концерт. С этого дня активно сотрудничали. Сотрудничество постепенно перерастало в дружбу.

Юра постоянно возникал там, где требовался прорыв. Воодушевлялся сам и заражал всех вокруг своим энтузиазмом. Явление Щекочихина в нужное время и в нужном месте оборачивалось самыми неожиданными последствиями. Даже в

такой деликатной сфере, как взаимоотношения между Российской Федерацией и США.

Как это было в марте 1992 года, когда я приехал в Вашингтон в качестве посла Российской Федерации в Соединенных Штатах. Мне оставалось около недели, чтобы вручить верительную грамоту тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-старшему. Поэтому я еще не приступил к исполнению своих обязанностей, а просто сидел в посольстве, вникал в документы и занимался достаточно рутинными внутренними делами посольства. Унылость ситуации была в одночасье разрушена телефонным звонком. В трубке звучал неповторимый, слегка заикающийся голос Щекочихина: “Здравствуй, Володя. Я здесь, в Штатах, у своего американского друга — корреспондента “Тайм” Строба Тэлбота. Можно, мы заедем к тебе?”.

Я оповещаю охрану, что придут трое: Строб Тэлбот, его жена и Юрий Щекочихин. Но в условленное время у меня в кабинете появляется один Щекочихин. С другими визитерами возникла проблема. Дело в том, что супруги Тэлботы привели с собой собаку, которую в семье просто боготворили. А охрана действовала строго по инструкции. На собаку пропуск не был выписан. И свободолюбивое американское животное в знак протеста на крыльце посольства России в Вашингтоне, вопреки писаному и неписаному дипломатическому этикету, напрудило огромную лужу.

После того как недоразумение разрешилось благополучным образом, мы тогда неплохо посидели в неформальной обстановке. Однако последствия визита троих, не считая собаки, проявились через несколько месяцев самым неожиданным образом. Билл Клинтон побеждает на президентских выборах Буша-старшего. Строб Тэлбот, однокурсник и личный друг нового американского президента со стародавних времен, становится в его администрации главным советником по России и СНГ. Забавная суета, виновником которой стал Юра Щекочихин, сыграла очень важную роль в моей последующей работе послом Российской Федерации в США.

Юра был веселый человек. У него вся жизнь протекала, как непрерывающийся сюжет большой байки.

Как-то очень славно гуляли на его дне рождения. Вино — рекой и многочасовое ожидание обещанного шашлыка. Но Юрины друзья, которые обещали готовый шашлык, вместо этого привели живого барана. Представители политического и литературно-художественного бомонда, которые приехали поздравлять Щекочихина, сумели только вырядить этого барана. Приготовить из него шашлык добровольцев не нашлось. Гости постепенно одуревали без закуски. Баран в этой обстановке был тоже на грани помешательства. Наконец он убежал. Баран долго-долго скитался по территории Переделкина. Это было живое напоминание об одном из самых веселых дней рождения веселого человека — Юры Щекочихина.

Инна РУДЕНКО

МАЛЬЧИШКА В ЗАЯЧЬЕМ ТРЕУХЕ

Чувствую Юру так слитно с собой, что писать о нем — будто писать о себе. А тут всегда по крайней мере две опасности: или распахнуться до грани неприличия, или скользнуть по поверхности, скатываясь в некую фальшь. А вот чего не принимала в первую очередь Юрина натура — так это фальши, ханжества, лицемерия, неправды. Причем без всяких умственно заданных установок — само его естество все это отвергало.

Почувствовала это при первом нашем знакомстве. Да что там знакомстве — первом взгляде на него. И это не преувеличение, а чистая правда. Было это 33 года назад. В школьном отделе “Комсомолки”, где я была редактором, искали стажера.

И вот говорят: пришел кандидат. Пошла знакомиться. Предстояла долгая беседа, в которой главным был вопрос — впишется ли новичок в наш дружный коллектив единомышленников, страстно отрицавших лицемерный дух советской школы, которую мы воспринимали как модель всего общества? По этому пункту отсеялся уже не один кандидат. И вот я открываю дверь и еще с порога вижу: худенький мальчишка, старенькое пальто, какая-то лохматая заячья шапка, вихор торчит. А из-под него — взгляд в открывающуюся дверь: и такой доверчиво-открытый, жадно-любопытный, такой живой, искренний... Так я порог и не переступила.

Потом мы не раз вспоминали с Юрой, смеясь, сказанное мной нелепое: “Беру не глядя”, хотя как раз — только “глядя”... Может быть, поэтому он называл меня своей учительницей? Хотя сам уже воспитал столько молодых, стал известным журналистом, депутатом — все равно, знакомя с людьми, неизменно к имени добавлял: “Моя учительница”. Пытаясь это прекратить, как-то подарила ему ручку с золотым пером и припиской “Победителю-ученику от побежденного учителя”. Но он тут же подарил мне свою книжку “Жизнь после” с надписью “Непобежденному учителю от пока еще не побежденного ученика”. А в предисловии к моей книжке написал: “Инна Руденко учила нас, как надо жить в трудные времена”. (Мы считали, что наступают нетрудные, идиоты...)

Покривлю душой, если скажу, что сегодня эти весточки от Юры меня не согревают. И все же это я училась у него. Ему, мальчику, стажеру, а потом капитану нашего “Алого паруса”, я первому давала читать свои материалы: остро ли, понятен ли эзопов язык, нет ли фальшивинки? Юра читал, я волновалась — а вдруг не понравится...

У него точный нравственный слух. И он внутренне свободней, чем я. Не я его, а он меня знакомил с людьми, которых я заочно почитала, — с Роланом Быковым, Юрием Давыдовым, Алексеем Германом. Да многими. Как дорогую реликвию храню я письмо от Алексея Германа: “Никогда не забуду, что вы сделали для выхода моего фильма “Проверка на дорогах”...

А ведь это тоже Юра. Примчался как-то (уже не работал в “Комсомолке”): “Бросай все, будем смотреть германовский фильм, который давно лежит на полке”.

Фильм поразил, как и сам Герман, с которым сделала по Юриной подсказке большое интервью — с упором на то, что он совсем не такой, каким его воспринимают там, наверху. Такие дурацкие были тогда уловки. А еще пришлось долго интервью пробовать: имя Германа тогда было под явным подозрением.

Юра радовался как ребенок — будто сам написал. Это нормально: радоваться за других. Но, увы, не так часто встречается...

Он знакомил меня с какими-то мальчишками, которых считал гениями. Он просто хвастался ими. Мог заявиться неожиданно в дом с очередным незнакомцем и, захлебываясь, рассказывать о нем.

Часто во время таких сборищ Юра брал гитару моего сына и пел. Разное. Но почему-то в памяти остался его Окуджава — “Возьмемся за руки, друзья...”. Может, потому, что друзей он ставил выше всего, чем, думаю, объясняется нескладность его семейной жизни. Бывало, так же неожиданно вытаскивал меня, мать семейства, из дому и тащил к очередному новому или старому другу, и мы на попутках — как-то, помню, на самосвале — ехали куда-то незваные в незнакомые мне квартиры.

А потом сидели до утра за “рюмочкой чая” и говорили, говорили, говорили — “о том, куда вести страну дальше”, так это называл Ким, мой муж, который, несмотря на полную несхожесть с Юрой по возрасту, биографии, судьбе, характеру, полностью принимал его. Какие это были счастливые, с Юркой, времена!..

Но было и горе. Неожиданная гибель Кима. Казалось, Юрка, непутевый, иногда легкомысленный, созданный для дружеского веселья, не умеющий и часа сидеть спокойно и очень занятой человек, не может стать опорой. Как в те страшные дни я не могла быть опорой сломавшемуся от горя сыну. Но долго-долго Юра каждый вечер приезжал и сидел с Павлом, иногда куда-то вытаскивая его и придумывая для него отвлекающие занятия. Узнав, что тот увлекается английским и вообще задумал уехать из страны, почему-то в Америку, притащил известного американского журналиста, и не один вечер они сидели втроем у нас допоздна.

А спустя десятилетие, незадолго до своей смерти, позвонил, услышал снова грустный голос сына и позвал его в свою “Новую газету”. Мне всегда казалось, что дети, детство, юность — сердцевина его интересов. И хотя он первым написал об организованной преступности, стал мастером расследований, из репортажей о чеченской войне сложил целую книгу, для меня всегда в его статьях как-то незримо проступал капитан “Алого паруса”.

Ему не был свойствен тот прокурорский тон, который замечаю у других и который так не люблю. У Юры всегда были “не хула, а гражданские скорби” — кажется, так у Галича? Солидные должности, взрослые сыновья и седая голова, — но в сердцевине жил, я видела, тот самый, в заячьем треухе, мальчишка с таким ясным взглядом... И только там, на панихиде, в гробу, я этого мальчишку уже не увидела.

Надежда АЖГИХИНА
ЛЮДЕЙ ОН ПРИДУМЫВАЛ

1977 год, май, концертный зал ЦДЖ, в котором мы, человек шестьдесят десятиклассников — выпускников ШЮЖа (школа юного журналиста при журфаке МГУ), — получаем последнее напутствие. Ректор ШЮЖа Володя Славкин объявляет, что напутствие скажет мэтр. На сцене возникает невысокий человек, оглядывает зал и потрясающе улыбается. Журналистика, говорит он, — это особая форма жизни, это страшно интересно, это праздник, который всегда с тобой, но только в том случае, если ты готов все без остатка отдать своей профессии. Вообще это диагноз...

Впрочем, кажется, он сказал тогда как-то по-другому.

Потом объявляют выступление от детей, и вызывают на сцену меня, я говорю какие-то слова о первом опыте публикации в газете, где когда-то трудился этот самый мэтр. Его уже нет в зале, наверное, пошел в ту захватывающую жизнь, о которой нам рассказывал.

...Встречи и расставания — это тайна, которую невозможно понять. Да и не стоит стараться. Совершенно точно: никакой нашей собственной заслуги или вины в том нет — то, что кажется случайным совпадением во времени и пространстве, определено не нами и не здесь, а где-то бесконечно далеко, вне привычного кругозора.

Мы снова встретились через несколько лет, неожиданно, и обнаружили себя вдвоем в странной квартире на окраине Москвы — с отклеивающимися обоями, исчерченными творческим порывом разноплеменных гостей, и полом, заваленным пустыми бутылками.

Первый мой поход на кухню едва не кончился трагически: подошвы намертво прилипли к выдавшему виду линолеуму, залитому чем-то неведомым еще в прошлую пятилетку. Этот неожиданный опыт стал причиной трудового подвига, на который я благословила в первую же Юркину отлучку самых молодых членов его “команды”: линолеум был заменен, квартира выдраена, повешены люстра и занавеска в комнате и даже сдана часть бутылок.

Вернувшийся хозяин перемен практически не заметил, тем более что вскоре лопнули (уже в наше общее отсутствие) батареи и пол во всей квартире накренился, как палуба корабля, встречающего девятый вал.

Об этом доме написаны тексты, сложены песни. Место это было действительно удивительное. Сюда слетались, как птицы. Самые разные персонажи: чьи-то жены с детьми, живущие на диванчике в кухне неделями, юные фарцовщики, полковники, хиппи и маститые поэты, равно как и начинающие дарования. И хорошо тут было всем. Мы были здесь счастливы.

...Месяца два я была абсолютно уверена, что Юрка — круглый сирота.

Это не из-за его нелюбви к родственникам — все наоборот: он очень нежно относился к родителям, дружил с многочисленными двоюродными сестрами с

материнской стороны, тетю — сестру отца, у которой воспитывался в деревне, — долгое время даже называл мамой.

Вместе с тем он когда-то придумал себе образ одинокого подростка, сбежавшего из дома, разделяющего кров с друзьями, выстраивающего свою собственную линию поведения, познания, тоскующего по братству душ. “Брат” — это было для Юрки ключевое понятие, высшее звание, которого удостоивались близкие друзья, которое он сохранил непостижимым образом и в другой жизни, политической и государственной.

Наша встреча на “крейсере” продлилась шесть лет.

Совсем недавно мы с сыном ездили на Большую Очаковскую, зашли во двор того самого дома. Он сильно изменился, хотя внешне остался, кажется, таким же. Но что-то неуловимое исчезло. Не только потому, что исчезли старые вывески, магазинчики. Ушло дыхание времени — почему-то это чувствовалось вполне материально.

Юрка был сыном своего времени в смысле прямом и переносном. Он не просто жил в 60-е, 70-е, 80-е, он удивительным образом преобразовывал время, **соучаствовал** в нем. Тот мир, тот стиль, тот образ жизни — жизни как праздника, который закручивался вокруг него, — немислимы отдельно. Его мир был сотворен его темпераментом, фантазией, жадной совершенства. Сотворялся этот мир ежеминутно, повсюду: в Очакове, в Гульрипше, Доме творчества “Литгазеты” по соседству с дачами Симонова и Евтушенко (ничего не осталось от них после войны в Абхазии), в болгарско-греческом Созополе, в наших общих квартирах — в Крылатском и на Лесной, в Переделкине...

Люди, бесконечно разные, входили в этот странный, нелогичный мир, чрезвычайно энергетичный и эмоциональный, где часто ссорились, мирились, решали мировые проблемы, задумывали невероятное. Протест против застоя, вызов несуразице времени, бешеная вера в неизбежное счастье...

Странно думать о том, как недавно это все было, и еще страннее — что этого больше нет.

Одиночества Юрка не терпел физически. Даже писал с удовольствием только тогда, когда дома, кроме меня, был кто-то еще. Страх одиночества. Не понимал радостей тихой семейной жизни, называл это “одиночеством вдвоем”. Почти ежедневно у нас были гости, во всех квартирах, минимум двое-трое, часто — пятнадцать, двадцать и более человек. На Юркино сорокалетие в Купавне собрались более полусотни, на пятидесятилетие, кажется, за два дня в общей сложности приехали почти двести.

Уже после Юриной смерти кто-то сказал — думаю, справедливо, — что он был неразборчив в выборе врагов. Он был невероятно широк по отношению к тем, кто его окружал, пусть это были люди не всегда искренние, а в последние годы — подчас и откровенные потребители. Происходило так не потому, что он не разбирался в людях. Просто он их придумывал. Старался видеть такими, ка-

кими они могли бы быть, должны были бы быть.

Так же точно он относился вообще ко всему — он придумал для себя партию, в которую вступил, чтобы помогать друзьям; политику, в которую пошел, чтобы помогать стране; журналистику... Очень огорчился, когда люди или обстоятельства, целые сферы жизни оказывались не такими, как он придумал, старался повлиять, используя весь свой талант и обаяние — все.

Прощал предательство. Очень верил, что мир можно и должно изменить, был в этом стопроцентно, по-тинейджерски искренен. За это его и любили, и ненавидели. И мало кто понимал.

Он придумывал женщин.

К женщинам Юрка относился как к чудесному, удивительному в этом мире и достойному восхищения. Ожидать от него какого-то глубокого понимания, сочувствия, соучастия или партнерства было чистым безумием. Это не признак эгоизма, а просто свойство душевной конституции. Ему сопереживали женщины старше и были старшие подруги, но в близких отношениях он боялся наставничества, назидательности, от нее ускользал.

Идеальная девушка для него была — та, которая подсказывает слова песен, когда у него в руках гитара, и которая готова отдать за него жизнь. Таковы его любимые героини. При всем обилии народа вокруг и при всей вольности московских нравов (а также примеров пылких друзей) он никогда не был бабником: с пониманием относился к увлечениям “братьев”, но при этом оставался по сути однолюбом. И после пятидесяти верил в идеальную любовь — в то, что она, даже если ушла, может вернуться.

Отношения с детьми он тоже придумывал. Считал, что эти отношения развиваются, когда дети уже выросли. Могу только благодарить судьбу за то, что он ошибся и успел всерьез познакомиться с нашим сыном. Настырный юноша, унаследовавший от отца, видимо, хитрую тактику психологической осады и обольщения собеседника, сумел не только разрушить собственный образ инфантильного эстетствующего подростка-музыканта, но и выстроить особые отношения доверия и дискуссии, в том числе и политической, что Юрку бесконечно изумляло. Дима, перенявший мимику и жесты, неуловимые Юркины гримасы, уже лет в 16 относился к отцу с каким-то очень взрослым и мудрым сочувствием. Их отношения были неким особым, интимным делом, о них я могла только догадываться.

Деньги Юра не ценил, как и комфорт, бытовое благополучие. Не стремился зарабатывать, даже когда это стало возможно и появился соблазн красивой жизни. Никогда не дарил мне дорогих вещей — хотя обожал форму, мог броситься на колени посреди Калининского проспекта, например, средь бела дня, купить “на все” охапку цветов в ресторане. Считал, что самые любимые книги и мелочи надо дарить друзьям.

Как-то, когда я привезла из Америки шикарный подарочный набор редкой в те

годы косметики, подарил ее жене нового друга. Деньги, когда были, тратились на гостей, на подарки. На такси, когда не было машины (машину, самую скромную, купили случайно, чтобы ребенка возить на дачу и Юрку из гостей).

Он никогда не пытался научиться водить, играть в бильярд; все “мачистские” штучки, популярные среди сверстников, — он их не понимал, оставался бесребренником. Наверное, он был самый малообеспеченный депутат Государственной Думы — впрочем, об этом уже тоже сказано и написано, не стоит повторять. За мечу лишь, что это было абсолютно осознанно и принципиально.

Принципиальность была у Юрки органическим качеством, природным, как интуиция. А интуиция у него была просто звериная. Это больше, чем журналистский талант, это знак Божий. Он угадывал, сам не зная как, темы и сюжеты, интонацию, слово. Он буквально ловил дыхание времени сачком, как бабочку, и нанизывал на острие своего материала.

Это угадывание слова было процессом мучительным физически — он часами и днями сочинял первую фразу, потом выбрасывал, курил и кружил по дому, поджидал, пока не придут те самые нужные слова.

Очень жалко, что он утратил этот навык в последние годы, был слишком загружен политической работой. Политика вообще круто изменила его существование — исчезли его восхитительно неровные пьесы, сценарии. Жанр охотника на чешуекрылых требует все же и времени, и сосредоточения, а Юрка добровольно изменил ему с традиционной искусительницей российских интеллектуалов...

Он не готовился к смерти, но ждал ее. Это с юности — говорил, что умрет молодым. Не готовил свою старость. Это было частью образа, культурного мифа, который он сам создавал. Красиво умереть молодым. Не напрашивался на гибельные опасности, нет, был достаточно осторожным и дальновидным, и в то же время — не мог поступиться тем, что считал самым важным. Разумеется, он шел на какие-то компромиссы, говорил об этом, переживал. Ему было очень трудно и очень одиноко — все последние годы. Может быть, из-за той самой улыбочки, почти блаженной, о которой написал Вознесенский. И все равно ощущение — что он унес с собой некую тайну, обошел всех, не поддался толкованию и ускользнул...

В конце 80-х мы с Юркой подали заявку в “Молодую гвардию” на документальную книжку “Дети диктатора”. По замыслу это должны были быть исповеди детей репрессированных и детей палачей. Не написали. Сын был маленький, времени не хватало, да и политика Юрку все дальше уводила от этой скромной идеи. Такой книги нет до сих пор.

Незадолго до Юркиной последней командировки в Рязань мы говорили о конференции “Журналистика против терроризма”, которую придумали провести в Москве и Нью-Йорке. И Юрка вдруг предложил сделать новый проект — женщины против терроризма, дал мне кучу визитных карточек своих знакомых теток — политиков, общественных деятельниц, министров со всего мира.

...Он снится мне, мы разговариваем. Такого никогда не было, я раньше не ви-

дела его во сне. И наяву сколько раз автоматически поднимала телефонную трубку — рассказать о том, что только что случилось, посоветоваться... И, честно говоря, даже странно рада тому, что он не знает о многих последних событиях, они бы его очень огорчили, как и многие его знакомые...

Борис ЖУТОВСКИЙ
ПОРТРЕТ СЧАСТЬЯ,
КОТОРОЕ БЫЛО, КАЖЕТСЯ, СОВСЕМ НЕДАВНО

Ему тогда исполнилось сорок. По многолетнему его желанию все были вместе. Лето. Тепло. Праздник — ВСЕ ВМЕСТЕ!

Мы с Ростом придумали свой “выход”.

Господи, это было давно, в другой жизни, но — позавчера! Позавчера! Приехали в середину — уже множество гостей толпились на поляне перед дачей.

На Росте были тельняшка, цилиндр, бурка, сабля и бескурковое ружье середины XIX века. И, конечно, усы, очки и очарование. На мне — цилиндр, тельняшка, бабочка, фрак, роза в карманчике. Ну и усы с очками. Обняв задыхающегося от смеха юбиляра, мы начали петь ему дифирамбы.

Пространство дрожало. Маленькая девочка выгнала из лесочка на поляну нескольких крошечных козлят. Подарок судьбы! Одного взгромоздили на бурку Росту. Другого я взял, как ребенка, под попку и прижал к груди. Щекоч, обессилев от смеха, сидел на земле, обнимая третьего. Мы плавно перевели текст в горно-грузинские оды, но тут козлята почувствовали соль: потные усилия тостующих превратили щеки и шеи наши в дивное козлиное счастье. И козлята стали лизать-целовать нас шершавыми язычками.

Представляете, что происходило на поляне с гостями! Юбиляр просто катался по земле, захлебываясь слезами счастья, не в состоянии продохнуть от смеха. Козленок Роста, лениво развалился на широких плечах бурки, вылизывая шею Юрия Михайловича, подрагивал задними копытцами и дергал хвостиком. Мой тоже не отставал, сопя от счастья, залезая язычком в подскулье. Французские телевизионщики едва держали камеры, а мы пытались доорать задуманное. И тут “мой” козленок, видно, перебрал соли, решил закусить розой из фракного кармашка...

Говорить уже было невозможно. Миша Шилов тем временем налил вина в ствол ружья, и Рост, нажав на курок, стал заливать хохочущий рот Щекоча длинной струйкой счастья.

Если Бог есть, он не должен забыть твоего счастья, Щекоч, в тот день. В моей же памяти ты останешься самым бескорыстным и чистым человеком на этой Земле.

Анна САЕД-ШАХ НЕ ОСОБЕННЫЙ — НЕПОВТОРИМЫЙ

— Как ваши дела? Как самочувствие? А как здоровье Олега, что говорят врачи? Как собачки, как кошечка? Вы уж не болейте, ради бога, держитесь, ради Юрочки держитесь, а то я очень переживаю.

И становится жутко стыдно.

Все эти вопросы должна задавать я. Особенно про здоровье и про “держитесь”. Но забываю. Мне ведь некогда! А она, восьмидесятилетняя Раиса Степановна Щекочихина, помнит.

И он, Юра... Юрочка, тоже всегда помнил. В начале июня 2003-го он позвонил в больницу, где я лежала с сущим пустяком, и велел продержаться до его приезда из Тбилиси. А он вернется и покажет меня хорошему врачу.

Его мама познакомилась со мной на его похоронах и... сразу полюбила. За что, почему — непонятно. Наверное, за то, что нас всех (меня, мужа, детей, внука Тимку) любил он. И тоже непонятно — за что.

За 18 лет дружбы я не сделала для Юры ничего хорошего, ничего значительного или хотя бы просто запоминающегося. За исключением, пожалуй, тоненькой книжечки “Однажды я был” во вверенной мне тогда библиотечке “Вечерней Москвы”. Но это было опять же не столько лично для Юры, сколько для престижа самой библиотечки.

А вот он... Юра... Он возвращал из угона мои “Жигули”, он за сутки сумел поймать (вместе с Гуровым) бандитов, однажды ворвавшихся в наш дом и проливших кровь из моей глупой головы — на потолок и стены квартиры. Мне даже вернули почти все украденные деньги.

И хотя “вор должен сидеть в тюрьме”, мы с Юрой решили по-другому — потому что этим четверым козлам было от 17 до 20 лет. И, разбив мне брови и голову, они сами так испугались, что тщательно умыли мое окровавленное лицо и на прощание не изнасиловали, не убили, а... сварили мне чашечку кофе. И мы с Юрой решили дать им шанс, защитить их от беспросветного будущего — и не пожалели об этом. Он был истинным **человекозащитником**.

Из всего сказанного можно сделать неверный вывод, будто Юра был крайне наивным, доверчивым и чуть ли не блаженным. Чушь. Он был просто снисходителен к тем, кого любил. Пусть этих “любимых” и было великое множество. И пусть даже многие из них, из нас, отнюдь не всегда оказывались достойны его горячего рукопожатия. Он выбирал по другому принципу: если ты не враг, то можешь стать другом. **Не враг чего?** Да всего, во что он верил и за что отдал жизнь. Не враг **человеколюбия**. Отсюда и вызволение из Чечни заложников, и все его настоячивые расследования.

Однажды мы чуть не поссорились. Я опубликовала в “Новой газете” цикл сю-

жетов из жизни некоторых криминальных авторитетов. В этих сюжетах мои герои совершали смешные, а порой и весьма благородные поступки. Правда, в те годы, когда они еще и не подозревали, что в новой России станут такими востребованными персонами. Всех знакомых мои сюжеты ужасно забавляли. Всех, кроме Щекочихина. Он пристыдил меня, назвал публикации романтизацией бандитизма.

Но тогда мне совсем не было стыдно: подумаешь, веселые истории из жизни бандитов! Стыдно стало потом, через несколько лет — когда я увидела сериал “Бригада”.

Последние несколько лет мы были почти соседями. Жили в Переделкине и даже породнились через мою кошку Дусю. Ее сын, рыжий гуляка Кузя, стал вторым хозяином и всеобщим любимцем в доме. Когда Щекочихин сидел за компьютером (кстати, он совершенно не мог или не хотел приспособиться ко всяким там Windows и Wordam, продолжая работать в допотопном “Лексиконе”), Кузя все это время сидел у хозяина на голове, урча и оберегая драгоценную голову от порчи или сглаза.

Конечно, Юрка приходил в нашу переделкинскую сторожку, но не часто. Он не очень умел быть в гостях, гораздо лучше чувствовал себя в роли принимающего и угощающего — и поэтому всех звал к себе. И все шли... и до сих пор идут.

Летом 2002-го Юра, как всегда, пришел на день рождения моего мужа (а своего близкого друга) Олега не один. На этот раз — вместе с опальным следователем Зайцевым, занимавшимся делом “Трех китов”, подругой Светланой и симпатичным молодым охранником. Выпивали и закусывали, как и положено в июле, за длинным деревянным столом, стоявшим (да и сейчас стоящим) среди деревьев во дворе. Вдруг охранник увидел среди гостей Евгения Евтушенко и, как ребенок, разволновался — оказывается, это его любимый поэт. Тогда Евтушенко подарил ему новую книжку, а охранник в знак признательности и уважения снял с себя бронежилет и подарил поэту.

— А как же вы будете защищать депутата Щекочихина? — с иронией спросил Евгений Александрович.

— Если понадобится — закрою телом, — негромко, но бескомпромиссно ясно ответил охранник.

Юрка засмеялся: “Берите-берите, Евгений Алексаныч, мне не понадобится. Скорее Зайцеву понадобится, чем мне. Он сейчас в большой опасности”.

...Друзья им гордились, женщины в него влюблялись. Правда, ненадолго. Жены? Возможно, они не могли или не хотели делить его любовь с целым миром. И это понятно. Странно другое: добровольно переходя из состояния “законная жена” в категорию “законный друг”, они наконец чувствовали себя вполне счастливыми, равными и ничуть не обделенными его заботой и вниманием.

Его хватало на всех и на все: на друзей, на газету, на комитет безопасности Госдумы, на свои книжки, пьесы и, конечно, на кота Кузю. Однажды в буфете “Новой газеты” я с его разрешения включила диктофон.

— Юра, ведь не только в России, но и во многих европейских странах депутаты лоббируют интересы определенных финансовых групп. Думаю, твоя многолетняя неуязвимая репутация дает мне право спросить: а к тебе обращались с “интересными” предложениями?

— *Один раз в жизни. В первые дни работы прошлой Думы. Приходит один господин и жалуется, что, мол, загибается магазин детских товаров. В принципе у него есть договоренность снизить пошлины, но нужно письмо. Я внимательно выслушал и, видимо, как-то неправильно отреагировал. Тогда он сказал, что письмо нужно сейчас. А вечером у моего дома будет машина. Я чуть было не спросил: а куда, собственно, я должен ехать? — но мгновенно сообразил, что мне предлагают взятку. Ну и выгнал. А что еще я мог сделать?*

А в прошлом году меня попросил о встрече герой многих моих публикаций Михась. Назначил через посредников очень, как они говорят, серьезную “стрелку”. Я как журналист был заинтригован и поехал. Оказывается, он всего-навсего хотел сказать, что я не прав в своей негативной оценке его личности и “деятельности”. И на прощанье подарил мне Библию, которую шикарно издал на свои деньги. Я попросил его как издателя подписать книгу. Он подумал... но все-таки не решился.

— Ты недавно был с парламентской делегацией в Лондоне и даже сидел в палате общин. Это правда, что каждую среду премьер-министр Тони Блэр отчитывается перед палатой, как школьник перед директором?

— *Мы были именно на такой среде. Тони Блэр не только отчитывается: ему задают самые дурацкие вопросы, и он на все отвечает. Для нас это выглядит необычным, как и многое другое. Там, например, лорду не стыдно сказать, что он опоздал на заседание из-за автомобильной пробки. И это никому не кажется несолидным. Представь себе ситуацию: я в Вашингтоне, звоню Стробу Тэлботу перед праздником. Он говорит: “Пойдем в кино”. И мы идем в кинотеатр с его сыном и другом. А Тэлбот — четвертый или пятый человек в США, первый зам госсекретаря. Мы едем в тапочках на машине его друга, покупаем в кассе билеты. Потом сидим в кафе. Как нормальные люди. В этом и есть некий показатель доверия между обществом и государством. А не как у нас: отдельно — общество, отдельно — власть. Отдельно — чиновник, отдельно — человек.*

Одним своим существованием Юра категорически нарушал этот негласный и очень удобный для многих закон. Как и многие другие подлые законы.

Его всклокоченная голова, детский смех и смешная одежда не могли обмануть никого, особенно врагов.

Они-то знали, что у Щекочихина есть и строгий костюм, и жесткий пронзающий взгляд. И... боялись.

Лидия ГРАФОВА

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

Пока он был жив, казалось, что наши дела не безнадежны.

Сразу поверить в его гибель было просто невозможно. Сопротивлялось сознание, и это действовало как наркоз. Теперь наркоз отходит, и боль становится все сильнее, все неотступней.

Я написала в «Новую», чтобы найти хоть какое-то утешение. В сочувствии. И еще потому, что проститься с Юрой, как хотелось, на страницах «Литературной газеты» мне не дали. Не нашлось, понимаете ли, места для «лишнего» некролога в газете, на страницах которой в ту благословенную пору гласности, когда еще существовала и слышимость, Юра опубликовал самые громкие свои статьи.

И как же он эффектно взлетал в большую политику именно со страниц «ЛГ»! Сегодня от той газеты осталось, увы, одно название.

Юре, конечно, повезло, что он так вовремя ушел в «Новую». У него вообще была на редкость счастливая журналистская судьба: меняя газету, он каждый раз попадал в самую честную и смелую, какая была на тот момент в стране.

В «Литгазете» мы работали с ним в отделе со смешным названием: «коммунистического воспитания». Это было уникальное место. Легальный рассадник антисоветчины. Заповедник, где собрались такие перья, как Богат, Ваксберг, Борин. Из другого места просто не смог бы в то время щекочихинский лев прыгнуть.

После того как он ушел из «ЛГ», мы встречались редко, по случаю. Я и на расстоянии продолжала, конечно, его любить. Не любить Юру было невозможно. Душа нараспашку, он был чем-то похож на Володю Высоцкого — с разбегу очаровывал людей. И все-таки не могу себе простить, что в последние годы не звонила ему, чтобы поздравить с новой яркой статьей, а он так нуждался, чтобы его хвалили. Никогда за него не молилась, хотя знала, что он все время ходит по минному полю.

А сейчас все отчетливее осознаю, какое пространство занимал Щекоч в моей жизни. Не отдавая себе отчета, я, оказывается, постоянно чувствовала, что на том опасном участке фронта, который называется коррупцией, бессменно стоит он, стойкий оловянный солдатик, и, значит, не так уж безнадежны наши дела. Он был невысокого роста, но какую же глыбу держал на своих мальчишеских плечах!

А в гробу лежал страшно неузнаваемый старец. Совсем не он. Будто Юра, всегда улыбавшийся наш Щекоч, обиделся на нас. Мы ведь не смогли его уберечь. Мы даже не боялись за него: рискует, мол, ну и пусть... Привыкли.

... Научит ли нас чему-нибудь его гибель?

**Евгений БУНИМОВИЧ
ТАКИХ НЕ БЫВАЕТ**

...Почти полчаса простояли мы тогда с женой на промозглом переделкинском перекрестке, вглядываясь в каждую проезжающую машину и вяло поругивая Щекоча. Договорились накануне, что Юра на думском лимузине подбросит нас до Москвы, и где же он?..

Тут напротив нас притормозила черная “Волга”. Мы было бросились к ней, но Щекоч сквозь стекла, увы, не просматривался.

— Не знаете, где здесь живет этот депутат хренов, как его, — заорал нам водитель, доставая мятую бумажку, — Щеко? Чико? Щихин? Битый час тут круги нарезаю...

— Знаем, конечно, знаем, — радостно закивали мы в ответ, — давайте мы сядем к вам в машину и все покажем.

Подъезжая к даче, мы увидели сиротливо торчащего у калитки Щекоча. Оказалось, “Волга” трижды пролетала мимо, но водителю и в голову не могло прийти, что этот отсыревший предрассветный субъект и есть депутат Государственной Думы Российской Федерации Ю.П. Щекочихин, зампред комиссии по безопасности.

Все в нем было не так.

Вид — непрезентабельный, даже когда купил наконец положенные костюмы и галстуки. Речь — захлебывающаяся, заикающаяся. Фамилия и та — длинная, нетоварная, сплошные шипящие-свистящие... Чего только с этой фамилией не вытворяли! После премьеры его пьесы критики ехидничали: ишь, Щеко-Чехов нашелся... Американские конгрессмены языки ломали, созвучия подбирали, остановились на чем-то вроде Чикен-Чикен... Посол французский вздыхал с облегчением, когда удавалось произнести без запинки: бонжур, мсье Chtche-ko-tchi-khine! Будто по переделкинским ухабам проехал и в канаву не свалился.

Щекоч так и остался мальчишкой. Рано поседел, но так и не вырос, не повзрослел, так и не догадался, что хрестоматийная школьная сентенция про то, что если плохие люди объединяются, почему бы и хорошим не объединиться, — это всего лишь цитата, худлит, граф Толстой...

Всю жизнь Щекоч упрямо пытался объединить хороших людей. В сотый раз знакомя всех со всеми, он каждого представлял как самого лучшего, самого удивительного. Конечно, зачастую это было не совсем так. А то и совсем не так. Но даже не самые удивительные возле него старались быть хоть как-то поумнее, почестнее, попорядочней...

Он был открыт миру — настезь. Легендарный журналист, занимавшийся расследованиями чиновничьей коррупции и мафиозных разборок, то бишь понятно какими делами и людьми, он рассказывал о них с искренним и веселым изумле-

нием, как о персонажах театра абсурда, как о бедных недоумках, которые чего-то самого главного в этой жизни не поняли.

Однажды все в том же Переделкине, в писательском доме, на балконе у Юлия Кима мы, как обычно, больше пили, чем ели, говорили не помню о чем. И вдруг Щекоч что-то вспомнил и воскликнул:

— Слушай, это же классная идея у нас в “Яблоке” возникла — выдвинуть тебя на выборах в Московскую Думу!

— Юра, совсем у тебя госдумовская крыша съехала, — отвечал я с нетрезвой укоризной. — Во-первых, я сроду ни в какой партии не состоял, а главное — нет в Москве никакой Думы. Была, кажется, в музее Ленина заседаля, но это до семнадцатого года. А сейчас — как его, Моссовет...

Через пару дней, когда мы вернулись в Москву, Юра позвонил с благой вестью: ему поставили телефон! Вице-премьер (забыл, какой) хотел срочно с ним связаться, оказалось — нет телефона. Тут и кабель уложили, и телефон установили. И еще Щекоч сообщил, что все он правильно сказал: есть в Москве Дума, и меня туда выдвигают, и надо, конечно, идти.

В ответ я завел какие-то интеллигентские банальности. И вдруг осекся. Кому говорю про то, что политика — грязное дело, дело ловких и корыстных людей? Щекочу?

Мы оказывались рядом в самых разных обстоятельствах — рабочих, журналистских, политических. Но помнится, а то и снится Щекоч переделкинский.

Вот мы с женой снова вырвались в местный дом творчества на выходные. А тут еще в гости к нам приехала француженка Анн. Пошли, естественно, по пенатам и мемориалам — к Пастернаку, к Чуковскому, к Окуджаве. Проходим мимо Юриной избушки. Зайдем? Ну что ты, Анн, к нему можно без звонка...

У Щекочихина, как всегда, во дворе застолье. Встает из-за стола, радостно идет к нам. “Одет решительно и строго: трусы, галоши и ремень” — как написал поэт по другому, но близкому поводу. Сегодня у Щекоча борщ! Разумеется, ни одного обыкновенного овоща в щекочихинском борще нет и быть не может — у каждой луковицы своя удивительная история.

Наша француженка подвигает Щекоча на новую бутылку красного, новые рассказы и подвиги.

Вдруг он оборачивается ко мне:

— А ты сказал Аннушке, что я вообще-то депутат, человек государственный?

— Знаешь, Щекоч, мы Анн тоже не на помойке нашли, — отвечаю ехидно. — Разрешите представить: мадам Анн Дюрюфле, атташе по культуре французского посольства.

Общий хохот. Пристыженный Щекоч, который раз в жизни не выдержал, распушил-таки павлиний хвост перед очаровательной француженкой, хохочет громче

всех. И открывает новую бутылку красного вина, у которой, естественно, своя удивительная история...

Прощаемся, уходим. Анн поражена, говорит, что у них во всей Франции таких фантастических людей, таких депутатов нет, не бывает, быть не может. Да и в России, как ей казалось...

Анн права. Таких, как Щекоч, нет, не бывает и быть не может.
И не будет.

Джон КОХЕН **ГИД ПО АБСУРДУ И НАДЕЖДЕ**

Если бы я мог придать человеческое лицо тому, что называлось гласностью, это было бы, вне всякого сомнения, лицо Юрия Щекочихина. Его жизнь и работа лучше всего отражают тот исключительный и волнующий период новейшей русской истории.

Окончание гласности — и внезапная смерть Юрия — наполнили меня чувством глубокой утраты. Вместе с ним нахлынули воспоминания об ушедшем времени, на которое пришлось и лучшая пора моей двадцатилетней журналистской карьеры.

Впервые я встретился с Юрием вскоре после того, как начал работать шефом московского бюро журнала «Тайм», летом 1998 года. Готовя текст об организованной преступности в Советском Союзе, я наткнулся на статью в «Литературной газете». Статья называлась «Лев прыгнул», написал ее журналист по фамилии Щекочихин, и она произвела в Москве большой шум.

Я связался с Юрием, и он согласился на интервью. Я был очень доволен нашей беседой, тщательно проверил все факты и отредактировал. Затем, к своему ужасу, увидел то, что вышло в журнале. Прекрасная цитата из Юрия в заключительном абзаце была приписана Михаилу Горбачеву затуманенными глазами ночного нью-йоркского дежурного, который сократил верстку. Я немедленно позвонил Юрию — объяснить, сказать, что это, наверное, самая грубая моя ошибка. В своей обычной манере Юрий начал хихикать, и мы вскоре подружились.

Юрий стал моим главным гидом и спутником сквозь все загадки, абсурды, двусмысленности и прочие обстоятельства эпохи перестройки. Он бесконечно наслаждался новыми свободами для журналистов, он знакомил меня с людьми, местами, долгое время бывшими абсолютно недоступными западным гражданам, работавшим в СССР.

Самое памятное наше журналистское «совместное предприятие» привело нас на Юрину родину, в Тамбовскую область, зимой 1989 года. Мы решили написать параллельно мои и его впечатления об изменениях в провинции — для специального номера «Тайм», посвященного СССР периода Горбачева. Это был, насколько мне известно, единственный опыт подобного рода кросскультурного репортажа. Я не мог не

улыбнуться тому, что местные власти значительно больше опасались репортера Щекочихина из «ЛГ», чем американского журналиста: такова была репутация Юрия!

Юрий был не только великолепным журналистом — он обладал величайшим обаянием и чувством юмора. И редким даром собирать людей вокруг кухонного стола.

Особенно запомнился один вечер (плавно перетекший в раннее утро) летом 1989-го, когда компания, поддержанная одним-двумя литрами водки, решила выразить свое отношение к атакам ЦК КПСС против реформ в прибалтийских республиках — написать телеграмму протеста генсеку Горбачеву.

Этот смелый шаг, который я назвал «Бандой четырех», немедленно вызвал уничтожающую критику в партийной газете «Правда». В то время, в начале гласности, это было не смешно, но Юрий сумел выжать даже последнюю каплю черного юмора из этой ситуации, подшучивая надо мной: называл меня «пятым человеком», агентом западного империализма, который подстрекал его и его товарищей на акт гражданского неповиновения.

Мои отношения с Юрием стали прохладнее, когда он решил уйти в политику и баллотироваться в депутаты. Американским журналистам вроде меня это доставляло определенный дискомфорт, наводило на мысли о возможном «конflikте интересов», особенно после того, как я услышал, что Юрий, репортер, стал членом парламентского Комитета по безопасности!

Кто победил в нем: член парламента, облеченный властью и полномочиями, или журналист, которого ноги кормят? Мне было не до сомнений. Я должен был знать, что Юрий всегда служил только одному господину: правде и ничему, кроме правды.

«Нормальный» — это определение меньше всего для него подходило. Было в нем что-то, указывающее на иное время, место или понятия чести.

Теперь, когда благодаря кинематографической версии «Властелина колец» Толкиена создалась новая мифология нашего постиндустриального времени, я бы попытался назвать Юрия русским Бильбо Беггинсом — с его любовью к приключениям, мужественными поступками и верностью написанию хроник.

Увы, герои таких агиографических историй обычно заканчивают мученически.

Так и произошло с Юрием.

Нинэль ЛОГИНОВА

НЕВОЗМОЖНО ВСПОМИНАТЬ ДЕТЕЙ КАК БЫВШИХ

Впервые я увидела Юру на летучке в «Комсомолке». Встал такой вчерашний тинейджер — волосы до плеч — и сказал журналистке со стажем: «У т-тебя нечаянно получилось, что т-ты умная, а твои собеседники — идиоты. А по существу п-правы они, а не ты». Сказал и сел. Интонация реплики была не обидная, а деловая. Мне назвали его забавную фамилию.

Скоро он вошел ко мне с вопросом: как пишется водитель комбайна? «Какие варианты?» — спрашиваю. Взгляд — в потолок, тянет: «Комбань...ер. Нет, комбамь...ер. Ну скажи-и! Что тебе, ж-жалко?».

Он выискивал полосу «Алый парус» для подростков. И нашел новую тональность разговоров с ними: с уважением и на равных. Тинейджеры сразу услышали его и отозвались.

Однажды пришел с мешком писем, сказал, что горит, и попросил помочь. Сделали так: он достает из мешка десяток писем, еще десяток, читает вслух (школьники и подворотня говорили с ним открытым текстом, а годы шли 70-е), а я пишу на машинке самые жгучие фрагменты.

Так мы за час составили подборку их голосов на треть полосы. Метод ему понравился, и он стал ходить за мной: «Слышь, у тебя есть в-время? Ну часок! Ну полчаса!».

Как-то явилась барышня из отдела писем, бросила на пол мешок с очередной кучей конвертов и сердито сказала Юре: «Ненавижу ваш отдел. Ты напишешь, а мне таскать эти отклики... Шесть тысяч в неделю! Вот иностранный отдел хороший — одно-два письма в день».

Не помню, год прошел или два. Однажды Юрка входит с серым лицом, сел за стол, голову — на руки и... заплакал. Главный, Корнешов, скинул его «Парус» из номера и шипел: «Завтра на редколлегии ответишь, кто за тобой стоит, чей заказ выполняешь... Я дал поручение проверить твою почту... Уверен, там нет этих писем». Он и раньше уродовал «Парус», почти каждый выпуск, и Юрка ходил серый, болел, опускал руки. Но тут его достало гнусное подозрение, что он сам сочиняет суждения ребят «по чьему-то заказу».

В те годы это был типичный ход мысли бездарной администрации (вопрос «кто за тобой стоит?» задавали и мне, и многим коллегам, стоило сочинить заметку иного градуса свободы). Но мы были битые, а он — еще юный — услышал эту кагэбэшную речь впервые, и его трясло от брезгливости.

...Я ушла в «Литгазету» и в конце 70-х перетащила туда Юру, которому уже перекрыли кислород в «КП». Его взяли на «молодежную тему», а он нагрузил на себя и милицию, и двор, и тюрьму. Двенадцать лет мы делили с ним кабинет, и сотни Юриных посетителей — футбольные фанаты, металлисты, рокеры, поднадзорные и отсидевшие подростки и их родители — невольно доставались и мне. Нередко посетитель увязывался за Юрой к нему домой — да так и застревал в его друзьях на годы (из-за чего не удались две попытки Юры создать семью: женам нечем было кормить и некуда было укладывать всех. На мой упрек, зачем эти ватаги, отвечал смущенно: «Идут и идут...»).

По сей день помню особенное наивное изумление в его голосе, когда обзванивал отделения милиции: «За что?!» — избили, обобрали или держат за решеткой подростка. Юрина человеческая притягательность была именно в этом: он не принимал криминальное поведение чинов как норму нашей жизни. За месяц до роко-

вого дня звонил мне с грустным удивлением: «Сейчас назову тебе, кто попался, упадешь». Не мог привыкнуть к жульничеству человека на должности.

Это его качество — удивление перед подлостью (не возмущение, а именно изумление) — быстро вычислили рядовые милиционеры. Они-то и сменили подростков в нашем кабинете. Обычные парни, едва увидевшие изнутри так называемые внутренние органы, шли косяками, чтобы спросить у журналиста, как это понимать и «что же им теперь делать» (выбирали-то профессию для честных). От них, а позже и от маститых романтиков в воинских погонах (и такие есть) он и узнавал о явлениях, до времени засекреченных от народа. В статье «Лев прыгнул» он назвал организованную преступность (в просторечии — мафию) своим именем. Был переполох в органах: как так?! — статья о бандитизме изъята из Уголовного кодекса, это буржуазное явление у нас ликвидировано! Потом утихло, вернули и явление, и статью в УК.

Однажды кладет телефонную трубку и говорит убитым голосом: «Они пришли...». Это рядовой милиционер звонил ему из Питера: навстречу грибникам из леса вышли парни со свастиками на рукавах и оружием. Факт даже побоялись сообщить в эмвэдэшную сводку происшествий, и Юрин звонок туда вызвал истерику: «Не было такого!» — а через день: «Чего раздувает! Шпана нарядилась!». А он уже предсказывал и скинхедов, и убийства за цвет кожи, и погромы.

Его телефон слушали, ему угрожали. Однажды явился следователь: «Где пасется ваша отара овец?» (был донос из Дагестана, что Щекочихину дали взятку овцами за статью в чью-то защиту). «Идите с богом!» — отмахнулся Юра, смеясь. Но несчастный таскался еще месяц: «Поймите, я обязан... был сигнал... ну вспомните, может, предлагали, а вы не взяли?». (Этот случай Юра сам приводит в книжке. Но у него вышло, что дело сразу же и разъяснилось. Ничего подобного. Он забыл, как долго бродил этот тип по коридору, уже не решаясь войти к нам в кабинет. Иногда заглянет в дверь: «Ну Юрий Петро-о-ович...». В ответ ему — Юркин смешок и отмашка рукой: «Иди, иди с богом».)

...Да, так можно вспоминать — без оценок, только факты. За тридцать лет дружбы их наберешь тысячи. А если все же дать себе труд вспомнить не посмертные, а тогдашние мысли о друге? Кто он, что за характер? Ведь без таких размышлений дружб не бывает.

Ну вот случай. Я брала интервью у кого-то в Верховном совете РСФСР. И стала свидетелем телефонного разговора: «Нет, дорогой, не могу помочь, будь он зав — тогда можно, а он — замзав». Положив трубку, хозяин кабинета объяснил, что друг детства просил для кого-то место на Новодевичьем кладбище.

Я пересказала эту формулу Юре, и потом она долго летала у нас в отделе: «Будь ты зав, я бы подежурила за тебя, а ты — даже не замзав». И однажды его осенило: «Слышь, они ведь ради этого кладбища и сидят на местах до кондрашки!». Как сейчас вижу его — с просветленным лицом, глядя в окно, мечтает: «Слышь, а если им еще одно Новодевичье кладбище построить, а? И талон давать заранее, чтоб уматывали пораньше, а? И на Мавзолею они мечтают постоять с простертой рукой. Так

еще один Мавзолей им надо построить! И булыжную площадь! И по очереди все постоят, а? Это же дешевле будет, а?». Спрашиваю: а кто будет ходить рядами перед новым Мавзолеем? «А армия на что? Переодетая в народ?» — отвечает, счастливый, что придумал целую реформу.

Вот тогда я подумала, что он — из параллельного мира и никогда в здешний не встроится. В том его мире живут все дети, большинство подростков и те взрослые, кого он любит: Инна Руденко, Ролан Быков, семья Борцаговских, Миша Шилов, полковники Гена, Дима, Сергей из милиции (наивные, как дети, до седых волос), Сашка-шпион (пришел к нам однажды и сердито сказал, что в разведке бюрократизм: он нелегально переехал границу в горах на лошади и отпустил ее, так эта лошадь уже год числится за ним, и что он намерен линять) и еще многие-многие, меченые вот этим светом удивления перед абсурдом, пошлостью, фальшью и всякого рода воровством.

Однажды с коллегами толковали о нравственности — как ее определить. Меня осенило: давайте определим характер Щекоча — это она и будет. Все согласились. Многие из нас допускали возможность при случае (пусть мелком, неважном) схимичить, приврать. А он — нет. Не мог. Не умел. Органика такая чистая.

Помню, как его трясло от горя, когда он отдирает от сердца пару продавшихся друзей: «Мы же бродили по арбатским дворам... говорили обо всем... мы были вместе...». А я его «утешала» с высоты опыта, что к тридцати годам еще часть команды отвалится, приготовься, каждый выберет свою дорогу, и это нормальный распад, и чтоб не мучился так. Как он не хотел отпускать из своего мира ребят, ставших банальными циниками!

Он почти не болел, так, простуды... И не знал дороги к врачам. Но однажды стал жаловаться на боль в левом боку. Гоню его к кардиологу — не идет. Прошло полгода, и мне его жалобы надоели. Позвонила главврачу поликлиники Литфонда, прошу применить насилие к Щекочихину, отвести к терапевту и запереть дверь на ключ. Заказала редакционную машину и говорю: «Юра, срочно в поликлинику, к главврачу, у них там что-то случилось». Он умчался. Звонит мне уже из больницы, куда его срочно положили: «Это провокатор Азеф?». «Нет, — отвечаю, — это мать его».

Кем только он не обзывал меня — за то, что я старше: «Брешко-Брешковская — это не твой псевдоним был?», «Слышь, это вам с Лениным к-комнату в Смольном сдавали?». Не было ни одного 7 ноября и 1 мая, чтобы после парада не раздался звонок: «Ты успела д-домну загасить к п-празднику?», «Это тебя пронесли на стуле по Красной площади в папахе и с шашкой в руке?».

Недавно Сева Новгородцев попросил меня рассказать по радио, какого посетителя редакции я не могу забыть. К Щекочихину пришла женщина, говорю, которая и мне досталась по совместительству. Молодая, интересная, хорошо одета. «Мой муж, — говорит, — приговорен к смертной казни за шпионаж. Он в посольстве работал, мы за границей долго жили... Юрий Петрович, скажите, когда все кончится, я имею право обратно получить костюм «адидас» и кроссовки? Я ему

все новое послала в тюрьму...». Не могу забыть не эту женщину, а лицо Юрашки — как он смотрел на меня, как молча просил помощи, без звука задавая вопрос: кто это, что это, как это...

В годы его депутатства мы встречались нечасто. Он забегал раз в месяц — рассказать очередной кошмар о чиновных ворах. Последний раз позвонил за неделю до своей гибели, был грустный: «Слышь, как они мне надоели... Хочу только журналистикой заниматься. Обещаю, выберусь из этого смрада...».

Не успел.

Андрей МАКСИМОВ

ОН НИКОГДА НЕ ПОСЫЛАЛ НАС ЗА ВОДКОЙ

У Юрки Щекочихина было крепкое рукопожатие.

Он брал нас за руку и втягивал в журналистику.

Он никогда не говорил: «Делай, как я».

Он всегда говорил: «Делай так, чтобы было интересно. Делай так, чтобы тебе самому не было стыдно за сделанное. Делай так, как ты сам считаешь нужным».

На дворе застаивалась Советская власть: середина семидесятых годов прошлого века.

И такие слова до этого я слышал только у себя дома, от родителей. И больше нигде.

А тут «Комсомольская правда», знаменитый журналист — и такой свободный человек! Неужто может быть?

Может. К нему, капитану «Алого паруса» «Комсомольской правды», шли подростки. Толпами. Среди них был и я. И почему-то мы были ему интересны.

Он нас ничему не учил. Он с нами разговаривал.

Еще раз для тех, кто не осознал: Юрий Петрович Щекочихин — публицист, чьи статьи в ту пору знали все, — разговаривал с нами. Слушал нас. И мы даже могли с ним спорить.

Я поступал в Школу юного журналиста при факультете журналистики МГУ. Писал сочинение — тему запомнил на всю жизнь: «Эхо прошедшей войны». Несколько сочинений Щекочихин отобрал для публикации в «Алом парусе» «Комсомолки», в том числе и мое.

Помню, первое, о чем я подумал, увидев свою фамилию в самой популярной тогда газете: «Ну вот, теперь учитель физкультуры поймет, что человек, не умеющий кувыркаться вперед через голову, не совсем пропавший».

Я... Да что — я? Все мы, подростки, привыкли к бесконечным школьным унижениям. В школе с нами никто не разговаривал. Мне повезло: со мной всегда говорили дома. Папа и мама не только выслушивали меня, но, казалось, мои мысли и проблемы их невероятно интересуют. Таких везунчиков среди нас, признаться, было

немного. На улице от нас шарахались. В троллейбусе любое наше высказывание вызывало одну реакцию: мал еще, подрасти.

Это потом появился на телевидении «Двенадцатый этаж» — и вдруг оказалось, что подростки тоже имеют свою точку зрения и она даже может быть интересной. Знаменитая «лестница» «Двенадцатого этажа» воспринималась как открытие.

Открытие случилось раньше.

«Алый парус» был первым всесоюзным криком подростков. Криком не о помощи — о понимании. Капитан «Паруса» Юра Щекочихин отвечал за этот подростковый крик. Перед всеми. Перед суровым начальством в том числе. Он никогда нас, мальчишек, не предавал: брал любую вину на себя. Спокойно. Без пафоса. О чем мы, как правило, и не знали.

В ту пору в моде было словосочетание «трудные подростки». Юрка как-то очень хорошо понимал, что все подростки — трудные, потому что в мир входить всегда трудно. И им надо помочь. Что он и делал.

Создавал атмосферу — вот, собственно, и все. В вечно прокуренной комнатке «Алого паруса» запрещалось только одно: просить у взрослых журналистов задание.

Но зато поощрялось другое: выдавать собственные идеи, самые невероятные, самые немыслимые.

А еще запрещалось выпивать. Даже не запрещалось — было не принято. Для людей, знающих Щекочихина, мое признание прозвучит дико, но я действительно долгое время был убежден, что Юрка не пьет. «Комсомолка» во все времена пила знатно, наверное, пил и Юрий Петрович. Но в маленькой комнатке «Алого паруса» я никогда не видел бутылок водки или пьяных людей. Представить себе было невозможно, что Щекочихин скажет фразу (которую я потом не раз слышал от его знаменитых коллег): «Пацан, сгоняй за водкой».

Он воспринимал нас как равных. Это не было педагогическим ходом. Это было его сутью.

Сейчас я уже понимаю, что хороший учитель — тот, кто учит и учится одновременно. Педагог, который ничему не учится у своих учеников, — автомат, выдающий прописные истины.

Щекочихин был настолько естествен, настолько никогда никого не поучал, что о нем как о педагоге говорят крайне мало. А жаль.

Мы не понимали, что нас учат. Мы просто жили рядом с этим человеком. А потом оказалось, что он повлиял на нас самым решительным, самым решающим образом.

Большинству из нас было пятнадцать лет. Боже мой, мы наконец нашли на этой земле место, где нам никто не говорил: «Не умничай!». Нам можно было умничать! Нам можно было предлагать. Нас слушали и над нами не смеялись.

Уже позже я понял, чему, самому главному, хотел нас научить Юрий Петрович: свободе. Свободе не учат, скажете вы? Учат. Причем очень просто: показывая, как это здорово — быть свободным человеком.

Он был — свой. Но при этом он был учитель.

Иметь в пятнадцать лет своего учителя — в те годы это было чудо.

Щекочихин подарил нам всем ощущение, что чудеса в этом мире происходят.

Потом мы выросли и как бы сравнялись в возрасте. Бывало, мы ссорились с Юрой, мирились, давно перешли на «ты», но до самой его смерти я относился к нему с некоторой робостью. Как, наверное, и положено относиться к учителям.

К сожалению, память не бывает вечной. Вечной бывает только жизнь. Щекочихин продолжается в нас, своих учениках, и через нас в учениках наших.

Мы помним, Юрка! Мы не забыли.

Вячеслав ИЗМАЙЛОВ

БУДЕМ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ОДОБРИЛ БЫ ЮРА

В феврале 2003 года, за несколько месяцев до своей гибели, Юра Щекочихин подошел ко мне в редакции “Новой газеты” и, обняв, с какой-то грустной улыбкой произнес:

— Слава, они мне сказали: “Все, тебе конец, ты нас достал. Мы тебя предупреждали, а ты не понял”. Это серьезно, Славик.

— Кто — “они”? Эти твои “Гранд” и “Три кита”?

(Как заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и как журналист Щекочихин занимался расследованием повязанной на криминале деятельности крупных компаний, возглавляемых бывшими генералами спецслужб.)

— Они, Славик, — сказал Юра и с той же улыбочкой пошел еще с кем-то здороваться.

...Когда на похоронах я смотрел в гроб, где лежало тело древнего старика, совершенно не похожего на Юру, я вспомнил тот короткий разговор.

Мне кажется, что он об этих угрозах никогда и ни с кем не говорил серьезно — так, мимоходом. Юра понимал, что обеспечить его, депутата Госдумы, безопасность никто из нас не сможет. И правоохранительные органы не смогут. Сможет только он сам: если замолчит, если перестанет бороться с хорошо устроившейся мерзостью. Но замолчать он не мог по своей сути. Испугаться — да. А замолчать — нет. И страх за себя, который, безусловно, есть, такими, как он, никогда не руководит.

И те слова, сказанные мне в редакции как предупреждение: “Слава, если что со мной случится, ты должен знать, кто это мог сделать”, — это не просьба о защите. И не просьба о мести. Просто: ты должен знать. И они — те, кто меня превратит в древнего мертвого старика, — должны знать, что справедливое правосудие и наказание неминуемы для них, потому что есть ты, есть Дима Муратов, есть Михалыч, есть Рома Шлейнов, Олег Хлебников, Лукин, Явлинский, Арбатов, Успенский, Михаил Борисович Катышев, наконец...

В апреле 1997 года мы с Юрой были в Чечне, вели переговоры с боевиками об освобождении четверых наших солдат. И всех вывезли — и ребят, и их матерей.

Как же Юра был счастлив! Смотрел на спасенных им ребят и их матерей — и был счастлив.

В марте 1998 года я вывез из Чечни двух пленников — Сережу Данилова (солдата, похищенного бандитами из какой-то части Минобороны) и Игоря Лавера, пограничника, два с половиной года проведенного у боевиков. Уже находясь с ребятами в Ингушетии, я позвонил Юре. А он сообщил Николаю Бордюже, руководившему тогда Федеральной пограничной службой. Когда я прилетел в Москву, ребята Бордюжи у меня солдат украли. По дороге из Внукова, выяснив, что Данилов — из другого ведомства, они его высадили из машины, а Лавера куда-то увезли. С Даниловым я приехал к Юре на дачу в Переделкино. И он вместе со своим помощником Владом Максимовым обзванивал все наши спецслужбы в поисках похищенного у нас солдата.

Наутро Юре на дачу позвонил директор ФПС Николай Бордюжа и извинился перед Юрой и передо мной за своих подчиненных. Оказывается, он им приказал принять у меня освобожденного пограничника, а они решили провести операцию по его похищению.

Юра договорился с Бордюжей, и мы с Эльвирой Николаевной Горюхиной, нашим психологом, навестили Игоря Лавера в госпитале.

В октябре 1999 года я должен был ехать в Чечню за находившимся в плену у боевиков тяжело раненным в ногу сержантом внутренних войск Алексеем Новиковым. Ему грозила гангрена.

Я обговорил с боевиками все вопросы по обмену этого солдата, но так как мне приходилось ранее ради спасения людей обманывать бандитов, они меня, что называется, ждали.

Юра об этом знал. Он мне сказал: ты в Чечню не поедешь, вместо тебя поедет Влад Максимов.

Я уже несколько лет занимался освобождением заложников, использовал для этого разные хитрости, давно уже был “под колпаком” у бандитов. Устал, выдохся, но никто не смел мне сказать: не поедешь в Чечню вытаскивать очередного заложника или пленника.

И Юре я ответил, что поеду в Чечню сам. Но Юра спокойно сказал: “Слава, за тобой охотятся, ты можешь и раненого солдата не спасти, и сам погибнуть. Послушай, майор, меня, своего генерала”.

Это было сказано с такой искренней заботой обо мне, что я уступил. Влад вместе с одним нашим товарищем из Чечни вывез раненого сержанта.

...Я пишу эти строчки, и комок подступает к горлу. Если бы Юра был жив, я бы чувствовал себя сегодня гораздо сильнее и гораздо мужественнее. Пусть бы просто был рядом...

Я не клялся у гроба, что найду его убийц и отомщу им. Это легче, чем сделать все по закону.

Только то, что будет сделано по закону, одобрит Юра. Мы не имеем права поступать так, как **они**. Иначе мы превратимся в **них**.

Спасибо, Юра, за то, что каждый день ты помогаешь мне это понимать.

Олег ХЛЕБНИКОВ

ОДНАЖДЫ МЫ БЫЛИ

Тридцать лет — по его дороге

Снова прохожу мимо Юриной могилы. Еще недавно на ней и вокруг было очень много венков, потом — очень много цветов. Иногда проезжавшие машины (а могила хорошо видна с мостика через Сетунь) гудели. Сейчас уже просматриваются отдельные букеты. Но всегда свежие... Иду по короткой дороге к станции.

Здесь меня когда-то ограбили. Вернее, не когда-то, а в 1995 году, незадолго до парламентских выборов. При чем тут выборы?

Щекочихина тогда включили в партийный список “ЯБЛОКА”, но дело опять же не в этом. Важнее другое: он только что вернулся из Чечни и, как практически всегда и отовсюду, привез с собой понравившегося человека — чтобы еще больше (в перспективе было все прогрессивное человечество) расширить круг друзей. На этот раз таким человеком оказался Сан Саныч Чукунов — полковник внутренних войск, который начал в Чечне писать настоящие песни. Особенно поражала одна — со строчкой “Родина, не предавай меня!”.

Щекоч “подарил” мне Сан Саныча вместе с его песнями, а потом сказал: “Слышь, а давай устроим ему вечер в ЦДЛ!”. Я выразился в том смысле, что устроить-то можно, дело нехитрое, только кто же придет на вечер совершенно неизвестного барда... “Тогда давай обзвоним всех своих знаменитых знакомых, чтобы они выступили на этом вечере против войны в Чечне”.

Так мы и сделали. Согласились прийти многие известные писатели, а из политиков — естественно, Явлинский и Лукин. Почему-то Юрка настоял, чтобы вечер вел я.

Так вот, как раз накануне вечера на этой узкой тропинке вдоль путей три тени нарисовались за моей спиной, повалили меня в снег, и, пока двое держали, третий обчистил карманы и сумку. Когда я пытался сопротивляться, меня легонько пинали ногами в ребра. Но тут кто-то появился на тропинке — и злодеи мгновенно убежали. Только спины и запомнил.

А потери мои оказались не столь значительными: денег было немного. Самое неприятное — не осталось ни одной сигареты.

Я доплелся до своего переделкинского жилища и стал звонить Юрке на пейджер. Ни телефона на даче, ни мобильного у него тогда еще не было.

Текст я передал примерно следующий: “Юр, тут меня на станции малость попинали, а главное, грабанули; принеси, пожалуйста, сигарет”. Ни к кому из соседей я не пошел: знал, что все ближайшие поголовно не курят. Да и вообще — к кому же еще стучаться, когда случилась неприятность, если не к Щекочу; все знали: если что — немедленно к нему. Он помогал, даже когда к нему не обращались за помощью...

В общем, передал я Щекочу свою “телефонограмму” и стал ждать.

И вдруг на меня обрушилась лавина звонков. Встревоженные голоса родных, друзей и знакомых допытывались почему-то (с разной степенью деликатности) об одном: жив ли я?

Выяснилось, что, когда я звонил Юрке на пейджер, он сидел вовсе не на своей дачке, как мне представлялось, а на студии НТВ, в прямом эфире, и, прочитав мой мессидж, тут же сообщил всей стране, что на станции Переделкино зверски избит поэт Хлебников и это, не иначе, сделано для того, чтобы сорвать завтрашний вечер-митинг в ЦДЛ против войны в Чечне, который вышеозначенный должен вести.

По-моему, это был самый удачный политический пиар Щекоча. Но он бы не был собой, если б ограничился пиаром: вскоре в мою дверь постучали два симпатичных “шкафа”, присланные Юркой, и не только вручили пачку сигарет, но и попытались выяснить приметы грабителей. К сожалению (или к счастью?), я ничем помочь им не мог, и они уехали.

А на следующий день я все-таки должен был согласно афише вести антивоенный вечер в ЦДЛ.

...Увидев меня не поврежденного головой, Щекоч обрадовался, а когда понял, что и лицо мое тоже почти невредимо, стал громко смеяться. “Ты, — говорит, — как Марк Твен, скажи, что слухи о твоей смерти сильно преувеличены”.

Кстати, потом выяснилось, что этот вечер стал главным предвыборным мероприятием “ЯБЛОКА” в Москве. По крайней мере — самым заметным.

...На станции Переделкино сажусь в электричку. Солнечная. Это место прославилось на весь мир благодаря “солнцевским”, Юриным клиентам.

Востряково. Здесь дача нашего общего друга — Толи Головкина. На ней Юрка с друзьями встречал новый век. Не очень радостно.

А вот и Очаково.

Здесь на первом этаже старого дома у школы, в маленькой однокомнатной квартире с большой кухней, “крейсере”, прошло много счастливых лет нашей дружбы.

Часто ночами Юрка писал, а я спал на знаменитом (потому что кто там только не спал!) кухонном диване (на который порой среди ночи сваливался из окна кто-нибудь из общих друзей). Утром Щекоч будил меня и сразу же начинал читать только что написанный текст (некоторые потом стали знаменитыми). Понимая жестокость такой ранней побудки, он смягчал ее бокалом пива, а то и шампанского (в этом слу-

чае приговаривал: “Ну где еще тебе с утра приносили шампанское в постель?!”).

Нет, “крейсер” был не просто холостяцкой квартирой или вариантом одной из многочисленных во время застоя гостеприимных московских кухонь. Это был образ жизни, предполагавший естественное пренебрежение бытовыми удобствами и вообще материальным, а еще — безусловное аристократическое равенство со всем живущим. Поэтому здесь во время частых “сборов” (словечко Щекоча) легко уживались милицейский начальник и лидер спартаковских фанатов; знаменитый писатель, начинающий актер и только что выпущенный из “обезьянника” архангельский хиппи, вздумавший в центре Москвы дарить незнакомым людям цветы... Кроме нас, птенцов гнезда Юрийпетровичева, залетали сюда и такие птицы, как Ролан Быков, Алексей Герман, Эдуард Успенский, Александр Аронов, Юлий Ким, Юрий Рост, Борис Жутовский, Павел Лунгин....

Потом здесь же, на “крейсере”, была Юрина свадьба, после которой почти все гости остались и спали на полу, столе, а также — шкафу (!) и даже на приведенном в дом невестой эрдельтерьере Вулли. Как ни удивительно, изменение семейного положения Юры не изменило образ жизни.

Уже потом, после второй свадьбы, очаковская квартира была обменена на другую, побольше и поближе к центру, впоследствии оставленную второй жене. Так “крейсера” не стало.

Но Юра получил маленькую “литгазетовскую” дачу в Мичуринце. И теперь “сборы” происходили там. Им не мешало депутатство Щекоча. Разве что участников таких “сборов” стало уж очень много. И это, пожалуй, вопреки времени, в котором больше не наблюдалось “московских кухонь” и взаимного желания людей чаще встречаться.

А своя квартира у Юрки все-таки появилась, но совсем недавно. Он с удовольствием рассказывал, как именно.

Когда кончался его первый депутатский срок в Госдуме, ему в большом изумлении позвонил главный кремлевский хозяйственник: “Юрий Петрович, говорят, у вас, единственного из депутатов, нет квартиры?”. Щекоч подтвердил. “Ну тогда прямо сегодня мы можем выписать вам ордер на однокомнатную квартиру в хорошем доме, но лучше вы сейчас добавьте двадцать тысяч долларов — и получите двухкомнатную”. “У меня нет двадцати тысяч”, — честно признался Щекоч. “Ну так в чем же дело? — удивился главный кремлевский хозяйственник. — Съездите домой и привезите, я подожду”. Понятно, опытный госчиновник не мог и представить себе, что у народного избранника ельцинской поры не найдется в карманах такой мелочи, как 20 000 у. е.

В общем, Юрка получил однокомнатную квартиру. Как здесь, в Очакове. Только совсем в другом доме — с мощной охраной. Которая, впрочем, ни от чего Щекоча не защитила.

...Снова — электричка. Следующая станция — Матвеевская. Здесь много лет живет Юркина мама Раиса Степановна.

Щекоч часто приводил своих друзей, и меня в том числе, к ней в гости. А когда при старых друзьях ей звонил, обязательно передавал трубку — хотел, чтобы Раиса Степановна знала, что ее не забывает не только сын.

Раиса Степановна рассказывала, что, когда Юрка был маленьким, он по собственной инициативе рано утром занимал ей очередь в парикмахерскую и часами стоял — хотел, чтобы мама была красивой...

Так же внимателен он был и к другим старшим, кого считал своими, точнее — нашими. Иногда специально звонил мне — сказать: "Слышь, ты что-то давно не заходил и не звонил N". И мне становилось стыдно, и я начинал набирать номер старшего друга...

Мало кто так естественно, как Щекоч, интересовался другими людьми.

...Вон эти "другие люди" — в метро их сколько хочешь, даже больше, чем надо для того, чтобы было чем дышать. Но это я так реагирую...

А Юрка любил и часто пел песенку Окуджавы "Мне в моем метро никогда не тесно...", так же переставляя слова, как почти во всех песнях...

Ну вот и Чистые пруды. "А по Чистым прудам лебедь белый плывет, отвлекая вагоновожатых..." — это уже Алик Городницкий, тоже Юркин друг, а песенка — времен прежнего "Московского комсомольца", который располагался тогда здесь, на Чистых, и в котором начинал совсем юный Щекоч...

Последнее его место работы оказалось тоже здесь, но уже в "Новой газете", в которую мы с ним пришли почти одновременно.

Когда-то мой нынешний кабинет был его кабинетом (потом в редакции прошла большая "пересадка"). Но, переехав, я почему-то не выбросил многие и ему-то уже не нужные бумаги. Что-то предчувствовал? Вряд ли. А еще в одном ящике стола до сих пор лежат письма Щекочу — маленький ручеек из того потока, который обрушивался на него и в Думе, и в газете.

Тридцать лет назад ему в руки попало письмо и с моими стихами. Ответом были: сначала совершенно неожиданная — первая в Москве — публикация в "Алом парусе" (сейчас бы сказали: страничке для тинейджеров) "Комсомолки", а потом — его короткая записка с предложением приехать в Москву, прийти в "Алый парус" и со странным словом "спасибуще" (это за стихи-то!) в конце.

С этой записки и началась моя московская да и литературная жизнь. Благодаря Юрке я познакомился со Слуцким, Вознесенским и Ароновым. И — о! — как окрылило меня их благословение... Но главное даже не это. Благодаря Щекочу тогда, шестнадцатилетним, я увидел совсем другие масштаб и способ жизни. А больше всего меня поразил он сам: всегда в кожаной "журналистской" куртке, стремительный, остроумный... И очень теплый. Я даже стишок сразу же сочинил и посвятил Ю.Щ.:

***В нем главное не то, что он всегда в кожанке,
как юный комиссар времен дорожных смут,
а то, что говорит так быстро и так жарко —
его и не расслышат, а все-таки поймут...***

А заканчивалось так, несколько пафосно:

***И если скажут мне, как одарят советом,
что он уже не тот: смирился и затих, —
я не поверю им, наивным людям этим.
Я не поверю им, покуда верю в них.***

Однако действительно — не смирился и не затих.

...Однажды, когда я в очередной раз приехал в Москву, а Щекоча в ней не оказалось — он служил в армии под Ростовом, — мне вдруг стало ясно, что без него Москва — совсем другой город. Не та Москва. Чего-то в ней сильно недоставало.

То же самое произошло и летом 2003-го.

Но тогда еще можно было хотя бы не в Москве попробовать увидеть Щекоча. Что мы с Ленькой Загальским, работавшим под Юркиным началом и, конечно, тоже его другом, и решили немедленно сделать.

Время было легкое на подъем (в смысле цен билетов на самолет) — и мы в тот же день оказались в Ростове-на-Дону.

Ленькино удостоверение “Комсомольской правды” и сдерживаемая лишь брючным ремнем солидность собкора “Комсомолки” по Ростовской области (не в пример нам, в джинсах, права которых в СССР Юрка защищал на страницах “Комсомолки”) сделали свое дело: армейское начальство привело к нам Щекоча.

Солдатская форма на нем не сидела, даже не висела, а топорщилась сразу во все возможные стороны. Тем не менее, как нам рассказал Юрка, у генерала, под чьим началом находился аэродром, где Щекоч служил, были на него серьезные виды. Во-первых, написать с Юриной помощью книгу своих мемуаров и, во-вторых, женить его на своей дочке. Ни того, ни другого Юрка категорически не желал делать и очень хотел без свидетелей посоветоваться с нами, как лучше “откосить”.

Собкор “Комсомолки” понимал психологию командиров и как-то очень кстати процитировал Брежнева, после чего армейское начальство отпустило Щекоча с нами до вечера. Правда, придало лейтенанта в качестве сопровождающего (от него мы, конечно, легко избавились, быстро напоив и спать уложив в своем гостиничном номере).

Это был веселый и счастливый день.

А спустя года три, приехав в Очаково рано утром (с поезда), я обнаружил на доблестном полу “крейсера” очень солидно спящего человека. “Это мой командир, — ласково объяснил Юрка, — генерал-лейтенант”. “Тот самый, который хотел тебя женить?” — “Мяу-мяу...” — смутился Щекоч. “Что ж ты его на полу держишь?” — “Но

диван же занят!”. Действительно, на диване тоже кто-то спал, и я, забыв о генерале, стал прикидывать, на какой бы плоскости обосноваться следующей ночью...

...Ну вот, я сейчас все это пишу, а рядом с компьютером лежит вещичка, оставшаяся в кабинете после Щекоча, — антипрослушка, правда, уже старая и испорченная...

Как опасно то, чем занимался Юрка, мы, конечно, понимали. Но, наверно, до конца не чувствовали. Он сам снижал пафос, как будто говоря: “Но меня же еще ни разу не убили!”.

...Заменить Юрку... Щекоча... Юрия Петровича Щекочихина ни в моей жизни, ни в жизнях многих его друзей, ни в газете не сможет никто. Как сказал наш главный редактор Дима Муратов: “Такое чувство, что лично меня нагло ограбили”.

А когда нас грабят, сначала мы теряемся, потом негодуем от несправедливости случившегося. Но проходят недели, месяцы — и мы привыкаем к потере.

Неужели боль и от такой потери притупится со временем? Но никогда уже не уйдет. И все же лица счастливцев, знавших Юру, снова будут светлеть при одном только упоминании этого доброго и ничем не запятнанного имени — Щекоч.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

ПАМЯТИ ЮРИЯ ЩЕКОЧИХИНА

По шляпам, по пням из велюра,
по зеркалу с рожей кривой,
под траурным солнцем июля —
отравленный сволотой,
блуждает улыбочкой Юра,
последний российский святой.

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

ПОСЛЕ ШТОРМА

Пять лет из жизни молодого человека

Где найти героя в мирное время? Чаще всего понятие «герой» мы связываем с понятием «труд». Ну разве еще с подвигом на берегу реки или у горящего дома.

Мне бы хотелось расширить привычную схему. И назвать героем человека не за особо упорный труд, не за спасение кого-то в воде или на пожаре, а — уж простите высокие слова — за нравственную стойкость и несгибаемость.

В вестибюле Одесского мореходного училища заграничного плавания висит стенд, на котором значатся фамилии курсантов, закончивших учебу с отличием. Но фамилии одного отличника — Николая Розовайкина — в этом списке нет. Хотя в 1973 году он прямо получал «пятерку» за «пятеркой» на выпускных экзаменах.

Как раз в то время в училище пропали деньги. Не в том смысле, что вор забрался, кошелек стащил, а в том, что просто испарились десятки тысяч рублей, заработанных курсантами в совхозе. Нету их нигде, этих тысяч, и до сих пор.

Как море в шторм, бурлило тогда училище. Группа преподавателей потребовала начать служебное расследование. Была создана специальная комиссия, которая работала, проверяла бумаги, шаг за шагом приближаясь к разгадке, кто же так бесстыдно поживился за счет курсантов. Но финансовые документы надо уметь читать и между строк. Комиссия не умела и запуталась. Тогда обратились в районную прокуратуру, которая возбудила уголовное дело — не против кого-либо конкретно, а, как говорят юристы, по факту правонарушения.

Училище ждало скорых результатов. Но они где-то застряли или кто-то их задержал. И тут в нескорое дело «взрослых» решили вмешаться «дети», то есть курсанты. К районному прокурору они пришли во главе с отличником Николаем Розовайкиным. Пришли просто высказать нетерпение, возмущение, поставить прямые «детские» вопросы: где деньги? кто их взял? почему медленно идет следствие?

Об этом визите мгновенно узнало руководство училища. И Николаю был задан интересный вопрос, который он часто будет потом вспоминать и с которого, собственно, начинается наша история. «Ну а тебе-то лично что надо? — спросили Розовайкина. — Ты же идешь на красный диплом!». И еще он запомнил взгляд, которым его смерили, — такой «взрослый» удивленный взгляд, как на диковинку, на экзотическое растение. Взгляд откровенно насмешливый: «Ишь ты!». В те же дни ему вручили красный диплом, пожали руку на прощание и выпустили в жизнь, то есть в море.

Плыви, юноша, попробуй шквального ветра, испытай штормовую качку, зовошь обточат тебя волны жизни и ты выйдешь на берег круглым, как камушек-голыш, без зазубрин юности.

Судовой механик Розовайкин был распределен на работу за границу, в далекую южную страну. Как говорится, ветер в его паруса дул только попутный. Вернулся домой уже опытным специалистом, получил хорошую должность, увидел блестящие перспективы. Тогда же решил учиться дальше и поступил на вечернее отделение Института инженеров морского флота. И все бы шло гладко, если бы не предложили ему вернуться в родную мореходку освобожденным комсоргом. Впрочем, кому же и предлагать такую работу, как не бывшим отличникам, уже хлебнувшим морской волны и доказавшим в деле свою надежность.

Итак, он вернулся в родной дом. И увидел, что в доме неблагополучно. Куда-то девались преподаватели, которые особенно волновались тогда из-за курсантских денег: один почему-то сменил специальность, второй совсем уехал из города, третий против воли ушел на пенсию... «Почему?» — громко спрашивал Николай, а ему отвечали шепотом: «Не надо об этом». Встретил своего бывшего однокурсника — оказалось, ищет работу. Рассказал, что написал тогда письмо в газету об этих деньгах, а письмо переслали в училище. И вот теперь всё: ни плавания, ни дальних стран. А уголовное дело, как говорят, тихо прикрыли.

К этому времени Николай уже успел хорошо проявить себя в роли комсорга. Новое поколение курсантов его признало и полюбило. Райком наградил Почетной грамотой. Областная газета написала о нем статью.

Но Николай решил повторить тот «детский» свой вопрос: куда все-таки девались курсантские деньги? И добавил новый: почему вообще происходит неразбериха с финансами? Почему комсомольцам выписывают премии и тут же заставляют возвращать деньги на «общественные» нужды?

Некоторое время ему пытались отвечать «по-хорошему», мирно объясняли с улыбкой, что курсантам нужна вакса для сапог, много ваксы, а в смету она не заложена. И на билеты в театр денег не дают. И одну-другую делегацию надо принять прилично. Да мало ли что? Однако по его расчетам выходило, что ваксой, билетами и минеральной водой можно просто завалить училище на такие огромные деньги. Куда-то они еще уплывают, думал он. И все искал течь в трюмах своей мореходки...

Вот тут руководство училища и догадалось окончательно, что этот парень будет «выступать». И что время смешков и намеков прошло. Не обкатали его морские волны, не сгладили углы и зазубрины, не научился он помалкивать, когда «надо», не усвоил правила их игры. За это его полагалось щелкнуть по носу.

Тут я позволю себе замедлить темп рассказа. И прояснить расстановку сил. На фотографии тех лет я видел Николая стоящим на трибуне комсомольского собрания. Он что-то говорил, подняв вверх руку. И тысяча курсантов внимала ему. Хорошая фотография. Впечатляющая для постороннего: вот лидер молодых моряков, их вожак. Но для своего руководства (или его части) он был как бы пылинкой на рукаве, которую можно смахнуть. Винтиком, который можно заменить новым. Мелочью, которая вдруг начинает путаться под ногами.

Механика щелчков по носу отработана давно. Немного уговоров, ухмылка, потом сразу насупленные брови — и крутые меры. Кто-то устно, но твердо (имя это до сих пор остается в тайне) приказал активу училища обсудить моральный облик Розовайкина за то, что тот развелся с женой, и примерно наказать его. Николая обсу-

дили, но, выслушав его объяснения, наказывать не сочли возможным. Это был пробный шар, который прошел мимо цели. Тогда без ведома комсомольцев Розовайкин был освобожден от обязанностей секретаря комсомольской организации училища и — исключен из комсомола. За что? Ну конечно, за развод. Только за развод.

Вот тут уже серьезно столкнулись два взгляда на жизнь, две морали. Чистый порыв нашего героя — и многоопытная уверенность в том, что напуганный парень тихо уберется с дороги и проклянет день и час, когда осмелился «искать правду».

Я не называю по именам всех участников развернувшейся вскоре травли Розовайкина, потому что не могу определить степень участия каждого. Один ведь просто промолчал — и все! Разве он знал, что из этого выйдет? Другой просто позвонил кому-то по просьбе кого-то — и все! Третий, подписывая явно сомнительный документ, пожал плечами в удивлении: надо же, кому-то досадил парень, гореть ему теперь синим пламенем. Всего одна подпись — такой пустяк!

Может быть, они и не отдавали себе отчета в том, что фактически сцепились под руки с другими участниками «мертвой стенки», о которую предстояло расшибиться юноше, начинающему житье... Всего один звонок — пустяк... А стенка-то уже образовалась из молчков, звонков, вздохов и мелких бумажек. Такова была одна сторона.

А с другой — упрямый парень, который уже понимал, что не в игрушки играет. Знал, что такое руководители знаменитой мореходки для морского города, что самая маленькая просьба их по инстанциям звучит не как просьба, а как совет, рекомендация, почти приказ. Знал все это, но отказывался верить, что неправда так сильна и может победить.

Не два человека столкнулись — две морали.

Еще совсем недавно ему вручали грамоты и писали об этом в газете, еще только-только ему жали руку руководители комитетов комсомола района и области, еще недавно его ладную фигуру видели на пленумах и активах. И вдруг — все. Его исключили из партии и из комсомола. Он остался без работы — той работы с курсантами, которую успел полюбить и которой его лишили вопреки желанию комсомольцев.

Попросился снова в док: ведь он судовой механик, он специалист высокого класса! Ему предложили лишь одну должность — мастером... в деревообрабатывающий цех. Да еще обиделись, когда отказался.

Комсорг — с энергично поднятой рукой, в аккуратно выглаженной форменке, готовый всегда, по первому зову, поднять своих ребят, будь то митинг, будь то субботник, — в глазах работников обкома и райкома комсомола вдруг трансформировался в какого-то склочника, рвущего на груди тельняшку.

А такой уже был им не нужен.

Тут же после освобождения от занимаемой должности Николай стал не просить, а жаловаться. И жаловаться не устно — письменно. И не куда-нибудь — в Москву.

Пытаюсь представить себе изумление и досаду на лице того многоопытного человека, которому была доверена судьба его писем. «Этот мальчишка мутит воду», — думал он. Снимал трубку, чтобы выяснить, в чем там дело. А ему отвечали

на том же языке, полуправдой, что, мол, «завелся» бывший курсант из-за каких-то неоприходованных денег.

Представляю, как снисходительно они отмахивались от «упорного дурачка» и тут же переходили на более приятные темы. А что с парнем делать? Да припугнуть его похлеще — это было ясно. Думали, он «умнее», с полуслова поймет свое место винтика, пылинки. Оказалось, слабоват щелчок.

Тогда в газете «Водный транспорт» появляются подряд два фельетона против «кляузника и клеветника» Розовайкина. Один из авторов даже в глаза не видел героя. Получил материал в Одессе и состряпал произведение, как говорится, не отходя от кассы.

Человек, которого я называю героем, даже бровью не повел. Ему было абсолютно ясно, что ошибка будет исправлена, только время понадобится.

Наконец первая поддержка была получена: бюро ЦК ВЛКСМ отменило как необоснованное исключение его из комсомола. Теперь-то восстановят на работе? Но в Одессе не торопились исправлять ошибку. И Николай поехал в Москву, чтобы еще раз — лично, устно, внятно — объяснить, что происходит.

Снова мое воображение рисует двух (других, заметьте!) или трех, четырех одесских собеседников. Понимаю, как беззащитно воображение перед лицом фактов, как хочется увидеть в газете набранные петитом фамилии, имена, должности этих таинственных «собеседников». Но что делать?! На телефонные звонки не поставишь исходящие номера, намек не скрепляется датой и подписью, «пожелания» не подшиваются в архивы. Знаю только, что были звонки, намеки и пожелания, уверен, что жили, живут и здравствуют эти собеседники не только в авторском воображении. Иначе так драматически не сложилась бы судьба Николая Розовайкина.

И вот снова один выясняет, кто такой Розовайкин, чего он, собственно, добивается, а другой, понаслышке, объясняет, что курсант «зарвался». И третий вносит предложение: «пощупать» его с помощью милиции: неужели за парнем ничего нельзя найти этакое, наказуемое? Если постараются, то найдут!

И дальше случилось вот что.

Николай Розовайкин был арестован в Москве, на квартире у родственников по телефонограмме из Одессы с просьбой срочно задержать опасного преступника и препроводить по месту жительства. На четвертый день его вывели из камеры и передали с рук на руки работникам одесской милиции — старшему лейтенанту и старшине.

Втроем вышли они из отделения, доехали до аэропорта, поднялись по трапу в самолет. Лететь до Одессы полтора часа: достаточно, чтобы познакомиться, разговориться, излить душу. Но все трое молчали. Только старшина сказал куда-то в пространство: «Ну что, будешь еще ездить жаловаться?». Николай пожал плечами. Он понимал, что эти двое прилетели за ним не по своей воле, а по служебному предписанию.

Его привезли, расписались где надо, и Николай предстал перед следователем Жовтневого райотдела милиции Капицей, молодым, но, как считало начальство, перспективным. Из тех, кто понимает все с лета.

Капица предъявил постановление о привлечении Розовайкина в качестве обвиняемого. Из него Николай неожиданно узнал и о том, что уголовное дело было, оказывается, возбуждено тогда, когда он находился не в Одессе, а в Москве, и о том, из-за чего же разгорелся такой сыр-бор, из-за чего была организована операция в

стиле кинобоевиков: арест, ошарашенные глаза родственников, не подозревавших, какого рецидивиста приютили они под своим кровом.

Ставили ему в вину, говоря языком уголовного кодекса, во-первых, тунеядство, а во-вторых, дерзкое хулиганство. Хулиганство это было совершено (как свидетельствовал документ, который ему предстояло подписать) 1 июля в 10 часов утра во дворе дома, где Николай родился, вырос и жил. Оказывается, когда в то утро во двор пришла комиссия во главе с заместителем председателя Жовтневого райисполкома Лепинским, чтобы выяснить, правомерно или нет один из соседей расширил свой балкон, якобы он, Николай Розовайкин, начал оскорблять членов комиссии, «выражаться нецензурной бранью». Мало этого, он будто бы заставил своего старшего брата Виктора накинуться с кулаками на Лепинского — на представителя власти! — и порвать ему подкладку на пиджаке.

Событие, обозначенное в документе, «произошло» 1 июля. Арестован был Николай 17 ноября. И к этому времени те, кто приказал начать следствие, точно знали, что Виктор, брат Николая, с детства парализован, он инвалид первой группы, человек абсолютно беспомощный и физически не способен — заставляй его или не заставляй — кинуться на кого-нибудь с кулаками!

Точно так же знали и то, что не «паразитический образ жизни» ведет Николай — учится на вечернем отделении института, что не на «нетрудовые доходы» он существует, а на деньги, заработанные честным трудом, не «тунеядствует», а добивается восстановления на работе, от которой необоснованно освобожден.

Но слишком много беспокойства он доставлял поисками справедливости, слишком много писал, слишком много говорил. И поэтому следователь Капица слушал обвиняемого холодно и спокойно твердил: «Давай подписывай!».

— Вы нарушаете закон! Вершите беззаконие! Я требую свидания с районным прокурором! — горячился Николай.

— Прокурор не хочет тебя видеть, — отвечал следователь.

Молодой и перспективный следователь Капица работал прилежно: вновь и вновь требовал признания вины, во что бы то ни стало пытаясь доказать, что Николай оскорблял, выражался и подстрекал своего парализованного брата. Сменившая его — по многочисленным протестам — следователь того же Жовтневого райотдела милиции Диброва продолжила дело коллеги, точно так же безуспешно пытаясь заставить Николая признать себя виновным.

Так продолжалось двадцать (!) месяцев, в течение которых ни в чем не повинный человек был изолирован от общества. Пока наконец суд Ильичевского района Одессы под председательством А.В. Чернушенко после шестидневного (!) рассмотрения уголовного дела по обвинению Николая в паразитическом образе жизни и злостном хулиганстве не пришел к выводу (цитируем приговор), что «вменяя Розовайкину Н.Л. в вину совершение злостного хулиганства, следственные органы не исследовали вопрос, в связи с чем возник инцидент... Утверждение органов следствия о том, что Розовайкин Н.Л. подстрекал к совершению хулиганских действий своего брата Виктора... лишено убедительности». Точно так же он был оправдан и по необоснованному обвинению в «паразитическом образе жизни». Оправдан по всем статьям и освобожден из-под стражи в зале суда.

После освобождения Николай пришел в Черноморское морское пароходство, и ему, специалисту высокого класса, проработавшему после окончания училища за рубежом, нашли работу...

Вскоре Николая Розовайкина можно было встретить на территории Одесского порта. Какой-нибудь любознательный турист, вдруг сошедший с гранитных набережных в пыльные, скрипящие разными голосами, пропитанные терпкими запахами недр порта, мог бы, увидев ладного парня с матросской выправкой и метлой в руках, поразмышлять о превратностях судьбы: что ж, кому-то стоять на мостике, кому-то орудовать метлой, одним словом, жизнь — и так далее.

Но для своих этот парень был обыкновенным уборщиком причалов, и даже те, кто подозревал о чем-то необычном, вопросами не донимали: метет — и метет. Иногда, правда, его встречали бывшие однокурсники по мореходке и, наблюдая, как проходит его жизнь, и боясь обидеть рассказами о том, как проходит их жизнь, перекидывались ничего не значащими словами. Тем из них, кто пытался шутить: «Что, отличник? Таблицу умножения доучиваешь, чтобы правду найти?» — он отвечал жестко и коротко: «Правда — есть! Увидишь!».

И продолжал мести причалы.

Он захотел восстановиться на четвертом курсе института, где прервал обучение не по своей вине. Ему было отказано. «У нас нет, — сказали ему, — факультета для уборщиков причала».

Вряд ли нашелся человек в Одессе, который осмелился бы предсказать подобную судьбу члену Одесского областного комитета комсомола, секретарю комсомольской организации знаменитого мореходного училища заграничного плавания, выпускнику этого же училища, окончившему его с красным дипломом, студенту вечернего отделения Института инженеров морского флота, просто молодому человеку.

Жизнь — то же море (вспомним этот образ, раз уж мы в Одессе). Так же налетают волны, гремят шторма, наступает спокойное время штилей. И точно так же, как в жизни, кому-то первым принимать на себя удары шторма, подставлять себя под разные напасти и трудности.

Но не слишком ли большую волну, в самом-то деле, поднял этот парень? Из-за чего? Банк, что ли, ограбили? Человека убили? Взятку дали миллионную?

И чего он добился? Едет жаловаться — возвращают в Одессу под конвоем. Пишет пронзительные письма в прокуратуру — двадцать месяцев содержат под стражей. Радостный выходит из зала суда, а следователь в течение шести недель не отдает ему паспорт: «Зачем тебе устраиваться на работу, все равно посадим!». Добивается судебной реабилитации, а ему суют метлу в руки.

Вот так, в один абзац уместились испытания, которым подвергла Николая Розовайкина судьба, а они заняли пять — вдумайтесь! — пять лет его жизни: в 1977-м его исключили из ВЛКСМ, в конце 1981 года его еще можно было встретить на территории Одесского порта с метлой в руках. Пять самых прекрасных лет в жизни человека, с 23 до 28, когда уже наступает время зрелого выбора, но еще не закончилась пора романтических представлений юности.

Стоит ли любая наша житейская справедливость таких человеческих испытаний? Стоит ли после этого радостно вздыхать: «Да, есть правда!».

Эти риторические вопросы перед Николаем не стояли, потому что себя лично он не жалел и жалеть не хотел. Он думал о будущем, то есть о торжестве правды.

Да, он вызвал большую волну, и шторм едва не захлестнул его. Но он-то знал, что справедливость не делится на большую и маленькую: мол, за одну необходимо бороться, спасать ее, как спасают человека, гибнущего в море, а с другой можно обращаться по-своему. И оказался прав, потому что так думал не он один.

Десятки людей встали на защиту Николая Розовайкина, сотни писем пришли в партийные, советские руководящие органы, в редакцию «Литературной газеты», в Прокуратуру СССР.

После вмешательства Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Одесский областной комитет Компартии Украины наложил строгие партийные взыскания на заместителя председателя Жовтневого райисполкома Лепинского и на начальника Жовтневого райотдела милиции Волобуева. Коллегия Прокуратуры СССР за необоснованный арест Николая Розовайкина отстранила от занимаемой должности прокурора Жовтневого района Шатохина и прокурора следственного управления областной прокуратуры Прокопишина. За волокиту и невнимательное отношение к жалобам Николая Розовайкина строгий выговор объявлен прокурору Одесской области Ясинскому. Как необоснованное было отменено решение о прекращении уголовного дела по хищениям курсантских денег в мореходном училище. Розовайкина восстановили в партии и в комсомоле.

Нашел наконец Николай свою и нашу правду.

Сейчас он вновь работает судовым механиком, его восстановили в институте, новая формулировка появилась в решении о прекращении против него уголовного дела: не «за недоказанностью», а «за отсутствием состава преступления».

Справедливость восторжествовала. Но почему же все-таки такой дорогой ценой? И кто стоял за спиной казнокрадов из училища? Кто водил рукой старательно и прилежно следователя Капицы? На эти вопросы еще предстоит получить ответы. Узнать, кто эти невидимки, рискнувшие ради собственной выгоды и ради так называемого «душевного спокойствия» пойти на клевету, фальсификацию, на нарушение законности. Не стараниями ли тех же сил до сих пор нет фамилии Николая Розовайкина на стенде среди других курсантов, закончивших училище с отличием? Невидимые миру силы и связи, надеемся, будут вскрыты органами следствия, республиканскими организациями. Те, кто организовывал преследование Николая Розовайкина, будут наконец-то названы поименно.

С помощью этих «связей» пытались повлиять и на редакцию: в течение полугода телефоны звонили не только в служебных кабинетах, но и дома у автора и у руководителей «Литгазеты». Нам старались доказать, что это мелкий, частный, не заслуживающий общественного внимания факт из жизни одного молодого, чересчур горячего человека, который совершенно случайно оказался в центре событий.

Но, видимо, это и есть главное свойство честного, порядочного человека — оказываться в центре событий.

Думаю, уверен, что те, кто преследовал Николая Розовайкина все эти годы, кто препятствовал торжеству справедливости, кто уже потом, когда справедливость все-таки восторжествовала, пытался доказать редакции, что «не стоит», «не следует», «не рекомендуется» делать из частного случая общественный урок, до глубины души обиделись, если бы их назвали непорядочными. Как? За что?

Свой покой и свой, установленный ими порядок они защищали для себя, для подтверждения своей всеисильности, и в этом порядке они (уж извините за тавтологию) чувствовали себя в полном порядке. Недаром же, несмотря на строгое партийное взыскание, Волобуев — начальник другого, уже Приморского, райотдела милиции, а Шатохин как ни в чем не бывало работает в органах прокуратуры.

Николай Розовайкин был и остается для них странным, непонятым человеком, даже ненормальным. Кто же для них «нормален»? Да и какими хотят они видеть сегодняшних молодых? Циниками, не верящими ни во что, считающими, что для карьеры все средства хороши? Приспособленцами? Теми, что ли, кто до сих пор уверен, что, живи Розовайкин иначе, все было бы сейчас у него в «полном порядке»?

Такие молодые есть. Ведь следователь Капица — ровесник Николая (ровесник, для которого «дело Розовайкина», возможно, было одним из первых) — не мог не понимать, кто он, сидящий перед ним глаза в глаза, не мог не знать всей истины ложного обвинения.

Кажется, хотя бы для него, для ровесника, эта история должна стать серьезным, может быть, главным жизненным уроком.

Но, увы, Капицу не наказали и не понизили в должности. И даже выговора не объявили за следственную ошибку, хотя ошибка следователя сродни ошибке сапера. Только взрываешь не себя, а других.

Напротив, прилежность и старательность молодого и перспективного работника оценили: он был повышен в звании, его назначили начальником следственного отделения Жовтневого райотдела милиции. Капица вписался в местный «порядок».

И, значит, он-то полностью уверен, что не ошибался — в лучшем случае «заблуждался». Ошибся — Розовайкин.

Но мы-то хорошо знаем, что Николай Розовайкин победил.

Он победил именно потому, что без колебаний подставил свою судьбу под штормовой натиск. Он победил потому, что знал твердо: справедливость торжествует не только в кино, но в жизни, истина только тогда становится истиной, когда ее доказываешь, даже рискуя собственной судьбой.

За правду, наконец, нужно бороться в открытую, иначе мы потеряем ее во множестве допустимых отклонений, которые в сумме создают отклонения недопустимые.

Он стойко доказывал, что белое — это белое, а черное — черное, пугая окружающих пренебрежением к оттенкам, и только поэтому его правоту в конце концов признали. Он оказался сильнее обстоятельств, потому что не отступил перед обстоятельствами.

Вот поэтому так ценна нам сегодня проявленная Николаем Розовайкиным на-

стойчивость. Она ценна нам всем, несмотря на то, что Николаю сегодня всего лишь двадцать девять лет.

А может быть, именно потому, что ему всего лишь двадцать девять и все у него впереди.

«Литературная газета» №3, 19.01.1983

НА КАЧЕЛЯХ

Случай, о котором приходится сегодня рассказывать, взбудоражил город. Под письмом, полученным газетой, стояло 222 подписи

Стараюсь запомнить все и представить, что же тогда было перед глазами у ребят. Беседка. Стол доминошников. Узорная решетка детского сада. Гаражи, вплотную примыкающие к пятиэтажкам: один, второй, третий, пятый, одиннадцатый... — сбиваюсь со счета. Лужа возле асфальтовой дорожки. В ней — смятая пачка сигарет «Наша марка» и кукла без головы и рук. Наконец, качели. Те самые.

Думал, заскочу сюда, в западный поселок Таганрога, на Большую Бульварную, на пять минут, окину еще раз взглядом место события — и назад. Что рассматривать-то? Дома как дома, гаражи как гаражи, качели как качели. Но вот уже почти час, подняв повыше воротник куртки, брожу между домами, чувствуя на себе взгляды из окон. Меряю шагами двор, вспоминая, что рассказывал пятнадцатилетний Андрей («Бежали от угла соседнего дома, камень ударился здесь, возле качелей»), что было написано в уголовном деле («Свидетель Л. смотрел из окна третьего этажа, свидетельница Н. наблюдала с подоконника второго...»), — и чувствую: еще секунда, еще мгновение, еще шаг — и все пойму, все увижу, все станет объяснимым и ясным, как простая арифметическая формула.

Да неужели все так просто? Неужели и правда — обыкновенная арифметика?

События на Большой Бульварной начались с путаницы: четырнадцатилетнего Андрея приняли за десятилетнего Сашу.

На закате теплого субботнего дня 6 октября прошлого года примерно (как сейчас установлено) в 17 часов 30 минут шестиклассница Лена прибежала в слезах домой и рассказала маме, что ее согнал с качелей четвероклассник Саша. Мама Лены, Вера Егоровна Зенина, воспитывала дочь одна и всегда болезненно воспринимала все ее неприятности, даже такого не бог весть какого масштаба. И она, как была, в халате, сбегала по лестнице, выскочила из подъезда и увидела, как мимо качелей бегут трое мальчишек. Схватив первое, что попало под руку — а под руку попался камень, — Вера Егоровна швырнула его в ребят. Камень угодил в ногу мальчишке, и тот остановился. «Ты за что избил мою дочь?!» — закричала Вера Егоровна и, подбежав, схватила мальчишку за плечи и начала трясти его, как какую-нибудь грушу. «Да это не он, мама!» — запрыгала вокруг нее Лена. Но Вера Егоровна или не слышала слов дочери, или в этот

момент все обидчики девочки представлялись ей на одно лицо.

Мальчиком, которого «перепутали», оказался Андрей Макшаков. И хотя ростом он был невысок, сложением хрупок, а лицом — совсем ребенок (это, видимо, и ввело в заблуждение Веру Егоровну), ему уже шел пятнадцатый год, он закончил восемь классов и учился в техникуме. Не думаю, что таким уж сильным был бросок Веры Егоровны или велик камень, который попал в ногу Андрею. Дело не в этом! Окажись на его месте парнишка помладше, завопил бы он: «Мама!» — вырвался из рук тетки и убежал, забыв обо всем через минуту. Но Андрей уже был не в том возрасте, когда подзатыльник считают мелкой неприятностью. Кажется, что за разница — четыре года! Но это у нас, когда чем старше, тем больше у тебя обнаруживается ровесников. От десяти же до четырнадцати — пропасть: там — детство, здесь — отрочество. Объемнее делается мир вокруг, острее его восприятие, болезненнее любое проявление несправедливости.

Вот почему, когда Андрей (а он и два его приятеля, Толя и Сережа, оказались в этом дворе совершенно случайно: бежали откуда-то куда-то), — да, когда попал он в такую заваруху, то не завопил, как маленький, но и не сказал спокойно, как взрослый и ко всему привыкший: «Гражданочка, уберите руки, вы меня с кем-то спутали». Он начал вырываться и заговорил горячо, громко, с обидой: «Не трогал я вашу дочь!». А потом крикнул: «Что ты ко мне пристала!». Он, подросток, ей, взрослой женщине, крикнул «ты».

Повторяю, была суббота, стоял теплый вечер южной осени. И потому свидетелей этой сцены оказалось много. На лавочках, на подоконниках, в открытых настежь гаражах. Наконец, в беседке, прямо возле качелей. Само по себе нападение Веры Егоровны на ребят, ей незнакомых, явно из чужих домов, не было особенным событием, наоборот — привычным. Кто же, как не матери, вылетает во двор на защиту обиженных детей! И потому свидетели смотрели равнодушно. Встрепенулись, когда из уст сопляка, подростка услышали «ты», брошенное в лицо взрослому.

Мужчины мигом высыпали из беседки, и самый представительный из них и на вид солидный, Владимир Трофимович Опошнян, схватил Андрея за ухо. «Ты чего хамишь! Она тебе в матери годится!» — крутил он «по-отцовски» ухо Андрею. Андрей вырывался и говорил сердито, зло, что он никого не бил. Кругом закричали, что хулиганы вообще надоели, надо звать милицию. Кто-то толкнул Сергея, кто-то слегка ударил ногой пониже спины Толю. Андрей вдруг крикнул, указывая на Владимира Трофимовича: «Вы же пьяный! Вас самого надо в милицию!». Какой-то мужчина тут же вытащил из кармана удостоверение дружинника: «Вот сейчас и пойдем в милицию!». Но другие, наоборот, слова про милицию пропустили, зато возмутились другим. И загудели в ответ: «А ты ему не наливал!».

Андрей действительно не «наливал» ни Владимиру Трофимовичу, ни его товарищам по борьбе с «хулиганствующими» подростками. Как потом выяснилось, наливали другие. В этот день в доме 10/3 (двери подъездов — прямо к качелям) играли свадьбу, Владимир Трофимович как владелец единственной во дворе новенькой «Волги» организовывал свадебный кортеж, ну а потом ему налили. По-соседски.

Мальчишки стояли, окруженные толпой взрослых, можно сказать, с «матерями» и «отцами». Правда, с чужими. Между взрослыми вертелась шестиклассница Лена,

дергая за рукав то одного, то второго, доказывая с детской жадой справедливости, что ее согнал не этот мальчик. Андрей что-то пытался еще объяснить, может быть, слишком нервно и громко.

И тогда Владимир Трофимович наотмашь ударил его по лицу. Сильно, так, что из носа потекла кровь.

Так в этой истории пролились первые капли крови...

Ребята вырвались наконец и побежали из этого чужого двора на улицу.

...Уже впоследствии, листая уголовное дело, я пытался найти в показаниях свидетелей — а их вон сколько было! — хотя бы одно слово в защиту Андрея и его товарищей. Кто-то ведь должен был сказать, уже одумавшись: «Да стоило ли так, товарищи!», спросить у самих себя: с чего начался сыр-бор? Представить, наконец, себя, взрослого, в ситуации так называемой напраслины. Ну, что ближе... Хотя бы в магазине самообслуживания, когда тебя незаслуженно подозревают в краже пачки лаврового листа. Ну?..

Нет. «Вели себя вызывающе...», «грубили...», «огрызались...», «оскорбляли...». Даже те свидетели, кто за всем происшедшим наблюдал издали или «свысока», с третьего, пятого этажа, и то оказались единодушными, распределяя роли. Подросткам — хулиганов. Взрослым, понятно, — если уж не потерпевших, не жертв, так защитников от «хулиганья». Слишком знакома подобная ситуация, слишком ожидаема, слишком легко ложится на сердце. Это как пьеса, по первым репликам которой становится тут же ясно, кто герой, а кто злодей...

И как часто житейский опыт, постепенно становящийся монолитом, мешает нам принять иной расклад событий...

Итак, куда же направился Андрей с двумя своими товарищами, потерпев сокрушительное поражение у качелей в чужом дворе? Думаю, будь они в самом деле десятилетними, побежали бы к мамам, подняли бы их в атаку от кухонь и телевизоров. Или — обиделись бы до слез, но забыли бы обиды с новыми впечатлениями утра.

Но в четырнадцать лет нарождается, проклевывается еще одно чувство, куда более высокое, чем обида, — чувство собственного, человеческого, гражданского достоинства. Не у каждого, конечно, в этом возрасте (в понятие «социальный инфантилизм» входит, наверное, кроме всего прочего, и неуважение к себе как личности, гражданину), но у многих, у большинства, я уверен.

Андрей и его товарищи это чувство в себе уже услышали, ощутили его горькую сладость и будто поняли, что зарастет обида, заживет разбитый нос, но такой шрамище может остаться на сердце надолго.

Вряд ли ребятам было знакомо слово, которым щеголяют юристы: «правосознание», но то, что они были уверены, что уже обладают правом на защиту своего достоинства, — в этом можно не сомневаться. Они пошли искать защиты в милицию.

Перешли широкую улицу. Там в двух шагах от их домов находился пункт охраны общественного порядка. Дернули дверь — закрыто. Постучались — никто не отозвался. Заглянули в окна — темно и тихо.

Кто-то из ребят вспомнил, что рядом находится медвытрезвитель — тоже, ка-

жется, «милиция». Нашли, где это. Открыли дверь. Увидели человека в милицейской форме с повязкой на рукаве: «Дежурный». Кажется, то, что надо.

По медвытрезвителю дежурил в тот вечер В.С. Тимченко. Потом, когда уже все случится, он вспомнит: да, примерно в 18.00 пришли подростки и один из них спросил: «Меня побил дяденька. Куда нам обратиться?». Тимченко объяснил, что здесь почти медицинской учреждение, на его попечении много разного народа, который в силу особенностей состояния нельзя оставить без присмотра. И — позвонил в отделение. Там сказали — или, как он говорит сегодня, слышалось, что сказали: посылай ребят к нам. Он и послал.

1-е отделение милиции, куда Тимченко направил ребят, находилось уже не возле их домов, а куда дальше, в нескольких остановках на автобусе. Дождались автобуса. Проехали. Нашли вывеску, уже светящуюся огнями: на город опустились сумерки.

По отделению дежурил в тот вечер капитан милиции И.Н. Комаров. И он тоже хорошо запомнил этот визит: «Один парнишка — у него рубашка была в крови — сказал, что его избил дяденька. Я спросил, знает ли он этого «дяденьку». Ответил, что знает только двор. Я сказал ребятам, чтобы они сходили за родителями и вместе с ними пришли в отделение».

Позже на вопрос, почему он даже не записал фамилии ребят, не зарегистрировал происшествие, Комаров объяснит, что ребята ему показались «еще маленькими, лет по 12». Потому и отослал их: подумаешь, взрослый «поучил пацана», врезал разок...

Андрей потом вспомнит, что дежурный сказал им на прощание: «А что же вы того «дяденьку» с собой не привели?». Это была, видимо, не самая удачная шутка капитана милиции.

Они снова оказались на улице. Автобуса ждать не стали — пошли пешком. Завернули за угол и увидели Сашу Проказина. Он стоял, облокотившись о подмостки сцены или эстрады, какие бывают в парках, будто давно ждал товарищей...

Я шел их маршрутом. Вот так же обогнул дом и увидел на пустыре между пятиэтажками эту сценическую площадку, оставшуюся здесь, видимо, от каких-то давних праздников, митингов, когда не было вокруг сплошной жилой застройки. Теперь дома окружали ее плотным кольцом и смотрели на нее своими окнами, будто молча ждали начала следующего спектакля...

Дождь пошел сильнее. Ветер был противный, зимний, и сцена, иссеченная нескончаемым дождем, показалась мне в этом дворе чем-то фантастическим, нереальным, нарочно придуманным. Как и вся эта история — хотелось добавить мне. Но мы уже почти подходим к ее финалу.

Ребята сразу и в лицах рассказали Саше про те полтора часа жизни, что они не виделись. Разговаривая, поднялись по лесенке на сцену (просто так), бродили по ней, стояли все вместе, о чем-то споря, будто и вправду играли пьесу перед окнами домов. И Саша Проказин сказал решительные слова: что именно надо делать. Делать прямо сейчас...

Но еще больше, чем об этой символической сцене, я думаю сейчас о другом: почему именно Саша, а не кто иной, попался им в ту минуту на дороге? Ведь ребята

могли пройти мимо десятью минутами раньше, а Саша мог выйти из дома на полчаса позже... Почему случай играет такую роль в жизни?

Впрочем, Саша оказался именно там, где и должен быть. Такая выпала ему роль в мальчишеской компании. В свои четырнадцать лет он успел удивительно многое: завоевал разные спортивные призы — от футбола до стрельбы из электронного пистолета, закончил школу бального танца, имел удостоверение юного водителя, поступил, как и Андрей, в техникум, был душой и заводилой в подростковом клубе «Мечта» (вход в подвал, где клуб, — прямо напротив тех качелей).

Но к Саше ребят притягивало и другое: он всегда знает, что делать, всегда защищает слабого, не выносит несправедливости. Это качество его характера — да нет, какое там качество — состояние души подчеркнули все, с кем пришлось мне беседовать.

Мы грубо ошибаемся, полагая, что лидером среди подростков всегда становится самый сильный, или жестокий, или самый недобрый. Эта ленивая мысль держит нас в шорах. Раз подростки — значит, «трудные». Не хотим вспомнить себя. Не даем себе труда подумать, что большинство-то ребят — обыкновенные, хорошие, нормальные, никакого криминала за душой! Порядочность, обостренное чувство справедливости, правды — вот те «проходные баллы», что выдвигают среди них лидера.

Потому-то, думаю, — пусть даже так распорядился случай, — Саша Проказин оказался там, где ему положено было оказаться в силу душевного своего назначения.

Саша сказал Андрею: «Этот человек должен извиниться перед тобой».

Жизнь может круто изменить профессию, о которой мечтал в детстве, заставить забыть, чему учился, насмешливо отвернуться от прежних увлечений. Но чувство справедливости — самое невычисляемое и самое дефицитное, — если оно сильно проявляется в детстве и юности, остается с человеком на всю жизнь нелегким и высоким грузом за плечами. Я знаю таких людей: уже взрослые — иные уже поседевшие — вдруг скажут вольное детское слово в разгар осторожной беседы и поставят все на свои места или удивят в суете освежающим детским поступком.

Такие «детские» люди всегда берут все на себя, как громоотводы.

Шел восьмой час вечера, когда Саша появился с ребятами в том дворе. Из окон дома № 10/3 слышны были музыка и крики «Горько!». Свадьба, начавшаяся утром, еще катилась. Ребята стояли и осматривались, у кого спросить. Увидели человека, нетвердо идущего по двору, «дядю Тураева», как позже выяснилось. «Он меня ногой саданул», — сказал Толя. Саша подошел к человеку: «За что вы этих ребят били?». «Дядя» оглядел компанию мутными глазами, увидел кровь на рубашке Андрея и сказал: «Не, этого я не трогал. Того, — указал он на Толю, — было дело. А этого Володька Опошнян избил». И показал на подъезд дома.

Ребята вошли в подъезд, позвонили наугад в шестую квартиру. Дорошенко, сосед Опошняна по подъезду, вспомнит потом: да, действительно, звонили. Открыла жена. Увидела ребят, ответила на всякий случай, что не знает, где живет Опошнян.

Поднялись еще на этаж, нажали кнопку десятой квартиры. Из-за двери спросили: «Чего нужно?». «Здесь живет дядя Вова?». За дверью помолчали немного, потом ответили: «Нету таких! Идите отсюда!».

Спустились вниз, на улицу. Встали возле подъезда. Спросили у женщин на скамейке, где можно найти «дядю Вову». Женщины поинтересовались — зачем. Объяснили: надо, чтобы он извинился. Женщины поохали, но квартиру не назвали. В это время подошла Л.М. Душаткина, руководитель клуба «Мечта», в совет которого входил Саша Проказин. Остановилась, потому что в толпе ребят заметила и своего сына. Они наперебой начали рассказывать ей, как и за что избили Андрея. Она посоветовала не горячиться, отложить разбирательство до утра. Ей показалось: ребята прислушались к ее доводам. Пошла дальше, но что-то — может, это и было предчувствие — остановило ее. Вернулась к подъезду. Там уже никого не нашла.

Ах, если бы поверила она своему предчувствию! Если бы нашелся хоть один взрослый — а вон сколько их было: кто встречал их в дверях своих квартир, кто провожал глазами на ступеньках лестницы, кто смотрел из окон домов, когда они что-то горячо обсуждали, — если бы хоть один-единственный догадался вместе с ребятами разобраться, что у них случилось, кто виноват, чем им помочь! Но никто, никто... Понимаете, никто!

Что же происходит-то с нами? Свое — видим, чужое — не замечаем. Горло готовы перегрызть за обиду, нанесенную собственному ребенку, обиды чужих детей пропускаем мимо своего сердца.

Ребята дошли до пятого этажа, позвонили. Открыла Вера Егоровна Зенина, та самая. «Уходите по-хорошему, а то сейчас милицию вызову!» — крикнула она. «Вызовите, пожалуйста, — сказал Саша, — мы и хотим разобраться...».

Но Вера Егоровна хлопнула дверь и уже из-за двери крикнула: «Идите в десятую квартиру, там и разбирайтесь».

Итак, у дверей десятой квартиры оказались трое ребят: Андрей, Саша и Володя Ершов. Остальным Саша велел спуститься вниз, чтобы не шумели тут, не базарили. Андрей нажал кнопку звонка.

Вот и подошли мы к последнему мгновению этой истории.

Неделю заняла у меня эта командировка. До меня — тоже неделю — находился в Таганроге эксперт «Литгазеты», опытный и авторитетный юрист Иван Матвеевич Минаев.

Вот сколько времени понадобилось, чтобы исследовать ход события, которое заняло всего ничего — часа два от начала до конца. Но чем внимательнее прослеживали мы их маршрут — как они метались от одного взрослого к другому, — тем больше убеждались: а ведь похоже! Так бывает и у нас, взрослых, когда незаслуженная обида гонит на поиски справедливости, и мы стоим у закрытых дверей или ищем сочувствия в равнодушных глазах, и даже цель у нас та же: «Пусть хоть извинится...». Похоже, очень похоже! Только у ребят все происходит быстрее, скоротечнее, иногда — со стремительностью пламени бикфордова шнура. Все как у нас, взрослых. Только ярче, открытее. Да, конечно, узнаваемо. Только у них чаще трагичнее финал. Оттого, наверное, что слишком стремительно, и оттого, что ярче. И оттого, наконец, что они куда беззащитнее, чем мы.

Итак, Андрей нажал кнопку звонка. Зазвенели цепочки, загремели запоры. Дверь открыла женщина. «Можно позвать вашего мужа?» — спросил Андрей.

«Ну, входите», — сказала женщина и закрыла за ними дверь на цепочку. И через минуту раздался выстрел. Распахнулась дверь, и выбежал Андрей. Он был в носках, без туфель.

— Сашу убили, — прошептал Андрей. И тут же раздался второй выстрел. Андрей опустился на ступеньку, заплакал, и у него носом пошла кровь.

При первом, через несколько часов, допросе Опошнян Владимир Трофимович, 1924 года рождения, уроженец села Опошня Полтавской области, показал:

«...Через полтора-два часа (после конфликта во дворе. — Ю. Щ.) я собрался идти в гараж. В коридоре на лестнице встретилась эта Вера Зенина с дочерью и говорит, чтобы я не ходил, так как у меня дома целая шайка. Я повернул домой...

Потом в дверь позвонили и спросили меня. Жена сказала, что такой не проживает. Затем снова позвонили. Я сказал жене, чтобы она их впустила, а я загоню их в туалет или на балкон и вызову милицию. Зная о том, что они наверняка пришли не с пустыми руками, то есть с оружием, я взял ружье и приказал жене открыть дверь. Вошли трое. Я приказал им идти на балкон. Они не идут, тогда я приказал идти в ванную: там, думаю, они ничего не выкинут, если у них есть оружие. Они нагло идут на меня...».

Все сказанное было ложью.

Ребята вошли в квартиру, дверь за их спиной заперли. Они сняли обувь, как принято здесь, в носках вошли в большую комнату («залу», как скажет Андрей) и увидели направленную на них бельгийскую двустволку. «Ну что, достукались?!» — зловеще спросила жена хозяина. Саша Проказин развел руками (была у него такая привычка в любом разговоре), но успел только сказать: «Давайте разберемся...». И тут хозяин выстрелил. Саша как-то странно улыбнулся и упал. Смерть его наступила мгновенно.

«Я выстрелил в потолок, — показал далее Опошнян, — чтобы напугать их. Но двое, большой и самый маленький, бросились на меня. Большой толкнул меня на диван, и в это время я каким-то образом выстрелил, ни в кого не целясь, и попал в того, что в куртке. Тот упал, а большой стал душить меня на диване...».

Вопрос следователя: «Каким по счету выстрелом вы убили Проказина?»

Ответ: «Первый выстрел я произвел в потолок, а второй во время схватки, когда они на меня накинулись. Я в Проказина не целился...».

И это была ложь. Саша был убит первым выстрелом, в упор. Затем Опошнян торопливо вынул из ствола стреляную гильзу и зарядил новую. Как на охоте. В потолок пришелся второй выстрел, и лишь потому, что Володя Ершов успел схватить за ствол ружье и повернуть его вверх

Впоследствии Опошнян будет утверждать, что курок спустился, так сказать, самопроизвольно. Но и это будет ложью. Эксперты определят: с курком было все в порядке.

Но не для того, чтобы отделить ложь от правды, вчитывался я в уголовное дело. А для того, чтобы разобраться: да почему же Владимир Трофимович вообще стал убийцей? В собственной квартире, устланной коврами и уставленной полированной мебелью (не то что пуля попадет — оцарапает жалко)? В присутствии жены и внучки? В ребят стрелял, которых все принимали за 10—12-летних? Ну если испугался, то не открывал бы, крикнул бы в окно, обзвонил бы милицию! Что же так специально, что же засаду-то устраивать, что же расстреливать-то?

Читаю его автобиографию в уголовном деле. Все обычно: жил, работал шофером. По характеристике с последнего места работы — автобазы филиала рыбзавода, — трудился вроде достойно: и наставником молодежи был, и председателем цехкома избирался неоднократно, и на Доску почета заносился. В пьянстве замечен не был, и те, по его словам, 120 граммов, принятые на свадьбе, явились для него скорее исключением, чем правилом. В домино и то не играл с мужиками. Был хозяйственным, семейным, «домашним».

Правда, десять лет назад был осужден на исправработы за хищение цемента. И вот еще: слишком уж часто менял автомобили, пока не купил «Волгу». Но есть ли связь между тем мешком цемента и выстрелом, между тем, как вил и обставлял свое «гнездо», и убийством? Не знаю... По бумагам, анкетам, документам — не видно...

Что же все-таки заставило его спустить курок?

Когда мы с ним встретились в следственном изоляторе, и я впервые увидел его: высокого роста, но не грузный, лицом, несмотря на свои шестьдесят, румяный и молоджавый, в движениях и разговоре спокоен, — и тогда я никак не мог ответить себе: что же за феномен-то такой передо мной? И хотя некоторые рассуждения Опошняна меня резанули: следы крови на рубашке Андрея он, допустим, приписывал не своему кулаку, а тому, что они, ребята, наверняка после этого еще «кошку убили (почему кошку? — Ю. Щ.) и специально себя кровью измазали», — но в общем говорил он складно. Сам, например, вспомнил старую газетную статью о владельце дачи, который застрелил мальчишку из-за черешни. Сказал при этом: «Вот какие бывают люди!». Свою историю сравнил со «случайным наездом на улице». Да, конечно, ему жалко, что так произошло, но не специально же он! Ведь, объяснял он мне, если бы хотел убить, то убил бы того нахального, в клетчатой рубашке, которому еще во дворе врезал по носу. Надо было, считает он сейчас, сделать по-другому: позвать соседей — есть там два здоровых парня, посадить их в ванной в засаду (он так и выразился — в «засаду») и захватить скопом всех, как он сказал, хулиганов. Вместо всякой стрельбы.

И в самом деле, зачем же было такому человеку идти на убийство? Да еще на такое? И даже стало жаль его, когда в конце нашей беседы на глазах его показались слезы: «Вот ведь получилось... Жил-жил, и такое перед старостью! Выйду оттуда — ведь совсем стариком буду».

И в последний день командировки я все бродил, подняв повыше воротник куртки, между пятиэтажками на Большой Бульварной: беседка, стол для доминошников, узорная решетка детского сада, гаражи, лужа, кукла без головы и рук, качели — те самые. И возле них я, кажется, понял, в чем дело. Понял?! Но неужели «причина» выглядит так просто? Как формула?

Вот что, мне кажется, опустило его палец на курок: ненависть, смешанная со страхом. А это самый взрывчатый сплав в мире. Не лично Сашу Проказина ненавидел В. Т. Опошнян и боялся — он и не знал его, в глаза не видел раньше... А хотя бы и знал!.. Достоинства детской, юношеской души — даже не потемки, а какие-то черные дыры для человека, что называется, «умудренного опытом». Слишком слабый след от собственной юности остается у него в памяти, да и тот, что остается, не бережет он, а часто и не хочет сберечь. Что Владимиру Трофимовичу было до понятий мальчишки о

добре и зле и его собственном участии в вечном их противоборстве?! Точно так же не мог быть его личным врагом Андрей Макшаков, знакомство с которым состоялось на два часа раньше. Да больше того! Я выпытывал у Владимира Трофимовича: может, когда-нибудь раньше была у него стычка с подростками, напугавшая его и внушившая ненависть к самой этой возрастной группе населения? То есть, может, Саша Проказин расплатился жизнью за поступок каких-то своих ровесников? Да нет. Сколько ни вспоминал Владимир Трофимович, к нему лично никогда не подходили на улице подвыпившие юнцы, не требовали закурить, не смеялись в спину... Да и наблюдать-то подобные сцены ему не приходилось. И самое интересное (будто специально смоделирована ситуация), что район, где проживал Опошнян, — поразительно тихий. Среди множества подростков, населяющих микрорайон, за последние четыре года ни один — повторяю, ни один! — не совершил преступления, а все юные участники этой истории были на редкость благополучные (по воспитательно-юридической оценке) и порядочные (по общей, вневозрастной) ребята.

Кого же он боялся и ненавидел? В кого стрелял?

Может быть, в тот созданный его страхом и ненавистью образ, который в решающую секунду принял вид паренька с удивленно разведенными руками и с незаконченной фразой «Давайте разберемся...»?

Давайте, давайте разберемся! Давайте разбираться!

В последнее время меня до боли пугают та неприязнь в отношении подростков, открытое и агрессивное непонимание и даже страх, доходящий до ненависти, о которых пишут в редакцию некоторые читатели. Я знаю об этом из разговоров и споров в разных аудиториях и даже из некоторых газетных публикаций. Начинают с мелочей: не то поют, не то танцуют, не так одеваются, а кончают принципом: живут вообще «не так» (в подтексте: негодяи; смысл: что-то надо срочно делать...).

Я пишу судебные очерки, и мне приходится нередко изучать не проступки даже, а преступления несовершеннолетних. Я знаю, что такое слепая сила подростковой стаи. Я сидел — глаза в глаза — напротив маленьких убийц, говорил с ними. Видел и слышал в них такую душевную, духовную нищету, такое убожество интересов, такое пренебрежение к другому человеку, что потом долго не мог прийти в себя.

Но я понимал: эти-то подростки — преступники. И среда их развития была аномальна, и поступки, совершенные ими, не укладывались в общественную норму.

Да разве не такое же ощущение оставалось после бесед с такими же «аномальными» взрослыми? Несмотря на их возраст и жизненный опыт, точно так же ошарашивали и их духовная нищета, и их убожество интересов, и их пренебрежение к другому человеку.

Значит, дело-то вовсе не в возрасте. Есть разные подростки, и есть разные взрослые. Но не закидываем же мы камнями самих себя, когда именно на подростков проецируем все наши взрослые проблемы?

Случай, о котором приходится сегодня рассказывать, взбудоражил город. Под письмом, полученным газетой, стояло 222 подписи: наказать! Сделать частный случай фактом общественного размышления! Защитить ребят! Но в том же письме было

сказано: кто-то собирает подписи в защиту убийцы, кто-то заявляет: «Так им и надо, хулиганам». Кто-то — даже сейчас! — говорит, что «и остальных надо было проучить». Не поверил бы, если бы сам здесь, в городе, в кабинете, не услышал — и ужаснулся тому, что услышал: «А пусть не ходят шайками!». Ну да, пусть ходят поодиночке (двое — уже «шайка»), с портфелями, и не торопясь, и только днем, и желательно, чтобы только по той улице, которая видна из окон отделения милиции...

Вот он, слепой страх, переходящий в слепую злобу!

Мы — как на детских качелях: от неистовой любви к собственному чаду до ненависти к его ровесникам — и обратно. Давайте остановимся и сойдем на землю. Давайте взглянемся в ребят и увидим, как они правдивы и активны, как хотят докопаться до ответов на главные вопросы жизни, как жаждут уважения к себе и как доверчиво отвечают на малейшее к ним внимание...

Упрекая их всех скопом, и чаще всего незаслуженно, за какие-то мелочи, говоря, что они живут «не так», мы порой забываем одну-единственную малость: они — это мы. Только моложе.

За что отдал жизнь Саша Проказин? Странное словосочетание — «отдал жизнь» — по отношению к случайной жертве случайного преступления. Понятно, предотвратил бы ценой жизни крушение поезда — другое дело. А так?.. Но чем дальше я думаю о трагическом происшествии в Таганроге, тем больше убеждаюсь: да нет, все-таки отдал жизнь.

Перед глазами часто, даже когда не хочется — те подмости сцены во дворе и паренек, застывший на ней. Минута, другая — и он сойдет по ступенькам и скажет с надеждой и верой: «Давайте разберемся...».

Запомним Сашу таким.

* * *

Приговором выездной сессии Ростовского областного суда, состоявшегося в Таганроге в середине мая, Опошнян В.Т. приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Таганрог — Москва
«Литературная газета» № 23, 5. 06. 1985

ЛЕВ ПРЫГНУЛ!

Диагноз: организованная преступность. Проведены первые исследования

Слово «мафия» уже до такой степени вошло в наш лексикон, что, скажи кому-нибудь, вздохнув: «Куда денешься — мафия...», — тебя не спросят: «Что, тревожно в Италии, да?».

Мы сжились с этим словом настолько, что к чему только и к кому его не приклеиваем. К магазинам, НИИ, баням, кафедрам, творческим союзам, больницам, пив-

ным палаткам; сантехникам, дипломатам, проституткам, мясникам, шахматистам, билетным кассирам; к городам, областям, республикам, к незаметным на карте поселкам и к столичным центрам.

Но за догадками, намеками стала пробиваться и истина, бесстрастная и холодная. Мафия — не красивый образ, мафия — реальность, болезнь, о которой мы раньше беспечно думали, что уж она-то нашему обществу не грозит.

— Мафию, — говорит А. И. Гуров, — характеризуют три признака. Во-первых, это преступное сообщество, которое имеет четкую структуру и иерархические связи: есть главарь (или группа главарей), держатель кассы, связники, боевики, разведка, контрразведка.

— То есть, Александр Иванович, это как бы нормально функционирующая организация закрытого типа?

— Да, это и есть организация, созданная (и это — второй признак) для систематического преступного бизнеса. И — третий, основной. Преступное сообщество становится мафией лишь в условиях коррупции: оно должно быть связано с представителями государственного аппарата, которые состоят на службе у преступников. Если это прокурор, то он спасет от наказания, если работник милиции, то передаст наисекретнейшую информацию, если это ответственный работник, то сделает вовремя нужный звонок.

Я спрашиваю А. И. Гурова: есть ли отличия нашей, доморощенной мафии от западной? Отвечает, что есть, и потому редко употребляет слово «мафия»: у западных коллег-криминологов может создаться неправильное представление о предмете разговора. Западную мафию отличают от нашей транснациональные связи, а границы СССР, как известно, закрыты накрепко не только для мафиози, и второе, главное отличие — тамошняя мафия постоянно пытается легализовать свой капитал, порождая не подпольных, как у нас, а вполне легальных миллионеров.

И просит:

— Может, сейчас, в беседе откажемся от слова «мафия»?

— Вам виднее. Если западные криминологи сочтут, что мы и здесь отстаем...

— Хотя... — Александр Иванович задумывается. — Наши преступники уже налаживают связи с зарубежными «партнерами»: в первую очередь по поводу антиквариата и наркотиков. Связь эта, кстати, идет и через наших бывших (некоторые из них, уехав, создали на Западе преступные группы, в частности в Италии). И, к сожалению, нами уже получены данные, что с появлением кооперативов и наши лидеры организованной преступности получили возможность легализовать свой капитал, на их сленге — «отмыть»,

— Значит, термин менять не будем?

— Хорошо, давайте разберемся с нашей мафией.

Когда же началось?

— Только не при царизме! — убежден А. И. Гуров.

И когда я напоминаю ему о том, что писали Гиляровский или Дорошевич, объясняет, что они-то рассказывали о профессиональных преступниках, которые были и тогда, есть и теперь, и никуда мы от них не денемся в будущем. Но это не мафия. Профессиональная, то есть блатная, преступность — карманники, квартирные воры, разбойники, карточные шулеры, конокрады (исчезли ввиду отсутствия лошадей) — была и тогда, но ту преступность нельзя назвать «организованной». Хотя, допустим, одесские карточные мошенники платили дань некоторым полицейским чинам, но в целом преступность не сочеталась с коррупцией,

Были банды в двадцатые годы (сколько они дали сюжетов для детективов!), но мафией они также не стали. Те же причины — отсутствие коррупции в обществе, то есть служащие государственного аппарата не были куплены (хотя можно было найти отдельные примеры).

— Характер преступности и уровень ее соответствуют общественным отношениям. Это аксиома. И потому давайте подумаем: могла ли появиться организованная преступность в сталинские годы? Да нет, не могла. Тоталитарное государство не допустит (как известно, и Гитлер, и Муссолини в своих странах организованную преступность уничтожили).

Я интересуюсь: не тогда ли появились «воры в законе», а если да, то чем они отличаются от сегодняшних мафиози?

— Да, «воры в законе» появились в тридцатых. Это было время бурного развития нашей лагерной системы. Уголовников там было куда меньше, чем так называемых политических, но именно уголовники взяли на себя функции управления в условиях несвободы,

— Почему, если их было меньше? — спрашиваю, хотя сам понимаю, насколько наивен вопрос...

— На первых этапах из уголовников даже подбирали воспитателей и охранников. Ведь остальные-то были «фашистами» — так блатные называли всех, кто шел по 58-й статье: от наркомов до крестьян. И некоторые начальники лагерей специально стравливали блатных с политическими. «Воры в законе» — образовавшаяся в те годы преступная каста — тогда же, в начале тридцатых, установили свои правила поведения, одним из которых было: в политику не вмешиваться, с представителями власти не общаться.

— И так же, не вмешиваясь, продолжали жить на свободе? Они как бы составляли собственное параллельное государство в той сталинской стране?..

— Да, они были связаны воровской идеей, проповедовали жесткие законы по отношению друг к другу (копирующие отношения в стране), у них был и свой орган управления — воровская сходка (известны сходки в Казани, в московских Сокольниках), но в мафию они не превратились. «Блатные» понимали, что, как только они соединятся, им тут же приклеят политический ярлык, и тогда уже не до шуток. Больше того, «воры в законе» были в то время наиболее свободными людьми. Они не испытывали тех материальных трудностей, которые выпадали на долю народа; в своем кругу (а других они избегали) они не боялись пострадать за нечаянное слово, да и статьи, по которым их наказывали, были куда безопаснее 58-й с ее множеством страшных пунктов.

— То есть, — уточняю я, — «сталинский режим», уничтоживший миллионы, был снисходителен к «блатным», если только они не соединялись в организацию?.. Ведь, кроме других перечисленных вами преимуществ, они и под амнистию попадали чаще, чем политические. Чем это закончилось на закате сталинской «эры», показано в фильме «Холодное лето пятьдесят третьего...».

— Возможно, вы и правы, — соглашается мой собеседник. — Хотя как юрист я могу привести много примеров, когда и «блатные» становились жертвами необоснованных репрессий (в частности, известны их массовые расстрелы в лагерях). Но на кого бы репрессии ни были направлены — все равно они были незаконны, а потому преступны. Даже в отношении воровской нечисти. Однако, выясняя сейчас корни нашей организованной преступности, нужно твердо сказать, что, не будь Сталина, мафия все равно не появилась бы в тридцатые годы. Страна была экономически бедной, а мафия зарождается прежде всего там, где экономика достаточно развита. — И продолжает: — Первые признаки мафии появились у нас тогда, когда начал выправляться хозяйственный механизм, то есть при Н. С. Хрущеве. Хотя масштабы ее деятельности были смехотворны по сегодняшним меркам: в 1958—1959 годах средний ущерб от хозяйственных преступлений в среднем по РСФСР составил полтора-два миллиона. Сейчас подобный годовой доход имеет удачливый квартирный вор.

Итак, в шестидесятые можно было говорить об отдельных признаках мафии. В семидесятые она стала социальным явлением.

Именно тогда, вспомним, само это иноземное слово стало все чаще употребляться в нашем бытовом лексиконе. Казалось бы, не по делу: ну что за «мафиози» в жэке? что за мафия на кафедре? что за «коза ностра» в Краснодарском крайкоме? Смех, да и только. Скорее мы вкладывали в это слово свою горечь от социальной несправедливости, которую наблюдали практически ежедневно, — от невозможности пробиться сквозь бюрократические стены, от несоответствия между пропагандой и реалиями жизни,

Но появилось и новое: Корейко вышел из подполья! Те, кто раньше стеснялся своих незаконных миллионов, начали открыто вкладывать их в «Мерседесы», в бриллиантовые кольца, в особняки, которые уже возводили у всех на виду. (Чего было бояться какому-нибудь магнату пивной палатки, если и лидеры страны, и их дети кичились коллекциями драгоценностей.)

Тогда-то мы и начали шептать с отчаянием: ну, мафия!..

Но, кроме видимых невооруженным глазом процессов, начались и другие, которые могли увидеть только криминологи.

Вот как оценивает А. И. Гуров ситуацию семидесятых:

— Все больше и больше денег из госбюджета начало перекачиваться в частные руки. Способов было много, но основной — создание подпольных цехов и даже фабрик, через которые началась перекачка государственных сырьевых ресурсов. Появились и «цеховики» — преступники в белых воротничках. И как реакция на появление теневой экономики — резкая активизация «профессионального» преступного мира, тех, кого можно назвать продолжателями «воров в законе» сталинского периода. Даже концепции «работы» с новым контингентом были разработаны при

помощи одного из идеологов преступного мира старой формации — «вора в законе» Черкасова.

— Что это за концепции?

— Первая: бери у того, у кого есть что брать; вторая: бери не все, ибо терпению человека приходит конец; третья: бери на каждое дело работника правоохранительных органов, ибо «мусор из избы не вынесет» (цитирую дословно). Руководствуясь этими концепциями, и начала свою деятельность преступная организация Монгола. Именно с ее появления в Москве в начале семидесятых годов — по единодушному мнению криминологов и практиков — и начала формироваться отечественная мафия. В Узбекистане это произошло чуть раньше — в 1967—1968 годах.

Лидеры подпольного бизнеса стали объектом нападения гангстерских групп. Какими только способами не заставляли их делиться своими доходами! Поджигали машины, дома и дачи, похищали детей (именно в семидесятых годах появился киднепинг — преступление, которого раньше у нас в стране не было), шантажировали, пытали: одного подпольного миллионера, например, положили в гроб и начали пилить гроб двуручной пилой до тех пор, пока он не согласился заплатить «налог». А заявлений в милицию о нападениях не было! Деньги начали перетекать в блатную среду, и в таких суммах, которых за всю историю у профессиональных преступников никогда не было. А едва огромные суммы скопились у «блатных», в их среде появились свои боссы, которые получили возможность содержать штат: и охранников, и разведчиков, и боевиков.

— Но, Александр Иванович, что же мешало и «белым воротничкам» образовать свои охранные отряды? Ведь было же чем платить!

— Правильно. Различные преступные организации (в первую очередь экономические и гангстерские) должны были соединиться. Первыми запросили мира подпольные бизнесмены. Заключение мира был посвящен съезд, на котором присутствовали представители и того, и другого направления. Съезд проходил в середине семидесятых годов в одном из городов Северного Кавказа. Бизнесмены согласились платить десять процентов дохода «блатным» за то, чтобы те не трогали их и даже охраняли.

Я, конечно, не мог не заинтересоваться съездами и спрашиваю: единственный ли это известный ему съезд? Он отвечает, что нет, не единственный. Последний (по крайней мере из тех, о которых он знает) проходил в 1985 году в одном из черноморских городов и был посвящен... перестройке работы в связи с активизацией милиции. Но — вернемся в семидесятые.

— Александр Иванович, но если, допустим, «цеховики» обязались тогда платить «блатным», то точно так же они должны были передавать деньги и наверх: в различные административные органы. О подобных связях не раз писала «Литературная газета» даже в те застойные времена.

— Конечно... Наверх они платили, чтобы там их прикрывали от закона или визуировали незаконные поставки в их подпольные цеха, ну и вниз — чтобы оградить себя от нападений.

Так в семидесятые годы и были сформированы преступные организации, верхи и низы которых хоть и не знали о существовании друг друга (или делали вид, что не

знают), но были связаны теми миллионами, которые — с помощью «цеховиков» — шли из дохода нации в доход преступных кланов.

С таким наследством мы и пришли в сегодняшний день.

Пришли и увидели...

Сегодня, как показывают исследования, проведенные А. И. Гуровым и его коллегами, ситуация следующая.

Организованная преступность находится в стране на трех разных уровнях.

На первом, низшем, — уже сложившиеся преступные группы, которые еще не в силах выйти к этажам власти. Подобные группы действуют в районах Нечерноземья и других зонах. На втором уровне — такие же группы, но имеющие связи с коррумпированными служащими. И, наконец, на третьем уровне — самые сильные: несколько групп соединяются в одну, и наиболее сильный клан руководит остальными (на Западе это называется сетевой структурой мафии).

Спрашиваю:

— Но есть ли, так сказать, всесоюзная мафия?

— Ее нет и не может быть. В США, кстати, тоже нет всеамериканской мафии. Каждый клан контролирует свою территорию.

— А как вы думаете, руководители наших кланов знакомы друг с другом?

— Безусловно. У них тоже существует своеобразная табель о рангах и свои понятия о карьере.

— Сколько групп вы изучили?

— Около двухсот. По материалам уголовных дел каждая пятая, а из разговоров с главарями — каждая третья была связана с коррумпированными представителями административного аппарата.

Прошу подробнее рассказать, какие регионы страны больше всего заражены мафией.

— Зараженность эта неравномерная. И в США из 70 крупных городов только в 20 обнаружена организованная преступность. А что у нас? Глобальных исследований пока нет; слишком мелко мы копаем. Но данные, которыми уже располагаем, говорят о том, что преступные организации распространены прежде всего во всех южных регионах, включая Украину и Молдавию. Из городов Украины считаю наиболее зараженными Киев, Львов, Одессу, Донецк, Днепропетровск... Конечно, Москва и Ленинград. Отмечены преступные организации (но на более низком уровне) в Тамбове, Пензе, Ярославле, Перми... Сейчас в преступной среде стало престижным брать под свой контроль маленькие города. В Московской области это Балашиха, Люберцы, Пушкино, Орехово-Зуево.

— Александр Иванович, но почему все-таки так притягательны для мафии южные регионы?

— Думаю, объяснения надо искать в экономической сфере. Юг — это наш Клондайк. Кажется, ясно... Но другое дело, почему сейчас на устах у всех Узбекистан. Не только потому, что липовый хлопок позволял иметь миллиардные левые доходы и

коррупция руководителей развратила республику. Мы приводим в пример Узбекистан еще и потому, что его все-таки здорово копнули. До других регионов пока еще не дошли руки. Мы, например, недавно вернулись из Хабаровского края и обнаружили, что там создана преступная организация, которая называет себя «Управлением». Недавно это «Управление» обратилось с призывом создать фонд взаимопомощи тем, кто находится в заключении. Но деньги, как следует из текста «Обращения» (сам читал его), предназначены не каждому, а только верхушке преступного мира.

— Значит, впереди нас могут ждать новые открытия? Не меньше, чем дал Узбекистан? — предполагаю я.

— Думаю, да. Организованная преступность развивается, есть тенденция поглощения менее сильных групп более сильными. В преступном мире появляются те, кто управляет, и те, кем управляют. Под контроль берутся традиционные, «блатные» преступники, предпочитающие работать по-старому. По нашим данным, сегодня лидерам мафии платят дань не только подпольные бизнесмены (как раньше), но и карманные воры, сбытчики наркотиков, ночные торговцы водкой, проститутки. В противном случае им просто не дадут работать. Эту ситуацию «сквозного контроля» я считаю наиболее опасной сегодня.

— Но контроль одних должен вызывать сопротивление других?

— Да, вызывает. «Воры в законе», например, разделились сейчас на две ненавидящие друг друга категории. Одни живут старыми принципами, другие же перешли на службу к акулам (первые их так и называют презрительно: «сторожа акул»). Дело доходит до физического истребления друг друга. Но чаще конфликтуют представители разных группировок.

Я вспоминаю декабрь прошлого года. В районе метро «Аэропорт» во дворе писательского дома группа неизвестных хладнокровно убила парня, который только что сел за руль своей машины. Убитый оказался членом подмосковной преступной группировки. О том, как его хоронили, я случайно узнал из английской газеты «Обсервер». Вот что увидел ее московский корреспондент, попав (как он сам пишет, «случайно») на эти похороны:

«Мое такси остановилось на том месте, где покрытая льдом дорога сворачивала с шоссе. Здесь стояли 40 или больше автомобилей, и сразу стало ясно, что происходит что-то необычное. На каждом ярде от поворота до кладбища на дороге горели пятна красных гвоздик, равномерно разбросанных участниками процессии. Но самым удивительным был состав присутствовавших на похоронах. По крайней мере шесть люберецких банд (не путать с подростковыми группами. — Ю. Щ.) были представлены, если судить по группкам, окружающим своих главарей — последние одеты несколько похоже на чикагскую моду 20-х годов. Не верилось, действительно ли все это происходит в Советском Союзе в 1987 году. Поношенные шляпы на манер Барсалино, низко надвинутые на глаза, потрепанные шерстяные пальто, белые, на высоких каблуках кожаные ботинки, сигарета в углу рта. Их было приблизительно сто человек, еще 50 женщин и моментально узнаваемые переодетые в гражданское милиционеры, вооруженные кинокамерами и фотоаппаратами».

Об этом случае (в том числе и о похоронах) А. И. Гуров знает. У мафии в принци-

пе приняты пышные похороны. Рассказал о недавней смерти в Ташкенте брата (!) лидера одной из группировок (который и сам недавно был убит). На его похороны съехалось более двух тысяч человек из многих городов страны. Похоронная процессия парализовала центр города, перекрыв уличное движение.

Я прошу А. И. Гурова подробнее рассказать о сути конфликтов между группировками.

По его словам, чаще всего — из-за раздела территории.

— Стычки вооруженные?

— Бывают и вооруженные. Среди боевиков много спортсменов. Достать оружие проблемой, к сожалению, для них не является.

А. И. Гуров рассказывает о недавней перестрелке в Москве. Она была вызвана тем, что две преступные группировки — московская и областная — не поделили, кому контролировать «наперсточников».

Кто такие «наперсточники», читателям, надеюсь, известно. Не раз уже сообщалось в печати о том, как на московских рынках появились добры молодцы, которые просят угадать, под каким наперстком спрятан шарик. Эта нехитрая забава приносит им огромные доходы. Их контролировала московская группировка, которой — за покровительство — они платили «налог». Но областная преступная группировка решила взять их под свой контроль. В результате — перестрелка.

Далее А. И. Гуров говорит мне то, что, признаюсь, удивило:

— Но в принципе руководители преступных группировок не заинтересованы в лишнем шуме. Специально для улаживания территориальных разногласий у них действуют третейские суды, на которых судьями, как правило, выступают «воры в законе». Больше того, лидеры преступного мира контролируют преступность на своих территориях: ажиотаж вокруг чужих преступлений им невыгоден.

И добавил, что здесь наша мафия перенимает опыт зарубежной. Когда в США опросили общественное мнение, то оказалось, что больше возмущают убийцы, насильники и бродяги, чем организованная преступность.

Следующий мой вопрос — о кооперативах.

А. И. Гуров сообщает, что недавно он с коллегами опросил 109 работников следствия и уголовного розыска: какие изменения в преступных организациях наблюдают они с развитием кооперативов? 81 процент опрошенных назвали «рэкет», то есть вымогательство, 52 процента — охрану кооператоров, 22 процента — компаньонство (то есть вложили деньги в кооперативы, чтобы «отмыть» их, легализовать).

Спрашиваю, есть ли заявления от кооперативов в милицию для защиты от рэкетиров, или от «охранников», или от компаньонства.

— Единицы... Боятся, что не защитим, хотя мои коллеги знают, что даже врачам, занимающимся частной практикой, уже наносили визиты представители мафии.

— Александр Иванович, каковы сегодня доходы лидеров преступных кланов?

— Если принять во внимание, что ставки в их карточных играх достигли полумиллиона, а взятки, которые они предлагали нашим работникам, были и в триста тысяч, и в миллион, то можете представить, какие у них сегодня доходы...

— Так кто ж они? — спрашиваю. — Кто эти наши отечественные «крестные отцы»? Может быть, Чурбанов?

— Да что вы, какой Чурбанов! На языке преступников такие, как он, — «шестерки». Эти чиновные преступники имели вес только в своем кругу, среди своих подчиненных. Те же, кому они помогали (или на чьей службе состояли), не считали их за равных себе. Исключение, возможно, Адылов. Он единственный успевал руководить и там, и здесь. И получал ордена, и был «крестным отцом»,

— Так кто же тогда?

— Кланами мафии, по нашим данным, руководят или бывшие спортсмены, или профессиональные рецидивисты, или незаметные, серенькие хозяйственники, или, скажем, официант пиццерии. Но у него — и охрана, и разведка, и своя система контроля над территорией. И главное — коррумпированные связи, с помощью которых он забирается выше и выше.

— А как складывается их быт?

— «Крестные отцы», как ни странно, живут скромно и для окружающих — законопослушно. Конечно, они имеют дачу, машину, хорошую квартиру, но не шикают! Не держат дома наркотики или миллионы в диване.

— Но не они ли проигрывают в карты по полмиллиона?

— Они! Но среди своих! В своих, закрытых катранах! На глазах соучастников, чаще всего равных по положению в мафиозной иерархии.

Не могу не задать вопрос: обладая огромными суммами, мафия, думаю, может нанять для своих надобностей и наемных убийц. Да что — «может»? Уже, как мне известно, нанимают! Сколько они платят за это? — спрашиваю А. И. Гурова.

— Судя по законченным уголовным делам — от тридцати до ста тысяч. Но самые-то большие деньги уходят не на это! Нанимать убийцу менее выгодно, чем нанять крупного чиновника. И потому на подкуп должностных лиц (это данные НИИ прокуратуры) тратится две трети награбленного. Две трети! Можете себе представить, какие это суммы!.. Много?

— Порядочно...

— Не будь тех, кто готов эти суммы принять, — мафия бы задохнулась.

Кто кого?

Полвека назад на этот вопрос было бы ответить легко: «В каком смысле кто?». И тут же помчались бы по городу эскадроны черных воронок, хватая тех, кого подозревали в принадлежности к мафии, а вместе с ними их жен, и соседей, и троюродных племянников, и случайных прохожих по пути, а заодно и целые южные народы.

Да и недавно, лет пятнадцать назад (если бы даже кому и взбрело в голову задать этот вопрос), тоже не мучились бы долго с ответом: «Как «кто»? Конечно же, мы!».

Как раньше все было легко!.. Но попробуй найди сейчас точный и правдивый ответ.

— Александр Иванович, почему так поздно мы начали говорить об этом? Всего лишь пять лет назад (а что такое пять лет? Мгновенье!) вопрос о существовании мафии в нашей стране заставлял руководителей МВД СССР удивленно поднимать брови и покровительственно усмехаться: «Что, детективов начитались?»

— Если бы даже Щелоков захотел признать существование у нас организован-

ной преступности, то как бы он это сделал? Как, я вас спрашиваю, если с преступниками был связан секретарь Брежнева? А Чурбанов?.. Думаете, не было тогда людей в милиции, которые все это знали?

Верю, что знали, что мучились от бессилия, что обивали пороги высоких кабинетов своего министерства. Верю потому, что не раз, в те самые годы застоя, эти же парни из милиции приходили к нам в газету и, рискуя вылететь из органов (это в лучшем случае!), передавали редакции материалы, использовать которые запрещало их собственное начальство: «Направьте в прокуратуру, может быть, хоть там поверят?», «Выезжайте в командировку, сами убедитесь!», «Напишите! Об этом нельзя же молчать!».

— В том-то и дело... Признать существование организованной преступности в стране? Никто в этом не был заинтересован! Причины, по-моему, объяснять не нужно...

Спрашиваю у А. И. Гурова: а как же удается бороться с мафией западной полиции? Ведь, если разобраться, им-то куда тяжелее работать, чем нашим милиционерам? Ведь там, на Западе, тебя не оштрафуют за то, что живешь без прописки? Нет таких границ, как наши? И все-таки разоблачают мафиозные кланы! О скольких таких разоблачениях рассказали нам телевидение и печать: сейчас хоть, слава богу, уже без издевки и прозрачных намеков на то, какие у них там, на Западе, нравы. Разоблачают, задерживают. судят!.. Да все это — под бдительным оком адвоката, с железными доводами, которые не отбросишь лишь на том основании, что «нашел кого защищать»! И все-таки судят! Дают огромные сроки! Вырывают корень за корнем!..

— У западной полиции есть опыт, — отвечает А. И. Гуров. — Есть закон о борьбе с организованной преступностью, которого пока у нас, к сожалению, нет. (Мы-то если и осудим кого-нибудь, то за что? В крайнем случае за мошенничество да за подстрекательство. Сами-то лидеры мафии не убивают и не грабят!) Западные законы позволяют рассматривать в суде в виде доказательств фото- и киноплёнку. А у нас по ханжескому закону суды не принимают видеосюжеты в качестве доказательств. Да и техника! Где она, наша техника? Вечно сломанный «уазик» да лет десять назад спиланный фотоаппарат, а если и есть техника, то ею не умеют пользоваться. А у них давно созданы управления и отделы по борьбе с организованной преступностью!

— Но у нас же, Александр Иванович, тоже созданы отделы. Хоть и недавно, но признали же: есть мафия!..

— Пока их создали лишь в уголовном розыске, и то не везде, и загружают посторонней работой. Потому что в глубине души не могут поверить, что мафия — это не кино, это жизнь! Меня как-то старый эмвэдовский аппаратчик спросил даже не об организованной, а об обыкновенной, профессиональной преступности: «Это ты, что ли, Гуров, нашел «воров в законе» на семидесятом году Советской власти? Как тебе не стыдно!».

Соглашаюсь с Гуровым: да, и закон необходим, и специальные отделы в уголовном розыске, которые занимаются исключительно борьбой с мафией, да и на технику, с которой работают наши сыщики, смотреть стыдно (они могут разве утешить себя, что врачам не легче). Все правильно. Но чего-то еще не хватает для ответа на новый, поставленный жизнью вопрос: «Кто кого?». Ведь хочется, чтобы все-таки мы!..

С презрением отношусь к тем прокурорам и следователям, которые мафию

«чуют нюхом». Они готовы простить себе десять незаконно арестованных за одну выловленную «акулу». Доказательств нет, и свидетели подставные, и потерпевшие липовые, но они, видите ли, «чуют», что это не карась. Знаю, как дорого потом обходятся всему обществу их ошибки. Да, соглашается А. И. Гуров. Только не бериевскими методами! Только не беззаконием!

Так где же выход?

И Александр Иванович дает ответ, который, наверное, должен был (в силу профессии) дать я:

— В гласности! Мафия должна знать, что мы о ней знаем и будем бороться с ней как с явлением.

Согласен с А. И. Гуровым: во-первых, мы должны признать мафию явлением потому, что знаем: именно мафия заинтересована сегодня в командных методах управления экономикой. Что ее спасение — в бюрократии. Что ее гибель — в гласности. Не зря же именно время застоя оказалось наиболее благоприятным для мафии.

— Но если кланы мафии уже создали свои боевые отряды, не могут ли они использовать их для дестабилизации обстановки в стране?

Александр Иванович Гуров такой возможности не исключает.

— И последний вопрос. А вас не накажут ваши руководители за то, что рассказали правду мне, журналисту?

Он пожимает плечами:

— Сейчас, кажется, не должны...

Чуть подробнее о моем собеседнике. Придя после армии в милицию и поступив одновременно на вечернее отделение юрфака МГУ, А. И. Гуров поразился несоответствию того, что видел, и того, о чем читал в учебниках и слышал на лекциях. На занятиях ему объясняли, что «в СССР ликвидирована профессиональная преступность», а на службе ежедневно встречался с этими «ликвидированными». Однажды профессор Н.Ф. Кузнецова предложила ему написать реферат, который впоследствии стал кандидатской диссертацией, но это уже потом, когда он успел поработать в уголовном розыске, в том числе и в МВД СССР, а потом перейти на работу в НИИ МВД. «Мне все время давали подзатыльники, когда я доказывал, что профессиональная преступность существует. К счастью, поддержали начальник (в то время) НИИ Игорь Иванович Карпец и его зам — В.Н. Бурыкин. Но пока доказывал, вышел уже и на организованную преступность». Этой новой для советской криминологии теме посвящена докторская диссертация А. И. Гурова, которую он защитил весной этого года.

Не удержусь, расскажу еще об одном эпизоде из его биографии. Возможно, некоторые читатели сейчас мучительно вспоминают: «Гуров. Гуров... Знакомая фамилия». Еще не вспомнили?.. Однажды его фамилия облетела все советские газеты, а его поступок вызвал ожесточенные споры. Александр Гуров, тогда еще младший лейтенант милиции, застрелил знаменитого льва Кинга, который «играл» (как было написано в газетах) со случайным прохожим на школьном дворе почти в центре Москвы.

Но и эту давнюю историю я вспомнил сейчас не просто так.

— Александр Иванович, если сравнить льва с мафией, то все-таки... Лев готовится к прыжку или уже прыгнул?..

— Лев прыгнул.

Мы только начинаем узнавать всю правду. О многом — лишь догадываемся. О многом — не подозреваем.

Мы начинаем. И не исключено, что за какими-то загадочными явлениями нашей действительности увидим лик мафии, умело манипулирующей поступками и простествами.

Мы начинаем, заявляя сегодняшней публикацией свою ближайшую программу.

«Литературная газета» №29, 20.07.1988

ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ УБИЛ КАБАНА, А В ТОМ, ЧТО ВЗВОЛНОВАЛИСЬ ЛИШЬ ЗА ОКЕАНОМ

Как бывшие голуби мира, падают и падают на московский Кремль письма из США. Содержание их аналогично, адресат один и тот же — Борис Николаевич Ельцин

«Мистер Президент,

Не так давно я прочел, что вы убили кабана на очередной охоте. Однако если описание этого случая на охоте было правильным, я должен сказать, что это совсем не выглядит как охота. Какая же это охота, когда вы кормите животное, а потом забираетесь на вышку и убиваете его?

В статье говорится, что кабаны почти исчезли из лесов вокруг Москвы. Зачем же вам, сэр, понадобилось убивать животного, относящегося к исчезающему виду?

Есть столько достойных занятий, которым вы могли бы посвятить свое время, чем убивать животных, особенно в роли «подсадных уток», не имеющих шанса к спасению.

Я надеюсь, что в будущем вы будете выбирать занятия, которые не угрожают ни вам, ни какому-либо другому живому существу.

Подписи: Беверли Поеллер (Ниагара Фоло, штат Нью-Йорк), Соня Тернер Джонсон (Аризона), Фрэнк де Пиетро (Дэнмор), Флора Рейя (Эскондидо, Калифорния) и другие».

Странные эти ребята, американцы... Что это они как с цепи сорвались и пишут, пишут, пишут нашему президенту, будто нет у них более важных дел?

Нет, я не о том, что Борис Николаевич — скорее всего, еще до своей болезни — удачно поохотился и эта охота попала на газетные страницы.

Почти все наши последние вожди, начиная с Никиты Сергеевича, любили это дело. Для них делали специальные заказники, к берлогам и норам проводились

спецтрассы, поднимались в воздух спецвертолеты, и даже животные — и те время от времени были спец.

Так, однажды в Карпатах, в спецзаказнике Министерства обороны егеря рассказывали мне щемящую историю о том, как из-за отсутствия кабанов им для высокого гостя, министра обороны Устинова, пришлось раскрасить в кабаний цвет бедную домашнюю хрюшку.

Нет, я не об особенностях нашей царской охоты.

Я все думаю об этих чертовых американцах...

Сдались им наши кабаны...

И потом понял, почему они засыпают чужого президента своими посланиями.

Им привычно обращаться по таким мелким поводам и к президенту своему.

Независимо от того, считает ли сам президент и его администрация вопрос, с которым к нему обращаются, мелким или крупным, наивным или серьезным, важным или не стоящим высокого внимания.

Главное — не то, что считает сам президент. Главное для граждан — чувствовать, что это они проходят по стране как хозяева, а человек, которого они избрали на высший пост, — лишь исполнитель их волеизъявления.

Господи, о чем это я?..

Сейчас там, на Западе, начали бить новую тревогу: исчезают наши уссурийские тигры.

Как бы люди не исчезли...

«НОВАЯ ГАЗЕТА» № 6, 10.02.97

БЕРЕГИ СЕБЯ

Человечество — это человек.

Люди — это тоже человек.

И государство — человек.

Иногда я вдруг просыпаюсь с чувством ненависти к тем, кто одно ставит выше другого. Я понимаю, что не прав. Что есть идеи, способные спасти мир. Есть люди, которые, спасая мир, опираются на эти идеи. Есть наконец-то политики (а в силу сложившихся обстоятельств я иногда с горечью отношу к ним и себя самого), которые утверждают, что идеи, которые они проповедуют, спасут человека от человечества. Вытащат из проруби, из горящего дома, перехватят нож, нацеленный в сердце...

Но, стоп, стоп...

Я не об этом. Я же хотел о другом.

О полковнике главного штаба внутренних войск России Александре Александровиче Чикунове, чьи кассеты с песнями о горечи и предательстве чеченской войны, официально называемой восстановлением конституционного порядка, разлетаются по России, как раненые птицы...

Ладно. Как мы познакомились

Кто помнит военный аэродром в Моздоке, тогда, в конце января 1995 года, тот помнит, как это было.

В Москву, в Москву... В свою редакцию, успеть написать, успеть напечатать.

Мне сказали: «Борт есть. Тебя берут...»

Возле борта стояли пилоты, с сомнением смотревшие на мои черные от грозненской грязи джинсы. Какие-то важные полковники. Два не менее важных генерала. Они были чистыми. Они возвращались с войны.

За день до этого, в Северном, грозненском аэропорту, где располагался хорошо защищенный штаб нашей группировки, меня поразило брезгливое шараханье какого-то генерала в чистеньком камуфляже от новосибирского полковника Юры Зайцева в камуфляже грязном, когда тот спросил его, можно ли подбросить этого журналиста на самолете командующего до Моздока.

Генерал даже не ответил. Он просто чиркнул по нам холодным начальственным взглядом и пошел дальше, и я помню, как Юра Зайцев смущенно взглянул на свою замызганную куртку...

Ты, идиот... Ты же толкнул ребят на эту бессмысленную, грязную и нелепую войну! Ты, ты... А с полковником мы только-только ушли от пуль снайперов в центре Грозного. Там на наших глазах был сбит российский флаг над зданием бывшего обкома партии, по мнению одних, называвшимся дворцом Дудаева, а других — рейхстагом. Над этим рейхстагом по очередному идиотскому приказу пацаны, убежденные вашей преступной романтикой, падая поочередно замертво, этот флаг поднимали. Как я узнал впоследствии, доставили семь российских флагов, убеждая всех, что полк носит тот же самый номер, что и тот, который поднял Знамя Победы над рейхстагом.

Я все это хотел крикнуть этому незнакомому мне генералу.

Но ничего, естественно, не крикнул. Может быть, он такой же командированный, как я? Но, скорее всего, это я прикинул сейчас, просто испугался. Ведь завопи я тогда — так и не добрался бы до Моздока.

Так вот, когда погрузились в тяжелый «Ан» (а людей все прибывало, и эти люди, как мне показалось, в этой войне были просто свидетелями, судя по их парадной камуфляжной форме), вдруг случилось одно происшествие: из кабины самолета с уже включенными двигателями вышел пилот и сказал, что самолет надо всем покинуть.

Какой-то полковник что-то грозно заверещал... «Раненых везут», — смущенно объяснил пилот.

Потом мы стояли на летном поле в томительном ожидании и еще, наверное, в тревожных размышлениях: а если не поместимся в этот самолет, то когда следующий? Вечером? Завтра? Никогда?

Вы знаете, даже сейчас, спустя два года, когда уже и война кончилась, я не могу забыть ни те вертолеты, откуда кого-то выносили, а кто-то выходил сам; ни те четыре деревянных ящика — «груз 200», поднимаемые аккуратно в самолетное чрево; наконец, удивленные глаза парнишки, по возрасту, показалось мне, не старше в ту пору моего шестнадцатилетнего сына, которого пронесли на носилках мимо нас.

Да, мы тогда все улетели... Все уместились...

Я приткнулся с какими-то людьми на мате в хвосте самолета, думая тогда, естественно, о том, о чем должен написать, и написать срочно, чтобы не задержать уже

готовый к печати номер. И вдруг меня позвали:

— Что ты там лежишь? Иди, уместимся...

Я сел между двумя людьми в грязных камуфляжах.

— Вижу, какой-то седой боец в грязных джинсах лежит... Потом вижу — лицо вроде знакомое... — произнес, заикаясь, мне один из них.

Так мы познакомились с полковником Александром Александровичем Чикуновым, только что вышедшим из госпиталя после контузии.

Сейчас я не вспомню точно, что я от него услышал тогда, в самолете, что — потом, что я узнал о нем тогда, что — после, в дальнейших командировках в Чечню.

Наверное, тогда он рассказал мне, как он ворвался в блиндаж генерала Рохлина и заорал: «Что же вы по своим-то лупите!», — как уже в госпитале, когда, чудом оставшись в живых, он увидел мать скорее уже погибшего солдата, которая растерянно показывала справку, выданную ей в майкопской бригаде, polegшей в победоносном штурме Грозного: «Ваш сын в списках живых, мертвых, пропавших без вести не значится»; как места раненых занимал мародерский багаж из «гуманитарной помощи», загружаемый в самолеты ошалелыми от предательства генералов солдатами; о зверствах омовцев, насилующих шестнадцатилетнюю чеченскую девочку; о том, как на его руках умирал пацан со словами, которые потом стали строчкой его песни: «Только маме не говорите»...

Наверное, тогда. Но, может быть, позже... Уже в Москве. Уже через месяц. Или — через полгода. Или — через год.

Но тогда я понял то, что уже почувствовал сам, — как он ненавидит эту войну, и что только грачевские генералы в генштабе и вожди в Кремле были убеждены, что воюют за целостность России...

Мы подлетали к Чкаловску.

— Сынки... — подозвал он двух солдат с акэзками, летевших по какой-то военной надобности в Москву вооруженными. — Если кто выйдет из самолета раньше мертвых и раненых — открывайте огонь на поражение. Приказываю...

— Есть... — ответили ребята...

Я не позабуду этого.

Думаю часто, может быть, постоянно: а для чего ему все это надо?

Фергана, Сумгаит, Баку, Карабах, Осетия, Чечня... Пять нашивок за ранения... Денег — просто никаких. Семью из Владикавказа — и ту только что перевез: все, что дала ему Родина до этого, так это кровать в подвальной офицерской общаге. В комнате, которую он делил с полковником. Которого страна наградила кроватью за участие в миротворческой миссии в Боснии.

Зачем? Почему? Что это за люди? Что им чеченцы?

Чеченцы — враги русских, русские — враги чеченцев: все это придумали те, кто сам никогда не стрелял в другого человека, но убивал целые поколения резолюциями на документах.

Нет, нет...

В чем-то мы не разобрались, чего-то не понимаем. Принимаем за российское офицерство то недоумков типа Грачева, то ряженных типа Терехова.

А это офицерство есть. Оно никуда не делось.

И без них никуда не деться.
И их-то не вините.

P.S. Я, кажется, впервые в жизни переступил границу, которую раньше старался не переступать, — написал о человеке, ставшем однажды мне очень близким и остающемся близким по сей день. То есть написал о человеке, которого считаю своим Другом.

У меня немало друзей. Я никогда не осмеливался писать о них, а когда осмеливался, то было уже поздно: они не могли ни услышать меня, ни прочитать.

Здесь, наверное, случай особый.

Впервые в своей жизни я очутился в мире, в котором даже в страшных снах не мог представить собственное присутствие. И впервые я познакомился с пахарями войны, эту войну ненавидящими и презирающими тех, кто их на эту войну послал. И тем не менее делающими свое дело и закрывающими своими телами необученных пацанов, брошенных в это пекло.

«Родина, не предавай меня...» — уже врезалась в сознание многих эта строчка из песни Сан Саныча Чикунова, разнесенная тысячами магнитофонов.

Прощаясь, он не говорит: «До свидания». «Береги себя», — говорит он на прощание.

Береги себя.

Берегите себя.

«НОВАЯ ГАЗЕТА» № 7, 17.02.97

ПО НАШИМ ПОЛИТИКАМ ПЛАЧЕТ ТЮРЬМА ИЛИ БОЛЬНИЦА?

Приезжая в командировки в другие страны, иногда ловишь себя на мысли, что чего-то не понимаешь.

Вот и сейчас, в Норвегии, откуда только что вернулся.

Конечно, у них жизнь менее романтическая, чем у нас. Им, норвежцам, недоступны привычные нашему слуху слова: «разборка», «стрелка» и даже «ваучер». То, что для нас стало жизнью привычной, для них — мир приключений.

Вот, допустим, одна история, которая взволновала всю Норвегию.

У них здесь — всеобщая воинская повинность, и, надо сказать, проблем с призывом нет. А одному парню не повезло — у него нашли некие психические отклонения и потому в армию его не взяли. Но он очень переживал, потому что с детства мечтал стать солдатом: носить форму, чеканить шаг и ходить строем. В общем, странный парень.

И вдруг однажды он узнает, что на территории Норвегии начинаются учения НАТО. Вот он, пришел мой час, решил этот странный парень, раздобыл военную форму с эмблемами регулировщика и встал на перекрестке.

Взмахнул жезлом, и колонна английских войск повернула в лесную чащу, где и затерялась.

Естественно, разразился колоссальный скандал, который тут же попал во все газеты.

Нет, этого парня нельзя судить! Он же воплотил мечту своего детства! Такого парня нельзя судить! — таков был общественный вердикт.

— А что бы сделали у вас? — спросили мои норвежские друзья.

А вправду, что?

Вот тех, кто на перекрестке нашей истории повернул армию в Чечню, их надо судить или лечить?

И я надолго задумался.

Ставангер — Москва
«Новая газета» № 21, 26.05.97

ЕСТЬ ЕЩЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ЗАЩИТИТЬ СЛАБОГО

Случай у стадиона «Динамо»

Эта история не давала нам покоя все последние недели.

Найдем мы его или не найдем? Отыщем ли его в многомиллионном городе среди таких же, как он? Возможно ли, чтобы зло — хотя бы в его малом, невселенском масштабе — было наказано? Способны ли мы сегодня, в размытости границ зла и добра, в отчаянии от невозможности быть услышанными, в атмосфере, когда умение врать, не краснея, становится политической доблестью, сделать хоть малость, хоть что-нибудь, хоть чуть-чуть?...

Старший лейтенант милиции топтал сапогами подростка.

Большой человек бил человека маленького.

Четырнадцатилетний Алеша, может быть, впервые почувствовал, как болезненно бывает прикосновение власти к человеку.

Все это происходило 18 октября на ступеньках, ведущих от стадиона «Динамо» к метро «Динамо», за пятнадцать минут до начала футбольного матча.

Все это происходило на глазах у сотен людей, которые выходили из метро или ждали автобус на остановке.

Вечером позвонил взбешенный Никита Киселев, консультант отдела расследований «Новой газеты»:

— На южной трибуне перед матчем столкнулись две группы фанатов — «Динамо» и «Спартака». До драки дело не дошло: ОМОН сработал очень профессионально, пацанов растащили... И когда все закончилось, со стадиона выскочил старший лейтенант, догнал мальчишку, свалил его подножкой на землю и начал топтать. У пацана шла кровь. Он его поднял и добивал стоя. Народ опешил.

Какая-то женщина закричала: «Мы взрослые люди... Мы должны что-то сделать!»

Он его топтал с остервенением. У него была радость на лице. Радость от того, что он бьет ногами.

У меня «планка упала». Я думал, что мои руки сомкнутся на его шее. Меня жен-

щины от него оттащили: «Ты что делаешь, корреспондент! Ты же покалечишь!»

Было бы это в результате драки, я мог бы еще понять. Я кричал старлею:

— Задержал — веди. Я подпишусь. Но зачем вот это все?

Я ему вцепился в руки, в ноги:

— Ты чего делаешь? Ты же мужик, что ты делаешь?.. Это же не война. Это же ребенок.

Он:

— Я и в Чечне был...

Я его предупредил:

— Мы с тобой встретимся. Мы с тобой обязательно встретимся.

Он от меня бочком, бочком... Потом за ворота стадиона.

На бегу, оглянувшись, я увидел, как возле пацана суетятся люди в белых халатах. Всю дорогу от входа на стадион и до входа на южную трибуну я пытался узнать его фамилию и подразделение. Он так и не сказал, кто он.

Я нашел майора, на глазах у которого все это происходило:

— Ты видел, что происходит?

— Видел... Это безобразие, конечно... Но это не мои... Мои стоят по периметру. Мои такого себе не позволяют...

Никита сказал, что найдет этого старшего лейтенанта...

Только как его найдешь?

Но вдруг мы все поняли, что отыскать его — даже не дело принципа. Что-то было важнее, чем принцип сам по себе. Что сегодня принципы? Что-то другое...

Я думал, долго думал: почему так меня задела эта история, почему так больно полоснула по сердцу? Что, мало разве такого происходит? Что, разве к этому, к такому нельзя уже было привыкнуть?

Нас всех приучают к тому, что зло ненаказуемо.

Никита рассказал, что его удивило одно: реакция людей возле метро. Ну что, бьет и бьет! Что, еще не привыкли?

Оказывается, нет. Оказывается, мы еще люди.

Десятки людей, узнав, что Никита из «Новой газеты», записывали ему свои адреса, чтобы выступить в качестве свидетелей.

Все эти дни Никита носился по Москве, чтобы узнать, как зовут избитого пацана и как зовут этого садиста в форме.

Но нашла этого старшего лейтенанта сама милиция, куда я обратился с письмом. Позвонили, попросили подъехать.

Мы с Никитой приехали в Северный муниципальный округ.

Перед Никитой разложили фотографии нескольких старших лейтенантов, которые в тот день были на стадионе.

— Этот, — указал Никита на одну из фотографий.

— Правильно, этот... — вздохнул майор. — Мы уже его сами вычислили.

С лейтенантом Геннадием Кихтенко мы разговаривали в присутствии его окружных и городских начальников. Вот запись этого разговора.

— Шла драка, — сказал Кихтенко. — Один человек повалил другого на землю и бил его...

Никита:

— Вы догнали этого мальчонку около метро. И он от вас никуда особенно не убежал.

— Догонял... Когда я его догнал, то ударил его по ногам. Он упал...

— И когда он упал, за что вы его били?

— Я его не бил... Все дело в том, что я не довел дело до конца. Отпустил его... В этом я признаю себя виновным.

— Зачем вы его били-то? — снова спрашивает Никита. — Я же вам сказал, ведите его, если он виноват. Я сам подпишусь под протоколом... Это же дети... Там же тысячи людей стояли и смотрели, как вы топчете его ногами...

— Вы говорите, что я разбил ему лицо. А может быть, ему разбил лицо тот, с кем он дрался.

— Но вы же ему сделали подсечку...

— Он упал в снег...

— Какой снег был 18 октября! Ногами вы его добились! У него кровь шла из носа! Зачем вы его потом добивали руками?! Вы его взяли за шкирку! Но почему же вы его отпустили, если он был виноват?

— Он извинился.

— Кто?!

— Тот молодой человек. И я решил его отпустить. Я виноват в том, что его отпустил.

— А каков состав его преступления? Какое правонарушение? — спросил майор. — Вы можете объяснить? Какой состав, — вы можете объяснить? — уже повысил голос майор.

На этот вопрос старший лейтенант Геннадий Кихтенко, проработавший в милиции уже пять лет, так и не смог ответить.

Вот практически документальный отчет о нашей встрече.

На следующий день был подписан приказ об увольнении Кихтенко из органов внутренних дел.

Испытываю ли я сегодня радость оттого, что добродетель восторжествовала, а порок — наказан?

Да нет, конечно, нет.

Что уж там, тот старший лейтенант... (И в Чечне он, кстати, не был.)

Но сам принцип всеобщей ответственности у меня все больше и больше вызывает внутреннее сопротивление.

Ну давайте, давайте. Нас же много. Их же меньше...

Четырнадцатилетний Алеша, возможно, первый раз в жизни на себе почувствовал, что власть жестока, ее удары — болезненны, что перед властью ты беззащитен. Но, возможно, я очень надеюсь, очень, что четырнадцатилетний Алеша понял тогда и еще одну истину, без которой и жизнь-то не жизнь: есть люди, которые могут спасти от жестокости власти.

В тот день власть представлял старший лейтенант.

Человечество — один человек. Плюс люди вокруг.

Уже немало.

БЫЧЬИ ШЕИ ВЕНЧАЮТ ГОЛОВЫ ОСЛОВ

Что меня поразило на прошедшей неделе? Как всегда, не то, что должно было бы считаться главным за неделю, а мелочь, деталь, фрагмент жизни.

Но такое за этим фрагментом!

У Киевского вокзала увидел двух молодых «быков» (надеюсь, расшифровки этого названия не требуется) с плакатом: «Предлагаем услуги по охране солидных людей, а также для решения других деликатных вопросов».

Несчастные ребята! Вот и их довела жизнь!

Ладно — никому не нужны писатели. Ладно — талантливые инженеры без работы. Ладно — шахтерам не платят. К этому уже привыкли...

«Быки» — не нужны!

Радоваться? Удивляться?

Да нет, не радоваться и не удивляться.

Привыкать и пытаться понять, почему мы уже начали привыкать к огосударствлению преступности.

Я не удивляюсь сегодня, когда на «стрелке» встречаются подполковник (с одной стороны) и майор (с другой. Побеждает, естественно, старший по званию). И тому не удивляюсь, что самой надежной «крышей» становятся не «люберецкие» или «подольские», а РООП или ФСБ. И даже совершенно анекдотическому случаю, о котором узнал на днях: представители одной преступной группировки обратились к адвокату, чтобы тот помог оградить от милицейских поборов бандитскую бензоколонку («Готовы платить! Но когда приезжает РООП, потом УЭП, потом райотдел, потом еще какие-то в форме... Так никаких денег не хватит!»), — тоже не удивляюсь.

Думаю об этих бедных безработных уже никому не нужных «бычках»...

Мой товарищ, милицейский (в прошлом) генерал, зашел к знакомому начальнику райотдела и увидел молодых оперов с тяжелыми цепями на тяжелых шеях.

— Что они у тебя, ошалели? — спросил мой товарищ. — Я же вам приказал на работу в цепях не ходить!

...Бедные «быки», не там они встали со своим объявлением!

Хотя там, возможно, все рабочие места уже заняты.

«Новая газета» № 25, 29.06.98

КАССА ПО ИМЕНИ ВОЙНА

Сынок, доживи до полочки!

Каждый раз, возвращаясь из Чечни, пытаешься понять: тебя что-нибудь поразило на этот раз? у тебя перехватило дыхание от нового увиденного и нового узнаваемого? почувствовал ли ты себя вновь стоящим над пропастью, края которой не разглядишь, как ни стараешься?

Из последней чеченской командировки я вернулся неделю назад. Была суббота, вечер... Думал, что успею прямо из Чкаловска, с подмосковного военного аэродрома, заехать в редакцию и отдиктовать в номер самые последние новости оттуда, с войны. Но пока летел самолет, пока добирался до редакции — вечер стал уже совсем поздним: газета на понедельник уже была сделана.

Потом началась мирная московская неделя. Острота последних впечатлений от войны начинала сглаживаться.

Но что-то такое из увиденного и услышанного там заставляло внутренне вздрагивать. Ведь я услышал что-то совсем тревожное.

И вдруг неделю спустя, то есть уже в эту, первую мартовскую, субботу — как молния: о, Господи! Как же я мог забыть этот мимолетный разговор с тем полковником!

Да, я выяснял: получают ли солдаты те боевые деньги, определенные президентским указом, — восемьсот с чем-то в день? Не исчезают ли они в интендантских закромах? Доходят ли они до каждого, кто провел хоть день своей жизни на грани смерти?

Мне объяснили: да, доходят...

Рассказали механизм, как это делается. Солдатам деньги на руки не дают: все-таки сумма немалая получается. И когда солдат едет на дембель — то тоже без мешка денег: мало ли что случится в дороге? Приезжает, открывает счет в сбербанке, сообщает в свою часть. И только тогда — пожалуйста.

Но, сказали мне, если к солдату приезжают родители, то они могут получить за сына эти «боевые деньги».

И тогда этот полковник сказал:

— Теперь родители зачистили. Приезжают и приезжают...

Потом мы говорили о чем-то другом — мало ли тем на войне. И эта фраза тут же забылась, растворилась в совсем других. Но что-то осталось... Совсем важное, важнее, чем сама эта фраза, тревожило меня все последующие дни.

Что, что, что, что!..

Как я мог об этом забыть!

«РОДИТЕЛИ ПРИЕЗЖАЮТ И ПРИЕЗЖАЮТ»...

Измордованные нищетой и постоянной невыплатой зарплат и пенсий, отчаявшиеся жить нормально. Из далеких орловских деревень и незаметных на карте поселков где-нибудь на Урале.

Когда зарплата шестьсот в месяц... Когда пенсия — триста...

Родители приезжают не только навестить сыновей! Они приезжают к ним как к спасителям! Помоги, сынок...

И что, у кого-нибудь поднимется рука бросить в них камень? Кто-нибудь скажет об отсутствии родительских чувств? О деградации души? Или о чем-то другом, столь же высоким?

Вы понимаете, что произошло? Что они сделали, призывая довести необъявленную войну до победного конца и убедив общество, что когда победим — тогда и начнем жить лучше? А пока уж потерпите, казна не резиновая?

Что он, человек, похожий на нашего будущего президента, устроил со своим

легендарным «мочить в сортире»? Какие чувства возбудил в людях? Какое нечеловеческое уже поднимается в человеке?

Когда-то Инна Павловна Руденко, обозреватель «Комсомолки», написала (во время афганской войны): у нас появились воевавшие дети не воевавших отцов. Теперь не воевавшие отцы едут за деньгами воюющих сыновей. Вы в это просто вдумайтесь.

Хотел террористов — получилось: всех, всю страну...

Я не знаю, что будет дальше.

Только в одном уверен, убежден: наверное, до самой смерти не простил бы себе, если бы не вспомнил то, о чем случайно узнал в этой последней чеченской командировке.

И если бы сегодня не написал об этом.

«Новая газета» № 9, 06.03.2000

ХОРОШО ЖИВЕТСЯ ТЕМ, КТО БОРЕТСЯ С МАФИЕЙ

Поэтому это дело не доверяют народу

Вот ведь как получается: случайно узнаешь факт из не нашей, иноземной жизни — и такое вдруг тебе привидится на родных отечественных просторах, что аж дух захватывает от предчувствия несбыточного.

Но сначала о том, чем же так зацепила меня одна фраза председателя итальянского парламента Лучано Виоленто, с которым мы вместе выступали в Риме на российско-итальянской большой парламентской комиссии.

Чуть ли не с самого детства (по крайней мере с его сознательной части) мое воображение будоражила фраза: «с конфискацией имущества».

Мне представлялись какие-то необозримые склады и безграничные поля со всем этим конфискованным: уходящие за горизонт колонны автомобилей; целые поселки из особняков и коттеджей с полянами, бассейнами и райскими птицами; анфилады подпольных третьяковок и эрмитажей; горы золота и бриллиантов... В общем, всякая чушь лезла тогда в голову. Правда, была еще юношеская романтическая надежда, что ворота в эти закрома конфискованного всегда открыты людям, у которых конфисковывать нечего и не за что...

Но, прожив уже вон сколько лет, я так и не понял: а к кому же переходит все это? кому достаются эти особняки? кто ездит на этих автомобилях? Если родина отбирает у грешников неправомерно нажитое добро, то кому она отдает-то? Другим грешникам? Или все это бесчисленное воровское добро хоть кому-то принесет кусочек счастья?

Ответов на эти вопросы я так и не нашел, да и сам ни разу в жизни ничего из конфискованного не видел...

Хотя нет... Стоп. Однажды видел. Больше того — держал в руках...

Это была очень смешная история.

Я тогда работал в «Литературной газете». Было еще брежневское время (чем-то начинающее напоминать сегодняшнее), когда «ЛГ» удавалось пробираться к читателям сквозь жесткие цензорские рифы. И получалось: не столько из-за талантливых журналистско-писательской команды (да чихать они хотели на всяких талантливых), сколько из-за царедворского мастерства тогдашнего главного редактора, героя, депутата и члена ЦК Александра Борисовича Чаковского.

И вот Чаку (как называли его все мы) — 70 лет. Событие по тем дням грандиозное: с Колонным залом, президиумом из лиц, чьи сумрачные изображения вывешивались на октябрьские и майские, с очередной наградой и т. д. и т. п...

Колонный зал — это вечером. А с самого утра — вереница высоких гостей, которые по очереди входили в кабинет Чака с разнообразными подарками. Каждому из нас, журналистов «ЛГ», было поручено препровождать высоких гостей в соответствии с профилем нашей газетной специализации. Мне досталась делегация МВД во главе с министром Н. Щелоковым. Встретил, привел в его кабинет, присутствовал при вручении подарка: просто замечательных, каких-то немислимых карманных часов...

Утром следующего дня мне позвонил помощник Щелокова:

— Выручай... Наши козлы-хозяйственники напутали: передали Чаковскому часы из вещдоков. Объясни ему как-то аккуратно, что есть другие часы, еще лучше. Надо заменить. Ну объясни как-нибудь. Выручай, одним словом...

Я что-то наговорил Чаку (он, по-моему, так ничего и не понял), приехал на Огарева, груз сдал — груз принял.

— А эти-то часы не из вещдоков? — на всякий случай поинтересовался я.

— Нет, не волнуйся... Эти — уже наши... — объяснили мне.

— Уже конфискованные? — догадался я.

Мне, естественно, ничего не ответили, только понимающе подмигнули.

Новые часы были и в самом деле еще более замечательные и немислимые...

Да, это был первый и последний случай в моей жизни, когда я держал в руках конфискованное имущество.

Но слышал о его судьбе еще не раз.

То всплывали какие-то скандалы вокруг тех, кто его распределял, то кого-то снимали с работы, то даже арестовывали. То доходили всякие слухи о разных закрытых складах для своих, где все можно было купить за двадцать процентов реальной стоимости. Я понимал, что вся история советского конфиската началась давно, очень давно, когда первые советские вожди, министры и военачальники жили в чужих квартирах, спали на чужих кроватях и ели из чужих тарелок чужими ложками. Но, уже проработав столько лет в газете, побывав трижды депутатом, я так и не смог понять, что же на самом деле стоит за простыми и пугающими словами «с конфискацией имущества». В пользу кого оно, в конце концов, конфискуется или в каких очередных закромах родины исчезает...

И даже перестал задавать себе эти вопросы.

И вдруг — несколько дней назад... Рим, итальянский парламент, конференция, выступление Лучано Виоленто...

Да, надо сказать, что председатель парламента — человек в Италии не только знаменитый, но и легендарный. Именно он, до того как уйти в политику, прославился как бесстрашный судья, отправивший в тюремные камеры многих знаменитых мафиози, его имя стало символом борьбы с коррупцией.

Именно с его именем связана знаменитая операция «Чистые руки», позволившая отправить на скамью подсудимых две тысячи самых высокопоставленных итальянских чиновников. (Вот ведь как у них! В большую политику приходят по делу, по заслугам, по национальной известности! А не как в некоторых других странах, где путь к вершинам власти идет сквозь подковерные интриги или совсем уж виртуальным путем...)

Да, так вот что сказал (среди прочего — очень интересного и полезного для нас самих) Лучано Виоленто:

— После суда над знаменитым мафиози Рина все его имущество конфисковано. Его парк стал общественным. Там бегают дети. А всего... Двадцать процентов конфискованных зданий и особняков переданы государству, двенадцать процентов переданы полиции и карабинерам...

Помню, слушал, быстро записывал все эти цифры в блокнот и понимал, понимал: вот они, ответы на те вопросы, которые мучали меня еще в юности. Но — не наши ответы. И — не наши вопросы.

А потом Лучано Виоленто сказал те слова, которые я сам так долго пытался сформулировать, печально думая, почему же паром, гудком, бесполезным сотрясением воздуха оборачиваются бесконечные обещания властей бороться с коррупцией и организованной преступностью. Кто с кем борется? Кому верить? На кого надеяться?

Вот что он сказал, перечислив, что, как, кому и почему передано:

— Граждане должны верить, что это не борьба между государством и мафией. Между мафией и обществом. Мафией и народом...

Вот ведь как!

НЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И МАФИЕЙ...

Если уж в Италии так актуальны эти слова, так что же говорить о нас.

О ситуации, сложившейся в России (особенно в последние годы), когда чиновники, милиция, налоговая полиция, ФСБ, отобрав «крыши» у бандитов, сами стали «крышами», да еще какими!

Когда не проходит и дня, чтобы меня не просили спасти кого-то от налетов — нет, уже не солнцевских или подольских, а «защитников» в погонах.

Когда невозможно найти правду в суде и снова, как в брежневские времена, приходится обивать пороги депутатских да редакционных кабинетов.

Когда несколько олигархов стали и умом, и совестью, и честью нашей современной эпохи.

Когда, наконец, борьба государства с мафией воспринимается только лишь как передел собственности между бандитами из мафии (что в черных, что в белых воротничках) и чиновниками от государства — в пользу, естественно, последних.

Какой тогда смысл в этих бесконечных призывах и обещаниях, когда главные слова так и не сказаны...

Вернее, сказаны. Но не нами.

Рим — Москва
«Новая газета» № 29, 13.07.2000

АВТОГРАФ НА НЕБЕ

Простите, Герман Степанович...

Однажды в Париже мы заблудились с Германом Степановичем Титовым.

Да, с Германом Титовым — гордостью нашего детства.

Не думал мальчишкой, не предполагал, что вот так случится, и мы окажемся в одной Госдуме.

Шла в Париже межпарламентская ассамблея, нас послали вместе. В один из дней был перерыв — часа два, не больше — перед тем как ехать на прием к председателю французского парламента.

— Пойдем погуляем, — предложил я Герману Титову (он удивился еще в самолете, когда я назвал его на вы и по имени-отчеству: «Мы же из одной Думы. Ты — Юрий, я — Герман»).

Жили мы где-то в центре, у Елисейских Полей, в маленькой уютной гостинице.

Немного покружив, мы устроились за столиком, заказали себе какого-то вина. Ели, разговаривали — но только не о политике. Нормальный такой разговор, как будто мы в Твери в пельменной.

И вдруг он сказал:

— Жалко, нет пионеров. Они бы обшарили это место на смоленских болотах.

Я, помню, удивленно посмотрел на него: какие пионеры, какое болото?

— Найти бы пробитое крыло самолета Юры Гагарина, — спокойно объяснил он.

— Крыло? Самолета? Гагарина? — я чуть не подскочил от прикосновения к чему-то такому...

— Да. Я же был в правительственной комиссии по его гибели. Я-то знаю... Нечаянно долбанули.

— И что? И как? Ракетами?

— Да ладно... Когда-нибудь потом... — сказал Герман Степанович, вспомнив, наверное, что я еще и журналист.

Дальше было так. Мы заказали себе еще по бокалу вина, еще посидели. Ну а потом пошли.

Пошли-то пошли, но я вдруг с ужасом понял, что позабыл и название гостини-

цы, и переулочек, где она находится. Помнил только, что там зеленый дворик. Фонтан. Какой-то памятник...

А надо вам сказать, что в отличие от Москвы в Париже предпочитают совсем не говорить по-английски (а это единственный, кроме русского, язык, которым я худо-бедно владею).

Помню охватившее меня отчаяние, когда я мучительно пытался спросить у парижских прохожих о местонахождении нашей гостиницы. Они делали вид, что меня не понимают.

— Мы что, заблудились? — спокойно поинтересовался Герман Степанович.

— Да эти французы — идиоты. Не понимают человеческого языка, — ответил я. И потом вдруг...

Идет женщина. На первое мое — по-английски: «Извините, не скажете...» — сделала вид, что не понимает. И тогда я злобно сказал: «Да вы знаете! Это же второй космонавт в мире. Его имя записано в Книгу Гиннеса как самого молодого человека, который был в космосе». И вдруг она остановилась.

— Герман Титов? — ткнула она в него пальцем.

Герман Степанович, услышав знакомые слова, улыбнулся, как он уже привык улыбаться при встречах с незнакомцами, для которых он всегда — знакомый.

Француженка что-то залепетала на неизвестном мне французском, потом на совсем хорошем английском попросила меня перевести, что, когда была школьницей, влюбилась в Германа Степановича, увидев его фотографию во всех газетах. И что какое счастье — вот так встретиться на улице. Ну и так далее...

Тут же выяснилось, что она знает, где этот фонтан, дворик, памятник. И знает, какая это гостиница. «Нет-нет, не надо... Я сама вас провожу».

Оказалось, что это все рядом. Просто мы шли в противоположном направлении.

Нас уже ждали посольские люди и волновались, где же мы. Все-таки опаздывать на прием к главному парламентарии Франции...

Французская женщина попросила меня перевести Г. С., что была бы счастлива получить его автограф. Стала копаться в сумочке. Нашла свою записную книжку.

И он привычно расписался...

Уже после, в Москве, я так и не дорасспросил его о загадке Юрия Гагарина. Или в суете событий не был настойчив в своих вопросах.

Ну и автографа тоже не взял. Жаль, наверное. Хотя что там... Вон его автограф — на небе.

«Новая газета» № 50, 25.09.2000

НОВОГОДНИЙ ОТСЧЕТ ХХI

Спецназовцы, ненавидящие войну, пару дней провели в Москве

Сколько мне было лет? Двадцать? Двадцать один?

Помню, что булгаковских «Мастера и Маргариту» мне дали в шестнадцать. До

сих пор чувствую себя мальчишкой, когда читаю «Мастера» снова и снова.

С «Белой гвардией» Булгакова — хуже. Стал больше чем взрослый. Да, уже был двадцать один.

«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом...»

Помните?

«Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят, как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь».

Ну?

Я встречал ребят в аэропорту «Внуково». Спасибо девушкам из внуковского депутатского зала (сколько раз они выручали нас, чтобы от трапа взять пленных солдат из Чечни, которых привозил наш Слава Измайлов) — снова помогли. Даже не с пленными. С теми, кто сегодня воюет.

Последним из самолета вышел их командир Саша. Трое его солдат, которых, как и его самого, позвали на вечер памяти тех, кто погиб за шесть лет чеченской войны, и кто прилетел в Москву по просьбе Сергея Говорухина и Юры Павленкова, чтобы их вспомнить.

— Рука как? Живет? — спросил я у Саши.

— Кончай... Это мои ребята. Познакомься.

Саню я узнал в декабре 99-го. Через Юру Павленкова (он тогда работал в главном штабе Сухопутных войск). Саша был ранен в ногу. Юра ему советовал — вернее, просил! — лечь в военный госпиталь. «Нет, меня ждут ребята», — отвечал Саша.

Стал выяснять: почему парень рвется туда, в Чечню? Зачем? Что за ребята? И кто он такой?

Узнал: два ордена Мужества. Две медали «За отвагу». Представили на звание Героя России.

Войну ненавидит. В войне приходится участвовать — за ним его ребята, с кем нужно проводить спецоперации в Грозном, Шали, Гудермесе. Не дали ликвидировать Басаева. Хаттаб переиграл в одной стычке в Дагестане. Считает многих омовцев мародерами. С недоверием относится к спецслужбам. В Москву приехал, чтобы добыть для своих ребят горные ботинки и черную униформу. Таких денег не нашлось.

Через два месяца его еще раз ранят. Снова представляют к званию Героя. В госпитале ему намекнут, что надо послать в Минобороны ящик коньяка. Он выматерился, когда ему удалось позвонить мне по телефону: «Юр, пошли они...»

Потом позвонил его командир, Герой России: «Помогите Сане. Он — наша гордость».

Доказать, что Саня — гордость нашей армии, у меня не получилось. «Ну чего? Дадим еще третий орден «За мужество»... Молодой еще...» — так мне ответили чиновники из Минобороны, хватающие боевые ордена на далеких от фронта арбатских переулках.

(Не смею называть фамилию Саши и его часть — слишком много денег дают за его голову. Но поверьте мне: он — честь нашей армии.)

Ну ладно... Отвлекся.

Хотя нет. Нет. Все об этом.

— Рука как? Живет?..

— Кончай... Это мои ребята...

Его ребята оказались просто ребятами.

Одному — двадцать один: Жене. Второму, старшему из Сашиных бойцов, Андрею — двадцать шесть. Третьему, еще одному Андрею, двадцать.

У первого — орден Мужества, у второго — орден Мужества и медаль «За отвагу», у третьего, самого младшего, двадцатилетнего Андрея — орден Мужества.

И командир, Саша, в тридцать лет — с иконостасом наград.

Я рассказываю, как все было.

Как они сняли свои куртки в депутатской комнате «Внукова». Как они, смущаясь своими орденами, прошли мимо известных чиновников и генералов попить кофе и пива. Как я их познакомил с примчавшимся сюда, во Внуково, их ровесником из МГИМО Максимом Лихолетовым, только что закончившим свою практику у нас, в комитете по безопасности Госдумы. Как потом мы показывали Москву: «Вот Ленинские горы... Вот Москва-река... Вот Кутузовский... Вот Кремль... Вот Дума... Здесь — бывший ЦК... Вот — наша газета...» Как потом тетя Люся, спаситель наших не очень богатых корреспондентов, кормила их в нашей столовой... Как потом мы поехали ко мне — на дачу в Переделкино, где мои друзья Ирина Сабова и Владислав Тепленко готовили ребятам ужин... Как вечером Максим и его однокурсник из МГИМО Сергей повезли ребят по ночной Москве, пока их командир Саша убаюкивал свою раненую руку... Каким был следующий день, официальный, в ДК «Меридиан», где по призыву младшего Говорухина собрались те, кто воевал в Чечне по чьей-то воле и кто помнит тех, кто остался навсегда, навечно там, и как ребята, наши ребята, еще воюющие, отворачивались от телекамер... И как был еще один день в Москве, вечер в Москве, когда мы сидели в Переделкине... Приехали Павел Гутионтов (для читающих — секретарь Союза журналистов), Анатолий Головков, замечательный журналист и бард (для слушающих), до этого, чуть раньше, Дима Муратов, главный редактор нашей газеты.

Как это было...

Уже больше недели прошло, но, пока жив, не позабуду ребят, пацанов, которых мы, взрослые, заставили воевать там, где. Где — мы сами не можем понять.

И еще одно — очень важное.

Самый младший из этих ребят, двадцатилетний орденосец Андрей, — из города, бывшего города — Грозного.

В январе 95-го года — в том самом январе, когда по разрушенному центру я мчался на бэтэзере, уже привыкнув к тому, что на обочинах лежат тела, бывшие люди, — он учился в школе в Старопромысловском районе.

— Ты не знал, что в центре города идут бои? — спросил я Андрея.

— Мы еще думали, что можем доучиться...

Андрей мне рассказал, что в школе уже вылетали стекла от бомбовых ударов и учителя — и чеченские, и русские — брали домой классные журналы, чтобы их не унесли не ученики, а бомбежки. Но они там, на окраине Грозного, думали, что пронесет, проедет, их не коснется. Они — еще дети.

— В твоём классе были только русские или русские и чеченцы?

— Половина на половину. А что, это важно для вас? — спросил меня Андрей.

— Да нет... А что дальше... Война же...

— Потом мне отец сказал: «Здесь, наверное, будет очень тяжело. За тобой едет твой дядя. Закончишь школу в Ставропольском крае».

— А почему остался отец?

— Он нефтяник. Он думал, что еще наладится...

Андрей кончил школу там, у дяди. Поступить в Грозненский нефтехим, который окончил его отец, он уже не мог: не было ни института, ни самого Грозного.

Потом — и родители уехали из Грозного. Потом — призвали в армию. Потом — оказался в маленьком подразделении, которым командует мой друг Саша, где мужество — не доблесть, а работа. Такая вот жизнь.

Ну а потом...

Потом, потом...

Двадцатилетний Андрей брал штурмом собственный дом. В январе исчезающего, последнего в веке 2000 года. И — получил за взятие своего собственного дома орден Мужества.

— Скажи, парень, а могло так случиться, что твои одноклассники-чеченцы стреляли бы в тебя из твоего собственного дома?

— Нет... Нет... Я знаю всех своих друзей. Их тоже увезли родители из Грозного тогда, в начале 95-го...

— Ты знаешь, где они сейчас?

— В Ставрополе, даже в Москве.

— Так с кем же ты там воюешь?

Только не с моими... Чеченские ребята из Грозного не воюют.

— А кто же? Наемники?

— Да... И еще пацаны с гор, для которых Грозный — как для меня Москва.

Это, повторяю, мнение двадцатилетнего Андрея.

Ребята, с которыми меня свела жизнь в последние дни этого года и века, — не какие-нибудь шакалы войны: каждый хотел и хочет учиться дальше. Но вот время такое... Да еще (повторяю почти дословно то, что услышал от каждого): «Денег не хватит ни у нас, ни у родителей, чтобы поступить...»

Пока они воюют.

А их командиру, моему другу Саше, назначена еще одна операция. Руке — больно. Его бы уговорить в Москву, в Бурденко. А он — о них.

Для его ребят — еще одна операция. Спецоперация. Сейчас, в канун уходящего года...

Эй, будьте живы.

Не забуду историю Андрея.
Штурм собственного дома... Орден — за штурм...
Качели во дворе. Мама с папой — и он между ними. Футбол... Драка... Взгляд
девчонки... Мороженое...
«На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на ле-
вом рукаве остроугольный трехцветный шеврон...»
Туманятся Николкины глаза...
Мы что-то штурмуем.
Или детство. Или будущее.

«Новая газета» № 74, 25.12.2000

ЛЕВ ПРЫГНУЛ В ХХІ ВЕК. УЖЕ В ПОГОНАХ

*Бывший начальник Управления по борьбе с оргпреступностью, ныне предсе-
датель комитета безопасности Госдумы генерал Александр Гуров, первым — 13
лет назад — назвавший мафию мафией, сейчас говорит, что различные «солн-
цевские» и «подольские» ОПГ — дети по сравнению с людьми из спецслужб и
госчиновниками.*

В дождливый летний день в центре Москвы мы сидели в квартире у Александра
Гурова, подполковника милиции, работавшего тогда в НИИ МВД СССР, и говорили о
том, что же такое советская мафия.

Это были другое время и другая страна, которую сейчас не отыщешь на геогра-
фической карте.

Шел 1988 год.

Помню, потом, уже ночью, я долго думал, с чего бы начать этот наш диалог, кото-
рый позднее, после публикации в «Литгазете» (где я тогда работал), произвел нео-
жиданный для всех, включая нас с Александром Ивановичем, эффект.

А начал я тогда так:

«Слово «мафия» уже до такой степени вошло в наш лексикон, что скажи кому-
нибудь, вздохнув: «Куда денешься — мафия...», тебя не спросят: «Что, тревожно в
Италии, да?»

Мы сжились с этим словом настолько, что к чему только и к кому только его не
приклеиваем. К магазинам, НИИ, баням, кафедрам, творческим союзам, больни-
цам, пивным палаткам, сантехникам, дипломатам, проституткам, мясникам, шах-
матистам, билетным кассирам; к городам, областям, республикам, к не заметным
на карте поселкам и к столичным центрам»...

Повторяю, шел 1988 год. Советский Союз исчезнет через три года. Россию как
новое государство на земном шаре никто не мог представить даже в кошмарном сне.
Наш диалог «Лев прыгнул» был опубликован в «ЛГ» спустя неделю.

О собственных неприятностях, связанных с этой публикацией, я узнал спустя лишь несколько дней, когда в газету (в ЦК КПСС, а оттуда — в газету) начали поступать возмущенные письма от разных областных начальников, чьи территории мы окрасили в мафиозный цвет.

Но у подполковника Александра Гурова они начались тут же, утром, когда газета только-только вышла.

За ним приехали на черной министерской «Волге», чтобы торжественно отвезти в МВД и там, на большом начальственном ковре, так же торжественно снять погоны.

Но...

Дальше — как в красивой сказке.

Пока «Волга» везла Александра Гурова на заклание, главному редактору «Литгазеты» А. Б. Чаковскому позвонил по «кремлевке» генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев и сказал: «Наконец-то кто-то об этом написал».

Это слово — «наконец-то» — тут же, естественно, оказалось в здании МВД на Житной, и когда «Волга» довезла Александра Гурова до высокого ковра, на котором с него должны были снимать погоны, оно уже ласково вылетало из уст тогдашнего министра МВД.

«Правильно. Спасибо. Наконец-то».

А возмущенные секретари обкома партии еще писали «телеги» на меня и Гурова, не подозревая, что незнание слова «наконец-то» их погубит.

Но по высшему указанию было создано Управление по организованной преступности МВД СССР (по небрежности машинистки выпало слово «борьба» в этом названии, то есть по борьбе с оргпреступностью. И сейчас имя этого подразделения звучит несколько странно).

Спустя еще полгода Александр Гуров был назначен начальником этого управления.

Потом оно стало Главным управлением МВД СССР. Таким образом была создана система подавления преступности. Были разные изменения в судьбе Гурова. Его то поднимали, то опускали. Менялись министры, менялось время, да и название страны, как известно, тоже изменилось.

Он сам-то, правда, не изменился. Даже и живет все в той же скромной подполковничьей квартире, в которой 13 лет назад (господи, уже 13!) говорили мы с ним о всепоглощающем льве.

Да, был еще один эпизод этой истории, о котором мы, правда, узнали спустя много лет.

Однажды, когда А. И. Гуров был уже вытолкнут из системы, к нему пришел человек — близкий друг известного, потом убитого авторитета Лени Завадского — и рассказал, что тут же после появления статьи в городе Сочи собрался пионерский слет «воров в законе». Их почему-то очень заинтересовал наш «Лев...». И почему-то они решили, что с нами надо что-то сделать. Было голосование, по которому нам хватило двух голосов «за» (воры не хотели ажиотажа), чтобы остаться живыми. Но именно в это время Шеварднадзе совершил кавалерийский налет на грузинских «воров в законе», и у многих из них оказалась уважительная причина не попасть на сочинский «съезд».

Вот спасибо, Эдуард Амвросиевич!

Все-таки романтическое было время.

— Романтический у нас с тобой был первый лев, Александр Иванович (для непосвященных читателей: этих львов у нас было штук пять). Романтический, даже наивный, — говорю я Гурову неделю назад, когда решили мы с ним выяснить, како-го же цвета лев, перепрыгнувший в XXI век.

Вот читаю я этот наш первый диалог:

«Я спрашиваю А. Гурова: есть ли отличия нашей, доморощенной мафии от западной? Отвечает, что есть... Западную мафию отличают от нашей транснациональные связи, а границы СССР, как известно, закрыты накрепко не только для мафии. И второе, главное отличие — тамошняя мафия постоянно пытается легализовать свой капитал, порождая не подпольных, как у нас, а вполне легальных миллионеров...»

Кто бы мог представить тогда, в 1988-м, как все повернется...

— Да нет, — возражает мне Гуров, — что же там романтического? Многое-то мы тогда предсказали точно. Ведь так?

А может быть, и правда — так...

Беру наугад несколько цитат оттуда, из 88-го.

Основной признак мафии по Гурову-подполковнику: «Преступное сообщество становится мафией лишь в условиях коррупции: оно должно быть связано с представителями государственного аппарата, которые состоят на службе у преступников. Если это прокурор, то он спасет от наказания, если работник милиции, то передаст наисекретнейшую информацию, если это ответственный работник, то вовремя сделает нужный звонок».

Ну чем отличается 88-й от 2001-го?

Или еще.

Тогда мы говорили о том, что организованная преступность родилась в середине 70-х годов: все больше и больше денег начало перекачиваться из госбюджета в частные руки через подпольные цеха и фабрики. Появились и «цеховики» — преступники в белых воротничках. И как реакция на появление теневой экономики — резкая активизация профессионального преступного мира. «Даже (цитирую Гурова. — Ю. Щ.) концепции работы с новым контингентом были разработаны при помощи одного из идеологов преступного мира старой формации — «вора в законе» Черкасова.

— Что это за концепция?

— Первая: бери у того, у кого есть что брать; вторая: бери не все, ибо терпению человека приходит конец; третья: бери на каждое дело работника правоохранительных органов, ибо «мусор из избы не вынесет» (цитирую дословно. — Ю. Щ.). Руководствуясь этими концепциями, и начала свою деятельность преступная организация Монгола.

Ну как в воду тогда глядел Александр Гуров. Только, правда, мы не могли пред-ставить, что же еще сможем увидеть в конце XX — начале XXI века.

Наконец, еще одна цитата. Это уже из нашего материала мая 90-го, то есть два

года спустя. Статья «Охота на льва». Александр Гуров уже начальник управления, генерал и депутат Верховного Совета РСФСР:

«Идет дальнейшая консолидация преступных группировок: мелкие группы на основе договоров образуют более крупные. Идет захват территорий, и в связи с этим обостряется борьба за сферы влияния (рэкет выступает в качестве катализатора). Это первый вывод А. И. Гурова. Второе: объединение экономической преступности и общеуголовной. Третье: внедрение мафии в государственную экономику, в систему распределения (целые поезда за взятки поворачивают в другую сторону). Четвертое: вторжение организованной преступности в политику с помощью коррумпированных ответственных работников (по мнению А. И. Гурова, уже были попытки проташить в Советы настоящих рецидивистов). Пятое: в отличие от Запада отечественная мафия активно использует в своих целях подростков. И, наконец, шестое: выход нашей мафии на международную арену».

Да, еще вспоминаю, как спросил Александра Ивановича: о чем сейчас ОНИ думают, когда мы говорим о НИХ?

— О новой стратегии. Как отмыть деньги, как за рубежом их в банк поместить, какие изгнать группировки из одного аэропорта и самим заселиться, как выкупить своего, попавшего в беду, с кем из чиновников установить связи. Пока еще есть с кем устанавливать...

Что это за фраза такая тогда проскочила — «пока еще есть с кем устанавливать»? Вера во что-то, надежда на кого-то, наивные мечты детства взрослых мужчин.

Спустя десять лет, то есть неделю назад, в январе 2001 года, А. И. Гуров говорит: — 70% госслужащих коррумпированны. Хотя, может, даже больше.

Тогда, в первом «Льве», в 88-м, мы сконструировали некий трехэтажный мафиозный «дом», в середине которого — деятели теневой экономики, с первого «этажа» их доят гангстеры и рэкетеры, а сверху, с третьего, выкачивают деньги чиновники-взяточники.

Сегодня «дом» перестроился.

Сегодня все эти разномастные «солнцевские», «подольские», «ореховские», «измайловские» выглядят гайдаровскими тимуровцами, которых вытеснили на детскую площадку.

Тогда, в 90-м, у нас был вот такой диалог с А. И. Гуровым:

«— Организованная преступность резко поднимется. Нам придется пережить шок. Мафия какое-то время будет свирепствовать.

— Какое-то время? А потом?

— Часть уйдет в легальный бизнес, отмыв деньги, как это было, допустим, в США. Сегодня американцев не волнует «коза ностра», а итальянцев — «каморра». («Мы ее контролируем», — сказали они мне.) Запад волнует лишь новая волна наркобизнеса.

— То есть у мафии на Западе есть свое место?

— Вот именно. И свое место, и свои виды бизнеса. Полиция их контролирует. У нас же сегодня нет «места» мафии в обществе. Она везде. И потому, когда начнется переход к рынку, мафии придется искать свое место...»

Так мы думали тогда, в 90-м...

Сегодня я лично убежден: и место, которое, как мы думали тогда, придется искать мафии, уже занято.

Спрашиваю у А. И. Гурова: почему же в середине 90-х, особенно между 93-м и 95-м, начался отстрел главарей да и просто солдат преступных группировок (только «воров в законе» в этот период было убито больше двадцати — огромный процент из общего поголовья)?

— Они стали жертвами борьбы за госсобственность, которую именно тогда сдавали за бесценок налево и направо, — считает Александр Гуров. — Хотели успеть — и не успели.

— Но вот пример колоритной фигуры — Анатолий Быков. Он как бы и там, и здесь? Он-то успел, у него получилось?

— Ну и кто сейчас контролирует красноярский алюминий?..

Тогда, в 90-м, мы говорили вот еще о чем:

«Спрашиваю: а не готовится ли и преступный мир к переходу на новую экономику? Не начал ли осваивать новые ремесла, бизнес западной мафии: наркотики, игорные дома и т. д.?»

А. И. Гуров считает, что ускорения процесса пока нет. По его мнению, в стране нет и наркомафии.

— Но почему?

— Зачем же рисковать, когда есть масса способов обогатиться более легкими приемами: и рэкет, и контроль над проститутками, и хищения, и спекуляция? Ведь известны 200 способов хищения госимущества с использованием только должностного положения. Ну в какой стране ты еще это увидишь? Вот когда мы перекроем эти каналы, тогда у нас усилится наркобизнес...»

Было сказано тогда, в 90-м...

Сейчас такое уже и не скажешь.

Наркобизнес и наркомафия — наша горькая реальность, но не уверен, что в этой реальности бандитам достался самый лакомый кусок.

Года полтора назад мне пришлось заниматься жуткой ситуацией, сложившейся в Ямбурге, городке газовиков: школьники были поголовно охвачены наркотиками, и прикрывали наркоторговцев люди в милицейских мундирах. Открыто, не боясь и не стесняясь...

Только бригада из главка по оргпреступности, которая по нашей просьбе вылетела туда, хоть как-то поправила ситуацию. Хотя как поправишь уже изуверченных наркотиками детей?

Повторяю: всех этих «солнцевских-подольских» оттеснили на детские площадки. Взрослые — другие. А те, если и львы, то уж слишком облезлые.

И дело не только в том, что оставшиеся в живых лидеры или те, кого официально называли лидерами, повзрослели, остепенились, заимели детей и имущество, которое уже сами готовы защищать от разных «отморозков». Государственная машина оказалась сильнее, но вовсе не такой, как когда-то давно виделась нам в туманном и завораживающем будущем.

Читаю иногда наивные заметки о существовании якобы специальных бригад из

МВД или ФСБ, которые уничтожали и уничтожают преступные группы, — такие, видите ли, чистильщики. Даже название, помню, им придумали: «Белая стрела» или что-то в этом роде. Большой чуши не придумаешь!

— Конечно, чушь, — соглашается Александр Гуров. — Нет такого, не было и быть не может. Но... Есть киллеры — высокие профессионалы, которые в свое время работали в МВД, различных спецслужбах, спецназах, или бывшие спортсмены-стрелки. Я не исключаю, что именно их, то есть бывших, могли нанять бандиты для своих кровавых разборок.

— Или — настоящие? Те, которые в свободное от службы время находят именно такой вид заработка? Как, допустим, сержанты, которые подрабатывают, охраняя киоски или какие-нибудь офисы?

— И такого я тоже не исключаю. Но повторяю: для киллера сделать свое дело — это не просто прийти, увидеть и застрелить или взорвать. Конечно, есть сотни «одноразовых» исполнителей, которых, как правило, тут же ликвидируют, но есть настоящие профессионалы (их весьма немного — человек 20—30), имена которых мало кто знает, но те, кто их знает, берегут их как зеницу ока. Один такой профессионал неожиданно пришел в ГУОП. Ребята оттуда рассказали мне: он пришел сдаваться из-за того, что за ним по пятам уже шла ФСБ и у него украли или забрали паспорт. И тогда он им сказал: «Вы не думайте, что это легкая работа».

Стоп, стоп... Да не мой ли это киллер?

И история с ФСБ, и с паспортом, и с этой фразой... Очень, очень похоже. Только там было еще романтичнее.

Несколько лет назад мне позвонила Маша Слоним, тогдашний корреспондент Би-би-си, и сказала, что меня разыскивает один киллер. «В каком смысле?» — естественно, удивился я.

Оказалось, какой-то парень, сказавший Маше, что он киллер, на самом деле пытается встретиться со мной: у него какие-то неприятности.

Потом он мне позвонил, и мы назначили встречу в редакции.

Они пришли вдвоем. Сам он меня поразил тем, что оказался совсем не атлетического сложения и даже в очках. «Вы тоже киллер?» — спросил я второго. «Нет, я водитель Олега».

Этот киллер оказался бывшим офицером спецназа. Его пригласили в Москву на выполнение задания. Но оказалось, что люди, которые его наняли, — бывшие или настоящие сотрудники ФСБ. У него отобрали паспорт. И его, как он сказал, начал искать другой киллер. Он себя почувствовал загнанным в угол.

— А я потратил на объект целый месяц. Они же все время меняют квартиры, дачи... — и потом добавил: — Юрий, вы не думайте, что это очень легкая профессия.

Та самая фраза...

По его просьбе я связался с ГУОПом. Минут через 15 оттуда приехал человек. Что стало дальше с этим парнем — я, честно, не знаю. Тогда мне было сказано, что его спрячут и попытаются разобраться, что да как.

Разобрались ли — тоже не знаю.

Я вдруг вспомнил эту историю по одной причине: в тех первых «Львах» киллеры не могли быть предметом нашего разговора, хотя прошло всего лишь 10—15 лет.

Тогда мы не могли представить себе, о какой «крыше» нам придется говорить сегодня.

Да, тимуровцами выглядят сейчас бывшие грозные рэкетеры из «подольских» или «солнцевских», которые «крышевали» все: от киосков и магазинов до рынков и банков. Но это вовсе не потому, что прокуратура, ФСБ, милиция или налоговики победили преступные группировки.

— Сейчас на разборках уже и бандитов-то не увидишь: с одной стороны — полковник из ФСБ, с другой — майор из милиции... Даже на большой международной конференции по борьбе с коррупцией мне не раз говорили об изменении российского криминального мира, — говорит Александр Гуров.

Да не только сейчас, во время нашей беседы. Уже год, пока мы с Александром Ивановичем работаем в одном думском комитете, говорим мы об этом. С ним и многими другими нашими коллегами.

Как же так произошло? Кто виноват в этом? Что можно сделать? Кто может что-то сделать? Новые законы? Или новые люди, которые должны сегодня возглавить все наши так называемые правоохранительные органы?

В любом киоске можно найти служебный журнал, в котором буквой «М» отмечены милицейские сборы. Это сержантское поле, мелочовка. На любом рынке знают, кто из милиции — местной, районной, городской — собирает дань. (Да сами посмотрите, какие машины стоят у отделений милиции, примыкающих к рынкам. Кажется, это не захудалая ментовка, а офис «Мерседеса» или «БМВ».) Президент огромной строительной фирмы на вопрос, не наезжают ли на него бандиты, откровенно ответил: «Да у меня руповская крыша». И добавил: «Правда, деньги туда плачу такие же». А сколько получают офицеры действующего резерва ФСБ, занявшие начальственные кресла в крупных банках и фирмах? (Уж об этом «Новая газета» писала не один раз.)

А вот уже совсем анекдотический случай. Члены одной преступной группировки пришли за помощью к адвокату. Они решили жить по-новому и построили бензозаправку на МКАД. Спустя несколько дней к ним пришли ребята из какого-то РУОПа и сказали: «Двадцать тысяч долларов — и не будет проблем». Они, естественно, дали. Но через день к ним заявили ребята из ОБЭПа (экономическая полиция) и потребовали 15 000 долларов за «крышу». Еще через несколько дней пришел милицейский капитан, сообщил, что он курирует бензозаправки, и сказал, что 5000 долларов в месяц его вполне устроят. Но когда спустя еще день пришел другой капитан и, объяснив, что тот, первый капитан, курирует не бензозаправки, а рынки, а 5000 долларов надо платить именно ему, второму капитану, — представители ОПГ (не путать с ОВД, МВД, ГИБДД и т. д.) не выдержали и пошли к адвокату: «Мы понимаем, что надо платить, но, может, все-таки кому-нибудь одному?»

Я верю в эту историю.

И все больше и больше понимаю, что за лев устраивает свои цирковые номера на глазах у всех — от президента до человека в автомобиле, которому не надо объяснять, в какой фонд собирает деньги лейтенант ГИБДД.

Да, кстати, о фондах. Есть фонды, которые подкармливают всех: от Генпрокура-

туры до налоговой полиции. Об одном из таких фондов — Фонде поддержки налоговой полиции — я писал в статье «Новые солнцевские»: руководящий состав налоговой полиции Москвы открыто вымогал с небольшого банка 300 тысяч долларов. Уголовное дело было возбуждено спустя год, и чем оно закончится, могу представить...

— Фонды поддержки правоохранительных органов, которых сейчас развелось множество? Да это просто недостойное явление, тем более что тем, кто на самом деле борется с преступниками, достаются лишь крохи с барских столов. Если и достаются, — считает Александр Гуров.

Но фондовые деньги — хоть чем-то прикрытая форма взятки. А есть еще не прикрытая, хотя бы даже «липовыми» бумагами. А есть совсем откровенная.

— Помню, когда еще занимался Узбекистаном, узнал, что кресло замначальника УВД стоит 50 тысяч рублей, а кресло начальника УВД — 70 тысяч. Я искренне удивился: откуда у людей по тем временам такие деньги и зачем они покупают эти места? Потом мне объяснили. Все средства элементарно собираются взятками. И так же элементарно потом возмещаются куда большими суммами. Это было тогда. Давно. В Узбекистане, — говорит Александр Гуров.

— Александр Иванович, ты бы знал, какие суммы сегодня платятся за назначение начальников УВД, начальников горотделов и районных начальников. Что в милиции, что в налоговой полиции, что в прокуратуре... Об этом мне рассказывали очень многие мои бывшие коллеги. Когда я говорю об этом дальше, выше, меня непременно спрашивают: «А как ты это докажешь? Где документы, где свидетели, где показания потерпевших?» И даже: «И где, наконец, свидетельства тех, кто взял эти деньги?»

— Вот видишь, течет река. Она течет. Ведь не надо никаких документов или подтверждений, что это река, что она течет, куда она течет и т. д. С коррупцией то же самое. По данным наших исследований, еще раз повторяю, 70 процентов чиновников берут взятки. Но, скорее всего, больше, — считает Гуров.

Стоп, стоп... Только не говорите нам, что крайние сегодня — люди из милиции, ФСБ, прокуратуры. Не напоминайте фамилии высокопоставленных чиновников — фамилии, которые у всех на слуху. Не говорите об олигархах, которых и олигархами сделали те же самые высокие кремлевские чины.

Сегодня — о другом. Почему мы не можем выбраться из этой атмосферы? Мы что, рыбки в аквариуме?

Речь о тех, кто обязан что-то сделать, а ничего не делает.

— Александр Иванович, но у нас же в России всё сажают и сажают. Даже после амнистии в лагерях, тюрьмах и следственных изоляторах находятся более миллиона наших соотечественников.

— Я думаю об этом все время. В мире сегодня 7 миллионов человек находятся в камерах. Каждый седьмой — наш. Что это? Наши — самые преступные? Скажу больше. За последние сорок лет в нашей стране 43 миллиона человек прошли через лагерь и тюрьмы, а 76 миллионов так или иначе столкнулись с тюремно-полицейской системой. Ужасающая цифра.

— Да, только в прошлом году, в 2000-м, через следственные изоляторы прошли более двух миллионов наших сограждан. Многих потом освободили. Но и сутки в

камере, в нашей российской камере, — тоже большой испытательный срок для нормального человека.

Когда бываю в зонах, слышу от начальников: «Опять посадили за украденный ящик водки или украденное ведро краски». Кого задерживает милиция? Против кого возбуждает уголовные дела прокурор? Кого осуждает суд? Самых слабых и беззащитных, без высоких связей и денег? Скажи мне, почему так происходит?

— Мы уже говорим с тобой целый год об idiotской системе отчетности, сохранившейся в правоохранительной системе. Об этой системе «палок» (этот термин знают все милиционеры).

— Саша, у меня такое ощущение, что из-за этой отчетности и возбуждают дела, и скрывают преступления.

— Начальник УВД Западного округа Москвы довел до абсолютного маразма эту систему. Высчитывали на калькуляторах, но и 70 — 80% раскрываемости — это тоже вранье. Легче сделать статистику на слабых и беззащитных, чем на сильных и богатых. Если не раскрыто одно убийство, что портит статистику, то начальник посылает участковых и оперов срочно проводить контрольные закупки по близлежащим торговым точкам. И тогда на одно нераскрытое убийство приходится девять раскрытых мошенничеств. Общая раскрываемость преступлений, таким образом, составляет 90 процентов. Вот и вся нехитрая «химия».

— Из-за подобной idiotской отчетности происходят многие наши беды. Откуда же она взялась и что же с ней делать?

— Дело в том, что всегда мы жили по плану, по пятилеткам. Всюду сплошные цифры, сплошная отчетность. Особенно это чувствуется в милиции. Погоны накладывают отпечаток на человека. Сегодня даже я, уже генерал-лейтенант, председатель комитета по безопасности Госдумы, когда вижу старшего по званию — в общем-то хорошего человека министра обороны Игоря Сергеева — по врожденной привычке лейтенанта милиции пытаюсь вытянуться по струнке и сказать ему как начальнику что-нибудь хорошее. Я понимаю психологию всех, от лейтенанта до министра, испытывающих желание сказать вышестоящему начальнику что-нибудь хорошее. А что хорошее для начальника? Цифры! Мы столько-то раскрыли, столько-то арестовали. И я понимаю, что это неправда, и слушающий меня начальник понимает, что это неправда. Но и мне легче говорить так, и ему легче слушать такое.

— То есть дело не в приказах, а в психологии человека в погонах?

— И себя уже переделать нельзя. В нас это вдалбливали на протяжении десятков лет. Что с этим сделать? Думается, что мы подойдем к тому, что во главе силовых ведомств будут стоять политики. Так делается во всех цивилизованных странах Запада: министр-политик приходит и уходит, а его заместители-профессионалы остаются. Правда, для этого требуется наличие цивилизованного общества, которого у нас в стране пока не наблюдается.

Думаю, что Александр Иванович Гуров, председатель комитета по безопасности Государственной Думы, знает, о чем говорит.

Но...

Воспитать цивилизованное общество...

Хотя нуждается ли наше российское общество в воспитании? Может быть, их, воспитанных, «заметут» невоспитанные?

Однажды для цивилизованного воспитания в камере на Петровке, 38 оказался Роман Абрамович: бывший прокурор Москвы Геннадий Пономарев посадил его — то есть сделал первые правовые действия — на трое суток за хищение эшелона с мазутом. Абрамович, как я знаю, даже успел дать первые показания. Потом по чьему-то начальственному звонку дело было передано в Республику Коми (откуда и исчез мазут) и там испарилось в местных нефтяных скважинах.

Где сейчас Геннадий Пономарев?

А где находится Роман Абрамович, мы все знаем.

И еще одно. А сами-то бандиты? Они что, сейчас — самые бедные?

У них тоже все в порядке.

Увидел на улицах в Екатеринбурге растяжки, пропагандирующие партию под названием «ОПС«Уралмаш». (Объясняю для непосвященных: объединенная преступная группа — ОПГ. ОПС — то же самое: «Г» — группа. «С» — сообщество.)

В Екатеринбурге об этом знает каждый.

Недалеко от госпиталя, где один великий доктор пытается спасти всех ветеранов — от Великой Отечественной до великих афганской и чеченских, — кладбище. Центральная аллея — в памятниках не жертвам этих войн, нет — жертвам крупных разборок между уралмашевскими. Классными памятниками открывается кладбище: у одного погибшего братка птица вылетает из клетки, у другого — руль от «Мерседеса» в руках... И — охрана. Чтобы не осквернили могилы. А рядом, в пятистах метрах, в ветеранском госпитале пацаны из Чечни лежат в коридорах, и денег нет на новый корпус: матери погибших солдат проводят марафоны, чтобы кто-то подарил госпиталю картошку, капусту да телевизор в палату.

Правда, их спасает великий нейрохирург. (Не называю имени: его и так знают не только в городе, но и во всей России. Стыдно что-то стало: рядом с братками?..)

Но Россель, поддерживающий партию «ОПС«Уралмаш», отстает от Москвы.

Ладно.

Я думаю о других: о тех молодых операх и следователях, которые пришли в милицию, прокуратуру, ФСБ, налоговую полицию с надеждой что-либо изменить. Многие из них — мои товарищи. Они скрипя зубами рассказывают, как их пытаются сломать не бандиты, а собственные начальники.

Думаю о тех высоких профессионалах с известными на всю Россию именами, которых вытолкнула Система только за то, что они не хотят жить по новым правилам львиных игр.

Мы думаем, что они когда-нибудь вернуться. Мы надеемся, что те, кто пришел, не будут продаваться.

Иначе во что превратится наша страна?

P.S. С 1991 по 1998 год из системы МВД ушли 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) сотрудников.

За прошлый год из московской милиции уволились 9 000 сотрудников.

То же происходит и в других правоохранительных органах. Не говорю, что ушли только хорошие, а пришли только плохие.

Сама цифра меня поразила: сколько сегодня за решеткой? Сколько — перед ней? Больше ничего не могу добавить.

Лев все еще прыгает. Волосатый лев затаился. А в погонах — прыгнул.

«Новая газета» № 06, 29.01.2001

«СЕКРЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ» И СЕКРЕТНЫЕ НАГРАДЫ

Мало кто знает, что Патрушев (ФСБ) и Рушайло (экс-министр МВД) уже стали Героями России

У нас не «Война и мир». На чеченской войне не могу себе представить благородных отношений между смертельными врагами. Благородства войны нет, а политические салоны на манер толстовской Анны Шерер, никогда не видевшие войну, кровь, грязь, слезы, пот и еще раз грязь, грязь, рассуждают о стратегии, тактике, хвалят одних генералов, хвалят других, цепляют любимым генералам самые высокие награды.

Будто большая Россия воюет снова с Наполеоном. Правда, кавказской национальности.

О чем я? Да все о том же. О Чечне. О той радостной неадекватной истерии начальства по поводу того, что убит полевой командир Бараев. (Подонки, о котором мы не раз писали. Но сейчас — не о нем, а об истерии.)

Все, даже дети из первого класса школы, научились произносить слово «специальная операция». А мы их еще учим и учим тому, что показанный со всех сторон труп, валяющийся на земле, — это здорово.

Никогда не писал о том, что происходит в Думе, не ругался публично со своими коллегами. Но гласного рабочего страны, ни разу не рискнувшего поехать в командировку в «горячую» точку страны, не могу не процитировать.

Среда. 27 июня. 105-е заседание Госдумы.

Председательствующий. Так, Шандыбин Василий Иванович, пожалуйста.

Шандыбин В. И.: «Уважаемый Геннадий Николаевич, наконец-то спецслужбы России приступили от слов к делу и продемонстрировали величие русского духа. Уничтожен кровавый террорист Арби Бараев. Все мы знаем, что Бараев был врагом чеченского и других народов. Считаю, что газета «Известия» правильно охарактеризовала эту спецоперацию как начало пути к миру в Чечне.

Предлагаю поручить комитету по безопасности подготовить от имени Государственной Думы приветственную телеграмму на имя министра обороны Иванова, министра внутренних дел Грызлова и непосредственно руководителя этой операции директора ФСБ Патрушева. А также ходатайствовать перед президентом о на-

гражденин участников операции государственными наградами. Кроме того, я предлагаю всем депутатам выразить свое восхищение и благодарность нашим спецслужбам за проведенную операцию.»

Вот он — наш сегодняшний роман «Война и мир». Вот они — наши салоны Анны Шерер. Еще одним нашим генералам — по одной звездочке.

По мнению моего коллеги по Думе, человека, знающего и информированного, Асланбека Аслаханова, генерала МВД СССР, избранного от Чечни, Бараева убили кровники. Те, чьих родственников уничтожил этот бандит. Тому подтверждение: жители его родного села отказались пропустить машину с его телом, родная земля отказалась принимать его. Но почему-то шеф ФСБ Патрушев, которому Шандыбин предлагает вручить высокую награду, специально прилетел в Чечню, чтобы появиться перед телекамерами как автор этой спецоперации.

Не волнуйтесь за него, Василий Иванович.

Примерно два года назад по секретному указу (его почему-то называют еще «пьяным») ему, Патрушеву, а также Рушайло и еще нескольким высокопоставленным чиновникам уже было присвоено звание Героя России.

Может быть, неслучайно Патрушев сегодня и занимает особняк, который раньше арендовал еще один «салонный» герой чеченской войны — Борис Абрамович Березовский.

Вот она — правда об этой чеченской войне.

Вот наш нескончаемый роман «Война и мир».

Гибнущие солдаты и офицеры у нас безымянные.

Салонных героев не перечесть. (Кстати, за Афганистан Героями стали около 300 человек, за чеченскую, на своей территории, — уже больше 500.)

Помню, никогда не забуду свою первую чеченскую командировку. Для меня это была первая война. Тогда я написал нервную и злую статью «За Родину. За Мафию». Короткий отрывок оттуда:

«Люди, с которыми я провел неделю на этой войне, не только не профессиональные военные (кроме, естественно, офицеров внутренних войск, да и то их главное тяжелое оружие — хрупкие бэтэры), но и в самой меньшей степени ответственные за ошибки политиков в чеченском конфликте: дали приказ, сказали «Надо», не объяснив толком, что же ждет их — профессиональных борцов с профессиональной преступностью. Они умеют анализировать, искать доказательства, проводить облавы и рейды, естественно, стрелять, некоторые из них — те же собровцы — хорошо владеть различными боевыми приемами. Их враг — мафия, которая, при всей своей мощи, еще не докатилась до фронтовых операций.

Но недели, а у некоторых — уже и месяц войны (о количестве проведенных здесь дней можно судить по тому, какая у кого выросла борода) превратили их совсем в других, незнакомых мне людей.

— Какой мир! Какие мирные переговоры! С кем? С этим бандитом? После того, как столько наших ребят полегло? — слышался всеобщий ропот на мои робкие слова, что не может же так продолжаться еще и еще: тупик, а за ним — пропасть...

Больше того! Они кричали на меня, как будто я, журналист, виноват во всем, единственный во всей России: «Хватит нас оплевывать! Что, мы самые виноватые?..

Чеченцы — люди, а мы кто? Где же вы были раньше со своими правами человека, когда в Чечне был полный геноцид русского населения? Почему не возмущались, когда русских за бесценнок заставляли продавать свои дома?!».

Я им говорил о разоренном городе, а они мне: «Почему же вы не напишите, как они повесили вниз головой 11 солдат на здании Совмина?» Я о том, как армейский капитан положил из автомата четырех мирных жителей, абсолютно непричастных к тому, что из его батальона в живых осталось только шестеро солдат, а они мне о том, сколько чего они нашли в чеченских домах с ограбленных поездов.

И я понимал их личную правоту — каждого в отдельности, пережившего за эти дни здесь такое, что в страшном сне и мне бы не приснилось. Но я знал, что где-то в другом подвале другого дома кто-нибудь из моих коллег точно так же, сидя с чеченскими боевиками, слушает о пытках, которыми русские солдаты подвергают чеченцев.

И возможно, точно так же и мой коллега услышит грозный ропот в ответ на мой вопрос: «Может быть, хватит? Может быть, пора кончать? Может быть, все-таки мир?». А после этого снова — слова о родном, чеченском, доме, вообще о Родине, вообще о свободе?

Может, война — это зеркало, в которое смотрит человек и не может в нем узнать себя самого?

Что-то не так в этой российско-чеченской баталии. При всем идиотизме войн в них обычно присутствует хоть какая-то, но логика».

Повторяю, это написано в январе 1995 года.

Но ничего не хочу менять, потому что ничего не изменилось. Я не позабуду, да мы все, конечно, как спокойно ушла банда Радуева из Первомайска.

Я знаю, как и почему отпустили Басаева и Хаттаба из Дагестана. Это ИХ игры. Это ОНИ шлепают друг другу на мундиры свои новые звездочки Героев и ордена.

Это ОНИ доказывают, что убийство — это хорошо, забывая о том, что это все происходит на нашей единственной Родине.

P.S. Наш товарищ Саша Раковицан после очередного ранения снова в госпитале. Трижды представленный на звание Героя России, так и не получил Героя. Сначала от него потребовали ящик коньяка, потом — денег.

«Новая газета» № 45, 02.07.2001

КТО ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ МИРУ?

День 11 сентября уже стал днем историческим, пополнив череду печальных дат в современной истории человечества. Или в истории современного человечества.

Да, было все: от террористов-одиночек, в нашем обиходе называемых киллерами, до взрывов посольств, домов, автобусов, дискотек и торговых центров. Такого еще не было... Открытых военных действий...

Весь мир теряется в догадках: кто стоит за этим ужасом и кошмаром? Какая страна? Какое имя? Какие очередные уроды?

(Слава богу, хоть наш Радуев в «Лефортово» — уж он бы наверняка тоже объявил себя причастным.)

Но меня больше интересует не слово «КТО». С «КТО» еще можно справиться: отбомбить, стереть с лица земли, расстрелять или даже четвертовать в назидание потомкам.

Меня интересует, ЧТО стоит за открытым объявлением войны мирному человечеству.

С кем бы я ни говорил (поверьте, люди это знающие и компетентные), никто не считает, что за этим всемирным кошмаром стоит какое-то правительство или государство. С сомнением относятся и к именам заказчиков, которые сейчас у всех на устах.

Большинство сходятся на версии, что в данном случае мир столкнулся с суперпрофессионалами, появление которых разнообразные спецслужбы просто проспали, занятые разборками между собой.

Один из моих очень информированных собеседников сказал:

— Исполнителей-камикадзе найти сегодня не очень трудно, это могут быть и палестинцы, и арабы, и даже латины. Для планирования и подготовки подобной операции, еще не выданной в мире, требуются суперпрофессионалы. Не думаю, что бен Ладен является именно таким «профи». Да, для подобного невиданного теракта нужны огромные финансовые вливания, и деньги у него есть. Но то, что это именно бен Ладен, — не уверен. Такая операция планируется не одну неделю, не один месяц... Даже, помню, покушение на посла Турции в Будапеште готовили почти полгода... Здесь куда дольше... — и неожиданно для меня предположил: — В мире появился кто-то, кого мир еще не знает. Этот человек — или люди — способны переполющить всю планету.

Потом добавил:

— К этому теракту будут примазываться очень многие... Бог с ними! Страшнее другое: он стал мощнейшим стимулятором для индуцирования новых и новых терактов, страшных терактов, к которым человечество, разделенное на очень богатое и очень бедное, просто не готово. Ведь, как ни позорно для нас, людей, бедное-то человечество чуть ли не рукоплещет — или даже рукоплещет, — наблюдая апокалиптические картинки из Нью-Йорка... Боюсь, что XXI век принес нам нового Че Гевару, но уже без всякого романтического ореола. И думаю, что его имя вскоре станет известным...

Да, согласен, этот теракт может стать серьезным стимулятором для тех, кто хочет отомстить богатым: людям, городам, странам...

Мир оказался на грани войны... Но знать бы, с кем. Конечно, можно покрыть целые районы, города и даже государства кровавым бомбовым ковром. Но будет ли польза...

Американцы пробовали в Ираке и в Афганистане, уменьшили они опасность терроризма? Ликвидировали одиозных главарей? (Верхом цинизма были в эти дни заявления некоторых наших политиков и телеобозревателей, ставящих в один ряд события в Штатах и в Чечне: вот, а некоторые говорят о каких-то переговорах! После такого-то...)

Сегодня можно говорить о беспомощности американских спецслужб, о близорукости американских политиков, которые смотрят на звезды, но не замечают того,

что под ногами. Не радоваться же чужим ошибкам, которые привели к величайшей трагедии!

Мне часто приходилось встречаться (как депутату и члену Комитета по безопасности) с представителями различных западных спецслужб. С нашими, естественно, тоже. И я понял: сколько бы ни говорили о совместной борьбе с международным терроризмом — ни о чем не договоримся! Все они — дети и наследники холодной войны, и поймать шпионов друг друга куда важнее, чем вместе ликвидировать одного террориста. Мир оказался беспомощен перед тем, что произошло. Все мы оказались учениками на этом жутком уроке, после которого многие уже не вернулись домой.

«Новая Газета» №66, 13.09.2001

ДВЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ НЕ ПОНЯЛИ ДРУГ ДРУГА

Чеченский вариант может стать сценарием для всего мира

Мы находимся не на пороге... Мы уже перешли порог третьей мировой войны. Иногда эта война мне снилась, но я не думал, что она так близко.

Первая мировая была войной экономической, Вторая мировая — идеологической. Третья мировая будет война двух цивилизаций.

Я это всегда чувствовал на Кавказе, в Чечне. Я часто заходил в тупик, пытаюсь понять, почему женщины не должны сидеть за столом. В ответ мне улыбались, но не понимали меня.

После американской трагедии Америка думает, что она, Америка, может победить иную цивилизацию.

Я представляю, как это будет, когда вижу карты и схемы нападений на базы террористов. Но базы сегодня — это государства.

А люди — это не государства, это просто люди.

За эти дни я говорил со многими западными политиками и представителями спецслужб. И понял, что, по их мнению, для спасения мира осталась одна возможность: бить до конца, используя накопленный в одной цивилизации опыт — ракеты, бомбы, точечные удары, по всем тем, кто цветом кожи напоминает бандитов, подонков, уродов, кто совершал эти чудовищные акции в США.

Я понимаю, почему наши российские «ястребы» так довольны, что досталось и Америке.

Они считают, что чеченский вариант в России должен стать вариантом для всего мира.

Помню, когда в Ханкале я спросил у Казанцева (он тогда был командующим нашей группировкой), почему надо наносить бомбовые удары по территории Чечни, из-за которых гибнут дети, женщины, старики, он мне ответил: «Мы же армия, нам же дали приказ».

Конечно, это дело спецслужб — борьба с террористами.

Понимаю, кажется, сегодня американская армия готова повторить наш чеченский вариант.

Мне снится эта война. Это Третья мировая. Война двух не понимающих друг друга цивилизаций.

Одна цивилизация против другой цивилизации, одни традиции против других традиций.

Первая мировая началась с Сараево, Вторая — с Польши, а Третья — с Нью-Йорка? Или с Кабула? Или с Грозного?

К чему могут привести обширные военные действия одной цивилизации против другой цивилизации? Только к одному: воспитанию ненависти к «несвоим». Дети войны еще отомстят, дети войны еще скажут свое слово, когда наши внуки будут большими.

Давайте спасем мир от Третьей мировой! Терроризм — это общая беда. Я думаю, что главный кризис нашей истории (сегодняшней истории) — это беспомощность мира перед войной.

Мы сделали так много ракет, самолетов, авианосцев, танков, гранатометов... Что там еще?.. Мы направили их все друг против друга.

У двух сверхдержав, России и США, главные задачи — бороться друг с другом (самые большие управления в ЦРУ и в СВР — отделы по борьбе с противниками холодной войны).

И вдруг мир оказался на пороге той войны, где любые шпионы кажутся советскими тимуровцами (или томсойеровцами для американцев). Просто две цивилизации не поняли друг друга.

Повторяю, почему наши политические «ястребы» так довольно потирают руки: «А вы нас осуждали за бомбежки Чечни, вот и вам досталось»

Но я помню, как в конгрессе США мне сказал коллега: «Ты пойми, наши, то есть власть исполнительная, не хотят доставать бен Ладена, как и ваши исполнители не хотят доставать Хаттаба, о н и хотят сохранить свой Мир».

А мы постараемся сохранить Мир наш.

«Новая Газета» №67, 17.09.2001

ПОЧЕМУ ПРЕЗИДЕНТ — ЭТО ЕЩЕ НЕ КОРОЛЬ

Я удивляюсь каждый день.

Кажется, что удивление есть нормальное состояние человека.

Наша делегация Госдумы была в Стокгольме. Вице-премьер Швеции Л. Эльм-Валлен сказала нам, что она сейчас опаздывает на поезд.

Вице-премьер — третий человек в Швеции после короля и премьера.

Она поехала на вокзал на велосипеде.

Повторяю: третий человек большого государства. Движение для велосипедов не перекрывают.

Да, конечно, мы выиграла Полтавскую битву, но когда в короля Швеции кинули кусок торта (это был не бен Ладен, а шведский подросток), то король спросил этого подростка, закованного в наручники, не жмут ли они ему, и запретил возбуждать уголовное дело по поводу нападения на короля.

Я понимаю, что у нас разные государства. Но когда я вижу, как автомобильный народ ждет по часу проезда нашего президента, то понимаю, что Путин пока не король.

Стокгольм — Москва
«Новая Газета» №82, 12.11.2001

СУДЬИ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ

То, что происходит в наших судах, — это невидимые миру слезы

Закованные в броню абсолютной неприкосновенности, судьи рассматривают любое слово, направленное против них, как посягательство на данную законом неприкосновенность. Любой запрос, даже официальный, посланный из Госдумы, наталкивается на корпоративную оборону.

«Берут ли взятки в судах за смягчение приговора?» — «Клевета».

«Сколько надо заплатить арбитражному суду, чтобы вернуть собственные деньги?» — «Оскорбляете!».

«Сколько надо добавить в карман судьи, чтобы матерый преступник был отпущен под залог?» — «В суд за клевету».

Все замечательно, все хорошо в нашей судебной системе, только почему же не верят в справедливость нашего «самого гуманного», который до сих пор гордится наименьшим в Европе числом оправдательных приговоров (0,4 процента — у нас, 15—17 процентов — в Европе).

Официально гордятся (даже кичатся) своей святостью, но, как всегда в России, народный фольклор эту святость высмеивает. Вот один из фольклорных примеров:

Судья звонит своему другу: «Скажи, что мне делать? Завтра выносить решение по одному финансовому спору. Одна сторона предлагает 150 тысяч долларов, а вторая — 100». Ему отвечают: «Возьми с каждого по сто тысяч и суди по совести».

Что это? Фольклор отражает жизнь или жизнь становится фольклором?

А это уже не фольклор — реальная история.

В одном из приморских городков в райотдел милиции приходит отдыхающая — судья одного из приволжских городов — и сообщает, что ее только-только нагрели на «лохотроне» на 20 тысяч долларов. Молодой опер возьми и спроси: «А откуда у судьи такие деньги?»

Бедный парень! Ему потом пришлось еще долго отписываться на заявления судьи, обвинившей его в нарушении ее, судьи, независимости.

Пишу это не для того, чтобы бросить тень, на весь судейский корпус (у нас, если скажешь, что генерал взял взятку, — обидишь всю Российскую армию, напишешь

про сотрудника ФСБ, крышующего банк, — рушишь систему национальной безопасности). Знаю, как все происходит в закрытом от посторонних глаз, подкованном судебском мире, от самих судей, которых выкинула сама эта система.

Пытаюсь понять, почему же даже робкие шаги по демократизации судебной системы вызывают такой яростный отпор высших судебных иерархов, — не понимаю. Не на свободу третьей власти посягает судебная реформа — на приближение к реалиям жизни, к европейским стандартам, к гражданскому обществу, к защите не чиновника, а просто гражданина.

Россия и сейчас стоит на первом месте по количеству людей, находящихся за колючей проволокой, — больше миллиона. Но когда бываешь в зонах, слушаешь от начальников одни и те же слова: «Опять сажают за ящик водки да за пьяную драку. Серьезных-то у нас нет».

Нет, нет... Да откуда им взяться, если даже министру-взяточнику дают смехотворный срок: девять лет... условно.

Может быть, и причина столь явной судебной избирательности в той сложившейся ситуации, которую так хочется переменить.

«Новая газета» № 91, 17.12.2001

СВОЮ ГРУЗИЮ Я НЕ ОТДАМ

Давно не было так беспомощно стыдно, как в три последних дня прошедшей недели.

Когда в среду на закрытом заседании Госдумы министр обороны Сергей Иванов назвал Грузию не только «так называемым государством», но и обозначил ее чуть ли не «потенциальным» противником России, серьезно не воспринял эти его слова: Иванов — человек в политике молодой, в армейской системе — тем более. Мало ли что сорвется с языка! И не такое слышал!

Но когда спустя два дня почти то же самое услышал уже от президента Путина, да еще больше, серьезнее — с угрозой военного вмешательства в дела соседнего с нами государства, — стало не по себе.

Да, отношения с Грузией испортились, дальше некуда... Даже не России и Грузии — куда нам деваться друг без друга! — между политическими элитами двух стран.

Но одно дело — политические покусывания президентов, спикеров, министров и политтехнологов. А тут — прямые, откровенные, неприкрытые угрозы!

Понимаю, дерутся малолетки на окраинном дворе: «Ах, вы Васю-косого позовете, так у нас есть свой Петя-кривой!», «Получай, фашист, гранату!» и так далее...

Но это же люди, народы, наше прошлое, наши друзья...

Поразила почти единодушная эйфория, охватившая политиков разных мастей и окрасок при президентском обещании очередной очередной крови, при новом «мочить», при откровенном призыве к охотничьему инстинкту: «Ату их, ату...»

Стоп-стоп! Это что, грузины сначала привезли Дудаева в Чечню, а потом не зна-

ли, как от него избавиться? Это в Тбилиси сквозь пальцы смотрели, как образуется в Чечне беспредельный режим? Или это грузинский генерал сказанул, что возьмет Грозный силами одного десантного полка? Это их самолеты раздолбали Грозный, Гудермес и десятки, сотни поселков, сел и аулов? Это их командиры подписывали — и подписывают — тысячи похоронок? Это их генералы спокойно выпустили Хаттаба и Басаева из Дагестана, обрекая Россию на очередную чеченскую войну? Или это их спецслужбы годами гонялись за Радуевым и Бараевым, пока наконец одного не сдали сами чеченцы, а второго сами же не убили? Наконец, на чьих счетах оказались миллионы и миллионы бюджетных денег, которые выделяли и выделяют на вечное восстановление Чечни?

И еще — разве Грузия звала к себе тысячи беженцев из Чечни? Их загоняли туда наши, российские бомбы, наши, российские танки, наш, российский спецназ с жестокими и часто бессмысленными зачистками!

Что же вы не ловите своих, то есть наших российских террористов в Панкисском ущелье! — грозно стучат кулаком по столу наши генералы, в штатском и в форме.

Господа, да подойдите к зеркалу!

Если за две чеченские войны через эту бойню прошли около миллиона российских мальчишек, то где же взять такую армаду маленькой Грузии?

Или что, у нас выросло еще одно необстрелянное поколение, которому, чтобы стать истинными россиянами, не хватает одной малости: погибнуть самим или убить другого?

Или просто выборы на носу?

Но куда хуже, куда опаснее, что результатом этой «мочительной эйфории» станет не временная вражда между двумя президентами — президенты приходят и уходят, — а та трещина между нашими народами, та пропасть, которая страшнее всяких ущелий...

Нет! Свою Грузию я не отдам!

И не забуду, как маленьким чуть не плакал на последних кадрах фильма «Отец солдата».

«Новая Газета» №68, 16.09.2002

СЕКРЕТНЫЕ ГЕРОИ

Закрытыми указами Золотые Звезды раздают начальству. О чем нам написали бойцы группы «Альфа»

Помню, как в ту октябрьскую ночь мы общались на Дубровке. Как врачи, депутаты, журналисты, в том числе из «Новой газеты», таскали воду людям, оказавшимся в плену у террористов. Как вместе оплакивали тех, кого не удалось спасти. В принципе это была нормальная работа в ненормальной ситуации.

Но были еще ребята, имен которых мы не знали, да и не знаем сегодня: те, кто брал штурмом этот ставший известным на весь мир Дом культуры. Мы вместе хохо-

тали над тем, как некоторые депутаты Мосгордумы взяли почетные знаки за участие в операции по освобождению заложников, и даже краснели за них. Но на самом деле из спецслужб только бойцы из «Альфы» и «Вымпела», двух спецподразделений ФСБ России, были достойны наград. И вдруг...

А что «вдруг», вы поймете из этого письма...

«Пишут Вам бойцы группы «Альфа» ЦСН ФСБ России, участвовавшие в штурме «Норд-Оста».

Сразу же после Нового года состоялось награждение орденами и медалями сотрудников спецподразделения ФСБ, принимавших участие в штурме. В том числе пятерым было присвоено высокое звание Героя России.

Из них по одному бойцу групп «Альфа» и «Вымпел» получили звезды Героя — ребята во всех отношениях заслуженные: прошли все горячие точки.

Кто же остальные три «героя», примазавшиеся к чужим заслугам?

Это первый замдиректора ФСБ генерал В. Проничев — руководитель штаба по освобождению заложников и начальник ЦСН генерал А. Тихонов. Причем именно Проничев и Тихонов отвечают за борьбу с терроризмом на территории России.

Мало того, что они не понесли никакого наказания за проникновения террористов в центр Москвы, но и получили звезды Героев, отняв их, по сути, у более достойных ребят, действительно рисковавших своими жизнями.

Пятый Герой — это химик, пустивший газ в театральный центр. Человек, ставший и спасителем, и убийцей для многих заложников. <...>

С уважением бойцы группы «Альфа»

Я стал выяснять: правда это или нет? Что, дали Героев еще и людям, которые не участвовали в освобождении?

Оказалось — чистая правда. Сам президент Путин закрытым указом наградил бывших своих коллег — двух генералов ФСБ, и сам лично вручил звездочки Героев на коллегии ФСБ России.

Почему обижены ребята из «Альфы» и «Вымпела»? Оказывается, на своих офицерских собраниях в присутствии своих начальников они решили наградить только тех, кто был там, в том здании, в том мраке и кошмаре.

Но, как обычно, на мраке и кошмаре другие делают себе свое светлое будущее.

Не понимаю, что у нас происходит с закрытыми тайными указами о присвоении звания Героя России.

Раньше было все ясно: нелегальные разведчики, ядерные академики. Но только за последнее время по закрытым указам стали Героями России директор ФСБ Патрушев, секретарь Совета безопасности Рушайло, генеральный прокурор Устинов. Их надо награждать тайно, опасаясь за их жизнь? Но генералы — тот же Казанцев или Трошев не стесняясь носят свои Звезды.

Рушайло, Устинов и Патрушев стали Героями за успехи в чеченской войне. Сколько еще таких Героев?

Я позвонил в Ассоциацию Героев СССР и России, возглавляемую генералом Варенниковым. Мне сообщили точные цифры, сколько званий Героев присвоили за 9-летнюю афганскую войну: 40-я армия — 44, КГБ — 6, МВД — 1, погранвойска — 7.

Когда мы стали узнавать, сколько Героев присвоили за чеченскую войну, нам ответили: не знаем. Почему? — удивились мы. Нам сообщили, что это секретные данные.

И я понимаю, почему они секретные: из тех, кто воевал и воюет в Чечне, 90% награждены посмертно.

Помню, как мне сказал грустный майор контрразведки в Чечне, только что потерявший своего товарища: «Если погибну и мне дадут Звезду Героя посмертно, может быть, моя семья будет жить в квартире». Те, кто воюют, знают, что это такое. А «секретные» — это «левые герои», которые идут за спинами героев настоящих. Как и случилось с «Норд-Остом».

Не понимаю, почему наш президент раздает великие звания не тем, кто делает что-то, а тем, на чью поддержку он может рассчитывать.

Так обычно происходит в африканских и латиноамериканских странах в периоды военной диктатуры.

И потому я понимаю обиду ребят из «Альфы» и «Вымпела»: они что, лишь сопровождение для этих генералов?

Думаю, что любому начальнику было стыдно получать награды за «Норд-Ост». Так отдали бы их тем, кто честно занимался своим рабочим военным делом.

У нас есть друг — Саша Раковицан. Героический парень, дважды раненный, он всегда снова шел к своим солдатам, чтобы они не были одни. У него два ордена Мужества, дважды его представляли к званию Героя России. Первый раз, когда после первого ранения он лежал в госпитале, его попросили послать в Москву ящик коньяка, и все его ребята скидывались своими маленькими деньгами, чтобы это сделать. Потом попросили передать деньги. У него их не было.

Я приведу только одно его представление на звание Героя:

«Прапорщик Раковицан Александр Викторович, командир комендантского взвода 205-й отдельной мотострелковой бригады, в период с 13 августа 1999 года по 17 января 2000 года выполнял правительственное задание по уничтожению вооруженных бандформирований на территории Республики Дагестан...

6 октября прапорщик Раковицан А.В. возглавил обходящий отряд, переправлявшийся через реку Терек. Бандиты подготовили мост к подрыву. Прапорщик Раковицан А.В., спрыгнув с моста, своим весом оборвал провода и тем самым спас единственный мост через реку Терек.

...15 ноября 1999 года... зашел во фланг противника и закидал боевиков гранатами...

...31 декабря... 9 января... 17 января... Тяжело ранен, но продолжал руководить боем...

Вывод: за личное мужество и героизм, совершенные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, прапорщик Раковицан Александр Викторович достоин присвоения звания Героя Российской Федерации.

Командир оперативной группы войск «Запад» полковник Стволов С. Н.»

Помню, как мне позвонил Герой России Сергей Стволов, командир Саши: «Мне стыдно: я получил Героя, а Саша — нет. Сделайте что-нибудь». Я писал письма министру обороны, президенту. Ответов не было. Герой России полковник Стволов погиб. Больше никто не просит меня за своих ребят.

P.S. А если этим новым «секретным» героям дадут еще одну «секретную» звезду, то по еще не отмененному советскому закону надо ставить бюст на земле, где они родились. Представляю этот бюст: пустой постамент с надписью «Генералу Киже». («Поручик Киже» — повесть Юрия Тынянова, названная в честь виртуального героя, появившегося в результате писарской ошибки. «Поручики же» было написано так: «поручик Киже». Этот герой России XIX века сделал бурную карьеру.)

«Новая газета» № 16, 03.03.2003

БАРАНОВ МНОГО. ОВЕЦ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬСКИХ ПАПАХ НЕ ХВАТАЕТ

Новость о том, что военную реформу надо срочно форсировать, то есть переходить на контрактную службу, не считаю той новостью, которая потрясла весь мир.

Несмотря на заявление министра обороны Сергея Иванова и заседание правительства — никто так толком и не разобрался, будет реформа или нет; если будет, то когда и кого в конце концов она коснется.

Даже весеннему ежику понятно, что подобный эмоциональный взрыв: «сделаем, сделаем, сделаем!», «быстро, быстро, быстро!» — был вызван прежде всего тем, что американцы провели блестящую операцию в Ираке. До начала этой операции все российские эксперты в один голос заявляли не только о том, что война будет затяжной и кровавой, но и о том, что с них, с американцев, взять: «Они умеют только бомбить да швыряться ракетами, а попробуй они столкнуться с противником на земле, лицом к лицу! Куда им!»

Оказалось, что ошибочка вышла: и на земле умеют, да еще как!

Кто же такому научил? Кто же их обул, одел, дал потрясающее оружие, тренировал для битв в пустыне, запрещал выносить из завоєванных домов холодильники и телевизоры и не брать деньги за проезд через блокпосты?

Боюсь, что это были не российские учителя.

Оказывается, и нам нужна профессиональная армия, иначе все наши попытки выиграть сражение даже на территории собственной страны обречены на провал.

Выдам страшную военную тайну: когда чеченско-арабские боевики вторглись на территорию Дагестана, для того, чтобы остановить их, срочно начали искать не то чтобы боеспособную дивизию — боеспособную роту и взвод и даже боеспособных воинов! Вот так, со всей России (!), с бору по сосенке, была собрана стотысячная группировка.

А чем же занимается вся остальная наша российская рать?

Почему наши военачальники, сквозь зубы соглашаясь на необходимость контрактников в армии, все время говорят о призыве, и даже один год в армии (в каком-то будущем времени) сопровождается грозным: «Но никаких отсрочек!».

Зачем нам вообще нужна такая военная орава, если события последних лет

показали, что орава эта если что и умеет, то маршировать на парадах?

От слов о том, что «каждый молодой человек обязан пройти военную школу», веет какой-то старобылиной древностью. Молодежи, умеющей стрелять и махать кулаками, в России предостаточно: только через Чечню за две войны уже прошло (вместе с милицейскими десантами и т.д.) около миллиона молодых ребят. Какая еще школа похвастается таким количеством выпускников! Но почему же с такой стремительностью растет число тех ее учеников, которые сбегают из этой школы, в лучшем случае — в комитеты солдатских матерей, а в худшем — на необъятные российские просторы вместе с прихваченными «калашниковыми»?

Сильными хотят стать миллионы ребят, образованными — сотни. Уметь нанести удар другому человеку могут многие, защитить от удара — другого человека — единицы.

Милитаризация общества необходима прежде всего тем, кто привык командовать, а не убеждать. Контрактная система военной службы опасна тем, кто привык использовать даровую военную силу в своих личных и часто — корыстных интересах.

И теперь к самому главному: генерал без солдат — не генерал. Чем больше в стране генералов, тем больше им нужно солдат. Потому-то и держится в такой тайне количество генералов в России (не только в армии и на флоте — в многочисленных силовых ведомствах, от милиции до ФСБ).

Однажды я спросил у одного высокопоставленного силового чиновника, которого мы пригласили в Комитет по безопасности:

«Вы постоянно говорите, что нет денег! Почему же тогда так много генералов и год от года их становится все больше и больше?» Ответ меня обескуражил: «Но у людей же должна быть перспектива роста! Иначе они же все разбегутся!»

Да, должна, но не до такой же степени! Я был, честно, ошарашен, когда однажды на совещании в Генштабе перед поездкой в Чечню не столько удивился числу людей в лампах, снующих по коридорам, а тому, что размер моей головы и ног (для того, чтобы приготовить камуфляж) в перерыве совещания выяснял человек с генерал-майорскими погонами — хозяйственная операция, достойная, в лучшем случае, сержанта.

Когда в ответ на вопросы о том, почему же в армии не прекращаются дедовщина и прочие издевательства, почему молодежь бежит из этой армейской школы, ответ военных одинаков до издевательства: какое общество — такая и армия.

Но только надо добавить: стремительный рост генеральской армии в стране (говорят, что в армии это началось при Грачеве, в МВД — при Рушайло: пример Орлова, помощника министра с генерал-лейтенантскими погонами, ныне находящегося в бесперспективном федеральном розыске, — ничего, кроме злости, у простых милицейских работяг не вызывал) отражает всеобщую сегодняшнюю картинку — всевластие все увеличивающегося чиновничества, которое ведет себя как прапорщики в борodatом армейском анекдоте: до обеда думают, что украсть, а после обеда — как вынести.

Но военным чиновникам легче: их поступки можно окутать некой военной или государственной тайной, их подчиненные куда более бессловесные, чем те же, но без солдатской формы.

...Возвратился из Чечни, как обычно после такой командировки, злой и унылый. Иду по Переделкину и вижу, что на строительстве очередного особняка работают солдаты. Позвал старшего — им оказался молоденький лейтенант; представился, спросил, что за военную базу они строят в доселе тихом писательском поселке. «Дачу... — растерянно ответил лейтенант. — По приказу полковника...» — назвал он какую-то фамилию. И тогда, сам себе удивляясь, я приказал начальственным голосом: «Буду возвращаться — чтобы вас на этом новом объекте не было!».

Действительно, когда шел обратно по нашей лесной дороге, воины строим выходили с этого очередного генеральского объекта. Правда, спустя несколько дней я увидел их снова: те же лица, которые я успел запомнить, тот же лейтенант. Но все уже — в каком-то гражданском тряпье.

Таких примеров — множество. Потому-то многочисленная рать генералов будет делать все, чтобы военная реформа захлебнулась, как безоблачная мечта детства. Но и не только поэтому.

Мой товарищ, уже вторую войну честно и мужественно тянущий свою армейскую лямку в Чечне, рассказал мне совсем недавно: «Едем на бэтээре — натываемся на левую нефтяную скважину. Честно скажу: хотели у них отнять бак с маслом. Вдруг подлетает другой бэтээр: «Мы — из ФСБ. Вы что, с ума сошли?! Это личная скважина Казанцева. Вон отсюда!»

Возможно, именем полпреда по Южному округу просто прикрывались какие-нибудь другие начальники. Но помню, как меня спросил командующий Приволжским округом внутренних войск, с которым случайно пересеклись в Гудермесе: «Объясните, почему мои ребята заняты здесь на охране нефтяных скважин Кадырова?» Об этой личной, персональной, нефти для разного рода начальников в Чечне знают все, от мала до велика. Потому-то ни один бензовоз не был взорван на чеченских дорогах. Да и война не кончается (по крайней мере, по одной из причин), пока чиновники и генералы на денежном довольствии войны.

Один новоиспеченный генерал как-то пожаловался мне: «А папаху не выдали. Говорят, уже нет шерсти для папах». Потому-то не удивлюсь, если овец для генеральских папах будут закупать в Австралии, хотя и не исключаю, что за австралийских будут выдавать доморощенных: хитростей у наших чиновников, и военных в том числе, больше некуда. Но армейские, повторяю, куда больше защищены...

Потому-то генеральский корпус России — главный противник военной реформы: с кем же они тогда останутся? Они будут и дальше держать оборону. А сто тысяч боеспособных как-нибудь наберут...

«Новая газета» № 30, 28.04.2003

ДЕЛО О «ТРЕХ КИТАХ»: СУДЬЕ УГРОЖАЮТ, ПРОКУРОРА ИЗОЛИРОВАЛИ, СВИДЕТЕЛЯ УБИЛИ

Несмотря на то, что дело находится под личным контролем президента

Дело о «Трех китах» — знаковое для Президента.

Да, говорю о Владимире Путине.

Он, как и его предшественник Борис Ельцин, не раз брал расследование громких дел под свой личный контроль (правда, чем этот «контроль» заканчивался, всем хорошо известно). Но в деле о «Трех китах», сопровождающем все три года его президентства, он пошел дальше ничего не значащих слов об «особом контроле»: назначил независимого прокурора для расследования дела — Владимира Лоскутова, по мнению газеты «Известия», своего петербургского приятеля еще со студенческих времен. И что? Да ничего. Ни-че-го!

Вечером в прошедший вторник — очередная серия о «Трех китах».

В кого стрелял киллер, проникший сквозь охраняемый, как форт, военный госпиталь им. Бурденко, поднявшийся на четвертый этаж нейрохирургического отделения, открывший дверь палаты и дважды нажавший на курок пистолета с глушителем?

Очередная жертва очередного убийного заказа — не политик федерального или даже регионального уровня. Капитан первого ранга в отставке? Да мало ли их таких, отставных! Бизнесмен? Что, мало стреляют в бизнесменов? И даже сами экзотические обстоятельства убийства — больничная палата, вечер, закрытый военный госпиталь (просто кадры из очередного криминального сериала!) — если и могут удивить, то какого-нибудь московского гостя из тихого швейцарского кантона, с трудом осваивающего занимательное русское слово «бес-пре-дел».

Но сообщение об убийстве 43-летнего президента ассоциации «Мебельный бизнес» (и бывшего морского капитана) Сергея Переверзева уже во вторник вечером попало на ленты всех информационных агентств, а во все последующие дни прошедшей недели — на первые полосы газет и в выпуски теленовостей.

Нет, не рядовое событие российской жизни — убийство Сергея Переверзева. Над ним, как неоновая реклама на вечернем Можайском шоссе, зловеще просияло: «Три кита».

4 июня Сергей Переверзев должен был выступить в качестве свидетеля защиты на судебном процессе против сотрудников Государственного таможенного комитета Волкова и Файзулина, обвиняемых владельцем «Трех китов» Сергеем Зуевым в злоупотреблении служебным положением. 2 апреля в интервью «МК» Переверзев открыто говорит об угрозе собственной безопасности. 14 мая он попадает в автокатастрофу на Кутузовском проспекте, в которой один человек погиб и трое, включая Сергея Переверзева, были ранены. Переверзев оказывается в военном госпитале. Во вторник 27 мая, в 21.30, — выстрелы в больничной палате.

Одновременно судья, который должен был вести это дело, получает записку следующего содержания (орфография и пунктуация сохранены) — как видно из текста, уже не первую:

«Уважаемый Сергей Энгеревич!

Похоже у Вас очень крепкие нервы либо Вы не получили первого письма.

Можете считать это письмо угрозой, но, поверьте, ее легко претворить в жизнь.

Вы и только Вы будете решать — быть Вашему сыну с Вами рядом, либо сидеть ему на цепи в чеченском подвале, откуда выйти он вряд ли сможет, а если это и станет возможным, то инвалидная коляска до конца его дней ему будет обеспечена.

Не принимайте ненужных и неуместных решений по делу ГТК — ТРИ КИТА.

Очень хочется надеяться, что Вы сможете принять правильное решение и сделаете нужные выводы».

Может, в записке намек на то, чтобы таможенники были оправданы? Не думаю, убежден, что нет: наоборот, осуждены!

Ведь точно такая же атака была предпринята на следователя по особо важным делам Следственного комитета МВД РФ Павла Зайцева: чтобы забылось дело о многомиллионных хищениях владельцев «Трех китов», Генпрокуратура возбудила дело на следователя, который это дело вел. И даже когда Мосгорсуд полностью оправдал Зайцева, Верховный суд — по протесту Генпрокуратуры — отменил этот оправдательный приговор, причем о том, что отменит, мне было известно за четыре дня до вынесения приговора...

Пишу все это — и чувствую себя студентом-двоечником, вызубрившим одну шпаргалку! Сколько же можно писать про одно и то же! Про этих чертовых «Трех китов», про тот спрут из бандитов и чиновников, соединившихся вокруг столов да стульев (кого там только нет: от чеченских и солнцевских бандитов до прокурорских, фээсбэшных и милицейских начальников). Про то, что за обыкновенными столами и стульями — многомиллионные интересы мафиозных структур от России до Германии, Италии, Америки.

Про роль зловещего серого кардинала Генпрокуратуры Ю. Бирюкова, в который раз — и которое уже громкое дело! — разваливающего на глазах ошалевшей от подобной наглости российской общественности (3 июня Комиссия Госдумы по борьбе с коррупцией специально соберется, чтобы обсудить объемное досье на Бирюкова и его коллегу по Генпрокуратуре В. Колмогорова).

Про исчезающие документы из уголовного дела, про бесконечные угрозы следователям, судьям и депутатам. Наконец, про беспрецедентное убийство в полутемной палате закрытого военного госпиталя...

Но приходится, приходится вновь и вновь говорить об этом (потому-то мы снова напоминаем сегодня хронику всех событий вокруг «Трех китов», которую ведет «Новая газета»).

Это не история о столах и стульях, это другая, совсем другая история, напрямую указывающая на то, в каком пространстве жизни, современной истории, избранного президента и парламента и назначенных чиновников оказалась Россия.

«Три кита» — знаковое дело для нашего времени! Знаковое для Госдумы: Комитет по безопасности посвятил ему целое заседание, а сама Дума направила десятки писем в адрес Генпрокуратуры. Знаковое для Европы и Америки: там, у них, где происходят аресты западных партнеров «Трех китов», все еще безуспешно ждут

ответов на свои следственные поручения от наших МВД и Генпрокуратуры. Знаковое для нашего правосудия — только не повторяйте мне все эти сказки про независимость судей и про то, что «только суд может назвать человека виновным»: пока дождешься этого настоящего суда, документы уголовного дела будут уничтожены, свидетели — запуганы или убиты, а сами следователи — или осуждены, или уйдут, отчаявшись пробить эту стену. Есть дело Зайцева, есть дело таможенников, а куда же делось дело о многомиллионной контрабанде?

Доходит до анекдота! К независимому президентскому прокурору Лоскутову так и не попало письмо из Германии от представителя криминальной полиции Германии в Москве Франка Хельмута, в котором прямо названы липовые немецкие фирмы, созданные тем же Зуевым; названы фамилии тех, в том числе и самого Зуева, кого подозревают в отмывании денег и создании преступного синдиката; сообщено о том, что в Италии уже произведены аресты по делу о «Трех китах», что там, в Германии, готовы помочь российским коллегам и сами, в свою очередь, ждут помощи от коллег российских!

Нет у него этого письма, не дошло, потерялось, испарилось в недрах Генпрокуратуры. Могу передать ему копию, да будет ли толк? И не в этом дело! Что же во власти избранного Россией Президента? Пробить бестелефонной старушке телефонный номер? Сказануть что-нибудь красивое по-немецки? Взлететь на истребителе?

«Кто он, мистер Путин?». Помню, сколько раз мне самому приходилось слышать этот вопрос от своих зарубежных коллег тогда, когда он вдруг неожиданно возник на вершине российской власти.

Прошло три года. Я до сих пор не могу найти точного ответа на этот вопрос.

Дважды за эти годы я обращался к Президенту с личными письмами, касающимися, поверьте, важных, государственных вопросов, — и дважды мне приходилось повторять одну и ту же фразу: «Понимаю ваше желание создать команду, но, мне кажется, вокруг вас собирается стая. А под стайей Россия уже устала жить».

Дважды я получал в ответ ничего не значащие отписки от кремлевских клерков. Одно из этих писем было, кстати, именно о «Трех китах» и судьбе Павла Зайцева...

...Следователи, ведущие дело об убийстве Сергея Переверзева, предполагают, что киллер смог проникнуть на территорию строго охраняемого военного госпиталя со двора морга. Интересно...

Мне тоже все чаще и чаще кажется, что те, из морга, но абсолютно живые и абсолютно невредимые, задушат нас всех в своих «жарких» объятиях именно в то время, когда Президент будет устанавливать телефон очередной осчастливленной им старушке. А развалины домов будут прикрывать изображениями тех же, но сияющих будущих строений.

Уже третий год наблюдаем за развитием этого контрабандного дела. А края не видно. Напомним о том, как развивались события:

2001 год. «Новая газета» № 51, 55

Есть версии, что к мебельному скандалу причастны руководители МВД, ФСБ и Государственного таможенного комитета (ГТК). Сам факт контрабанды всплывает

из-за межведомственного конфликта: по одну сторону баррикад — МВД и ГТК, по другую — Генпрокуратура. Возникают фамилии людей из ФСБ...

2002 год. «Новая газета» № 12

В Комитет по безопасности Госдумы пришел замгенпрокурора Колмогоров и стал убеждать депутатов, что дело о контрабанде расследовали с многочисленными нарушениями прав человека. Тогда же следователь Зайцев, который вел дело «Трех китов», впервые сообщил, что на него оказывают давление, а прокуроры делают все возможное, чтобы прикрыть расследование. После того как Генпрокуратура забрала дело из Следственного комитета МВД, от пары сотен томов осталось только 20. Остальные «потерялись»...

«Новая газета» № 58

Президент Путин взял дело о контрабанде под свой личный контроль. Стало очевидным, что ситуация, в которой столкнулись интересы почти всех российских силовых структур, не так проста, как ее пытаются представить.

«Новая газета» № 66

Контрабанда — всего лишь часть процесса по отмыванию денег, имеющего отношение к истории с «Бэнк оф Нью-Йорк» и, что удивительно, к российским организациям системы «Рособоронэкспорта», которые занимаются торговлей оружием.

2003 год. «Новая газета» № 16

Следователя Зайцева, которого преследовали прокуроры, недавно оправдали в Мосгорсуде. Но Верховный суд по прокурорскому настоянию отменил оправдательный приговор. Создалось такое ощущение, что главная цель процесса — скомпрометировать само разбирательство, назвать его несостоятельным и напроочь забыть о связях с «Бэнк оф Нью-Йорк» и оружейными делами...

«Новая газета» № 31

Из Германии в Россию поступили документы о том, что главный фигурант дела «Бэнк оф Нью-Йорк» Питер Берлин и его фирма «Бенекс» посылали 4 млн 670 тыс. долларов немецкой фирме. А она, в свою очередь, участвовала в финансировании строительства торговых центров «Гранд» и «Три кита». Сюрприз для Генпрокуратуры, которая не видит подобных связей.

«Новая газета» №39, 02.06.2003

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
(ГОД БЕЗ ЩЕКОЧИХИНА)

СЕКРЕТНАЯ СМЕРТЬ*

Сразу скажем: за год после трагедии установить всю правду о смерти Юрия Щекочихина не удалось.

Перед вами — отчет об исследовании, проведенном нами в России, США, Англии, Бельгии и Германии.

Ведущие профессора-медики в Европе, специальные службы ряда ведущих государств помогли нам в работе. Вы найдете здесь почти все полученные нами данные.

Мы пока не можем с фактами в руках ответить на самый главный вопрос, волнующий общество: депутат и журналист Щекочихин умер своей смертью или его убили?

Есть официальный диагноз стремительной болезни Юрия. Синдром Лайелла. Тяжелейший аллергический синдром, поражающий иммунную систему и внутренние органы.

Есть добросовестная и ответственная работа врачей Центральной клинической больницы — они реально использовали весь ресурс современной медицины, чтобы спасти Щекочихина.

Есть, в конце концов, заключение о его смерти: как утверждают независимые эксперты, привлеченные нами, — шедевр научно-медицинского жанра. С точной диагностикой, драматичной битвой врачей с болезнью.

Почему же, несмотря на это, мы не доверились официальной точке зрения и предприняли свое 12-месячное исследование?

Вот почему:

1. Так и не выявлен «агент» (медицинский термин) — то есть тот самый токсин, который вызвал болезнь.

2. Заключение о смерти Щекочихина засекретили. Его не отдали даже по запросу родных, сославшись на врачебную тайну.

3. В частном порядке, шепотом, некоторые из занимавшихся Щекочихиным врачей прямо говорили: отравлен. Ищите следы тяжелых металлов.

* Эта и все другие статьи раздела «Продолжение следует... (Год без Щекочихина)» были опубликованы в «Новой газете» №46, 1.07.2004.

4. В нашей просьбе — еще при живом Щекочихине — отдать нам хотя бы несколько его волосков для срочного анализа на предмет определения отравляющего вещества было отказано.

Завеса секретности и заставила нас тревожить Юрину память. Мы собрали что могли: частицы кожи, бритвенный прибор, некоторые вещества, кусок простыни. Этого оказалось для полноценного исследования мало. Но вы прочтете мнения британских исследователей: если бы не уникальная секретность, можно исследовать оставшиеся в больнице ткани. И окончательно ответить на этот вопрос: умер — или убит?

Роман ШЛЕЙНОВ

ОН БЫЛ НЕРАЗБОРЧИВ В ВЫБОРЕ ВРАГОВ

Всю свою жизнь Юрий Щекочихин раскрывал важные для общества секреты российской власти, и она сделала тайну из его смерти

Летом 2003-го, незадолго до смерти, Юрий Щекочихин в своем думском кабинете встречался с представителями американских правоохранительных органов. Мне довелось участвовать в той беседе. Говорили, в частности, о российской организованной преступности, о ее больших связях с государственной элитой, о расследованиях случаев отмыwania российских денег в Европе и США...

Американцы спросили Юрия Петровича: «С кем из ваших правоохранительных ведомств можно иметь дело, чья работа будет неангажированной и наиболее результативной?». Щекочихин стал перебирать наших правоохранителей, и оказалось, что не с кем. Доверять им можно только время от времени. И то если расследование не затрагивает начальственные интересы, если генералам, которые вынуждены быть политиками, по каким-то кулуарным мотивам выгодно более или менее объективное разбирательство, если....

В общем, множество разных «если», но даже соблюдение всех этих условий не означает, что в следующую минуту ветер не переменится и вчерашние попутчики вдруг не дадут задний ход. Юрий Щекочихин так и ответил: необходимо лавировать между рифами, увидеть которые из-за границы крайне сложно.

Когда речь зашла о деле «Бэнк оф Нью-Йорк», поразил американский спецгент (по-нашему — оперативный сотрудник): виновато улыбаясь, он сказал примерно следующее: «Извините, я не могу обсуждать этот вопрос. Со мной учился один из фигурантов этого дела (они не родственники, не друзья, даже не знако-

мые! — Р. Ш.). Когда я узнал об этом, тут же подал рапорт, чтобы меня отстранили...».

Их оперативники отстраняют сами себя, когда чувствуют хоть какую-то, пусть даже не самую серьезную угрозу для объективного расследования. Наших — могут отстранить и уволить, если они вовремя не остановят разбирательство.

Для сравнения: совсем недавно говорили с представителем российской спецслужбы, который сокрушался по поводу одной крупной государственной птицы, замешанной в отмывании денег: «Есть все материалы, даже зарубежные счета, но ко мне прибежал генерал, мой начальник, и слезно просил: отстань ты от него, завтра же всех нас с работы вышвырнут!».

В таких условиях любое расследование, затрагивающее западные счета, недвижимость, странные связи и бизнес наших нынешних и прежних высоких руководителей, будет гарантированно провалено. Зарубежные правоохранительные органы сталкивались с этим не раз. А Щекочихин был одним из немногих, чуть ли не единственным из огромной российской государственной машины, кому это было безразлично и кому можно было доверять.

Его репутация журналиста и политика безупречна. А статус международного эксперта по проблеме оргпреступности, зампреда Комитета Госдумы по безопасности, члена Комиссии по борьбе с коррупцией иногда позволял инициировать разбирательства на Западе в обход российских прокуроров.

Он разрушал то, что входит в традиционное российское представление о священности власти: привилегии на единоличные, необратимые, бесконтрольные и необсуждаемые решения. И к нему мимо этой самой власти, большой и малой, шли достойные люди самых разных чинов и званий из ФСБ, МВД, армии и всех мыслимых структур — передавали массу сведений, приносили бумаги...

На уровне неоспоримых документов, а не предположений Щекочихин пытался понять, кто стоял у истоков российской коррупции, выявить давние связи и коррупционные обязательства нынешних первых лиц государства. Этим был обусловлен его интерес к тому, как сотрудников КГБ использовали в качестве переправы для финансовых ресурсов в Европу (публикация о так называемых «ПГБ»), и расследованию детективного агентства «Кролл» о выводе денег и активов из страны в период распада СССР. Напомним: за отчет «Кролла» с цифрами и персоналиями из российского бюджета заплатили полтора миллиона долларов, и он бесследно исчез в период президентства Ельцина и премьерства Гайдара...

Щекочихин вылетел в Испанию, когда там в ходе специальной операции обнаружили миллионы долларов российского криминалитета и хотели вернуть их в российский бюджет. Проблема заключалась в том, что наши чиновники долго не признавались, не желали возвращать эти деньги.

Вообще на Западе вынуждены закрывать многие дела по невероятным суммам, недвижимости, бизнесу российских чиновников и лидеров оргпреступных

сообществ, поскольку из России часто сообщают, что все в порядке, или попросту не иницируют разбирательства. А если нет официального расследования в стране, откуда пришли подозрительные деньги и лица, сделать что-либо за ее пределами крайне сложно.

Именно поэтому зарубежные правоохранительные структуры обращались к Щекочихину за консультациями и делились с ним материалами о самых гиблых в нынешних российских условиях делах.

Летом 2003-го во время такой встречи Юрию Петровичу предложили поехать в США для более подробного обсуждения нескольких расследований (я должен был сопровождать его в этой поездке). Речь, в частности, шла об известном уголовном деле «Трех китов» и разбирательстве насчет американских фирм, связанных с бывшим главой Минатома РФ Евгением Адамовым.

В случае с Адамовым (которому «Новая» посвятила множество публикаций) Комиссия Госдумы по борьбе с коррупцией, собрав и обобщив большой документальный материал, столкнулась с упорным нежеланием российской Генпрокуратуры возбуждать уголовное дело.

В своей справке думская комиссия писала: *«На конец 1999 года денежные средства корпорации «Omeqa, Ltd.» (фирма в США. — Р. Ш.) составляли 5 080 000 долларов США, из которых Адамову Е. О. принадлежали 3 150 000 долларов <...>, Каушанскому М. (партнеру Евгения Адамова по американскому бизнесу. — Р. Ш.) — 410 000 долларов. <...>*

Корпорацией «Omeqa, Ltd.» заключены контракты (со структурами Минатома РФ. — Р. Ш.) на оказание консультационных услуг, в соответствии с каждым из которых ей ежемесячно выплачивается по 7 500 долларов США. <...>

Финансовые проводки «Omeqa, Ltd.» и ряда других фирм осуществляются фирмой «Agloski International Ltd.», зарегистрированной в Ницце (Франция), через свой счет № 594779-00003 в «Banque Pashie Monaco». С указанного счета регулярно переводятся крупные валютные средства (до 250 тыс. долларов США) на личные счета неустановленных лиц в других иностранных банках».

Не добившись толку от наших прокуроров, Юрий Щекочихин инициировал разбирательство в США, касающееся связанных с Адамовым фирм, их финансовых проводок, партнера Евгения Адамова по американскому бизнесу Марка Каушанского и еще ряда лиц в России и Америке. Насколько нам известно, эту работу ведет ФБР, и она пока не завершена.

Что касается России, тут комиссия была вынуждена направить свои материалы непосредственно президенту Путину, после чего Адамов оставил свой пост по собственному желанию и некоторое время работал советником премьера Касьянова.

Собственно, фигура Адамова во всех этих разбирательствах была непринципиальна. Пример бывшего министра обозначил проблему финансовой непрозрачности Минатома. Крупные международные сделки министерства — известный две-

надцатимиллиардный валютный контракт ВОУ-НОУ (высоко-обогащенный уран — низкообогащенный уран, по которому американцы обязались переработать наш военный уран в тот, что годится для атомных электростанций) и контракты на ввоз в Россию зарубежного отработанного ядерного топлива — были и остаются для общества тайной за семью печатями. Отставка Адамова тут ничего не изменила, тем более что глубже разбираться в происходящем, несмотря на призывы Комиссии по борьбе с коррупцией, никто не пожелал.

Дело «Трех китов» вовлекло в свою орбиту критическую массу чиновников и столкнуло четыре могучих российских ведомства: ФСБ, Государственный таможенный комитет (ГТК), МВД и Генпрокуратуру. Президент взял это дело под свой личный контроль, что, впрочем, результата не принесло: прошло несколько лет, а обвинение никому не предъявлено. Судят лишь следователя Следственного комитета МВД РФ Павла Зайцева, который начинал это разбирательство и у которого Генпрокуратура забрала дело, пытаясь его закрыть.

Благодаря Юрию Щекочихину и позиции Комитета Госдумы по безопасности похоронить дело «Трех китов» не удалось. На сайте «Новой» есть стенограмма закрытого заседания, на котором замгенпрокурора Колмогоров (теперь уже бывший) пытался убедить депутатов, что дело закрывали по гуманным соображениям, как будто из-за нарушений прав человека... Депутатов он не убедил.

Чем в действительности было мотивировано желание замять расследование, выяснилось позже, когда Щекочихину удалось получить материалы из немецких источников о неопровержимых связях «трехкитового» дела со скандальным отмыванием денег через «Бэнк оф Нью-Йорк». Это нашло подтверждение и в ходе итальянской полицейской операции «Паутина», на которую, в частности, ссылаются немецкие источники. Вот фрагмент документа БКА — Федерального ведомства криминальной полиции Германии (полностью — на сайте «Новой»):

«Прокуратурой г. Франкфурт/Майн в 1999 г. было начато следственное дело в отношении руководства фирм BENEX WORLD WIDE Inc. (адрес тот же, что и у фирм BECS и BENEX) по подозрению в отмывании денег (это фирмы Питера Берлина — основного обвиняемого по делу «Бэнк оф Нью-Йорк». — **Р. Ш.**). Совместная следственная группа БКА/таможенного ведомства при БКА/Висбаден начала уголовное преследование <...>.

ФБР (FBI, Field Office New York) начало расследование незаконных банковских операций в особо крупных размерах (миллиарды), проводимых в Нью-Йорке руководителями фирмы BENEX <...>. В ходе следствия было установлено, что через фирмы в Нью-Йорке до сентября 1999 г. был проведен ряд денежных трансферов, в частности в Германию <...>.

В общей сложности в период с 07.10.98 по 30.12.99 на счет фирмы MAXEX GmbH (фирма фигурирует в деле «Трех китов». — **Р. Ш.**) в сберкассе г. Kitzingen фирмой BENEX было переведено 4.670.000 долл. США. Единоличным директором и пай-

щиком в то время являлся Уве Пфайффле (компаньон главного героя «трехкитового» дела Сергея Зуева. — **Р. Ш.**). Данные зачисления на счет фирмы являлись предметом следствия Объединенной группы по расследованиям Баварии <...>.

По имеющейся у нас информации, правоохранительные органы Италии 26.06.02 завершили свои расследования в отношении фирм BECS и BENEX по данному делу (операция «Паутина»), производя ряд арестов.

Фирма INTER TRADE GmbH/Германия и фирма STAR-MOBEL-EINKAUFЕ GmbH/Германия, согласно сведениям итальянской таможни, проводили поставки мебели из Италии в Москву. Эти поставки являлись в свое время предметом российского следствия. Российское следствие, согласно международно-следственному поручению, проводилось Государственным таможенным комитетом и было направлено в отношении лиц: Сергей Зуев, Вольф Пфайффле, Уве Пфайффле, которые осуществляли на основании фальшивых таможенных документов ввоз и торговлю мебелью через торговые центры «Гранд»/МО, Химки, Бутаково, 4 и «Три кита», МО, Одинцовский район, 19 км Минского шоссе <...>.

Строительство указанных центров официально указывалось назначением денежных трансферов (многомиллионных сумм в USD) <...>. Проведенные расследования показали, что вышеназванными лицами была создана разветвленная сеть фирм, через которые осуществлялись сомнительного рода денежные переводы многомиллионных сумм. Назначением платежа указывалось: сделки с недвижимостью в Москве и торговля мебелью.

Президиум полиции Унтерфранкен (Управление по борьбе с ОП) намерен начать следственное дело в отношении гр-н Пфайффле и др.».

А вот фрагмент документа Налоговой полиции г. Крайлсхайм:

«...Установлено, что долларовый счет фирмы («Интер Дойс» — она красной нитью проходит через все дело «Трех китов», Сергей Зуев, как пишут немцы, участвовал в 95% ее прибылей и убытков. — **Р. Ш.**) в банке Райфайзенбанк в городе Вальдшафф-Хайгенбрюкен за номером <...> ведется как пересылочный корреспондирующий счет. Фирме перечисляются суммы в долларах в размере до 230 000 со всего мира.

Установлены: СИНЕКС Банк (Сидней, Австралия), ООО «СУТРОК» (Никосия, Кипр), «БЕКС ИНТЕРНЕЙШНЛ» (Нью-Йорк, США). Большинство поступлений на этот счет переводятся в банк «ЗЕНИТ» г. Москва. Часть суммы идет в счет оплаты строительных работ (мебельный торговый дом в Москве) (тогда известные мебельные центры еще только строились, БЕКС и БЕНЕКС, напомним, — фирмы основного фигуранта дела об отмывании денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» Питера Берлина. — **Р. Ш.**). <...>

Существует еще и фирма ООО «Интер-Трейд Варенхандельс» <...>. Эта фирма осуществляет поставку товаров в мебельный магазин в Москве <...>. Движение финансовых средств, зафиксированное во время проверки фирмы, вызывает подозрение в том, что таким образом пытаются завуалировать их происхождение».

Эти бумаги можно цитировать бесконечно. Но для Генпрокуратуры РФ немецких документов недостаточно, чтобы решиться на возбуждение отдельного уголов-

ного дела хотя бы по факту отмывания денег. Более того, первый замгенпрокурора Бирюков писал: «Уголовное дело прекращено <...> за отсутствием состава преступления. Решение принято законно и обоснованно». Каким уникальным зрением нужно обладать, чтобы не видеть такого состава?!

Все это, а также странные связи дела «Трех китов» с торговлей российским оружием и администрацией президента РФ (об этом мы не раз сообщали в «Новой газете») планировалось обсуждать в ходе поездки Юрия Щекочихина в США.

Раз уж Генпрокуратура России не желает возбуждать дело об отмывании сотен миллионов долларов и совершенно не стремится послать прямой и недвусмысленный запрос в США о происхождении подозрительных денег (потраченных на «Гранд», «Три кита», московскую недвижимость, мебель и проч.), другого выхода не было. Юрий Петрович, как и в случае с фирмами Адамова, решил попытаться инициировать процесс из Америки. Уверен, американцам было что добавить к этому массиву информации...

Как вы знаете, поездка в США не состоялась, Щекочихин умер от внезапной болезни. И даже его родственники до сих пор не могут получить исчерпывающей информации на этот счет. Государство (в лице кремлевской больницы) сделало из этого тайну.

Для однозначных выводов пока нет данных, но так уж получилось, что смерть Юрия Щекочихина многих избавила от неудобных вопросов и успокоила тех, кого бы он никогда не обошел вниманием. Щекочихин не вписывался в официальный государственный пейзаж. И расследования, на которых он настаивал, никак не соответствовали официальной линии. Можно ли было замахиваться на Генпрокуратуру, когда она именно в таком ее состоянии со всеми тяжкими грехами готовилась безоговорочно исполнять роль в давно намеченном государственном спектакле.

А ведь в том же деле «Трех китов» всплыли прослушки телефонных переговоров, в которых открыто говорили, какие суммы нужно принести руководящим прокурорам, чтобы избавиться от проблем. Упоминали начальников управлений и даже одного из нынешних заместителей генпрокурора... (эти беседы мы также публиковали).

Магнитные носители этих разговоров давно уже уничтожены, протоколы прослушек изъяты и доставлены в Генпрокуратуру. Никакого служебного разбирательства не было — мелких сошек из тех, кто особенно отличился, отпустили с миром, они тихо уволились. Крупные — остались на своих постах.

Еще раз подчеркнем: именно такая послушная и ко всему готовая Генпрокуратура была востребована высшим государственным менеджментом. А Щекочихин со свойственным ему идеализмом требовал объективных расследований. И хотя его голос не был решающим, он сильно менял общую картину. Если учитывать еще и связи на Западе, этот тихий голос мог привести к непредсказуемым и далеко идущим последствиям.

Незавидная участь многих громких разбирательств, на которые опускалась тень

Генпрокуратуры РФ, заставила Комиссию Госдумы по борьбе с коррупцией, куда входил Юрий Щекочихин, требовать от прокуроров отчета о проделанной работе. Бесславный финал дела «Трех китов», дела бывшего председателя чеченского правительства Бабича (осевшего потом в министерстве Германа Грефа), дела министра транспорта Франка, дела относительно бывшего главы Минатома РФ Адамова не устраивал депутатов. Впрочем, как и формальные прокурорские ответы о том, что все забыто и прекращено «законно и обоснованно».

Еще в конце 2001 года между думской комиссией и Генпрокуратурой начались переговоры о создании совместных рабочих групп. То есть парламентарии все же пытались сделать так, чтобы прокуроров контролировали не только из Кремля, и даже встретили определенное понимание. В материалах комиссии есть такая внутренняя справка:

«Являясь альтернативным принятому в ходе <...> заседания за основу проекта обращения Комиссии Государственной Думы по борьбе с коррупцией к Президенту Российской Федерации В. В. Путину о несоответствии первого заместителя Генерального прокурора Бирюкова Ю. С. занимаемой должности, решение о создании рабочих групп было активно поддержано руководством Генеральной прокуратуры РФ <...>. В адрес Генерального прокурора РФ Устинова В. В. было направлено письмо (исх. № 4.4-7/479) с подробным изложением выявленных недостатков в деятельности органов прокуратуры (все по тем же перечисленным делам. — **Р. Ш.**) <...>. Одновременно в Генеральную прокуратуру РФ вновь были направлены справки и аналитические материалы комиссии по всем вышеуказанным вопросам».

Дальше идет хронология совместных с прокурорами действий: в декабре 2001-го — январе 2002-го составили рабочие группы, но уже к февралю 2002-го выяснили, что проводить проверки в прокуратуре будут те же лица, к кому возникли претензии... А к 1 марта 2002 года парламентарии получили все тот же ответ о «законности и обоснованности».

9 апреля 2002 года рабочая группа думской комиссии встретилась с генпрокурором Устиновым, первым замгенпрокурора Бирюковым и Колесниковым (в то время — советником генерального). Устинову вручили список претензий и обсудили с ним детали проверки обоснованности прокурорских решений. Генпрокурор назначил своего первого зама Бирюкова обеспечивать взаимодействие рабочих групп, предоставлять комиссии справки и документы...

20 мая 2002 года пришел ответ из Генпрокуратуры — взаимодействие в предложенном комиссией виде нецелесообразно...

19 сентября 2002 года Владимир Устинов пригласил к себе Юрия Щекочихина, который входил в думскую комиссию. Как рассказывал Юрий Петрович, генпрокурор отстаивал своего первого заместителя Бирюкова, пытался убедить, что последний не так уж плох... Убедить Щекочихина не удалось. Вместо Бирюкова ответственным за взаимодействие с комиссией назначили Колесникова — к тому периоду уже замгенпрокурора.

Единственным и уже проверенным действенным оружием, которым распола-

гала комиссия, было прямое обращение к президенту. Напомним: после такого обращения министр РФ по атомной энергии Адамов ушел со своего поста.

Полный провал совместной работы Комиссии по борьбе с коррупцией и Генпрокуратуры РФ, невозможность добиться от нее хоть какого-то отчета перед представителями общества и плачевное состояние громких уголовных дел вылились в справку «О ненадлежащем отношении к исполнению служебных обязанностей заместителей Генерального прокурора Бирюкова Ю. С. и Колмогорова В. В». (документ — на сайте «Новой»).

Такая справка была подготовлена. А когда собрались официально послать ее президенту, начались чудеса. Решительную меру поддержал один Щекочихин, и хотя в кулуарах с ним соглашались все, рассмотрение вопроса откладывали на более поздний срок.

Летом Юрия Петровича не стало. Депутаты так и не решились отправить перво-му лицу материал о руководстве Генпрокуратуры и проваленных уголовных делах.

А ведь последние месяцы старой Думы и комиссии с ее прежними, пусть небольшими, но все же серьезными возможностями могли закончиться печально и для чиновников Генпрокуратуры, и для многочисленных героев вялотекущих уголовных дел с их равно широкими связями во власти и криминалитете. Щекочихин не стал бы молчать и сделал бы все мыслимое и немислимое для логического завершения многолетней работы. Не в России, так за рубежом. По странному совпадению как раз в этот решающий момент, когда были исчерпаны все угрозы (был даже звонок с обещанием расправиться с сыном) и попытки договориться, Щекочихина не стало. Последние угрозы он воспринимал всерьез, поскольку об их серьезности говорили друзья из спецслужб.

Во время передела финансовых империй, в котором представители власти участвуют с такой очевидностью, не может быть и речи о расследовании коррупционных дел в высших государственных сферах.

P.S. Комиссия Госдумы по борьбе с коррупцией — теперь уже исключительно стерильное образование. Как планируют, комиссия будет проверять законы на коррупционность — дело, безусловно, нужное, но требовать отчета от Генпрокуратуры, как, впрочем, и осуществлять парламентский контроль за другими ветвями исполнительной власти, она уже не сможет.

Перечисленные уголовные дела (которыми интересовались Юрий Щекочихин и другие члены комиссии) — в прежнем состоянии.

Замгенпрокурора Колмогоров отправился в отставку, его наградили. В остальном Генпрокуратура работает в прежнем составе. И с прежним энтузиазмом (как мы об этом уже сообщали) закрывает все новые уголовные дела об отмывании денег.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА

Федеральное собрание Российской Федерации
Государственная Дума
Комитет по безопасности
Генеральному прокурору Российской Федерации В.В. Устинову

Уважаемый Владимир Васильевич!

По-видимому, Вас уже поставили сегодня в известность о скоропостижной смерти Юрия Петровича Щекочихина — депутата Государственной Думы, моего заместителя по председательству в Комитете по безопасности.

К сожалению, врачам не удалось справиться с крайне быстротечным характером охватившего его заболевания и спасти жизнь этому хорошо известному в нашей стране и за рубежом человеку. Более того, медики так и не установили причины столь бурного течения болезни и последующей смерти, произошедшей от не известного им вещества, обнаруженного в организме покойного и вызвавшего тотальную аллергию (интоксикацию).

В этой связи обращаюсь к Вам по следующим вопросам.

В случае обнаружения признаков о криминальном характере смерти Ю.П. Щекочихина прошу принять меры о своевременном возбуждении уголовного дела.

Хочу также подчеркнуть, что быстротечный уход из жизни такой яркой личности, как Юрий Петрович, вызовет понятный общественный резонанс независимо от действительных обстоятельств его смерти. Ибо последние депутатские и журналистские расследования Ю.П. Щекочихина, как Вам известно, касались крайне острых проблем современной российской жизни и конкретных персоналий.

С уважением

Председатель (подпись)

А.И. Гуров

От редакции «Новой газеты»

На это письмо Александра Гурова — председателя парламентского Комитета по безопасности и фактически третьего человека в правящей партии — Генпрокуратура РФ отреагировала так: проверку по факту смерти Юрия Щекочихина поручили даже не Московской горпрокуратуре, а Кунцевской межрайонной...

Напомним: когда Щекочихин был жив, Владимир Устинов принимал его лично. В критический момент, когда Комиссия Госдумы РФ по борьбе с коррупцией хотела поставить вопрос о ненадлежащем отношении к исполнению служебных обязанностей двух заместителей генпрокурора Бирюкова и Колмогорова, генпрокурор чуть ли не целый час просил Юрия Петровича не поднимать эту тему. Видимо, вопрос о замах был важнее вопроса о Щекочихине.

Сергей СОКОЛОВ
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА

Обстоятельства, которые не могут не вызывать вопросов

Настало время рассказать, как умер Юрий Щекочихин. Год мы не делились этими страшными подробностями. Хотели проверить, докопаться, найти, убедиться сами. Что-то смогли, но большего пока не сумели. Оказалось, что обстоятельства смерти Юрия Щекочихина в Кремлевской больнице засекречены — даже родственникам отказали в какой-либо информации, ссылаясь на «врачебную тайну» (см. документ). И по истечении года бесчисленных разговоров со специалистами, опросов друзей и коллег, экспертиз вопросов стало еще больше. Самый главный из них: был ли все-таки убит заместитель главного редактора «Новой газеты», заместитель председателя Комитета по безопасности Госдумы, член думской Комиссии по борьбе с коррупцией Юрий Петрович Щекочихин?

Сказать «нет» мы не можем — слишком много странностей и недомолвок, косвенных улик и непрямых доказательств, многие из которых пока не требуют публичного оглашения. Уверенно сказать «да» — не можем тоже — не хватает стопроцентных фактов.

Известно, что незадолго до смерти Щекочихину угрожали. Угрожали его семье. Известно, что напали на пороге собственного дома. Известно, что его друзья — сотрудники спецслужб — к этим угрозам отнеслись весьма серьезно.

А еще известно вот что. 16 июня 2003 года, вечером, в Думе Щекочихин почувствовал себя плохо — озноб, ломота во всем теле. Но 17 июня все-таки поехал в Рязань, в служебную командировку: встречи, телеэфир, изматывающая дорога. Состояние ухудшилось — ощущение высокой температуры, лицо горело, упало давление. Вернулся домой разбитым. Сильное покраснение лица. Болели горло и суставы. Таблетки облегчения не приносили.

18 июня врач, вызванный на дом, поставил диагноз — ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция — фактически ангина), удивившись при этом странному «загару» пациента. Вечером на коже появились пузыри, как при ожоге, дыхание стало затрудненным.

19-го стало лучше, а 20-го — совсем плохо: головокружение, боли в животе, рвота желчью, тахикардия. Кожа сходилась клочьями по всему телу. Начали выпадать волосы.

Утром 21 июня Щекочихин был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии. Координация нарушена, но — в сознании. Врачи разводили руками — диагноз им был не ясен: думали вначале — какая-то инфекция. Спустя время определились: синдром Лайелла (см. справку). Но один из крупнейших специалистов по этому заболеванию, приглашенный на консультацию, высказал очень боль-

шие сомнения: «Это не то, хотя лечение симптоматично выбрано верное». (Однако впоследствии, уже после смерти, точка зрения эксперта была изменена.)

Не будем описывать ход болезни — тяжело. Пусть об этом лучше расскажут сами врачи в заключении о смерти (см. ниже), которое, кстати, достать было практически невозможно. Прочитав его, вы, безусловно, присоединитесь к нашим вопросам.

Каковы результаты анализов крови на токсичные вещества, взятые за несколько часов до смерти медиками МВД? В заключении о них ни слова.

Почему ничего не сделано для выяснения причины, вызвавшей столь страшное заболевание? Фраза о «неизвестном агенте» и «неясности происхождения» нас устроить не может. Почему не были сделаны соответствующие исследования после смерти Юрия Щекочихина и почему это пришлось делать нам — друзьям, коллегам и родственникам, которые так и не получили никакого доступа к образцам? Ведь если была интоксикация, о чем четко написано в заключении, то почему не выяснено, что именно послужило ее причиной?

Откуда взялся в организме фенол, который обнаружили при вскрытии?

Почему все документы, связанные с болезнью Щекочихина, оказались засекречены? Ведь их не выдали даже ближайшим родственникам, прикрываясь законом «врачебной тайны», которая, как известно всему миру, не распространяется на детей и родителей умершего.

И наконец. Почему следствие довольствовалось невнятным заключением и не настояло на дополнительных экспертизах?

Кстати, о следствии. Несмотря на обращение председателя Комитета по безопасности Госдумы Александра Гурова непосредственно к генеральному прокурору, расследование было поручено Кунцевской межрайонной прокуратуре (без всякого должного контроля). Расследование закончилось очень быстро на основании написанного врачами — дополнительных лабораторных исследований, более-менее серьезных следственных действий проведено не было. Хотя следователи, в рамках своей компетенции, сделали все возможное, но им даже пройти на территорию Кремлевской больницы было затруднительно.

А ведь погиб не только известный журналист, но и политический деятель, известный всему миру, занимавшийся очень серьезными расследованиями, обладавший суммой информации, составлявшей государственную тайну (о чем давал соответствующую подписку), угрозы которому поступали очень часто.

Так что ответить на вопрос: своей ли смертью умер Юрий Щекочихин, можно будет только в случае проведения независимой экспертизы, только тогда, когда родственники и специалисты получат доступ к медицинской документации.

Р. С. Приводим документы:

Медицинский центр
Управления делами президента
Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА С ПОЛИКЛИНИКОЙ
Щекочихину К.Ю.

Уважаемый Константин Юрьевич!

На Ваше обращение от 21.07.2003 года о возможности ознакомления с историей болезни Ю.П. Щекочихина, а также результатами экспертизы сообщаем следующее.

В соответствии со ст. 61 «Основ законодательства об охране здоровья граждан» информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения при его обследовании и лечении составляют врачебную тайну. Представление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством; при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий.

В соответствии со ст. 52 «Основ законодательства об охране здоровья граждан» судебно-медицинская экспертиза производится экспертом бюро судебно-медицинской экспертизы на основании постановления следователя, прокурора или определения суда. Свое заключение эксперт представляет следователю, вынесшему постановление о назначении экспертизы, или суду.

Производство судебной экспертизы регулируется ст. 195-207 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Статьей 206 УПК РФ определен круг лиц, которым следователем предъявляется заключение эксперта.

Главный врач больницы А.П. Николаев

К ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОМИССИОННОЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
О ПРАВИЛЬНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЩЕКОЧИХИНА ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА, 1950 ГОДА РОЖ-
ДЕНИЯ

Перед экспертизой поставлены следующие вопросы:

- «1. Какова причина смерти гражданина Щекочихина Ю.П.?
2. Какими заболеваниями страдал при жизни Щекочихин Ю.П., имеется ли связь между этими заболеваниями и смертью <...>, связано ли наступление смерти

Щекочихина Ю.П. (развитие у него синдрома Лайелла) с проводимым лечением в ЦКБ УДП РФ?

3. Правильно ли проводилось лечение Щекочихина Ю.П. в ЦКБ по поводу имеющегося у него заболевания?»

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА. Из постановления о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы, вынесенного 25 июля 2003 года следователем Кунцевской межрайонной прокуратуры г. Москвы Самоделкиным А.А., следует: «21 июня 2003 года, в 10 часов 25 минут в ЦКБ МУ УД президента РФ доставлен Щекочихин Ю.П. с направительным диагнозом: ОРВИ, аллергический дерматит неясной этиологии. 03.07.03 года в 02 часа 55 минут Щекочихин Ю.П. скончался в реанимационном отделении вышеуказанного медицинского учреждения». <...>

ИССЛЕДОВАНИЕ

Аллергологический анамнез. Сывороточной болезни, аллергических заболеваний у родственников, реакции на медикаменты, на антибиотики, сульфамидные препараты, анальгетики пиразолонового ряда — нет. Побочных реакций: головокружение, тошнота, повышение температуры тела, рвота, дисбактериоз, реакции на пищевые продукты, химические агенты и косметические средства — нет. <...>

В 1995 и 1997 году был в Чечне, имел контузии, стационарно не обследовался и не лечился. <...>

Температура до 38 град., головная боль, ломота в суставах. Объективно: состояние удовлетворительное. <...> Тоны сердца умеренно приглушены, ритмичные. Диагноз: ОРВИ. <...>

21.06.03 в 9.25 осмотр на дому. Жалобы на повышение температуры тела, покраснение кожи по всей поверхности тела, одышку, слабость, боли в животе, сухость и шелушение кожи. Сегодня и вчера вечером отмечал тошноту, неоднократную рвоту, изжогу. Также отмечается нарастание одышки. Объективно: Состояние средней тяжести. Кожные покровы гиперемированы, шелушение по всей поверхности. <...> Госпитализация в ЦКБ для уточнения диагноза и лечения. <...>

Щекочихин Ю.П. поступил 21.06.03 в 10 час. 25 мин. с диагнозом: Синдром Лайелла, тяжелое течение. Из анамнеза: аллергических заболеваний нет. Аллергические заболевания у родственников нет. Аллергии на антибиотики нет. <...> Аллергии на анестетики, йодосодержащие препараты, витамины группы В, реакции на пищевые продукты, химические агенты, косметические средства нет. Развитие настоящего заболевания: Ухудшение состояния отметил с вечера 17.06, когда появилось чувство жара, жжение по всему кожному покрову (со слов больного — чувство «обожженной кожи»), першение в горле, боли в верхних отделах живота, температура 38 град. В последние дни состояние прогрессивно ухудшалось, появилась одышка, чувство нехватки воздуха, тошнота, эпизодически — рвота, гиперемия, тотальное шелушение кожи по типу «лоскута». <...>

При поступлении в 10.30: Состояние больного тяжелое. <...> Лицо багровое. Тотальная гиперемия кожных покровов с отслойкой эпидермиса. <...> Сознание ясное, контактен, адекватен, ориентирован. Менингеальных и грубых неврологических симптомов нет. <...> С 17.06 состояние ухудшилось, на коже ладоней появились пузыри, на коже туловища, плеч — отслойка эпидермиса, появилась выраженная одышка, эпизодически рвота. <...> В 11.30 консилиум: Пациента срочно перевести в отделение общей реанимации с закреплением за общей аллергологией для проведения интенсивной терапии. <...> Учитывая тяжесть состояния, поражение кожных покровов и слизистых — тотально, рекомендовано нахождение пациента в стерильных условиях. <...>

24.06.03г. <...> Консультация главного токсиколога г. Москвы проф. Остапенко Ю.Н. «...Диагноз токсико-аллергической реакции на неизвестный фармакологический агент (синдром Лайелла) не вызывает сомнения. Теоретически похожую клиническую картину может дать отравление борной кислотой, однако анамнестические данные эту версию полностью исключают».

25.06.03 Состояние остается крайне тяжелым. <...> Элементы почечной недостаточности <...>.

29.06.03 Состояние остается стабильно крайне тяжелым. <...>

30.06.03 В 7.00 сознание отсутствует. <...> Появились признаки отека головного мозга <...>. Рентгенологически отмечаются признаки интерстициального отека легких. <...> ...крупнопластинчатое шелушение всех кожных покровов. <...> Отеки верхней половины туловища. <...> У больного имеет место отек головного мозга. <...> «По данным дополнительного исследования компонентов плазмы и биологического материала на наличие токсических факторов последние обнаружены не были, кроме следов лидокаина, который использовался в процедуре катетеризации центральной вены». <...> Отмечается тенденция к сухому сползанию верхних слоев эпидермиса. <...>

02.07.03 Сохраняется кома. <...>

03.07.03.00 час. 15 мин. Состояние больного прежнее. <...> 2.20—2.55 У больного <...> отмечена резкая брадикардия; переходящая в асистолию. Кожные покровы бледные, зрачки умеренно расширены, равны, на свет не реагируют. Тоны сердца не выслушиваются, пульсации на магистральных сосудах нет. <...> Реанимационные мероприятия без эффекта. В 2.55 констатирована смерть.

03.07.03 По предварительной договоренности с начальником Медицинского Управления МВД Кругловым А.Г., в 1.00 ночи у пациента произведен забор крови для повторного спектрального анализа для исключения возможного экзотоксина (10 мл). <...> (Результаты анализов неизвестны, в медицинских документах их нет. — **Ред.**)

Заключение. На основании исследования <...> приходим к следующим выводам:

1. <...> у больного развился тяжелый острый токсикоаллергический эпидермальный некроз, т. н. синдром Лайелла. Это остро протекающий тяжелый дерматоз неясной этиологии, заканчивающийся обычно быстро наступающим смертель-

ным исходом. <...> Непосредственной причиной смерти Щекочихина Ю.П. явилась тяжелая общая интоксикация организма и полиорганная недостаточность. <...>

2. При патологоанатомическом исследовании тела Щекочихина Ю.П. не обнаружено признаков, которые свидетельствовали бы о том, что его смерть наступила в результате каких-либо насильственных действий (телесных повреждений, повреждений химическими и физическими факторами и пр.) <...>

Объяснение зав. отделением анестезиологии и реанимации Фоминых В.П. от 21.07.03: «21 июня 2003 года ко мне в отделение, примерно в 15 часов поступил пациент Щекочихин Ю.П. в крайне тяжелом состоянии, с диагнозом синдром Лайелла, он находился в сознании и сообщил, что 17 июня 2003 года в городе Рязани во время телевизионных съемок почувствовал сильное чувство жара и расценил это как влияние осветительной аппаратуры. В этот же день он приехал домой в Москву, померил температуру и обнаружил, что у него высокая температура и с помощью разных жаропонижающих препаратов стал сбивать температуру <...>. 21 июня 2003 года в связи с ухудшением здоровья согласился на стационар, в 10 часов 30 минут был доставлен в реанимационное отделение, а в 15 часов в связи с нарастающей дыхательной недостаточностью был переведен в реанимационное отделение. В связи с дальнейшим нарастанием дыхательной недостаточности, в 23 часа был переведен на искусственную вентиляцию легких. <...> Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента продолжало ухудшаться. С 23.06.03г появились признаки отека мозга с практически полным угнетением биоэлектрической активности коры головного мозга. С момента поступления ведение больного и медикаментозные назначения назначались на консилиуме и коллегиально ведущими специалистами ЦКБ и медицинского центра. Поскольку клинически идентифицировать фармацевтический препарат, приведший к развитию Лайелла, не представилось возможным, у пациента был взят биологический материал (кровь, кожа, моча) и отправлен на исследование по принципу в КПДО КДП ГКБ № 33, ГУ ЭКЦ МВД России при исследовании в двух лабораториях обнаружены два фармацевтических ингредиента (фенол, лидокаин), которых не должно находиться в организме человека. Концентрация diazonных препаратов позволила сделать клиническое заключение о том, что лидокаин обнаружен после его применения для местного обезболивания при бронхоскопии и... установки центрального катетера, а фенол — вследствие распада белка в терминальной стадии заболевания». <...>

Непосредственной причиной смерти Щекочихина Ю.П. явилась тяжелая общая интоксикация. <...>

ЭКСПЕРТИЗЫ, КОТОРЫЕ НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНИЛИ

Обстоятельства смерти Юрия Щекочихина показались странными не только нам: многие специалисты и сотрудники спецслужб выражали сомнение в естественных причинах заболевания. Но подтвердить или опровергнуть какие бы то ни было выводы могла только экспертиза.

К сожалению, официальным путем она не была проведена в полном объеме. И пришлось в частном порядке заниматься этим нам: коллегам, друзьям, родственникам. Мы обладали очень малым количеством необходимого материала — получить большее не представлялось возможным, поскольку родным Юрия отказались показать даже историю болезни, что уж говорить о представлении образцов.

Но то, что мы смогли найти (и не спрашивайте — как), было передано в распоряжение лучших российских и зарубежных специалистов. Исследования, проведенные в России, не дали каких-либо результатов. Но, как известно, отсутствие его — тоже результат. Перед вами всего лишь два отчета о проведенных исследованиях. Естественно, чтобы не перегружать вас специфическими и профессиональными подробностями, мы приводим их в сокращении.

Бюро независимой экспертизы «Версия»

Заключение специалиста

1. Вопросы, поставленные на разрешение исследования

1.1 Содержатся ли в представленных образцах кожи наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества?

1.2 Содержатся ли в представленных образцах кожи тяжелые металлы с превышением обычного для человеческой кожи их содержания? <...>

2. Исследование

<...> 2.2 Исследование методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

3. Выводы

В составе анализируемого объекта не выявлены наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества в пределах чувствительности метода, а также не обнаружено присутствия тяжелых металлов в количествах, значимо превышающих их содержание в стандартном образце и, соответственно, не превышающих обычного их содержания в коже человека.

Специалист (подпись) С.Е. Шаповалов

Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ

Акт экспертизы
№ 3135/13 11 ноября 2003 г.

04 ноября 2003 г. в ГУ РФЦСЭ поступило письмо <...> с просьбой о проведении исследования образцов ткани на предмет наличия в их составе таллия.

На исследование представлены образцы ткани темно-синего цвета, представляющие собой вырезки из футболки в местах повышенного потоотделения человека. <...>

Исследование.

Для определения наличия таллия в элементном составе представленных на исследование образцов был применен метод атомно-абсорбционной спектрометрии. Образцы ткани взвешивали, озоляли в муфельной печи в течение нескольких часов при температуре 400°C и растворяли полученную золу при нагревании в 15 мл 2% азотной кислоты. Полученные растворы анализировали на содержание таллия на атомно-абсорбционном спектрометре «AAAnalyst 600» (Перкин-Элмер) при технических условиях, приведенных в таблице № 1. <...>

Установлено, что ни в одном из представленных образцов ткани таллия не имеется (предел обнаружения таллия применяемым методом составляет 0,5 мкг/л).

На основании проведенных исследований эксперт делает следующий вывод.

Вывод:

В представленных на экспертизу образцах ткани таллия не имеется.

Эксперт (подпись) О.А.Аникина

Джо ДОРДЕН-СМИТ АГЕНТ НЕИЗВЕСТЕН

Как проводилась экспертиза в Англии

Тяжелое известие о смерти Юры Щекочихина, скончавшегося в Кремлевской больнице, застало меня дома, в Англии, и я не смог приехать на его похороны. Я попрощался с ним сам, наедине. Как и сотни других его друзей, я поставил рюмку водки рядом с его фотографией и зажег свечу. Фотография Юры так и стоит на нашем столе в гостиной — Юра был и остался моим другом. Когда я жил в России и когда иногда мы встречались в Лондоне, он успел научить меня многому и в журналистике, и в понимании России, русского человека.

<...> Когда бы и куда бы я ни писал о нем, главное, что мне всегда хотелось отметить, — это его уникальность и невероятную значимость: правда и справедливость были для него превыше всего не только как для журналиста и писателя, но прежде всего как для человека. Для него это был свет мира, и он очень хотел, чтобы люди шли на него. Если бы Юра был религиозным человеком, он мог бы стать уникальным священником.

Ведь он так верил в истонное добро в человеке, если избавить его от исторической предвзятости и предрассудков. Он был абсолютно убежден, что в каждом человеке есть изначальная чистота, которую светом истины всегда можно возродить к жизни. И еще он верил в мировое сообщество искателей этой правды, которая превышает национальных границ, в семью единомышленников, объединенных общими идеалами в поиске добра, не важно, как бы глубоко в грязь оно ни было втоптанно.

И я сам стал членом его братства, его сообщества. <...> Когда я узнал, что его смерть выглядит не совсем обычной, я стал по памяти вспоминать его книги, публикации и просто наши беседы, как бы пытаюсь составить список людей, которым он очень мешал. Вскоре я бросил это занятие. Ведь дело в том, что имя им — легион. Чеченская война, коррупция политической верхушки и деловых кругов, торговля оружием, подкупленное судопроизводство, мафия — на сколько же больных мозолей он наступил! Конечно же у него были друзья и подчас в самых разных кругах. <...> Но для многих он стал просто занозой, нарушителем спокойствия. <...>

Вскоре мне позвонили из Москвы и сообщили, что *результаты вскрытия, которые, кстати, не были показаны Юриной семье, указывают на то, что он умер от токсического эпидермического некробиоза, известного в медицине как синдром Лайелла — массивная аутоиммунная атака, спровоцированная внешним агентом. Иными словами, возникло подозрение, что его просто отравили.* <...>

Сразу же позвонил в Британскую медицинскую ассоциацию и как мог объяснил им ситуацию. Женщина на другом конце провода отреагировала с большим участием и дала мне телефон руководства Национального британского союза по отравляющим веществам, включая профессора фармакологии из Уэльса, экспертов из лондонских университетских госпиталей и Школы тропической медицины. Большинство из них либо не были на месте, либо мало что знали о синдроме Лайелла. В конце концов мне подсказали имя человека, который был досягаем и прекрасно осведомлен об этом синдроме, — им оказался профессор Университетского колледжа в Лондоне, эксперт-патологоанатом отделения скорой помощи и несчастных случаев госпиталя Св. Марии (Пэддингтон) по имени Джон Генри.

Ко времени моего разговора с профессором Генри у меня в руках уже был грубый перевод пары страниц записей результатов вскрытия, написанных сложным медицинским языком. У меня также было несколько проб его волос, рвоты и кожи — всего того, что удалось собрать друзьям в его доме, включая бритвенный прибор. Обо всем этом я и говорил с профессором Генри.

Я рассказал, что Юра почувствовал недомогание 17 июня, и на следующий день врач поставил диагноз «респираторная инфекция» и прописал таблетки и витамины. Через два дня (20 июня) его состояние ухудшилось. Стало трудно дышать, повысилась температура, появились слабость организма, боли в желудке, сухость и шелушение кожи. Он говорил, что весь горит, появилась рвота. Утром 21 июня его забрали в Кремлевскую больницу. Состояние здоровья быстро ухудшалось. Главные жизненные органы перестали функционировать, кожа покрылась волдырями и стала сходить. Юру подключили к аппарату искусственного дыхания. Он умер 3 июля с диагнозом «синдром Лайелла».

Профессор Генри сказал, что рассказанное мною вполне соответствует симптомам этого заболевания. Другое дело — вопрос: что его спровоцировало? Можно ли найти хотя бы какие-то ответы в протоколе вскрытия? Я рассказал ему только о том, что знал наверняка, например, что в организме при вскрытии был найден фенол. При этих словах он весь напрягся. Дело в том, что фенол, даже в минимальных дозах, мог спровоцировать те разрушительные процессы организма, которые наблюдались у Юры, равно как и другой медикамент — колхицин, правда, при больших дозах.

А дальше — пустота. У нас не было полного перевода с русского Юриной аутопсии. Профессор Генри после многочисленных телефонных разговоров с коллегами и поездки на конференцию в Испанию решил связаться еще с одним специалистом, совмещающим работу и в Шеффилдском университете (Sheffield University), и в Королевском халламширском госпитале (The Royal Hallamshire Hospital), профессором Робертом Форрестом (Robert Forrest). Он также предложил переговорить с д-ром Яном Хиллом (Ian Hill) — признанным патологоанатомом, который время от времени консультирует драматургов и писателей, включая моих близких друзей. Итак, эти три специалиста-патологоанатома, которые нередко в качестве экспертов участвуют в крупных судебных процессах и расследованиях в Великобритании, стали нашим «консультативным советом». Вся практическая работа была проведена в Шеффилде усилиями профессора Форреста и его коллег.

Прежде всего ассистент профессора польского происхождения перевел на английский все материалы и документы, связанные с историей болезни и смерти Юры. Вопросы возникли сразу же. В нескольких местах упоминалось, что Юре не были противопоказаны сульфонамиды (sulphonamides) — антибиотики, предписываемые пациентам при острых респираторных заболеваниях, но также известно, что в некоторых случаях они могут вызвать тяжелую реакцию типа синдрома Лайелла у людей, не страдающих аллергией на эти препараты, но имеющих слабую иммунную защиту. У профессора Форреста возник вопрос относительно теста на ВИЧ — не был ли он положительным.

Из Москвы пришел ответ. Нет, Юра, естественно не был инфицирован. Равно как и то, что он не принимал никаких сульфонамидов. На вопрос, принимал ли он антиконвульсивный препарат под названием ламотригин (lamotrigine), который

также может спровоцировать подобную катастрофу, был также получен отрицательный ответ. К этому времени моя электронная почта была полна многочисленных посланий от профессора Форреста с вопросами и по поводу борной кислоты, и отравления таллием — оба этих вещества могут вызвать разрушение организма с симптомами синдрома Лайелла. В дальнейшей переписке профессор Форрест решил, что теория наличия фенола, выдвинутая профессором Генри, не работает. Да, фенол может вызвать реакцию типа Лайелла (вместе с наличием «темной, почти черной мочи»), но «любое количество фенола, введенное Юре в провокационных целях, к моменту его смерти исчезло бы из организма». Он написал, что фенол, найденный при вскрытии, «скорее всего продукт распада. В любом трупe, если как следует поискать в течение первых двух суток после смерти, можно обнаружить следы фенола».

К этому времени профессор Боб Рассел (Bob Russel) — славянское отделение Шеффилдского университета — полностью перевел и отредактировал все медицинские материалы, включая результаты вскрытия. <...> (Кстати сказать, он сделал эту гигантскую работу абсолютно бескорыстно.) <...>

Роберт Форрест тут же написал мне следующее: «Отчет по аутопсии абсолютно адекватен и убедительно свидетельствует о наличии токсического эпидермического некробиоза — синдрома Лайелла. Встает вопрос, что вызвало этот синдром. Нам нужно поговорить».

Мы встретились в лондонском отеле вместе с моей женой Еленой и главным редактором «Новой газеты». Профессор Форрест начал с того, что отверг «теорию заговора врачей». После прочтения всех медицинских документов он пришел к выводу, что «врачи делали все возможное, хотя западные доктора, вероятно, лечили бы несколько иначе, но здесь все дело в различии медицинских практик. Я был весьма поражен, — продолжал он, — насколько основателен и грамотен отчет, и если все же придерживаться теории заговора, в которую я лично не верю, сделано это было блестяще».

Далее он рассказал подробно об этом синдроме Лайелла. Он подчеркнул, что хотя это редкое заболевание, тем не менее не столь уж малознакомое. По его предположениям, в британских госпиталях в год известно от 100 до 200 случаев. (Одного пациента он наблюдал сам и потому был уверен, что действительно у больных начинается «слезать» кожа, что, собственно, и происходило у Юры еще до госпиталя.)

Это, по его словам, результат воздействия на организм либо вирусной или бактериальной инфекции, либо какого-то медицинского препарата. «Чаще всего такой возбудитель болезни найти не удастся, потому что в этот момент врачи пытаются спасти больного, а ко времени вскрытия, как в Юрином случае, уже слишком поздно. Никаких следов не остается. Иными словами, агент — возбудитель болезни действует по принципу «хит энд ран»: «сбил и скрылся с места преступления». Если это медикаментозное средство, то главное — определить его и перестать давать больному, если же это неизвестное лекарство, вирусная или бактериаль-

ная атака, то ко времени выздоровления или смерти пациента никаких следов не остается».

По его словам, у Юры практически почти не было никаких шансов выжить, так как он был старше 50 и имел не самое лучшее здоровье. С учетом природы этого синдрома его организм разрушался невероятно быстро, что и подтверждает наличие фенола в его организме. «Если при вскрытии вы поставите задачу найти фенол, вы его обязательно найдете».

Представитель «Новой газеты» указал еще на два показателя, один из которых не был упомянут в официальных документах. Во-первых, Юра практически потерял все волосы, и этот процесс начался с самого начала заболевания, а во-вторых, он невероятно быстро «состарился». Профессор Форрест сказал, что оба этих процесса — неотъемлемая часть синдрома Лайелла. Процесс «старения», например, сопровождается как бы полным усыханием человека, полной изможденностью организма — это происходит «в результате того, что в организме полностью нарушается обмен веществ».

Далее он рассказал нам, как будет работать с переданными ему образцами. Он сказал, что уже обратился к профессору Камерону Маклауду (Cameron McLeod) с просьбой проверить наличие тяжелых металлов — таллия или мышьяка в волосах, используя *inductively-coupled plasma mass spectroscopy*. Он также обратился к д-ру Дэвиду Слейтеру (David Slater) — эксперту по патологической дерматологии: посмотреть под световым микроскопом кусочек окрашенной кожи на наличие любых посторонних материалов, и если таковые будут найдены, продолжить исследование на электронном микроскопе (плюс другие тесты) с тем, чтобы определить, не был ли процесс дермического некролиза спровоцирован вмешательством со стороны. А что касается рвоты, он попросил д-ра Слейтера провести предварительное токсикологическое тестирование с тем, чтобы позже самому провести спектроскопию.

Далее мы перешли к гипотетическим рассуждениям и свободному обмену мнениями. Говорили о расследованиях, которыми Юра занимался перед смертью, два из которых были весьма серьезными и опасными. Редактор «Новой газеты» рассказал о двух случаях, один из которых произошел в 50-е годы, когда для убийства были использованы радиоактивные материалы и их эффект воздействия был весьма сходен с течением Юриной болезни.

В этом случае жертвой стал советский перебежчик во Франкфурте, который прошел все известные стадии: «облезание» кожи, быстрое старение и резкое падение кровяного давления, — и все это случилось после того, как он выпил чашечку кофе, «подслащенную» радиоактивными солями таллия.

А второй случай — произошедший в Москве в конце 90-х, когда банкир и его секретарша оба умерли от «аллергии», поговорив по офисному телефону, специально сдобренному радиоактивным кадмием. И еще одна совсем недавняя история — известный чеченский боевик при транспортировке из Москвы под охраной к

месту заключения неожиданно оказался в больнице, где вскоре умер от «острой аллергии».

Ни одна из этих историй сама по себе не могла служить доказательством насильственной смерти Юры, который сам никогда бы не одобрил использование недоказанных или чисто гипотетических фактов. <...> Тем не менее профессор Форрест тут же вспомнил, что Советский Союз проводил серьезные эксперименты в области ядерной химии, и сразу же позвонил профессору Маклауду — специалисту по масс-спектрокопии, с просьбой проверить волосы на кадмий и другие нуклиды. Он также вспомнил об убийстве таллием в практике приспешников Саддама Хусейна и поразмышлял о возможности передачи опыта «от нашего стола вашему столу».

Мы также много говорили о состоянии Юриного здоровья до его трагического конца. Незадолго до этого у него были проблемы с сердцем (микроинфаркт?), произошло это после его возвращения из Чечни в марте; как думают эксперты «Новой газеты», это было спровоцировано пищевым отравлением. На это профессор Форрест сказал, что такое случается довольно часто, рутинно: «Вещь обычная — если у вас есть хронические заболевания сердца, почек, сосудисто-мозговой системы, они могут проявиться под воздействием другой болезни. Тем не менее симптомы могут быть спровоцированы и медикаментозным путем (таблетками), что и может привести к сильному спаду давления».

Но конечно же все это только домыслы, повторил профессор.

Все, на что он мог полагаться в своем исследовании за неимением гистологических слайдов и блоков, необходимых для выявления причины смерти, было несколько образцов из Юриной квартиры, список лекарств, которые ему давали (причем по-русски) до самого последнего момента. И все-таки, прощаясь, он сказал, что после нашей беседы он склонен «все-таки иметь в виду возможность нечестной игры», хотя и предупредил, что доказать это, может быть, и не удастся.

И снова профессор Рассел взялся за работу, в этот раз он перевел список лекарственных препаратов, включая гомеопатические лекарства, прописанные Юре. В то же время профессор Генри, после того как прочитал мой «отчет» о встрече в Лондоне, подтвердил опасения профессора Форреста. «Вполне возможно, что в материалах вскрытия имеется нечто, что даст нам ключ к разгадке, — написал он, — но если нам не удастся получить эти материалы, все может так и остаться на уровне слухов, сплетен и предположений».

Вскоре после этого д-р Слейтер после изучения кусочка кожи сообщил профессору Форресту: «Это выглядит как коллагенная решетка без каких бы то ни было клеточных материалов, имеющих какое-либо значение, то есть этот материал не несет в себе ничего для исследования». Отчет профессора Маклауда по исследованию волос также не продвинул расследование: «Вольфрам не превышает норму. Ничего опасного не найдено. Нет превышения кадмия, таллия, антимонита или других элементов металлов». Бритвенный прибор также не прояснил картину. То

же можно сказать и о списке лекарственных препаратов: ни один из них не мог спровоцировать появление синдрома Лайелла.

Оставалась последняя надежда на исследование рвотных выделений. Но проблема заключалась в том, что доктор Слейтер изначально не знал, что пробы рвоты были смешаны с пробами кожи, и таким образом не смог провести полного анализа. Мы снова обратились в Москву за еще одним смешанным образцом. И наконец после долгого ожидания — образцы в руках профессора Форреста, который ждет результатов микроскопических и спектральных экспертиз. Но трудно уповать на то, что после столь долгого времени есть какой-то шанс, что мы узнаем что-то новое...

Все сказанное конечно же не отрицает возможности, что к смерти Юры приложили руку некие неизвестные господа. И, возможно, никогда не будут найдены доказательства ни одной из версий. Но что кажется весьма странным и невероятным, это тот факт, что результаты вскрытия, равно как и история болезни, никогда не были официально предоставлены никому, включая семью Юрия (в Англии такое просто было бы невозможно и противозаконно). Некая вуаль секретности покрывает эту историю. И что еще совершенно поразительно — это тот факт, что все исследования материалов, собранных Юриной семьей и его друзьями, проводятся в Британии силами очень серьезных и невероятно занятых патологоанатомов, юристов и лингвистов — экспертов высочайшего класса; и все без исключения работают абсолютно бескорыстно, не выставя никаких счетов ни за свое время, ни за использование аппаратуры. Вопрос оплаты вообще не возникал.

«Как и большинство моих коллег, людей нашей профессии, я каждый год беру несколько дел *pro bono* (бесплатно), — объясняет профессор Форрест. — А в данном случае я как бы возвращаю долг всем тем журналистам, которые мне так часто помогали в работе и в карьере». И далее он продолжает: «Это просто позор, что никто, включая нас, не сможет получить доступ к гистологическим слайдам, взятым для аутопсии, или к пробам, взятым во время Юриной болезни. Что помогло бы нам прийти к какому-то заключению».

Английская команда специалистов сделала все возможное, у них осталась последняя надежда на последний образец. Просто необходимо, чтобы российские власти, учитывая все слухи и обвинения, возникшие в связи со смертью Юры, просто немедленно, без проволочек предоставили для всестороннего изучения все документы, которые стали доступны небольшой группе ученых, а также по просьбе семьи, как это положено в Англии, открыли доступ к гистологическим и другим материалам, которые могут содержать очень важную информацию. И только тогда, каким бы ни был вердикт, этот удивительный человек, мой товарищ Юрий Щечкохин, сможет обрести последний покой.

Александр ВАВИЛОВ **СИНДРОМ ЛАЙЕЛЛА**

Болезнь редкая и потому чрезвычайно опасная

Юрий Щекочихин, по диагнозу, поставленному врачами, умер от смертельно опасной болезни, которая называется синдром Лайелла. Массовой читательской аудитории она практически неизвестна. В «Новой газете» и по сей день раздаются звонки с просьбой дать разъяснения специалистов.

Мы попросили ответить на читательские вопросы заведующего отделением Центрального научно-исследовательского кожно-венерологического института Минздрава РФ, доктора медицинских наук, профессора Александра ВАВИЛОВА

— Александр Михайлович! Так что это за новая напасть? Почему синдром — Лайелла?

— Потому что впервые описана эта болезнь, новый дерматоз, говоря медицинским языком, врачом по фамилии Лайелл. Сам он дал ей название — токсический эпидермальный некролиз. И произошло это чуть ли не полвека назад, еще в 1956 году. Так что не такая уж это и новая напасть. Более того, это состояние еще до Лайелла было описано в одиннадцати сообщениях, однако под другими названиями. Но что правда, то правда — синдром Лайелла и по сей день остается малоизвестным.

— Каковы первопричины и «пусковой механизм» болезни?

— По современным представлениям, причиной ее являются главным образом лекарственные средства. Многие дерматологи рассматривают синдром Лайелла как тяжелейшую разновидность лекарственных токсидермий. Среди лекарственных средств ведущую роль приписывают тут сульфаниламидным препаратам, особенно пролонгированного действия, широкому спектру антибиотиков, барбитуратам, анальгетикам, препаратам ацетилсалициловой кислоты — аспирину.

Описаны случаи возникновения заболевания после переливания крови, инъекций гамма-глобулина, противостолбнячной сыворотки. Указываются и другие причины возникновения синдрома, в частности отравления соединениями химического производства, недоброкачественными пищевыми продуктами.

— Проще говоря, речь идет об отравлении передозировкой лекарств, недоброкачественными продуктами, вредностями окружающей нас среды — воды, воздуха?

— Не все так просто. Связано это и с генетическими особенностями конкретного организма. В развитии болезни ведущая роль принадлежит резко выраженной аллергической реакции, которая сопоставима с анафилактическим шоком. Но у одного человека это происходит, у другого, в ответ на тот же аллерген, — нет.

— **Можно ли встретить синдром Лайелла на дальних подступах?**

— Чрезвычайно трудно. Ведь очень непросто определить, какие именно препараты и в каких количествах в течение разных болезней принимал человек на протяжении предыдущей жизни. И не исключено, что даже неоднократно принимаемые во время простудных заболеваний «безобидные» лекарства в течение многих лет как бы накапливают «критическую массу». Или, как мы говорим, проходит длительная поливалентная сенсбилизация организма, то есть постепенно до опасных порогов повышается чувствительность человека к каким-либо веществам. Наступает момент, когда срабатывает «пусковой механизм». А им может оказаться и безвредное для другого человека лекарство или еда. И — резкая, немедленная реакция.

Синдром обычно возникает внезапно, через несколько часов или дней после приема лекарственного препарата или контакта с каким-либо веществом (пищевыми продуктами, например), к которым у пациента имеется повышенная чувствительность. Отмечается резкий подъем температуры, головная боль, плохое самочувствие, высыпания на коже. Через 12 часов происходит отслоение поверхностного слоя кожи — эпидермиса с образованием обширных пузырей и чрезвычайно болезненных эрозий (отсюда другое название болезни: «синдром ошпаренной кожи»). В процесс могут вовлекаться слизистые оболочки носоглотки, пищевода, желудочно-кишечного тракта, бронхов. Общее состояние крайне тяжелое. Продолжаются высокая температура, головная боль. Наступает спутанность сознания, сонливость, симптомы обезвоживания, сгущения крови, нарушения кровообращения и функции почек.

Вся эта грозная симптоматика стремительно нарастает, и требуются чрезвычайные усилия специалистов разного профиля, чтобы вывести больного из этого состояния. Его помещают в реанимационное отделение, непрерывно поддерживают водный, солевой, белковый баланс. Внутрь вводят большие дозы глюкокортикоидов, тщательно следят за состоянием кожных покровов, которые во время болезни полностью или частично теряют свои функции — противомикробного барьера, терморегуляции, поддержания водно-солевого баланса.

— **Почему все-таки дело так часто заканчивается летальным, смертельным исходом?**

— Успех лечебной помощи находится в прямой зависимости от сроков начала ее оказания. К сожалению, в полном объеме она, как правило, запаздывает. Тому есть несколько причин, и главная, на наш взгляд, состоит в относительной редкости этого заболевания, следствием чего является слабое знание практикующими врачами основных симптомов.

Изначально тяжелое состояние больного зачастую не позволяет выяснить у него самого подробности истории болезни и предшествующих событий. Когда же врач видит развернутую картину заболевания, в частности обширную отслойку эпидер-

миса, патологический процесс заходит столь далеко, что даже экстренные меры не спасают положения.

— **Это заразная болезнь?**

— Нет, не заразная.

Вопросы задавал Ким СМИРНОВ

01.07.2004

БУДЕТ ЛИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ПО ФАКТУ СМЕРТИ ЗАКЛЮЧЕННОГО ИСЛАМОВА?

Отравлен в СИЗО

Спустя несколько месяцев после гибели Юрия Щекочихина произошла еще одна загадочная и трагичная история. Разбираясь в ней, сотрудники редакции неожиданно обнаружили, что очень многие симптомы заболевания, приведшего к смерти еще одного человека, практически идентичны обстоятельствам смерти Юры.

Лече Исламов по кличке Борода был арестован почти четыре года назад за участие в незаконных вооруженных формированиях. Он был посредником во многих делах, связанных с обменом и выкупом заложников, и очень хорошо осведомлен о не всегда чистой работе российских спецслужб. Обладал информацией и о достаточно большой сумме денег, выделенной на создание агентурной сети в Чечне и Ингушетии, которая пропала бесследно.

Пока Исламов находился под стражей в московском СИЗО ФСБ «Лефортово», он активно привлекался к переговорам по вызволению похищенных людей, а его, в свою очередь, активно склоняли к негласному сотрудничеству с российскими спецслужбами (в уговорах принимал участие даже погибший президент Чечни Ахмат Кадыров, посетивший Исламова в тюрьме). Но Борода отказывался.

Потом была предотвращена попытка его убийства в Краснопресненской пересыльной тюрьме — благодаря сокамерникам информация о готовящемся покушении стала известна прессе. На этот счет есть все документы, включая объяснения свидетелей, и фамилия офицера, подстрекавшего заключенных к убийству.

Краснодарский краевой суд осудил Исламова на девять лет лишения свободы. Дальше, напомним, случилось вот что. Мы уже рассказывали («Новая газета» № 23, 2004 год) о том, что перед отправкой Исламова на зону в Мордовию с ним встретились трое неких представителей спецслужб — опять-таки предлагали сотрудничество. Исламов вновь отказался. Сразу после визита здоровье заключенного вне-

запно и резко ухудшилось. По словам жены и адвоката, все тело покраснело, начала шелушиться и слезать кожа, поднялась высокая температура. Исламов стал стареть на глазах, начали выпадать волосы. Вскоре он скончался.

Есть основания полагать, что Исламов был отравлен, расследование этого случая было бы весьма важным для ответа на два вопроса:

— какое вещество (или препарат) при этом использовали?

— кто именно практикует такой способ устранения людей, кем бы они ни были?

Мы просили считать эти вопросы официальным обращением в Минюст и Генпрокуратуру РФ. Ответа не получили.

Отдел расследований «Новой газеты»

P.S. Кстати, очень похожая история случилась и раньше — в 50-х годах прошлого века, с бывшим советским чекистом (см. далее).

КОСВЕННЫЕ УЛИКИ

Чем больше мы изучали все произошедшее с Юрием Щекочихиным, тем больше вопросов у нас возникало. Отвечать на них никто не собирался. Уголовное разбирательство было прекращено на основании данных вскрытия, никаких экспертиз назначено не было, никто из властных структур вникать в обстоятельства смерти не собирался — в частных беседах высказывались лишь отдельные предположения, которые мы проверяем до сих пор и пока не можем предать огласке.

Неожиданно выяснилось, что в середине прошлого века в Западной Германии произошел случай, очень похожий (по симптоматике) на историю Юрия Щекочихина. Бывший сотрудник советских спецслужб Николай Хохлов заболел при загадочных обстоятельствах и чудом выжил. Немецкие и американские врачи установили, что он был отравлен специально приготовленным ядом.

Мы нашли сначала воспоминания г-на Хохлова, ныне проживающего в Америке, его лечащего врача, а затем смогли встретиться и с самим бывшим чекистом. Все, что мы услышали и прочитали, еще больше усилило наши подозрения — слишком много совпадений в симптомах и характере болезни. Кстати, в истории 50-х тоже еще не поставлена точка — западные эксперты так и не смогли точно, при помощи лабораторных исследований, определить токсичное вещество — выводы они сделали исключительно по внешним признакам.

Часть I

Николай ХОХЛОВ

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ

В ботаническом саду Франкфурта-на-Майне, кроме пальм и оранжерей, есть дом с залом для концертов и заседаний. К залу примыкает застекленная терраса ресторана.

В середине сентября 1957 года в зале Пальменгартена собрались несколько сотен антикоммунистов из разных стран. Происходила ежегодная конференция «Посева» — газеты российского революционного движения. Темой конференции был «переходный период». <...>

В те дни был в Пальменгартене и я.

Мне в первый раз пришлось участвовать в открытой политической конференции на территории Европы — в нескольких сотнях километров от границы с коммунистическим государством. Мы знали о том, что Западная Германия кишит агентами советской разведки. Но мне казалось, что пришла пора встретиться с друзьями по переписке, по статьям в журналах, по совместной борьбе и общим надеждам. Встретиться открыто, без страха и без лишних мер предосторожности, чтобы показать, что мы все духовно сильнее нашего врага. <...>

Я не ожидал только, что это прошлое в самом ближайшем времени вернется в мою жизнь столь неожиданно и остро, что чуть не оборвет ее. <...>

В зале шел концерт для участников конференции. На террасе за столиками сидели немногочисленные опоздавшие, пили пиво и что-то обсуждали приглушенными голосами. Из-за неплотно прикрытых дверей доносились реплики артистов, ведущих программу, смех зрителей и хлопки.

Я вдруг почувствовал, что очень устал. Официант принес мне стакан грейпфрутового сока. Но, пригубив, я понял, что не могу пить. Какая-то странная тяжесть легла на желудок и почему-то на сердце. Да, я, очевидно, сильно устал. Три дня нервного напряжения сказывались. Все, наверное, устали. Столько гостей, пресс-конференций, бесед, дискуссий по докладам, столько кропотливой технической работы. Но я, по-видимому, еще не привык к таким авралам. <...>

Танцевальная пара исполняла вальс Шопена. <...> Оба застыли на секунду в отшлифованной позе и вдруг закачались. Мне показалось, что в следующее мгновение они упадут, но тут же я заметил, как шатнулись тени в кулисах, дрогнули точки ламп и сдвинулись лучи прожекторов. В ушах у меня зазвенело, и мутная тошнота подступила к горлу. Я понял, что мне становится совсем плохо. Держась за спинку кресла впереди себя, я тупо рассматривал половицы паркета, поджидая, когда станет легче, чтобы подняться и уйти. <...>

Машина сразу завелась, и я вырулил на главную улицу. Через три минуты я уже

прижал свой «Фольксваген» к тротуару напротив пансиона, где жил. Теперь — выключить мотор и запереть машину. Затем случилось что-то странное. Последнее, что я услышал, было звяканье ключей, упавших на асфальт. В следующие бесконечные секунды мой желудок бился в конвульсиях. Мир ушел куда-то в небытие, и все мое существо, все силы и мысли были захвачены борьбой тела с чем-то чуждым и страшным для организма.

Когда я очнулся, меня била дрожь. Холод и слабость расплывались по телу. <...>

Придя в себя, я подобрал ключи и побрел к подъезду пансиона. «Теперь, наверное, станет лучше, — думалось мне. — Съел что-нибудь плохое. Или просто — нервная реакция. Но и не такой уж у меня слабый желудок. Хотя с годами здоровье слабеет. Мало ли что было раньше. Но все же... Должно пройти само собой».

Но ничего не прошло. Наоборот, с каждой минутой становилось все хуже. Хозяйка пансиона вызвала врача. Теперь приступы повторялись каждые десять-пятнадцать минут и были настолько сильными, что я почти терял сознание. Врач сделал мне уколы против рвоты. Они не оказали никакого действия. Врач решил, что меня нужно немедленно отправлять в больницу. <...>

К половине первого ночи удалось найти свободную койку в клинике Франкфуртского университета.

— Что с больным? — спросил по телефону дежурный клиники. Мои друзья вопросительно взглянули на врача. Она медлила, потом как бы решилась:

— Скажите, что есть подозрение на отравление... — И, спохватившись, добавила: — На отравление какими-то пищевыми ядами. <...>

Мое заболевание было классифицировано как обычный гастрит, и поэтому никаких анализов, связанных с отравлением, не было произведено ни в ту ночь, ни в следующие дни. <...> В первую ночь гастрит никак не хотел подчиняться уколам и всяким успокаивающим средствам. Часам к пяти утра, измученный десятками приступов, я все же заснул. А потом гастрит вдруг внезапно капитулировал. Я проснулся хотя и слабым, но бодрым. <...>

— Почему он такой красный? Прямо как индеец. Смотрите — и плечи, и руки какого-то медного оттенка.

Врач прищурился, как бы в самом деле оценивая, похож ли я на индейца.

— А разве он не всегда такой? — спросил врач. И тут же, поняв никчемность своего вопроса, пояснил: — По-видимому, от противорвотных средств. Так часто бывает. Все исчезнет быстро и бесследно. <...>

И никто — ни профессор Шраде, ни врач, ни Георгий Сергеевич, ни я сам — не подозревали, что в моем организме уже начал работать часовой механизм бомбы замедленного действия. Те, кто выдумал и рассчитал эту «бомбу», учли возможную бдительность врачей. Под маской невинного гастрита в теле моем теперь хозяйничало такое средство, от губительного действия которого меня могло спасти только чудо.

Механизм сработал в ночь с пятницы на субботу.

Приподнявшись на подушке, я никак не мог сообразить, продолжается ли сон или уже началась действительность. Наверное, еще во сне у меня появилось острое чувство опасности. <...>

Пришла медсестра. Взглянув на меня, она застыла в изумлении.

— Что? — вырвалось у меня.

Заметив, что она заслоняет от меня зеркало шкафа, я отстранил ее и вгляделся в свое отражение.

Во время войны военные объекты защищались камуфляжем из полос и пятен, беспорядочно разбросанных по местности или по зданию. Такой камуфляж стирал форму и делал объект неузнаваемым. Что-то похожее случилось с моим лицом. Бурные полосы, перемежавшиеся темными пятнами, покрыли его хаотическим узором. Приглядевшись, я понял, что это были кровоподтеки разной формы и силы. Я оглянулся на постель. Наволочка была сплошь запятнана кровью. Сестра поспешно перевернула подушку, что-то сказала и вышла из палаты. Я продолжал смотреть в зеркало, как зачарованный. Я увидел и тут же ощутил, что треснувшие веки у меня покрыты сукровицей, что черные пятна испещрены точками нарывов, что кожа лица суха, натянута и горит, как в жару. Все это и еще что-то, не поддающееся определению, превратило мое лицо в подобие маски монстров из фильмов Бориса Карлова. Но это сравнение жило лишь секунду. Когда я разглядел клок волос, нелепо торчавший в сторону, как вихор клоуна, мое отражение превратилось в цирковую гримасу. Я невольно пригладил вихор. Он остался у меня в руке. Еще не веря, я поднес ладонь к глазам. В ней лежал пучок волос. Я повернул ладонь — и волосы, падая, закружились в воздухе. Я потянул еще один клок — и он точно так же, без боли и без сопротивления, остался у меня в руке. Это было почти нереально. Я ничего не чувствовал, когда продолжал тянуть пучок за пучком и ронять их на пол. Ничего, кроме отвращения к чему-то невероятному, вошедшему в мою жизнь. Мне показалось вдруг, что все это я уже видел в каком-то кошмаре. Вот так же я сидел на постели и снимал свои волосы с головы без малейшего ощущения, что эти волосы принадлежат мне. Я подумал, что, потяни я сразу за всю шевелюру, она отстанет без сопротивления от головы. И так же, как в кошмаре, я опустил руки, не решаясь проверить, правда ли это. <...>

Главный врач окинул меня удивленным взглядом и присвистнул:

— На-ну! Красиво вы выглядите! Выходит, вы аллергик, если вы так резко реагируете на новые лекарства. Но от какого же лекарства вас так разукрасило? Это нам придется поскорее выяснить.

Он сдвинул пижаму с моего плеча. Пятна кровоподтеков шли по шее, спускались на тело, расписав медно-красную кожу причудливой татуировкой. <...>

Профессор и кортеж появились довольно скоро. Если в прошлый раз внимание было сосредоточено вокруг личности профессора, то сейчас я интересовал в

какой-то степени всех. Смотрели на меня скорее с научным любопытством, и я понимал, что картина просто не особенно знакома персоналу клиники. <...>

Я вытянул клоч волос из первой попавшейся пряди на лбу и показал его профессору.

— Профессор... а это что такое?..

Он как-то сжался, почти вздрогнул и подался вперед:

— А ну... еще!.. — сказал он совсем по-мальчишески. Но в глазах его не было и следа шутки. Я вытащил еще пучок жестом профессионального фокусника. Он подошел совсем близко и, как бы не веря мне, выхватил клочок волос у моего виска. Потом разжал пальцы, и волосы закружились в воздухе. Он проследил за ними до пола, потом быстро, щипком схватил щепотку волос у меня на груди. И снова отпустил, следя за их падением. <...>

— Скажите... вы что... приняли что-нибудь?

— Что вы имеете в виду? — не понял я. <...> — Вы хотите сказать, что я попробовал покончить с собой и что-то принял?

— Да, конечно, — очень твердо ответил профессор. <...> — Почему нет? Это же случается.

— Но не со мной. У меня здесь, на земле, очень много дел. Да что вы, профессор! <...>

— Но тогда... тогда я ничего не понимаю... ведь всего лишь один металл... и здесь, и здесь... вегетативный контроль не тронут... признаки слишком явные... всего лишь один металл на свете...

Упорное повторение слова «металл» вдруг сразу, как молния, объяснило мне все. Как я об этом до сих пор не подумал?

— Одну минутку, профессор! <...> Я повторяю, что не пробовал кончать жизнь самоубийством. Но есть кое-кто на этом свете, кому было бы выгодно отравить меня. Я русский. Недавно покинул Советский Союз. Порвал с коммунизмом. Не исключено, что мои бывшие начальники хотели бы свести со мной счеты. Я не знаю, какой металл вы имеете в виду. Но если это яд, то, в конце концов... Почему бы и нет... Это ведь тоже случается... <...>

Самоубийство или несчастный случай — это было что-то знакомое, понятное. А отравление политического эмигранта? Но постепенно он, по-видимому, осознал реальность и такого варианта. Челюсть его немного опустилась, и он схватил глоток воздуха. Затем он вскочил и начал шагать вдоль кровати взад и вперед. Не было ясно, к кому он обращался, может быть, сам к себе:

— Но если это так... это совершенно неслыханно... я в идиотском положении... я обязан сообщить в полицию... принять какие-нибудь меры... я обязан сообщить в полицию?! <...>

Кожник нерешительно посмотрел на главного врача. Тот криво улыбнулся и нехотя заговорил:

— Дело не в одном этом металле. Картина вашей болезни несколько запутана. Однако я могу сказать: мы подозреваем таллий.

— Что-что? — переспросил я.

— Тал-ли-ум. Металл из группы свинца. Он ядовит, но не обязательно смертелен. Против него есть противоядия. Кое-что мы вам уже дали. Неясно одно — как он мог попасть к вам в желудок. Ну да, вы сказали свою версию. Но, знаете, в сегодняшнем цивилизованном мире таллиумом обычно не травят. Всякие драмы и трагедии разрешаются мышьяком или стрихнином. Иногда цианкалием. Но — таллий... Его и достать трудно. Он применялся когда-то для борьбы с грызунами. Теперь почти исчез из продажи. Изредка попадается, может быть. Но для отравления человека... Не думаю. Однако симптомы его у вас есть. Он очень характерен в действии. Поражает центральную нервную систему. Волосы на голове выпадают, а на бровях, например, остаются. Лет двести тому назад его применяли даже для снятия волос у детей, пораженных лишаями головы. В микроскопических дозах, конечно. Какую дозу вы получили, мы не знаем. Но оснований для паники — нет.

Когда они ушли, я задумался. Если действительно меня отравили, то догадаться об авторах «операции» было нетрудно. Кто выполнил приказ — не так уж важно. Может быть, его найдут, может быть, нет. Кто-нибудь из бесчисленных францев и феликсов. Меня интересует другое. Почему вдруг таллий? Неужели Наумов, кандидат химических наук, не мог придумать ничего более остроумного, чем металл, давно вышедший из моды, имеющий характерные симптомы и — главное — против которого есть надежное противоядие?

Дальнейшие события показали, что сотрудники специальной лаборатории в Москве хорошо знали свое ремесло.

Пока немецкие врачи обсуждали, каким образом таллий мог попасть в мой желудок, и вливали всякие общеизвестные противоядия, разрушение овладело моим организмом совсем с другого конца. Внезапное осложнение болезни от меня скрыли. Я мог только догадываться по методам лечения, что со мной происходит что-то необычное. Но с моими друзьями врачи были более откровенны. Много позже узнал и я, как в самом деле развивалась моя болезнь. <...>

Тем временем вид мой ухудшался. Друзья, зачавшие в воскресенье с визитами, каждый раз невольно вздрагивали, бросая первый взгляд на мое лицо. Их можно было понять. От волос на моей голове не осталось почти ничего, лишь одинокие пучки торчали среди ран и струпьев. Брить было нельзя, потому что кожа потеряла эластичность и трескалась при малейшем натяжении. В местах, где кожа особенно тонкая, — за ушами, под глазами — кровь вообще не успевала засыхать, и я беспрерывно просушивал ее марлевым тампоном. Бинтовать меня не могли, потому что бинты растирали ссадины и раны. Однако опасными были не столько потеря крови или путь, открывшийся для инфекции, сколько то, что начало проис-

ходить с самой кровью. Об этом знали лишь врачи и два-три моих близких друга, которых врачи посчитали необходимым информировать.

Ко второй половине воскресенья врачи поняли, что в моей крови идет странный и невероятно быстрый процесс разрушения. Количество белых кровяных шариков падало и достигло 700 вместо нормальных шести-семи тысяч! Мне прокололи грудную кость и взяли пробу костного мозга. Микроскоп показал, что большинство кроветворных телец было мертво. Кровь, текшая в моих жилах, постепенно превращалась в бесполезную плазму. У меня началось отмирание слизистой оболочки рта, горла, пищевода. Стало очень трудно есть, пить и даже говорить. Апатия и слабость охватывали меня. Позже мои друзья рассказывали, что именно в воскресенье вечером у меня появился взгляд, характерный для «отходящих» людей. Возможно, что это им просто показалось под влиянием слов, которые они слышали от главного врача в тот же вечер.

— Очень плохо, — сказал главный врач, встретив моих друзей в коридоре. — Честно говоря — безнадежно. Трудно это говорить, но я обязан. Мы просто не понимаем, что с ним происходит. Кровь вашего друга постепенно превращается в воду. И мы ничего не можем сделать. Необходимо, конечно, переливание крови. Мы ищем донора. У него редкая группа. К утру, наверное, найдем. Будем вливать физиологический раствор. Ну а дальше что? Никто из нас не знает. На одних переливаниях жить нельзя. Процесс разложения крови идет, как лавина. Может быть, он остановится сам. Может быть — нет. От нас это уже не зависит. Похоже, что ваш друг умрет в самое ближайшее время.

— Но от чего? — не удержался Георгий Сергеевич. — От чего он умирает? Неужели нельзя установить, что его убивает, и попробовать с этим бороться? Неужели медицина так слаба?

— Ах, медицина, медицина, — продолжал с горечью врач. — Все, что мы знаем, основано на опыте. Какой может быть опыт с неизвестными ядами? Таллиум нам знаком. В основном по литературе, правда, но все же знаком... Следы его несомненны. Но таллиум не вызывает гибели крови. Здесь что-то другое. По-видимому, лишь тогда, когда будет вскрытие, мы узнаем, почему он должен был умереть. Хотя причину, может быть, и не узнаем никогда, но поймем, что и как было поражено. Подождите с вопросами до вскрытия. Тогда мы будем знать что-то более точное.

Ему самому, очевидно, стало не по себе от своего совета. Он кивнул на прощанье и ушел.

Посоветовавшись, мои друзья решили вскрытия не ждать. <...>

Скоро приехала группа американских врачей. Они посидели в докторской, и кто-то перевел им на английский объяснения главного врача-немца. Потом в палату стремительным и легким шагом вошел американский майор медицинской службы. Он подсел ко мне на кровать и похлопал по руке:

— Хелло, Ник! Очень рад, что вы едете к нам. Ваши дела, говорят, не блестящи,

но это ничего. Мы не из пугливых. И вы, как я слышал, тоже. Так что — поехали отсюда. О-кей? Ребята, забирайте его. <...>

Главный врач знал то, чего не знал я. Что профессор Шраде уже приговорил меня к смерти. Отдавая меня с радостью американским врачам, профессор сбывал с рук безнадежного пациента. <...>

Боли во рту и горле стали настолько сильными, что специалист по анестезии вынужден был составить для меня особый раствор, которым я почти непрерывно полоскал рот. Вообще специалисты приходили и уходили один за другим. Меня, по-видимому, не только лечили, но и изучали мою странную болезнь. <...>

Убить меня Москва могла уже только особым путем. Не выстрелом, который мог прозвучать слишком громко. Не бомбой, которая могла только взвить мое имя и значение моей книги. Но убить тайно, сложной, не поддающейся анализу отравой, которая разрушит организм путями, неизвестными медицине. Убить так, чтобы агент успел уйти и чтобы не осталось никаких улик, обличающих советскую разведку. Убить так, чтобы начались слухи, сплетни, толки, чтобы не было ясно, убили ли меня вообще или я умер сам от каких-то таинственных причин. Опутать мое имя и смерть подозрениями, противоречивыми версиями, вынужденным молчанием врачей и властей.

Убить меня так, чтобы те, кто знаком с советской разведкой, поняли, откуда идет месть. Но в то же время чтобы те, кто наивен или слеп, стали бы легкой добычей клеветы и дезинформации.

После такой моей смерти можно было бы заявить через бесчисленных подручных, что никакого Хохлова вообще не было, а книгу его написали в Вашингтоне американские разведчики с помощью белогвардейцев.

Для того чтобы Москва могла этого добиться, и я должен был быть отравлен особой смесью ядов.

Наумовы поработали над этой смесью добросовестно. Составляли ее, наверное, в соответствии со всякими планами, вариантами и высшими указаниями. Ведь обычно бывает при делах по «Т» — по террору. В рецепт смеси были включены не только ингредиенты, достойные средневековых отравителей, но и неискушенность западных врачей, инертность властей, скептицизм западного общества. Были учтены, наверное, и симптомы гастрита, а затем банального яда, вышедшего из моды.

Задумано было ловко. Казалось странным только одно — почему же я продолжаю жить? <...>

В середине октября я вышел из американского госпиталя. Прощаясь с врачами, я поблагодарил их за то, что они вылечили меня.

— Не благодарите, — ответил старший врач. — Мы так и не знаем точно, ни что с вами было, ни почему вы выздоровели. В сообщении прессы мы заявили сегодня, что вы были отравлены комбинацией ядов, среди которых, по-видимому, был и таллиум. Явных следов какого-либо смертельного яда мы в вашем организме не

нашли. Но, во-первых, у нас не было материалов для анализа из первого периода вашей болезни. А во-вторых... Знаете, бывает, что обвиняемый не сознается, но его все же осуждают на основании улики. Так пришлось поступить и нам. Виновника — яда который чуть не убил вас, мы не нашли. Говоря фигурально, ему удалось ускользнуть. Но мы видели его действие. И, если отбросить версию об отравлении, то мы не знали бы никакой другой причины, вызывающей такое действие. Что же касается вашего выздоровления... Средства, которые мы вам давали, заставляли ваш организм сопротивляться, и все. А что именно вытянуло вас из могилы, мы сказать не можем. <...>

В Нью-Йорке я обратился к токсикологу одного из университетов с просьбой последить за процессом моего выздоровления. Он заинтересовался случаем и сам предложил выписать историю моей болезни из франкфуртской клиники, чтобы поискать следы таинственного средства и опознать его.

Однажды он позвонил мне:

— Копия вашей болезни пришла. Я изучаю ее вместе с коллегами по кафедре токсикологии. Нам все больше и больше приходит на ум один ответ. Но он настолько невероятен, что я подожду еще с приговором.

Вскоре я зашел к нему. У токсиколога больше не было никаких сомнений:

— Ну приготовьтесь к сюрпризу! Знаете, чем вас травил? Радиоактивным таллиумом!!! Точнее — радиоактивированным. Один из моих коллег лечил несколько случаев заболеваний от радиоактивного облучения. Та же картина распада крови, что и у вас! И если еще принять во внимание, что металл попал к вам в организм через пищу, то все кусочки мозаики укладываются. <...>

Радиоактивный таллиум... Специалисты объяснили мне потом, что, по-видимому, этот металл был пропущен через сильное поле атомного излучения. Он начал постепенно распадаться. Окончательный распад произошел уже в моем организме. Сначала яд дал ожог желудка и кишечника. Врачи приняли это за обычный гастрит. Потом металл проник в кровь и начал бродить по телу, поражая нервные узлы своим излучением. Когда появились признаки, характерные для так называемых «эффектов излучения», таллиум уже распался. Составители яда знали, что вскрытие ничего не дало бы. Немецкий врач ошибался. Даже на столе в мертвецкой он не сумел бы найти, что именно убило меня. Столь сложно и дьявольски тонко сумели скомбинировать в Москве старомодный таллиум с новейшей техникой убийственного излучения.

1957 год

Часть II

Николай ХОХЛОВ

ВСТРЕЧА В НАСТОЯЩЕМ

Интервью Анны Политковской с Николаем Хохловым, отравленным в 1957 году и выжившим. Сейчас Николаю Евгеньевичу 82 года, и он живет в США

— Сегодня, в 2004 году, у вас есть точное представление о том, что с вами случилось в 1957-м?

— Да, конечно. И не только у меня — много экспертов этим занималось. Это было отравление — я был облучен радиоактивной крупинкой таллия. Попав в желудок, эта крупинка стала облучать меня изнутри. В результате развилась острая лучевая болезнь, со всеми симптомами, характерными для нее. У меня выпадали волосы — и выпали все и везде; распозалась кожа, из нее сочилась кровь. Я поворачивал голову — и мой профиль отпечатывался на подушке кровью. Эпителий во рту распозался. Чтобы попить, врачи сначала давали мне анестетик. Это и есть симптомы «лучовки». Те же самые симптомы, по описаниям, были у Юрия Петровича Щекочихина. Только с тех пор, как я выздоровел, многое шагнуло вперед, лаборатория № 13 (тогда это подразделение КГБ так называлось) усовершенствовала свою работу.

— Сколько лет жизни у вас ушло на выздоровление?

— Примерно год я был в состоянии калеки. Постоянные переливания крови. Ходить трудно... В 59-м поехал во Вьетнам секретным советником президента. Мы старались предотвратить войну. Президент создал там для меня великолепные условия, жил я при дворце. Это мне и помогло восстановиться. Но вообще-то выжил я чудом. Доктора меня уже списали. Говорили моим друзьям, когда они спрашивали, какая у меня степень «лучовки», что ответить не могут — покажет вскрытие... А после выздоровления говорили, что не знают, почему я выжил. Сначала меня лечили в Германии, потом — в США. Нью-Йоркский токсикологический институт затребовал мою историю болезни... Я знаю, ее переслали.

— А сами вы читали ее? Тогда? Или после?

— Нет. Врач получил ее только под гарантии, что это — лично для него, на время изучения, и история болезни будет возвращена в Германию. Так и случилось.

— Пытались ли вы потом найти историю своей болезни? Изучить?

— Нет. Зачем? Я не люблю вспоминать свое прошлое, мне ни к чему думать об этом. Воспоминания — очень болезненные и тяжелые. Кстати, таким же способом до меня была отравлена одна журналистка — сотрудница радио «Свобода». Она вообще не хотела никакой огласки, ее имя не оглашается до сих пор по ее настоянию. Слишком тяжело...

— Как отравили ее?

— Эта женщина плыла на пароходе, ей подсыпали радиоактивный порошок в постель в каюте...

Часть III

Александр МИНЕЕВ

ЧАШКА КОФЕ В ПАЛЬМЕНГАРТЕНЕ ИЛИ УКОЛ ЗОНТИКОМ?

Друзья перебежчика Хохлова уверены, что его пытались отравить агенты МГБ

Франкфурт-на-Майне сильно изменился за полвека. Силуэт европейской финансовой столицы вызывающе ощетинился небоскребами, отличившими ее от других немецких городов. Совершеннее технологии, далеко продвинулась медицина. Но в саду Пальменгартен немцы заказывают то же самое пиво, вальяжно лоя еще теплые лучи солнца на фоне зелено-золотисто-багряной октябрьской листвы.

Мой собеседник — Владимир Леонидович Флеров, выходец из семьи русских эмигрантов, активист НТС, в прошлом — врач-анестезиолог, а сейчас — благополучный пенсионер. Мы говорим о событиях 1957 года, когда жертвой таинственной болезни стал бывший советский разведчик Николай Евгеньевич Хохлов. Есть основания считать, что его как «опасного предателя» пытались отравить агенты МГБ.

— В то время я работал ассистентом в университетской клинике во Франкфурте, в отделении внутренних болезней. Кроме того, хорошо знаком с Хохловым и был в курсе всей той истории. В конференции, которая проходила в Пальменгартене в 1957 году, участвовали несколько членов НТС. Но там было немало и случайных людей, которых устроители не знали вовсе. Как обычно, было много сутолоки.

— В этой сутолоке и отравили Хохлова?

— Я не помню, чтобы вообще были установлены момент и обстоятельства его отравления, т.е. когда именно и как он получил яд.

(Один из активистов НТС в Бельгии Евгений Иванович Древинский, который был вместе с Хохловым на той конференции, сказал мне, что яд подсыпали в кофе, принесенный кем-то из obsługi по просьбе Хохлова. Он помнит, что Хохлов отхлебнул глоток, но потом услышал, что началось интересующее его выступление, и побегал в зал, оставив чашку недопитой. Возможно, именно из-за недостаточной дозы принятого яда Хохлов и остался жив.)

— А вы сами что об этом помните?

— После конференции у Хохлова начались боли, рвота и другие симптомы желудочно-кишечного заболевания, и его привезли в университетскую клинику, где я работал. Правда, не в мое отделение, а в гастроэнтерологию, которой руководил профессор Шраде. Вначале поставили диагноз пищевого отравления, случайного, от употребления несвежих продуктов. Но потом у пациента начали выпадать волосы, трескаться кожа, и в конце концов диагноз изменили на отравление таллием.

— Диагноз все-таки официально был поставлен?

— Да, поставлен. Одним из руководителей НТС был Георгий Сергеевич Околович (из-за отказа убить которого тремя годами раньше агент МГБ Хохлов и стал перебежчиком). Околовичу врачи сказали, что это отравление таллием.

— Диагноз поставили на основе токсикологических анализов или по симптомам?

— По симптомам, хотя наличие таллия можно определить и по анализам. НТС сообщил об этом журналистам, которые бросились осаждать профессора Шраде, чтобы тот подтвердил или опроверг вероятность умышленного отравления (случайно принять таллий невозможно). Он отказался от комментариев, утверждая, что обстоятельства отравления неизвестны, и постарался «отшить» журналистов. Тогда руководство НТС попросило меня как врача поговорить со Шраде, выяснить, почему он отказывается от диагноза, подтвержденного специалистами отделения. Профессор стал говорить мне, что не хочет газетного скандала, ажиотажа, что клиника дорожит политическим нейтралитетом. В то время немцы боялись конфликтовать с Советским Союзом. Я прямо спросил его, был ли таллий. Он вышел из себя, стал кричать. Мол, напрасно вы вмешиваетесь в это дело. В общем, на вопрос не ответил. Даже не сказал, брали ли анализы. Но я-то как сотрудник клиники и врач знал, что должны были брать. Когда я сказал руководителям НТС, что от Шраде ничего не добьются, те вышли на американские военные власти в Германии, которые взяли Хохлова в свой госпиталь. Там дело строго засекретили. К Хохлову не пускали даже друзей, а перед палатой выставили пост военной полиции. У него выпали все волосы, все тело болело, покрытое кровоточащими гематомами. Состояние было очень тяжелым, но потом постепенно он оправился. А у меня испортились отношения с начальниками в университетской клинике.

— Американцы подтвердили, что это был таллий?

— Да, подтвердили.

— По анализам возможно определить наличие таллия в организме?

— Возможно. Потом американцы сказали, что это был к тому же радиоактивный таллий. В университетской клинике такого не установили. Иначе я бы знал.

— У Хохлова, как я читал, диагноз поставить было невозможно, и болезнь выглядела как аллергический синдром от неизвестного аллергена, лекарственная болезнь. Так это или нет?

— Думаю, что аллергия все же иначе протекает. Если и была аллергия, то на сам таллий.

— Скажите как анестезиолог, могут ли какие-то лекарства вызывать похожую реакцию?

— В моей профессиональной практике такого не было. Конечно, я давно уже на пенсии и много забыл, но таких реакций на медикаменты не помню.

— У журналиста и депутата Юрия Щекочихина тоже стали выпадать волосы, покраснела кожа, возникли сильные боли в суставах. Потом он впал в кому и скоропостижно умер. В Кремлевке поставили диагноз синдром Лайелла — аллергия на медикаменты, которые он якобы самостоятельно употреблял. Предположили даже, что причиной могло быть китайское гомеопатическое средство хуато. Как бы вы это прокомментировали?

— Я не думаю, что это могло возникнуть из-за растительных препаратов. Не представляю такого. Я много слышал о манипуляциях разных спецслужб типа уколов зонтиком в толпе...

— Врачи утверждают, что анализы не показали наличие яда. Может ли быть яд, который бесследно исчезает, вызывая такие сильные симптомы?

— Теоретически, да. Ведь анализами выявляются только те токсины, которые известны анализаторам. Это мог быть и не таллий, с которым медики знакомы. Возможности изобретения отравляющих комбинаций практически безграничны.

— Значит, вы уверены, что такая аллергия не может быть вызвана гомеопатическими препаратами или известными медикаментами? Или последствиями микроинсульта, который у него за несколько месяцев до этого действительно был и на который сначала ссылались врачи?

— Таких последствий микроинсульта не бывает. Не думаю также, что в университетской клинике Франкфурта вы сможете получить внятную информацию. Конечно, сейчас немцы более свободны в таких вопросах, но дело уже давнее, не осталось документов. Я не знаю, что дала клиника американцам, потому что, передавая больного, она обязана была что-то дать. Американцы в своих военных госпиталях и по-прежнему не хранят долго истории болезней. К тому же спецслужбы США тогда это дело засекретили.

P.S. Владимир Леонидович был прав.

Мои попытки разговора с главным врачом университетской клиники профессором Вольфгангом Каспари, который сменил умершего Шраде, оказались пока безрезультатными, несмотря на официальный запрос из Государственной Думы. Каспари любезно ответил на мои обращения, заявив, что не может раскрывать сведений из истории болезни, кроме как по просьбе бывшего больного или его ближайших родственников. Но если бы даже сам Хохлов разрешил, архивы в клинике хранятся 30 лет, а потом уничтожаются. Комментировать болезнь умершего в Москве Щекочихина он еще менее расположен.

Как и полвека назад, клиника следует принципу нерушимой врачебной тайны и абсолютно не желает касаться политики.

Франкфурт-на-Майне

ОТ РЕДАКЦИИ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ»

Мы продолжаем собственное расследование причин и обстоятельств смерти Юрия Щекочихина.

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий ЩЕКОЧИХИН. ОДНАЖДЫ Я БЫЛ	5
ОДНАЖДЫ я жил в стране чудес.....	10
ОДНАЖДЫ меня делали агентом КГБ.....	12
ОДНАЖДЫ я так и не увидел Ленина.....	23
ОДНАЖДЫ я был у Сталина.....	24
ОДНАЖДЫ я стал депутатом.....	31
ОДНАЖДЫ я был в осажденном Вильнюсе.....	43
ОДНАЖДЫ я писал Президенту.....	55
ОДНАЖДЫ меня допрашивали.....	60
ОДНАЖДЫ с Горбачевым при Горбачеве и с Горбачевым при Ельцине.....	64
ОДНАЖДЫ я начал думать о нищих.....	69
ОДНАЖДЫ мне стало стыдно за богатых у власти.....	71
ОДНАЖДЫ я подумал, удержат ли демократы власть.....	75
ОДНАЖДЫ я понял, как изгоняются из кремлевской “малины”.....	76
ОДНАЖДЫ я нашел главного свидетеля.....	81
ОДНАЖДЫ я был на презентации с “крестным отцом”.....	82
ОДНАЖДЫ я был на войне первый раз.....	90
ОДНАЖДЫ я был заложником.....	117
ОДНАЖДЫ я выступал в Конгрессе США.....	122
ОДНАЖДЫ я нашел пять миллионов долларов.....	125
ОДНАЖДЫ я встретился с человеком, который перевозил “золото партии”.....	129
ОДНАЖДЫ я понял, что мафию можно победить. Но не у нас.....	150
ОДНАЖДЫ я понял, почему у нас мафию победить невозможно.....	153
ОДНАЖДЫ я прочитал то, о чем давно подозревал.....	159
ОДНАЖДЫ я понял, что в России, кроме трех китов, на которых стоит мир, есть и четвертый.....	161
ОДНАЖДЫ я почувствовал, что справедливость — она близко.....	171
ОДНАЖДЫ мы потеряли друга.....	174
ОДНАЖДЫ я был знаменитым.....	175
 Юрий ЩЕКОЧИХИН. ТЮТЧЕВ НАШЕЛСЯ (главы неоконченной повести).....	177
 ОДНАЖДЫ МЫ БЫЛИ.....	203
 От составителя.....	205
Павел ГУТИОНТОВ. Без него нас несправимо мало.....	206
Юрий РОСТ. Младший братишка.....	207
Андрей БИТОВ. Легкий подросток.....	209
Валентина БОРЩАГОВСКАЯ. С этим мальчишкой мы были сверстниками.....	211

	413
<i>Сергея ПИГАЧ. Дядя Юра</i>	214
<i>Эдуард УСПЕНСКИЙ. Гавань Щекоча</i>	214
<i>Александр ГОРОДНИЦКИЙ. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется</i>	220
<i>Юрий КАРЯКИН. Он жил, как гениальный бомж</i>	223
<i>Ольга МАРИНИЧЕВА. Слышь, Юрка?</i>	224
<i>Алла БОССАРТ. И создавал острова иллюзии</i>	228
<i>Александр МИНЕЕВ. Капитан крейсера</i>	228
<i>Александр АРОНОВ. Песенка для журналиста</i>	231
<i>Леонид ЖУХОВИЦКИЙ. Он помогал жить</i>	232
<i>Григорий ЯВЛИНСКИЙ. Он чувствовал время и его эпицентр</i>	239
<i>Юрий ДАВЫДОВ. Кумовья на хозяйстве</i>	240
<i>Алексей СИМОНОВ. Профессия – отвечать за слова</i>	242
<i>Александр РИГИН. Кому – Лунин, а мне – Щекочихин</i>	243
<i>Алексей ГЕРМАН, Светлана КАРМАЛИТА. Когда его пугали, он только хмыкал</i>	246
<i>Мария ДЕЕВА. Драматург своей жизни</i>	247
<i>Владимир ГУРКИН. Юрка – дядя Гилай</i>	249
<i>Алексей БОРОДИН. Наш Щекочехов</i>	251
<i>Елена ДОЛГИНА. Юра и его команда</i>	252
<i>Владимир МОЗГОВОЙ. Надо было бить стекла</i>	253
<i>Анатолий ГОЛОВКОВ. Что же случилось с тобой?</i>	257
<i>Владимир ЛУКИН. Веселый человек, собака и баран</i>	262
<i>Инна РУДЕНКО. Мальчишка в заячьем треухе</i>	264
<i>Надежда АЖГИХИНА. Людей он придумывал</i>	266
<i>Борис ЖУТОВСКИЙ. Портрет счастья, которое было, кажется, совсем недавно</i>	270
<i>Анна САЕД-ШАХ. Не особенный – неповторимый</i>	271
<i>Лидия ГРАФОВА. Стойкий оловянный солдатик</i>	274
<i>Евгений БУНИМОВИЧ. Таких не бывает</i>	275
<i>Джон КОХЕН. Гид по абсурду и надежде</i>	277
<i>Нинэль ЛОГИНОВА. Невозможно вспоминать детей как бывших</i>	278
<i>Андрей МАКСИМОВ. Он никогда не посылал нас за водкой</i>	282
<i>Вячеслав ИЗМАЙЛОВ. Будем делать то, что одобрил бы Юра</i>	284
<i>Олег ХЛЕБНИКОВ. Однажды мы были</i>	286
<i>Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Памяти Юрия Щекочихина</i>	292
Юрий ЩЕКОЧИХИН. ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ	291
На качелях	295
После шторма	304
Лев прыгнул!	312
Дело не в том, что президент убил кабана, а в том, что взволновались лишь за океаном.....	323
Береги себя	324
По нашим политикам плачет тюрьма или больница?	327
Есть еще люди, которые готовы защитить слабого	328

Бычьи шеи венчают головы ослов	330
Касса по имени война	331
Хорошо живется тем, кто борется с мафией	333
Автограф на небе	335
Новогодний отсчет XXI	337
Лев прыгнул в XXI век. Уже в погонах	340
«Секретная операция» и секретные награды	350
Кто объявил войну миру?	353
Две цивилизации не поняли друг друга.....	354
Почему президент — это еще не король	356
Судьи против правосудия.....	356
Свою Грузию я не отдам	358
Секретные герои	359
Баранов много. Овец для генеральских папах не хватает	361
Дело о «Трех китах»: судье угрожают, прокурора изолировали, свидетеля убили	364

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ... (ГОД БЕЗ ЩЕКОЧИХИНА)..... 269

Секретная смерть	371
<i>Роман ШЛЕЙНОВ.</i> Он был неразборчив в выборе врагов	372
Официальная переписка	380
<i>Сергей СОКОЛОВ.</i> Врачебная тайна	381
Экспертизы, которые ничего не объяснили.....	387
<i>Джо ДОРДЕН-СМИТ.</i> Агент неизвестен	389
<i>Александр ВАВИЛОВ.</i> Синдром Лайелла	395
Будет ли разбирательство по факту смерти заключенного Исламова?	397
<i>КОСВЕННЫЕ УЛИКИ</i>	398
<i>I ЧАСТЬ. Николай ХОХЛОВ.</i> Встреча с прошлым	399
<i>II ЧАСТЬ. Николай ХОХЛОВ.</i> Встреча с прошлым	407
<i>III ЧАСТЬ. Александр МИНЕЕВ.</i> Чашка кофе в Пальменгартене или укол зонтиком?....	408

С 11 С ЛЮБОВЬЮ: Произведения Ю. Щекочихина; воспоминания и очерки о нем.
СПб.: ООО «ИНАПРЕСС», «НОВАЯ ГАЗЕТА», 2006. – 416 с., илл.

ISBN 5-87135 -180-8

УДК 882

ББК 84 (2Рос-Рус)6

Юрий Щекочихин (1950 – 2003) – один из самых знаменитых журналистов последних десятилетий. Однако он был не только журналистом: писал пьесы, которые широко ставились, повести, выходявшие отдельными книгами, по его сценарию сняли художественный фильм. Был он и депутатом – сначала последнего Верховного совета СССР, потом, два срока – Госдумы (от «Яблока»). А еще – обладал уникальным талантом дружбы.

В этой книге вы прочитаете документальную прозу Щекочихина «Однажды я был...», в которой – эхо его журналистских расследований, незаконченную повесть «Тютчев нашелся», воспоминания его друзей. Среди них и такие известные люди, как Андрей Битов, Евгений Бунимович, Андрей Вознесенский, Алексей Герман, Александр Городницкий, Юрий Давыдов, Леонид Жуховицкий, Юрий Карякин, Владимир Лукин, Юрий Рост, Инна Руденко, Алексей Симонов, Эдуард Успенский, Григорий Явлинский, Борис Жутовский и другие.

Так же во второе, исправленное и дополненное издание включены первые результаты расследования причин и обстоятельств смерти Юрия Щекочихина.

Сдано в набор 11.04.06. Подписано в печать 05.06.06. Формат 70×90/16.

Гарнитура Pragmatica. Печать офсетная. Усл. печ. л. 23. Уч.-изд. л. 20.

Тираж 3000 экз.

Заказ № 1589.

Издательство ООО «ИНАПРЕСС»

СПб., Невский пр., 74, inapress@peterlink.ru

Отпечатано с диапозитивов

в ОАО «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР» им. А. М. Горького.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА



ИТОГЕ

АВТОБИОГРАФИЯ — УНИВЕРСИТЕТУ



АЛЫН ПАРУС

МИР ВОКРУГ НАС

Последняя весна Ричарда Никсона

Лето-74. Готовимся?

СТОИТ ЛИ «ПРОЖИГАТЬ ЖИЗНЬ»?

ВЫИГРАЕТ ЛИ БЕН ЛАДЕН ТЕНДЕР НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЗРОВАННЫХ НЕБОСКРЕБОВ?

РЫНКА КОРРУПЦИОННЫХ УСЛУГ В РОССИИ ЗА 2007 ГОД

ИЗЫСКАНИЕ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ — УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

НОВАЯ ГАЗЕТА

СЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ



ВЛАСТЬ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

СТРАНА ТРЕХ КИТОВ: КРИМИНАЛ, КАЗНОКРАДСТВА

ДЕЛО О \$400 МЛРД

ТАН-ПЕРУСТА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Юри ШЕКОЧИХИН

Власть и интеллигенция



СТРАНА ТРЕХ КИТОВ: КРИМИНАЛ, КАЗНОКРАДСТВА

ДЕЛО О \$400 МЛРД

ТАН-ПЕРУСТА

ПРЕСТУПНО ГРУППИРОВКА ВОЗГЛАВЛЯЛ ПОКОВНИК ФСБ

НОВАЯ ГАЗЕТА

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

ПРОКУРАТУРА ДЛЯ МЕБЕЛИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ПАРУС

ТАН-ПЕРУСТА

ПОТОП После шторма

АЛЫН ПАРУС



МОРАЛЬ

ЧТОБ ДЕН БАНДИ В РОССИ ОТД



Юрий Щекочихин (1950 – 2003) – один из самых знаменитых журналистов последних десятилетий. Однако он был не только журналистом: писал пьесы, которые широко ставились, повести, вышедшие отдельными книгами, по его сценарию сняли художественный фильм.

Был он и депутатом – сначала последнего Верховного совета СССР, потом, два срока – Госдумы (от «Яблока»). А еще – обладал уникальным талантом дружбы.

В этой книге вы прочитаете документальную прозу Щекочихина «Однажды я был...», в которой – эхо его журналистских расследований, незаконченную повесть «Тютчев нашелся» и воспоминания его друзей. Среди них такие известные люди, как Андрей Битов, Евгений Бунимович, Андрей Вознесенский, Алексей Герман, Александр Городницкий, Юрий Давыдов, Леонид Жуховицкий, Юрий Карякин, Владимир Лукин, Юрий Рост, Инна Руденко, Алексей Симонов, Эдуард Успенский, Григорий Явлинский и другие.

Во второе, исправленное и дополненное издание включены первые результаты расследования причин и обстоятельств смерти Юрия Щекочихина.

ISBN 5-87135-180-8



9 785871 351802